

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филологический факультет

Кафедра славянской филологии

**Котков С. И.**

**ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ  
ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ  
И ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА**

**Воронеж • 2021**

УДК 801.31  
ББК 81.2-3  
К49

Составитель: доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник  
Института русского языка им.В. В. Виноградова РАН Л.Ю. Астахина

Научный редактор: профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой славянской филологии Воронежского государственного университета Г.Ф. Ковалев

Рецензенты:

Лидия Андреевна Глинкина, профессор Челябинского государственного педагогического университета

Ольга Викторовна Фельде, доктор филологических наук, профессор Красноярского Федерального университета

К49 Котков С. И. Избранные статьи по лингвистическому источниковедению и истории русского языка. Составитель Л. Ю. Астахина. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2021. – 471 с.

ISBN 978-5-4292-0248-8

Книга содержит статьи по истории русского языка и исторической лексикологии, которые С. И. Котков размещал в различных сборниках и журналах. Объединённые в одном издании, эти материалы позволяют проследить пути возникновения новой отрасли русистики, процесс становления её основных положений. Другая группа статей отражает особый взгляд автора на историю формирования русского национального языка, его литературной формы, с учётом роли южновеликорусского наречия. Исследования южновеликорусских источников, а также относительно краткие зарисовки об истории отдельных слов и выражений, в частности, о некоторых «тёмных» местах «Слова о полку Игореве» составляют третью группу статей. Книга предназначена для филологов и всех, интересующихся вопросами истории русского языка.

Книга издана на средства составителя.

УДК 801.31  
ББК 81.2-3

ISBN 978-5-4292-0248-8



© Астахина Л.Ю., 2021  
© Оформление. Алейников С.Ю., 2021

Серьёзный историк языка С. И. Котков со своей диссертацией об орловских говорах оказался лёгкой мишенью для критики. А между тем этот исследователь видел порой дальше других, например, в оценке отношений *северновеликорусский – южно-великорусский – общенародный*.

Шаг за шагом он показывает, что южновеликорусскому, в частности, орловским говорам, общенародный язык обязан гораздо больше, чем обычно считалось.

*Академик О. Н. Трубачёв. 2000 г.*



Сергей Иванович Котков (1906–1986)

## ВВЕДЕНИЕ

Сергей Иванович Котков (2.10.1906–14.09.1986) родился в городе Тейково Ивановской области (бывшей Владимирской губернии) в семье рабочих. С 1924 г. по окончании средней школы комсомолец С. И. Котков – на пионерской, а затем на агитационно-пропагандистской работе. В 1927 г. заведовал рабочим клубом в г. Тейково, был принят в партию большевиков, работал учителем русского языка и обществоведения в школе взрослых. В 1929–1931 гг. был репортёром и заведующим Отдела информации газет «Рабочий край», «Смычка», литсотрудником радиоцентра города Иваново. Работая, он постоянно учился. В 1931 г. Ивановская писательская организация командировала его в Московский Редакционно-издательский институт на авторское отделение (в 1933 г. оно было закрыто).

С весны 1933 г. до 1941 г. он работал преподавателем в московских школах, занимал должность директора. Одновременно учился на вечернем отделении русского языка и литературы Московского городского пединститута (впоследствии – МГПИ им. В. П. Потемкина), которое окончил в 1937 г.

В 1941 г. окончил аспирантуру этого института и был приглашён на должность заместителя директора Таганрогского учительского института, но в сентябре, когда институт был закрыт, выехал в Тейково и до мая 1942 г. работал директором школы, преподавал русский язык, литературу и историю.

В мае–июле 1942 г. служил в Красной Армии, был демобилизован из-за плохого зрения. В июле 1942 г. – августе 1944 г. работал на должности зам. директора Орехово-Зуевского учительского института. В 1944–1949 гг. он стал доцентом Орловского государственного пединститута, заведовал кафедрой русского языка, был деканом факультета, заместителем директора. В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию «Словообразование существительных у В. В. Маяковского». В 1949–1951 гг. состоял в докторантуре Института языкознания АН СССР, подготовил и в марте 1952 г. защитил докторскую диссертацию «Говоры Орловской области (фонетика, морфология)» [издана в Учёных записках Орловского пединститута. – Т. V. Кафедра русского языка. – Вып. 2. – 1951 г.]. В 1952–1954 гг. продолжал работать в Орловском пединституте, в феврале 1953 г. был утверждён в учёном звании профессора.

В 1954–1956 гг. С. И. Котков был заместителем директора Института языкознания АН СССР, а с возобновлением Института русского языка АН СССР в 1958 г. – заместителем директора этого Института.



С. И. Котков являлся членом Советского комитета славистов, членом Научного совета Министерства высшего и среднего образования СССР, Научного совета по истории языка и диалектологии при Отделении литературы и языка АН СССР, членом редколлегии журнала «Русский язык в школе», членом учёных советов ряда вузов, научных советов, Отдела рукописей Российской государственной библиотеки и Российского государственного архива древних актов. Под его руководством подготовили и защитили диссертации более 30 аспирантов. Он был награждён орденом «Трудового Красного Знамени» и медалью «За трудовую доблесть».

В последние 26 лет (1960–1986) заведовал созданным им Сектором библиографии, источниковедения и издания памятников языка, который с 1968 г. стал называться Сектором лингвистического источниковедения и исследования памятников языка.

За время работы в Институте русского языка АН СССР сотрудники, высоко ценившие работу С. И. Коткова девять раз выдвигали его в члены Академии наук, и восемь раз он готовил необходимые документы. Но в 1986 году этого делать не стал, сказал: «Мне силы нужны для другого», – и в этом году вышла в свет книга «Очерки по синтаксису южновеликорусской письменности XVII века», написанная совместно с доктором филологических наук З. Д. Поповой, профессором Воронежского университета. Этой книгой завершился цикл его исследований письменных памятников южновеликорусского наречия, значению и роли которого в истории формирования русского национального языка С. И. Котков посвящал свои работы. Фонетику и морфологию он описал в книге «Южновеликорусское наречие в XVII столетии» (1963), лексику – в книге «Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII вв.» (М., 1970). Эти три книги охватывают широкий круг рукописных и опубликованных южновеликорусских письменных памятников, изученных в разных аспектах. Основные выводы свидетельствуют о том, что влияние южновеликорусского наречия на формирование русского национального языка недооценивалось, не учитывались его основные фонетические и грамматические черты, оказавшие воздействие и на сложившееся к концу XVII века московское койне (см. его книгу «Московская речь в начальный период становления русского национального языка». М., 1974). В настоящем сборнике помещены статьи, показывающие, как изучая и публикуя сохранившиеся в архивах рукописные тексты XVI–XVII вв., учёный шёл к своим заключениям и выводам относительно вклада южновеликорусского наречия в формирование русского национального языка и его литературной формы.

Обращаясь к работам различных авторов, высказывая свои несогласия и возражения, С. И. Котков как бы призывал к открытой дискуссии своих оппонентов. Но тогда не нашлось никого, кто так же подробно и вдумчиво изучив южновеликорусские говоры (по полевым данным и по памятникам), был бы склонен к обоснованным возражениям. Его голос звучал одиноко, свои утверждения и сомнения он проверял и редактировал сам. Его работы обращены к будущим исследователям, в распоряжение которых он стремился предоставить как можно больше опубликованных рукописей.

Работая с письменными памятниками, С. И. Котков пришёл к заключению, что дальнейшее развитие истории русского языка во многом зависит от приобщения исследователей к рукописному наследию, притом, не только уставному и полууставному, но и скорописному. Второе общественно значимое, важнейшее для науки направление в работе С. И. Коткова – это издание рукописей из отечественных хранилищ. В своём Секторе он собрал ответственный, работоспособный коллектив сотрудников, которые вручную копировали, печатали на машинке и публиковали рукописи, находящиеся в архивах и музеях. В статье, написанной в соавторстве с Л. П. Жуковской в 1960 г., были собраны пожелания ведущих специалистов (филологов, историков) страны о письменных памятниках XI–XVIII веков, которые необходимо издать в первую очередь. В 1965 г. сотрудниками Сектора уже был издан Изборник 1076 г.

Публикуя рукописи делового и эпистолярного характера, С. И. Котков стремился выявить в формировании русского литературного языка роль народно-разговорной стихии, составлявшей мощный поток, сливавшийся с языком древних церковных книг. Об особом значении источников XVI–XVII вв. он писал: «Определённые объективные обстоятельства в известной степени обеспечивают отражение разговорной стихии и в материалах актового характера, в документах государственного управления и частно-правовых. Вместе с тем подобные материалы заключают и заметный элемент того литературного языка, истоки которого берут начало в древнерусской эпохе и который, в отличие от церковнославянского, способен был обслуживать более широкие сферы жизни русского общества. В исследуемое время, как и прежде, при известном церковнославянском влиянии, этот язык продолжает развиваться на общерусской основе, наиболее обобщённым выражением которой к началу национального периода становится московский говор» (Вопросы языкознания. 1972, № 1).

Продолжатель традиций И. И. Срезневского, А. А. Шахматова, А. И. Соболевского, уделявших главное внимание изучению и изданию

рукописей, С. И. Котков в соавторстве с О. А. Князевской разработал и в 1961 г. опубликовал «Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности», которыми руководствуются учёные в нашей стране и за рубежом: Анна Пеннингтон (Англия) опубликовала книгу Григория Котошихина «Россия в царствование Алексея Михайловича» (Оксфорд, 1980) по этим правилам, Хагар Сундберг издала Новгородские кабальные книги 1614–1616 годов (Стокгольм, 1982), Ингегерд Нордлендер опубликовала новгородские материалы, касающиеся продажи и передачи недвижимости (Стокгольм, 1987), оригиналы которых хранятся в местных архивах.

Наши исследователи в Воронеже, Казани, Орле, Твери, Хабаровске, Челябинске, Тобольске, Кургане, Улан-Уде, Благовещенске, следуя заветам С. И. Коткова, призывавшего изучать и публиковать письменные источники не только XVI–XVII вв., но и более поздние, какие найдутся в местных хранилищах, развернули широкий фронт работ, стремясь познакомить научную общественность с сокровищами местной письменности, что важно для исторической диалектологии.

Придерживаясь «Правил лингвистического издания», сотрудники Сектора постоянно совершенствовали справочный аппарат публикаций. Указатели личных имён и географических названий и раньше сопровождали публикации историков. Замечательный лингвист А. Х. Востоков впервые составил Указатель слов и форм к изданию «Остромирова евангелия» в 1843 г. Этот указатель в Секторе был взят за образец для монографических изданий памятников до XVI века. Сотрудники Института русского языка Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин составили такой указатель к изданию «Смоленские грамоты XIII–XIV веков» (М., 1963, под ред. Р. И. Аванесова). Лингвисты-историки имеют дело не только с собственными наименованиями, но и с огромным количеством слов нарицательных, поэтому издания скорописных памятников сотрудники Сектора с 1969 года стали сопровождать Указателем слов, со временем дополненным Указателем писцов и послухов, что стало неотъемлемым элементом справочного аппарата. Горячим желанием С. И. Коткова было издание рукописей совместно с историками и исследователями древнерусской литературы, но сотрудничества не получилось по неясным причинам: в 1965 г. источники из фонда А. И. Безобразова издали только сотрудники его Сектора, хотя историки и готовили свою часть.

Работая в Орловском пединституте, С. И. Котков проводил поиски сведений о фондах архивов различных городов, проявлял заботу о будущих исследователях, стремился внедрять результаты своих поисков и исследований в практику преподавания истории русского

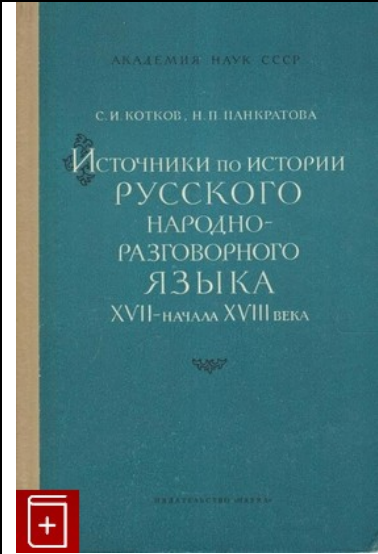


языка. Статьи, касающиеся опыта работы со студентами по теме «лингвистическое источниковедение», показывают, как можно строить занятия на спецсеминарах, что должно войти в спецкурс по теме «Источники по истории русского языка», как на материале памятников можно выявлять их лингвистическую содержательность, чтобы учащиеся не просто заучивали парадигмы по готовым схемам в курсе исторической грамматики, а встречались с ними при знакомстве с живой материей языка в подлинных, первоизданных источниках.

Преподавая историю языка на Факультете повышения квалификации МГПИ им. В. И. Ленина (ФПК), С. И. Котков заботился об освоении слушателями сложнейших скорописных источников XVII века, советовал начинать со скорописи памятников XVI века, так как она ближе к полууставу. «С. И. Котков научил нас бережно относиться к тексту, “вслушиваться” в него, научил работе с текстом, очень тщательной и трудной. И тогда рукописи для нас “заговорили”... не только как источники языкового материала, но и как отражение истории нашего народа», – писала в 1986 г. Галина Васильевна Киселева, преподаватель Борисоглебского пединститута. Многие из участников ФПК защитили диссертации под его руководством, и теперь открывают архивные фонды своих городов, готовят студентов и аспирантов для работы с рукописями.

Здесь необходимо назвать Лидию Андреевну Глинкину (Челябинск), Наталию Семеновну Бондарчук (Тверь), Людмилу Михайловну Городилову (Хабаровск), Ирину Алексеевну Малышеву (Санкт-Петербург), Аллу Васильевну Кипчатову (Красноярск), Маргариту Семеновну Выхрыстюк (Тобольск) и др.

С. И. Коткову и его единомышленникам путём издания удалось ввести в научный оборот огромное количество рукописных источников из архивных фондов для изучения истории русского языка. Перечислим издания сотрудников Сектора, основанного С. И. Котковым, продолжавших работу и после его ухода:

*Монографические издания:* Изборник 1076 г. (1965), Синайский патерик XI–XII вв. (1967), Успенский сборник XII–XIII вв. (1971), Назиратель (1973), Выголексинский сборник XII в. (1977), Апракос Мстислава Великого (1983, под ред. Л. П. Жуковской), Книга нарицаемая Козьма Индикоплов (1997), Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского (1998), Житие Андрея Юродивого в славянской письменности (2000, автор А. М. Молдован).

	<p><i>Сборники скорописных памятников:</i>  С. И. Котков, Н. П. Панкратова. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII – начала XVIII века. (1964), Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. Из фонда А. И. Безобразова (1965), Московская деловая и бытовая письменность XVII века (1968), Грамотки XVII – начала XVIII в. (1969), Памятники русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край (1978), Памятники московской деловой письменности XVIII века (1981), Памятники деловой письменности XVII в. Владимирский край (1984).</p>
	

*Памятники южновеликорусского наречия:* Отказные книги (1977), Таможенные книги (1982), Памятники южновеликорусского наречия. Конец XVI – начало XVII в. (1990), Челобитные и расспросные речи (1993).

Большая группа вестей-курантов, письменных памятников – предшественников русских газет – издавалась и под его редакцией, а

также и после кончины С. И. Коткова: Вести-Куранты 1600–1639 гг. (1972), Вести-Куранты 1642–1644 гг. (1976), Вести-Куранты 1645–1646, 1648 гг. (1980), Вести-Куранты 1648–1650 гг. (1983), Вести-Куранты 1651–1652 гг., 1654–1656 гг., 1658–1660 гг. (1996), Вести-Куранты 1656 г., 1660–1662 гг., 1664–1670 гг. – Ч. I и II (2009), Вести-Куранты 1671–1672 гг. (2017).

За время руководства С. И. Котковым сотрудники Сектора отредактировали и издали 15 сборников статей по лингвистическому источниковедению, по теоретическим вопросам исследования и издания памятников русского языка:

1. Лингвистическое источниковедение (1963).
2. Исследования по лингвистическому источниковедению (1963).
3. Источниковедение и история русского языка (1964).
4. Исследования источников по истории русского языка и письменности (1966).
5. Лингвистические источники. Фонды Института русского языка (1967).
6. Изучение русского языка и источниковедение (1969).
7. Русский язык. Источники для его изучения (1971).
8. Восточнославянские языки. Источники для его изучения (1973).
9. Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания (1974).
10. Источники по истории русского языка (1976).
11. Памятники русского языка. Исследования и публикации (1979).
12. История русского языка. Исследования и тексты (1982).
13. История русского языка. Памятники XI–XVIII вв. (1982).
14. История русского языка и лингвистическое источниковедение (1987).
15. Источники по истории русского языка XI–XVII вв. (1991).

С 2000-го года с разной периодичностью в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН выходят в свет под редакцией академика РАН А. М. Молдована, руководителя Отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка, сборники под названием «Лингвистическое источниковедение и история русского языка», включающие публикации и исследования памятников языка, статьи по текстологии и технике перевода древних рукописей. Именно так называлась книга С. И. Коткова (1980), в которой он обоб-

шил разработки по лингвистическому источниковедению. Регулярного издания такого сборника или журнала С. И. Коткову добиться не удалось. Дирекция говорила: «Не время!».

Главная заслуга профессора С. И. Коткова перед филологической наукой состоит в том, что он «вырастил» ещё одну веточку «на древе науки» – создал и теоретически обосновал новое направление – лингвистическое источниковедение, которое даёт учёным ключ к огромным фондам рукописных материалов прошлых веков, указывает путь формирования и исследования разнообразных языковых источников.

В процессе разработки лингвистического источниковедения автор дал исчерпывающее определение понятий *лингвистический источник*, его *лингвистическая содержательность* и *информационность*. Источником для изучения истории языка может быть не только рукопись и её издание, но и художественное произведение, частное письмо, краткая надпись – граффити и др. Термином *информационность* характеризуются так называемые внешние признаки источника, которые помогают раскрытию его лингвистической содержательности. Эти категории в применении к исследованию письменных и опубликованных памятников, действительно «работают», в частности, при дополнении их *категорией достоверности источника*, разработанной в докторской диссертации Астахиной Л. Ю. «Проблемы филологической достоверности источников по русской исторической лексикологии» (Воронеж, 2017). Она стала шагом на пути развития лингвистического источниковедения, который удалось сделать при работе с особым источником – с материалами Картотеки «Словаря русского языка XI–XVII веков», связав её с проблемами исторической лексикологии и лексикографии. Опора на категории лингвистического источниковедения помогает обнаруживать и раскрывать (буквально – «разгадывать») псевдогапаксы – слова, которые возникают при неверном прочтении текстов рукописей и попадают в публикации источников, в научные работы, словари и др.

В предлагаемом сборнике можно видеть, как учёный шёл к формулированию терминов основных категорий лингвистического источниковедения, как определял основные задачи по изучению истории русского языка, по истории складывания русского национального языка и его литературной формации. Статьи раскрывают секреты его творческой лаборатории, когда страницу на машинке он печатал только после того, как она была им самым тщательным образом отработана в рукописном виде. Здесь помещены статьи, в которых исследуется в историческом аспекте лексика различных источников. Учёный обращает внимание на словарные комментарии к произведениям

Н. С. Лескова, исследует старинную лексику (архаизмы и историзмы) в произведениях писателей – уроженцев Юга России (И. А. Бунина, А. И. Левитова, Н. С. Лескова, А. И. Эртеля и др.). Публикуя и исследуя рукописные памятники делового и эпистолярного содержания, С. И. Котков показывает, как можно по ним изучать старинную народно-разговорную русскую речь и выявлять её роль в формировании литературного языка. Изучая лексику памятников письменности XVI–XVII веков, исследователь предлагает развивать историческую диалектологию и показывает, что изоглоссы современной диалектологии не всегда правомерно переносить в исторически отдалённые времена. Сравнение современных диалектных записей с данными рукописей – это дело будущего, хотя С. И. Котков уже шёл по этому пути в своих исследованиях.

В работе над текстом «Слова о полку Игореве» С. И. Котков искал путь к разгадке неясных мест произведения, изучая рукописи из тех мест, где было, по предположению, создано «Слово», сохранившиеся от более поздних времён, сравнивая лексику этих источников.

В статьях всегда приводится многообразный фактический материал для доказательства положений автора, когда он анализирует диалектизмы и слова, вышедшие из активного употребления. Замечательны его миниатюры, посвящённые истории отдельных слов и выражений (о предках-невидимках, о слове *праздний*, о *живой* и *мертвой* воде, как обходились без слова *пара* и др.). Изучая рукописи, невозможно не обращаться к достижениям палеографии. В опубликованных в одном из сборников Сектора письмах П. К. Симони ярко представлены методы работы палеографа и задачи, встающие перед ним.

В Приложении приведены три статьи Н. С. Котковой (1939–1987), на которые ссылается в своих работах С. И. Котков. Дочь и бесшумный помощник, Надежда Сергеевна создавала рукописные копии с архивных скорописных дел XVI–XVII вв., печатала их на машинке, составляла указатели слов, после чего материалы попадали в издательство «Наука». Обращаясь к приведённым здесь статьям Н. С. Котковой, можно видеть, какого вдумчивого, серьёзного, работающего с необыкновенной тщательностью исследователя потеряла наука через три месяца после кончины отца (в январе 1987 г.).

В настоящем сборнике отсутствуют подстрочные примечания, сопровождавшие публикации статей С. И. Коткова и Н. С. Котковой; некоторые из них вносятся в тексты статей в квадратных скобках. Отсылки к используемой литературе и источникам приводятся в статьях в тожн в квадратных скобках с краткими обозначениями, отражённые в «Списке сокращений».

Л. Ю. Астахина



## 1. О предмете лингвистического источниковедения // Источниковедение и история русского языка. – М., «Наука», 1964. – С. 3-13.

Для современного развития науки характерно возрастание роли так называемых прикладных, вспомогательных научных дисциплин, приобретение ими самостоятельного значения, приближение этих научных областей к разряду основных. В подтверждение данного положения можно было бы указать, например, на судьбу текстологии и прикладного языкознания. В том же направлении развивается и источниковедение, которое, если иметь в виду, скажем, историю СССР, «заняло видное место в преподавании исторических предметов как дисциплина, формирующая научную подготовку историков» [Тихомиров 1962, вып. 1: 3]. Однако источниковедение развивается в целом как наука, преимущественно, если не исключительно, связанная с историей, в то время как и другие гуманитарные науки, прибегающие нередко к тем же источникам, нуждаются в разработке специализированного источниковедения, которое могло бы удовлетворять их особым, специфическим потребностям. Относительно науки о языке можно сказать следующее: источниковедения, обслуживающего специально нужды лингвистики, во всяком случае отечественной, пока не существует. А между тем успешное развитие советского языкознания в настоящее время зависит не только от всемерного усовершенствования старых методов исследования и разработки новых методов, но и введения в область исследования новых лингвистически аннотированных и квалифицированно подготовленных для изучения источников. Так, решение наиболее актуальных проблем истории русского языка в значительной мере ограничено кругом изданных источников и неразработанностью вопросов источниковедения в лингвистическом плане.

Опираясь только на опубликованные источники, нельзя и приблизительно выяснить соотношение, а также взаимодействие южно- и северновеликорусских элементов в эпоху развития русского национального языка, нельзя воссоздать конкретную картину его братских исторических связей с украинским и белорусским языками. Представляется затруднительной на этой базе и более или менее содержательная характеристика народно-разговорной речи XVI–XVII вв., а в сравнении с ней и русского литературного языка того же самого времени. По одним опубликованным источникам невозможно с уверенностью установить и географию существенных явлений в истории русского языка и их хронологические рамки, если иметь в виду период национального развития. Все эти затруднения связаны в основном с двумя обстоятельствами: 1) крайней малочисленностью публикаций памят-

ников южновеликорусского происхождения; 2) едва ли не полным отсутствием изданий тех категорий источников, например, материалов частной переписки, которые наиболее ярко отражали живую народную речь. Помимо причин иного порядка, что было уже отмечено [см.: Котков 1962: 31; Котков 1963: 3, 6-7], такое положение в известной мере сложилось и вследствие неразработанности вопросов источниковедения в лингвистическом аспекте. По этой причине оставались в забвении, к примеру, огромные фонды деловой письменности XVI–XVII вв., лингвистическое значение которых неопределимо. Публикация текстов подобного рода осуществлялась только историками и, естественно, без учёта лингвистических интересов. К тому же под влиянием давней традиции обыкновенно издавались только тексты неюжновеликорусского происхождения, поэтому значительная зона распространения русского языка, с большой плотностью населения, по данным письменности вообще не изучалась. Мы пока не имеем вполне исчерпывающих обобщающих характеристик и оценок в лингвистическом плане таких важнейших категорий источников по истории русского языка, как материалы частной переписки, деловая письменность, словари, житийная литература и т. д. Словом, вне поля зрения историков русского языка остаётся масса древних рукописей исключительного значения.

Но дело не только в этом. Данные многих рукописей, которые не подвергались источниковедческому анализу в лингвистическом аспекте, получают иногда неправильное истолкование.

Необходимость специализации источниковедения применительно к науке о языке, истории и литературоведению вытекает из специфики этих наук, с чем связано и различное отношение к содержанию одного и того же источника. Содержание источника интересует лингвиста главным образом с той стороны, в какой степени и как именно обусловлено им употребление в источнике тех или иных средств языка. Напротив, историк касается языковых качеств источника (что, впрочем, бывает редко и выражается в крайне общей форме) лишь с целью выяснения, в какой мере последние способствуют выявлению содержания или, наоборот, затемняют его. Литературовед в своём отношении к языковым свойствам источника, в пределах, допускаемых спецификой его науки, известным образом синтезирует эти два подхода. Уже одного этого различия в подходе к одним и тем же источникам (скажем, древнерусским текстам) было бы достаточно для обоснования специализации источниковедения. А ведь кроме данного круга источников, общих для этих наук, каждая из них располагает своей особой массой источников, к которым другие научные дисциплины либо вовсе не имеют отношения, либо используют эти источники

в минимальной степени.

К выделению специального, лингвистического направления в источниковедении побуждает и необходимость выяснения ряда существенных и частных вопросов эдиционной теории. Необходима дальнейшая разработка типов и принципов лингвистического издания, и в частности решение вопроса о сферах и границах применения в том или ином типе издания принципов дипломатической и критической публикации. С учётом разных типов издания нуждаются в научном обосновании вопросы эдиционного восполнения [Котков 1963а: 15], как условного (по современным нормам), так и ориентированного на графико-орфографические нормы рукописи или представленное в ней реальное языковое состояние. Актуальной задачей является и усовершенствование транскрипции с тем, чтобы выполняемое средствами последней воспроизведение рукописных текстов было наиболее точным. Порой и достаточно простые случаи воспроизведения в издании рукописного текста и деления его на слова сопряжены с известными затруднениями и требуют лингвистической аргументации. Обратимся к одному из таких затруднений.

Отражение в письме диалектной фонетики нередко имеет своим следствием такое слияние предлога и слова, к которому он относится, что границу между ними установить нелегко, иногда и совсем невозможно. Ситуация второго рода обыкновенно бывает связана с появлением такого согласного элемента, который выпадает из морфемной структуры сочетающихся слов. Появление подобного согласного элемента наблюдаем в определённых консонантных условиях, например, между звуками *з* и *р*, причём не только в скорописи, но и в ранних древнерусских текстах, написанных уставом и полууставом. Так, в Изборнике 1076 г. встречаем написание издроуки, что значит 'из руки'. Поскольку здесь появление д обязано определённому фонетическому условию, возникшему на стыке предлога и имени, – консонантным свойствам конца одного и начала другого слова, включать его в предлог (изд роуки) или, напротив, имя (из дроуки) оснований не имеем, тем более что д выпадает из морфемной структуры слов. Остаётся либо принять слитное издроуки, или выделить «вставное» д, например, посредством дефиса: из-д-роуки. Второе едва ли лучше первого, так как с дефисом связаны и объединительные ассоциации. Ср. современные написания вроде *иван-да-марья* (растение), *Ростов-на-Дону* и т. п. Кроме того, употребление дефиса так или иначе модернизирует воспроизведение рукописного слова. Если говорить о лингвистическом издании, должно быть оставлено слитное издроуки, а в подстрочном примечании желательна помета: издроуки – из роуки. В из-

дании, которое рассчитано не только на лингвистов, но и специалистов других областей знания, в текст предпочтительней было бы включить «пояснительный» вариант, т. е. из роуки, а в подстрочном примечании отметить слитное написание. Для подобного рода изданий можно было бы предложить и иное, по нашему мнению, более приемлемое решение. Рекомендуем воспроизведение из д роуки. Такое изображение в строке «вставного» *d*, с одной стороны, сохраняет весь фонетический облик написания, а с другой – достаточно отделяет предлог от существительного.

В говорах между *з* и *р* вероятно появление и звука *z*, положим: *разгрешить* (значение ‘разрешить’). Отражение подобных фактов в старинной русской письменности не исключено. Приведённый пример интересен тем, что в некоторых контекстуальных условиях заключает возможность переосмысления – понимания его как производного от *грех*. В этом случае вопроса об особых приёмах передачи *z* не возникает, но искажается смысл написанного. При правильном понимании слова применение особого приёма необходимо. Наиболее приемлемо *разгрешить*. Поскольку *z* – не на стыке слов, пробелами с обеих сторон оно не выделяется. Так сохраняется единство слова и вместе с тем графически «редуцируется» элемент, затемняющий его структуру.

Касаясь вопросов издания памятников, обыкновенно освещаемых в археографии, мы исходим из того, что последняя не может заниматься таким рассмотрением источников, которое отвечало бы специальным запросам лингвистов. За этой наукой должно оставаться общее, формальное описание источников, удовлетворяющее условиям первичного, не дифференцированного по специальностям ознакомления с ними исследователей.

Разработка специальной науки о лингвистических источниках предполагает прежде всего выяснение самого понятия «лингвистический источник». Язык материализуется в произношении и письме. В соответствии с этими формами материализации лингвистический источник представляет собой либо непосредственное (инструментально-физическое), либо опосредствованное (графическое) закрепление языкового материала в виде слов или их элементов, обладающего определённым внутренним единством, от древнеписьменного языка памятника до текста современного художественного произведения и магнитофонной ленты. Соответственно источники делятся на слышимые и читаемые. Помимо источников, объективно сложившихся, лингвисты имеют в своём распоряжении источники и иного рода, в образовании которых принимают участие, объём и характер которых заранее ими определяются, источники с заданными свойствами. Таковы записи устной речи при помощи обычного письма, транскрипции или магни-

тофона, однако не любые записи, а лишь проводимые по известной программе, и ответы на лингвистические вопросники. И те и другие источники, несмотря на различие происхождения, являются первичными, поскольку в них языковой материал получает своё начальное, первое закрепление. В процессе отбора из этих источников тех или иных лингвистических данных и адаптации этих данных в соответствии с целями исследования или справочной службы образуются новые, вторичные источники, с заданными свойствами. К числу подобных источников относятся, например, разнообразные лексиконы и лингвистические картотеки. Заметим при этом, что простое дублирование первичного источника, без отбора и адаптации, не переводит его в разряд вторичных.

Рассматривая источник с точки зрения его лингвистического наполнения и слышимых или читаемых форм проявления последнего, различаем в составе источника лингвистическую содержательность и информационность. Лингвистическая содержательность – это совокупность заключённых в источнике лингвистических данных, предопределяемая его содержанием и его отнесённостью к тому или иному языку или диалекту, а также и степенью проникновения науки в материю языка. В некоторых категориях источников (художественная литература и публицистика) характер лингвистической содержательности предопределяется, помимо всего, и стилистическим моментом, потому что языковое оформление одного и того же содержания может быть исполнено в разных стилистических ключах. Приведём несколько примеров, иллюстрирующих зависимость объёма содержательности от проникновения науки в материю языка. Пока звуковое значение каморы, вскрытое впоследствии Л. Л. Васильевым, науке не было известно, соответствующее фонетическое явление, вполне естественно, не входило в объём лингвистической содержательности изучавшихся древнерусских рукописей, в которых камора с указанным значением была представлена. Когда Н. Н. Дурново удалось выявить определённые типы предударного вокализма, объём лингвистической содержательности известного круга диалектных записей пополнился новыми элементами – типологии аканья–яканья. Можно было бы указать и на установление фонетического значения древнерусских ъ и ь.

Информационность источника – это прямая или косвенная отражённость в нём лингвистических данных. Если лингвистическая содержательность – понятие собственно языковое, то лингвистическая информационность – скорее, приязыковое: имеет отношение прежде всего к внешним средствам выражения языка и внешним условиям его существования (характер графики и орфографии, правописные навыки писцов и т. п.). Объём информации не равен тому, что включает пред-

ставленный в источнике язык или диалект. Этот объём неизбежно ограничен, во-первых, репродуцирующими возможностями инструментальной записи и графического письма, во-вторых, тем, насколько владеют данными средствами воспроизведения оперирующие ими лица. Так, например, репродуцирующие возможности инструментальной записи могут быть ограничены и техническим состоянием звукозаписывающей аппаратуры и, далее, общим звуковым фоном, на который ложится запись речи в естественных условиях. Вследствие отсутствия в составе графики обычного русского письма знаков для передачи интонации информация о ней из рукописи не может быть получена.

Область науки, которую мы предлагаем назвать лингвистическим источниковедением, – изучение упомянутого рода источников, однако не во всём объёме, а только со стороны их лингвистической содержательности и информационности. Если говорить точнее, предмет лингвистического источниковедения – выявление, аннотирование и систематизация рассматриваемых в этом аспекте источников и разработка научных оснований их эдиционного воспроизведения.

К каждому из этих направлений источниковедческого исследования лингвистическая содержательность и информационность имеют неодинаковое отношение. Выявление источников, необходимое для разработки той или иной языковедной проблемы, предполагает в первую очередь установление в них соответствующей лингвистической содержательности, полной или частичной (фонетической, морфологической, по отдельным явлениям или фактам и т. д.), и только во вторую – выяснение характера её информационности: внешних проявлений содержательности в источниках. Напротив, выбор из группы источников, однородных по лингвистической содержательности, одного источника или публикации должен иметь своим основанием наибольшую степень его информационности в сравнении с другими однородными. При аннотировании источников в равной мере учитывается и содержательность, и информационность, поскольку аннотирование служит целям и систематизации источников и их эдиционного воспроизведения. Систематизация источников может быть построена лишь на базе различий в их лингвистической содержательности. Это обусловлено не только тем, что содержательность – понятие собственно языковое, но и тем обстоятельством, что в пределах лингвистически однородной группы источников (например, отказов земельных угодий в определённом уезде, хотя бы и написанных разными писцами) она является величиной относительно постоянной, поскольку источники каждой группы возникают на почве одной и той же лингвистической общности – языка или диалекта. Напротив, информационность по от-

ношению к содержательности можно считать в какой-то мере величиной переменной, зависимой от различных причин более или менее внешнего и порой индивидуального порядка: от состояния графики и орфографии, правописной выучки писцов, влияния на их речь и письмо иноязычной культуры и т. д.

Попытаемся далее на примере конкретизировать различие между содержательностью и информативностью. Возьмём русскую рукопись XVII в., когда орфографические нормы были довольно зыбкими, написанную заведомо южновеликорусом. Последнее обстоятельство позволяет предполагать наличие в ней такого элемента лингвистической содержательности, как южновеликорусское аканье. Представленное в рукописи как фонетическое явление аканье – элемент лингвистической содержательности, а конкретные случаи его выявления, их количество и характер (отражения прямые и косвенные) и соотношение этих случаев – элементы лингвистической информативности. Дополнительно следует заметить, что одно и то же написание в зависимости от того, какое, скажем, диалектное образование представляет, может явиться прямым отражением одного лингвистического факта и косвенным отражением другого. Так, например, написание *трова* в условиях северновеликорусских говоров может быть прямым отражением, а в южновеликорусских – косвенным (непрямым) указанием на аканье. Прямые отражения представляют собой непосредственную информацию, косвенные – и непосредственную (например, указание на аканье в *трова*) и реализующуюся через посредство некоторых прямых отражений, вроде, скажем, указаний на фрикативный характер *г* в написаниях типа *денех*, сведений о месте ударения в словах, извлекаемых из печатных и рукописных источников – стихотворений.

Не подвергая сомнению в целом и в массе конкретных случаев вполне объективного характера лингвистической информативности, нельзя, однако, не учитывать влияния моментов, которые могут вносить осложнения, вернее, искажения в объективную информацию рассматриваемых источников. Таково, например, исторически сложившееся совпадение в начертании *ъ* и *ь* в русской скорописи XVII в. и не менее распространённое в этой скорописи графическое совпадение *в* и *д*, выносных *л* и *н* и некоторые другие. Отметим далее совпадения в начертаниях отдельных букв, обусловленные индивидуальными особенностями почерка, в старинных и современных рукописях. Сложные моменты действуют в сфере системных соотношений графики и фонетики. Укажем в этой связи на отсутствие в южновеликорусских памятниках бесспорных следов такого явления, как утрата затвора аффрикаты *ч*, когда в реальности явления в эпоху этих памятников сомневать-

ся не приходится. Объяснение данного факта мы склонны видеть в том, что посредством буквы *и* передавали долгое *и*, которое в южно-великорусских говорах в XVII столетии было уже твёрдым; тем самым употребление буквы *и* для передачи звука *и'*, естественно, исключалось, а других графических возможностей в алфавите не было.

Исследование источников с точки зрения лингвистического источниковедения означает их оценку в плане лингвистической содержательности и в плане информативности, а не просто по содержанию, графике и орфографии. В этом случае нас интересует не содержание само по себе, а лишь известная обусловленность им специфики его языкового выражения, употребление в том или ином источнике определённого комплекса средств языка – фонетических, грамматических, лексических и т. д. Аналогичным образом рассматриваются и графика и орфография, т. е. не сами по себе, а только с той стороны, в какой мере та и другая обеспечивают объективную лингвистическую информацию или, напротив, не отвечают этому условию. С другой стороны, и отражённые в источнике явления и факты языка или диалекта исследуются не сами по себе, а исключительно в связи с возможностями и формами их проявления в источнике. Закрепляемые в источниках определёнными средствами фиксации явления и факты языка всегда претерпевают преломление, обусловленное свойствами этих средств (инструментально-физических и графических). И если в языкознании исследуется преломляемое, а в соответствующем разделе физики, а также в графике и орфографии изучаются средства его фиксации, их преломляющие свойства, то задачей лингвистического источниковедения является исследование в лингвистическом аспекте механизма и закономерностей этого преломления.

В прямой, непосредственной зависимости от конкретного содержания лингвистического источника находится его лексическая содержательность; что касается грамматической содержательности, то она обусловлена содержанием исключительно опосредствованно: слово вне грамматической формы не функционирует, а так как в одной и той же ситуации оно способно выступать не в одном грамматическом оформлении, а в двух или даже нескольких, опосредствованность данной содержательности реальным содержанием становится ещё более отдалённой; а обусловленность этим содержанием фонетической содержательности осуществляется самым отдалённым образом, в минимальной степени, пожалуй, только в том смысле, что лексико-грамматическая специфика источника может служить более благоприятной или менее благоприятной предпосылкой для проявления в данном источнике того или иного фонетического факта. Если перед нами



лежит, например, старинная запись о сдаче в оброк для рыбной ловли речки, то наличие в записи слова *речка* самым прямым, непосредственным образом связано с содержанием этой записи, а то, что слово *речка* выступает в данном случае в определённой падежной форме, обусловлено не прямо содержанием, а контекстуальными условиями его выражения, причём не только синтаксического, но и лексического порядка. А написание указанного слова как *речкя*, в чём получило отражение неорганическое смягчение заднеязычных, обусловлено не только произношением писца, т. е. диалектной предпосылкой, но и тем обстоятельством, что в данном случае слово выступает в форме именительного падежа, употребление его в родительном или дательном подобного отражения не обеспечивает. Между прочим, действительное представление о распространении этого фонетического явления в прошлом в южновеликорусских говорах дают только такие памятники южновеликорусской письменности, которые отличаются обильным употреблением личных собственных имён в уменьшительной форме, вроде *Васькя*, *Ларькя*, *Аниськя* и т. п., поскольку однотипные уменьшительные образования из категории имён нарицательных по условиям содержания этой письменности в ней малоупотребительны. Как видим, в этом конкретном случае проявление в старой русской письменности следов интересующего нас явления, достаточных для обоснованного суждения о его реальном распространении, связано, помимо иных, с лексико-семантическим моментом.

Таковы лишь некоторые общие вопросы, исследование которых, по нашему мнению, могло бы положить начало лингвистическому источниковедению, по крайней мере, в области русского языка.

## 2. О развитии лингвистического источниковедения // Вопросы языкознания. – 1968. – № 2. – С. 140-143.

В наше время наблюдается влиятельное воздействие методов исследования, сложившихся в естественных науках, особенно в математике, на область общественных наук, в частности языкознание. В этом находит своё выражение закономерное стремление к более точному познанию языка. Вместе с тем и развитие новых методов и усовершенствование старых, к сожалению, недостаточно подкрепляется расширением круга источников, вовлекаемых в научный оборот. Между тем, объективность исследования в значительной степени зависит не только от методов исследования, но и от состава тех источников, на которых оно построено, от того, насколько они изучены, в каком объёме и насколько дифференцированно от других категорий источников эти материалы привлекаются. Недостаточное внимание к источникам объясняется прежде всего тем, что в отечественном языкознании была утрачена замечательная традиция изучения рукописных текстов – наследия прошлых веков. Что касается современных источников, то уже вследствие их современности предварительный анализ их считается едва ли не излишним. Нельзя не принимать во внимание и следующий момент: применение новых структуральных методов, естественно, исключает из поля зрения языковедов те категории источников, которые по тем или иным причинам не представляют оптимальных условий для формализации заключённых в них лингвистических материалов.

Если не касаться диалектологии, круг изучаемых лингвистами текстов всё более и более замыкается в пределах современного языка, преимущественно литературного, а порою даже и не языка, а всего лишь только представляющих его словарей и грамматик. Во всяком случае, для русистики это характерно, как не менее характерным является и то, что объективность показаний таких источников предполагается само собой разумеющейся. Подобное отношение к источникам находится в кричащем противоречии со стремлением к объективности исследования. В работах по истории русского языка, начиная с учебных пособий и кончая диссертациями, репертуар цитируемых памятников письменности, за немногими исключениями, в течение десятилетий не обнаруживает признаков расширения, особенно за счёт материалов XVII–XVIII вв.

Невнимание к памятникам поздней письменности покоится на странном убеждении. В науке о русском языке ещё господствует мнение, что его современный фонетический облик, а также и грамматический строй к XV–XVI вв. в общем уже сложились и поэтому более

поздние памятники каких-либо существенных показаний его фонетико-грамматического развития, собственно, не содержат. В своё время исторически оправданное определённым уровнем состояния науки, это мнение в настоящее время нельзя признать обоснованным, если не удовлетворяться обеднённой трактовкой фонетического и грамматического развития языка. А если принимать во внимание область лексики и семантики, не говоря уже о стилистической системе, необоснованность указанного мнения становится ещё более очевидной. И тем не менее, даже в университетах изучение памятников русского языка завершается Уложением 1649 г.; памятники XVII–XVIII вв., особенно делового содержания, студентам неизвестны.

Указанное мнение тем более несостоятельно, что границы современного литературного языка в последние годы, не без оснований, отодвигаются от пушкинской эпохи к более позднему времени.

Если огромные богатства таких центральных хранилищ, как Государственный Исторический музей, Центральный государственный архив древних актов, Рукописные отделы Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотеки Академии наук СССР, привлекают некоторое внимание языковедов, периферийные собрания рукописей для многих из них не существуют. А они весьма значительны. Об этом можно заключать и по самым кратким сведениям. Например, в Архангельском областном архиве находим рукописи с XV в. – имеются жалованные грамоты, челобитные, росписи крестьянских дворов, приходо-расходные книги и др.; Вологодский областной архив содержит столбцы XVI в., разного рода грамоты, книги переписные; в Горьковском областном архиве отложились фонды монастырей и вотчин XVI в.; в составе Калининского областного архива – 1735 рукописей XV–XVIII вв.; Ярославский архив располагает текстами исторического и литературного содержания, начиная с XIV в., Ярославский краеведческий музей – с XII–XIII вв.; обширны фонды старинных рукописей Владимирского, Новгородского и Рязанского архивов.

Но дело не только в количестве, а и в качестве этих материалов. Значительная часть их генетически связана с определёнными зонами русского языка и позволяет уверенно воссоздать отдалённый от наших дней веками их лингвистический «ландшафт», иногда с весьма характерными приметам, выявление которых затруднительно и в материалах более богатых хранилищ. Так, в приходо-расходных книгах из Владимирского архива находим отдельные лексические факты, которые в качестве типичных обыкновенно «прикрепляют» либо к русскому Северу, либо к южновеликорусской области, а они, историче-

ски, не менее типичны и в промежуточном районе. Вот эти случаи: «дано косом одному за два дни с *уповодом* В ал В де» (1687, ф. 584, оп. 1, № 2, л. 38 об.); «купил... десяток молотилных *путцовъ*» (там же, л. 46); «три *туеза*» (там же, л. 69); «куплено угол[ь]я четыре *острамка*» (1695, ф. 575, оп. 1, № 295, л. 88 об.); «шестеры *ночвы*» (там же, л. 68); «*корець*... болшой пивной долгая рукоят» (1687, ф. 584, оп. 1, № 2, л. 56); отмечаются, далее, слова *жеравика* и *косуля* (пахотное орудие).

Материалы минувших веков во многих местных архивах сотрудникам их, собственно, неизвестны, поскольку они, за редким исключением, скоропись XVI–XVIII вв. не читают. В этих материалах они ориентируются порой только по заголовкам, иногда довольно неточным, составленным много лет назад в бытность губернских архивных комиссий. Поэтому и в путеводителях содержание фондов старинной письменности обычно не раскрывается. Необходимо их широкое выявление и лингвистическое аннотирование.

Огромные фонды рукописей и в центральных архивохранилищах остаются вне поля зрения историков языка. Назовём многочисленные столбцы и книги Разрядного и Поместного приказов, фонды Сената и местных учреждений, а также личные фонды. Не исследованы такие редкостные источники, как материалы частной переписки XVII–XVIII вв. Неизвестен историкам языка и немалый круг рукописей, в котором видим отражение московской речи XVII в.

Отметим ещё одно обстоятельство. В лингвистических институтах и в филологическом образовании палеография не пользуется вниманием. Неудивительно поэтому, что многие русисты с памятниками письменности непосредственно не знакомы. Следствием является некритическое отношение к печатным воспроизведениям старинных текстов. Более того, получило распространение бездумное цитирование этих текстов не прямо по рукописям или хотя бы их изданиям, а лишь по картотеке древнерусского словаря, которая при всей её огромной ценности заменить первоисточники не может. Налицо неуважительное отношение к источникам.

Оно проявляется и в другой форме, а именно – давнем невнимании к определённом кругу источников, изучение которых с точки зрения традиционной концепции истории языка не представляет интереса. Исторически сложилось так, что длительное время с филологической целью издавались у нас лишь ранние памятники русской письменности, и в своё время это было оправданно. Позднее эта тенденция превратилась в известную односторонность. Поскольку южновеликорусские тексты, представляющие одно из двух основных наречий языка, не моложе XVI в., история русского языка строилась без их показа-

ний. Применительно к национальному периоду, если говорить об истории языка, основанной на памятниках письменности, мы имеем не столько историю русского языка в целом, сколько историю его средне- и северновеликорусского комплекса. Привлечение изданий старых текстов, подготовленных историками, не меняет положения: и в изданиях историков юг России представлен небогато. Заметим попутно: нечто подобное наблюдалось и в русской лексикографии. Так, о «Словаре Академии Российской» (1789–1794) Ю. С. Сорокин пишет: «...выбор диалектных слов оказался для Словаря очень случайным. Число их в общем невелико, и специальная помета “областное” выступает в Словаре не так часто. Кстати отметим, что в Словаре лучше других представлены севернорусские слова и формы, особенно северной и западной группы этих говоров, из других – псковские, московские, сибирские и отчасти поволжские и прикаспийские. Южнорусские говоры с их специальной лексикой представлены в общем очень бедно» [Сорокин 1949: 146].

Не вникая в южновеликорусские источники XVI–XVIII вв., историки русского языка порою приходят к односторонним выводам, особенно в области лексикологии: прослеживая историю отдельных слов, они неизбежно склоняются к мысли об их историческом отношении непременно только к Северу или центральному району. Ограниченность вовлекаемых в исследование источников лишает его объективности.

Сопоставление современных лингвистических данных и данных памятников письменности могло бы оградить исследователей от некоторых увлечений в трактовке ряда явлений. Известно, скажем, что не так давно появление акающего «острова» говоров в пределах окающих костромских объясняли внутренним развитием последних. Однако памятники локальной письменности определённо свидетельствуют о наличии аканья в черте упомянутого «острова» уже в XVII в., а исторические факты говорят о миграции в эти костромские места носителей южновеликорусских говоров [см.: Грехова 1966].

Мы коснулись одной только категории источников – памятников письменности. И тем не менее из сказанного следует: необходима разработка источниковедения, приуроченного к нуждам языкознания, разработка лингвистического источниковедения. Имеется в виду изучение источников с точки зрения их лингвистической содержательности и информативности. Предмет лингвистического источниковедения – выявление, аннотирование и систематизация рассматриваемых в этом аспекте источников и разработка научных оснований их эдиционного воспроизведения [см.: Котков 1964].

Лингвистический источник представляет собой либо непосредственное (инструментально-физическое), либо опосредствованное (графическое) закрепление языкового материала в виде слов или их элементов, обладающее определённым внутренним единством. Это может быть и древняя запись, и текст современного художественного произведения, и магнитофонная лента. Между тем, в слово *источник* нередко вкладывают иное содержание, и вследствие этого лингвистическое значение отдельных категорий источников характеризуется ошибочно. С такой ошибкой встречаемся мы в одном традиционном положении, согласно которому рассматриваемые в качестве лингвистических источников современные народные говоры – основная база, на которой зиждется история языка (в данном случае русского), а памятники письменности – только дополнительные, всего лишь второстепенные.

Справедливо высказанное по этому поводу замечание В. В. Виноградова: «Общеизвестен шахматовский принцип, что “изучению памятников должно предшествовать изучение живого языка”, что “в основание всяких научно-лингвистических построений должны быть положены факты живого языка” и что “факты языка письменного могут быть рассматриваемы только как дополнительный материал, освещающий и подтверждающий тот процесс, который определяется сопоставлением данных, извлекаемых из живых наречий”. Но этот принцип в полной мере применим лишь к изучению звуковых явлений, – и то далеко не всегда, гораздо меньше он оправдывает себя в морфологических изысканиях. Исследование же синтаксических, лексико-фразеологических и семантических процессов нуждается в гораздо более сложной методологии и методике, а также в более широком и притом критически обоснованном привлечении показаний и свидетельств литературных текстов» [Виноградов 1964: 71-72].

Обратимся к рассмотрению этого вопроса в плане лингвистического источниковедения. Начнём с того, что вообще сравнение современной живой речи и памятников письменности в указанном аспекте несостоятельно, потому что сравнивают несравнимое: с одной стороны, – говоры, язык в его непосредственном виде, в его современном состоянии, с другой – не язык, а его отложение в произведениях старой письменности. Между тем, правомерным является только сравнение источников – памятников письменности и записей живой речи. К тому же и сравнение не всегда оправдывает мнение о преимуществе вторых. Дело в том, с какой целью изучают те и другие источники.

Обыкновенно утверждают, что живая речь, доступная непосредственному наблюдению, даёт представление о лингвистической системе, а речь, отложившаяся в письменности, в известной мере не

полностью, и недоступная такому наблюдению, не позволяет судить о ней. Само собой разумеется, что живая речь представляет систему, однако лишь современную, а не историческую, к которой имеют отношение памятники. В современной речи находим только реликты её былого состояния, а это, вполне понятно, не историческая система. Заметим далее: изучение живой современной речи, насколько известно, никогда не основывается на полном её объёме, а строится на записях – графических и фонетических, т. е., собственно говоря, тоже на источниках, только не объективно сложившихся, как памятники письменности, а создаваемых исследователями, приспособленных к исследованию, и потому в какой-то степени также ограниченных. Словом, и с точки зрения изучения системы языка в историческом аспекте принципиальное противопоставление данных живой речи и памятников письменности, как основных и дополнительных, представляется нам спорным. Это особенно очевидно в применении к русскому языку с его исключительно богатой письменной традицией.

Достаточно сказать, что ко времени появления весьма предварительного обзора сведений по русским народным говорам в виде труда А. И. Соболевского «Очерки русской диалектологии» (1892) система древнерусского языка по данным старой письменности в науке в общем была представлена. Об этом убедительно свидетельствует «Историческая грамматика русского языка» Ф. И. Буслаева. Все дальнейшие успехи в развитии истории русского языка едва ли не одинаково были обусловлены изучением и памятников письменности, и живой народной речи. Даже формирование исторической диалектологии было связано прежде всего с изучением письменных памятников: «А. И. Соболевский на основании анализа памятников письменности выявил наличие древнерусских говоров и этим самым положил основание исторической диалектологии. Изучение древних и современных русских говоров в сравнительно-историческом плане показало их историческую преемственность и закономерность языкового развития, неразрывные связи и в то же время специфику двух разделов истории языка – исторической и современной диалектологии» [Высотский 1961: 32].

Одной из определяющих черт источника – письменного памятника – является его принадлежность к тому или иному жанру письменности. К сожалению, разграничение жанров во многих современных работах по истории русского языка довольно непоследовательно. Например, в категорию грамот включают самый разнородный материал, мотивируя это тем, что в древности под грамотой могли понимать и документ и частное письмо. А то, что в более позднее время, в XVII в., письма обычно называли грамотками, во внимание не принимается.

Объединение в одну категорию грамот писем и актов текстов находим даже в новейших пособиях по истории русского языка. С научной точки зрения оно необоснованно. Лишённые юридического значения частные письма-грамотки более, чем другие источники, свободны от норм правописания и относительно строгих норм официального словоупотребления. Напротив, разного рода документы, особенно дипломатические, выдерживают эти нормы.

Не приходится говорить о том, что характер лингвистического источника, скажем, памятника письменности (его лингвистическая информативность) определяется и общими условиями (развитие письменности, состояние орфографии и т. д.), и более или менее существенными индивидуальными обстоятельствами, связанными с личностью писца или того и другого (степень грамотности, начитанность и т. д.). Без учёта тех и других моментов интерпретация показаний источника не может быть надёжной. Надо сказать, что в этом отношении лингвистические источники, в сущности, не исследуются.

В заключение – краткие выводы: интересы науки настоятельно требуют развития лингвистического источниковедения; полезно было бы образование групп по этой проблематике в лингвистических институтах и, может быть, на филологических факультетах университетов; в тематику диссертационных работ желательно было бы включить исследование некоторых вопросов лингвистического источниковедения; необходимо освещение этих вопросов в специальной периодике.



### **3. О лингвистических источниках с заданной информацией и некоторых других // Лингвистические источники. Фонды Института русского языка. – М., «Наука», 1967. – С. 5-9.**

Сопутствующее развитию языкознания увеличение потока информации выражается не только в обилии изданий, в которых излагаются достигнутые результаты и необходимые для их обоснования определённые коллекции фактов, но и в значительном накоплении самых разнообразных источников, составляющих материальную базу исследования. Имеем в виду прежде всего ту категорию источников, которые можно было бы назвать источниками с заданными свойствами [см. Котков 1964: 8], точнее – с заданной информацией, иначе говоря, такие, объём и информационные свойства которых заранее определяются лингвистами в соответствии с программой исследования. Речь идёт главным образом о многочисленных карточках, а также и фонотеках, получивших в последние годы определённое развитие. Создание их в научно-исследовательских институтах, университетах и пединститутах связано с разработкой тех или иных лингвистических проблем, подготовкой разного рода словарей и диалектологических атласов, наконец, с совершенствованием преподавания родного и иностранных языков. Хотя при образовании карточки или фонотеки её основатели всегда руководствуются ближайшей, конкретной задачей – разработкой избранной научной темы, – в дальнейшем, почти как правило, эти собрания лингвистических источников начинают служить и иным целям, порою не менее широким, нежели первоначальная. Словом, их служба, а иногда и развитие с выполнением первоначальной задачи не прекращается. Ведь аспекты исследования безграничны. Необходимо самый тщательный учёт этих накоплений лингвистических материалов, их бережное сохранение и популяризация.

К сожалению, создание подобных фондов не только в масштабе всей страны, но даже в пределах отдельных научно-исследовательских институтов никем не координируется. Отсюда и неизбежное дублирование, что, помимо ненужных материальных затрат, влечёт за собой и бесплодное расточение вспомогательного научно-исследовательского труда, едва ли правильно в данной сфере называемого научно-техническим. Отсутствие сведений об этих скоплениях специализированных источников приводит к тому, что многие исследователи не могут ими воспользоваться и, естественно, вынуждены заниматься собиранием аналогичных материалов. Таким образом, дублирование наблюдается и за пределами научно-исследовательских учреждений и лингвистических кафедр. Отсутствие полных, обобщённых сведений о

рассматриваемых источниках ограничивает не только их использование, но и разработку научных оснований, на которых должны строиться их подбор и систематизация. Эти научные основания подводятся в каждом отдельном случае, так сказать, заново, иногда без учёта предшествующего опыта. В результате нередко происходит изменение принципов отбора и оформления источников, нарушение структуры их фондов в процессе научного исследования, для которого они служат. А это не может не влиять на его последовательность и стройность. Влияние подобного характера редко принимают во внимание. Между тем оно порой бывает не менее существенно, нежели, скажем, влияние ошибок теоретического свойства.

Невнимание к описываемому кругу источников, их общенаучному значению, выражается, в частности, и в том, что их считают материалами для внутреннего ведомственного использования. Учёт их, за редкими исключениями, более или менее приблизительный, а хранение довольно кустарное. Научной организации фонотек и лингвистических картотек как прикладного раздела источниковедения, призванного обслуживать языковедение, вовсе не существует, да и само лингвистическое источниковедение пока ещё не сложилось.

Уже не приходится говорить, что имена энтузиастов, принимавших участие в создании рассматриваемых фондов источников, остаются обычно неизвестными. Об участии в этом незаметном, но огромном труде даже корифеев науки мало кто знает. А история любой науки, особенно в наше время, когда в трудах обобщающего характера всё большее и большее значение приобретает коллективное начало, не может быть полной и безусловно объективной без освещения и должной оценки тех творческих усилий, которыми, собственно, создаётся реальный фундамент исследования. Но дело не только в этом. Сфера подобного рода работ заслуживает большего внимания ещё по одной причине. При всё ещё возможном у нас порой пренебрежительном отношении к «собираТЕЛЬским» видам научного труда, они, по нашему глубокому убеждению, являются той необходимой, хотя и первоначальной, школой, без которой немислимо формирование действительного учёного, способного исследовать лингвистические реалии, а не только сочинения своих предшественников и современных коллег. При всей её внешней «атомарности», работа в данном направлении развивает у исполнителей синтезирующее мышление. Словом, это совсем не то, что укладывается в понятие «эмпиризм».

Нам кажется, наступило время, когда в этой сфере научной деятельности необходимо подвести итоги, обобщить накопленный опыт, разработать на базе этого опыта основы её усовершенствован-

ной, рациональной организации. Известным подведением итогов, обобщением накопленного опыта и является настоящая книга. В ней представлено обозрение лингвистических источников, которые постепенно отложились в Институте русского языка АН СССР, в основном источников с заданными информационными свойствами. Образование фондов таких источников в Институте было связано с выполнением коллективных исследований, созданием ряда словарей, подготовкой диалектологического атласа и разного рода справочников. За некоторыми из этих фондов – академическая традиция, другие представляют собой новообразования. В совокупности они хорошо отражают научную деятельность Института или, точнее говоря, её планируемые направления. Обозрение их в известной степени раскрывают историю Института и историю предшествовавших ему родственных учреждений.

Обозрение, в отличие от описания, в какой-то мере позволяет, не ограничиваясь сведениями об источниках и краткой их характеристикой, осветить и некоторые другие вопросы, скажем, программу формирования того или иного фонда источников, чего в общепринятых описаниях, вроде описаний рукописных собраний, естественно, не находим, поскольку в них описываются объективно сложившиеся источники, а не подготовленные исследователями по намеченной программе. Помимо освещения таких программ и тех или иных принципов, положенных в основу формирования фондов, книга содержит некоторые данные из истории соответствующих научных предприятий, а также и информацию об отдельных результатах, полученных в процессе исследования источников, особенно новыми методами. Хотя подготовка разделов книги осуществлялась по определённому плану, иногда оказывалось полезным отступить от принятого плана, если сообщение сведений, в нём не предусмотренных, так или иначе оправдывалось научной целесообразностью. Отступления, кроме того, обуславливались и спецификой каждого раздела, вернее, характеризуемого в нём фонда, большого или малого. Заметим ещё: жанр обозрения, вместо унифицированного описания, был избран и вследствие того, что рассматриваемые фонды источников нуждаются в упорядочении, едва ли не в большинстве своём пока не имеют строгого оформления, определённой систематизации и последовательной, хорошо продуманной шифровки.

Несколько слов о целях издания. Они сводятся к следующему: обобщить некоторый опыт создания и обработки указанных фондов, информировать о них научную общественность, содействовать опубликованием обозрения упорядочению и сохранению их, осветить для истории науки состояние данной вспомогательной области, привлечь

внимание специалистов к разработке научных оснований, на которых её следует строить.

Интересующие нас лингвистические источники, которыми располагает Институт русского языка АН СССР, хранятся в Москве и Ленинграде, в Москве – в Институте, в Ленинграде – в Словарном секторе [университета].

Наряду с материалами картотек, а также фонотек в Институте отложилось и некоторое количество таких лингвистических источников, как старинные рукописи и книги (главным образом старопечатные), списки диалектных слов, материалы по условным языкам и описания говоров. Не образующие обширных собраний, они, тем не менее, в совокупности представляют значительный интерес и потому тоже учтены в настоящем обзрении. Не относящиеся к категории источников, но заключающие в себе лингвистические данные неопубликованные работы языковедов были также приняты во внимание. Вообще следует сказать, что собирание и изучение лингвистического наследия и материалов биографического характера, связанных с именами языковедов, – одна из существенных задач современных историков науки. Наконец, в обзрении нашли место и такие вполне законченные, но неопубликованные труды, как тома диалектологического атласа, подготовленный под руководством Б. А. Ларина I том древнерусского словаря, а также составленный П. А. Расторгуевым словарь брянских говоров.

Иногда высказываются сомнения в целесообразности создания отделов рукописей при лингвистических институтах. Обыкновенно ссылаются при этом на существование архивов и рукописных фондов в крупных библиотеках и музеях. Однако не следует забывать, что далеко не всё, что интересует лингвистов, попадает в эти хранилища. Затем, проведение в институте исследований по истории языка и палеографии, источниковедению и текстологии всегда предполагает наличие в нём минимального «опытного» материала, необходимого и для различных справок и в качестве «учебного» фонда для молодых исследователей.

Если за изданием этой книги последует публикация обзрений лингвистических источников в других научных учреждениях, составители книги будут считать свою задачу выполненной.

#### **4. Об источниковедческом аспекте в исследованиях по истории русского языка // Восточнославянские языки. Источники для их изучения. – М., «Наука», 1973. – С. 4-13**

Разработка истории русского языка не свободна от существенного и, если говорить о последних десятилетиях, едва ли не традиционного недостатка: в работах по истории языка источниковедческий аспект обыкновенно не принимается во внимание, а если и принимается, то получает крайне слабое и чисто формальное отражение. Между тем, известно, что успех исследования и, прежде всего его объективность, зависит не только и порой не столько от применения новых и усовершенствования старых методов, но также и от того, на каких источниках оно построено и в какой степени освоены эти источники. Имеем в виду их количественную достаточность, а помимо того и непременный учёт принадлежности их к оригиналам, редактированным спискам с оригиналов или буквальным копиям, отнесённость к определённой лингвистической территории или языковому коллективу, соотносённость с известным временем, лингвистическую содержательность и степень информативности, обусловленной, скажем, характером графики, состоянием правописных норм, орфографической выучкой писцов и т. д.

Не будем приводить многочисленные примеры невнимания к лингвистическим источникам, отметим только, что оно в значительной мере связано с распространением в отечественном языкознании в определённые периоды его развития таких умозрительных концепций, как концепции марровского толка, позднее – структуралистские. Отрыв от живой материи языка, воплощённой в многообразном море источников, для последних особенно характерен. При наличии в нашей стране огромных фондов старинных рукописей и старопечатной книжности, положение это представляется особенно печальным. Оно ещё осложняется тем, что русистика унаследовала от прошлого недооценку обширных групп источников, особенно скорописных и, в первую очередь, приуроченных к южновеликорусской области.

Недооценка была исторически обусловлена. Первые исследователи русского языка, стремясь по возможности проникнуть в наиболее глубокие эпохи его истории, обращались к самым древним памятникам, писанным, как известно, уставом. Ограничение исследуемого списка источников древнерусскими памятниками тогда являлось оправданным. Впоследствии закреплению этой тенденции в известной степени содействовало сочувственное отношение тех кругов, идеологические воззрения которых находили опору в древнерусских текстах,

в своём подавляющем большинстве церковноканонических. На протяжении XIX в. состав рукописных источников, вовлекаемых в орбиту филологического изучения, постепенно расширялся, притом за счёт и древнерусских и примыкающих к ним по времени старорусских памятников. Деятельность в этом направлении таких корифеев отечественной науки, как А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, А. И. Соболевский, А. А. Шахматов, поистине неопенима. В то время достигла высокого уровня и общефилологическая и лингвистическая интерпретация древних текстов, что особенно ярко проявилось в исследованиях А. А. Шахматова. Заметим, однако: материалы более позднего времени почти не привлекали внимания лингвистов и, за немногими исключениями, издавались и исследовались только историками России. Даже об А. А. Шахматове, историке русского языка необыкновенно широкого диапазона, В. В. Виноградов писал: «Дальше – периоду средневековья (в сравнении с более ранним – С.К.) – А. А. не уделял такого пристально-настороженного, исследующего внимания...» [Виноградов 1922: 67].

Итак, в поле зрения русистов находились памятники уставного письма, постепенно дополняемые полууставными. Между тем, назревали уже такие задачи, решение которых предполагало привлечение материалов поздней письменности, скорописных материалов. К сожалению, последние, разрабатываемые историками, издавались с такими упрощениями, что для фонетического анализа оказывались абсолютно непригодными, а для изучения морфологии и синтаксиса – ограниченно. Вследствие указанных и других причин, останавливаться на которых нет необходимости, культура лингвистического чтения скорописи не получила должного развития и огромные фонды скорописных материалов историкам русского языка оказались неизвестны. Характерно в этом отношении, например, признание Е. Ф. Будде, внимание которого привлекли фонды старинных рукописей в Рязани: «Так как мы сами с величайшим трудом могли разбирать скоропись дьяков и грамотных людей XVI–XVII-го века, которой написаны интересовавшие нас документы: челобитные, дарственные записи, грамоты, хозяйственные росписи и т. п. письменные памятники, то А. В. Селиванов (правитель дел Рязанской учёной архивной комиссии – С.К.) взял на себя труд читать нам вслух все эти акты, соблюдая в произношении особенности правописания» [Будде 1892: 165]. А далее следовала оговорка, в которой ясно прозвучало существовавшее в то время отношение к древним и поздним текстам: «Впрочем, и поездка в Рязань дала очень немногое, так как мы не нашли древних документов: самые старшие оказались принадлежащими концу XVI столе-

тия и началу XVII-го» [там же].

К сожалению, то, что было естественно в конце минувшего века, как абсолютно неестественное продолжается в наше время. Невнимание историков языка к поздним, скорописным текстам, неосведомлённость в этих текстах – явление едва ли не общее.

Полагаем, незнание упомянутых текстов и отсутствие их лингвистических изданий сыграло определённую роль в утверждении сомнительного мнения, вошедшего в качестве бесспорного в учебные пособия, что современный фонетический облик и грамматический строй русского языка к XV–XVI вв. в общем уже сложились и поэтому более поздние памятники каких-либо существенных показаний о его фонетико-грамматическом развитии, собственно, не содержат. Общая история русского языка (а не только литературного) в её современном виде – это, в сущности, его история до XV–XVI вв. Подобное состояние разработки данной научной дисциплины, помимо обстоятельств иного рода, повторяем, во многом обусловлено указанным выше невниманием к поздним скорописным источникам XVI–XVIII вв. Та же самая неосведомлённость в поздних скорописных текстах, отсутствие в науке ясного представления об их лингвистическом наполнении мешают реальному пониманию такой коренной и сложной проблемы, как роль в истории русского языка церковнославянского элемента.

Неисчислимы материалы русской скорописи XVI–XVIII вв. в своём огромном большинстве являются текстами делового и, в некоторой части, бытового содержания. В сравнении со всеми другими источниками названной эпохи они с наибольшим приближением к действительности отражают былое состояние народно-разговорной речи. Поэтому отставание в их исследовании ограничивает возможности выявления конкретного облика этой речи, применительно к данной эпохе, и выяснения её исторической роли в формировании русского национального языка и его литературной разновидности.

Для разработки реальной исторической диалектологии изучение скорописных источников XVI–XVIII вв. в сочетании с показаниями местных говоров исключительно перспективно. Как это ни странно, несмотря на наличие массы таких скорописных источников, русская историческая диалектология даже указанного периода остаётся во многом гипотетической, поскольку сводится в основном к проецированию современных диалектных данных в историческое прошлое. География русских народных говоров означенного периода не может быть установлена с достаточной степенью вероятности без привлечения источников подобного рода, писанных местными людьми. Только эти материалы XVI–XVIII вв. могут раскрыть полную картину диалектов

русского языка по всей территории его распространения, и особенно говора Москвы в эпоху его формирования как основы устного варианта современного русского литературного языка.

Хотя в последние два десятилетия и появились слабые приметы заинтересованности отдельных историков языка в изучении поздних скорописных текстов, до основательного введения их в лингвистические исследования ещё очень далеко. Пока историки русского языка, за самыми редкими исключениями, не владеют чтением скорописи, разыскания, построенные на материале этого рода письменности, – явления просто редкостные. Особенно сказывается незнание скорописи на исследованиях по истории русского языка в периферийных высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях. Дело в том, что древние рукописи уставного и полууставного письма, чтение которых не затруднительно, собраны главным образом в центральных архивохранилищах, а периферийные архивы, за малыми изъятиями, располагают только скорописными текстами XVI–XVIII вв. Таким образом, последние остаются не исследованными, хотя изучение их могло бы оказаться более содержательным и более результативным, нежели исследования, основанные на упрощённых изданиях памятников, к которым вынуждены прибегать лингвисты.

Словом, дальнейшее развитие истории русского языка во многом зависит от приобщения исследователей к рукописному наследию, притом, не только уставному и полууставному, но также и скорописному.

Недооценка памятников поздней письменности привела к такому печальному следствию, как разработка истории русского языка без учёта исторических свидетельств южновеликорусского наречия, поскольку дошедшие до нас памятники этого наречия – не старше XVI столетия. Забвению южновеликорусской письменности способствовало давнее господство мнения, согласно которому степные места вплоть до XVI в. в результате татаро-монгольского нашествия и последующих татарских нападений пребывали в полном запустении [о несостоятельности этого мнения см.: Котков 1963: 6-17]. Предполагалось: южновеликорусское население сформировалось в процессе сравнительно позднего колонизационного движения с севера, причём в составе колонизационных волн были как северяне, так и потомки старых обитателей края, когда-то отхлынувших на север под давлением татаро-монголов. А отсюда так или иначе следовало: население степного Юга пёстрое и ожидать в его письменном наследию отражения более или менее единой глубокой лингвистической традиции, а, значит, и существенных данных для истории русского языка вовсе не приходится. В общем, к нашему времени сложилось такое положение:



история русского языка позднее XIV в. и вплоть до XIX, до привлечения диалектных записей, – это его история лишь в северно-средне-великорусском «списке» или, скажем, «редакции». Между тем, без серьёзной разработки старинных южновеликорусских источников невозможно выяснение таких процессов, как образование средневеликорусских говоров, в том числе московского, формирование национального языка и демократизация литературного. Изучение южновеликорусской письменности XVI–XVII вв., вероятно, явилось бы полезным и для более или менее конкретного, а не гипотетического воссоздания языка великорусской народности, хотя его обыкновенно и локализируют в Северо-Восточной Руси и рассматривают уединённо от южновеликорусской стихии.

Сложившееся в прошлом изучение церковнославянских текстов в наши дни сведено к минимуму. Невнимание к этой категории памятников длится десятилетиями. Вполне объяснимое условиями первых лет революционной эпохи, ныне оно не может быть признано правомерным, потому что значительно ограничивает возможности познания русского языка старшего периода. Нет заметного продвижения в монографическом исследовании памятников, которые можно было бы связывать не просто с церковнославянской стихией, а, вслед за В. В. Виноградовым, с несколько более широкой, именуемой книжно-славянской. «В настоящее время, – справедливо писал В. В. Виноградов, – проблема исторических взаимодействий и соотношений народно-русской и старославянской, а также и позднейшей церковнославянской (или, вернее, книжно-славянской) стихий в русском литературном языке на протяжении всей его истории и во всех сторонах его строя и состава не может считаться всесторонне и равномерно освещённой. Даже древнерусские письменные памятники XI–XII вв., такие, например, как Святославов изборник 1076 г., летописные списки, жития Бориса и Глеба, как сохранившиеся, правда, в поздних списках, произведения проповеднической поучительной литературы (сочинения митрополита Илариона, Климента Смолятича, Кирилла Туровского и др.), Киево-Печерский патерик, древнейшие тексты переводных повестей и др. под., с историко-лингвистической точки зрения почти не исследованы» [Виноградов 1958: 20].

Вследствие этого решение вопроса об основе русского литературного языка после известных работ С. П. Обнорского не выходит за рамки крайне смутных, исключительно умозрительных построений. Поскольку ранний период русской письменности оставил нам, за малым изъятием, лишь церковнославянские источники, в них, не менее, чем в текстах собственно русского характера, и следует искать реше-

ние этого важного вопроса. Фронтальное изучение данных памятников, прежде всего в лексическом отношении, может дать основательные сведения о собственно древнерусской стихии в литературном языке восточных славян. До этого, помимо описания отдельных древних памятников, необходимы обобщающие исследования лингвотекстологического плана, к примеру, всех евангелий, всех кормчих, всех миней и других категорий памятников церковнославянского свойства. Выявляемые в этих памятниках, в общем более или менее однородного содержания, лексические, грамматические и фонетические разночтения в определённой степени представляют и собственно русскую речевую культуру. Обнаруживаемые в составе подобных памятников, они имеют особое значение, далеко не соизмеримое с их количественным присутствием в текстах данной категории. Последние по известным причинам переписывались особенно тщательно, поэтому их показания в тех немногих случаях, когда, при всём внимании писца, элементы его живой речи, вопреки традиции оригинала, всё же заявляли о себе, представляются особенно значительными. Не всегда элементы такого рода были непременно диалектными. То обстоятельство, что эти элементы органически «вписывались» в традиционный текст, оказывались в нём вполне приемлемыми, могло свидетельствовать об их литературности, а когда они вытесняли традиционные, – об их литературной эквивалентности этим традиционным элементам.

Исследование старинной письменной культуры обыкновенно проводится в двух планах – со стороны её содержания и распространения в каком-то количестве списков, редакций и изводов. Однако такое изучение не даёт достаточно полного представления о развитии письменного языка и влиянии его на устную стихию. Необходимо ещё выяснение тех конкретных условий, в которых бытовала эта письменность в читательских кругах того времени. Пока исследований данного плана мы ещё не имеем.

Такой вырисовывается общая картина освоения древних и поздних источников в современной истории русского языка.

В трудах по истории русского языка источниковедческий аспект проступает очень слабо, а порой и вообще отсутствует. В лучшем случае в исследовании находим только список источников, предназначенный для раскрытия их сокращённых обозначений. Список этот по большей части является довольно стандартным и не выходит обычно за пределы общеизвестных изданий памятников. Места хранения памятников указываются не часто, в редких случаях приводятся номера или названия фондов, не говоря уже о номерах описей и единиц хранения. Иногда наименования изданий памятников включаются в один

список вместе с названиями рукописей: настолько недифференцированно воспринимают составители списков эти не сводимые к одному знаменателю виды источников. Если работы по истории языка предваряют обзоры источников, то они, как правило, бывают элементарно археографическими, лингвистическая специфика источников освещения не получает. В обзорах не раскрывается содержание источников, их тематическое наполнение; не отмечается принадлежность их к определённому жанру письменности, а в тех случаях, когда это оказывается возможным, и приуроченность их к определённой территории. Никогда не указывают писцов. А главное, не получают освещения такие свойства источников, как лингвистическая содержательность и лингвистическая информационность [о лингвистической содержательности и информационной см.: Котков 1964].

Отсутствие в обзорах этих сведений – не всегда непохвальная дань традиции, иногда – и следствие поверхностного знакомства с рукописными материалами. Необходимо уважительное отношение к источникам, глубокое проникновение в их лингвистические и информационные свойства, без чего и совершенные методы исследования не могут дать надёжной картины исторического развития языка. Знание предопределяемой содержанием источников лингвистической содержательности последних обеспечивает их оптимальный подбор для исследования в намеченном направлении. Знание информационности источников обеспечивает наибольшую объективность их лингвистических показаний. Осведомлённость в этих свойствах источников предохраняет рустистов от серьёзных ошибок.

Так, если к текстам делового содержания и притом локального происхождения подходить формально-логически, в них, естественно, следует ожидать отражение лексических диалектизмов. Однако детальное рассмотрение текстов с точки зрения их содержания и предопределяемой последним лингвистической содержательности убеждает нас в том, что подобные отражения в них в общем далеко не полные, а отдельные группы диалектных слов, вроде элементов детской речи, наименований явлений природы, многих названий растений и животных, ряда предметов домашнего обихода и некоторых других, в них вовсе не представлены. Только самое близкое знакомство с текстами данной категории даёт возможность понять, почему определённые лексические диалектизмы, известные нам из современных говоров той же территории и заведомо бывшие в употреблении в прошлом, не получают в них отражения. Лапидарность и событийный характер собственно деловых текстов, во отличие от эпистолярных, исключают отображение в них таких житейских ситуаций, в которых могли быть

употреблены подобные лексические элементы. Впрочем, иногда, хотя и довольно редко, они заявляют о себе и в собственно деловых текстах, «откликаясь» в отдельных прозвищах и топонимических образованиях [примеры см.: Котков 1970: 131, 261-262, 264-265, 272].

К ошибкам влечёт и неосведомлённость в обстоятельствах, определяющих информативность источников. Например, недооценка того, что при тщательном списывании книг, исполненных уставом, да к тому же церковно-канонических, условия для проявления аканья были крайне неблагоприятны [см.: Котков 1971: 85-86], невольно приводит к недооценке его действительного распространения в соответствующей зоне Московской Руси XIV–XV вв.

Иногда приходится наблюдать, как только на том основании, что рукописный источник принадлежит тому или иному городу, его показания привлекают при изучении местных говоров, их фонетики и морфологии, хотя указанный источник (например, писцовая книга) и был написан не местным писцом, а присланным из Москвы. А сколько ошибочных заключений о былой географии отдельных слов, фонетических и грамматических явлений, их первых фиксациях в памятниках рассеяно в статьях и диссертациях, авторы которых, ограничившись изучением печатных материалов, не обратились к необходимым рукописям или воспользовались ими недостаточно квалифицированно, так сказать, мимоходом.

Всё сказанное приводит к заключению: дальнейшее успешное развитие истории русского языка, превращение её в синтезированную, в значительной степени зависит от разработки её источниковедения. Наступило время серьёзного поворота в этом направлении.

**5. О лингвистическом источниковедении //**  
**Вопросы языкознания. – 1977. – № 6. – С. 51-58.**

В пятидесятые – семидесятые годы изучение русского языка в его современном состоянии и в историческом аспекте значительно продвинулось вперёд. Созданы академическая грамматика и фундаментальный словарь литературного языка, разрабатываются вопросы культуры речи, стилистики и терминологии. Изучается функционирование русского языка как международного и как средства межнационального общения народов Советского Союза. Получили широкое развитие диалектологические разыскания, выходит обширный словарь народных говоров, появились обстоятельные монографии по истории русского языка и лингвистические издания памятников древнерусской эпохи и более поздней поры. С учётом современных научных достижений совершенствуются основы преподавания языка, пишутся учебники для вузов и школ.

В условиях общего подъёма филологических исследований в нашей стране возникло новое научное направление – лингвистическое источниковедение. Его формированию благоприятствовали и длительный опыт отечественной филологии, особенно в области исследования и издания памятников языка, и наличие в хранилищах СССР неисчислимых фондов старинной письменности. Особую роль сыграло при этом положение, которое сложилось в разработке истории русского языка. При всех достижениях данной науки остаются ещё не решёнными особенно сложные проблемы его минувшей жизни, знание которых необходимо не только в чисто теоретическом плане, но и для освещения определённых моментов его современного состояния, а также, в известной степени, и прогнозирования развития. Пока ещё не в полной мере выяснено, какой была основа древнерусского литературного языка – русской или церковнославянской, возникшей на базе заимствованной старославянской письменности; не получил достаточной характеристики язык великорусской народности; во многом ещё не изучен процесс формирования русского национального языка, нуждается в интенсивном исследовании история стилей литературного языка и т. д. Для решения названных и других проблем, помимо совершенствования методов исследования, необходимо введение в научный оборот и квалифицированное освоение новых источников. Опыт разработки указанных проблем свидетельствует об этом со всей определённостью.

Так, выясняя процесс образования и природу древнерусского литературного языка, русисты обыкновенно оперирует сравнительно

ограниченным кругом источников (в основном такими, как «Русская Правда», сочинения Владимира Мономаха, «Моление Даниила Заточника», «Слово о полку Игореве», и, кроме того, летописями). Хотя упомянутые источники и являются особенно важными для разработки истории русского языка, их данных всё же недостаточно для более или менее обстоятельных суждений по этим сложным вопросам. Между тем хранилища нашей страны располагают обширным рукописным фондом древнерусских памятников, представленных главным образом в списках и в значительной степени ещё не изученных. Одних только рукописных книг XI – рубежа XIV–XV вв., которые могут быть отнесены к разряду литературных памятников, учтено 1494 [см. Предв.список 1966]. Возможности познания по этим текстам роли в древнерусской культуре, с одной стороны, церковнославянского, с другой – восточнославянского начал, в сущности, мало изучены. К тому же их лингвистические издания единичны. Словом, материальная база, необходимая для исследования древнерусского литературного языка, остаётся во многом не освоенной.

Отсутствие в русистике конкретного представления о языке великорусской народности (XV–XVI вв.) преимущественным образом также связано с недостаточным знанием соответствующих памятников, хотя, в отличие от древнерусских, в основном церковно-канонических, немалая часть их (актовые материалы) довольно наглядно отражает стихию народно-разговорной речи. Заметим, их лингвистические публикации также единичны. Недостаточное внимание историков языка к памятникам XV–XVI вв. до некоторой степени обусловлено всё ещё господствующим в науке, хотя и необоснованным мнением, что современный фонетический облик и грамматический строй русского языка к XV–XVI вв. в общем уже сложились и поэтому более поздние памятники каких-либо существенных данных о его фонетико-грамматическом развитии, собственно, не содержат.

Исключительное значение приобрёл источниковедческий аспект исследования в разработке проблемы образования русского национального языка. Свяzano это прежде всего с тем традиционным обстоятельством, что памятники южновеликорусского происхождения как относительно поздние (не ранее XVI в.) внимания лингвистов не привлекали. В непосредственном, рукописном виде историки русского языка их никогда не исследовали, а отдельные издания этих текстов осуществлялись учёными-нефилологами либо историками-любителями, с весьма упрощённым воспроизведением текста, не отвечавшим требованиям лингвистического исследования. В результате история русского языка национального периода строилась только на показани-

ях памятников северно- и средневеликорусского происхождения, без учёта влиятельной в этом процессе роли южновеликорусского наречия, была историей во многом неполной и явно односторонней. Значение северновеликорусского вклада в образование национального языка обычно преувеличивалось, хотя развитие России в течение этого времени никаких оснований для признания подобной концепции сложения национальной речевой культуры, в общем, не давало. Ср., например, такой факт: в XVII столетии экономический центр тяжести Московского государства перемещается на юг [см.: Готье 1937: 88].

Пытаясь решать проблему образования национального языка, русисты восполняли отсутствие каких бы то ни было сведений из южновеликорусских памятников некоторыми показаниями современных южновеликорусских говоров, но усилия эти были напрасны, потому что в современных говорах мы не находим многого из того, что отличало их бывшее состояние.

Заметим, кстати, пока учёные, исследуя язык национального периода, ограничивались памятниками деловой письменности северно- и средневеликорусского происхождения, не удавалось вполне убедительно установить принадлежность периферийных писцов к местным уроженцам. Помимо известной неустойчивости правописания, в условиях которой выделение в письме дифференцирующих говоры диалектных черт было несколько затруднено, объяснялось это и тем, что вследствие некоторых свойств северно- и средневеликорусских говоров (например, отсутствия или слабости проявления редукции безударных гласных) их специфические признаки в старинной деловой письменности проступали менее выразительно, нежели специфические признаки южновеликорусских говоров. В результате в науке утвердилось мнение, что писцы на периферии в большинстве были не местными, а присланными из Москвы. Отсюда, естественно, вытекало сомнение в возможности плодотворного изучения по материалам старой периферийной письменности локальных разновидностей народной речи. Осуществлённое нами широкое обследование рукописей делового содержания XVI–XVII вв., написанных в южновеликорусской области, позволило бесспорно установить: писцы обширной южной периферии, за самыми редкими исключениями, были людьми местными [см.: Котков 1963: 17–27]. Особенно убедительны в этом отношении свидетельства отказных книг, характерных именно для Юга с его военнослужбым землевладением, в которых наряду с яркими диалектными встречаем и прямые, формальные указания на местное происхождение писцов [см.: Котков 1969: 131]. Есть основания полагать, что и

в других областях Русского государства писцы в основном принадлежали к местным уроженцам.

Приведённые и многие другие факты склоняют к выводу: назрела необходимость в специализации изучения лингвистических источников. Поскольку выполнение подобной задачи не могло быть обеспечено разрозненными усилиями, в 1958 г., по предложению автора этих строк, в составе Института русского языка АН СССР был образован соответствующий сектор, который впоследствии получил наименование Сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников языка. Особое выделение в этом наименовании исследования памятников языка находит объяснение в современном состоянии разработки истории русского языка: к сожалению, старинные русские тексты в их первоизданном состоянии – в рукописях – пока среди языковедов изучают ещё немногие, обыкновенно пользуются изданиями памятников.

Со страниц журнала «Вопросы языкознания» мы обратились к филологам с вопросом, издание каких древних и поздних памятников русского языка было бы особенно актуально [см.: Жуковская, Котков 1960], и получили обстоятельные ответы – свидетельства глубокой заинтересованности учёных в развитии источниковедческих исследований. С учётом рекомендаций научной общественности была намечена программа как теоретических исследований, так и практических работ, особенно введения в научный оборот новых лингвистических изданий старинных русских текстов. Обобщение предшествующего научного опыта публикации источников нашло выражение в составлении правил лингвистического издания памятников древнерусской письменности [см.: Правила 1961]. В процессе выявления, описания и, особенно, исследования источников по истории русского языка, а также анализа источников, представляющих современный русский язык (с учётом опыта их издания), складывались теоретические основы лингвистического источниковедения и разрабатывались некоторые вопросы эдиционной теории.

Самый объект исследования, с точки зрения лингвистического источниковедения, можно определить следующим образом: лингвистический источник представляет собой единицу непосредственного (инструментально-физического) или опосредствованного (графического) запечатления языка или его элементов, объём, содержание и характер которой определяются, с одной стороны, возможностями и потребностями общения, с другой, – строем запечатлённого. По происхождению лингвистические источники делятся на объективно сложившиеся и формируемые исследователями в соответствии с характе-



ром и задачами исследования – материалы, собранные по анкетам и программам. Поскольку лингвистическое наполнение вторых, формируемое по анкетам и программам, в определённой мере задано, их можно с известным основанием относить к источникам с заданными свойствами. Источники делятся, кроме того, на первичные и вторичные. В категорию первых входят те, лингвистическое наполнение которых сохраняется в первоизданном виде; категорию вторых образуют те, лингвистическое наполнение которых в процессе подготовки к исследованию либо в целях справочной службы было адаптировано – лингвистические картотеки, словари.

И лингвисты-источниковеды, и лингвисты иных специальностей изучают одни и те же источники, но первые в процессе изучения следуют от знания живой материи языка к познанию её запечатлений в источниках, вторые – от знания запечатлений к познанию живой материи языка. Лингвистическому источниковедению свойственны особый предмет исследования и особый метод исследования. Определение предмета лингвистического источниковедения имеет своим основанием понятия лингвистической содержательности и лингвистической информационности источника.

Лингвистическая содержательность – это совокупность заключённых в источнике лингвистических данных, определяемая его содержанием и отношением данного источника к определённому лингвистическому образованию (языку, наречию, говору), а также степени познания последнего. Лингвистическая информационность представляет собой определяемую условиями образования источника степень прямой и косвенной отражённости в нём лингвистической содержательности. Если лингвистическая содержательность – понятие собственно языковое, то лингвистическая информационность имеет отношение прежде всего к внешним средствам выражения языка и внешним условиям его существования (характер графики и орфографии, правописные навыки писцов, уровень и состояние звукозаписывающей техники и т. д.). Исследование источников со стороны их лингвистической содержательности и информационности и составляет предмет лингвистического источниковедения. Метод рассматриваемой науки состоит в изучении лингвистической содержательности в соответствии с иерархией её обусловленности содержанием источника, в направлении от непосредственной ко всё более опосредствованной, а также в исследовании лингвистической информационности в её многообразной обусловленности культурой запечатления языка.

Означенные предмет и метод исследования отграничивают лингвистическое источниковедение от других лингвистических наук и

от смежных историко-филологических, таких, как, скажем, текстология, палеография и археография; отграничивают и от того источниковедения, которое обслуживает историческую науку. Несколько слов о соотношении лингвистического источниковедения и археографии, содержание которой обыкновенно видят в разработке правил публикации письменных источников и подготовке их к изданию. В основе (предмет и метод исследования) их функции различны, но в одном отношении совпадают: издание письменных памятников, составляющих суть археографии, занимает определённое место и в рассматриваемом источниковедении. Означает ли это, что в данной сфере разграничение указанных наук невозможно? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить два момента: органична ли эдиционная функция для лингвистического источниковедения и свойственны ли ей особые правила, отличные от принятых в археографии. Относительно первого момента можно сказать следующее: введение памятников в научный оборот, а это осуществляется и посредством издания, – неременная конечная цель лингвистического источниковедческого исследования. Относительно второго момента следует заметить, что лингвистические воспроизведения текстов имеют своим основанием правила, отличные от принятых в археографии: для выражения лингвистической специфики археографические во многом неприемлемы. Таким образом, в эдиционной сфере между археографией и лингвистическим источниковедением существует осязательное разграничение.

Ориентация в море лингвистических источников становится всё затруднительней. Оно непрерывно расширяется за счёт буквально необъятной массы печатных произведений, а также огромной письменности, бесчисленных магнитофонных и других записей и т. д. Правда, из этой массы материалов далеко не всё остаётся в государственном и личном хранении, но и то, что остаётся, поистине безгранично. Наступает время систематизации источников, основанной на их лингвистической оценке. Правомерной была бы систематизация по лингвистической содержательности. В пределах этой основной систематизации возможно распределение источников по признакам иного рода, например, по способам образования – графические, инструментально-физические; по характеру графики – печатные, письменные, а в пределах последних – уставные, полууставные, скорописные. Систематизация лингвистических источников, сделав их в общем обозримыми, облегчит их выбор для исследования и научной публикации.

По мере перехода от древнерусских к источникам эпохи великорусской народности и затем к источникам эпохи национального развития русского языка, в особенности современным, сложность этой

задачи возрастает. Попытки известной систематизации памятников русского языка пока выражаются, главным образом, в учёте рукописного наследия древнерусской поры. Однако эта важная систематизация (вернее, инвентаризация) памятников всё ещё не является полной (для древнерусских вполне возможной), не объединяет их в определённые группы и, замыкаясь в археографических рамках, не раскрывает их лингвистического значения. Опытов систематизации и даже инвентаризации старорусских памятников языка лингвисты, в сущности, не предпринимали и получают ориентировочные сведения о них обыкновенно лишь из архивных описей и путеводителей, чего для выбора источников, даже предварительного, с целью их исследования и издания недостаточно. А что касается материалов, в которых получает запечатление современное состояние русского языка, то они в огромном большинстве либо не могут быть учтены (например, значительная часть переписки учреждений, не подлежащая долговременному хранению, а также частная переписка или, скажем, сочинения школьников), либо ещё и выборочно не отложились в архивохранилищах.

Необыкновенное обилие и разнообразие современных запечатлений языка делает их источниковедческое изучение, в частности систематизацию, в достаточной мере трудным. Возможно, именно поэтому исследования в указанном аспекте и не развиваются. Едва ли не полное отсутствие источниковедческого аспекта в исследовании русского языка по современным материалам объясняется, по-видимому, и тем, что восприятию учёного-современника этот язык доступен не только в запечатлениях-источниках, но и в живом исполнении, что как будто само собой, без особого изучения источников как запечатлений, позволяет ему уверенно интерпретировать показания последних. В общем, бесчисленные современные материалы, привлекаемые для изучения языка, уже вследствие их принадлежности к современным, источниковедческому анализу обыкновенно не подвергаются. Между тем он оказывается не лишним, поскольку ни один исследователь не в состоянии обладать знанием всех современных источников, необычайно разнообразных во многих отношениях, в значительной мере массовых, таких, к примеру, как материалы почтовой и телеграфной корреспонденции, материалы письменного делопроизводства, радио- и телеинформация, газетная и журнальная периодика, магнитофонные записи и т. д.

Систематизация подобных источников, основанная на полном их учёте, является немислимой. Предстоит разработка критериев отбора из разновидностей-серий этих источников, так сказать, типичных, необходимых для общей характеристики каждой из данных серий по

её лингвистической содержательности, а характеристики в свою очередь послужат основой систематизации. Наиболее сложной представляется систематизация в качестве лингвистических источников текстов художественной литературы, что связано главным образом с тем, что их лингвистическая содержательность, наряду с основным для данных текстов литературным языком, во многих случаях отражает, хотя бы и частью, в элементах, и другие лингвистические образования (назовём проявления локальной речи и арготического общения, элементы социальных терминологий и т. д.). Да и в литературном языке, запечатлённом в текстах подобного рода, наличествуют стилистические разновидности, которые нельзя не учитывать.

Специализированное изучение некоторых источников приводит к необходимости их введения в широкий научный оборот посредством публикации и вместе с тем определяет целесообразную форму этой последней. Публикация может быть наборной или факсимильной или заключающей в себе и то и другое воспроизведение текста. И способы, и средства факсимильного воспроизведения рукописных текстов в наше время всё более и более совершенствуются, что позволяет вовлекать в интенсивное исследование в виде подобных воспроизведений уникальные и поэтому мало доступные для непосредственного изучения рукописные памятники языка. В связи с этим появляются высказывания, что наборные издания данных памятников становятся ненужными. Полагаем, такие высказывания совершенно несостоятельны. Как известно, в старинных русских рукописях (уставных, полууставных и скорописных) текст не делится на слова и является сплошным. Естественно, в том же виде воспроизводится он и в изданиях, осуществляемых факсимиле. Наборные издания отличает возможность деления текста на слова, а это необходимый начальный этап его лингвистического исследования. Указанное преимущество наборных изданий имеет особое значение при исследовании древнерусских текстов, правильное прочтение которых, в частности переводных с греческого, иногда особенно затруднительно. Факсимильное воспроизведение сплошного текста, т. е. без деления на слова, в сущности говоря, исключает возможность составления к нему указателей слов и форм, а также значительно затрудняет соотнесение с соответственными местами текста палеографических и иных примечаний. При отсутствии упомянутых недостатков, наборное издание удовлетворяет требованиям введения публикуемых текстов в широкий научный обиход при помощи такой печатной графики, к которой, за немногими исключениями, прибегают и в сфере других наук и в общем литературном обиходе (книжная, журнальная и газетная печать). Определёнными досто-

инствами, в сравнении с наборными, обладают и публикации-факсимиле, и прежде всего – идентичностью графики рукописной. Учитывая особенности тех и других воспроизведений рукописных текстов, приходим к заключению: оптимальной лингвистической публикацией можно считать такую, в которой представлено и наборное, и факсимильное воспроизведение рукописного текста или по меньшей мере его фрагментов.

Осуществляемое Сектором лингвистического источниковедения и исследования памятников языка издание старинных рукописных источников ориентировано, с учётом реальных возможностей, именно в этом направлении. Программа печатного воспроизведения памятников русского языка реализуется в двух сериях – в издании древнерусских источников, писанных уставом и полууставом, и в издании скорописных источников XV–XVIII вв. Начало первой серии было положено публикацией знаменитого «Изборника 1076 г.» [Изб.Св. 1076 г. – 1965] – самого раннего памятника не столько церковнославянского, сколько русского языка, причём впервые в СССР при лингвистическом издании рукописи в этом случае был применён оптико-фотографический анализ. Затем последовало издание рукописи XI–XII вв. – «Синайский патерик» [Патерик Син. – 1967], в которой выразительно представлено взаимодействие русской и старославянской стихий. В той же серии был опубликован «Успенский сборник XII–XIII вв.» [Усп.сб. – 1971 г.]. В нём, наряду с переводными, находим первые оригинальные русские литературно-художественные произведения. Осуществлена и публикация «Выголексинского сборника» [Выг.сб. – 1977] того же самого времени. В «Сборнике» выразительно представлен язык переводной литературы, занимающей в древнерусской культуре значительное место. Введение в широкий научный оборот этих древнерусских памятников связано с разработкой актуальных проблем истории древнерусского языка. Решению не менее актуальных проблем истории русского языка более поздней эпохи подчинено издание скорописных источников. В «Назирателе» [Назиратель – 1973] получили отражение русский литературный язык XVI в. и русско-польские культурные связи. Большое значение для исследования вопросов образования национального языка, познания былого состояния русской народно-разговорной речи, формирования московского койне и истории литературного языка имеют публикации разнообразных текстов делового содержания, в частности эпистолярных [Переп.частн.лиц – 1964; Переп.Безобразова – 1965; МДБП – 1968; Грамотки – 1969]. Отметим далее издание вестей-курантов XVII в. [Куранты – 1972 и 1976], подготовивших появление в России периодической печати. Включая

заметный элемент народно-разговорной стихии, они до некоторой степени представляли и то лингвистическое начало, из которого впоследствии развивались лексико-фразеологические средства русского литературного языка, характерные для сферы общественных отношений, публицистического стиля.

Вопросы теории и практики лингвистического источниковедения, в том числе и описания и издания памятников языка, освещаются в специальных источниковедческих сборниках. С 1963 г. по 1976 г. вышло десять таких сборников [см. Сб.статей]. Расширение и углубление работ по лингвистическому источниковедению становится необходимым условием дальнейшего развития русистики и в целом языкознания.

## **6. Источниковедческие вопросы истории русского языка // Вопросы языкознания. – 1986. – № 4. – С. 60-69.**

Развитие языка великорусской народности в русский национальный язык ещё не получило должного освещения в науке. Обусловлено это рядом обстоятельств. Не касаясь некоторых других, обратимся к тем, влияние которых сказывается в последние десятилетия. Разработка названной проблемы невозможна без опоры на исторические данные как северновеликорусского, так и южновеликорусского наречий, а также средневеликорусских говоров и в особенности московской речи. Между тем история русского языка эпохи его национального развития строилась без учёта показаний южновеликорусских памятников, поскольку вплоть до пятидесятих годов они не изучались. Невнимание русистов к этим памятникам предопределялось и тем, что до нашего времени сохранились лишь довольно поздние из них – не старше конца XVI в., и тем, что господствовало мнение о сравнительно позднем формировании южновеликорусского наречия. Полагали, что оно сложилось в процессе поздней колонизации Юга, едва ли не полностью запустевшего в результате нашествия степняков, причём новое население Юга составили, вернувшись на землю предков, потомки старых его обитателей, бежавших во время указанного нашествия в прилежащие к Югу с северо-востока, севера и северо-запада места, коренное население которых было инодиалектным и вместе с тем неоднородным в диалектном отношении. Но если, согласно данной концепции, дело обстояло именно так, то в течение трёх столетий совместного проживания с ним выходцы с Юга не могли не подвергнуться его диалектным воздействиям. Отсюда неизбежно следовало: порождённое поздней колонизацией разнодиалектного состава, южновеликорусское наречие представлялось лишённым глубоких традиций и, можно сказать, конгломератом, – словом, не совсем органичным в истории русского языка и потому не особенно перспективным для её исследования. Тем самым южновеликорусское участие в формировании национального языка сводилось к малозначимому и вся история русского языка национального периода становилась крайне односторонней – выступала, собственно говоря, в северно- и средневеликорусской редакции. Из такого обеднённого представления о происхождении русского национального языка вытекало обеднённое представление и о его литературном компоненте. Отголосок подобного представления звучит, например, в таком высказывании: «...наш литературный язык, московский по исторической своей основе, на протяжении последних 200–150 лет постепенно, но неуклонно, ослабляет свою связь

с чисто московскими особенностями речи, впитывая в известном преломлении соответственные черты в основе северновеликорусского происхождения» [Обнорский 1980: 246-247].

Неосведомлённость в южновеликорусских памятниках и, вследствие этого, необоснованное проецирование современных южновеликорусских изоглосс, отдельных фактов и явлений в глубину веков приводили исследователей к выделению некоторых мнимых исторических различий между южновеликорусскими говорами и прочими говорами русского языка.

Так, в ряду лексических различий, которые разграничивают северно- и южновеликорусское наречия, называли противопоставления *изба – хата, клеть – пуня, волк – бирюк, конь – лошадь, сарафан – понёва, выть – доля, лонской – прошлогодний, живёт – бывает*; писали об исторической несвойственности южновеликорусскому наречию слов *овин, тын, кулига, пожня и бросать*. Проецируемые в прошлое, эти различия между Севером и Югом (кстати сказать, некоторые из них и для нашего времени небесспорны) оказались недействительными: как выяснилось в процессе исследования памятников южновеликорусской письменности, слова *изба, клеть, волк, конь, сарафан, выть* в смысле «доля», *лонской* в смысле «прошлогодний», *живёт* в смысле «бывает», *овин, тын, кулига, пожня* и *бросать* три-четыре века назад у обитателей южновеликорусского края были в общем употреблении [Котков 1962: 31–49].

Ныне конструкция «инфинитив + именительный существительного на а» (*косить трава, земля пахать* и т. п.) знакома большинству говоров северновеликорусского наречия. Бытование конструкции на Севере и присутствие в северновеликорусских памятниках, начиная с XIII в. (при полном отсутствии о ней исторических сведений с Юга: исследование южновеликорусских памятников началось только в последнее время), позволило историкам языка определить её как северновеликорусскую. Однако южновеликорусские памятники убедительно свидетельствуют о том, что она была органической принадлежностью и южновеликорусских говоров [см.: Котков 1959], выходит, являлась общерусской.

Известно, что в южновеликорусских говорах отличный от *e* гласный *ѣ*, который в старинной письменности передавали буквой *ѣ*, ныне произносится как *e*. А. А. Шахматов по этому поводу писал: «...в восточнорусских [южновеликорусских] говорах переход *ѣ* в *e* во всяком положении – это черта, исконно свойственная их вокализму» [Шахматов 1911–1912: 233]. Основанное на данных современных говоров заключение А. А. Шахматова стало общепринятым. А когда



приступили к изучению памятников, писанных южновеликорусами, ситуация представилась иной: *ѣ* в безударном положении действительно совпал с *е*, но в положении под ударением сохранял отличное от *е* произношение [Котков 1963: 35–52], как в то же самое время и в северновеликорусском наречии и в средневеликорусских говорах. Следовательно, эта фонетическая черта была в то время общерусской. В. Н. Сидоров по этому поводу писал: «Вывод С. И. Коткова о позднем изменении ударяемого *ѣ* в *е* [в южновеликорусских говорах. – С.К.]... по-видимому, отвечает действительности. Вместе с тем, как мне кажется, он является одним из наиболее интересных и ценных приобретений исторической фонетики русского языка за последнее время. Теперь, придётся, возможно, пересмотреть заново не один из казалося бы окончательно решённых вопросов истории языка» [Сидоров 1969: 25].

Следуя за А. А. Шахматовым, К. В. Горшкова в проявлениях рассматриваемой черты на Юге в XVII столетии видит не отражения общерусского процесса, а влияние московской орфографической школы [Горшкова 1972: 27]. Такая трактовка указанных отражений вызывает сомнение, и вот почему: в опубликованных нами многочисленных старинных южновеликорусских материалах отражения означенной черты выступают рядом с отражениями таких сугубо диалектных явлений, письменное воплощение которых никак не согласуется с московской орфографией, обличает слабую выучку писцов. В свете этого обстоятельства предполагаемое влияние московской орфографии оказывается настолько выборочным, что в качестве воспринимаемого южновеликорусами немотивированно фрагментарно представляется маловероятным. Конечно, из этого не следует, что влияние московской орфографии в периферийном письме не сказывалось. Но для его установления знания этого факта мало, необходимо ещё и знание правописной выучки писцов тех или иных категорий – писцов профессионалов и непрофессионалов, а также знание характера текстов, в которых оно проявлялось.

Примеров неверной интерпретации явлений и фактов языка, неизбежной при отсутствии сведений из южновеликорусских памятников, можно было бы указать немало.

Мешали объективному изучению становления национального языка и некоторые традиционные воззрения. Назовём такие распространённые, как традиционное преувеличение роли церковнославянской книжности, церковнославянского языка в лингвистической жизни русского общества в XVII столетии, и, напротив, непризнание каких-либо литературных функций, какого-либо литературного значения за

вполне развитой в XVII в., огромной в масштабах всей страны и влиятельной русской деловой письменностью. С незнанием последней связано утверждение, что наши предки в XVII в. по-русски только говорили, а писали по-славянски [точнее, по-церковнославянски. – С.К.]. Утверждение это заимствовано из «Русской грамматики» Г. Лудольфа, изданной в 1696 г. в Оксфорде. Знакомство Г. Лудольфа с русским языком исчерпывалось годичным пребыванием в России. Несмотря на преувеличение роли церковнославянской книжности, церковнославянского языка, полвека назад филологическая традиция не придавала свидетельству Г. Лудольфа абсолютного значения. Характерно в этом отношении высказывание В. В. Виноградова. Касаясь средневекового дуализма в сфере письменно-словесного выражения, В. В. Виноградов писал: «...рост политического значения новых общественных классов [возвышение класса помещиков и развитие торговой буржуазии], не мог не отразиться на соотношении стилей церковно-литературного, общественно-обиходного и официально-канцелярского языков, не мог не усилить притязаний народного языка на более значительную роль в системе литературного выражения» [Виноградов 1982: 11]. Более того, по его словам: «...со второй половины XVII в. эволюция русского литературного языка [естественно, и литературной письменности. – С.К.] решительно вступает на путь сближения с московским приказным языком и с живой разговорной речью образованных слоёв русского общества...» [Виноградов 1978: 30]. Эти суждения опирались на глубокое знание русской рукописной старины. О развитии отечественной письменности на собственно русской языковой основе не только в XVII столетии, но и в более ранние века, начиная с грамоток на бересте, свидетельствует огромное рукописное наследие, оставленное нам историей, одна лишь изданная часть которого с полной очевидностью показывает, насколько сомнительно утверждение Г. Лудольфа, что русские только говорили по-русски, а писали по-церковнославянски.

И тем не менее, в наши дни эта точка зрения вместе с преувеличением роли церковнославянского языка в лингвистической жизни русского общества обнаруживает признаки своеобразного оживления, наблюдаемого и в исследованиях, и в преподавании истории языка. Так, в университетском пособии читаем: «Литературный язык восточных славян в эпоху средневековья сложился не в результате кодификации какой-либо разновидности местной разговорной речи (диалекта или койне), а в процессе освоения языка старославянских (южнославянских по происхождению) богослужебных текстов, в силу чего он по многим своим особенностям не совпадал ни с одним из восточнославянских диалектов, хотя и взаимодействовал с ними» [Горшкова, Ха-

бургаев 1981: 9]. Выходит, за древние века и старорусский период в течение семи-восьми столетий наши предки не только не выработали своего, русского литературного языка, но и не испытывали потребности в этом, удовлетворяясь церковнославянским. Выдающаяся роль церковнославянского в культурном развитии восточных славян, в формировании их письменной культуры исторически бесспорна, но всё же церковнославянский язык оказывался либо недостаточным, либо не вполне приемлемым в некоторых актуальных, особенно специфических сферах жизни восточного славянства, частью и в литературной. В условиях развитой государственности, многообразной общественной деятельности и самобытной духовной культуры Руси, при наличии оригинальной письменности (от берестяных грамоток до летописей и законодательных актов) применение в качестве литературного исключительно церковнославянского языка просто необъяснимо. Поскольку в других европейских странах ничего подобного не было, а восточнославянский регион не выпадает из общеевропейской области, подобная «уникальная» ситуация в нём представляется по меньшей мере сомнительной.

Нелишне напомнить, какой язык (вполне понятно, не диалектный, а общерусского употребления) представлял «московитов» тогда на Западе. «Свидетельства иностранцев, – констатирует М. П. Алексеев, – о хорошем или удовлетворительном знакомстве с русским языком [заметим: не с церковнославянским. – С.К.] ... между XV–XVII столетиями становятся столь изобильными, что их было бы здесь трудно перечислить со всей полнотой. В этот период продолжается, притом очень интенсивно, в Новгороде, Пскове, в северных приморских городах, а затем и в Москве, профессиональная подготовка иноземных переводчиков с русского языка, посылаемых туда торговыми фирмами разнообразных государств. Из русских городов они возвращались к себе на родину, хорошо владея навыками не только устной, но и письменной русской речи. Большое количество документальных свидетельств этого рода растягивается, примерно, на три века. Ганзейские документы XIV–XV столетий приводят даже многие имена подобных толмачей» [Алексеев 1984: 10].

Язык русской деловой письменности с точки зрения его отношения к русскому литературному языку основательному изучению не подвергался, поэтому деловая письменность воспринималась смутно, в общем виде, недифференцированно. Достаточно указать на то, что в филологической среде к грамотам нередко причисляют тексты, которые грамотами не являются, или челобитными называют иные деловые бумаги, например, отписки или грамотки. Впрочем, нечто подобное

наблюдаем и у историков: берестяные письма-грамотки они именуют грамотами. Поскольку литературный язык отождествлялся, во-первых, с церковнославянским, во-вторых, по преимуществу с языком художественной литературы, всю письменность делового содержания считали, как мы говорили ранее, нелитературной, отрицали её активную роль в формировании литературного языка. Между тем, даже самое общее, элементарное различие в её составе хотя бы актов, хроникальной [см.: Котков 1980: 74] и эпистолярной серий текстов показывает всю неправомерность подобной оценки данной письменности, подобного мнения о ней. О неправомерности такого мнения свидетельствует, далее, и то, что в одной и той же серии текстов, скажем, эпистолярной, находим и несродные литературным и, напротив, близкие к литературным тексты. Неоднородны в этом отношении и актовые материалы: если сказки простого люда далеки от литературного изложения, то Судебники XV–XVI вв. и Уложение 1649 г. обладают определённой литературностью. Статейные списки исследуют специалисты по древнерусской литературе [см.: Ст.сп.рус.послов]. Литературность свойственна и вестям-курантам: во всяком случае стремление к ней вполне рельефно проявляется в редактировании этих текстов [Куранты 1645–1646, 1648 гг. – М., 1980: 10].

Выведение всей деловой письменности XV–XVI вв. за пределы литературного функционирования мотивируют прежде всего тем, что язык её некодифицирован, а осуществление кодификации усматривают в появлении грамматик и словарей. В то же время в литературном значении для древнего восточного славянства церковнославянского языка (и соответственной письменности) никто не сомневается, хотя зачатки его словарей известны только с конца XIII в., а его грамматики появились намного позднее. Предвидим возражение: кодификация этого языка в основном воспринята в готовом виде, восходит к унаследованной восточными славянами кодификации старославянского языка. Да, это бесспорно. Но и унаследованная кодификация в своё время начиналась не с составления грамматики и словаря (её формальное закрепление в них происходило значительно позднее), а складывалась узуально – в процессе и канонизации текстов, писанных на старославянском языке, и многовекового, в общем стабильного воспроизведения этих текстов. Сходное положение наблюдаем и в истории русского извода старославянского языка – языка церковнославянского. Черты, характеризующие последний, привнесённые в него восточными славянами, складывались узуально, а затем получали закрепление в грамматиках и словарях. Так, списки грамматических сочинений, которые обращались на Руси, относятся к XV–XVI вв., причём наиболее ранние

сочинения имеют южнославянский источник, а некоторые подвергаются сознательной переработке на русской почве [см.: Кузнецов 1958: 5]. Краткая славянская грамматика, создание которой связывали с Иоанном Экзархом (X в.), создана, по-видимому, не этим автором, а позднейшим компилятором [там же: 5–6].

Итак, закрепление литературных норм в грамматиках и словарях является итоговым и, вследствие этого, не единственным фактором преобразования языка в литературный, не единственным признаком его литературности. Кодификация в грамматиках и словарях завершает его преобразование в литературный, а не начинается с этих регламентирующих установлений. В процессе становления литературного языка регламентирующим фактором выступает прежде всего общественное признание в качестве более предпочтительных, а затем и образцовых тех или иных норм языка. Огромная заслуга составителей первых грамматик и словарей заключается не столько в узаконении этих, литературных, норм (в процессе регулярного и активного употребления узуальным образом они узаконены общественным сознанием), сколько в авторитетном обобщении их в грамматиках и словарях. Поэтому начало становления русского литературного языка, ориентирующего<ся> на живую речь, вряд ли возможно связывать с появлением в тридцатых годах XVIII в. грамматики В. Е. Адогурова [Успенский 1975: 4]. Достаточно явные следы становления русского литературного языка национальной эпохи обнаруживаются в более раннее время – в определённых разновидностях обширной деловой письменности (в основном в актовой и хроникальной), точнее, в её московской сфере, в XVI–XVII вв.

При сведении понятия «литературный язык» к языку преимущественно художественной литературы объективная разработка проблемы образования русского национального языка едва ли не столь же затруднительна, как и при сведении литературного языка к языку церковнославянскому. При таком понимании литературного языка исследуемого периода в сферу этого языка попадает значительная часть произведений церковно-книжной письменности и, напротив, остаётся за его пределами не менее значительный состав произведений деловой письменности, поскольку не находят в нём того, что можно было бы назвать, вслед за Г. О. Винокуром, стремлением к литературности изложения. В представлении Г. О. Винокура рядом с литературным стилем письменного языка того времени «Московская Русь знала и другой его стиль – деловой. Этот стиль речи принято называть приказным языком, так как наиболее типичные его образцы находятся в приказном делопроизводстве XVI–XVII вв. Это, следовательно, язык канце-

лярских бумаг, юридических актов, хозяйственных записей, официальной и частной переписки, то есть таких явлений письменности, в которых нет стремления к литературности изложения» [Винокур 1959: 64]. Действительно, в хозяйственных записях и в грамотках частной переписки такое стремление не проявляется, а в государственных юридических актах, статейных списках и вестях-курантах литературность изложения проступает. Это свойство вторых определялось не столько стремлением к литературности, возможном, впрочем, и порой в достаточно ярких проявлениях, при составлении подобных разновидностей текстов, сколько спецификой данных текстов – строгой регламентацией их структуры и точностью заложенной в них информации, что обыкновенно выражалось в более или менее определённом составе образующих их лексических средств и синтаксических конструкций, например, в составе устойчивых оборотов и терминологических образований. Отмечаемое ныне в научной литературе влияние языка деловой письменности на язык художественной литературы XVI–XVII вв., по-видимому, имело своей предпосылкой и стремление к литературности изложения, и владение этой литературностью в среде наиболее образованных московских приказных людей – авторов государственных актов, статейных списков, исходивших из московских приказов, в частности, из Посольского. «...С XV в., а особенно в XVI–XVII вв., – констатировал В. В. Виноградов, – всё усиливаются процессы литературно-языковой обработки разных форм приказно-деловой речи, и деловая речь, по крайней мере в известной части своих жанров, уже выступает как один из важных и активных стилей литературного языка. Вместе с тем всё возрастает роль этого делового стиля в языке художественной литературы» [Виноградов 1978: 278].

Определение языка деловой письменности как приказно-деловой речи (предпочтительнее было бы: языка) имеет основание лишь в той степени, что всё деловое письменное общение не укладывалось в приказное. Думается, следует говорить о языке деловой письменности, а в её составе выделять, как сказано выше, актовую (приказную в строгом смысле слова), хроникальную и эпистолярную. В процессе обслуживания почти всех и особенно актуальных потребностей общества в языке деловой письменности XVI–XVII вв. вырабатывались такие возможности общерусского общения, прежде всего лексические и жанрово-стилистические, что язык указанной письменности становился важнейшим объединительным фактором в начальную пору формирования русского национального языка, органически связанным, с одной стороны, с народно-разговорной стихией, с другой, с культурой литературного языка. Таким широким диапазоном связей с

иными факторами национального лингвистического развития не обладали ни церковнославянский, ни народно-разговорный язык, почему формирование литературных норм в это время определялось главным образом влиянием языка деловой письменности.

Правомерно было ожидать: большое значение в начальном развитии русского национального языка культуры деловой письменности привлечёт к ней пристальное внимание историков-русистов. Однако этого не произошло. По словам В. В. Виноградова, до сих пор включение приказно-делового языка «в строй и нормы русского национального литературного языка» не подвергалось «специальному детальному историческому исследованию...» [там же: 273].

Не благоприятствовала выяснению процесса образования русского национального языка и традиционная оценка основных источников, на которых строится история языка. А. А. Шахматов в качестве таких источников называл народные говоры. А. И. Соболевский предпочитал памятники письменности. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса предварим следующим замечанием: с точки зрения лингвистического источниковедения народные говоры сами по себе, в своей непосредственной данности источниками не являются, источниками, строго говоря, являются их запечатления, либо непосредственные – инструментально-физические, либо опосредствованные – графические. Былое состояние русского языка отложилось в опосредствованных запечатлениях – памятниках письменности. В последние два десятилетия отношение русистов к той и другой категории источников более или менее выровнялось, но появление концепции диалектного языка, предложенной Р. И. Аванесовым, повлекло за собой возвращение к А. А. Шахматову.

Выделяя в качестве основных источников современные диалектные, авторы подобного рода суждений усматривают в них более полную фонетическую и грамматическую информацию в сравнении с аналогичной информацией, заключённой в старинных текстах. Между тем, в современных народных говорах рассеяны лишь весьма отдалённые и более или менее редкостные отзвуки древнего состояния языка. К тому же вскрываются заметные расхождения в локализации ряда существенных явлений и отдельных языковых фактов на одной и той же территории, например, в XVII столетии и в наше время. Некоторые примеры таких расхождений мы указали выше (география отличного от *e* гласного, передававшегося буквой ѣ, конструкции «инфинитив + именительный существительного на -а», слова *лонской* и т. д.).

Расчленение истории языка не столько на взаимодействующие, сколько на параллельные процессы развития диалектного языка и

развития литературного языка предопределяет и своеобразное отношение сторонников концепции диалектного языка к памятникам письменности. Вот как оно обосновывается: «Литературный язык восточных славян в эпоху средневековья сложился не в результате кодификации какой-либо разновидности местной разговорной речи (диалекта или койне), а в процессе освоения языка старославянских (южнославянских по происхождению) богослужебных текстов, в силу чего он по многим своим особенностям не совпадал ни с одним из восточнославянских диалектов, хотя и взаимодействовал с ними. Поэтому для историка восточнославянской народно-разговорной речи во всём её диалектном многообразии материал письменных памятников – это только источник [а не объект исследования. – С.К.], из которого он извлекает отдельные факты, требующие территориально-диалектной интерпретации, чтобы оценить их отношение к реконструируемой системе диалектного языка эпохи создания текста» [Горшкова, Хабургаев 1981: 9].

Итак, любой старинный текст, который привлекают для изучения истории диалектного языка, признаётся только источником, а не объектом исследования. Но если извлекаемые из него отдельные факты языка требуют «территориально-диалектной интерпретации», да к тому же и оценки их отношения «к реконструируемой системе диалектного языка эпохи создания текста», без основательного познания источника, без признания его объектом исследования явно не обойтись. Напомним, кстати, что один из авторов цитируемого пособия, К. В. Горшкова, высказывалась прежде в том же духе, когда, например, утверждала: «...письменный памятник может быть использован как источник не в виде набора случайных отдельных фактов, а в результате сплошного, целенаправленного изучения всей совокупности явлений и планомерного перехода от графико-орфографического уровня к фонологическому и далее, если это соответствует задачам исследования, к морфологическому, словообразовательному и другим уровням» [Горшкова 1972: 24–25]. Всестороннее исследование источника во всём его объёме, с учётом даже внешних условий, в которых происходило возникновение и функционирование (правописных норм соответственного времени, а также выучки писцов, делопроизводственного обихода и т. д.), необходимо для интерпретации и совокупности заключённых в источнике лингвистических данных – сведений о явлениях языка, наречия или говора (изучение указанных данных предполагает изучение фактов языка), составляющих лингвистическую содержательность источника, и отдельных фактов языка, составляющих его лингвистическое наполнение.



Факты, которые составляют лингвистическое наполнение источника, пока не исследованы в его контексте, остаются лишь его принадлежностью и не могут быть признаны свойственными тому лингвистическому образованию – языку, наречию или говору, – которое в нём запечатлено; факты, исследованные в таком контексте и на основе подобного исследования признанные свойственными этому образованию и обобщённые по однородным признакам, становятся лингвистическими данными, совокупность которых составляет лингвистическую содержательность источника. Словом, отдельные факты языка, не исследованные в контексте всего источника, в общем не могут быть доказательными для выявления запечатлённого в нём языка, наречия или говора. Выходит, лингвистическое наполнение наглядно, но ещё не доказательно, лингвистическая содержательность не наглядна, однако доказательна.

Обратимся к конкретным старинным фактам, например, к написаниям буквы *e* в соответствии с древними написаниями ѣ в безударных положениях. Одни историки русского языка объясняют эти факты влиянием московской орфографической школы, другие усматривают в них отражение фонетического явления. Перед нами – отказные документы, писанные в Елецком уезде в середине XVII в. церковным («егорьевским») дьячком Афонькой Лукиным [см.: Отказн.кн.южн., 90–91, 95–96]. Почти во всех безударных положениях в соответствии с древними написаниями ѣ Афонька выводит букву *e*. Создаётся впечатление: Афонька следует определённой норме. Его принадлежность к церковным дьячкам (дьячками называли тогда писцов, нецерковные дьячки именовались земскими) усиливает это впечатление – он мог быть осведомлённым не только в писцовой практике, но и в церковной книжности, орфографически более или менее выдержанной, где подобного рода написания также применялись. Предполагаемую норму – написание *e* вместо древнего ѣ в безударных положениях – как будто нарушают 6 написаний ѣ в безударном положении после *ц* в словах *цѣловальник*, *цѣлованье*, но их нетрудно отнести: грамотеи их постоянно встречали и в церковной книжности (*цѣлование*), и в деловой письменности (*цѣловальник*) и могли заучить в правописном виде. Трижды написанное Афонькой *подлѣ*, не согласуемое в отношении ударения с современным общерусским *подле*, выпадает из предполагаемой нормы (сохранение ѣ в положении под ударением и замена его буквой *e* в безударном положении), но согласуется с ней по данным других отказных текстов как диалектное образование. Ср. в упомянутом издании южновеликорусских отказных книг: а усада Федосу в тои ево паишни... падлѣ верха васлѣ Микиты Дамашова

(с. 154); в том же издании написание *подлѣ* вдвое употребительнее написания *подле* – с ѣ насчитываем 42, с е – 19 случаев. Напомним: в московских вестях-курантах первой половины XVII в. употребительность того и другого написания была примерно одинаковой [см.: Вести-Куранты 1600–1639 гг., Вести-Куранты 1645–1646, 1648 гг., Вести-Куранты 1642–1644 гг. и Вести-Куранты 1648–1650 гг.]. Исходя из этого сравнения московских и южновеликорусских данных, мы вправе сделать вывод: значительное преобладание написаний *подлѣ* в южновеликорусской области обязано местному – фонетическому, а не московскому – правописному узусу. Убедительно подтверждает этот вывод сопутствие в названных отказных книгах южновеликорусскому варианту *подлѣ* [в произношении *падлѣ*] таких отражений местной речи, как, например, яканье, взаимная мена *в* и *у*, написания *Ларкя* и под. Принимаем во внимание и то, что предлоги *дле* и *зле*, появление которых можно связать с особенно сильной редукцией *о* в предударном положении и последовавшей вместе с ней частичной утратой стечения согласных в образованиях *подле* и *возле*, имеют широкое распространение именно в южновеликорусских говорах [см.: СРНГ 1972, вып. 8: 69; СРНГ 1976, вып. 11: 287].

Итак, в разрозненном восприятии, вне контекста источника, а порой и серии однородных источников, рассматриваемые факты языка, точнее, их графические запечатления представляются мотивированными лишь орфографией, лишёнными фонетического значения; воспринимаемые в контексте источника, а порой и серии однородных источников, те же самые запечатления представляются связанными с фонетикой, приобретают фонетический смысл.

Фонетическое объяснение неодинаковых проявлений в старинной южновеликорусской письменности этимологического ѣ подтверждают случаи его передачи посредством буквы *и* в положении под ударением, преимущественно перед мягким согласным: я ему в том вирила, шти видер (пива), диверь Офонасеи, двѣ клити, он... мене изувичил, подмитил на мнѣ денги; ливоя (ухо) [Котков 1963: 44–45]; в отказных книгах: Сиверского Данца (17), Сиверск[ое] верховья (18), на отдила (83), всии тои земли (94), помишиковы (125), с помишики (174), со всеми угодя (213), со всеми угоди (265, 266), со всеми угоди (268), вси три поля (271); чимѣ влодѣли (158), чим владѣль (261); ср.: ѣ исправлено, вероятно, из *и* – велѣнью (99), ѣ исправлено из *и* – Сила Пересвѣтов (270), а также – ѣхъ помѣсю (229), ѣхъ помѣсьем (231) [см.: Отказн.кн.южн.]. Эти свидетельства отличного от *е* качества ѣ в подударном положении выступают, как правило, в контекстах иных

южновеликорусских проявлений, а это бесспорно подтверждает принадлежность писцов к южновеликорусам.

Можно было бы привести и другие сомнительные заключения, построенные на отдельных фактах языка, вернее, их запечатлениях, но в этом нет необходимости. Так или иначе, несомненно одно: отдельные, разрозненные запечатления обыкновенно лишь иллюстрируют то, что уже установлено, и не вскрывают подлинного характера обозначаемых ими явлений, почему и не имеют объяснительной силы. Объяснительная сила запечатлений формируется в процессе их обобщения и отграничения от инородных в сфере лингвистической содержательности источника, а не его лингвистического наполнения. Если исходить из того, что объяснение всегда системно, оно, естественно, вытекает не из лингвистического наполнения как простой суммы запечатлений, а из лингвистической содержательности как системы запечатлений. Чем менее в исследовании объяснительного аспекта, тем менее оно исторично. Изучение «диалектного языка» по памятникам письменности «принципиально» замыкается в пределах их лингвистического наполнения и, поскольку сводится к иллюстрированию показаний современных народных говоров, далеко от историзма. Подлинная история русского языка не может быть «задана» и, следовательно, ограничена проблематикой современных народных говоров.

Как видим, использование источников органически связано с общей концепцией истории русского языка, в особенности литературного. История русского литературного языка в последние десятилетия превратилась в арену не только научных, но и выводимых из них идеологических коллизий. Получило известное распространение вольное или невольное принижение роли собственно русского начала (устного или письменного) в формировании русского литературного языка. Так, Б. Унбегаун заявляет: «У восточных... и южных славян... старославянский язык стал средством для выражения всей духовной деятельности – богословия, философии, науки и литературы, т. е. стал тем, что условно именуется литературным языком в широком смысле слова... Существование у восточных и южных славян в течение многих веков двух письменных языков с разными функциями – церковнославянского... и своего национального – общеизвестно и споров не вызывает. Единственное, что может и должно вызвать возражение, это присвоение утилитарному – юридическому и административному – языку литературного ярлыка» [Унбегаун 1971: 330]. Далее: «В... московский период – с XV до середины XVII в. – ...не приходится говорить о существовании русского литературного языка, отличного от церковнославянского» [там же: 331]. К сожалению, сходную точку зрения мы находим в трудах не только западных учёных, но и наших исследователей.

Если отношение разговорного начала в виде диалекта или койне к формированию литературного языка изображается таким образом, упоминание о взаимодействии между ними вызывает недоумение. Между тем такое взаимодействие в далёком прошлом и в наши дни – вседневная определяющая реальность. Объясняется это следующим: диалект или койне никогда не функционируют как исключительно или преимущественно диалектные образования, а всегда выступают прежде всего в качестве конкретной реализации общенародного языка, в виде осложнённого местной вариативностью его неперменного звена, а в особо благоприятных условиях ложится в основу формирования разновидности данного языка. Так, московское койне XVII–XVIII вв. послужило основой формирования устной разновидности литературного языка. Отождествляя, вслед за Унбегауном, литературный язык донациональной эпохи с языком церковнославянской книжности, сторонники концепции диалектного языка, так же, как и Унбегаун, отрывают историю литературного языка восточного славянства от его живой общенародной стихии, ориентируясь главным образом на показания современных народных говоров и церковнославянской книжности. В показаниях подобного рода история русского языка как живого общенародного явления представляется существенно ограниченной. Исследование русского языка в его историческом развитии именно как такого явления, а не только как собственно диалектного, невозможно без обращения к источникам, которые в историческом изображении в тех или иных отношениях представляют его значительно шире, нежели современные диалектные записи и данные церковнославянской книжности. Имеем в виду материалы буквально необозримой актовой письменности, а также эпистолярной и хроникальной и художественные произведения русского обличья.

Рассмотрение некоторых аспектов истории русского языка показывает: для решения её кардинальных вопросов, особенно имеющих существенное идеологическое значение, необходимо, помимо применения новых и усовершенствования старых методов исследования, расширение и более глубокое познание её источниковой базы – значительное пополнение круга источников и подлинно исторический подход к интерпретации их свидетельств, а также дифференцированное изучение разновидностей старинной деловой письменности, в особенности связей этой письменности, с одной стороны, с народно-разговорным, с другой, с литературным языком. Пора приступить к обстоятельному изучению возвышения отдельных её категорий до ранга литературных и освещению её влиятельного участия в формировании национальной языковой общности, включая сферу литературного языка.

**7. Об источниковедческом аспекте в преподавании истории русского языка // Русский язык. Сборник трудов. – М., 1975. – С. 173-180.** [Министерство Просвещения РСФСР. Московский Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. *Посвящается памяти доктора филологических наук Николая Николаевича Прокоповича*].

История русского языка строится в основном на современных диалектных материалах и текстах старинной письменности. Вузовский курс истории языка предполагает знание этих источников. Что касается диалектных материалов и методики их собирания, то с ними студентов в известной степени знакомит курс диалектологии, в особенности когда он завершается диалектологическими экспедициями. В отношении памятников письменности положение сложилось иное. В вузовских программах о них обычно говорится в двух-трёх словах, а в учебниках значение письменных памятников как источников для изучения истории языка обыкновенно не раскрывается. Ограничиваясь минимальными археографическими справками, не дают необходимой характеристики текстов и хрестоматии по истории русского языка.

Между тем без должной осведомлённости в памятниках письменности невозможно познание реальных условий развития письменной речевой культуры и условий, которые определяли степень и характер отражения (прямое или косвенное) в названных источниках устной речи тех времён. Воспринимаемые студентами большею частью в условном «меловом» исполнении с аудиторной доски, вне конкретного письменного воплощения, исторические факты русского языка в какой-то мере отвлекаются от своих исторических носителей, под пером которых они явились, выступают обезличенными. Вследствие этого изучение русской лингвистической культуры осуществляется неполно, односторонне, вне аспекта речи. Уже не приходится говорить о том, что преподавание истории русского языка лишается в этом случае значительной доли наглядности, а история русской духовной культуры в таких её внешних проявлениях, как письмо с его графикой и орфографией, а также пунктуацией, инициалы, орнамент, миниатюры и т. п., либо вовсе не затрагивается, либо рисуется в обеднённом виде.

Синтезирующее познание русского языка в его историческом прошлом, в отличие от познания его главным образом по фонологическим схемам, схемам склонения и спряжения, а также синтаксическим, невозможно без основательной начитанности в памятниках письменности, где он выступает целостно, в единстве всех образующих его элементов и отношений. Для этого, следовательно, студентов необхо-

димом ввести в лабораторию чтения старинных рукописей. А если ставить эту задачу, внесение в курс истории языка элементов источниковедения становится необходимым.

Можно, например, начать с деления текста на слова. Как известно, старинные тексты, в рукописях пословно не делимые, в хрестоматиях воспроизводятся адаптированно, пословно. Когда, привлекая хрестоматийный текст, студент определяет грамматические формы, они перед ним предстают уже выделенными, и ему остаётся всего лишь только «подогнать» их к заученным образцам. Мы не против пословного воспроизведения текстов, однако считаем, что в данных случаях они призваны выполнять лишь контрольную роль, а выделение и определение грамматических форм было бы гораздо полезнее производить по сплошным текстам, не разделённым на слова, что укрепляло бы начитанность не в адаптированном изложении текстов, а в рукописном изложении их, а эта начитанность, в свою очередь облегчала бы выделение форм. В хрестоматиях в виде отдельных страниц сплошные тексты иногда приводятся, но приводятся только для того, чтобы показать студентам общий вид рукописи, почерк и т. п. К сожалению, и этими отдельными страницами для грамматического разбора преподаватели обычно не пользуются. Грамматический разбор по сплошному тексту несомненно побудил бы студентов к более глубокому анализу содержания последнего, приобщил бы их к наблюдениям над особенностями графики, орфографии и пунктуации, над явлениями конца строки, сокращениями, диакритикой и т. д. и в совокупности дал бы им представление о той или иной рукописи как определённого типа источнике.

Пока подобных представлений (или более или менее приближенных к ним) о старинных русских рукописях студенты не выносят.

В настоящее время старинные тексты в преподавании истории русского языка не составляют самостоятельного предмета изучения, а служат лишь учебным материалом для занятий по исторической фонетике и грамматике. А между тем – приходится повторить – глубокое усвоение истории языка мыслимо только при условии достаточного знакомства студентов с наиболее важными источниками. Без этого история русского языка в качестве вузовской дисциплины не может быть фундаментально обоснованной.

Приводимые в хрестоматиях извлечения из текстов значительного объёма не дают, понятно, желаемых сведений об этих обширных источниках, особенно если их состав (например, летописей или Домостроя) явно неоднороден. Как можно обойтись в подобных случаях без специального ознакомления студентов с указанными текстами, в частности с их составом? Конечно, в рамках учебного курса

ознакомление со всеми пространственными текстами в этом плане нереально. Однако ознакомление с такими памятниками, как, скажем, Изборники 1073 и 1076 гг., одной-двумя летописями, Русской Правдой, Домостроем, полагаем, вполне возможно. Почему бы на практических занятиях анализ отдельных лингвистических фактов (обыкновенно из фонетики и морфологии), выделяемых в данных источниках, не дополнять чтением указанных текстов, раскрывая при этом их общий смысл для современного читателя, а продолжение чтения рекомендовать в качестве домашних заданий?

Чтение памятников письменности (особенно сложного состава) как цельных произведений обогащает представления студентов о системе русского языка в его историческом прошлом, показывает, что древнерусская общность, а позднее великорусская – лингвистические явления вполне реальные, что история русского языка вне его литературной разновидности никак не может быть сведена лишь к истории диалектов, а его историческая грамматика – к исторической диалектологии, как в последнее время, к сожалению, иногда бывает.

Одновременно чтение этих источников, прежде всего древнерусских, с особенным направлением внимания на отражённые в них явления и факты живой древнерусской, а позднее – великорусской речи подводит студентов к пониманию того, что русский литературный язык в его минувшем состоянии *не сводим* к церковнославянскому, что и в древнерусскую эпоху и, тем более, позднее собственно русское начало в развитии этого языка играло основную роль. При этом нуждается в разъяснении следующее обстоятельство: довольно значительный состав элементов древнерусского языка, которые в наше время носители литературного языка, в том числе и студенты, воспринимают как нерусские, а именно – старославянские, в то время являлись либо общими с элементами старославянскими, либо отличались от последних, мы бы сказали, частностями (ср. некоторые парадигмы склонения и спряжения).

Особенно убедительны в этом плане свидетельства Русской Правды, древних грамот и берестяных грамоток. В них налицо употребление таких элементов языка, которые заведомо далеки от современного строя русской речи, а вместе с тем и содержание и обращение этих старинных текстов было связано с теми сторонами и сферами жизни общества, обслуживание которых предполагало применение именно собственно русских, притом в значительной степени (в грамотках – едва ли не исключительно) элементов живого языка.

В литературе всё ещё популярна не критическая ориентация на сообщение Лудольфа, что Руси конца XVII в. было свойственно дву-

язычие: разговаривали по-русски, а писали по-славянски. Распространению указанной точки зрения благоприятствовали два обстоятельства: во-первых, несколько ограниченное понимание литературного языка данной эпохи как языка церковной книжности и не свободных от влияния последних художественных произведений; во-вторых, недостаточная осведомлённость значительной части историков языка в массе материалов деловой письменности XVI–XVII вв., представляющих собственно русский язык, среди которых немало вполне литературных. Поэтому в самом общем виде студентов необходимо ознакомить с теми обширными сферами письменности, где пользовались именно этим языком и особенно – с текстами, литературность которых является бесспорной (такими, например, как тексты законодательные, вестникары, статейные списки и т. п.).

Полезно было бы показать студентам обусловленность степени и характера лингвистической информативности источников, с одной стороны, прежде всего характером их содержания и принадлежностью к оригинальным или переводным, с другой, – «технологией» их воспроизведения в зависимости от определённого типа письма, некоторыми особенностями последнего (применение выносных букв, графическая недифференцированность отдельных скорописных букв, различные приёмы сокращений и т. д.) и даже, в каком-то отношении, фактурой писчего материала.

Рассмотрение информационных свойств источника, подразумевает, всегда предполагает учёт различных аспектов, в которых возможно его исследование.

Обусловленность информативности содержанием текстов и принадлежностью их к переводным очевидна в таких источниках, как древние богослужебные книги, воспринятые восточными славянами вместе с христианством. Книги эти, написанные на старославянском языке, представляли собой переводы с греческого. Содержание их как канонических, к тому же переводных, а значит, и их лексический состав, фонетический облик и грамматика были в общем стабильными. Однако в процессе многократного переписывания этих книг на русской почве появлялись отклонения от стабильности, которые состояли в том, что русские вносили в эти книги элементы своего языка, хотя и близкого к старославянскому, но всё-таки особого. В результате складывался русский извод старославянского языка, получивший название церковнославянского. Представляющие церковнославянский язык, эти старинные книги для познания истории русского языка в его живом бытовании могут служить лишь постольку, поскольку в них отложились черты живой восточнославянской речи. Заметим: переписывание



данных книг, исполненных уставом или полууставом, с твёрдой ориентацией писцов на буквальную передачу канонического текста, когда буква за буквой едва ли не вырисовывались – вся «технология» воспроизведения рукописей не благоприятствовала проявлению в них отражений устной русской речи. Но если и в этих условиях элементы её пробивались, тем значительней доказательность подобного рода фактов.

Зависимость информативности источников от некоторых особенностей письма может быть наглядно показана на примере из текстов XVII в., исполненных скорописью. Они изобилуют случаями вынесения в определённых положениях согласных из линии строки в верхнее междустрочие, причём, следующие за выносными буквами *ъ* и *ь* обыкновенно опускаются. Вследствие этого, например, о твёрдости или мягкости конечного *т*, передаваемого посредством выносной буквы, в глагольных формах 3 лица ед. и мн. числа мы сведений не получаем. После выносной *т* иногда опускалась конечная *и*. Поэтому встречая форму инфинитива в старинном скорописном тексте, мы не в состоянии установить, какое живое образование указанная форма представляет – образование на *-ти* или на *-ть*. Многочисленные случаи графической недифференцированности в названных текстах *ш* и *щ* лишают нас порою сведений о мягкости или твёрдости соответственных согласных в тех положениях, когда за ними не следуют буквы *я* или *ю*, или буква *ы*. Нередкие в скорописных текстах сокращённые написания слов (сокращали обычно гласные) ограничивают данные о вокализме.

Известное ограничение информативности фактурой писчего материала наблюдаем в берестяных грамотках. Упомянув о сопротивлении бересты «резцу», которым производится написание, Л. П. Жуковская далее замечает: «Это приводит к неточным начертаниям: на берестяных грамотках появляются отдельные мачты букв, выходящие за уровень строки в верхнее или нижнее междустрочное поле, менее точно сопрягаются дуги, соприкасаются прямые линии (так, перекладины букв соприкасаются с мачтами не всегда в намеченной точке; имеются различия даже в пределах одной и той же грамоты, причём различия эти не связаны с определённой хронологией текста)» [Жуковская 1955: 14].

Возможное в пределах обычного курса ознакомление студентов на практических занятиях с определённым кругом памятников XVII–XVIII вв. помогло бы им утвердиться в мысли, что развитие русского языка в области фонетики и грамматики протекало заметным образом и в течение упомянутой эпохи. Студенты смогли бы убедить-

ся в несостоятельности традиционной точки зрения, к сожалению, поныне принятой и в вузовских учебниках, согласно которой и современный фонетический облик русского языка и его грамматический строй к XVI–XVII вв. в общем уже сложились, и поэтому более поздние памятники каких-либо существенных данных о его фонетико-грамматическом развитии, собственно, не содержат. Помимо того, известная ориентация в текстах XVII–XVIII вв. укрепила бы представления студентов о непрерывной исторической преемственности определённых процессов и явлений в развитии русского языка.

Более глубокое приобщение студентов к необходимому кругу источников возможно в рамках единого специального курса и семинара «Источники по истории русского языка». Во вступительной лекции спецкурса, по-видимому, следует осветить некоторые общие вопросы: источник, его лингвистическая содержательность и информационность; объективно сложившиеся источники и источники с заданными свойствами, первичные и вторичные; предмет лингвистического источниковедения и т. д. [см.: Котков 1964]. Основное содержание спецкурса образуют лекции, посвящённые характеристике отдельных источников, а также групп источников и выяснению их значения для разработки истории русского языка. Наряду с такими памятниками языка, как Остромирово евангелие, Изборники 1073 и 1076 гг., важнейшие списки летописей, Русская Правда, древние грамоты и берестяные грамотки, в программу спецкурса желательно включить и тексты более позднего времени, в особенности XVII в. Имеем в виду Домострой, образцы всedневной деловой письменности, статейные списки, вести-куранты, затем таможенные книги и, кроме того грамотки. Полезным явилось бы обращение и к печатному Уложению 1649 г.

В каждой лекции, посвящённой анализу источника (или группы источников), после краткой археографической и палеографической справки о нём (место хранения, писчий материал, тип письма и т. п.), а также конспективного сообщения о его изучении внимание сосредоточивается на его содержании и предопределяемой последним с той или иной опосредствованностью лингвистической содержательности. Особое внимание обращается на то, какие стороны русского языка и моменты его развития и в какой степени, применительно к исследуемому историческому периоду, лингвистическая содержательность характеризует. Если говорить об источнике в целом, к тому же большого объёма, то суждения о его содержании и обусловленной данным содержанием лингвистической содержательности могут быть, вполне естественно, лишь более или менее общими.

Например, желательно отметить, что переводные тексты богослужебных книг в силу их канонического характера отличались стабильностью своего старославянского словаря. В этих условиях и единичные факты вторжения в их словарный состав при многократном переписывании образований русского происхождения имеют существенное значение для суждения о роли в это время в культуре восточного славянства его родного языка. Можно также, например, отметить наличие в данной группе текстов значительного состава образований, означающих отвлечённые понятия.

С повествованием в летописях о делах минувших связана насыщенность летописных текстов формами прошедшего времени.

Определённым содержанием Русской Правды обусловлено «скопление» в ней синтаксических конструкций, выражающих условие.

При всей фрагментарности берестяных грамоток, отражение в них жизни простого люда обеспечивает заметное проявление в них элементов локальной речи.

Анализ текстов позволит выявить немало и других примеров обусловленности лингвистической содержательности содержанием источников.

В семинарскую часть специальных занятий войдут исследовательские наблюдения студентов по означенной тематике и практикум по изучению скорописи XVI–XVIII вв.

Обусловленность лингвистической содержательности содержанием источника наиболее очевидно обнаруживается в области словаря. Поэтому самостоятельные наблюдения студентов целесообразнее начинать с лексики, подбирая для этой цели либо источники небольшие, скажем, древние грамоты, либо фрагменты из обширных источников, например, из летописей. Затем постепенно можно переходить к наблюдениям над менее очевидной зависимостью употребления тех или иных грамматических форм от наполнения источника определённым лексическим составом. Связанность с теми или иными лексемами и грамматическими формами отдельных данных по фонетике является более отдалённой, настолько опосредствованной, что её выявление в процессе студенческих занятий представляется нереальным. Однако отсюда не следует, что вообще фонетическая содержательность из наблюдений исключается.

Переходя к информативности источника, прежде всего устанавливают, каково соотношение между отражённым в данном источнике рядом фонем и употребляемым в нём набором букв. Особо учитываются случаи недостаточно чёткого различения написаний отдельных букв (например, *ъ* и *ь*, *ш* и *щ* в скорописи). Затем выделяются слу-

чаи прямой или косвенной отражённости в источнике фонетических данных и, кроме того, выясняется, согласуются ли они с орфографией или противоречат ей. Отдельные явления устной речи, скажем, к примеру áканье, пробиваются в письменных источниках вопреки правописанию. Из этого иногда поспешно заключают, что история русского языка строится, собственно говоря, на отклонениях от орфографии. Предупреждая подобные заключения, студентам необходимо показать и иные отражения устной речи, орфографически приемлемые. Правописание и является правописанием именно потому, что установленным образом, с определённой правильностью передаёт живую речь.

Практикум по изучению скорописи XVI–XVII вв. оправдан во всех отношениях. Во-первых, студенты знакомятся с непосредственной, близкой предысторией современной русской графики, в результате чего последней с культурой греческого письма и письма старославянского становятся в их представлениях более конкретными. Во-вторых, они приобщаются к той деловой письменности, историческая роль которой в развитии русского языка в начальный период становления нации была во многом определяющей. В-третьих, чтение скорописных текстов, с делением их на слова и выяснением смысла трудных мест, побуждает студентов обращаться в поисках нужных сведений не только к истории русского языка, но и к истории его носителей, а также к другим областям знания, расширяя их и лингвистический и историко-культурный кругозор.

Словом, практикум по изучению скорописи может существенно способствовать повышению теоретической подготовки студентов.

Ознакомив студентов с образцами уставного и полууставного письма, уделив при этом особое внимание изменению второго в скоропись, далее следует перейти к скорописным текстам XVI столетия, которые читать гораздо легче, нежели более поздние, исполненные скорописью XVII–XVIII вв. Освоение последней предпочтительней начинать с более или менее однородных, но многократно повторяющихся записей, к примеру, в писцовых, таможенных или отказных книгах. Можно воспользоваться и краткими сказками или краткими явками однородного содержания. По мере изучения этих материалов привлекаются другие тексты, разнородные по содержанию и, следовательно, лексическому наполнению. Понятно, речь идёт не об оригиналах, а фотокопиях. Практикум завершается экскурсией в архив, где студентам показывают рукописи в их непосредственном, а не копийном виде. Попутные экскурсии в историю и этимологию отдельных слов и выражений, в историю обозначаемых ими явлений материальной и духовной культуры и социально-экономических отношений – всё это безусловно оживит практикум и вызовет к нему особый интерес.

## 8. Об образовании восточнославянских национальных литературных языков [Продолжение публикации ответов на анкету, опубликованную в ВЯ № 4 за 1959 г. (стр. 50-51)] // ВЯ. – 1960. – № 1. – С. 60-62

Вопрос № 6. «Каково соотношение северновеликорусских и южновеликорусских диалектных элементов в деловых и литературных памятниках русского литературного языка XVI и XVII вв.?»

Решение вопроса о соотношении северновеликорусских и южновеликорусских диалектных элементов в деловых и литературных памятниках русского литературного языка XVI и XVII вв. затруднено в особенности в силу двух обстоятельств. Во-первых, северно- или южновеликорусское происхождение элементов литературного языка прямолинейно выводят из современной локализации последних в русских народных говорах. Во-вторых, скованные традиционными представлениями о запустении южновеликорусской области в XIII–XV вв. историки русского языка не только не вводят в научный оборот данные огромных рукописных фондов южновеликорусского характера, но оставляют в стороне и немногие публикации такого рода.

Вследствие первого обстоятельства, например, синтаксическую конструкцию типа *земля пахать*, известную ныне, как правило, лишь в северновеликорусской области, считали обычно северновеликорусской и генетически. Поэтому «проблески» подобной конструкции в опубликованных южновеликорусских текстах не привлекали внимания исследователей; при сложившейся точке зрения её единичные проявления в указанных старых текстах легко относились за счёт усвоения писцами норм приказного языка. Показания ранее неизвестных специалистам курских отказных книг и других рукописных источников позволяют с несомненностью считать, что конструкция типа *земля пахать* – исторически общерусская.

Опираясь на современную географию названий *изба* и *хата*, нетрудно допустить, что нашему югу в прошлом было свойственно название *хата*, а появление *избы* в южновеликорусских памятниках связано с влиянием приказного языка или с проникновением на юг северновеликорусского населения. Между тем это неверно. В многочисленных известных нам южновеликорусских актах с XVI в. до тридцатых годов XVIII в., где употребляются названия жилых построек, мы ни разу не встретили обозначения *хата*, во всеобщем употреблении исключительно *изба*. Аналогичное положение и в отношении названий *лошадь* и *конь*. Первое рассматривают как южновеликорусское, второе «прикрепляют» к нашему северу, тогда как в южновеликорус-

ских текстах XVI–XVII вв. представлено дифференцированное употребление этих вариантов: *лошадь* – тягло, а *конь* – для воина.

Некритически заключают по современным данным и о старом говоре Москвы, а поскольку московский говор явился основой русского литературного языка, эти заключения распространяются и на литературный язык в его былом состоянии. О том, насколько они сомнительны, свидетельствуют данные о неместных уроженцах в составе московского населения в конце XIX в. «Неместными уроженцами, – пишет А. Г. Рашин, – считалось всё городское население, за исключением уроженцев того же уезда, где находился город. Наиболее значительно были представлены в 1897 г. неместные уроженцы среди населения столиц: в Москве – 73,7% общей численности населения» [Рашин 1956: 132]. При таком интенсивном пополнении Москвы неместным населением (а в дальнейшем пополнение таким путём шло не менее, если не более интенсивно) непосредственное возведение её современной речевой культуры к XVII в. не может быть оправданным. Отсюда следует: выяснение вопроса о роли в её речевой культуре, а тем самым и в литературном языке северно- и южновеликорусских элементов нельзя строить на прямом сопоставлении современной московской речи с южновеликорусскими и северновеликорусскими говорами наших дней. Последние за три-четыре столетия, как показывают соответствующие памятники, претерпели лишь незначительные изменения, наиболее ясные в лексике, тогда как московский говор изменился весьма существенно.

Особенно ошибочно, на наш взгляд, видеть отражение еканья в написаниях *e* на месте *я* в предударном положении в письменных памятниках Подмосковья. Из написаний *e* на месте *я* ещё не вытекает, что писцы отражали еканье. Ведь и в памятниках южновеликорусского происхождения реализация гласных неверхнего подъёма в первом предударном слоге передаётся, как правило, через *e*; передача посредством буквы *я*, как и в текстах Подмосковья, – явление сравнительно редкое. «Еканье» в текстах – ещё не свидетельство существования еканья в говоре, который в письме отражён. А если так, подмосковный вокализм, представленный в текстах «еканьем», не обязательно был средневеликорусским. Добавим: во многих подмосковных говорах с так называемой северновеликорусской или южновеликорусской основой вокализм достаточно далёк от московского. Поэтому надо ещё доказать, что московский вокализм генетически связан в большей мере с местной стихией, нежели с южно- и северновеликорусской, находившимися в процессе взаимодействия. Напротив, в элементах под-

московной речи, которые сближают её с московской, можно усматривать результат московского влияния.

Обусловленная социально-экономической концентрацией, концентрация русских диалектов получила в говоре Москвы, как своём центральном фокусе, наиболее интенсивное воплощение. Мы не видим данных в пользу того, что основой московского говора – не в локально-генетическом, а структурном плане – явился один из средневеликорусских. Поскольку в русском национальном языке объединительные тенденции были очень сильны, характер московского – центрального – говора, по нашему мнению, определила не местная диалектная база, а та диалектная доминанта, которая сложилась в процессе взаимодействия более широких диалектных образований русского юга и севера; роль местной диалектной базы была второстепенной. В свете подобного предствления находит убедительное объяснение и тот общеизвестный факт, что около Москвы полоса средневеликорусских говоров самая узкая.

При большом отставании в области изучения южновеликорусских памятников любое решение рассматриваемого вопроса на материале имеющихся публикаций будет либо неверным, либо весьма приблизительным. Основательное решение этой проблемы возможно лишь при условии включения в научный оборот огромного свежего материала из древних южновеликорусских текстов. Уже и первое вторжение в сферу данных источников вскрывает некоторые новые факты, проливающие свет на отдельные моменты интересующего нас соотношения.

Показания древних неизданных текстов южновеликорусского происхождения позволяют нам отклонить распространённое мнение о гласном ъ в говоре Москвы XVII в. как гласном, представляющем в московской речи, по звучанию в ударяемом и безударном положениях, северновеликорусское начало. В южновеликорусской области гласный ъ испытывал в безударном положении аналогичное московскому отождествление с гласным е, сохраняя под ударением, как и в говоре Москвы, более закрытое, чем е образование. Трактовка отражений упомянутого явления в южновеликорусской письменности как следствия воздействия на неё московского приказного языка исключается и обилием в этой письменности специфических проявлений местной речи, и нередкими прямыми указаниями на то, что писцы не являлись профессионалами. Итак, по судьбе гласного ъ московский говор XVII в. одинаково связан и с севером и с южновеликорусской областью. Совпадение в дальнейшем гласного ъ с е в ударяемом положении объединяет московский говор, пожалуй, в большей мере с югом, нежели с севером.

Окончание формы род. падежа ед. числа прилагательных и местоимений *-ева, -ова*, свойственное устной литературной речи, представляется возможным выводить не обязательно из говоров северновеликорусского наречия, но, с известным основанием, – и из южновеликорусского. Огромное количество соответствующих фактов, безусловно фонетического характера, рассеянных в южновеликорусских грамотах, свидетельствует об этом со всей очевидностью.

Наконец, южновеликорусские данные XVII в. говорят о том, что отдельные лексические противопоставления, которыми пользуются для дифференциации северно- и южновеликорусского наречий, в историческом плане – мнимые. Слова *лонись* ‘в прошлом году’, *лонской* ‘прошлогодний’ считают лишь северновеликорусскими. Между тем, например, *лонской* попадаетея и в южновеликорусских текстах. Существительное *выть* ‘часть’ или ‘доля’ и некоторые производные от него образования квалифицируют исключительно как северновеликорусские, тогда как они известны и южновеликорусским памятникам. Материалы начала XVIII в., а можно думать, и более ранние, не оправдывают противопоставления юга и севера по синонимам *кочет* и *петух*. Противопоставление *волк – бирюк* также несостоятельно, потому что первое из этих слов вместе с производными бытовало и на юге, а второе, судя по данным текстов южновеликорусского происхождения, употреблялось, помимо первого, обыкновенно в качестве прозвища, означая, по всей вероятности, угрюмого человека. В XVII в. отсутствовало известное ныне различие между севером и югом по синонимам *клеть* и *пуня*: повсюду и на юге употреблялось слово *клеть*, а название *пуня*, по-видимому, из белорусского языка, ещё только входило в южновеликорусский обиход. Не было точно также различия и по синонимам *волосы – виски*: в древних южновеликорусских источниках, притом бытового содержания, в употреблении – слово *волосы*. Обращает на себя внимание отсутствие в этих источниках названия *рига*. Вместе с тем, в памятниках, приуроченных к территории южновеликорусского наречия, встречаются упоминания об *овинах*.

Первостепенное значение исследования южновеликорусских памятников для успешного разрешения поставленного вопроса представляется нам очевидным. [Подпись: С. И. Котков (Москва)]



## **9. Вопросы истории русского языка в свете некоторых данных южновеликорусских памятников // Вопросы образования восточнославянских языков. – М., 1962. – С. 31-49.**

В науке давно господствует мнение, что русский национальный язык в его литературной форме имеет своей основой северновеликорусское начало, несколько видоизменённое влиянием южновеликорусской стихии. Утверждение этой точки зрения было обусловлено рядом причин. Во-первых, памятники старшей поры, которые исследовались в первую очередь как более древние и вследствие своей малочисленности вполне обозримые, в основном приурочены к русскому Северу – неюжновеликорусской области; история русского литературного языка в значительной мере строилась на материале именно этих памятников. Во-вторых, привлечение памятников более позднего времени (XVI–XVII вв.) ограничивалось также преимущественно северновеликорусским кругом и, в некоторой части, средневеликорусским. Это объяснялось господством традиционной теории «запустения» южновеликорусской области в XIV–XVI вв., теории позднего формирования её населения за счёт колонизации с севера, вследствие чего показаниям старой южновеликорусской письменности не придавалось серьёзного самостоятельного значения. К тому же исследование русского языка XVI–XVII столетий в основном строилось на публикациях текстов, подготовленных без учёта филологических требований. Последнее обстоятельство не могло оказать заметного влияния на изучение русского языка в северновеликорусском варианте, поскольку филологические издания приуроченных к данному варианту более ранних памятников давали ясное представление о его прошлом. Но для исследования южновеликорусского варианта это обстоятельство явилось роковым: некоторые особенности этого варианта остались просто невыявленными или нашли в подобных публикациях такое отражение, которое вводило в заблуждение доверчивых исследователей, позволяя усматривать в данных текстах всего лишь периферийное отражение московского приказного письма. По-видимому, были и другие причины, обусловившие указанное направление исследований в области истории русского языка; например, сказалось, по всей вероятности, влияние того обстоятельства, что хранителем древнерусского эпоса в основном оказался северновеликорусский край.

Следование привычным традиционным мнениям об основе русского национального языка наблюдаем в ряде работ, опубликованных в последнее десятилетие. Проявления южновеликорусских особенностей в древнерусских памятниках, приуроченных к Москве и

Подмосковью, относят обычно к опискам, объясняют нефонетически или приписывают оригиналу, созданному вне московских мест, если памятник является воспроизведением. Например, отражения аканья (в первом предударном слоге после твёрдых согласных перед слогом с *a*) объясняют обыкновенно лишь графической ассимиляцией или морфологически, или вводят их в систему северновеликорусского вокализма, отмечая какую бы то ни было возможность южновеликорусской интерпретации. Так, в исследовании об Уложении 1649 г. П. Я. Черных замечает: «употребление гласного *a* вместо *o* в Уложении наблюдается (как и в современных окающих севернорусских и украинских говорах) в некоторых единичных случаях в слоге, предшествующем слогу с ударным гласным *a*» и приводит примеры *салдаты*, *галанцомъ*, *галанскихъ*, а вместе с тем и случаи, где ударяемый не *a* – *манастыр#*, *манастырскихъ*, отмечены также *наров#ти*, *понаров#ть* [Черных 1953: 194-195]. «Таким образом, – полагает П. Я. Черных, – в Уложении не заключается никаких определённых указаний на акающее произношение его составителей, переписчиков и издателей, хотя в наличии акающего произношения в Москве в середине XVII в. едва ли можно сомневаться» [там же: 195]. Не касаясь этого вывода, сделаем замечание об истолковании фактов. Хотя они, за исключением последних, восходят к иноязычным, вовсе не считаются с ними вряд ли правомерно, если в то же время связывать появление *a* на месте *o* с положением перед слогом с ударяемым гласным *a*. Нельзя не принимать во внимание и отражённой в Уложении взаимной мены *e* и *y* в безударном положении. С другой стороны, ожидать в Уложении – официальном государственном тексте, тщательно отработанном, – более ярких следов аканья нет никаких оснований.

В описании Московского евангелия 1358 г. читаем: «Написания с *a* в книжных глагольных основах многократного вида объясняется морфологически и ни в коей мере не указывает на наличие аканья»; речь идёт о написаниях *оукарѣти*, *съвпрашати*, *напя"ше*, *ража~тс#*, *оутапаху в мори* и др. [Князевская 1957: 162]. Фонетическое значение этих случаев совершенно исключается, хотя в той же самой рукописи встречаем и варианты с *o* вроде *оукорѣти*. В определённой части русских говоров можно найти и фонетическое объяснение приведённых выше написаний: в этих говорах *a* вместо *o* в предударном положении возможно лишь при наличии *a* в слоге под ударением. В современной науке такое состояние считают ранним этапом перехода от системы оканья к системе аканья. Аналогичное состояние, надо думать, имело место и в прошлом ряда говоров. Почему написания в Московском евангелии не принять за первые свидетельства аканья в Москве и

Подмосковье? Это тем более естественно, что в данном памятнике есть и другие приметы аканья. «С наибольшей вероятностью, – читаем там же, – фонетическим можно признать написание *ака...* с *a* вместо *o* (*ака на нбси тако и на земли*). Однако этот пример очень похож на описку писца (наиболее частые случаи описок приходится именно на замену нужной буквы гласного буквой соседнего слога...)» [там же]. Нам кажется, ссылка на графическую ассимиляцию – обоснование довольно слабое. Ни взаимная мена *e* и *a*, ни употребление *u* на месте *e* не мешают автору описания говорить об отсутствии в евангелии указания на аканье. «Известно, – заключает автор, – что частичное неразличение безударных гласных неверхнего подъёма после мягких согласных в одних условиях при их правильном различении в других часто наблюдается и во многих современных северновеликорусских говорах, не знающих аканья» [там же: 164]. Однако никто не доказывал, что такое неразличение исторически является северновеликорусским.

Названные работы – не исключение. Значительное влияние традиционной схемы образования национального языка находим и во многих других исследованиях. Вместе с тем наблюдаем и неудовлетворённость старой точкой зрения, и это вполне закономерно, поскольку новые данные говоров и новые сведения из древней письменности не укладываются в эту привычную схему.

В последнее время заметно стремление вообще отказаться от определения диалектной базы национального языка. К такой постановке вопроса привели неудачи в решении проблемы по-новому. Последние, как нам кажется, обусловлены следующими моментами.

В поисках диалектной базы русского национального языка обыкновенно постулировалось наибольшее сходство, а в иных случаях и тождество национального речевого образования и того территориального диалекта, который принимали за его диалектную базу. Однако сравнение в этом плане любого из русских диалектов с национальным языком (точнее – его литературной формой, поскольку нелитературная не определена и порой высказываются сомнения в её существовании), как правило, не даёт желаемого результата. Причина этого, по нашему мнению, заключается не в том, что национальный язык не имел конкретной диалектной базы, а, во-первых, в особом исторически сложившемся качестве русских диалектов; во-вторых, в обеднённом понимании диалектной базы исключительно в аспекте лингвистической географии; в-третьих, в одностороннем подходе к пониманию общенародности русского национального языка.

Необходимо прежде всего считаться с тем непреложным фактом, что к началу формирования русского национального языка суще-

ствовавали северновеликорусское и южновеликорусское наречия, причём различия между ними были и остаются более определёнными, более системными, нежели между говорами, образующими каждое из них. Это показывают и современные наблюдения и исследование локальных письменных памятников. Вследствие указанного обстоятельства предположение о том, что в основу русского национального языка лёг один из диалектов северновеликорусского или южновеликорусского наречия, не имеет под собой достаточно убедительных оснований. Специфические особенности того или иного говора в составе того или другого великорусского наречия маловыразительны, в большинстве своём – несистемного порядка, поэтому они не являются особенностями, которые могли бы выделить какой-нибудь из этих говоров в качестве базы национального языка, определить в дальнейшем формирование характерных черт последнего. Общеэтно-экономических и политических предпосылок выделения одного из подобных говоров, насколько известно, тоже не было. Что касается Москвы как объединяющего центра, то речевая культура Москвы и тогда уже не представляла местного крестьянского говора. Специфические особенности национального языка уходят своими истоками не в один какой-то говор, а в недра более крупных диалектных образований. Полагаем, что понимаемый как процесс концентрации говоров процесс образования русского национального языка протекал главным образом в широкой сфере взаимодействия южновеликорусского и северновеликорусского начал. Средневеликорусские говоры в этом длительном процессе играли лишь подчинённую роль, так как складывались попутно с процессом образования языка великорусской народности и затем – национального языка.

Тот факт, что русский национальный язык восходит к языку великорусской народности, не снимает проблемы диалектной базы в эпоху формирования и развития нации. Приняв противоположную точку зрения, пришлось бы отказать диалектной стихии в самостоятельном, активном влиянии на судьбы русского языка. Однако это было бы далеко от истины. Могучая демократизация литературной формы национального языка в течение последних двух столетий свидетельствует именно о таком влиянии. Понимание диалектной базы национального языка исключительно в аспекте лингвистической географии, при всём огромном значении диалектологического атласа, повторяем, обедняет содержание этого понятия; в известной мере «привязывает» его к определённому этнографическому ареалу, не учитывает существенного значения вне ареальных речевых контактов, которые в эпоху сложения нации получают исключительное развитие; не счита-

ется с наследством предшествующих веков в виде языка великорусской народности и культуры книжного языка, в значительной степени свободной от территориальной приуроченности.

В понимании общенародности национального языка не дифференцируются два аспекта – общенародность в смысле общеупотребительности языка во всём его составе и общенародность как употребительность таких элементов языка, которые для всех его носителей являются интегрирующими. В первом случае общенародность и диалектность взаимно исключаются, во втором – в условиях говоров они сосуществуют. Система интегрирующих элементов языка развивается и внутренним путём, и за счёт ресурсов тех диалектов, которые вследствие определённых социально-экономических предпосылок в определённый исторический период становятся более влиятельными, чем другие диалекты данного языка. Вопрос о роли интегрирующих элементов этой второй категории в национальную эпоху развития языка и составляет содержание проблемы диалектной базы национального языка. При наличии благоприятных социально-экономических предпосылок влиятельным, естественно, выступает такое диалектное образование, которое является достаточно сложившимся, обладающим определённым внутренним единством. Было ли такое диалектное образование в период становления национального языка в пределах южновеликорусской области? Исследование коренных южновеликорусских говоров по современным данным и данным памятников даёт на этот вопрос положительный ответ.

Изучение структурной взаимосвязи типов южновеликорусского яканья, и в частности, отклонений от них, привело автора к убеждению, что говоры старой коренной южновеликорусской области сложились не в XVI–XVII вв. на базе волн колонизации, как утверждали прежде, а гораздо ранее, поскольку и в условиях татаро-монгольской опасности в XIV–XV вв. в пределах названной области сохранялось постоянное русское население [см.: Котков 1952]. Материалы, собранные для атласа русских народных говоров, подтвердили правильность этого вывода. Признание его проступает в отдельных работах историков и лингвистов, причём порой без всяких ссылок на первоисточник. Указания на непрерывную обитаемость южновеликорусской области находим, между прочим, и в явлениях топонимики, например, в географии нарицательных гидронимов, отражённой в текстах XVII в. В известной «Книге большому чертежу» названия *верховье* (реки) и *колodeзь* 'ручей', 'речка' связаны в основном именно с этой территорией. Отмечаем подобные названия и в южновеликорусской письменности того же времени. Название *яруга* для оврага, по данным этой письмен-

ности объединяет большую часть указанной территории. В согласии с лингвистическими данными находятся и некоторые данные этнографии. Так, представленный в двух вариантах южновеликорусский тип планировки жилища охватывает всю исследуемую область, с распространением, видимо, более поздним, на тамбовские места [Бломквист 1956: 235].

Установлено, что в прошлом веке, а также в начале XX в. различия в жилище отдельных групп населения этой области были незначительны [Ганцкая 1960: 204]. Не приводим других косвенных доводов в пользу непрерывной обитаемости края, частью столь же существенных, которые были изложены в предшествующей работе [см.: Котков 1952: 11-19].

Имеем вместе с тем и прямые указания на заселённость этой земли в XVI столетии. Если судить по писцовым книгам и записям, сохранившимся от конца XVI в. по отдельным южновеликорусским уездам, то последние представляются довольно заселёнными. Таковы, например, Белёвский, Карачевский, Орловский, Новгород-Северский и Путивльский уезды. Во вкладной Матрёны Заболотцкой 1570 г. перечисляются некоторые селения Новосильского уезда и угодья, «куды из тѣх дрвнь из починков плуг и топор и коса и соха ходила и со всѣмъ с тѣмъ по старине» [ГКЭ, № 1/7916]. Что касается уездов, расположенных восточнее, то в источниках первого десятилетия XVII в., например в книгах десятен, встречаем упоминания о «старых помещиках». В отказных книгах и других источниках двадцатых и тридцатых годов XVII в. читаем о принадлежности поместий отцам и дедам. Например, в 1632 г. о курском поместье Воронцова сообщалось, что оно принадлежало и отцу его и деду [РГАДА, Поместный приказ, № 15684: 31 об.]. Развитая детализация в описании границ угодий, развитая не в меньшей степени, чем в центральных местах России, не вяжется с представлением о позднем заселении, с утверждениями, что в XIV–XVI вв. здесь была пустыня. В свете всего сказанного о заселённости южновеликорусской области в интересующее время возникает необходимость в пересмотре традиционной точки зрения на участие южновеликорусской стихии в формировании русского национального языка, вернее его литературной формы. Однако, прежде чем обращаться к этому вопросу, необходимо устранить те сомнительные дополнения, которые вносит в характеристику коренных южновеликорусских говоров XVII столетия П. Я. Черных.

Познакомившись с «Описанием Турецкой империи», составленным русским, бывшим в плену у турок в XVII в., изданным в конце прошлого века [см. Турц.], П. Я. Черных принял это описание как

вполне достоверное отражение южновеликорусской стихии. Действительно, описание содержит и южновеликорусские приметы, вроде следов аканья. Но кроме южновеликорусских, в нём есть и такие черты, которые к южновеликорусским не имеют отношения. В то время как издатель приблизительно верно установил диалектную принадлежность рукописи к местности, где великорусское население «слегка соприкасается» с украинским, «как в нынешних Орловской, Курской, Калужской (?) губерниях», П. Я. Черных распространяет свидетельства описания на всю область коренных южновеликорусских говоров. На том основании, что в описании употребляется местоимённая форма *той* вместо *тот*, он лишает указанные говоры местоимения *тот*, заявляя попутно, что очагом распространения последнего в Московской Руси «едва ли не является Псковщина и та же Новгородская земля» [Черных 1958: 141]. Далее утверждается, что в старых южновеликорусских говорах не было именительного-винительного множественного на *-а*, *-я* несреднего рода; наконец, этим говорам приписывается последовательное употребление окончания *-го* в соответствии с *-во* в московском приказном языке [там же]. Полемизируя с нами, П. Я. Черных сомневается в доказательности данных, извлекаемых для характеристики говоров из деловой письменности XVII в. При этом совсем не принимается во внимание существенное различие между писцовыми книгами (на которые, кстати, в подобных случаях мы и не ссылаемся) и челобитными, в которых историки русского языка всегда находили достаточное отражение живой разговорной речи. Обратимся к южновеликорусским текстам, либо условно относимым к области официального языка, либо не имеющим с ним ничего общего. Важное значение вторых как зеркала живой речи признаёт П. Я. Черных.

По поводу мнимого отсутствия в прошлом в говорах местоимения *тот* и распространения в них местоимения *той* можно сказать следующее: в сотнях, если не тысячах, сказок и челобитных, просмотренных нами в московских хранилищах, писанных не только подьячими, но и рядовыми обитателями южновеликорусского края, при наличии в текстах многочисленных диалектных отражений – фонетических и морфологических, местоимения *той* вместо *тот* мы всё же не встречали. Не находим указаний на него и у других исследователей, которые занимались изучением южновеликорусских говоров по архивным материалам. Что касается случаев употребления местоимения *той* в соответствии с *тот* на границе южновеликорусских и украинских говоров, то его появление из украинских там вполне естественно. В сороковые годы минувшего века [XIX века. – Л.А.] вариант *той* наряду с основной для «курского наречия» формой *тот* отмечал Васья-

нов [см.: Васьянов 1840]. В записках Васьянова, которые производились, видимо, где-то поблизости от украинских говоров, есть и другие украинизмы, но в течение более ста лет на этом основании ещё никто не предлагал существенных дополнений к характеристике южновеликорусских говоров.

В XVII в. им.-вин. мн. ч. на *-а* и *-я* в южновеликорусских говорах встречался сравнительно не часто, но вообще отрицать его наличие в старой южновеликорусской области по меньшей мере странно. Например, довольно устойчивое употребление формы множественного числа *леса* отличает курские отказные книги XVII в. [РГАДА, ф. Поместный приказ, № 15684: 24 об., 27 об., 30 и др.; № 15685: 16 об., 69, 82 и др.]. Так пишут не только подьячие, но и грамотей-непрофессионалы. Характерно, например, что один из таких грамотеев вывел однажды эту форму в диалектном облике: в *леса* въезжат(ь) [РГАДА, Поместный приказ, № 15685: 191 об.]. Возможно, с ударением на конечном гласном употреблялась и форма *шурья*, представленная в тексте, написанном в Чугуеве: *шурья мои Лукьян да Микифор Русановы* [РГАДА, ф. Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 2250: 127].

Рассмотрим несколько подробнее вопрос об окончаниях *-ого*, *-ово*, поскольку в этом вопросе П. Я. Черных придерживается весьма распространённой точки зрения.

«Письменные памятники делового характера XVI–XVII вв. курско-орловского происхождения, – пишет П. Я. Черных, – являются, в сущности говоря, памятниками московского приказного языка (с твёрдым *т* в третьем лице глаголов, с местоимёнными формами *меня*, *тебя*, *себя* и проч.), но с отступлениями от собственно московских образцов в отдельных случаях. Поэтому было бы странно, если бы исследователь памятников деловой письменности курско-орловского происхождения XVI–XVII вв., встретившийся, например, с фактом широкого употребления формы род.-вин. ед. полных прилагательных неженского рода и прочих полных родовых слов на *-во*: *-ва* (*злѡво*: *злѡва*, *тѡво* и т. д.), столь характерной для памятников, писанных в Москве с половины XV в., стал бы утверждать, что упомянутая форма на *-во*: *-ва* не московского, а курско-орловского происхождения. Между тем С. И. Котков идёт именно по этому пути, когда утверждает, что окончание *-во* “в русском литературном языке представляется возможным выводить не обязательно из говоров северновеликорусского наречия (!), но с известным основанием и из южновеликорусского”» [Черных 1958: 140].

В связи с недоумением оппонента, выражаемым знаком восклицания следует заметить, что генетическое отнесение окончания *-во*



к северновеликорусскому началу – в современной науке, как известно, явление распространённое. Отражение окончания *-во* в московских памятниках XV в. говорит не только о московском, но вместе с тем и северновеликорусском, а в известной мере и южновеликорусском его происхождении. К этому сводится наша поправка, сформулированная в следующих словах: «некоторые явления литературного языка, традиционно возводимые к северновеликорусскому началу, новый материал позволяет возводить и к южновеликорусскому» [Котков 1952: 175]. Регистрация окончания *-во* в московских текстах XV в., а в южновеликорусских – только с XVI в., так как более ранних нет, ещё не доказывает, что в южнорусской речи до XVI в. окончания *-во* не было. Если пользоваться таким методом, легко например, прийти к выводу о возникновении аканья сначала в Москве и Подмоскowie, а затем распространении его в южновеликорусской области. П. Я. Черных возражает против моей поправки к «Очерку русской диалектологии» Московской диалектологической комиссии. В «Очерке» говорится, что в говорах курско-орловской группы в этом окончании широко распространено употребление длительного *z*, хотя *в* преобладает [см.: Дурново, Соколов, Ушаков, 1915: 96]. В ответ на моё замечание, что в Орловской области оно «не просто преобладает, а почти безраздельно господствует» [Котков 1952: 126], следует возражение: «В настоящее время, возможно, “безраздельно” господствует. Но ведь в «Очерке» речь идёт о говорах конца XIX – начала XX вв.!» [Черных 1958: 136]. Обратимся к произведениям А. И. Левитова, писателя 60–70 годов XIX в., уроженца южновеликорусского села у восточной границы Орловской губернии. Он фактографически передавал местное произношение. Вот примеры из разговора двух персонажей его рассказов: «да я уж, – конфузливо тянет мужик, – *тово* бы... Ко дворам бы мне, кажись, пора...» («Дворянка»); [Язва:] «Да ты... да тебе бы не в пример лучше опять бы *тово*... водочки бы» («Самовар Исаия Фомича»). Допускаем, что эти примеры частицы малопоказательны. Приведём некоторые другие. В 1862 г. полуграмотная Н. Лескова писала брату-писателю: «если взтумаеш ко мне писат то пиши на почту переяславскую а атуда на ржищевская станцию с пиридачию игумени марий ана пиридаст мне ево [письмо]» [см.: Лесков 1954: 154].

В письме бурмистра орловской деревни своим помещикам, датированном 1818 г., читаем: «Тагда ох бох мой нещастье приключилось великое. Атазвал меня исправник в сборную избу да и сказывает Ванька все это твай дела. Знаю даподлинно и сознанья *тваво* в том ни надо, а надо сем рублев. Ты веть мужик сказывают из всех багатеюций... А што дам и ума ни прилажу у *самаво ничево*. Государи мило-

стивцы наши ни я прашу, малых пять дитей просят, жена просит, спаси их, спаси *невинаво* заступис за халапа сваво Ваньку, ни дай в абиду *невинаво*» [см.: Рус.старина 1896а: 154]. О всей непосредственности этого письма свидетельствуют купюры, произведённые издателем.

В письме крестьянина к помещику, написанном в 1807 г.: «ты пожалуй меня крестьянишку *тваво*, есть в твоём Волховском государевом помѣстье в деревне Кривчее девка Дашка Картавая и ты пожалуй меня... сироту *тваво* Ваську *Храмова*, ослобони меня на той дѣвке женитца. Дазволь. А Фролка Картавый, отец ейной дѣвки Дашки с девкою своею хочет сказывают брести из *тваво* государева поместья прочь куды глаза глядят» [см.: Рус.старина 1896: 618].

Коллекцию написаний на *-во* и *-ва* вместо *-го* и *-га* содержит дневник курского помещика И. П. Анненкова, который он вёл с 1745 по 1766 г. Самый характер записей и некоторые отражения в них особенностей местного южновеликорусского говора дают основание полагать, что написания подобного рода – не просто дань определённой письменной традиции. Ограничимся несколькими иллюстрациями: воску *ярова* (л. 15), солоду *ржанова* (л. 15), масла... *конопнова* (л. 19 об.), сала *свинова* (л. 19 об.), жене *ево* Ефросинье (л. 20 об.), масла... *поснова* (л. 25) [см.: Анненков 1957].

В письме из орловской вотчины, относящемся к 1688 г., адресованном барыне, говорится: «бьет челомъ раба твоя девченка Иринька изволиш государыня своево боярского постава правит(ь) а мнѣ рабе вашей прѣсти постава недасужно» [см.: Щукин 1898: 229].

В другом письме из тех же мест и того же времени: «Ивашко пот ту ночь ввечару у *нево* Минока в банѣ остался и лапот(ь) сушил на каменки и завирал у *нево* ж Минока и заверщи обулься и допращавался у *нево* Минока что де Минай как поитит(ь) кому на Орель будет ли до свѣта или нѣтъ... сказал мнѣ про *малова* староста... я *тово* часу посылал проведоват(ь) на Орель старосту... приехал я на Путимяц а *ево* Ивашки дома не изъехалъ а подбаель *ево* Минай с собою на варницу на себѣ работат(ь) вина варит(ь) и я *ево* дожидался... я халоп твой хател *малова* поучит(ь)» [там же: 230].

Наконец, в «грамотке», посланной отцу Якушкой Похвисневым в Брянский уезд в конце XVII в. или в начале XVIII в., встречаем такие случаи: *всево*, *однова*, *маево*, в домя въ *ево* [см.: Рус.старина 1875: 145]. Необыкновенно колоритная в диалектном отношении «грамотка» не оставляет сомнения в том, что написана лицом малоискушённым в тогдашних нормах письма.

Нет необходимости приводить соответствующие данные южновеликорусской деловой письменности XVII в. Мы представили при-

меры из тех материалов, которые, по словам П. Я. Черных, имеют «важное значение для решения этого вопроса» [Черных 1958: 141].

В последнее время по вопросу о формах на *-во*, *-ва* в южновеликорусских говорах выступил А. И. Толкачёв. Он исходит из следующих соображений.

«Поскольку звук Ъ как самостоятельная фонема является в этих говорах звуком устойчивым, то выпадение Ъ (образования *-oo*) и не могло быть. Поэтому следует признать, что формы на *-во*, *-ва* в южных говорах не могли возникнуть фонетическим путём – тем путём, который предполагал Соболевский в отношении всех говоров. Нам кажется, что эти формы в южновеликорусских говорах обязаны своим происхождением влиянию северновеликорусских говоров, где окончание *-ово* возникло к концу XIV – началу XV столетия, влиянию литературного языка, а ещё раньше влиянию языка деловой письменности Московского государства – так называемого приказного языка, в котором господствовал род. падеж на *-ово*» [Толкачёв 1960: 258]. Не ставя своей задачей выяснение происхождения окончания *-во*, *-ва* в южновеликорусских говорах, позволим себе заметить, что чисто умозрительный вывод об устойчивости Ъ в южновеликорусских говорах – основание для построения концепции ненадёжное. Представлению об устойчивости Ъ, например, противоречат некоторые известные нам данные южновеликорусской письменности XVII в. Заметна, скажем, такая тенденция: одни и те же лица из южновеликорусов, у которых в обыкновении употребление формы на *-во*, *-ва*, в положении после слога с *в--во* и *-ва* избегают, пишут *-го* и *-га*: *мужскова*, *женскова*, но – *дворового*; *молоченава*, *всякова*, *тово*, однако – *новога*; *арженова*, но – *ерогова* и т. д. А один из ельчан написал: *всякова хлѣба ерогова* шесть десятин [РГАДА, Разрядный приказ, Белгородский стол, стлб. 412: 162]. Усматриваем в этих случаях вероятность межслоговой консонантной диссимиляции, а она едва ли согласуется с представлением об «устойчивом» Ъ.

Отметив в тульских писцовых книгах наличие вариантов на *-во*, *-ва* и *-го*, *-га*, А. И. Толкачёв приходит к заключению о вытеснении первыми, московскими, вторых – южновеликорусских [см. Толкачёв 1960: 258-259]. Однако данные писцовых книг бесполезны в этом случае, так как писцовые книги обыкновенно составлялись приезжими людьми, а не представителями местного говора. Мы уже не говорим о том, что наличие тех и других вариантов свойственно и московским старым текстам, однако из этого факта автор рассматриваемого заключения, по-видимому, не делает вывода об аналогичном процессе вытеснения в московских старых текстах.

Несколько слов об отождествлении южновеликорусских текстов с московскими по твёрдому *m* в третьем лице глагола, которое допускает П. Я. Черных. Это отождествление вызывает недоумение: можно думать, что оно навеяно неудовлетворительными публикациями южновеликорусских памятников. В оригиналах это конечное *m* – обыкновенно выносное и, понятно, не имеет при себе ни *ъ*, ни *ь*, а в исключительно редких случаях написаний его в строке за ним следует такое начертание, в котором с равным основанием можно видеть и *ъ* и *ь*. В южновеликорусской скорописи XVII в. совпадение в написании *ъ* и *ь* – явление общеизвестное.

\* \* \*

Одним из главных является вопрос о структуре московского говора в его историческом развитии, об отношении московского говора в культурно-историческом аспекте и в плане генетическом к средневеликорусским говорам. А также при посредстве последних или непосредственно – к северновеликорусскому и южновеликорусскому наречиям. При интенсивном пополнении Москвы неместным населением, тесном контакте её обитателей с носителями разных диалектов московская речь за четыре столетия изменилась весьма существенно, тогда как северновеликорусские и южновеликорусские говоры подверглись за это время лишь незначительным изменениям. Исследование южновеликорусских и северновеликорусских памятников показывает, насколько несостоятельны предположения об изменении в говоре той или иной черты за какие-нибудь полстолетия, что в современных исследованиях по диалектологии и истории русского языка мы встречаем постоянно, особенно если речь идёт о влиянии на говоры литературного языка. Такое решительное воздействие на говоры со стороны литературного языка становится реальностью лишь в советскую эпоху. Ничего подобного вплоть до начала XX в., несмотря на проникновение в деревню значительного количества новых слов, не происходило. Изменение средневеликорусских говоров также отставало от московского. Существенное изменение московского говора зависело во многом от перемен в составе его носителей и оживлённых контактов со средой, представляющей разные диалекты. Не располагая более ранними данными, приведём сведения о населении Москвы в 1835 г. [см.: Стат.свед. 1836: 510-511]. Они довольно любопытны. Москва в то время имела 336 тыс. жителей, в том числе крестьян (казённых и помещичьих) около 107 тыс. и дворовых свыше 70 тыс. Если к этому прибавим до 30 тыс. солдат и 14 тыс. официально иногородних и иностранцев, то состав такого населения, в котором московские старожилы едва ли представляли более или менее значительный контингент,

достигает 221 тыс. На 20 тыс. дворян и чиновников, 19 с лишним тыс. «приказно-служителей и разночинцев» и 12 тыс. купцов, можно думать, приходилась какая-то часть таких, которые в столице были новосёлами или относились к её временным обитателям. Наконец, из остального городского населения (цеховых, фабричных, ямщиков, монашествующих и др.) не все, обитавшие в столице, принадлежали к коренным москвичам; возможны подобные исключения и среди московских мещан, число которых тогда достигало 40 тыс. С учётом всех приведённых данных, вероятно, не будет большой ошибкой процент старожилов-москвичей принять за 35–40.

Проходит полвека. Перед нами цифры 1897 г.: население Москвы на 73,7% состоит из неместных уроженцев, т. е. уроженцев не того уезда, где находится город [см.: Рашин 1956: 132].

Изменение московского говора зависело и от того, что новые средства выражения (имеем в виду лексику), появление которых было связано с бурной жизнью столицы как политического, экономического и культурного центра страны, усваивались и развивались прежде всего населением Москвы. Сравнение современной московской речи с современной средне-, южно- и северновеликорусской не может дать правильного ответа на вопрос о её составе, хотя и свидетельствует об отдельных бесспорных линиях связи московской речи с великорусским Севером, с одной стороны (напр., взрывное образование *з*), и Югом (аканье) – с другой. Решение данного вопроса возможно лишь в итоге исследования речевой культуры города Москвы в историческом аспекте, при учёте тесного взаимодействия этой культуры с северно-, средне- и южновеликорусской стихиями, роли древнерусской письменности в её формировании, отразившей определённые элементы структуры древнерусского языка. Разумеется, эти элементы в определённой мере сохранились и в каждом из русских говоров. Рассмотрение всех данных моментов не входит в нашу задачу, однако держать их в поле зрения, полагаем, необходимо, так как, касаясь отдельных явлений в истории русского языка, с указанными моментами невозможно не считаться.

В последние годы в результате исследования старых южновеликорусских текстов делового содержания получены некоторые новые сведения, позволяющие пересмотреть установившиеся в науке представления о месте южновеликорусского элемента в истории русского языка эпохи его национального развития. Вопреки распространённой точке зрения на эту категорию текстов, как слабо отражающих живую народную речь, имеет основания утверждать, что старая южновеликорусская письменность делового содержания – надёжный источник для

суждения о состоянии южновеликорусских говоров в XVII столетии. Игнорирование этого источника до некоторой степени обусловлено ложным представлением о носителях письменной культуры на периферии Московского государства. Почему-то принято считать, что писцы на местах в основном были москвичами, а если и были местные, то они слепо следовали московским образцам. Между прочим, последнее положение не мирится с известным царским указом, который констатировал и вместе с тем санкционировал существенные отклонения от орфографии в XVII столетии [Забелин 1918: 323]. Несмотря на то, что этот указ продиктован не стремлением к упорядочению написания, а желанием устранить и ограничить иски, связанные с «бесчестьем», которое видели порой и в ошибочном написании фамилии или чина, само по себе появление указа говорит о многом. Периферия располагала своим контингентом грамотеев, причём не только подьячих, но и рядовых представителей местного населения, которые в своей писцовой практике, соблюдая стандартные «зачины» и концовки грамот, в основном тексте допускали немало отклонений в сторону местного произношения.

Мы могли бы назвать сотни грамотных южновеликорусов, оставивших упоминания о себе как составителях многочисленных сказок, челобитных, доездов, отказов и т. д. Г. А. Хабургаев, изучавший тексты, написанные в Курском уезде в первой половине XVII в., собрал сведения о грамотных курянах. Их оказалось свыше 200, при этом среди них не только приказные служащие, «площадные подьячие», но немало и частных лиц – представителей служилых сословий [Хабургаев 1956: 4].

Определить историческую основу образования русского национального языка, взятого в его литературной форме, можно лишь на базе обоснованной характеристики тех элементов, которые вошли в его состав, с точки зрения исторической принадлежности данных элементов к тем или иным наречиям и говорам русского языка. Основным в этом плане является вопрос о северно- или южновеликорусской доминанте в истории русского литературного языка эпохи формирования и развития нации. Подмена исторического аспекта синхронным приводит здесь к неверной оценке указанных составных элементов, их роли в процессе становления литературной формы национального языка. Зависит это в известной степени от ограниченности сведений, рисующих бывшее состояние южновеликорусских говоров. Обыкновенно приводят некоторые противопоставления отдельных слов в доказательство близости литературной лексики к северновеликорусскому словарному составу и, напротив, расхождений между нею и южновеликорусским

словарём. Круг лексических элементов, которыми при этом оперируют, и случаен, и очень невелик. И тем не менее на его основе пытаются делать довольно смелые, «окончательные» выводы.

В своё время И. Г. Голанов писал, что северновеликорус «ходит по стóпинке, горшки из печки вынимает ухватом, землю орет и боронует, сеет жито, живёт в избе, ёво хозяйка встаёт с петухам», а южновеликорус «ходя по стежкам, гаршки вынает рогачем, землю пашеть и скародить, сееть ячмень, живеть у хатя, яго хозяйкя устаеть с кьчатáми» [Голанов 1929: 30-31]. За тридцать лет со времени этого, в общем верного, замечания некоторые лексические противопоставления вошли в научный оборот. Вместе с тем с течением времени синхронным лексическим противопоставлениям постепенно стали придавать значение исторических. Таким путём создавалась иллюзия главенства северновеликорусского начала, по крайней мере в области лексики, в формировании русского литературного языка интересующего периода.

Основанное на данных старой письменности сравнение словарного состава южно- и северновеликорусских говоров наводит на мысль, что в прошлом было едва ли не большее лексическое единство великорусского Юга и Севера, нежели в более позднее время – до усиления нивелировки говоров, связанного в основном с советской эпохой. Касясь лексического единства, мы имеем в виду названия лишь таких предметов и явлений, которые равно известны и северно- и южновеликорусам. Так, с исторической точки зрения не имеют основания следующие употребительные в науке северновеликорусские и южновеликорусские противопоставления: *конь – лошадь, изба – хата, клеть – пуня, волк – бирюк, выть – часть или доля, лонской – прошлогодний*; возможно, недействительно противопоставление глаголов *живёт – бывает*; противопоставление *петух – кочет* более или менее сомнительно. Документируем это заключение старыми южновеликорусскими данными.

В употреблении слов *конь* и *лошадь* существовала дифференциация: *лошадь* – тягло, а *конь* – для всадника. Со второй половины XVI в. во вкладной книге брянского Свенского монастыря, который был пограничным и потому, естественно, нуждался в конях, появляются такие записи: «убиен бысть под Стародубом Прокофей Семенов сын Камынин и положен в дому Пречистые Богородицы дано по нем два коня, конь рыж да конь ворон; дал вкладом... Юрий Алексеев сын Камынин конь гнед; дал вкладу... Иван Федорович Камынин конь ворон» [Арсеньев 1903: 15-18]. Слово *лошадь* применяется в качестве общего названия для этого вида животного. В той же книге, подводя

итог всему данному вкладчиком, а были даны вместе с прочим *конь* мухорт и *конь* чал, писец заключает: «а всего их дачи по отцы своем дали платья и *лошадеи* и всякой рухляди на двадцать рублей» [там же: 19]. В 1600 г. обитатель Чернавска писал: «меня поранели в ногу леваю из лука и щибли с *коня* а *коня* взяли с седлом» [РГАДА, Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 981: 92]. Ср. относимые к тому же году сказки ельчан: «а животин Анофревых крестьян без *лошеди* дватцать отогнали; скоту отогнали крестьянскова и моево шестнатцеть *лошадей* шестнатцеть каров» [РГАДА, Разрядный приказ, Белгородский стол, стлб. 412: 457, 486].

В отписных книгах начала XVIII в., приуроченных к южновеликорусским местам, встречаем названия *рабочные лошади*, *езжалые лошади* и в то же время – *конь нагайской* [Материалы хоз. 1951: 23, 24, 74 и др.]. Примеры легко умножить, но в этом нет необходимости. С превращением южновеликорусской области из порубежной во внутреннюю область России и с утратой её населением военно-сторожевых функций слово *конь* закономерно выходит из употребления. Однако ещё в сороковых годах прошлого столетия Васьянов констатировал, что в курских говорах «*конь* – чаще вм. *лошадь*» [Васьянов 1840: 15].

Из старых источников узнаём, что в XVII в. жилые и хозяйственные постройки южновеликорусов имели больше общего с постройками северновеликорусов, нежели позднее, и с этим, понятно, была связана общность их названий на Юге и на Севере. В противоположность современному распространению *хаты* (постройки и её названия) в южновеликорусской области в XVII и первой четверти XVIII в. там встречалась только *изба*. В многочисленных южновеликорусских записях указанного времени, которые нами просмотрены, упоминаний об избах сотни. В то же время названия *хата* мы ни разу не встретили. Можно думать, что в южновеликорусский край это слово проникло с Украины несколько позднее, когда с развитием капиталистических отношений интенсивное истребление лесов привело к переходу южновеликорусов от рубленых построек к иным, которые легче было строить в условиях безлесной полосы.

С данными письменных памятников совпадают данные этнографии. Отмечалось, что «от Брянского полесья на восток, охватывая всю чернозёмную область РСФСР, в полосе лесостепи господствует четырёхугольный открытый двор в сочетании с позёмной избой или хатой, поставленной вдоль улицы... В старину здесь основным строительным материалом было дерево – различные лиственные породы; брёвна по пазам и трещинам обмазывались глиной. С начала XIX в., за оскудением лесов, дерево вытеснили разнообразные строительные



материалы – глина, камень, мел, кирпич, прутья, камыш, солома [Бломквист 1956: 64]. Вероятно, вначале, и новый вид жилого строения называли *избой* и только впоследствии за ним утвердилось название *хата*. Ср. в произведениях писателей-южновеликорусов, написанных во второй половине XIX в.:

«Убогая бобылья *избёнка* стоит на самом краю села, над крутым белопесчаным речным обрывом. Мягкий свет заходящего солнца, падая на неё, прежде всех других *изб*, нисколько не подкрашивал ни её треснувших *глиняных стен*, ни чёрной растрёпанной крыши» (Левитов. «Соседи»).

«Одинокая *избушка* из необожжённого кирпича стоит на отлёте, краем к крутому оврагу» (Эргель. «Записки степняка»).

Свидетельства о бытовании слова *изба* у южновеликорусов в прошлом заключают такие записи, в которых нет оснований видеть слепое копирование московских норм. Из челобитья, поданного в Осколе в 1625 г.: «зжог гсдрь тот Василеи у мене *избу* новую четырех сажен совсем отделано а цена гсдрь моей *избе* восм рублев» [РГАДА, Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 15: 49]. В сказках, поданных в Ельце в 1660 г.: «двор згарел а у *избе* болнова сына Кирея [татары] сожгли; брат Иван живет со мною на одном дворе себе в *избе*» [РГАДА, Разрядный приказ, Белгородский стол, стлб. 412: 54, 214]. «На том моем дворе, – пишет белгородец в конце XVII в., – хоромног(о) строения *изба* со всем нарядом да против *избы* сенцы да кругом двора плетен(ь)» [ГКЭ, № 48/579]. Употребительны были и производные образования: *избной* (лес) и др. Так, в описи крестьянского двора, составленной в Кромском уезде в 1723 г.: иструп *избеной* еловой [Материалы хоз. 1951: 146].

В комплекс хозяйственных построек, как и в северных местах, обычно входила *клеть*. В курском тексте 1624 г. читаем, например: «учели меня сироту твоего и женишку мою бит(ь) и грабит(ь) и у клѣти збив замок животишков моих пограбили... на тринатцат(ь) рублев с полтиною» [РГАДА, Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 11: 436]. Пример из Белгорода от 1686 г.: «на том дворѣ строения *изба* клѣт(ь) с приклѣтом три закрома овинь винница» [ГКЭ, № 34/565: 2]. Интересны данные описей, составленных в первой четверти XVIII в. Заимствуем несколько примеров из описи крестьянских дворов в деревне Елецкого уезда: «на том дворе хоромного строения *изба* ильмового лесу дву сажен, *клеть* ильмового лесу полутора саженя; на том дворе строения *изба* дубового лесу дву сажен, 2 *клет*и, одна с *приклетом* липового лесу; *изба* липовая дву сажен, против ея *клеть* липовая дву сажен да *клеть* ильмовая полутора саженя; *клеть* с *приклетом*

дубового лесу [Материалы хоз. 1951: 80-81]. Иное название этой постройки – *пуня*, по-видимому, из белорусского языка (ср. лит. *pupe* ‘стойло’, латыш. *rūpis* ‘сарай’), в XVII в. ещё только входило в южновеликорусский обиход, при том вначале это название было, как можно полагать, несколько специализировано: «сожгли клеть да пуню да хлев», – писал, например, в своей сказке один из новосильцев в 1659 г. [РГАДА, Разрядный приказ, Белгородский стол, стлб. 419: 8]. Ср.: «полдвора згорела конюшна да иструп со пшеницаю... да пуня» [там же: 294].

Отмечая бытование слова *бирюк* в южновеликорусских говорах, противопоставляют его названию *волк*, считая последнее свойственным лишь неюжновеликорусским говорам и литературному языку. Однако это далеко от истины: *волк* и производные образования давно в употреблении у южновеликорусов, а слово *бирюк* и в старину имело несколько особое значение – служило в качестве прозвища, означая, по всей вероятности, нелюдимого, угрюмого человека. Ср. примечание И. С. Тургенева: «Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый» (Тургенев. «Бирюк»). Здесь мы встречаемся с тем же самым, что и в случае *лошадь* – *конь*: Увоенное русскими людьми тюркское слово не вытесняет славянского слова, а, уживаясь рядом с ним, получает определённую специализацию. Он<о> замещает славянское слово лишь в одном из его значений, в данном случае переносном, при том, вероятно, не всегда, а только спорадически – в виде экспрессивного дублета. Тексты XVI–XVII вв. хранят убедительные примеры употребления слова *бирюк* именно как прозвища. В путивльской писцовой книге XVI в. упомянут Иван *Бирюк* [РГАДА, Поместный приказ, кн. 367: 171, 246]. «Жалоба гсдрь мнѣ, – написано в Курске в 1622 г., – на Юр(ь)ю Овдеева сна Филяева да на Павла Тимофеева сна Лабынцева а прозвище *Бирюк*» [РГАДА, Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 15: 648]. В следующем году путивльские воеводы доносили в Москву, что путивльский сын боярский привёл к ним своего беглого дворника Сеньку, по прозвищу *Бирюк*, и сообщил, что ещё осенью 1622 г. Сенька *Бирюк* бежал от него в Новгород-Северский уезд [Яковлев 1943: 206]. Не исключаем, впрочем, в отдельных случаях и возможности синонимического употребления слова *бирюк* наряду с названием *волк* в прямом, а не в переносном смысле. О наименовании волка *бирюком* в середине прошлого века [XIX в. – Л.А.] сообщалось из Воронежской губернии [Москвитянин 1862, октябрь, № 10, кн. 1: 100]. Слово *бирюк* находили и в говорах, отдалённых от южновеликорусской области. Например, сто лет назад его отмечали в говорах Вязниковского уезда Владимирской губернии [Добрынкин 1868, вып. VII: 74].

Признание слова *волк* особенностью противопоставляемых южновеликорусским говорам иных русских говоров представляется странным уже вследствие того, что не учитывает его принадлежности к общеславянскому фонду: ст.-сл. *влькъ*, болг. *вълк*, серб. *ву̀к*, укр. *вовк*, бел. *воўк*, пол. *wilk*, чеш. *vlk*. Противопоставление *волк* – *бирюк*, вероятно, было навеяно употреблением второго слова у Тургенева и Л. Толстого [Ср.: «Никто уже не живёт там [в станице], и только видны по песку следы оленей, *бирюков*, зайцев и фазанов» (Л. Толстой. «Казачи»)], а не основывалось на изучении русских народных говоров.

Общеупотребительность слова *волк* в современных южновеликорусских говорах не нуждается в подтверждении. Привести свидетельства его бытования в этих говорах в прошлом считаем, однако, лишним, поскольку его наличие в них могут объяснять позднейшим влиянием литературного языка. Для середины XIX в. уместно привести примеры из произведений А. И. Левитова: [мужик:] «Слышь, прасолы усманские гурт в Москву гнали. Пьяны што-ль они нарезались, *волк* их зарежь! Только скотину-то свою по хлебам и распусти...» («Целовальничиха»); [Анчелюст:] «Это все твои ребятенки, Иван, раздразнили прасолов. Вот они как гайкают, словно *волки*» («Степные выселки»).

Интересны выдержки из расспросных речей в Коротояке в 1693 г.: «пострелил де он Степан ис пищали ночи [sic!] за рекою Доном *волка* и тот де застрѣленной *волкѣ* отбежал на сенные покосы Семена Копылова умре и того де его застреленого *волка* взял коротояцкою польковой козакъ Гаврила Рягузов... был де он Гаврила в лесу за рекою Доном ѣздил по драва и н[а]шол в том лесу *волка* и того де *волка* он Гаврила убил абухом и убив привез дамои и ныне того *волка* шкура у него Гаврила... по осмотру тот *волк* убить ис пищали» [РГАДА, Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 1661: 37-38]. В 1698 г. крестьянин Лихвинского уезда сказывал: «Лукашкою де ево завуть Лукьянов сын прозвище Волченок» [Щукин 1897, II: 295].

Принимаем во внимание и факты топонимии. Запись конца XVII в., относящаяся к Белёву: «поп Василей работника своего Карпа убил... не доходя села Монаенок на враге *Волчьем*» [Щукин 1897, III: 3]. *Волчий* лесок и *Волчьи* лески отмечались в одной из курских книг в середине XVII в. [РГАДА, Поместный приказ, № 15684: 517 об., 791], починок *Волчья* поляна – в ливенской приправочной книге 1615 г. [Труды Орл. 1893: 68].

Существует мнение о слове *выть* и производных от него как образованиях северновеликорусского происхождения. Вот, например, недавнее высказывание: «...в XVII–XVIII вв. ещё употреблялись в

книжной речи без заметной стилистической окраски такие явно северновеликорусские слова, как *выть* (участок земли, податная единица и пр.)» [Состояние 1958: 8]. Слово *повытчик* (исторический термин) считают по происхождению северновеликорусским [там же]. В справедливости подобных суждений можно сомневаться. Хотя по данным говоров *выть* тяготеет к Северу, связывать на этом основании её происхождение с Севером едва ли правомерно: с течением времени на Юге слово могло исчезнуть, а на Севере сохранилось. Отсутствие сведений о нём из южновеликорусских памятников, поскольку последние не изучались, привело к тому, что его наличие в северновеликорусских памятниках стали трактовать как северновеликорусскую исключительность. Мы имеем возможность указать на *выть* и иные слова того же корня и в южновеликорусских памятниках.

В 1638 г. церковный дьячок Лучка Булатников в курской отказной книге записал следующее: [отделили] вдовѣ Кунаве на прожиток а Михаиле Мелентеяву сну Фоустову въ ево аклад во ста петдесят чети в помѣс(ь)я со всеми угод(ь)и с одною и не в розни и не выбором изверстав жи[ву]щей и пустоя *повытно* и по четвертем, а пашня имъ вдовѣ Кунаве да Михаиле Хаустову в тѣхъ помѣс(ь)яхъ пахат(ь) через загон через десетину [РГАДА, Поместный приказ, № 15684: 286]. Оборотом «изверстав живущая и пустоя *повытна* и по четвертем» Лучка пользуется и в другом случае [там же: 252]. Употребление интересующего слова в составе специального оборота «изверстав живущее и пустое *повытно*» наводит на мысль о его принадлежности к лексике приказного языка. Но появление его в приказном языке вовсе не обязательно выводить из недр северновеликорусского наречия. Актуальное в сфере общественных отношений, это слово, вероятно, имело не локальное, а широкое, общенародное значение и в качестве именно такого попало в московский приказный язык. Во всяком случае, в древних текстах и неюжновеликорусского происхождения слово *повытно* функционирует в сходных ситуациях. То, что южновеликорусских памятников ранее XVI в. нет, ещё не может служить основанием для включения слов *выть*, *повытно* и т. п. в генетически северновеликорусские.

Приведём и другие случаи из старой южновеликорусской письменности. В 1593 г. елецкий стрелец сообщал: «жил есми гедрь... с своею маткаю и з братами на пашни на *полувит*[и]... а на тои пашни на *полувити* осталас моя матка з двема [братами]» [РГАДА, Приказные дела старых лет, № 1: 93]. В том же году «Иванка Мясной» писал из Ельца государю: [ельчанам] «велено вазит(ь) лѣс на гарадавую кровлю а на наем имъ велена роздати твоева гдрва жалован(ь)я пятде-

сят рублей... яз халоп твои... лесную воску к городу на кровлю возити им *розвытил* по приказом» [там же: 108]. Обращаем внимание на указание И. И. Срезневского: *выть* в Орловской губернии – часть села, а в Рязанской – участок при разделе полей и лугов [Срезневский, I: 456].

Причисление слова *лонской* (прошлогодний) и других образований того же корня к северновеликорусскому словарному фонду обусловлено было тем, что современным южновеликорусским говорам они не свойственны. Однако в плане истории языка специфически северновеликорусскими эти слова не являются. Уже наличие аналогичных фактов в других славянских языках склоняет к предположению о бытовании этих образований в прошлом вообще в великорусском языке, а не только в северновеликорусском наречии (ср., напр., слова со значением «в прошлом году» в других славянских языках: болг. *лѧни*, серб. *лѧне*, укр. *лони*, пол. *loniś*, чеш. *loni*). Предположение подтверждают записи конца XVI–XVII вв., сделанные безусловно южновеликорусами. Вот несколько примеров. Ельчанин говорит о *лонской* ржи [РГАДА, Приказные дела старых лет, № 1: 229. 1593 г.]; в курской книге записаны жеребцы *лонские* [РГАДА, Разрядный приказ, Книги Денежного стола, № 82: 25 об.-26, 41 об., 73, 73 об., 74 об. 1627 г.]; воронежские грамоты примерно того же времени упоминают о телицах *лонских*, быке *лонском* и жеребёнке *лонском* [Вейнберг 1885: 393, 399-401].

Как известно, в древнерусском языке выражение «прошлый год» означало не только «непосредственно предшествующий данному году», но вообще любой минувший год. В этих условиях прилагательное *прошлый* необходимо было дополнять ещё каким-то более точным обозначением года. Писали «в прошлом», а далее обозначали конкретный, определённый год буквенной цифирью. Можно думать, что на почве южновеликорусского наречия первоначально *лонской* и *прошлогодний* различались в том отношении, что первое прилагательное означало непосредственно предшествующий год, а второе – любой минувший год, за исключением *лонского*. Затем достаточным обозначением любого минувшего года, за вычетом *лонского*, стала буквенная цифирь, а название «прошлогодний» стало соотноситься лишь с непосредственно предшествующим годом. Вследствие этого *лонской* вышло из употребления.

Иногда и образования *живёт*, *живут*, функционирующие в смысле «бывает», «бывают», объявляют давней особенностью именно северновеликорусских говоров. В свете некоторых, впрочем редких, южновеликорусских данных это кажется небесспорным. В челобитье обитателей Валуйки, составленном в 1733 г., читаем, например, такие

строки: «а приходы гедри под Волуиской город *живут* тотарския частые зимою и лѣтомъ... и приходы от воинских тотар *живут* частые» [РГАДА, Разрядный приказ, Севский стол, стлб. 94: 223, 226]. По-видимому, в том же значении выступает форма *живёт* в предложении: «из нас же гедри холопеи ваших ис конных стрелцов ис полковых козаков *живёт* на посольской размѣне по сту члвкъ» [там же: 223]. Челобитые отличают ясные локальные приметы: снягов, завсягды, цанюю, даваем (даём). Пример из произведения писателя-южновеликоруса: «Известно, какие у нас тихие да молчаливые ночи под какой-нибудь праздник *живут*» (Левитов. «Накануне Христова дня»).

Углубление лексических различий между Югом и Севером происходило не вследствие возникновения каких-то новых различий в говорах, а за счёт отмирания в пределах Юга отдельных общих для него и Севера диалектных элементов, что было связано с более интенсивной диалектной концентрацией на Юге; за счёт поступления в южновеликорусские говоры, в процессе взаимного обогащения, заимствований из украинского и белорусского языков. Предпосылкой этих изменений явилась большая интенсивность на южновеликорусской территории по сравнению с северновеликорусской того исторического процесса развития национальных связей, который вызывался «...усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок» [Ленин, т. 1: 154]. Известную роль сыграло также расширение и укрепление политических, экономических и культурных русско-украинских связей, особенно после воссоединения Украины с Россией. А также несколько позднее и связей с Белоруссией. В качестве примера отмирания в южновеликорусской области языкового явления, общего в прошлом для неё и северновеликорусской области, укажем на известную конструкцию типа «земля пахать» [см.: Котков 1959].

В процессе взаимного обогащения, с одной стороны, русской, с другой стороны, украинской и белорусской речевых культур южновеликорусская посредствующая среда играла весьма существенную, порой первостепенную роль. Участие южновеликорусского наречия в формировании русского национального языка следует, помимо всего, рассматривать и с этой точки зрения. Дело не только в том, что зона непосредственного контакта русского языка с украинским и белорусским представлена преимущественно южновеликорусскими говорами, но и в том, что многообразные линии связи социально-экономического и культурного порядка между Россией и Украиной, Россией и Белоруссией осуществлялись главным образом через южновеликорусскую

среду, а основной контингент русских, по тем или иным причинам направляющихся на Украину или Белоруссию на более или менее продолжительное время, составляли обитатели южновеликорусской области. В народных песнях, записанных в черте южновеликорусской области, постоянные активные связи с Украиной и Белоруссией получили определённое отражение. К сожалению, в широком лингвистическом плане роль южновеликорусского посредства обыкновенно не освещается: изучение и русско-украинских и русско-белорусских связей в области языка пока почти не выходит за грани старой книжности и художественной литературы.

Не изучается и южновеликорусское посредство в усвоении в прошлом русским национальным языком таких лексических элементов западного происхождения, как польские, немецкие и некоторые иные, а также отдельных старых заимствований из тюркских языков. По сравнению с северновеликорусским и средневеликорусским посредством оно и в том и в другом случае едва ли было меньшим.

Выяснение роли определённого диалекта в формировании русского национального языка предполагает, помимо выявления особенностей данного диалекта, выявление и тех его сторон, которые объединяют его с другими русскими диалектами или известной частью их. Сравнение данных южно-, средне- и северновеликорусской письменности XVII в. приводит к заключению, что говоры, скажем, Ростово-Суздальской или Псковско-Новгородской областей обнаруживают в тех или иных отношениях более или менее обязательные связи с южновеликорусскими. На связи с Югом говоры Ростово-Суздальской области, в противоположность некоторым другим северновеликорусским, указывает, например, Р. И. Аванесов, упоминая о таких общих для них чертах, как перенос ударения в форме 2 л. мн. ч. с последнего слога на предпоследний (*несёт* вм. *неситѣ*), образование форм *дашь*, *еишь* вместо старых *даси*, *еси*, отвердение *с* в суффиксах *-ск-*, *-ств-*, сохранение ударенного *а* между мягкими согласными; вместе с тем отмечается, что и в лексическом отношении говоры Ростово-Суздальской области отличаются от остальных северновеликорусских [см. Аванесов 1953: 67-68].

И в южновеликорусских, и в псковских памятниках письменности отражены явления аканья в широком смысле этого слова, причём в Псковской области упомянутые явления наблюдаем в текстах более ранних, нежели те, какими располагаем по южновеликорусской области, – в памятниках XIV–XV вв. [см.: Каринский 1909: 11, 14; Кандаурова 1957: 238]. Возможно, в одном ряду с указанными данными находятся редкие случаи взаимной мены *а* и *о* в безударном поло-

жении в новгородских грамотах XIII–XIV вв., которые А. А. Шахматов объясняет либо морфологически, либо книжным происхождением, опиской или недоразумением [Шахматов 1895: 147-148]. И на Юге и в Псковско-Новгородской земле локальные памятники регистрируют взаимную мену *у* и *в* в известных положениях [см.: Кандаурова 1957: 267-269; Котков 1952: 21, 27]. Намечаются точки соприкосновения между этими областями и по некоторым характерным явлениям древнерусской лексики. Известное по «Слову о полку Игореве» образование *струи* – ‘поток’ или ‘ручей’ – находим обычно в старых текстах, приуроченных к западной окраине южновеликорусской области и Псковско-Новгородской земле. Ограничимся несколькими примерами. В путивльских текстах конца XVI – начала XVII в. читаем: «Молчинского ж монастыря у города два озера – озеро Линче, озеро Кобылка, да *струга* Пружинка, течет из озера Хотыша на реку Семь [Палладий 1895: 15]; от реки от Семи... по Пятницкую *стругу*» [РГАДА, Поместный приказ, № 148: 240 об.]. В 1718 г. в Новгородском уезде отмечались: «*струи* и отхожая ручья на реке ж Шелони, да ручей Полона, да ручей Горницкой, да *струи* Гусиные, да *струи* Хотинной» [Материалы хоз. 1951: 228]. В псковском Прологе 1383 г. встречаем слово *паворозь* в смысле ‘верёвка’, ‘повод’. В несколько ином значении (шнурок? завязка?) оно известно южновеликорусским памятникам: «А живота, государь, моего, – пишет в 1624 г. новосилец, – снесла та моя невеска... двои серги серебряныя... двои *паворозы* да сукман» [РГАДА, Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 15: 502]; в жалобе Елизара Дмитриева, поданной в Яблонице в 1642 г., упоминается «два десятка *павороз* женских шолковых» [РГБ, ф. 29]. Заметим, что слово *павороза* содержится и в росписи конца XVII в. из ростово-суздальских мест, но значение возможно и иное: ‘наручни’ или ‘обручи’ [Борисов 1861, № 1].

Исходной зоной распространения глагола *бросать* в значении ‘метать’, ‘кидать’ П. Я. Черных считает Новгородскую и Псковскую области, отмечая, что в данном значении *бросать* известно со времени Смуты [Черных 1956: 186-188]. Небезынтересно привести более поздние случаи употребления глагола *бросать* в старых южновеликорусских текстах: «С его Елфимова двора, – пишет челобитчик в Коротояке в 1693 г., – скочила сабака ево и на меня холопа вашего *бросилась*» [РГАДА, Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 1661: 33]; из текста, написанного в Рыльске в 1699 г.: «пришел дядя ж мои... и *бросился* ко мне холопу тв[оему] в клеть з дрюком; дядя *бросился* было ко мне холопу твоему в клеть топор[ом]» [там же, стлб. 2296: 22]; в 1722 г. игуменья курского монастыря доносила: «посадских и приходских людей дети приходят на монастырь и на паперти играют в ла-



дышки и лазят на церковную кровлю и бросают в церковь камнями» [Лебедев 1902: 23]. В широком и свободном употреблении глагола *бросать* в ту пору в южновеликорусской области, о чём свидетельствует бытовой контекст, трудно сомневаться. Полагаем, дальнейшие разыскания в южновеликорусской письменности дадут и более ранние примеры его употребления.

Интересно, что современные диалектные данные, скажем, синтаксические, также объединяют группу старых южновеликорусских говоров с псковско-новгородской группой и смоленскими говорами. Таково употребление предлога *с* или *з* в соответствии с *из*. Объединяет указанные территории и употребление деепричастия в роли сказуемого, и одинаковое употребление частицы *то* в постпозитивном положении (Этими указаниями автор обязан И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко).

В свете всего сказанного первостепенное значение исследования текстов среднерусской эпохи, особенно южновеликорусских, представляется нам очевидным.

**10. Конструкция типа «земля пахать» в истории южновеликорусских говоров // Известия АН СССР. ОЛЯ. – 1959. – Т. XVIII. – Вып. 1, январь – февраль. – С. 45-53.**

В науке прочно утвердилось мнение, что конструкция «именительный падеж на -а при инфинитиве» (земля пахать, вода носить, доска пилить и пр.) – принадлежность только северновеликорусского наречия. Если исходить из показаний современных русских говоров, это положение представляется бесспорным. К сожалению, современная локализация конструкции без достаточных оснований переносится в прошлое. Например, Ф. П. Филин, отмечая, что данный оборот был в ходу «преимущественно в письменности северного происхождения», связывает этот факт с сохранением подобного оборота в современных северновеликорусских говорах и далее заключает: носители курских и орловских говоров в XVII в. не говорили «мука сеять», «носить вода» [Филин 1954: 41]. Отсутствие этого оборота во владимирско-поволжской группе говоров, средневеликорусских и южновеликорусских побудило в своё время В. И. Борковского считать данную конструкцию диалектизмом новгородского происхождения, который получил затем более широкое распространение и нашёл отражение в деловой письменности Московского государства [Борковский 1949: 344–346]. Квалифицируя указанный оборот как особенность главным образом северо-западной группы восточнославянских говоров, П. Я. Черных вместе с тем заявляет, что в более позднее время он получил распространение и в других говорах [Черных 1954: 286–287]. Таким образом, названный оборот и в плане генетическом приурочивают исключительно к русскому Северу. Его наличие в древнем тексте обыкновенно принимают в качестве одного из самых надёжных доказательств северновеликорусского происхождения этого текста, хотя бы прочие языковые факты и свидетельствовали об ином.

Любопытно, кстати, следующее: утверждению изложенной точки зрения на данную конструкцию не предшествовало изучение письменных памятников, отразивших южновеликорусскую диалектную стихию. Не приходится говорить, что вообще такие памятники очень мало и исследовались, и публиковались. Всё, что сделано в этой части, сделано историками и, понятно, не в аспекте лингвистического изучения. К тому же и опубликованными оказались только такие тексты, характер которых почти исключал возможность употребления в них упомянутой конструкции. При исследовании языка лишь Е. Ф. Будде [см.: Будде 1892] и Н. П. Гринкова [см.: Гринкова 1947] в какой-то степени привлекали свидетельства старых текстов южнове-

ликорусского происхождения (не содержащих, впрочем, примеров употребления этой конструкции) да авторы двух-трёх работ за последнее пятилетие [см., например: Котков 1952; Жарких 1953]. Робкие попытки были у К. Филатова [см.: Филатов 1898] и М. Г. Халанского [см.: Халанский 1881]. Невнимание историков языка к южновеликорусским памятникам, конечно, неслучайно: всё ещё господствует традиционное представление о южновеликорусском населении как сложившемся не ранее XVI в., притом в главной своей массе за счёт выходцев с Севера. Поэтому и полагают, что свидетельства старых текстов, относимых, скажем, к коренной южновеликорусской области, существенного научного значения не имеют, тем более, что самые ранние из них, по крайней мере известные нам, едва ли могут быть древнее XVI в. Встречая в южной рукописи, неизвестно кем написанной, исследуемую конструкцию, обыкновенно предполагают, что она принадлежит перу заезжего северянина, овладевшего местной, южной речью. А если нет сомнений в том, что писец – уроженец Юга, употребление им такой конструкции приписывают книжной выучке, поскольку в прошлом сочетания типа «земля пахать» входили в норму русского литературного языка.

Так полагал и пишущий эти строки, но изучение старых рукописей, авторами которых были южновеликорусы, с течением времени побудило его отказаться от изложенной концепции. Одной из важных рукописей названного круга является Елецкая явочная книга 1616 г. В своё время нам довелось отметить употребление в ней конструкций вроде «свадьба играть». Тогда же нами было высказано и критическое отношение к традиционной точке зрения на подобные сочетания. Мы подозревали в них реликты синтаксического явления, когда-то органического и в южновеликорусских, а не только в северновеликорусских говорах [см.: Котков 1952: 181]. Аналогичное суждение, однако, без указаний на те или иные южновеликорусские факты, было одновременно высказано М. А. Соколовой, «Если мы учтём, – писала она, – широкое употребление данного явления в самых различных памятниках прошлого, в фольклоре, то это и даёт основание полагать его как явление не только севернорусское, а общерусское для известного периода жизни языка» [Соколова 1952: 15].

Замечание в том же направлении сделал в последнее время Р. И. Аванесов. Касаясь московского говора и соседних северновеликорусских, он пишет об утрате в них старых общенародных конструкций, постепенно превратившихся «в особенности северновеликорусских диалектов (например, конструкция типа «косить трава», широко

известная языку московских памятников ещё и XVI в.)» [Аванесов 1955: 41.

После этих предварительных замечаний обратимся к показаниям памятников письменности, приуроченных к коренной южновеликорусской территории. Имеем в виду лишь те из них, которые написаны южновеликорусами, что явствует либо из прямых указаний на писцов – курчан, новосильцев и пр., либо, если подобные указания отсутствуют, – из тех диалектных особенностей, которые свойственны этим текстам. Поскольку южновеликорусских сведений о конструкции типа «земля пахать» специально нигде не приводилось, считаем необходимым представить собранные нами данные в возможно более полном виде. Группируем их по городам, к которым они приурочены, располагая в пределах групп в хронологическом порядке. [Примеры сопровождаются такими указаниями: год, затем – в скобках – текстальные сведения о писце, название фонда в сокращении и № единицы хранения, если пример заимствован из архивного источника; название издания в сокращении, если пример приводится из опубликованного текста; далее, где необходимо, отмечаем листы или страницы. Все примеры передаём современной графикой. Опускаем ъ в конце слов, а также в середине слов, когда он не является знаком разделительным. В примерах, взятых из рукописей, выносные буквы заключаем в строку, титла раскрываем, пунктуации не вводим.]

Белгород – запис мы промеж себя написали в том што мне Бронки служит служба ездочная а тестю моему домашным строением всем промышлят и службою [1624, Прик. 11: 469]; а нам Федосу с товарыщи... в поступке той своей земли челобитная принесть и к допросу стат и рука приложить и ничем не спорить [1697, белгородские площади подячей Васка Иванов – ГКЭ, 41/572: 2]. Болхов – да я же, государь, в том обещание Богу обещаюся и у печерской Богородицы на том месте, где ныне построена богадельня, поставить часовня... вели, государь, на том месте, где у меня поставлена богадельня, построить служебную часовня [1691, КЕ, вып. 3: 15-16]; и пришел он Иван ко мне сам и учал меня мучить разными муки и велел мне рука приложить бесторонних людей к таким неправым составным книгам [1695, Крив.]. Елец – свадьба играть [1616, Р. в. 2, дело № 2 Елецкая явочная книга: 7 об.]; поласмина вина сворить к празнику [ib.: 11 об.]; вина сворить асмина [ib.: 13 об.]; вина сворить полставка [ib.: 13 об.]; вина сворить асминка к баби кашем [ib.: 19]; вина сварить асмина к свадьбе [ib.: 25]; вина сворить асмина для свадьбы [ib.: 27 об.]; вина сворить асмина [ib.: 28 об.]; вина сворить поласмина для свадьбы [ib.: 29]; тому Алфиму у твоего государева дела на Ельце быть не велено, а велено

твоя государева служба служить с Воронежа по-прежнему с детьми боярскими [1634, АМГ I: 650]. Калуга – церков рубит в круглой угол трапеза и алтар в брус а церков рубит на тритцети пяти венцах а тропезу и олтар рубит на дватцети пети венцах и церков и трапеза и олтар с норежъя скоблит... церков крыт епанчею в две тесницы олтар также а трапеза крыт полаткою [1682, колужьские площади подъячей Гришка Извеков – Щук. ч. 4: 159-160]. Карачев – жити нам... где оне власти укажут и на них властей своих пашня пахать и всякое зделя делат... им архимандриту строителю з братею взят на нас Осипу и Максиму и Власю и на женах и на детех та своя ссуда и убытки свои [1699, карачевской площадной подячей Сенка Власов – ГКЭ 14\5952: 1]. Курск – изба поставит и печ збит роботником дано тритцат пят олтын [1627, Ден. 82: 127 об.-128]; молебенный деньги, что в приходе возьму от молебнов, имать мне Георгию у них игуменьи Пелагеи с сестрами во всем половина [1680, курченин Якушко Филатов – Леб.: 22-23]; нам Пелагеи и Тотьяне против того указу и допросу стать и про продаже того поместья и крестьян сказать и к допросу рука приложить [1728, курских крепосных дел писец Василей Лукин – Арс. 17–18]. Мценск – в монастыре, государь, у нас святые варата поставлены не у места... а перенестъ варата и келья с места на места у нас... мочи нет [1679, КЕ, вып. 3: 18]; вели, государь, дать мне свою святителскую потрахилную грамоту, чтоб мне богомолцу твоему, божественная литургия служить [1679, КЕ, вып. 4: 24]; Савину ж Богданову из усады его Савиновой дана дорога к его полю промеж его и промеж братьи его усад вопче с братьею его ездить в город и животина на поля гонять [1681–1682, АЮБ 1: 51-52, выпись из более раннего текста, основанного на тексте 1617 г.]. Новосиль – а я стар и увечен служба служит неумоч [1697, Бел. 1584: 51]; а за старостью служба служит мне неумоч [ib.: 56]; а ныне я стар и увечен государева служба служит неумоч [ib.: 99]; а я стар и увечен козаца служба служит неумоч [ib.: 193]; А мне Мине полковая служба служит мочно [ib.: 392]. Орел – жить мне Василью и с женою своею и с детми у него И. И. Киреевскаго в орловской его вотчине и всякая работа работать [1681 (А на то послуши: орловской площади подъячей Гурка Тинев, Анцыфорка Братов. Запись писал тое ж площади подъячей Сенка Иевлев), Белев. т. 2: 11–12]. Острогожск – велите... дворовое поместье и пахатную землю и сенные покосы мне, сироте вашей, отвесь, чтоб мне, сироте вашему, была с чево ваша, великих государей, полковая служба служит [1691, Материалы Ворон. вып. 5: 305]. Рыльск – ему Трофиму тем вышеписанным Федоровым меновным поместьем Толмачова владеть, пашня пахать [1695, АЮБ 1: 40]; и мне вдове Марье и нам Тимофею и Ондрею про-

тив той великого государя грамоты стать к допросу и дать скаска за рукою [1703, рылской плоshedной подъячей Гаврилко Замятин. – Арс. 12]. Яблонов – давал я холоп твой тому Максиму курту делат черленую два аршына долина с четвертью и ему было Максиму делат курту и што останетца остатков принесть ко мне курта и остатки [1643, М, 10991/5: 7].

Как видим, в письменных памятниках южновеликорусов оборот типа «земля пахать» был употребителен. Предположение о том, что его употребление не имело никакой опоры в местном диалекте, а было обусловлено правописанием той поры, не согласуется с наличием у некоторых писцов довольно резких нарушений современной им орфографии. В Елецкой явочной книге отразилось, например, смягчение согласного *к* после мягких и *й*: Омелькя, Евсейкя и т. п. Не менее существенно и другое обстоятельство – интересующая нас конструкция в составе данных текстов представлена не только такими словосочетаниями, которые характерны для московских документов и могли бы явиться образцами для местных грамотеев, но и сочетаниями бытового содержания: свадьба играть, вина сварить асмина, изба поставить, принесть ко мне курта. Былое её существование в говоре Москвы, насколько нам известно, не подвергается сомнению, хотя в московской области уже двести лет назад в живом народном употреблении она не отмечалась [Булаховский 1950: 292]. «В Москве и её окрестностях, – констатирует П. Я. Черных, – оборот типа земля пахать сохранялся примерно до первых десятилетий XVIII в.» [Черных 1954: 288]. Признание её старой московской чертой имеет своим основанием лишь письменные данные несколько большей давности, чем двести лет назад. Тогда, следовательно, признание её и чертой южновеликорусских говоров имеет аналогичное, не меньшее основание. Наконец, небезразлично ещё одно обстоятельство. Если бы эта конструкция в приведённых выше случаях возникла в силу подражания московским образцам, вероятно, невозможным оказалось бы аналогическое перенесение из неё именительного на -а в сочетании с другими формами глагола, так как московское правописание образцов для этого не давало. Я. А. Спринчак, например, указывает: «Конструкция встречается только в инфинитивных предложениях с безличным значением» [Спринчак 1939: 110]. Между тем явления перенесения налицо.

Елец – в то время жена и дети воинския люди в полон поимали жена Авдотя сына Восиля доч Котерину [1659, елчанин Еустратка Чукардин, Прик. 869: 34]. Новосиль – татаровя и черкасы в полон у меня взяли женского полу свекрова Ариница вцеле у меня асталось мужеского полу сын Иван [1659, новосилец Говрилка Папанов, Бел.

419: 7]. Орел – покрали на твоём барском дворе из житни коса что сено косят барское а у меня грешной украли холст [1689, Шук. ч. 4: 229]. Путивль – Яков Чамов с товарищи принял в Путивле в томожне уставною грамоту да книгу да двенадцать печатей серебряных (неразб. – С.К.) весу восем залатников да трубка медная два контора томоженную избу [1677, таможенной верной дьячок Пронька Бурога, Безгл. 128: 217]. Чернавск – у мене Мартына взяли в полон матере Арина две невестки Люкерью Авдотю четыре племенники [1660, чернавец Симеонко Акулов, Прик. 981: 54].

Сходные факты наблюдаются в русских северо-западных говорах (отыскал ета шкатулка, лошаденка заправил, вода принес и т. п.), сопутствуя вполне обыкновенной в них конструкции «именительный падеж на -а при инфинитиве» [Филин 1947: 10, 21]. Интерпретация этих фактов как свидетельств распада инфинитивной конструкции представляется обоснованной [там же: 18–19]. Она применима и к тому состоянию, которое отражается в исследуемых текстах, состоянию, сложившемуся в ту эпоху в южновеликорусских говорах. Конструкция типа «земля пахать» переживала в них процесс распада. В XVII в. процесс зашёл настолько далеко, что во вторичную конструкцию с формой прошедшего времени могла быть вовлечена, например, и форма именительного с нулевым окончанием: Ливны – а с того приходу святительская дань плачивал [1689, КЕ вып. 3: 254]. О том же самом говорит и пример включения формы на -а в предложное сочетание: Ливны – у нас, государь, в селе Теляжьём... служит поп Роман, а в той церкви дьяконов нет; а нам годен той же церкви в служба дьячек брат ево попов родной [1693, КЕ вып. 3: 147].

Особо рассмотрим случаи употребления изучаемой конструкции в курских отказных книгах, первой (1630–1660 гг. – Поместн.прик., № 15685) и второй (1642–1662 гг. – то же, № 15684), поскольку по ним её судьбу возможно проследить у писцов – носителей местной речи за тридцать с лишним лет. Уже самый состав писцов довольно примечателен. В нём не столько скорописцев-профессионалов, сколько лиц, не искущённых в навыках письма. Так, в первой книге из авторов, записи которых содержат выражения типа «земля пахать», пятеро писцов-профессионалов (стрелецкий и казачий дьячок, губной и площадной дьячки, двое подьячих) и около двадцати местных обитателей, большей частью малоопытных в письме, о чём свидетельствует множество неустойчивых написаний и пронизывающий тексты диалектный колорит. Приблизительно та же картина и во второй книге. Употреблению в этих книгах разбираемой конструкции свойственна такая удивительная последовательность, что в отношении

писцов второй категории объяснять её выучкой чрезвычайно затруднительно. Почти во всех случаях (об исключениях скажем ниже) при инфинитиве в функции винительного в единственном числе от существительных на -а выступает форма именительного падежа. Написания такого рода – обычное явление. Например, в первой книге их до 140.

Множественно повторяется «пашня» при «пахати» или при «пахать» – лл. 4 об., 7, 12, 22, 24 об., 27 об., 30, 32 об., 63 об., 74, 79 об., 128, 131 об., 205, 239, 260, 266 об.-267, 286 об., 303, 305 об., 330, 353, 382 об., 388 об., 392, 392 об., 397, 413 об., 425 об.-426, 428 об., 454, 454 об., 464 об., 465, 473 об.- 474, 477 об., 478, 481, 482, 485, 488, 497-497 об., 503 об., 516, 522 об., 532, 538, 541 об., 548 об., 563 об., 574 об., 585 об., 592, 597 об., 600 об., 602, 605, 616, 619, 621, 629, 635 об., 649, 672-672 об., 678 об., 689, 691 об., 694, 704, 707 об., 714, 728 об., 729, 760, 763 об., 767, 771, 782, 788, 791, 792, 804, 824 об., 840, 847, 873, 876 об., 880 об., 881, 882 об., 889 об., 892, 896 об.; в ходу и параллельное «земля» при «пахать» – лл. 451 об., 457, 494, 508, 535 об., 561, 577 об., 578, 582, 611, 613, 616 об., 655, 658 об., 659, 683 об.; находим выражение с определяемым существительным: государева служба служить – лл. 27 об., 277 об., 302 об., 330, 392, 413 об., 516, 548 об., 601 об., 704, 767, 896 об., сюда же: государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси служба служить – лл. 260, 353.

Наряду с такими словосочетаниями, как «государева служба служить» (а может быть, и «пашня пахать», «земля пахать»), в известной мере штампами приказного языка, в книгах обнаруживаем и другие выражения, которые едва ли правомерно трактовать как формулы, усвоенные из этого языка. Обращаем внимание на следующие: рыба ловить – лл. 451 об., 775 об., 818; усада (или «всада») делить – лл. 636, 776 об., 782 об.-783, 840 об., 880 об., 882 об., земля и сennья покосы делить – л. 866 об.

Наконец, отметим выражения, в которых видеть формулы приказного языка абсолютно невозможно. Приводя подобные словосочетания, считаем небесполезным упоминать и о писцах и о времени написания: И ему Исаю... племянница своя девка Дарица кормит и поит и замуж ее выдот [1632, губной диячок Наумка Кобатов, 27 об.]; а глина горшечная имат в межах ув Овдея Головина с розными помещики [1642, курченин Ивашка Гурев сын Протопопов, 672 об.]; а глина имат горшечная в межах ув Овдея Головина с розными помещики [1642, курченин Фролко Офремов сын Дроковцов, 679].

Возможность препозитивного и постпозитивного по отношению к инфинитиву положения слова «глина» убедительно свидетельствует о том, что в данных случаях мы имеем дело со свободными со-



четаниями. Вообще надо сказать: вариантность в порядке слов, образующих некоторые зарегистрированные нами сочетания, может служить определённым свидетельством того, что эти сочетания не являются устойчивыми. Ср., например, в Елецкой явочной книге 1616 г.: поласмина вина сворить к празнику, 11 об.; вина сворить поласмина для свадьбы, 29.

В научной литературе неоднократно отмечалось употребление в древнерусском языке исследуемых сочетаний и с препозитивным в отношении к инфинитиву и постпозитивным существительным на -а. Отмечалось вместе с тем преобладание препозиции [см., например: Спринчак 1939: 110; Борковский 1949: 347]. По данным наших источников, кроме курских отказных книг, преобладание препозиции над постпозицией не наблюдается; в отказных книгах безраздельно господствует препозиция. Указанием на различие в соотношении препозиции и постпозиции в южновеликорусских и южновеликорусских текстах мы вовсе не доказываем, что в южновеликорусской области, в отличие от области северновеликорусской, были иные, особые нормы употребления именительного на -а в положении перед инфинитивом и после инфинитива: во-первых, наших материалов, взятых без отказных книг, для этого недостаточно; во-вторых, господство препозиции в курских отказных книгах имеет, как мы думаем, другое объяснение.

Последние писались по установившемуся образцу: сначала называлось, определялось то угодье, которое «отказывалось» новому помещику, и только после этого в инфинитивном высказывании определялось, как используется данное угодье, говорилось об условиях пользования им. Вот пример из первой книги: а пошна (sic!) им детям боярским похат Мортину Дурокову да Михаилу Толмочову с товарищи с розными помещики и с Петром Шаховым через десетину а всада делит по дачем, 635 об.-636.

Напрашивается вывод: при решении вопроса о тенденциях развития исследуемой конструкции в истории языка в направлении вытеснения препозиции постпозицией или наоборот очень важно учитывать, помимо количества случаев той или другой, и самый характер текстов, заключающих эти случаи. Без учёта этого момента, пожалуй, невозможны более или менее обоснованные предположения об историческом «первородстве» препозиции или постпозиции.

В науке есть указания на то, что именительный на -а при инфинитиве, зависимом от глагольной формы или наречного образования, обыкновенно не выступает – употребляют форму винительного [см., например: Бицилли 1933: 201]. Как можно судить по нашим сведениям, это ограничение сохраняет свою силу и на южновеликорус-

ской почве. Показательны в этом смысле факты того или другого рода в одной и той же записи у одного и того же автора. Ср.: «*принестъ* ко мне *курта*» [М., 10991/5: 7], с одной стороны, и «ему *было* Максиму *делат курту*» [ib.] – с другой; «*божественная литургия служитъ*» [КЕ, вып. 4: 24] и «*вели, государь, дать* мне свою святителскую потрахилную *грамоту*» [ib.]; «*земля* ее Мотруне... *похат* через десятину» [Перв.отк.кн.: 613] и «ту отписную государеву *землю приказал и береч и ведат* тутошним и сторонним людям» [ib.: 613 об.]. Итак, налицо параллелизм в нормах употребления именительного и винительного при инфинитиве в южновеликорусских и неюжновеликорусских памятниках. Его возможно объяснить и как следствие распространявшегося с Севера влияния норм приказного языка на южновеликорусскую письменность – что вполне отвечало бы традиционным представлениям – и, с не меньшим основанием, – как явление, общее в своём историческом развитии для Севера и Юга.

По курским отказным книгам видно, как у некоторых писцов в 40–50-х годах XVII вв. наблюдаются колебания в употреблении именительного на -а или винительного при инфинитиве, или даже замена именительного винительным. Колебания или замену прослеживаем, например, по листам, написанным Васькой Оносовым, Микифоркой Кононовым, Васькой Толмачовым и Фролкой Дроковцовым. Васька Толмачов и Микифорка Кононов при обычном написании «пашня пахать» иногда сбиваются на «пашню пахать», а у писца Фролки Дроковцова первый вариант вытесняется вторым. Приводим из записей Фролки весь соответствующий материал: «пошня» при «пахать» или при «похать» – 1642, Перв.отк.кн.: 635 об., 678 об., 689, 707 об.; 1642, Втор.отк.кн.: 16 об.; 1643, ib. 121; форма «пашню» при «похать» или при «пахать» – 1643, Втор.отк.кн.: 124 об., 164, 184; 1644, ib. 191 об., 195, 228; 1645, ib. 280 об.; 1653, Перв.отк.кн.: 831 об., 866 об.; в одном случае трудно решать, что именно написано – «пашня» или «пашню», исправлено ли «ю» на «я» либо «я» на «ю» (1645, Втор.отк.кн.: 247).

Ср. у Васьки Оносова: «пашня» при «похать» [1640, Перв.отк.кн.: 605; 1645, Втор.отк.кн.: 241 об., 242, 242 об., 257, 271, 276] и далее – «а усаду и пашню и сена и лес и всякое угоде Богдану и Кондратию и Федору и Фоме промеж себя делит полюбовна» [1645, Втор.отк.кн.: 283].

В записях Микифорки Кононова именительный «служба» при «служить» [1636, Перв.отк.кн.: 277 об.] уступает место форме винительного падежа [1639, ib. 388 об.; 1640, ib. 526 об.].

Если бы Фролка Дроковцов писал именительный на -а при инфинитиве в подражание приказной норме, правомерно было бы

ожидать в его писцовой практике всё большего и большего закрепления этой нормы. Между тем мы видим, что именительный на -а у него бесповоротно заменяется винительным. Вероятно, эта замена явилась отражением соответственного изменения в устной практике писца. То же самое можно сказать и по поводу замены формы «служба» формой «службу» у Микифорки Кононова и «пашня» формой «пашню» в строках Васьки Оносова. Однако не всегда подобные изменения получали сразу устойчивое отражение на письме. Наблюдались иногда и длительные колебания, особенно у лиц, в большей мере связанных с приказным делопроизводством, нежели другие, поскольку у них отклонения в сторону винительного постоянно «выправлялись», как только они обращались к документам московского письма. Не случайно, например, у того же Микифорки Кононова находим формы и «пошня» и «пашню» при «пахать»: сам писец являлся «отказчиком» земельных и прочих угодий.

Обращают на себя внимание следы употребления интересующей нас конструкции – впрочем, крайне редкие – в отдельных говорах северо-восточной периферии южновеликорусского наречия. Мы имеем в виду сведения из Рязанской области, которые содержатся в диалектологической картотеке Института русского языка АН СССР. Приводим их по населённым пунктам, указывая в каждом случае и № единицы хранения, включающей эти сведения: Терновое Погорелка Пронского р. (580) – косить трава; Березово Шиловского р. (606) – рыба лавить; Мокрое Сасовского р. (636) – косить трава, сеять мука; а кроме того – лавили рыба; Малый Сапожок Сапожковского р. (838) – картошка рыть, картошка сажать; а также – баня тапила. Говоры названных селений – не типичные южновеликорусские, тем не менее южновеликорусская стихия, за исключением разве Мокрого, в них довольно сильна. В. Н. Новопокровской, исследовавшей старые рязанские тексты, мы обязаны сообщением об аналогичных фактах из той же диалектной зоны, рассеянных в рязанских текстах XVII в.: мне Игнатию земля на плотину копать; а кровля на погреб сделать бы лёгкая; сшить ему Гришке рубашка; взять пшеница; рука приложить; работа работать; служба служить.

Взятые сами по себе, современные диалектные факты, может быть, и не имели бы значения, вследствие того, что могли быть отнесены, хотя и априорно, к заимствованиям с Севера или, скажем, выведены из гипотетической северновеликорусской основы данных говоров. Но в свете старых показаний южновеликорусского происхождения они приобретают определённое значение. Не есть ли это реликты явления, в прошлом свойственного и южновеликорусским говорам?

Предположение это станет ещё более вероятным, если мы вспомним указание А. А. Потебни: «Обороты эти (речь идёт об исследуемой конструкции. – С.К.) свойственны не только северным памятникам и говорам, но и западнорусским» [Потебня 1888: 416]. Известно, что именно южновеликорусские говоры, в сравнении с иными говорами русского языка, отличает бóльшая общность с говорами белорусскими, исторически – с говорами Западной Руси.

К каким же общим заключениям приводит всё изложенное? Мы склонны думать, что конструкция типа «земля пахать» в прошлом была и южновеликорусской, а не только северно- и средневеликорусской. В XVII в. произошла её утрата в области южновеликорусского наречия. Таким путём и сложилось современное противопоставление северновеликорусских и южновеликорусских говоров по наличию или отсутствию в них указанной конструкции. Допускаем, что утрата последней в южновеликорусском наречии была как-то связана, помимо других обстоятельств, и с передвижкой ударения с основы на окончание в винительном падеже единственного числа имён существительных женского рода на -а. [Такая передвижка ударения в подобных именах составляет заметную черту южновеликорусских говоров. – см.: Обнорский 1927: 275].

Возможно, что всё это происходило следующим образом. В условиях сильной редукции заударных гласных между падежными формами, например, «пáшняя» и «пáшню», не было такого ощутительного различия в вокальном оформлении, какое явилось потом, когда ударение в них перешло на окончание. В результате этого изменения возникло существенное расхождение в оформлении имени-дополнения при индикативных формах и инфинитиве: ср. «пáшню» (пахали) и «пáшняя» (пахать), с некоторым сближением, вследствие редукции, огласовки окончаний именительного и винительного, и параллельные «пашню́» (пахали) и «пашня́» (пахать). Между тем, в XVII в. в южновеликорусских говорах именительный падеж на -а при инфинитиве уже воспринимался со значением аккузатива. Пример: построить *служебную часовня*, 1691, КЕ, вып. 3: 16. Ср.: ему Климу с того их прожиточнова поместье *государева царева* и великого князя Михаила Федоровича всея Руси *службу* служить, 1640, Перв.отк.кн.: 526 об. Выполнение в составе оборотов «пашню пахали» и «пашня пахать» именем существительным одной и той же синтаксической функции требовало унификации её формального выражения. Отсюда – как «пашню́» (пахали), так и «пашню́» (пахать).

Касааясь судьбы рассматриваемой конструкции в русском языке, П. Бицилли писал: «То, что исчезновение, в актовом языке, формы

на -а при *in fin.* произошло в начале XVIII в. сразу, свидетельствует о наличии участия коллективного сознания, что заставляет связать это явление с всколыхнувшейся мыслью петровской реформой» [Бицилли 1933: 207]. В свете южновеликорусских фактов это положение представляется сомнительным. Утрата данной конструкции произошла не сразу, не в связи с петровской реформой, а являлась постепенной, при том, вероятно, имела своё начало в южновеликорусской области.

#### Список принятых сокращений

- АМГ* – Акты Московского государства. – СПб. 1890. – Т. 1.  
*Арс.* – В. С. Арсеньев. документы у родословной рода Арсеньевых. – М., 1906.  
*АЮБ* – Акты, относящиеся до юридического быта древней России. – СПб., 1857.– Т. 1  
*Безгл.* – РГАДА, Столбцы дополнительного отдела архивного фонда № 210. Безгласный стол  
*Бел.* – РГАДА, Столбцы Белгородского стола.  
*Белев.* – Белевская вивлиофика. – М., 1858. – Т. 2, Приложения.  
*ГКЭ* – РГАДА, Грамоты Коллегии экономии.  
*Ден.* – РГАДА, Книги Денежного стола.  
*КЕ* – Н. А. Соловьев. Сарайская и Крутицкая епархии. – М., 1902. – Вып. 3; 1904. – Вып. 4.  
*Крив.* – Юридические акты из фамильного архива Кривцовых // Труды Орловской учёной архивной комиссии. – Орёл, 1889. – Вып. 4.  
*Леб.* – А. С. Лебедев. Сведения о некоторых архивах духовного ведомства в губерниях Курской и Харьковской. – Харьков, 1902.  
*Материалы Ворон.* – Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. – Воронеж, 1885. – Вып. 5.  
*Поместн.прик.* – РГАДА, Поместный приказ.  
*Прик.* – РГАДА, Столбцы Приказного стола.  
*Р.в.* – РГАДА, Разрядные вязки.  
*Щук.* – Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. – М., 1898. – Ч. 4.  
*М. 10991* – Рукопись под этим шфром хранится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина.

## **11. Современные русские художественные тексты и история языка** **// Исследования источников по истории русского языка и** **письменности. – М., «Наука», 1966. – С. 5-24.**

Любое произведение художника, взятое во всём своём составе, является фактом истории языка, поскольку в каждом художественном тексте воплощается определённая ступень развития последнего и прежде всего его ответвления – языка художественной литературы. Но в данной статье художественные тексты мы рассматриваем не в этом широком плане, а только в одном аспекте: речь идёт о том специфическом, что представляет в названных текстах историю русского языка в её обычном понимании.

Лингвистическое исследование современных текстов русской художественной литературы обыкновенно подчиняют задачам исследования современного русского языка в его литературном варианте и особенно изучению компонента последнего – языка упомянутой литературы. Такое использование художественных текстов как лингвистических источников вполне закономерно, но представляется неполным. Анализ текстов данного рода с точки зрения их значения для истории русского языка, и не только литературного, насколько нам известно, не получил заметного распространения. Между тем привлечение подобных текстов для выяснения и уточнения известного круга моментов и фактов истории языка не только желательно, но порой и необходимо, поскольку в отдельных случаях иные группы источников не дают исковых сведений. В соответствии с сложившимся в нашей науке представлением о хронологических границах современного русского языка, вполне естественно, не совпадающих с границами современной художественной литературы, современными художественными текстами по строю языка условимся называть такие, появление которых падает на время от Пушкина до наших дней.

Более ранние художественные тексты оставляем в стороне. Являясь либо переводными («Александрия» и под.), либо оригинальными русскими, автор которых неизвестен (например, «Слово о полку Игореве», в своём большинстве летописи и другие тексты), либо, наконец, фольклорными (былины, исторические песни), они, само собой разумеется, требуют иного, специального рассмотрения. Установление их лингвистической соотнесённости с определённой речевой средой, с определённым местом и временем в истории русского языка нуждается в особых методах. Установление это осложняется наличием разных редакций и списков, иногда довольно многочисленных, оформлением некоторых упомянутых текстов по нормам старославянского письма,

«буквализмом» русского перевода с иноязычного оригинала и т. д. Старинная лапидарность подобных текстов и, можно было бы сказать, почти исключительно «событийный» характер изложения в них, без детальной художественной обрисовки глубокого внутреннего мира героев, а также конкретной обстановки, в которой события протекают, обуславливают отсутствие в данных текстах определённых категорий лексики, тем самым ограничивая в известной мере возможности изучения по этим текстам явлений в области словаря и его стилистических вариантов, изучения звукового строя и грамматики языка. За пределами темы оставляем и художественные тексты XVIII в., в какой-то мере несвободные от упомянутых особенностей и частью несущие на себе печать теории трёх стилей. Разрыв с последней знаменовал начальную стадию формирования современного русского литературного языка.

Хотя современные художественные тексты дают по истории языка менее богатые и более поздние сведения, они заслуживают серьёзного внимания, так как свободны от указанных недостатков. В сравнении с ранними художественными текстами они обладают в лингвистическом плане и большей общерусской целостностью и в отношении многих элементов словаря более развитой контекстуальностью, что для оценки тех или иных лексических фактов в истории языка представляется довольно существенным.

Тексты художественных произведений, особенно реалистического направления, по самой сути художественной литературы, которая в зависимости от социальных, идейно-художественных велений времени по-разному образно рисует различные стороны жизни, не могут быть одностильными в лингвистическом отношении, иначе они утрачивают своё основное качество. Стремясь к наиболее правдивому, всестороннему изображению жизни, писатели-реалисты пользуются языком во всём его стилистическом и жанровом многообразии. Вследствие указанных причин в современных художественных текстах (прежде всего прозаических) русский язык более, чем в других категориях источников, представлен в его наиболее полном стилистически-жанровом объёме. Для исторического, в данном случае ретроспективного изучения стилей и жанров, их лингвистической специфики это имеет особое значение.

Сравнение описываемых современных текстов с художественными старинными полезно дополнить сравнением первых с иными, современными источниками по истории русского языка – диалектологическими материалами, принимая во внимание то обстоятельство, что по лингво-локальным элементам и элементам народно-разговорной

речи, которыми пользуются художники слова, эти источники вполне сопоставимы. Не получившие по тем или иным причинам литературного значения, эти элементы во многих случаях представляют собой отложения старины.

В диалектных условиях они находятся, так сказать, в свободном состоянии, не связанные в каждом конкретном случае ни с какой общей для данного языка стилистической категорией (о стилистике диалекта, которая, видимо, существует, но совершенно не исследована, мы не говорим). Включённые в систему литературного изложения, иногда как средства речевой типизации, они перестают быть эмпирическими частностями и приобретают значение стилистических обобщений, представляющих с точки зрения носителей литературной нормы, а следовательно и автора, всю народно-разговорную речь, весь диалект в целом. В этом случае подобные элементы, и особенно народно-разговорные, выступают не сами по себе, а как факультативные компоненты литературного языка, точнее, языка художественной литературы.

По наполнению художественных текстов такой лингвистической содержательностью [Котков 1964: 8-9], которая является нехарактерной для современного состояния языка, которая в той или иной мере раскрывает его историю, делим указанные тексты на две категории – с объективно сложившимся наполнением и наполнением, воспроизведённым автором. И то и другое художественно мотивировано. Наполнение первого рода – это включаемые в ткань художественного произведения памятники письменности и старопечатные тексты, а также извлечения из них, вносимые в произведение без какой-либо адаптации, за исключением графической. Последняя не касается содержания включений и их языкового оформления, а лишь облегчает для читателя зрительное восприятие старинного текста. Наполнение второго рода образуется внесением в художественный текст тех же самых включений, но не в том первоизданном виде, как они исторически сложились, а в воспроизведении автора, причём воспроизведении творческом.

Старинные тексты, включённые в современные в неадаптированном (кроме графики) виде, не имеют для историка языка никакого источниковедческого значения, если заимствованы из известных, особенно опубликованных памятников письменности: историк языка всегда предпочтёт обращение к источнику заимствования. Ограничимся одним примером. Так, певучее восхищение И. А. Бунина Русью и её народом находит естественное завершение в лирической цитации фрагментов «Слова о полку Игореве»:



«Страна... эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той южной Руси, которая всё больше и больше пленяла моё воображение и древностью своей и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сёл, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, – наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его, были Святополки и Игори, печенеги и половцы, – меня даже одни эти слова очаровывали, – потом века казацких битв с турками и ляхами, Пороги и Хортица, плавни и гирла херсонские... “Слово о полку Игореве” сводило меня с ума:

“Хошу бо, рече, копіе преломити конецъ поля Половецкого с вами, Русици... Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая; галици стады бѣжать к Дону великому... Комони ржуть за Сулою; звенить слава в Кыеве; трубы трубятъ; звенить слава в Кыеве; трубы трубятъ в Новѣградѣ, стоять стязи в Путивлѣ... Тогда вѣступи Игорь князь в златъ стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тѣмю путь заступаше; ночь стонуши ему грозою птичь убуди... Дивъ кличетъ върху древа, велить послушати земли незнаемѣ, Влзѣ и Поморію, и Посулю, и Сурожу...” [Бунин 1961: 340-341].

Представляющее несомненно большой интерес для исследователей стиля писателя, это историческое включение (а за ним следуют и другие из того же самого «Слова») лишено самостоятельного значения для изучения истории русского языка, поскольку мы, при отсутствии рукописи, владеем всё же первоисточником, хотя и относительным, – первым изданием «Слова» и Екатерининской копией. Но в тех довольно редких случаях, когда подлинник неадаптированного включения известен лишь автору художественного текста, включение приобретает значение в известной мере оригинального лингвистического источника. Таковы, например, извлечения романиста из сказания «О хмельном питии», которое встречается в старообрядческих сборниках XVIII в.:

«...Сатана же завистию распаляем, позавиде доброму делу божию и нача со бесы своими беседовати, как бы уловити род человеческий во свою геенну пианством, наипаче же верных христиан. И выступи един бес из тѣмного и треклятого их собора и тако возглагола сатане: “Аз ведаю, господине, из чего сотворити пианство; знаю бо иде же остася тоя трава, юже ты насадил еси горах Аравитских и прельсти до погопа жену Ноеву... Пойду аз и обрящу траву и прельщу человек”. И восстав сатана со престола своего скверного, и поклонися тому бесу, честь воздая ему, и посади его на престоле своём... и нарече ему имя “пианый бес”. И научи той пианый бес человека, како растити солод и

брагу делати... Тако умудри его бес на погибель христианом» [Мельников 1956, кн. 1: 547. – В художественных произведениях, переизданных после реформы орфографии 1918 г., графическая адаптация в отдельных случаях осложняется элементами современной орфографической, скажем, заменой окончания *-аго* посредством *-ого*].

Хотя перед нами – старинный текст, входивший, как отмечает автор, в старообрядческие сборники, т. е. в общем знакомый исследователям языка, в данном конкретном случае, поскольку нам неизвестно, из какого именно сборника писатель его заимствовал (а что привёл его дословно, сомневаться не приходится), и поскольку неизвестно, сохранился ли этот сборник, мы вправе усматривать в данном включении лингвистический источник, как было уже сказано, в известной мере оригинальный.

Неадаптированные включения, представляющие собой даже более поздние тексты, могут давать ценные сведения по истории и диалектологии русского языка. Вот один из таких случаев – отрывок письма столетней давности, написанного Н. Лесковой брату-литератору:

«Если взтумаеш ко мне писат то пиши на почту переяславскую а атуда на ржищевская станцию с пиридачу югумени марий ана пиридаст мне ево. я буду утешана твоими писмыми и глядет как на тепе прощай брат чалую тепе крепко и прошу не забывает ничтожную сестру тваю послушнику многа грешную наталию лескову» [Лесков 1954: 415-416].

В письме уроженки Орловского края проступают следы интересной особенности – оглушения звонких согласных звуков в положении между гласными (на *тепе*, *теле*), а также перед гласной (*взтумаеш*), явления малозаметного, не чуждого южновеликорусским говорам и в наши дни и в старину, но вплоть до последнего времени не привлекавшего внимания русистов. [Лишь недавно появилась статья, в которой рассматривается эта особенность, однако только в пределах северновеликорусского наречия: – Колесов 1963]. В связи с публикацией частной переписки XVII–XVIII вв. нам уже довелось упоминать об этой любопытной особенности части русских говоров, обычно не выступающей в других категориях памятников и потому не попадавшей в поле зрения историков языка [Переп. частн. лиц 1964: 9], повторяем, она обнаруживает себя едва ли не исключительно в материалах частной переписки. Ещё не так давно лингвисты были склонны объяснять интервокальное оглушение только аналогией: если, скажем, вследствие оглушения *д* перед *к* звучит *лотка*, появляется и *лоточка*, а *побета* – потому, что форма род. мн. в произношении *побет*, а не *побед*.

Достаточность этого объяснения покоилась на том, что вне возможности подобной аналогии указанная особенность почти не отмечалась. Отсюда ясно, какую ценность имеют строки Н. Лесковой: в них интервокальное оглушение наблюдаем в таком положении, которое вовсе исключает возможность аналогии.

Привлечение в качестве источников по истории русского языка неадаптированных включений предполагает прежде всего установление критерия их достоверности. В общей сложности этот критерий образуют различные данные: от прямых – скажем, указаний автора на буквальный характер включения – до косвенных, но в ряде случаев едва ли не самых важных, основанных на знании творчества писателя, в произведении которого включение функционирует. Указание на буквальный характер включения, причём, не совсем обычного – в повествовании персонажа – находим, например, у Мельникова-Печерского: «Так и в старинных записях писано: “А вынутый клад впрок бы пошёл, ино церковь божью не забыть, нищей братье расточить, вдову, сироту призреть, странного удовлетить, алчного напитать, хладного обогреть”». К этому месту следует примечание: «Взято буквально из записей кладов» [Мельников 1955, кн. I: 252]. Отсутствие подобного примечания иногда формально компенсируется выделением включения в художественном тексте средствами пунктуации, обыкновенно при помощи кавычек, которое (выделение) позволяет квалифицировать включаемый текст как свободный от неграфической адаптации. Однако само по себе это формальное выделение ещё не может вполне свидетельствовать о достоверности включения. Значение вполне достоверного последнее получает только при том условии, если во всём содержании и в лингвистическом облике оно убедительно согласуется с фактами истории народа и истории языка. Выяснению достоверности включений помогает проникновение в лабораторию писателя, когда удаётся установить, к каким памятникам старинной письменности (их рукописям или публикациям) писатель обращался, каковы были методы работы над ними, насколько вдумчиво, осторожно или, напротив, вольно, неосторожно он поступал с такими источниками, вводя их в общую словесную ткань художественного произведения

Но если установление достоверности таких включений достаточно сложно, не лучше ли вообще обойтись без них в исследованиях по истории русского языка, тем более что мы располагаем исключительным богатством рукописных первоисточников? Против этого трудно возразить, но всё же включаемыми в художественный текст фрагментами старинных источников пренебрегать не следует. В них обнару-

живаем дополнительные сведения по истории русского языка, в том числе и сравнительно редкие, как например в письме Н. Лесковой.

Кроме включений, вводимых писателем в виде старинных связных текстов, которые встречаем не часто, возможны и другие – в виде отдельных слов и выражений, выделяемых намеренно как приметы той или иной исторической эпохи или унаследованной из старины этнографической и речевой культуры. Намеренное выделение таких включений осуществляется средствами пунктуации и графики, а также посредством пояснений и затем при помощи примечаний о принадлежности включений историческому прошлому. Многие из образующих включения элементов бытуют в русских народных говорах и осознаются в качестве не сродных современной литературной норме отложенный старинного языка, а в отдельных случаях, помимо того, относятся к диалектизму. Указанные элементы могут восходить и к глубокой устной традиции, и к древнерусской письменности. Так, в заметках И. А. Бунина о фактах подобного рода, бытовавших в его родном говоре, мы находим не менее сведений, чем в диалектологическом описании, причём таких, которое в стандартное диалектологическое описание могли и не попасть. Они настолько любопытны и, можно сказать, редкостны, что невольно уступаем желанию привести их целиком.

«Старые дворовые употребляли много церковнославянских слов. Они говорили:

Ливан (ладан), Краниево Место (Голгофа), дщица (малая дочечка), орлий (орлиный), седатый (седой), пядница (маленькая иконка, в пядь), кампан (колокол), село (в смысле: поле)...

Они употребляли вообще много странных и старинных слов не надобе (так писалось ещё в “Русской Правде”: «не надобе делать того»), Египет-град, младшие (меньшие) колокола, стоячие образа (писанные во весь рост), оплечные образа, многоградный край, средидневный вар (зной), водовод (водопровод), паучина (паутина), безлетно (вечно), дивий (дикий, лесной), лжа (ложь), присельник (пришлец, иноземец)...

Было это и в крестьянском языке. Мужика лентяя и нищего называли: – Пустой малый! Изгой, неudelный! – Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь.

А не то кто-нибудь, бывало, говорит: – Хочу в *Киев* сходить, богу помолиться... И невольно вспоминаешь: «Бяше возле града *Кьева* лес и бор велик...»

– Ведь, что ж, она мне не чужая, а жена *водимая*...

Или (когда нанимались в работники): – Ну, когда такое дело, давайте, барин, *рядиться*...

Опять как в Удельной Руси: «Зачали рядиться, кому пригоже на большом княжении быти...»

Потом – рядиться в смысле наряжаться: – Тебе теперь нечего рядиться, ты вдова божья, носить тебе надо одни смиренные (тёмные) цвета...

И ещё вспоминаю: – К нам так-то *одновá* странный (странствующий) старичок приходил. Смотреть любо! В ручке костылик, за плечиком – дерюжное влагалище (сумка, кошель)...» [Бунин 1961: 552-553].

Не рискуя связывать, вслед за Буниным, произношение *Кыев* с древнерусским [Котков 1963: 130-133], полагаем всё же, что упоминание о нём как старой местной особенности представляет бесспорный интерес. Едва ли не все подмеченные Буниным, особенно «странные и старинные», слова *безлетно*, *вар*, *влагалище*, *водимая*, *дивий*, *дищица*, *изгой*, *лжа*, *ливан* (ладан), *не надобе*, *одновá*, *орлий*, *паучина*, *присельник*, *пядница*, *рядиться*, *седатый*, *село* (поле), *странный* находим в древней письменности [Срезневский; Картотека ДРС]. Но значение этих включений состоит не просто в подтверждении данных письменности, а ещё в установлении того факта, что слова эти были употребительны, помимо письменных памятников, и в живой народной речи. Далее, в памятниках они выступают вне связи с какой-либо диалектной областью, а в записях Бунина обретают определённую локализацию. Наконец, памятники древней письменности в сопоставлении с данными Бунина документируют бытование рассматриваемых слов в течение ряда столетий. Привлекает внимание одна деталь: отмеченного писателем для *дивий* второго значения «лесной» в «Материалах» И. И. Срезневского не встречаем. В заметках писателя не только раскрыта семантика «странных и старинных» слов, но показаны вместе с тем характерные для их употребления речевые ситуации, правда, не в буквальном, «копийном», а в приблизительном воспроизведении.

Разумеется, трудно говорить о включениях в таких случаях, когда приметы той или иной исторической эпохи или старинной этнографической и речевой культуры писатель вводит в художественный текст без всякого видимого намерения, собственно, как вполне «свои», хотя и комментируя их для неосведомлённого читателя. Но, не являющиеся включениями, не заимствованные из других текстов, они, однако, равно относятся к той категории элементов, которые мы рассматриваем. Речь идёт об отдельных неадаптированных словах и выражениях. Они встречаются главным образом у авторов-бытописателей.

Уже само комментирование слова или выражения может свидетельствовать о том, что в современную автору эпоху оно считалось пережитком старины и многим было неизвестно; комментирование может быть обусловлено и принадлежностью слова, выражения к элементам узкого распространения, к кругу диалектных образований, естественно, большинству читателей незнакомых. И те и другие комментируемые элементы пополняют наши сведения об отдельных моментах и фактах истории языка.

Обратимся к некоторым примечаниям Мельникова-Печерского. Известное в XVII в. произношение слова *Москва* с ударением на основе писатель фиксирует в XIX в. и вместе с тем указывает определённую территорию его распространения. «За Волгой, – замечает он, – во многих местностях говорят Мóсква с твёрдым о» [«В лесах» I, 489]. Редкое *польга* вместо *польза*, не отмеченное в «Материалах» И. И. Срезневского и приводимое В. И. Далем в общем как северное и восточное [Даль III: 275], Мельников-Печерский также приурочивает к определённой области: «Вместо “польза” в нижегородском и костромском Заволжье говорят “польга”» [«В лесах» II, 195]. В XVII в. в качестве бранного употреблялось слово *страдник* [Переп.Безобразова 1965: 29]. И. И. Срезневский видит в нём значения «работник» и «подвижник» [Срезневский III, 533], а В. И. Даль, раскрывая его семантику («батрак, работник... мужик, рабочий, крестьянин»), пример бранного употребления приводит только из разрядных записей, из того же далёкого прошлого. В романе Мельникова-Печерского один из героев сетует: «И смирил меня Господь за треклятую гордость... Не от сильного-могучего, не от знатного, от властного – от своего страдника-работника, от наймита принял я поношение, потерпел унижение!». К слову *страдник* даётся примечание: «Наёмный работник, также наёмный охотник в солдаты» [«В лесах» II, 537]. В словах героя и в примечании негативная функция образования *страдник* получает известное объяснение: в глазах имущих (они и придали данному слову бранный смысл) человек, вынужденный работать по найму, ухивший в солдаты по найму, был существом презираемым. У того же автора зафиксировано промежуточное между старым русским и современным значение слова *захребетник*, раскрытое, впрочем, не в примечании (заимствованном у Даля), где сообщается об иной семантике, а в тексте произведения: «Очередь даже велась меж крестьянами; воспитанье подкидышей стало у них чем-то вроде повинности. Чужих детей принимали крестьяне с великою радостью... Такую страсть до чужих детей надо тем объяснить, что по возрасту они взамен родных детей в рекруты

сдавались. В лесах за Волгой таких приёмышей зовут “захребетниками”» [В лесах II, 88].

В 80-х годах минувшего века [XIX в. – Л.А.] в примечании к рассказу «Пугало» о лексическом заимствовании из украинского в орловском говоре сообщал Н. С. Лесков: «Башмаки по-орловски черевички» [Лесков 1958, т. VIII: 33]. Началом минувшего века в примечании к рассказу «Грабёж» датировал он пережиточное употребление в Орле старинного слова *гуня*: «Гуня – старинное слово; значит: обновок, рублище. В Орле 50 лет назад ещё говорили “гуня” [там же: 144]. У Даля *гуня* и *черевички* в орловских местах не указаны [Даль I: 419], поэтому сведения Лескова представляются нам существенными.

Особый, имеющий ближайшее отношение к истории русского языка характер всех приведённых выше комментированных фактов в общем ясен. При отсутствии авторских примечаний, в какой-то мере филологического свойства, извлечение сведений по истории языка из современных художественных текстов имеет только одно надёжное основание: наличие соответствий, параллелей в памятниках письменности. Существование их в народных говорах, при отсутствии соответствий в памятниках – основание менее надёжное. В свете данных старинной письменности иногда и такие сведения, которые по первому впечатлению можно было бы отнести к чертам исключительно индивидуальной характеристики действующего лица, приобретают более общее лингвистическое значение как особенности крупных диалектных образований, а может быть, в целом и русского языка.

Вот любопытная деталь из «Дневника лишнего человека» И. С. Тургенева: «...ездили также два помещика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потёртые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упрёком: “Да полноте, Сергей Сергеич; куда вам? Ведь вы слово пробка пишете с буки. Да, господа, – продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим, – Сергей Сергеич пишет не пробка, а бробка”» [Тургенев 1954, т. V: 190]. В описаниях южновеликорусских говоров замечаний о таком явлении не обнаруживаем. Только В. И. Чернышев, касаясь нарушения орфографии в школах южновеликорусской области, в своё время отметил: «...имеется ряд странных и грубых ошибок, происхождение которых я не сумею связать с деятельностью зрения или мускулов руки», – и привёл в числе других ошибок написание *по брыгали* (попрыгали) [Чернышев 1912: 52]. В свете некоторых данных старой русской письменности особенность, подмеченная Тургеневым, выступает как черта сравнительно распространенная, бытовавшая в говорах с давних пор. В 1673 г. приказчик писал барину из его кост-

ромской вотчины: «а бруд... я холоп твои здѣлал а то была скатина всякая померла без воды» [РГАДА. Белгородский стол, стлб. 1100: 32 об.]; в допросе, который производился в 1674 г. в Костромском уезде, сказано: про вино «...добрашивал сколко какова хлеба рожшено на солод» [там же: 134]; в 1693 г. в Коротояке разбиралось судебное дело: «*мат* ево... сказала то де шуба наша... велите... *мат* ево в шубе до-бросит» [РГАДА. Приказный стол, стлб. 1661: 112]; в брянском тексте 1783 г. читаем: «обракинулись мои сани» [Тиханов 1904: 31]. Ср. след озвончения зубного в положении также перед *p* в письме сельского старосты: «гсдю Педру Андрѣвичу» [ГИМ, ф. 253, № 39: 66]. Подмеченный Тургеневым, казалось бы случайный, факт в одном ряду с аналогичными, хотя и сравнительно редкими, фактами из памятников открывает перед нами фонетическое явление, которое не попадало в поле зрения исследователей, не привлекало их специального внимания. В актуальности озвончения *n* в положении перед *p* на Юге во времена Тургенева вряд ли можно сомневаться: оно представлено в заимствовании из немецкого или голландского, причём заимствовании сравнительно позднем.

Помимо элементов характеристики говора, рассеянных в речи персонажей, в художественных текстах иногда попадают не лишённые известного научного интереса в плане истории языка попытки обрисовки локальной речи, принадлежащие авторам произведений, по наиболее ярким, по их представлениям, наиболее характерным её чертам. Такая обрисовка может быть дополнена этнографическими сведениями. Пример из «Гардениных» А. И. Эртеля:

«...барские не упускали случая посмеяться над однодворцами и передразнить их говор: каго и чаго вместо «ково» и «чево, що вместо «што», – поглумиться над их манерой одеваться: толсто навёртывать онучи, носить широчайшие, с бесчисленными складками сапоги, кафтан с приподнятыми плечами и высоким воротом, уродливые кички и панёвы у баб. По праздникам барские и однодворцы не ездили друг к другу. Даже в церкви норовили становиться отдельно. Почти не было примеров, чтобы барскую девку отдавали за однодворца или однодворку за барского» [Эртель 1954: 62-63].

Отмечая отдельные приметы говора, Эртель, как видим, указывает и на отношение к ним в соседней инодиалектной среде, иными словами – на момент социальной диалектологии, которой редко касаются в диалектологических описаниях.

Ср. выделение однодворческого говора без упоминания о его особенностях в рассказе Бунина «Божье древо»:

– А откуда ты и как величать тебя?



– Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.

И всё так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно – по говору [Бунин 1956: 141].

Теперь обратимся к частностям. Обыкновенно для исследования ударения привлекают только стихотворные тексты, поскольку в них место ударения связано с ритмикой стиха, а ритм стиха известен. Однако ценные сведения о старых и новых отношениях в сфере акцентологии заключают и некоторые тексты художественной прозы. О том, насколько существенны бывают эти сведения, можно судить, например, по данным, извлечённым из книг Эртеля [в скобках указывается произведение; в отличие от авторских многоточий наши пропуски в цитатах обозначаем двумя точками], жизнь и творчество которого в большой степени связаны с южновеликорусской средой. Эти данные имеют отношение почти исключительно к речи персонажей, а не к авторскому повествованию; в ряде случаев акцентологические особенности сопутствуют изменениям в формообразовании: *беблiо́тику* («Смена»); *в городу́* («Смена»); *полны вентеря́* («Гарденины»); *возле́*: «Возле!.. Возле окаян-н-ая...» – кричит пахарь и понукает лошаде́нку.. («Записки степняка»); *воля́*: – Что ж поделаешь.. – вздохнул ходок.. Никаких волей тебе нету-ти.. – Ведь оне у всех одне – воля-то! («Записки степняка»); *в те поры́* («Записки степняка»); *выгона́*: [Отец Юс:] Выгона́ все пораспахали! («Записки степняка»); *должón* («Смена»); *дьяво́ла* – им. мн. («Смена»); *здорово́*: [Сашутка:] Действительно мы с ним маленечко того... здорово́ безобразничали («Смена»); *кóлок*: [Сергей Петрович:] ..это ведь начинается моя земля: вон Медвежий кóлок.. («Две пары»); *мяса́*: [Алферов:] Там Мурильо, Гвадалквивир, испанка оперлася на балкон... а у нас – мяса́, туши, сало («Смена»); *навалёны* («Смена»); *нарочитó*: Письмо было такого содержания: ..Писал по воле Фелицаты Никаноровны и под её диктант нарочитó приверженный конторщик.. Агей Дымкин («Гарденины»); *общество́* ('сельское общество, мир') («Записки степняка»); *óгрех*: [Онисим:] Вот на пахоту пришел.. У меня ежели óгрех – я проберу («Записки степняка»); *одновá* [Алеша:] Я одновá состязался с таким.. («Смена»); *ó-полночь*: [Поплешка:] ..сел на ночь в алтаре.. и вдруг ó-полночь приходит белый старец («Записки степняка»); *подотя* – вин. мн. («Смена»); *позавчёрá* («Записки степняка»); *помёр* («Записки степняка»); *пóтом*: [Дворник:] ..с чего они спят-то долго? [Григорий Евлампыч:] – А с того и почивают, что господа. И потом (Григорий говорил «пóтом») женский быт. В женском быту завсегда, брат, спится крепче («Гарденины»); *просá* – вин. мн. («Волховская барышня»); *про́цент*

(«Смена»); *рoманы* («Гарденины»); *свежинá* [Ефрем Капитонч:] ..щи «с свежинóй», олады и тому подобное.. («Гарденины»); *скóромь* (‘ско-ромное’) («Смена»); *сорá* – им. мн. (‘сорные травы’) («Смена»); *сновá*: [Онисим Варфоломеич:] Где это видано – наезднику руки не подаёт; я тогда, сновá-то, протянул ему руку, а он.. один палец выставил («Гарденины»); *способá* («Смена»); *третьёводни* («Гарденины»).

В авторском повествовании: *жнивá* – им.мн. («Записки степняка»); *насторóже*: Казалось, простодушная чистота девиц заставляла кавалеров быть даже слишком насторóже («Смена»); *подрезá*: Лошади плетутся себе шажком, гужи скрипят, подрезá визжат... («Жадный мужик»).

Приведённые случаи, как было сказано, за весьма немногими исключениями относятся к речи персонажей. Напротив, в стихотворных текстах подобные случаи крайне редки, в них едва ли не исключительно представлена акцентология авторской речи. Лишь в той незначительной степени, в какой автор является носителем местного говора, получает отражение в его стихах и локальная акцентология.

Заметим кстати: в Словаре Даля таких акцентологических фактов, как, например, *нарочитó*, *óгрех*, *пóтом*, *скóромь*, *сновá*, не зарегистрировано.

Рассмотрим теперь такие случаи, когда лингвистическая со-держательность, нехарактерная для современного состояния языка и в той или иной степени раскрывающая его историю, представлена в творческом воспроизведении автора. При этом следует иметь в виду, что некоторые соответствующие включения не всегда могут быть чётко отграничены от включений неадаптированных.

Например, у Пушкина встречаем включение, которое, собственно говоря, является подлинным судебным документом: настолько незначительна его неграфическая адаптация. Только отнесённость этого документа к персонажам художественного произведения, что было связано с заменой упоминавшихся в нём имён, позволяет условно присоединять его к категории включений, представленных в творческом воспроизведении писателя. Таково приведённое в «Дубровском» определение уездного суда, о котором автор говорит: «Мы помещаем его вполне», т. е. в полном виде, полностью. Известно, что это определение – копия с решения суда по делу между подполковником Крюковым и поручиком Муратовым, которое рассматривалось в Козловском уездном суде в 1832 г. Пушкин включил её в художественный текст без переделок, заменив только имена [Пушкин 1957, т. VI. – Прим., стр. 771]. Свойственный старинному судопроизводству особый языковой колорит сохранён в неприкосновенности.

Однако, обращаясь к лингвистической содержательности, нехарактерной для современного состояния языка, представленной в творческом воспроизведении автора, мы имеем в виду не столько включения, сколько органическое слияние в художественном тексте современной речи с элементами «исторической», когда писатель воссоздаёт речевой колорит минувшей эпохи. Разумеется, подобные воспроизведения колорита минувшей эпохи лишены значения оригинальных источников для того периода развития языка, к которому писателями они относятся, но они получают такое значение, когда изучают судьбу унаследованной от названного периода системы языка в сфере письменного общения последующих поколений, с точки зрения её восприятия этими поколениями. Не приходится говорить о том, что подобные воспроизведения в полной мере сохраняют значение оригинальных источников при анализе языка художественной литературы, особенно состава и функционирования в нём элементов «исторических», образующих колорит минувшей эпохи. Но это уже особый вопрос, не имеющий отношения к нашей теме.

Характер слияния в художественном тексте современных и «исторических» элементов и их соотношение в нём определяется двумя моментами: с одной стороны, необходимостью воссоздать речевой колорит эпохи, с другой стороны, непременным условием – не выходить при этом из соответственных норм современного литературного языка (фонетико-грамматических и иных), или точнее говоря, из системности. Естественно, это предполагает внесение в художественный текст только таких «исторических» элементов, которые в том или ином отношении выдержали испытание временем и, в плане понимания их, для современного читателя являются приемлемыми. Любопытно, например, что к тексту романа А. Н. Толстого «Пётр Первый», богатому речевой стариной, даётся всего лишь два примечания, объясняющих значения старинных слов: ям («постоялый двор»), правёж («пытка, которой подвергали должников, куда не заплатят»). А. В. Алпатов обоснованно писал:

«Изучая документальные материалы, отмечая наиболее типичные для языка XVII–XVIII веков выражения и слова, писатель обычно стремился найти и зафиксировать прежде всего те слова и обороты речи, всё то, что носит колорит старины, но в то же время может быть понятно и близко современному читателю.

Когда Алексею Толстому приходилось использовать в своём «Петре Первом» памятники русской письменности XVII века, подлинные древние тексты, он с большой осторожностью, с редким художественным тактом умел разгружать их от наиболее архаичных оборотов

и обветшалых языковых форм» [Алпатов. Комментарии к: Толстой 1959, т. VII: 848].

В данном случае художник слова, являясь носителем современных норм русского литературного языка, вводил в его лексический состав только такие элементы старой речевой культуры, которые и поныне не утратили некоторых связей с ним, обычно специализированного характера. Совокупность подобных лексических элементов – ценный источник для истории языка. Исследование их в сравнении с соответственными фактами из памятников письменности проливает свет на эволюцию значений, семантическую специализацию этих слов, эволюцию их синтаксических и словопроизводственных возможностей и т. д. Реальность наблюдений подобного рода обусловлена тем, что в качестве используемых для воссоздания колорита старины эти элементы, поскольку они в общем не выпадают из современного языка, могут быть в известной степени противопоставлены своим историческим аналогам. Впрочем, в составе художественного текста то или иное старое слово, претерпевшее с течением времени семантическую эволюцию, может иногда функционировать в прежнем семантическом объёме. Вот один из примеров. Слову *чадо* в современных словарях литературного языка сопутствуют пометы *церк., книжн., устар., теперь шутол.* (Словарь Ушакова), *стар. и ирон.* (Словарь Ожегова). А в романе «Пётр Первый» оно выступает без современных стилистических оттенков, скорее в старом семантическом объёме: «Чада прыгали с ноги на ногу, – все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка». «Чада кинулись в тёмную избу, полезли на печь, стучали зубами».

Сравнение этих случаев с употреблением слова в памятниках на первый взгляд как будто не представляет интереса. Но это первое впечатление едва ли не ошибочно. Для старой русской письменности употребление слова *чадо* в бытовых обыденных ситуациях, наподобие описанных в романе, было нехарактерно. Во всяком случае, ознакомление с обширными материалами частной переписки XVII – начала XVIII в. склоняет именно к такому выводу. Сравнение, как видим, не бесполезно. Но оно показывает: перед нами в романе – не момент воссоздания реального колорита определённой исторической эпохи, а условная стилизация авторского повествования, т. е факт, имеющий отношение не к истории русского языка, а к исследованию языка художественной литературы. Итак, не всякий элемент внесённой в художественный текст «исторической» лексики может быть использован историком языка. Необходим критический отбор «исторических» элементов и учёт того обстоятельства, что в качестве данных для истории языка они

представляют известную ценность не просто сами по себе, а лишь при наличии соответствий в старой русской письменности, а также в народных говорах, а при отсутствии в последних, по меньшей мере, – в первой.

Приведём случай, хотя и не существенный, но имеющий отношение к истории языка. Когда-то *дневать* означало ‘нести охрану чего-либо в течение всего дня’, а *дневать* и *ночевать* соответственно – ‘охранять и днём и ночью’. Так, в 1633 г. служившие в Валулке стрельцы и казаки в челобитье своём писали: «на встроге на двенацати баинех короулим и у петяры ворот *днеом*» [РГАДА, Разрядный приказ, Севский стол, стб. 94: 223.], «мы холопи ваши пѣшие стрелцы пушкари и затинщики *днеом* и *ночюем* у вашей гсдрьской казны и на городе» [там же]. Ср. в современном русском языке: *дневать* и *ночевать* (разг.) – ‘проводить всё время’ (Слов.Ушакова). Можно думать, переходное между этими значение представлено в романе А. Н. Толстого: «Бывало и так, что уж, – всё одно голова с плеч, – заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит [Петра]: Отца-де твоего на коленах держал, *дневал* и *ночевал* у гроба государя, род-де наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся, иди в баню, иди в храм божий...».

Среди вносимых в художественные тексты «исторических» элементов много таких, которые являются названиями предметов и понятий, оставленных в далёком прошлом, чуждых нашей эпохе. Поскольку с течением времени они постепенно выпадали из жизни русского общества, а их названия, за исключением сравнительно редких случаев, не переносились на иные предметы и понятия, впоследствии не было никаких оснований для семантической эволюции этих названий. Таковы, например, отмеченные в романе А. Н. Толстого слова *бармы*, *батог*, *кружало*, *новик*, *опашень*, *поверстать* (землей), *правёж*, *саадак*, *терлик*, *ферязь*, *ярыжка* [Для современных носителей русского языка значение их порой приблизительно, но достаточно в смысле общего понимания обыкновенно раскрывается в контексте. Читателю, скажем, довольно знать, что *опашень* и *ферязь* – виды одежды, что носили их в старину, а различия между ними для него не существенны]. Заимствованные автором из памятников письменности для придания повествованию колорита старины, они, однако, вполне понятно, не могут служить оригинальными источниками в плане разработки истории языка. Лингвист, естественно, обратится не к ним, а к соответственным фактам из памятников.

Итак, современные художественные тексты заслуживают внимания языковедов не только с точки зрения исследования языка художественной литературы, но и с точки зрения исследования истории русского языка. Второе направление в нашей науке ещё не получило признания. При наличии необыкновенно развитой, могучей художественной литературы, вобравшей в себя огромные богатства русской народной речи, это вызывает недоумение.

## 12. Сомнительная концепция истории русского языка // Русский язык в школе. – 1972. – № 1. – С. 109-112.

При всех достижениях русистики история русского языка остаётся во многом неразработанной. Даже имеющие длительную традицию исследования в области фонетики, а также грамматического строя нуждаются в основательном расширении и углублении. Историческая лексикология только начинает развиваться, исторической стилистики не существует. Ещё далеко до построения целостной, синтетической картины развития русского языка.

Не удовлетворённый современным состоянием данной научной дисциплины, Г. А. Хабургаев выступил с критической статьёй, в которой он излагает принципы построения программы курса «Историческая грамматика русского языка» для педагогических институтов. В статье справедливо отмечается, что сформулированная в действующей программе основная задача курса – «ознакомление студентов... с процессом образования русского языка, развитием основных закономерностей его звуковой системы и грамматического строя с древнейшей эпохи до современного состояния» – оказывается нереализованной, ибо курс исторической грамматики сведён к рассмотрению отдельных звуковых и грамматических явлений «древнерусского языка» и лишь вскользь затрагивает «процесс образования» русского языка [Хабургаев 1971: 101].

Исходя из этой верной посылки, казалось, следовало бы уяснить, каковы реальные возможности обогащения данного курса при современном состоянии разработки истории русского языка, какие новые концепции, наблюдения и материалы правомерно включить в программу и, напротив, какие вопросы последней, в свете новых исследований оказавшиеся устаревшими, должны быть из неё исключены. Составление программы всегда опирается на реальные достижения соответствующей науки. Г. А. Хабургаев избирает другой путь – пересмотр современной концепции истории русского языка. Разыскания в этом направлении, подкреплённые либо новыми, либо по-новому осмысленными материалами, можно только приветствовать. К сожалению, построения автора статьи оказываются чисто умозрительными.

Прежде всего выдвигается положение, что «...единой звуковой системы, склонения или спряжения “живого древнерусского языка” реально никогда не существовало. И в восточнославянский, и в древнерусский, и в среднерусский периоды реально функционировали в качестве средства живого общения местные диалекты, а не абстрактный “живой” древнерусский язык, значит, и рассматриваемые в учеб-

ных пособиях языковые явления – это особенности тех или иных диалектов соответствующего периода, лишь со временем получившие значение норм кодифицированного литературного языка или нормированной устной речи, но в прошлом нередко характеризовавшие разные (а не одну и ту же!) диалектные системы» [там же: 101].

Положение это вызывает серьёзные возражения.

О языке и диалектах древнерусской поры мы узнаём из письменности той эпохи, в значительной степени церковнославянской, и корректируем свидетельства этой письменности показаниями современных диалектов. Оказывается, открывая перед нами картину древнего диалектного состояния, упомянутая письменность абсолютно бессильна дать какое-либо представление о живом древнерусском языке. Выходит, бесписьменные диалекты в древних текстах можно «прозреть», а язык, оснащённый письменностью, хотя и церковнославянской, но по отношению к нему более адекватной, нежели по отношению к диалектам, «прозреть» никак нельзя. Подобная ситуация возможна только в одном случае: если познание диалектов древнерусской поры имеет своим основанием изучение современных говоров, а древней письменности в этом плане придаётся крайне незначительное, третьестепенное значение. Между тем, скажем, об истории редуцированных мы узнаём в первую очередь из древнерусских памятников. То же самое можно сказать и об истории носовых гласных.

Ошибочно, далее, и заключение, что в качестве средства живого общения функционировали лишь местные диалекты, а не древнерусский язык. Но если такого языка в живом функционировании не было, что объединяло восточных славян в лингвистическом отношении?

Признание наличия в Древней Руси разных диалектных систем представляется абсолютно немислимым без признания их нормативности, понятно, объективно сложившейся, а не сознательно установленной носителями диалекта. Любая лингвистическая система без нормы – нонсенс! Без объективно сложившейся нормы нет ни языка, ни диалекта. Противопоставление устной нормированной речи диалекту как речи ненормированной явно несостоятельно.

По словам Г. А. Хабургаева, понятие «русский язык»... без ограничительного определения («литературный» «диалектный» и т. д.) – это понятие преимущественно социальное, или лингво-этническое, но не структурно-лингвистическое» [там же: 102]. Увлечённый необыкновенно модным ныне, а в сущности едва ли не бесплодным препарированием языка на множество «систем», автор рассматриваемой концепции, вслед за другими «конструкторами» языка, признаёт и существование русского как «системы систем», но, в отличие от образую-

щих его «систем», системность последнего усматривает исключительно в том, что в его пределах частные «системы» находятся в определённом взаимоотношении. Чем же, однако, обеспечивается возможность такого взаимоотношения? Очевидно, взаимопониманием всех носителей русского языка, независимо от принадлежности их к разным диалектным коллективам, взаимопониманием, которое базируется на исторически сложившейся общности основного словарного состава и, в главном, определяющем, фонетики и грамматики русского языка. По мнению Г. А. Хабургаева, возможность указанного взаимоотношения определяется не этим собственно лингвистическим моментом, а только внеязыковыми, социальными факторами [см. там же: 102].

Совершенно напрасно в этом случае Г. А. Хабургаев подкрепляет своё суждение замечанием Ф. П. Филина: «Чисто лингвистическое понятие языка (при определении места языка в группе родственных языков или диалектов) – фикция. Язык – историко-лингвистическая (или социально-лингвистическая) категория» [Филин 1962: 166]. В приведённом замечании вовсе не отрицается собственно лингвистический аспект, а высказывается возражение против трактовки языка как категории внеисторической, категории внесоциальной.

Обратим внимание на следующее: если система языка, по Г. А. Хабургаеву, обуславливается внеязыковыми факторами, а образующие её частные системы – факторами лингвистическими, язык, вследствие этого противоречия, не может быть назван системой систем.

Отрицание реального существования живого древнерусского языка не является у Г. А. Хабургаева следствием глубоких, самостоятельных разысканий в данной области истории языка, а покоится на умозрительном принципе, сформулированном так: «...понятие языка может определяться с двух сторон: как система социально обусловленных знаков, или “структура” (язык как субстанция), и как средство общения между членами того или иного коллектива (социальной группы, населения одного района, племени, народности, нации), т. е. как коммуникативная единица (язык или функция)» [Хабургаев 1971: 102]. Допустимое только как рабочее в процессе конкретного исследования, положение это, выдвигаемое в качестве методологического, не может быть приемлемо: структура языка является субстанцией лишь в процессе общения его носителей. Между тем Г. А. Хабургаев говорит далее уже не просто о двустороннем определении понятия языка, а о «двусторонней сущности» (разрядка наша – С.К.) этого понятия [там же: 103]. В методологическом отношении мнимая, двусторонняя сущность последнего и выдвигается в качестве той основы, на которой предлагается строить курс истории русского языка.



За образец безоговорочно принимается современный курс русской диалектологии, но то, что в нём выступает как методический, рабочий приём, Г. А. Хабургаев возводит в методологический принцип. Речь идёт о так называемом двухчастном построении курса, когда сначала «анализируются *отдельные* (частные) диалектные особенности, независимо от их географии, т. е. анализируются элементы системы русского диалектного языка, в то время как вторая часть, опираясь на уже изученный материал первой части, рассматривает *диалектное членение русского языка*» [там же].

Заметим сразу: из того, что отдельные диалектные особенности изучаются независимо от их территориальной принадлежности, ещё не следует, что мы имеем дело с каким-то особым диалектным языком, а не местными говорами. Нет необходимости доказывать, что носители русских народных говоров едва ли не в большей степени пользовались общерусским словарём, общерусской грамматикой и фонетикой, нежели собственно диалектными средствами. Противоречивое и формально, название *диалектный язык* лишено и реального содержания, поскольку то общее, что приписывают сконструированному диалектному языку, принадлежит языку общенародному. Не образу самостоятельного языка, диалекты являются лишь ответвлениями общего языка народа. Противопоставляя язык литературный так называемому диалектному, а не общенародному, автор рассматриваемой статьи расчленяет интересующую его научную дисциплину на историю языка литературного и просто историю языка, отождествляя, в сущности, вторую с исторической диалектологией.

Приняв за исходное положение, что живого древнерусского языка вообще не существовало, Г. А. Хабургаев рекомендует в первой части курса «проследить возникновение и развитие отдельных восточнославянских фонетических и грамматических особенностей, не касаясь вопроса о том, каким образом и когда те или иные изучаемые особенности вошли в систему норм русского языка (ибо этот вопрос должен решаться в курсе истории русского литературного языка)» [там же]. Как же, однако, отрицая существование живого древнерусского языка, можно вообще говорить о каких-то не местных, узкодиалектных, а восточнославянских особенностях? О каком вхождении их в русский язык можно писать, утверждая, что народные массы и в древнерусскую, и в среднерусскую эпоху пользовались только диалектной речью? В подобных условиях превращение тех или иных диалектных особенностей в особенности общерусские (а такими в указанные эпохи, согласно рассматриваемой концепции, могли быть только литературные) само собой исключалось, особенно если принимать во

внимание, что при отсутствии живого русского языка литературным, естественно, оказывался только церковнославянский.

Итак: история русского языка в конце концов сводится к внедрению в церковнославянскую стихию отдельных диалектных особенностей и превращению их в литературно-нормативные. Ср. вывод Б. О. Унбегауна «о церковнославянской природе литературного языка, лишь постепенно русифицировавшегося» [Унбегаун 1968: 129]. Подобное представление о генезисе русского литературного языка по меньшей мере спорно. Уже в ранний период его развития влиятельные проявления в нём собственно русского начала выступают вполне определённно. Убедительны с этой точки зрения, например, показания «Русской Правды». Для среднерусского периода в том же смысле примечательны данные актов и эпистолярной письменности.

Характерно предупреждение, с которым Г. А. Хабургаев обращается к филологам-русистам: включаемый в первую часть материал «должен излагаться таким образом, чтобы у студента не складывалось впечатления, будто рассматриваемые здесь языковые факты и системные отношения постоянно характеризовали все древнерусские диалекты и на всей древнерусской территории изменялись одновременно и идентично. Студент должен ясно представлять, что рассмотрение в первой части курса того или иного языкового явления обусловлено не его подчас мнимой “общенародностью” в древнерусский период (как это нередко можно понять из современных пособий по исторической грамматике), а лишь тем, что знать это явление необходимо для понимания особенностей современного литературного языка или нормированной устной речи и исторически предшествовавших им языковых систем» [Хабургаев 1971: 103].

Разумеется, важно показать студентам, что изменение одних и тех же лингвистических фактов и отношений применительно к разным областям древнерусской территории происходило в ряде случаев не в одно и то же время и не полностью одинаково. Но это вовсе не означает, что изменение это, в конечном счёте пережитое всюду на Руси, во всём русском языке, не было общерусским. Возьмём процесс падения редуцированных. Из того, что его протекание в тех или иных русских областях варьировалось и по времени и по результатам, ещё не следует, что данный процесс не являлся общедревнерусским. Вариативность обыкновенно и порождается реализацией единого процесса в различных экстралингвистических и лингвистических условиях. Без такого понимания изменений в языке не может быть синтезирующего познания его истории. В аналогичном плане расцениваем и вариативность общего движения в склонении и спряжении. Ориентация студентов на

понимание древнерусской речи как лишённой значения общего для её носителей языка, по меньшей мере, произвольна, а если мерить большей мерой, в научном отношении несостоятельна. Кстати, ей противоречит и признание автором периода «образования древнерусской народности и объединения славянских диалектов Восточной Европы в единую («социальную») систему древнерусского языка» [там же: 104].

По определению Г. А. Хабургаева, «социальная система (или «социальная структура») языка – это совокупность его реальных разговорных и нормализованных разновидностей, обслуживающих одну социально-этническую группу (народность, нацию) в их взаимоотношении» [там же: 102]. Вторая часть намечаемого им курса и задумана как история «социальной системы» русского языка. В то же время утверждается: «Конкретное лингвистическое описание системы, скажем, русского (исторически – древнерусского) языка невозможно: реально функционируют и могут быть описаны системы диалекта, просторечия, литературного языка». Вместе с тем, вопреки последней сентенции, выдвигается положение: «Основное место в лекционном курсе должны занять темы, связанные с анализом процессов перестройки фонетической системы древнерусского языка (разрядка наша. – С.К.)» [там же: 102, 104]. Так что же всё-таки возможно и должно изучать – систему древнерусского языка (а если говорится о его фонетике, то, значит, живого языка, единство которого начисто отвергается Г. А. Хабургаевым) или только системы его компонентов? Неужели рассматриваемые в учебных пособиях языковые явления – это всегда непременно «особенности тех или иных диалектов соответствующего периода (подразумеваются восточнославянский, древнерусский и даже среднерусский периоды. – С.К.)» [там же: 101], а не русские особенности вообще? Неужели и редуцированные гласные, и изменения этих гласных, и отвердение шипящих, и переход гласного *e* в определённых условиях в *o*, и общая перестройка склонения и спряжения, и замена беспредложных конструкций предложными не были в принципе явлениями общерусского характера? Уже то простое обстоятельство, что существует огромное количество слов и семантических связей между ними, равно приемлемых в диалектах, просторечии и литературном языке, противоречит поспешному утверждению о неральности системы языка как всенародной лингвистической общности, в данном конкретном случае – общности древнерусской. Многократно обнаруживается эта общность и в показаниях фонетики и морфологии, словообразования и синтаксиса. Едва ли ошибёмся, если скажем, что до Г. А. Хабургаева историки русского языка не сомневались в реальности данной общности и в том, что древнерусский язык в его живом

бытовании – определённая система. Понимаемая не голо формалистически, эта система языка и получила определённое отражение в исторической грамматике.

Утверждение, что древнерусские люди живого единого языка не имели, означает вместе с тем и отрицание восточнославянской общности. Но ведь эта общность в разных планах, в том числе и лингвистическом, прочно установлена, при этом установлена и по ранним памятникам. В согласии с концепцией Г. А. Хабургаева, остаётся только предположить её возникновение на базе говоров, не объединённых единым языком, поскольку, по мысли Г. А. Хабургаева, такого единого языка у восточных славян не было. Но в данном случае её становление потребовало бы огромного времени. А общая история восточных славян – образование сильного Киевского государства, формирование братских восточнославянских народов, образование Московского государства и сплочение для борьбы с татарами, а также ряд других событий, – предполагая в восточнославянской области лингвистические консолидации крупного масштаба, с этим не мирится.

Предлагаемое Г. А. Хабургаевым расчленение курса, особенно выделение второй части, посвящённой истории так называемой «социальной системы» русского языка (как будто может быть и несоциальная система языка!), не оправдано и современным состоянием разработки этой научной дисциплины, что вынужден признать и автор данной программной конструкции. «Наибольшую трудность, – пишет он, – в настоящее время представляет работа над второй частью предлагаемой программы, поскольку относящийся к ней материал ещё не подвергся обобщению и не собран в каком-либо одном издании» [там же: 104]. Устранить подобное затруднение было бы не столь сложно. Действительная сложность заключается в том, что синтезированная история русского языка, причём не только древнего, но и сравнительно позднего периода, во многом ещё не разработана. Например, нет конкретного воссоздания ни языка великорусской народности, ни русского национального языка начального периода его развития, ни московского говора, признаваемого исторической основой литературного языка, ни сыгравшего огромную роль языка приказной письменности. Без глубокой разработки истории этих основных слагаемых чтение второй части курса превратится в профанацию. В самом деле, что может дать современная история русского языка для освещения, к примеру, таких вопросов, намеченных программой: ограничение общевосточнославянских языковых переживаний в связи с обособлением феодальных земель в XII–XIII вв.; распространение диалектных особенностей московского говора на северо-запад и юг, а затем и продвижение

их в западном направлении – по мере роста Московской Руси; формирование языка великорусской народности? Нетрудно заметить: они намечены умозрительно, исходя из общеисторических концепций, без какой бы то ни было опоры на конкретные лингвистические основания.

Если взять первый вопрос, то всё решается удивительно просто: начинается феодальная раздробленность; значит, само собой разумеется, должно усиливаться диалектное дробление, а последнее, ясно, ограничивает общевосточнославянские языковые переживания (кстати, признание таких переживаний едва ли мирится с категорическим отрицанием единства древнерусского языка). Какие, однако, исследования, характеризующие диалекты феодальных княжеств указанного времени (Киевского, Черниговского, Новгород-Северского, Смоленского, Полоцкого, Рязанского, Владимиро-Суздальского и др.), известны Г. А. Хабургаеву, которые помогли бы воссоздать картину диалектного дробления именно в этот период? Г. А. Хабургаев пишет об оформлении в XII–XIII вв. следующих диалектных зон: «северной (северо-восточной и северо-западной) – с взрывным *z*, цоканьем и нек. др. особенностями; центральной (на территории древнейших балтийских поселений – от верховьев Зап. Двины и Волги до Деснинско-Сейменского междуречья) – с фрикативным *ʃ*, аканьем, тенденцией к отвердению *ч*, не смешивавшегося с *ц*, и нек. др. особенностями; южной (между Зап. Бугом, Припятью, Днестром и верхним Днестром) – с фрикативным фарингальным *h*, различием аффрикат, удлинением кратких гласных в закрытых слогах (после падения редуцированных) и нек. др. особенностями» [там же: 104].

За северной зоной легко угадывается область северновеликорусского наречия, за центральной – южновеликорусского вместе с областью формирования белорусского языка, за южной – область формирования украинского языка. При чём же здесь феодальная раздробленность XII–XIII вв.? С ней такое лингвистическое членение восточного славянства не совпадает.

Обстоятельное освещение второго вопроса – о распространении особенностей московского говора на северо-запад, запад и юг – представляется крайне гадательным уже вследствие того, что нам пока ещё не известен конкретный облик московского говора хотя бы XVII столетия, не говоря уже о XVI и говоре более ранней поры. Книга, в которой достаточно полно и достаточно доказательно он был бы описан, пока ещё не написана. Заметим: и здесь лингвистические процессы – распространение московских особенностей – не выявляются исследованием, а, как видно, просто намечаются в параллель известным историческим событиям. Происходит присоединение к Москве

Твери, Новгорода и Пскова – московские особенности продвигаются на северо-запад, присоединение Можайска, Смоленска и Брянска, а также Новгород-Северской области повлекло распространение их на запад и в юго-западном направлении, а присоединение рязанских мест и ближней южной степной территории – распространение на юг. Возможно, было и так, однако в лингвистическом аспекте изложенная схема распространения московских особенностей на периферию никем не обоснована.

Нет более или менее определённых данных и для освещения третьего вопроса – формирования языка великорусской народности.

Указывая на эти обстоятельства, мы вовсе не склонны полагать, что вообще упомянутых вопросов не следует касаться. Знакомить студентов с ними, безусловно, необходимо, однако лишь конспективно и в порядке постановки проблем, а не их решения: современная история русского языка ещё не имеет обстоятельных данных для должного их освещения, а значит, и для выделения их в особый, ведущий раздел программы. Нельзя ставить преподавателя вуза в ложное положение и выдавать за положительные знания зыбкие концепции.

Итак, изложенные в рассматриваемой статье теоретические основания представляются сомнительными, а следующие из них методические предложения практически нерациональными. Проблемы истории русского языка и преподавание соответствующего курса нуждаются в обстоятельном обсуждении.

### 13. Несколько замечаний о Русской грамматике Лудольфа // Источники по истории русского языка. – М., 1976. – С. 104-109.

«Мы не обладаем достаточными историческими материалами для суждения об обстоятельствах появления на свет Грамматики Лудольфа», – сетовал С. П. Обнорский в статье, посвящённой этой грамматике, как известно, изданной на латинском языке в Оксфорде в 1696 г. Далее отмечалось: «Кое-какая литература по вопросу имеется, но она вообще и незначительна, и фрагментарна, и поэтому скудно освещает нас сведениями по данному вопросу» [Обнорский 1960: 145]. Тем большее значение приобретают данные, проливающие свет на эту проблему, извлекаемые из самой грамматики.

Обратимся к употреблению в ней букв ъ и ь. Осуществивший переиздание Грамматики с переводом её на русский язык Б. А. Ларин писал: «Мягкость конечных согласных обычно не обозначена Лудольфом, но это стоит в связи с отсутствием регулярного обозначения её в письме и печати московских книг и рукописей того времени. Окончание инфинитива, напр., как правило писалось и печаталось тогда выносной буквой *t* без ерика, а ок. 3 л. ед. ч. наст. врем. с тою же выносной [надстрочной] без ера. Лудольф все инфинитивы пишет с окончанием *тѣ*. Он пишет и *лошадѣ* [89] и *лошадѣ* [45]. Рядом с *барсѣ* в словаре читаем *рысь* [89], как рядом с *лошадѣ* – *быкъ* [89]. Это внесено, я думаю, при печатании книги» [Лудольф 1937: 30]. В отличие от автора переиздания, который полагал, что это не снижает ценности грамматики, поскольку никого не вводит в заблуждение [там же], С. П. Обнорский высказывался так: «Анализ грамматики Лудольфа в известной части затрудняется и недостатками издания: в нём очень много опечаток или иных черт своеобразной непоследовательной передачи системы русской графики. Так, напр., *ь* в середине слов (между согласными) не пишется; на конце слов вместо *ь* очень часто пишется *ѣ* (между прочим, постоянно в формах инфинитива)» [Обнорский 1960: 148].

В первом случае речь идёт о написаниях вроде *болшои* [48], *горко* [52], *санми* [55] и т. п. Заметим: отсутствие буквы *ь* в указанных положениях – это не непоследовательность, а напротив, известная норма в передаче графики того времени, однако, графики не всей (с уставом и полууставом), а именно скорописной – в русской скорописи той поры согласная буква перед согласной обыкновенно писалась как выносная, а буква *ь* за ней опускалась. Кстати, эта особенность может указывать на то, что соответственные элементы текста в оригинале грамматики Лудольфа были написаны скорописью. В грамматике в

середине слова буквенный знак мягкости сохраняется только в случаях, когда он вместе с тем является и знаком отделительным: *целом бью* [53], *бьетъ целомъ* [56]; несомненно его наличие и за такими опечатками: *сембю* [49] вм. *семью*; *семв#* [55] вм. *сечь#*.

Что касается употребления буквы ъ в конце инфинитива и в 3 л. ед. и мн. числа, то объяснение её появления в том и другом положении, предложенное Б. А. Лариным, представляется правдоподобным. Видимо, тем же объясняется передача имён числительных вроде п#тъ [82], одиннацеть [82], двацать [82] и т. п. с конечным ъ, а не ь, а также части имён существительных дождь [83], мѣдь [85], окинь [88], соболю [89] и др. Наоборот, конечный ь взамен бесспорного ъ отмечен только в двух случаях: изъ вбѣдны [68], быкъ [89]. Выходит, написание ъ взамен конечного ь во всех указанных группах слов – едва ли не общее правило, скорее проведенное Лудольфом, нежели явившееся отражением графической недифференцированности ъ и ь, нередкой в русской скорописи XVII в.

Такое соотношение неправильных написаний, с одной стороны, буквы ъ, с другой – буквы ь едва ли можно объяснить тем, что оксфордские наборщики плохо разбирались в русских буквах оригинала. Плохая ориентация в русской скорописи, при формальном воспроизведении русской графики, скорее провоцировала бы их делать больше отклонений от правильного написания ъ и несколько меньше отклонений от правильного написания ь или, иначе говоря, отражать в печатной грамматике то состояние графической сбивчивости, свойственной данным буквам, которое было в русской скорописи конца XVII в. А о том, что эта сбивчивость в оригинале грамматики Лудольфа оставила определённый след, можно, например, судить по некоторым опечаткам. Имеем в виду приведённые выше опечатки *сембю* [49] *семв#* [55]. Происхождение последних, полагаем, следующее: начертания ь в оригинале грамматики были неодинаковы – одно напоминало букву *б*, другое – букву *в*. Указанные графические ассоциации в русской скорописи того времени были вероятны.

Возвращаясь к фактам неправильного употребления ъ и ь в грамматике Лудольфа, следует заметить, что объяснять их недостаточным различием при наборе печатных ъ и ь также нет никаких оснований, поскольку графически эти буквы четко различались [Лудольф 1937, ротокопия: 10].

В грамматике встречаются написания слов и с правильным конечным ь. Их присутствие в книге Лудольфа, на фоне многих написаний ъ взамен конечного ь, также получает объяснение. Обратимся прежде всего к словам, писавшимся сокращенно. «Русские, – сообщает



Лудольф, – постоянно пользуются в рукописях и в печати сокращениями» и приводит среди наиболее употребительных сокращений такие: гѣдь, гѣдрь, днь, мѣрость, млть, учтль, црь, чсть [Лудольф 1937: 118-119]. Лудольф воспринял их в том виде, в каком они употреблялись в уставных и полууставных рукописях и на страницах печатных книг. Некоторое количество слов с правильным конечным ь встречаем в цитатах из церковных книг. Этот факт находит объяснение в том, что в подобного рода текстах – уставных и полууставных, а также и печатных – обозначение мягкости согласных посредством буквы ь было общим правилом. Составляя свою грамматику, Лудольф исходил из представления, что в России принято говорить по-русски, а писать по-славянски [там же: 114]. Этот лингвистический дуализм и получил отражение в его грамматике. Наряду с лексическими элементами русской народной речи в ней отложились и буквальными в прямом значении этого слова заимствования из церковнославянских источников, в том числе и некая доля слов с правильным конечным ь. Так, в грамматике находим сравнение славянизмов *есень, ночь и немощь* с русскими соответствиями *осень, ночь и немочь* [4-5]. Первые восприняты с конечным ь из церковнославянской письменности, а в соответствии с ними и русские слова приведены с конечным ь. В цитатах из церковнославянских текстов: сына своего едиnorodнаго даль есть [72], должность хрѣсти#нскую справл#ють [76], челоувѣкъ любить... власть, честь [78], розумѣти станит счастливость [80]. Естественно правильное употребление конечных букв ъ и ь в парадигмах именного склонения, приведённых, видимо, по образцу парадигм в грамматиках, принятых в России. Однако в парадигмах спряжения 2 л<ицо> ед. числа оформляется посредством ъ, а не буквы ь; с той же графической приметой выступает, как говорилось выше, и инфинитив.

С одной стороны, как мы видели, слова с правильным конечным ь восходят к церковнославянским источникам, с другой – связаны с воспроизведением примеров русской народной речи. В её диалогических образцах читаем: кормиль ты лошадь [54], выпр#ги лошадь [55], вседлаи лошадь [55], где лѣсовъ много тамъ огонь мало стоитъ [62], в дригои день [62]. Не означают ли факты второго рода, что в записывании или корректировании вошедших в книгу Лудольфа образцов живой разговорной речи принимали участие русские люди? Предположение это не лишено оснований. Ведь автор грамматики, как пишет Б. А. Ларин, – «не всегда улавливает [и обозначает] различия палатализованных согласных от твердых – на конце слова» [там же: 29].

«Как правило, – замечает Б. А. Ларин, – Лудольф прекрасно различает русские глухие и звонкие (в фонетических транскрипциях

нет ни одной неточности), но там, где внимание было отвлечено от фонетики, он мог допустить оплошность. Надо сказать, что таких его промахов удивительно мало» – и среди фактов подобного рода приводит далее следующие: – та (*вм. да*) [68], хос#инь [48], трахва (*вм. драхва*) [89], барень (*вм. парень*) [50] [там же: 29-30]. Исследуя русские старинные грамотки, т. е. частные письма, мы обнаружили в них следы такого любопытного явления, как глухость согласных вместо звонкости и, реже, наоборот, выступавшие вне условий ассимилятивного оглушения или озвончения [Переп.частн.лиц 1964: 9], причём явление это отражается в текстах и северновеликорусской и южновеликорусской приуроченности. Выходит, в фактах, отмеченных Б. А. Лариным, позволительно усматривать и не промахи, а возможные, факультативные детали устной русской речи и, значит, равно вероятную принадлежность подобных записей как автору грамматики, так и носителям русского языка.

Запечатлённое в грамматике Лудольфа состояние безударного вокализма С. П. Обнорский характеризует как «оканье и лишь вкрапление элементов аканья» [Обнорский 1960: 159]. Однако обнаружить оканье под покровом «окающей» орфографии, полагаем, невозможно. Далее, как показало изучение московских текстов XVII в., аналогично, т. е. вкраплениями, проявлялось аканье под пером таких носителей русского языка, сомневаться в акающей произносительной норме которых не приходится [см.: Котков 1974: 51-102].

Словом, представленные в грамматике приметы безударного вокализма могли иметь своей «подосновой» общемосковское аканье. Усматриваемая С. П. Обнорским в этом вокализме «диалектная дифференциация» [Обнорский 1960: 159], можно сказать, мнимая.

Рассмотрение некоторых деталей грамматики на фоне современной ей широкой русской письменности в известной мере подкрепляет мнение о значительной ценности этой книги для изучения истории русского языка.

#### 14. Деловая письменность и литературный язык // Русская речь, 1980. – № 5. – С. 105-112.

Ведущая роль советской русистики в развитии науки о русском языке в мире неоспорима. Многие зарубежные учёные, наряду с советскими коллегами, плодотворно исследуют проблемы обширного русского языкознания, уделяя, естественно, внимание и особенно сложным, нерешённым вопросам истории языка. Международное сотрудничество во имя науки, свободное от всяких предвзятых мнений, приносит несомненную пользу. К сожалению, в отдельных странах иногда появляются исследования, в которых объективный анализ уступает место суждениям, навеянными определёнными предубеждениями. В подобных сочинениях так или иначе принижается роль и древнерусской и великорусской языковой культуры, тенденциозно интерпретируются исторические взаимодействия между языками восточных славян. Проводится, скажем, такая мысль, что литературный язык восточных славян сложился лишь на основе воспринятого ими от болгар вместе с церковными книгами старославянского языка, без участия их родного, древнерусского языка. Выходит, в раннеписьменную эпоху собственных возможностей и средств формирования литературного языка у восточных славян не было. Признавая большое общекультурное и лингвистическое значение усвоения нашими предками старославянского языка, мы вместе с тем усматриваем в истоках их литературного языка и древнерусское начало. Ведь даже самое «приживание» старославянского языка к восточнославянской почве было обеспечено прежде всего значительной общностью его не только в лексическом, но и в фонетическом и морфологическом отношении с языком восточных славян. Больше того, под влиянием восточнославянской речевой культуры заимствованный старославянский язык претерпел некоторые изменения и превратился в несколько иной язык – язык церковнославянский. В прошлом известное преувеличение роли старославянского языка в развитии русского литературного языка допускали и некоторые наши учёные, но это было связано не с каким-либо предубеждением, а с меньшей изученностью в тот период древнерусской письменности и слабой осведомлённостью в деловой письменности более позднего времени. Развитие отечественной русистики доказывает неправоту подобных взглядов.

Таким образом, при выяснении процесса образования литературного языка восточных славян, соотношения в нём старославянских и древнерусских элементов необходимо обстоятельное исследование той исторической общности старославянского и древнерусского язы-

ков, которая существенно благоприятствовала усвоению элементов первого восточнославянской средой. Необходимо и более глубокое изучение древнерусских элементов. Одна лишь количественная оценка, например, слов-древнерусизмов, мерцавших отдельными вкраплениями в церковнославянских рукописях, которой обычно и ограничиваются, недостаточна для правильного определения удельного веса древнерусской лексики в формировании литературного языка восточных славян. Церковнославянские рукописи в своём подавляющем большинстве были каноническими, то есть такими непререкаемыми текстами, как, например, евангелия. Списывали их обыкновенно побуквенно и довольно тщательно. И если, тем не менее, в списки пробивались древнерусизмы, то это безусловно означало, что влияние их в речевой культуре было неизмеримо большим, нежели то, которое рисуется их отражениями в текстах. Значение этого явления с точки зрения выяснения реального положения в литературном языке куда больше, нежели их одно количественное значение. С этим нельзя не считаться. Следует также принимать во внимание и общественную значимость древнерусизмов, «прикреплённость» их к определённым сферам бытия, и характер церковнославянских контекстов, в которые они «вторгались», не говоря уже о характере тех церковнославянских слов, которые им уступали место.

Недостаточная осведомлённость исследователей в обширных публикациях деловой письменности XVI–XVIII веков и особенно в безбрежном скорописном наследии привела, вместе с другими причинами, к непомерному преувеличению в русской действительности начальной поры национального развития роли церковнославянской письменности. Применительно к тому времени лингвистическое состояние на Руси иногда характеризуют как двуязычие. Огрублённо это выглядит так: устное общение было русским, а письменное – церковнославянским. Подобное представление о нашей письменности данной эпохи несостоятельно. Буквально необозримая деловая письменность убедительно свидетельствует о существовании в то время развитого письменного языка, сложившегося на собственно русской основе, показывая, насколько разносторонним, широким в жанровом отношении (от сводок зарубежных известий до бытовых, интимных грамоток-писем) являлось его функционирование в жизни русского общества. Этот письменный язык вполне определённо заявлял о себе в основных государственных законах, именуемых судебниками и уложениями, а также в летописной традиции, в тысячах книг делового содержания – писцовых, разрядных, межевых и отказных, вкладных, таможенных и городского дела, всевозможных приходных и расходных, сельскохо-

зайственных и иных, в так называемых десятнях; в неисчислимой массе представленной в столбцах государственной и частно-правовой документации – в расспросных речах и челобитных, отписках, памятях и доездах, поручных записях и явках, в ценовных, купчих и меновных, в кабальных записях и сказках. Он выразительно представлен в так называемых хождениях, статейных списках и вестях-курантах, лечебниках, заметно сказывается в «Домострое» и составляет безусловную основу таких художественных произведений, как сатирические повести и сочинения протопопа Аввакума. Наконец, бесспорно его присутствие в печатных книгах нецерковного характера. Наглядное представление о письменном языке, сложившемся на собственно русской основе, дают подготовленные в Институте русского языка АН СССР издания памятников: С. И. Котков, Н. П. Панкратова. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII – начала XVIII века. М., 1964; Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из фонда А. И. Безобразова), М., 1965; Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968; Грамотки XVII – начала XVIII века. М., 1969; Вести-Куранты 1600–1639 гг. М., 1972; Вести-Куранты 1642–1644 гг. М., 1976; Вести-Куранты 1645–1646, 1648 гг. М., 1980; Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. М., 1977; Памятники русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край. М., 1978. Издание этих памятников осуществил коллектив сотрудников Института русского языка АН СССР в составе: В. Г. Демьянов, С. И. Котков, Н. С. Коткова, А. С. Орешников, Н. П. Панкратова, А. И. Сумкина, Н. И. Тарабасова, И. С. Филиппова. Письменный язык русской формации полностью обслуживал в это время огромную и сложную систему центрального и местного управления, сельскохозяйственного, ремесленного и зарождавшегося промышленного производства, обширной торговли и таможенной службы, военной организации государства, его дипломатических отношений, повседневное эпистолярное общение и значительную сферу внецерковной духовной жизни общества. В нём выражалась многообразная деятельность и центральных приказных учреждений, и уездных приказных изб, позднее – сената и коллегий, воеводских, провинциальных и губернских канцелярий, а кроме того монастырских и всякого рода других канцелярий.

На долю церковнославянского языка, точнее – церковнославянской письменности, в национальный период оставалось обслуживание религиозного культа, применение в виршевой поэзии, выполнение некоторых стилистических функций в светской художественной литературе, орнаментация отдельных (торжественных) документов,

этикетное украшение зачинов и концовок в частной переписке. Разве этого достаточно, чтобы лингвистическую культуру русских в национальный период её развития характеризовать как двуязычие? Сферы устного и письменного применения русского и церковнославянского языков были несоизмеримы. В действительности господствовало русское моновязычие при коммуникативно весьма ограниченном (в основном рамками религиозного культа) церковнославянском иноязычии. Однако церковнославянские элементы сравнительно свободно применялись в литературной форме русского языка для выражения тех или иных стилистических оттенков. Как видим, основательные предпосылки для определённого разграничения русской и церковнославянской стихий вызревали задолго до Ломоносова. Ломоносов осуществил это разграничение в учении о трёх стилях. Согласно этому учению, простой, или низкий, стиль составляла живая разговорная речь, а средний от высокого отличался меньшим употреблением элементов церковнославянского языка.

Говоря о русском моновязычии, мы имеем в виду не абсолютно свободный от иноязычных включений русский язык, а содержащий и эти включения, в том числе и церковнославянские, но в качестве органически усвоенных, ставших у русских вполне своими. Органическое усвоение иноязычных элементов наблюдается во всех языках, но лишь иногда в условиях подавляющего этнического, социально-экономического и культурного преобладания иноязычной среды приводит к известному изменению строя, вбирающего эти элементы языка. И если никто не сомневается в том, что, скажем, английский или немецкий, или французский языки, усвоив некоторые иноязычные элементы, не перестали быть таковыми, то вряд ли можно сомневаться в том, что русский после усвоения элементов некоторых других языков, в том числе и церковнославянского, не перестал быть русским языком. И тем не менее в зарубежных исследованиях историю нашего литературного языка иногда, в русле тенденциозных воззрений, сводят к истории церковнославянского, а литературную роль древнерусского и позднее русского (великорусского) языка считают второстепенной. На VI Международном съезде славистов (1968 г.) прозвучало, например, такое высказывание: «В своей основе словарный состав современного русского литературного языка продолжает оставаться церковнославянским, и не только оставаться, но и развиваться и обогащаться при помощи церковнославянского словообразования». Это высказывание Б. О. Унбегауна подверг уничтожающей критике В. В. Виноградов [Виноградов 1978: 241-242]. К сожалению в отечественной русистике те аспекты истории языка, в процессе разработки которых вскрывалась

бы (как, например, в статьях и книгах Ф. П. Филина и некоторых других учёных) несостоятельность подобного рода мнений, освещаются недостаточно или не затрагиваются вовсе. Особенно важным представляется исследование в указанном аспекте обширных материалов деловой письменности XVI–XVIII веков, прежде всего неопубликованных, поскольку огромное скорописное наследие этих веков не изучено, а в изданиях скорописные тексты воспроизводились обыкновенно упрощённо.

Большую роль деловой письменности в формировании литературного языка в начальный период образования нации подчёркивал В. В. Виноградов: «Московский деловой язык XV–XVI вв., вбирая в себя элементы говора Москвы и диалектов окружающей его этнографической среды, получает известную литературную обработку и нормализацию. Сложившись по преимуществу на материале юридических актов и договоров, он начинается, особенно в XVI в., употребляться значительно шире. На нём пишутся руководства по ведению хозяйства, повествовательные, исторические и географические сочинения, мемуары, лечебники, поваренные книги и другие произведения. Расширение литературных функций письменно-делового языка всё больше содействует превращению его в своеобразный стиль литературной речи и тем самым содействует “национализации” русского литературного языка, во всяком случае образованию общенациональных грамматических, а отчасти и звуковых произносительных норм». И далее: «Деловой язык Москвы, унаследовавший древнерусские традиции, а также испытавший влияние со стороны соответствующих жанров новгородской письменности, к концу XVI в. стал общим для всего обширного русского государства. Именно в нём складываются существенные элементы будущей грамматической, а отчасти и лексической системы русского национального литературного языка» [там же: 187]. Введённые в научный оборот за последние два десятилетия новые памятники деловой письменности XV–XVII веков (московские и периферийные акты, вести-куранты, Дневник участника русского посольства в страны Западной Европы в конце XVII в. и др.) ещё раз убедительно подтверждают: роль развитой деловой письменности в формировании литературного языка в начальный период становления нации была определяющей. Признанию этого важного обстоятельства и поныне мешает довольно распространённое и ещё не преодолённое в нашей науке и особенно в зарубежной филологии понимание русской деловой письменности данного и более раннего времени как полностью внелитературной. Такая трактовка деловой письменности вытекает из отождест-

вления литературного языка, с одной стороны, с церковнославянским, а с другой – с языком художественной литературы.

Литературный язык – это язык с общественно признанной и письменно закреплённой в качестве образцовой нормы традицией. В современном литературном языке образцовая норма кодифицирована – формально узаконена в грамматике, словарях, правописных и орфоэпических правилах, а в прошлом, вплоть до Ломоносова, она формально не узаконивалась и определялась в общем практически – устойчивостью употребления, являлась узуальной (от *usus* – ‘то, что принято, что стало обычным; обычай, обыкновение’, ср. лат. *usus* ‘употребление, обыкновение’). С узуальной нормой имели дело и многочисленные периферийные писцы, и служители московских приказов, а при издании нецерковных книг и справщики Московского печатного двора. Органически сложившаяся на русской почве узуальная нормативность деловой (скорописной) письменности, естественно, расходилась с нормативностью произведений церковнославянской книжности (в большинстве своём канонических), которая в значительной степени обеспечивалась и постоянством текстов, и более строгим, чем скорописное, уставным и полууставным письмом.

Узуальная норма была влиятельной. На неё ориентировалась огромная деловая письменность (центральная – в общем последовательно, периферийная – менее последовательно). Судить о литературности текстов времени распространения старинной скорописи (XV–XVII вв., да, пожалуй, и ранее), не считаясь с нормой, невозможно. В начальный период национального развития она складывалась в основном в деловой письменности, частью – в художественной литературе, минимально – в церковнославянской книжности. Главенствующая роль деловой письменности в этом процессе объяснялась тем, что формирование русской национальной общности, определявшее развитие языка, происходило в наиболее важной сфере разносторонних деловых отношений. Этот сложный нормативный процесс правомерно рассматривать в свете следующего положения В. И. Ленина: «...для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе» [Ленин, т. 25: 258]. Большое государственное значение развитой московской письменности обеспечивало авторитет формировавшейся в ней узуальной нормы. Равнение местных грамотеев на образцы московского делопроизводства прослеживается в их писцовой практике вполне определённо. Этому во многом способствовало такое общее



правило: многочисленные отписки местных властей о выполнении московских указов писцам полагалось начинать с точного воспроизведения этих указов.

Подчёркивая значение деловой письменности в формировании русского литературного языка, надо, однако, отметить, что не все деловые тексты являлись литературными. С существенными отступлениями от литературных норм, за исключением, видимо, заученных, этикетных зачинов и концовок, писались обычно грамотки-письма, в особенности близким друзьям и родственникам. С нарушением литературных норм излагались неопытными писцами, главным образом местными, челобитные, сказки, поручные записи, явки и другие деловые бумаги. В зависимости от того, какими писцами, искусными и не искусными, писаны тексты делового содержания, и в зависимости от жанра этих текстов они могут представлять собой и памятники литературного языка, и памятники народно-разговорной и даже диалектной речи. Раздельное рассмотрение и затем сопоставление этих составов памятников позволяет выявить, с одной стороны, облик народно-разговорной речи, а с другой – литературного языка XVI–XVII веков. Сопоставление же всей деловой письменности и церковнославянского наследия, с отдельным учётом художественных текстов, позволяет выяснить действительное место и значение в ту историческую эпоху в русском лингвистическом обиходе церковнославянского элемента.

Одним из основных условий плодотворного изучения истории языка в связи с историей общества является исследование старинных текстов с учётом, хотя бы и в ограниченных пределах, общественного положения, быта, речевого и правописного уклада создателей этих текстов – писцов, авторов, правщиков, то есть представителей общества, которые имели к данным текстам самое непосредственное отношение. Оптимальные возможности такого изучения заключаются, естественно, в рукописях, культура чтения и интерпретация которых в науке о русском языке ещё не получила должного распространения. Осуществляемые в настоящее время лингвистические издания старинных текстов расширяют возможности подобного изучения, однако не могут заменить рукописей в полной мере. Вообще успешное продвижение в области истории русского языка в значительной степени зависит от расширения аспектов исследования в направлении от замкнутого лингвистического к более широкому – филологическому, с учётом особого состава и характера письменных источников, а главное, того обстоятельства, что многое в истории языка в конечном счёте обуславливалось внелингвистическими факторами – изменениями в жизни общества. Не случайно структуралистская теория, одно время запо-

нившая изучение современного русского языка по кодифицированным текстам, оказалась совершенно бессильной проникнуть в его историю. Разработка истории русского языка в более широком, филологическом плане предполагает, во-первых, органическую связь глубоких лингвистических исследований с изучением истории народа, его материальной и духовной культуры, во-вторых, непременно углубление источниковедческих разысканий. Между прочим, только специальный, источниковедческий анализ позволяет в массе разнообразных источников выявлять в качестве однородных те или иные лингвистические данные, воплощённые в письме неодинаково – в виде прямых или косвенных отражений (например, аканья, фрикативного *з* и т. д.), которые (данные) вследствие однородности можно подвергнуть статистической обработке. Любые попытки применения последней без предварительного тщательного выяснения однородности обрабатываемых данных не могут дать объективных результатов.

Расширение исследований в филологическом направлении предполагает вторжение в область стилистики, если не всего русского языка, что при недостаточной изученности памятников ныне едва ли осуществимо, то, по крайней мере, литературного или, во всяком случае, языка художественной литературы. Пока исследование стилистических явлений в истории русского литературного языка находится в начальном состоянии. Во многих работах по стилистике современного русского литературного языка не слышно даже отголосков былых стилистических отношений, а лишённая исторических корней стилистика мало что объясняет. Настало время начать разработку исторической стилистики литературного языка.

## 15. Памятники русской письменности и историческая диалектография // Вопросы языкознания. – 1975. – № 2. – С. 12-21.

Обследование говоров русского языка, особенно в плане лингвистической географии, в течение последних трёх десятилетий получило широкое развитие. Собраны обширные материалы для «Атласа русских народных говоров», составлены серии диалектологических карт. Однако этот огромный труд научной общественности России ещё далеко не завершён: издан всего один том «Атласа», материалы многих карт нуждаются в обобщении и интерпретации, а некоторые итоги картографирования, например, средневеликорусских говоров, представляются небесспорными. Необходимость проверки показаний современных говоров как вполне действительных для определённых исторических периодов настоятельно побуждает к интенсивной разработке исторической диалектологии на материале памятники письменности. Изучение рукописного наследия, в особенности из южновеликорусской области, историко-лингвистическое исследование которой только началось, убедительно показывает, насколько рискованно судить о былом лингвистическом состоянии по современным данным.

Отметим несколько таких суждений, оказавшихся в свете новых данных старой русской письменности либо спорными, либо несостоятельными.

Обыкновенно полагали: отличная от *e* фонема *ě* в пределах южновеликорусской области исконно совпадала с *e*. Факты южновеликорусской письменности XVII в. свидетельствуют об ином: и Югу в то время было свойственно отличное от *e* произношение *ě* [Котков 1963: 5-52.; Сидоров 1969: 24-26].

Вследствие некритического распространения на московский говор такой особенности средневеликорусского вокализма, как еканье, появление иканья в Москве считали довольно поздним, относили к XVIII и началу XIX в. Между тем его следы определённо документированы в московских текстах XVII и даже XVI в. [Котков 1974: 92-97; Васеко 1973: 19 – автор отмечает в исследованных памятниках «смешение» *ѣ* и *e* с *и*].

Знакомое южновеликорусской среде произношение сочетания *чи* как *ши* иногда объясняют сравнительно недавним влиянием московского говора. Однако в южновеликорусских памятниках XVII в. явление это представлено как свойственное и Югу [Котков 1963: 136-139].

Произношение окончания род. ед. имён прилагательных и местоимений с *в* (*светлово* и т. п.) исторически связывают только с Севером. Тексты XVII в., бесспорно локального происхождения, фиксиру-

ют подобное произношение и в южновеликорусской области [там же: 188-196].

Конструкцию типа *земля пахать*, известную ныне только Северу, и в историческом плане признают лишь северновеликорусской. По данным памятников XVII в. южновеликорусского происхождения она представляется органической в прошлом и для Юга [Котков 1959: 1].

Весьма существенны поправки, которые вносят показания памятников в историческую географию слов, намечаемую некоторыми исследователями по данным современных говоров. Например, слова *изба – хата, волк – бирюк, конь – лошадь, лонской – прошлогодний* и др. диалектологи рассматривают как северно- и южновеликорусские противопоставления, притом не только современные, но и исторические. Принимаемые в качестве исторических, в свете данных старой письменности они оказываются несостоятельными [Котков 1962: 41-46]. Примеры подобных расхождений между состоянием в наше время и в более или менее отдалённом прошлом можно было бы умножить.

Особенно чувствительны различия между современными и историческими данными в южновеликорусской области, где изменения в составе и размещении населения и в строе народных говоров за последние три-четыре столетия происходили интенсивнее, чем в северновеликорусской.

Становится ясным, что на базе одних современных говоров создавать историческую диалектологию русского языка невозможно. Невозможно, следовательно, развивать и такую важную область последней, как историческая диалектография. Если в общем в диалектологии наблюдаются робкие попытки привлечения показаний памятников, то в русской диалектографии к историческим свидетельствам не прибегают. Можно назвать лишь единичные опыты составления лексических карт с учётом и современных данных и данных старой письменности. Это – карты по Архангельской области [см.: Дерягин 1968; Дерягин, Комягина 1968; Дерягин, Комягина 1972]. Таких карт до двух десятков. В них обрисована география названий участков сенокоса и поля, названий огорода у дома, изгороди из жердей и некот. др. Выбор территории для картографирования оказался на редкость удачным: во-первых, архангельские говоры за последние три-четыре столетия эволюционировали гораздо медленнее, нежели многие другие; во-вторых, архангельская территория представлена значительным количеством текстов XVI–XVII вв., отразивших черты локальной речи. Естественно, эти обстоятельства благоприятствовали сопоставлению современных и исторических фактов. Было установлено, что определённые лексические элементы бытовали в названных пределах не менее трёх-

четырёх столетий. Указанный результат, однако, не единственный: «...в ряде случаев, сопоставляя современные и исторические данные, мы обнаруживаем и движение лексических изоглосс» [Дерягин 1973: 143]. В другой работе встречаем опыт картографирования исключительно по материалам старой письменности – показано распространение в центральной России названий *плуг* и *соха* [Коткова 1971: 207].

Упомянутые опыты свидетельствуют о том, что создание русской диалектографии, основанной на показаниях памятников, – задача вполне реальная. Предмет её можно определить как исследование былого состояния языка в лингвогеографическом аспекте, а метод – как извлечение из памятников и затем картографирование лингвистических данных, генетически связанных с речевой культурой, свойственной определённой местности, и относимых в общем к одному времени. Развитие исторической диалектографии может существенно продвинуть познание абсолютной хронологии некоторых явлений русского языка, а вместе с тем и их исторической географии.

Возможность диалектографического изучения русского языка в намеченном плане ограничена той эпохой его существования, которая оставила нам в наследство письменные материалы, отражающие в той или иной степени явления живой локальной речи. Рукописные материалы подобного рода в достаточном объёме сохранились с XVII в. и представляют национальный период развития русского языка. Материалы XV–XVI вв. не столь многочисленны и менее разнообразны, а нередко и не столь определённые с точки зрения диалектной принадлежности. В принципе возможно картографирование данных, извлечённых из древних грамот и летописей, а также церковнославянских текстов, но оно связано с особыми трудностями, поскольку во многих случаях мы имеем дело со списками, в большинстве своём не датированными. Необходима разработка методов соотнесения данных этой письменности с определёнными территориями.

Естественно, факты для картографирования могут заимствоваться лишь из текстов, которые вышли из-под пера носителей местных говоров или, в отдельных случаях, из-под пера носителей литературного языка, почему-либо воссоздававших диалектный колорит. О принадлежности писцов к локальной среде свидетельствуют и наименования их по происхождению из данной местности (*курченин*, *ворожеец* и т. д.) и проявления в их письме примет локальной речи. Степень проявления этих примет, даже в однородных текстах в черте одного диалекта, в зависимости от выучки писцов может быть различной – от высокой до еле заметной. Поэтому при прочих равных условиях в

поисках фактов для картографирования следует ориентироваться прежде всего на тексты менее грамотные.

Рассмотрим письменные источники, которые могут быть использованы в плане исторической диалектографии. Все они, за малыми исключениями, – из круга текстов делового содержания и представляют собой рукописные книги (иногда – тетради) либо столбцы. В значительной части это акты материалы и, следовательно, датированные и локализованные, а в некоторых группах текстов указываются также их писцы. Наличие в том или ином источнике необходимых для картографирования фактов определяется в основном его содержанием и характером изложения последнего.

Обозрение интересующих нас источников начнём с оптимальных – таких, в которых точно указано, где и когда они написаны, а на местное происхождение писцов указывают следы их диалектной речи и их самоназвания: (писал) *курченин*, (писал) *воронежец* и т. п.

В данной группе источников особенно выделяются отказные книги, к сожалению, историками не изученные, а лингвистам и вовсе неизвестные. Кроме отмеченных выше признаков, оптимальность этих рукописей заключается и в том, что они представляют едва ли не все южновеликорусские и северновеликорусские территории, охватывая XVII столетие, и достаточно обширны – во многих книгах насчитывается по несколько сот листов, иногда до тысячи и более. Отказными книги именуются потому, что состоят из так называемых «отказов» – особого рода поземельных актов. Обычная схема их такова: в начальных строках сообщается, на основании каких распоряжений (по государственной грамоте и воеводскому наказу), иногда – и по чьему челобитью, должен быть произведён «отказ», или, иначе говоря, отвод, выделение поместных угодий в оклад военнотруженику человеку; затем называется лицо, посылаемое местными властями в уезд с поручением произвести выделение этих угодий; в уезде посланный проводит «обыск», т. е. обследование угодий, о которых идёт речь, а потом их «отказывает» – отводит тому, кому они предназначены. Всё это происходит при участии свидетелей, «тутошних и сторонних людей». Несмотря на более или менее однородный словарь отказных актов и наличие в них заметной доли оборотов приказного языка, в книгах встречаются лексические диалектизмы, а явления местной фонетики и морфологии проступают в этих источниках относительно свободно и широко [подробнее об отказах см.: Котков 1969].

В подобных тематически однородных текстах выступают, к примеру, такие однозначные в смысловом отношении лексические варианты, как *сеножать* и *сенной покос*, *усад*, *усада* и *усадье*, *коло-*

*дезь, речка* и др. Вероятно, в той или иной степени они территориально разграничены. По отказным текстам возможно установить и географию отдельных фонетических явлений, скажем, область распространения *в* билабиального и, напротив, его отсутствия; места неорганического смягчения *к* (*Ванькя* и т. п.) и территорию, где оно не наблюдалось.

Как писанные местными писцами, датированные и локализованные, к оптимальным диалектографическим источникам относятся и сказки, которые дошли до наших дней, к сожалению, в ограниченном количестве фондов и отражают былое состояние языка не в пределах целостных территорий, а в отдельных разрозненных местах и пунктах. Поэтому материалы сказок, в отличие от материалов отказов, не образуют изоглосс и могут быть результативно картографированы лишь в ряду с однородными материалами, извлечёнными из иных оптимальных источников. Сказки представляют собой «показания несудебного характера» [Источниковедение 1973: 97]. Одни из тех, что «сказывали», писали сказки сами, за других, людей неграмотных, писали их родственники и знакомые или грамотеи «со стороны», которые оказывались под рукой. Сказки обыкновенно невелики по объёму, разнообразны по содержанию.

Отметим далее поручные записи, так же, как отказы и сказки, писанные местными людьми, датированные и локализованные. Они составлялись в тех случаях, когда определённая группа лиц за кого-либо в чём-либо поручалась. Достоинством их является повсеместность, а недостатком – значительная стандартизованность лексического наполнения. Поэтому названные источники, по всей вероятности, могут дать лишь ограниченные сведения по фонетике и незначительные по морфологии. В качестве датированных и писанных носителями местной речи оптимальны ещё служилые кабалы и разного рода памяти, а также купчие, меновные и некоторые другие грамоты, например, так называемые порядные, принадлежащие северодвинским местам. Заметим: указанные источники не образуют обширных серий и с точки зрения территориальной приуроченности, за исключением разве порядных, не представляют компактных зон.

Наиболее внушительную группу источников, которые могут быть пригодны для диалектографических исследований, составляют рукописные тексты, датированные и локализованные, но не включающие сведений о том, кем они написаны. Локальное происхождение этих текстов устанавливается прежде всего по отражению в них фактов и явлений, характерных для говоров данной местности. Принимается также во внимание и установленное в последнее время и нами и

другими исследователями истории русского языка то существенное обстоятельство, что старое периферийное делопроизводство, за вычетом редких случаев, обслуживалось местными писцами. [Котков 1963: 24-27]. Однако это обстоятельство, при всей его значительности, при уяснении локальной принадлежности текста нельзя рассматривать как решающее, потому что опытные периферийные писцы, владея в общем нормами приказной московской письменности, могли и не дублировать в письме особенно яркие черты живой локальной речи. Необходимо помнить и следующее: не зная, кем именно написан текст, мы можем предполагать в писце носителя не только местного, но и иного говора (при изучении оптимальных источников это, в сущности говоря, настолько маловероятно, что практического значения не имеет). И тем не менее повторяем: показания «анонимных» текстов, в особенности многочисленных, для диалектографических исследований могут быть пригодными.

Среди источников этого рода первостепенными следует признать таможенные и другие приходные и расходные книги XVII в., а также книги XVIII в., упоминаемые в научной литературе как книги Камер-коллегии. Изучение рассматриваемых книг и сопоставление данных их языка и соответственных народных говоров убедительно показывает, что писцы их – носители местной речи [исследование материалов названных книг получило отражение в работах автора: Котков 1963, он же 1970; он же 1972; см. также Коткова 1964]. В известной мере непрерывно на протяжении указанного времени эти источники представляют едва ли не всю территорию России. К тому же некоторые из них довольно большого объема: так, книги Камер-коллегии заключают по несколько сот листов, а отдельные – до тысячи. В таможенных книгах мы находим бесчисленные наименования товаров; в зависимости от характера последних и способов их подвоза, а также в связи с их взвешиванием взимались разнообразные пошлины: «с шерсти» (например, при торговле лошадьми), «полозовое», «причал» и «отчал», «всечее» и др. Вследствие этого в тематическом отношении книги неоднородны; кроме того наряду с таможенными сборами местные власти записывали и винную прибыль, и доходы с мельниц и торговых бань. Нередки в данных книгах и записи всевозможных расходов, производившихся местной администрацией на содержание местных учреждений, кабаков и т. п.

Общее содержание книг раскрывают их заглавия, например: «Книги города Ельца сбору таможенного и кабацкого головы ельчанина Зенона Перцова с товарищи кабацкому доходу, медвеной и винной прибыли и таможенных пошлин и от винных суд покотельщины и у



торговой бани банного» – 1629 г. [РГАДА. Ф. 210, Разрядная вязка 1, № 16]; «Книги припойная, винная и явочная, таможенная и пятенная, пошлинная лошадиная в Курске» – 1623–1624 гг. [РГАДА. Ф. 210. Де-нежный стол, кн. 79].

Источники этого круга характеризует обилие предметной лексики, причём значительную часть её составляют названия материалов и припасов, предметов домашнего и хозяйственного обихода, лошадей и их разнообразных примет.

Для эпохи, отделённой от нас тремя-четырьмя столетиями, таможенные книги документируют бытование в русском языке значительного количества слов общенародного употребления. Отмечаются и некоторые слова, функционировавшие в то время как диалектизмы. Например, по данным таможенных книг возможно было бы картографирование локальных метрологических названий. Не исключается и картографирование местной фонетики.

Необозримо количество челобитных, в огромном большинстве писанных носителями местных говоров – писцами-профессионалами и непрофессионалами, о чём говорят нередкие в этих рукописных текстах отражения локальной речи (прямых сведений о писавших в них мы не находим). Вступительные и заключительные части этих старинных текстов настолько приказно регламентированы, что в рассматриваемом аспекте интереса не представляют. Основное же содержание челобитных, обычно нерегламентированное, необыкновенно разнообразно. Разнообразие содержания определяет и их несомненные достоинства с точки зрения исторической диалектографии и их определённые недостатки с той же точки зрения. Поскольку с разнообразием содержания естественным образом связано разнообразие словарного состава челобитных и, в известной мере, грамматического состава, повторяемость в их основной части тех или иных слов значительно меньшая, нежели в таможенных книгах. Поэтому для лексического картографирования по сравнению с таможенными книгами они представляются менее перспективными. Зато лексико-грамматическое разнообразие благоприятствует более полному отражению фонетических явлений в разных позициях и, следовательно, оптимальному их картографированию.

Также датированными и локализованными и не вполне свободными от местной речи, хотя и неизвестно кем написанными, оказываются некоторые воеводские отписки, десятины [см.: Юрасова 1973], ужинные, умолотные и иные сельскохозяйственные книги, а кроме того – грамотки, а порой и расспросные речи.

Для исторической диалектографии в определённой мере можно использовать и тексты, писанные неместными писцами. Таковы прежде всего многочисленные писцовые книги, представляющие огромные территории России и немалый период её истории – с конца XV в. до XVIII столетия. «Из писцовых книг XVII столетия самым значительным комплексом является комплекс книг, сохранившийся от писцового описания 1624–1628 гг. Писцовые книги этого периода охватывают большинство районов Русского государства и насчитывают сотни экземпляров» [Источниковедение 1973: 137]. Составлялись они обыкновенно людьми, присланными из Москвы. Книги включают ценные сведения о разного рода топонимических образованиях. Описывая селения и угодья, их положение и границы, московские писцы вносили в книги соответственные местные названия. Поэтому по данным писцовых книг, воспользовавшись и данными отказных книг, можно было бы, например, очертить распространение в XVII в. локальных названий *яруга*, *струга*, *болонье* и др.

Мы не можем считать обоснованным мнение А. Н. Качалкина, согласно которому «среди деловых документов, составленных на периферии московскими людьми с участием местных жителей, лексически наиболее информативны писцовые книги» [Качалкин 1972: 11]. Во-первых, возможны и иные, не менее «информативные» источники, составленные в периферийных условиях также московскими писцами. Во-вторых, установление степени информативности реально только в тех случаях, если имеется в виду не общее лексическое наполнение источника, а определённые лексические группы. Те же самые писцовые книги могут быть достаточно информативными для познания топонимики и, напротив, бесперспективными для изучения других лексических групп. Представляется необоснованным и то решительное недоверие, которое проявляет А. Н. Качалкин по отношению к письменным памятникам локального происхождения. Противопоставляя им писцовые книги, он пишет следующее: «Что касается памятников собственно местного происхождения, то не приходится возлагать большие надежды на любой из них. Из-под пера местного писца появлялось немало документов чисто канцелярского свойства» [там же]. Прежде всего напомним: документов, лишённых канцелярского свойства, вообще не существует, а если говорить о писцовых книгах, то именно им это свойство присуще в высшей степени. Сам А. Н. Качалкин наиболее разнообразный лексический материал приводит из приходо-расходных книг и иных источников местного происхождения.

Не касаясь иных источников, которые в той или иной степени могут оказаться пригодными для исторического картографирования, заметим, что и упомянутых текстов в рукописных фондах нашей страны хранится великое множество.

Необходимость разработки теоретических основ русской исторической диалектографии определяется тем, что её принципы отличаются от сложившихся в русской диалектологии на базе изучения современных говоров. Исходное различие между диалектографией современных говоров и говоров минувших веков состоит в том, что первая опирается на источники с заданными свойствами, а вторая – на источники объективно сложившиеся [об источниках с заданными свойствами и объективно сложившихся см.: Котков 1964: 8]. Формирующиеся по особой программе источники с заданными свойствами специально приноровлены к картографированию, а объективно сложившиеся не приноровлены. Если в первых лингвистические данные представлены в научной транскрипции и вследствие этого выступают в своих прямых проявлениях, то во вторых эти данные представлены через призму обычного письма, в значительной мере условного, и потому во многих случаях обнаруживают себя неполно и к тому же не всегда прямым, а порою и косвенным образом (ср. так называемые перестраховочные написания). Поэтому, скажем, фонетические явления, которые согласуются с правописанием, картографированы быть не могут. Например, о наличии оканья в пределах той или иной территории можно заключать лишь по отсутствию в этих пределах аканья. Как видим, в исторической диалектографии возможность нанесения изоглосс определяется не только диалектным, но и орфографическим моментом.

Возможность нанесения изоглосс ограничивается и тем обстоятельством, что нормативность слога московских приказов, оказывая влияние на локальную письменность, порою мешала проявлению в ней следов живой локальной речи.

Источники с заданными свойствами в принципе могут представлять всю территорию русских говоров; источники объективно сложившиеся представляют её лишь в той степени, в какой сохранились до нашего времени от былых исторических эпох соотносительные с определёнными территориальными говорами памятники письменности.

Охарактеризованная специфика материалов, на которых может строиться историческая диалектография, в значительной мере осложняет выделение диалектных данных для картографирования. И выделение этих данных, и обоснование их картографирования в исторической диалектографии, в отличие от современной, должны быть

несколько иными. Если в современной диалектографии нанесение тех или иных изоглосс основано на прямой, да ещё транскрибированной, фиксации соответственных диалектных явлений, в исторической диалектографии, ввиду известной недостаточности и особого характера материалов, приходится, кроме того, учитывать и косвенные отражения диалектных явлений, а в отдельных случаях удовлетворяться наличием лишь косвенных. Так, устанавливая территорию аканья, едва ли возможно обойтись без привлечения его косвенных отражений в дополнение к прямым; знакомый многим русским говорам  $\gamma$  средствами обычного письма непосредственно не передавался, а область его распространения обрисовывают исключительно косвенные отражения. [Но и они нуждаются в дополнительной интерпретации. Например, написание вроде *денех* в условиях средневеликорусских говоров указывает лишь на то, что подобный фрикативный звучал в конце слова, в то время как эти говоры вообще обладали взрывным  $z$ ].

Типичными для современной диалектографии являются изоглоссы, знаменующие противопоставленность диалектных черт: оканье – аканье,  $z$  взрывное –  $z$  фрикативное и т. п.; картографирование непротивопоставленных черт также применяется, однако имеет меньшее значение. В исторической диалектографии установление географического распространения непротивопоставленных черт следует признать не менее важным, нежели противопоставленных. Объясняется это рядом причин, и прежде всего тем, что в обычном русском письме далеко не все диалектные противопоставления получают выражение. Например, различие между оканьем и аканьем в памятниках письменности выступает не как противопоставление одной диалектной черты другой, а как наличие одной и отсутствие другой. То же можно сказать, например, и в отношении известных форм им. мн. от имён существительных среднего рода: характерная для Юга флексия *-ы* (*сeлы, бревны* и т. д.), вопреки традиционной орфографии, проявляется в памятниках письменности, а свойственная многим русским говорам старая форма на *-а* (*сeла, бревна* и т. д.), совпадая с орфографической, себя не обнаруживает; и в этом случае позволительно говорить лишь о наличии формы на *-ы* в определённой диалектной области и об отсутствии форм подобного рода в прочих русских говорах.

Непротивопоставленными оказываются и лексические факты локального характера, значения которых недостаточно явственны. Примером может послужить название *оболонье* (знакомое «Слову о полку Игореве» образование *болонь* толкуется двояко: с одной стороны, как ‘низкий заливаемый водой берег реки’, с другой – как ‘свободное пространство перед городскими стенами, оставляемое обычно без

застройки, чтобы оно могло простреливаться с городских стен') [Виноградова 1965: 59-60]. Четыре века назад *оболонье* бытовало в пределах старой Новгород-Северской земли [Котков 1961: 65-67]. С точки зрения истории языка и изучения лексики «Слова» картографирование этого названия представляется оправданным, но вследствие двойственности его семантики наметить зону синонимичного образования, видимо, невозможно.

Внимание к непротивопоставленным фактам и явлениям не только оправданно, но и насущно необходимо. Они не противопоставлены в плане территориального размещения в одно и то же время, но хронологически могут оказаться противопоставленными, что обнаруживается в результате сравнения соотносимых карт, составленных по данным современных говоров и соответствующих памятников. Возможность подобного сравнения повышает значение картографирования и современных непротивопоставленных фактов и явлений. Например, по современным данным в южновеликорусской области в широком употреблении слово *хата*, одновременно бытует и *изба*, но преимущественно в северных районах и в черте лесного запада. А материалы XVII в. той же территории, не давая сведений о *хате*, убедительно свидетельствуют о том, что в речевом обиходе южновеликорусов была только *изба* [Котков 1962: 42-43]. Картографирование этих фактов могло бы наглядно показать вытеснение в значительных пределах южновеликорусской области слова *изба* украинским *хата* за последние два с половиной века.

Картографирование непротивопоставленных фактов имеет особенно большое значение в тех нередких случаях, когда в результате поспешных заключений, основанных на ограниченных материалах, тем или иным историческим фактам приписывается в качестве бесспорной далеко не полная география, откуда следуют ошибочные выводы об их генетической принадлежности либо северно-, либо южновеликорусскому наречию, между тем как более обстоятельное исследование памятников письменности делового содержания позволяет квалифицировать эти факты как факты большего территориального распространения или даже общерусские. Так, появление в XVII в. в деловой письменности глагола *бросать* со значением 'кидать, метать' в генетическом плане были склонны связывать с Новгородско-Псковской землёй [Черных 1956: 186-188]. По новым рукописным данным глагол *бросать* в то же самое время известен был и иным областям России – южным и центральным. В генетически северновеликорусские зачисляются, например, образования *вить* 'доля, часть', *клеть*, *кулига*, *пожня*, *лонской*, *лонись* и некоторые другие, хотя материалы XVII в.

показывают их употребление и в более южных местах. Напротив, признаваемые специфически южновеликорусскими известные образования *корец* и *ночвы*, по свидетельствам старинных рукописей, оказываются свойственными и говорам северновеликорусской полосы [Котков, Савченко 1969: 126].

Отдельные факты и явления, ныне диалектные, в прошлом могли функционировать как общерусские. Сравнение их былой географии с географией современной может дать наглядное представление об исторических изменениях в их судьбе. Этим и обуславливается целесообразность картографирования подобных фактов и явлений в их общерусском распространении. Возможность указанного сравнения выводит показания современных карт за рамки синхронных противопоставлений и включает их в сферу диахронных.

Историческая диалектография, в отличие от современной, допускает более широкую в хронологическом отношении сопоставимость лингвистических фактов и явлений, позволяя, к примеру, картографировать как свойственные одному временному срезу отражения в деловой письменности лингвистических фактов и явлений, принадлежащие к разным десятилетиям XVII в. Обуславливается это определёнными причинами. Основная из них – меньшая интенсивность исторической эволюции диалектов в сравнении с современной. Другая причина – количественная ограниченность разных фактов, которые могут быть сопоставлены в пределах узкого временного среза, что объясняется и количественной недостаточностью источников, и далеко не полным отражением в них, в силу различных обстоятельств, этих фактов.

Материалы, которые могут служить основанием для составления карт, рисующих былое состояние говоров, гораздо более разнообразны, нежели те, на основе которых создаются современные диалектологические карты. Вопросы их систематизации в более или менее унифицированном виде, с точной и краткой регистрацией источников, требуют специальной разработки. Полагаем, что развитие исследований в области русской исторической диалектографии не останется узкодиалектологическим, а существенным образом повлияет на изучение истории языка в целом, в том числе и литературного.

**16. О публикации памятников русского языка и письменности // Вопросы языкознания. – 1960. – № 4. – С. 134-140 [соавтор – Л. П. Жуковская ]**

В конце XIX и первой четверти XX в. наша отечественная наука занимала первое место по изданию древнерусских, а также старославянских и церковнославянских памятников. На этих изданиях основывались исследования наших и зарубежных славистов. За 1895–1917 гг. было опубликовано более 60 крупных рукописей. К ним принадлежат такие, как Новгородские грамоты, Двинские грамоты, Радзивилловская летопись и Повесть временных лет, подготовленные А. А. Шахматовым, Житие Бориса и Глеба и Киево-Печерский патерик (Д. И. Абрамович), Повесть об Акире (Н. Н. Дурново и А. Д. Григорьев), Саввина книга и Болонская псалтырь (В. Н. Щепкин), Супрасльская рукопись (С. Н. Северьянов), Хиландарские листки (С. М. Кульбакин), Чудовская псалтырь XI века (В. А. Погорелов), Слепченский апостол (Г. А. Ильинский) и многие другие. Эти образцовые издания служили надёжной базой для исследований по истории русского языка, по старославянскому языку и сравнительной грамматике славянских языков. В их подготовке принимали участие видные учёные.

Высокое качество изданий определялось и наличием соответствующих палеографических условий. После 1917 г. традиция изданий подобного рода некоторое время продолжалась. На том же высоком уровне были опубликованы «Иудейская война» Иосифа Флавия и Хроника Георгия Амартола, подготовленные В. М. Истриным, Девгениево деяние (М. Н. Сперанский) и нек. др. Последним таким изданием была «Русская Правда» под ред. Е. Ф. Карского в 1930 г. С тех пор издание памятников осуществлялось лишь историками, историками права и литературоведами. Среди литературоведов ведущее место принадлежит В. П. Адриановой-Перетц.

Работа языковедов в течение последних десятилетий строилась, как правило, на старых публикациях и новых изданиях материалов, выполняемых лингвистами. Не предназначенные для лингвистических исследований новые публикации удовлетворяли историков языка далеко не в полной мере. Исключением явилось опубликование новгородских берестяных грамот, открытых А. А. Арциховским, и «Двух памятников новгородской письменности» (М. Н. Тихомиров и М. В. Щепкина).

В настоящее время вопрос о расширении «документальной» базы лингвистических изысканий приобрёл особую остроту. Исследование истории русского языка и сравнительно-историческое изучение

восточнославянских языков невозможно без обширного круга источников – современных и исторических. В связи с разработкой проблем диалектологии и современного русского литературного языка в последние годы объём источников первой категории значительно увеличился. Что касается второй категории источников, то здесь положение иное: изучение и публикация памятников письменности – область пока забытая. Между тем коренные проблемы истории русского языка в связи с историей украинского и белорусского языков не могут быть решены без включения в научный оборот новых материалов, извлекаемых из памятников письменности. Отсутствие необходимой в этом отношении базы для исследования чрезвычайно затрудняет решение вопроса о диалектной основе национального языка, а также раскрытие процессов взаимодействия народно-речевой стихии и русского литературного языка в минувшие периоды развития. Узостью базы существенно ограничено и освещение вопроса о взаимодействии и соотношении в литературном языке XVI–XVII вв. народно-русских и церковнославянских элементов. Мало выявлено источников, которые позволили бы воссоздать яркую картину взаимовлияния восточнославянских речевых культур. Отставание в издании южновеликорусских текстов буквально парализовало выяснение такого важного момента, как соотношение северно- и южновеликорусских элементов в литературном языке XVI–XVII вв.

Без привлечения новых богатых данных восточнославянских памятников письменности немыслима дальнейшая плодотворная разработка исторической фонетики и исторической морфологии русского языка. Старые и новые исследования показывают, что для наблюдений по исторической фонетике первых веков истории русского языка ценный материал дают памятники церковнокнижной письменности, сохранившиеся в силу особых обстоятельств лучше других столь же древних рукописей. Это общеизвестно. Указанные памятники содержат материал и для исторической морфологии, которая в прошлом разрабатывалась слабее. Морфологические новообразования, возникающие на русской почве, отражаются не только в оригинальных, но и в древних церковно-книжных памятниках, восходящих к южнославянским протографам. Ставшие хрестоматийными древнейшие восточнославянские особенности (*-ть* в 3-м лице глаголов, *-ьмь* вместо *-омь* в падежных окончаниях и другие черты) были выявлены по материалам источников именно этой категории.

Очень важные сведения содержат и поздние памятники. Здесь первое место принадлежит материалам частной переписки. Именно в них наиболее полно, насколько это возможно в письменности, отража-



ется живая сторона языка минувших веков. Такие проблемы исторической фонетики, как документирование типов аканья и иных вариантов безударного вокализма в XVII в., утрата затвора аффрикатами по данным того же времени, могут быть решены лишь на базе этих источников. Они же таят элементы обиходно-бытовой лексики и фразеологии, не свойственные другим жанрам древнерусской письменности. Деловая письменность XVI–XVII вв. содержит богатейший материал по ономастике, топонимике и различным группам лексики, а, например, южновеликорусские тексты – по таким интересным явлениям, как утрата среднего рода, синтаксическая конструкция типа *земля пахать* и др. Разрешение кардинальных вопросов исторической грамматики русского языка и других восточнославянских языков предполагает дальнейшее углубление и всестороннее изучение памятников письменности.

Новые материалы нужны не только для установления новых фактов, но и для хронологического и территориального приурочения уже известных науке явлений. Сейчас, когда немало ценнейших новых данных получено в результате картографирования русских говоров Европейской части СССР, украинских и белорусских говоров, когда выявились ареалы распространения важных фонетических и морфологических явлений в восточнославянских языках, встаёт задача разобраться в генезисе этих явлений путём привлечения новых материалов древнерусского, старорусского, староукраинского и старобелорусского языков и дальнейшего изучения уже известных памятников под новым углом зрения. При этом следует иметь в виду, что если в относительной хронологии и взаимосвязи языковых явлений иногда можно разобраться без материала памятников письменности, то при установлении абсолютной хронологии обойтись без него совершенно невозможно.

Имеет определённое значение исследование и издание памятников церковно-книжной письменности, отобранных с учётом проблем старославянского языка. Это особенно существенно, если учесть, что некоторые памятники в южнославянских изводах не сохранились, а иногда и вообще нигде не известны, за исключением русских списков. Некоторые же памятники известны и в южнославянских списках, но в последних не содержат необходимых материалов для некоторых вопросов старославянской грамматики и фонетики.

Актуальным представляется исследование и издание памятников древнерусской письменности и для истории литературного языка. В этом случае необходимо привлекать не только оригинальные литературные тексты и переводы, сделанные непосредственно с греческого, древнееврейского и прочих неславянских языков, но и памятники

церковно-книжной литературы, переписанные со старославянских оригиналов. Это является вполне обоснованным: широкая распространённость и общеизвестность произведений этого рода не могла не повлиять на формирование литературного языка, особенно с точки зрения обогащения его словаря; существовали собственно древнерусские редакции канонических текстов, созданные на Руси, или, во всяком случае, бытовавшие только на Руси и потому оказавшие заметное влияние на формирование литературного языка, особенно на словарь. Вместе с тем не следует забывать, что в текстах подобного рода особенно сильна традиция, и для того времени, от которого сохранились памятники делового языка, показания последних, безусловно, ценнее, особенно для выявления фонетических и грамматических черт языка, чем данные церковно-книжной письменности.

Новые факты необходимы и для обновления вузовских курсов исторической грамматики и истории литературного языка, причём дело не только в дальнейшей разработке теоретических положений, но и в простом освежении материала. Известно, что даже в новейших работах подобного характера лингвистические иллюстрации преимущественно те же, что и в «Лекциях по истории русского языка» А. И. Соболевского.

Необходимость интенсивной публикации памятников для нужд в первую очередь историков языка диктуется и обстоятельствами внешнего порядка. Специалисты многих вузов и научных учреждений, отдалённых от богатых собраний Москвы и Ленинграда, не имеют возможности систематически работать в центральных хранилищах. Это ограничивает их научную деятельность сферой современного литературного языка и местных народных говоров. Лишь в отдельных немногих случаях предмет их занятий составляют рукописи XVI–XVIII вв., которыми располагают местные архивы. Высококачественное воспроизведение текстов древнерусской письменности, надо думать, повысит культуру филологических исследований. Оно будет способствовать выявлению и лучшему сохранению старых рукописей на местах, в частности в областных архивах, где древние рукописные фонды нередко находятся в неблагоприятных для хранения условиях.

В «технологическое» основание новых изданий следует положить тщательно учтённый и критически освоенный эдиционный опыт нашей отечественной науки и лучших зарубежных публикаций. Изданию памятников должно сопутствовать развитие исследовательской работы в области палеографии, усовершенствование методов палеографического анализа.

\*\*\*

Не касаясь специально принципов и типов изданий, сделаем краткий обзор пожеланий, высказанных специалистами относительно издания памятников, и представим в общих чертах, насколько это возможно, эдиционные перспективы. Пожелания эти явились откликами на вопрос, предложенный научной общественности Институтом русского языка АН СССР: издание каких древнерусских памятников было бы особенно актуально?

Наметилось полное единодушие в отношении издания всех памятников XI–XII вв., в их числе и тех из опубликованных, воспроизведения которых неудовлетворительны или стали библиографической редкостью. Акад. С. П. Обнорский пишет: «Надо было бы издать памятник из памятников, старейшее, великолепное Остромирово евангелие» – и указывает также на Изборник 1076 г., который сильно ветшает. Заметим, что в настоящее время Институт готовит публикацию этого Изборника. Разделяя мнение об издании последнего, акад. А. И. Белецкий считает необходимой и новую публикацию Изборника 1073 г.; он же называет Успенский сборник, лишь частично опубликованный в своё время А. А. Шахматовым и П. А. Лавровым. Этот же сборник рекомендует издать член-корр. В. П. Адрианова-Перетц. Член-корр. Н. К. Гудзий рекомендует к изданию также Успенский сборник и Изборник 1073 г. Член-корр. Д. С. Лихачёв высказывается за издание в первую очередь важнейших и ценнейших памятников русского языка и по преимуществу древнейших, так как памятники XV–XVIII вв., вследствие их многочисленности, являются более доступными, ими можно заниматься непосредственно по рукописям. Д. С. Лихачёв рекомендует издать Путятину mineю (около 1100 г.), Благовещенский кондакарь XI–XII вв., Толстовскую псалтырь XI–XII вв., хранящиеся в Гос. публичной библиотеке в Ленинграде [ныне – РНБ]. Путятину mineю и Толстовскую псалтырь наряду с Остромировым евангелием находим и в рекомендации Н. Н. Розова. Д. С. Лихачёв настаивает на скорейшем издании граффити, часть которых принадлежит XI–XII вв. «Граффити, – полагает он, – не менее ценны с точки зрения языка, чем берестяные грамоты, но последние выкапываются из земли и поэтому обеспечены мощным интересом археологов, а граффити находятся над землей и поэтому фактически “бесхозны”. Граффити гибнут буквально на глазах... Нельзя допускать, чтобы этот важнейший русский материал погибал». До сих пор, говорится далее, не обследованы граффити древнейших соборов Смоленска, Полоцка, Чернигова и др. Лихачёв предлагает опубликовать граффити Софии в Киеве, граффити Софии в Новгороде и некоторые другие. Затем из текстов XII в. рекомендуют издать прежде всего следующие:

апостол XII в. из собрания Н. К. Никольского – Библиотека АН СССР (С. П. Обнорский); Мстиславо евангелие 1115–1117 гг., первый полный апракос из числа сохранившихся – Гос. Исторический музей (Д. С. Лихачёв, П. С. Кузнецов, М. В. Щепкина и др.); как известно, текст древнерусского полного апракоса никогда не издавался; Юрьевское евангелие около 1120 г. – Гос. Исторический музей, Пантелеймоново евангелие XII в. – Гос. публичная библиотека (Д. С. Лихачёв); Добрилово евангелие 1164 г. – Библиотека СССР им. В. И. Ленина (С. П. Обнорский, Д. С. Лихачёв); по мнению П. С. Кузнецова, М. В. Щепкиной и С. И. Кочетова, заслуживает быть изданным Синайский патерик XII в. – Гос. Исторический музей; памятник отличается архаичностью графики и орфографии, содержит много оригинального, идущего из живой речи и отсутствующего в греческом подлиннике. Е. Э. Гранстром считает желательным издать среди иных материалов XI–XII вв. сборник записей писцов и других помет на рукописях. «Такие записи, – замечает она, – не стандартны по языку и содержанию... публикация сборника даст возможность более широкого использования их, введёт в оборот неизвестные тексты, причём не религиозного, а светского характера. Именно в таких записях могут быть найдены следы народной речи». М. В. Щепкина обращает внимание на то, что издание записей даст возможность учёта древних писцов и количества дошедших до нас работ каждого из них.

Из памятников XIII в. особенно рекомендуются Ростовский апостол 1220 г. и Ярославский сборник XIII в., хранящийся в Ярославском музее-заповеднике. Многочисленные рекомендации, касающиеся публикации письменных источников более позднего времени, особенно тех из них, которые, будучи поздними списками с несохранившихся оригиналов XII–XIV вв., являются памятниками древнерусской литературы. Институт языкознания АН УССР предлагает включить в перспективный план издания в первую очередь те памятники, главным образом светского содержания, которые до сих пор ещё не издавались, например документы делового языка (архивы приказных изб и др.), научного языка (неиздававшиеся летописи, учебники, учебные пособия и др.). Институт языкознания АН БССР признаёт весьма желательным публикацию памятников письменности XI–XIV вв., созданных в смоленских и полоцких землях, памятников, расширяющих научную базу для решения вопросов истории формирования белорусского языка. Упомянув о Синодальном списке Первой новгородской летописи (XIV в.), С. П. Обнорский пишет: «Хотя издание летописей – задача Института истории, надо было бы эту летопись, как вообще старейший список летописи, издать лингвистически». За лингвистиче-

ское издание той же рукописи выступают Э. И. Коротаева, А. Н. Савченко; С. В. Фролова называет Лаврентьевскую и Ипатьевскую летописи, Л. Л. Гумецкая – Хлебниковский список Галицко-Волынской летописи. Кафедры языка и литературы Ужгородского университета вообще находят желательным издание летописей. Об этом пишет и А. А. Дементьев.

Рекомендуются для издания и памятники древней юридической литературы. Так, Д. С. Лихачёв указывает Новгородскую кормчую 1282 г. Он же, а также П. С. Кузнецов и др. упоминают Рязанскую кормчую 1284 г., причём Кузнецов отмечает, что этот памятник содержит немало морфологических новшеств. Много пожеланий касается лингвистического издания грамот. В частности, С. П. Обнорский говорит о старейших московских грамотах и далее – об отдельном издании московских грамот XV–XVII вв. О необходимости публикации последних заявляют также научные работники Ростовского и Ужгородского университетов. Ужгородский университет предлагает издать молдавские грамоты XIV–XV вв. и украинские грамоты XV в. Э. И. Коротаева, резко критикуя последние издания Псковской судной грамоты за непродуманную модернизацию графической стороны древнего текста, его орфографии, небрежное воспроизведение текста, считает настоятельно необходимым новое филологическое издание этой грамоты. А. И. Белецкий высказывает пожелание издавать статейные списки русских дипломатов, дворцовые дела. Научные работники Ленинградского университета желают принять участие в подготовке к печати памятников письменности, а некоторые уже готовят к публикации такие памятники: Б. А. Ларин занят Ремесленными книгами XVI–XVII вв. и Торговой книгой купца Кукшина XVII в., О. С. Мжельская – Псковской судной грамотой, И. С. Хаустова – Курантами, своеобразными рукописными газетами XVII в., А. А. Горбунова (Пермский пединститут) подготовила к печати несколько соликамских грамот XVII в. и готовит публикацию новгородских губных грамот на Ладого. Здесь же с аналогичной целью верхотурскими грамотами занимается Т. И. Гаевская.

Далее, иногда без указания конкретного списка, называется круг произведений исторической и художественной литературы: Римские деяния (А. И. Белецкий), Еллинский и римский летописец (Н. К. Гудзий); М. Р. Судник рекомендует напечатать ранее неизвестный список Александрии XV–XVI вв.; В. В. Лукьянов обращает внимание на список Александрии с миниатюрами, хранящийся в Ярославском областном архиве. В. П. Адрианова-Перетц предлагает из памятников XV в. издать «важнейшие части датированного Кирилло-

Белозерского сборника, где с листа 115 идёт ряд текстов, богатых отражениями фактов живого языка (поучения, выписки из Александрии, Хожения игумена Даниила, особый вид Задонщины, загадки, терминология крюкового письма)». Н. А. Мещерский и С. В. Фролова высказываются за издание Хроники Иоанна Малалы. Н. А. Мещерский изъявляет желание подготовить к печати с параллельным древнееврейским текстом (там, где это возможно) книгу Есфирь по рукописи XVI в. и другим более поздним спискам, а с параллельным древнегреческим текстом древнерусский перевод «Рыдания» Иоанна Евгеника, сохранившийся в списках конца XV – начала XVI в., а также отрывки еврейского хронографа Иоссипон по материалам, имеющимся в различных русских хронографических сводах, начиная с XV в. Называются также Слово о законе и благодати митрополита Иллариона (А. И. Белецкий, Н. К. Гудзий), Хожение Даниила Рускыя земли игумена и Сказание о Мамаевом побоище (Н. В. Водовозов) и некоторые другие произведения. В. Д. Кузьмина, О. А. Державина и А. Н. Робинсон вносят предложение об издании памятников, важных для исследователей русской культуры. «Таковы, например, – пишут они, – известные трактаты И. Владимирова и С. Ушакова. Недостаточная осведомлённость историков искусства в лексике и семантике русского языка XVII в. приводит нередко к неверному истолкованию этих произведений. Фототипическое воспроизведение текста в данном случае излишне, но необходим перевод, выполненный лингвистами». Авторы приведённого замечания находят также полезной публикацию произведений XVII–XVIII вв., ценных с точки зрения содержания в них элементов живой народной речи. С лексикографическими и диалектологическими комментариями, полагают они, необходимо издать сборник русских пословиц, составленный А. И. Богдановым.

В ответах встречаем далее названия текстов самого разнообразного содержания. Произведение древней научной литературы – Христианскую топографию Козьмы Индикоплова по спискам с XV в. – отмечает П. С. Кузнецов. Рукописи Библиотеки АН СССР – Книга глаголемая алфавит (XVII в.), Книга охотничей регул (перевод с немецкого XVII в.), Книга зовомая земледельческая (1705 г.) – предлагает издать С. В. Фролова. В. В. Лукьянов сообщает о ярославской рукописи XVIII в. «Описание земноводного круга» В. Д. Крашенинникова.

Большая группа рекомендаций относится к так называемой житийной литературе. За вычетом текстов этого рода более раннего времени, о которых уже говорилось, называется ещё немало памятников. А. И. Белецкий и М. В. Щепкина настоятельно рекомендуют продолжить издание Макарьевских миней-четьих XVI в. А. И. Белецкий

по этому поводу пишет: «Необходимо было бы как для языковедов, так и для литературоведов продолжить публикацию текста “Великих Четий Миней” митрополита Макария. Эта энциклопедия церковной письменности XVI в., включившая в себя все “чтомое и поемое”, как известно, весьма разнообразна по языку, содержит редкие, не повторенные в других сборниках тексты и оригинальной и переводной литературы. Изданные томы охватывают только малую часть “Великих Четий Миней”, к тому же они стали большой редкостью и отсутствуют полностью даже в крупных библиотеках СССР. Может быть, полезно было бы переиздать их с необходимыми исправлениями». О желательности издания древнерусского Пролога и Жития Ефросинии Полоцкой говорят Н. К. Гудзий и М. В. Щепкина. С. В. Фролова указывает на Пролог 1323 г. (Библиотека АН СССР) и признаёт необходимым напечатать его с разночтениями из других списков. О Житии Владимира, составленном Иаковом мнихом, по списку из сборника 1414 г. сообщает в своём письме С. И. Кочетов. Житие Зосимы и Савватия Соловецких по списку XVI в. предлагает издать М. В. Щепкина. Имеется также рекомендация вновь напечатать Житие Нифонта по списку 1219 г. В. В. Лукьянов предлагает рукопись Ярославского областного архива – Киево-Печерский патерик конца XV в., который, по его словам, является старейшим списком патерика кассиановской редакции. На молитвы Кирилла Туровского указывают Н. К. Гудзий и С. И. Кочетов.

Имеются также пожелания об издании рукописей, которые по содержанию относятся к древнерусской учительной литературе. Так, Пандекты Никона Черногорца по разным спискам предлагают напечатать П. С. Кузнецов, О. А. Князевская, В. В. Лукьянов. А. И. Белецкий и Н. К. Гудзий называют Слово Иллариона о законе и благодати и Слова Серапиона Владимирского; Н. К. Гудзий – Сочинения Максима Грека, а также Измарагд (список не указывается); Д. С. Лихачёв – Поучения Ефрема Сирина по списку 1288 г., Псковский Шестоднев 1374 г. и Диоптру Филиппа Пустынника 1388 г.; С. И. Кочетов – Студийский устав по рукописи Гос. Исторического музея. Называется также Мерило Праведное (около 1350 г.).

А. И. Белецкий выражает надежду, что в план изданий войдут и некоторые произведения старообрядческой письменности послеавакумовского периода, печатавшиеся ранее в ненаучных изданиях. «Произведения эти, – отмечает А. И. Белецкий, – продолжавшие традиции древнерусской письменности в XVIII и в XIX вв., мало изучены и со стороны языка и стиля и вообще были до сих пор достоянием только историков русской церкви, а между тем и с лингвистической, и с литературоведческой точки зрения представляют немалый интерес».

Имеются высказывания и в пользу публикации некоторых печатных памятников: С. П. Обнорский указывает Уложение Алексея Михайловича, Э. И. Коротаева – газеты петровского времени.

\* \* \*

Как видим, советские учёные считают необходимым издать такое большое количество памятников письменности, что сделать это в ближайшее время силами одного научного учреждения не представляется возможным. Поэтому уже сейчас ясно, что издание памятников, важных в лингвистическом аспекте, должно осуществляться не в одном научном центре. Так, желательно, чтобы на Украине началось издание древнерусских и староукраинских памятников. Памятники письменности XI–XIV вв., созданные в смоленских и полоцких землях, равно как и памятники старобелорусского языка (например, Баркулабовская летопись, западнорусские грамоты и др.) могли бы стать предметом работы белорусских специалистов. Лингвистическое издание памятников, видимо, могло бы вестись и в Москве, и в Ленинграде, тем более что ленинградские языковеды проявляют в этом живейшую заинтересованность. Например, Э. И. Коротаева от имени кафедры русского языка Ленинградского университета выступает со следующим предложением: «По-видимому, целесообразно установить некоторое разделение памятников для издания между работниками Москвы и Ленинграда. Желательно, чтобы Ленинградский ун-т взял на себя подготовку к изданию тех памятников, которые уже являлись предметом исследования отдельных членов кафедры русского языка».

Уже тот факт, что пожелания, касающиеся изданий памятников, весьма многочисленны, показывает, насколько обширно здесь поле деятельности. Во избежание дублирования необходима чёткая координация между научными учреждениями союзной и республиканских академий, университетами и пединститутами.

Институт русского языка АН СССР в настоящее время направляет внимание на создание необходимой для лингвистического издания памятников письменности полиграфической базы в системе АН СССР. Институт обращает особое внимание на подготовку к изданию таких текстов, которые выпадают из поля зрения специалистов других областей, но являются значительными памятниками языка. Такими являются наиболее ценные древнейшие памятники канонического содержания, издание которых для лингвистических целей не производилось несколько десятков лет; таковы же художественные и публицистические произведения, не обязательно игравшие значительную роль в историко-литературном процессе; таковы материалы частной



переписки, в том числе и не представляющие интереса по авторской принадлежности или со стороны конкретного исторического содержания; сюда же относятся материалы делового содержания, древние грамматические руководства и лексикографические произведения.

Предполагается произвести отбор актового материала с точки зрения насыщенности древнего текста проявлениями живой речевой стихии и с точки зрения отнесённости рукописей к определённым древнерусским областям с тем, чтобы вся территория русского языка была более или менее равномерно представлена в плане эдиционной деятельности Института и других научных учреждений и вузов. Несмотря на то, что историки предпринимая капитальные издания актовых материалов, тем не менее необходимо издание аналогичных источников, вполне отвечающих требованиям лингвистики. При этом в зависимости от целей, которым служит издание, возможно объединение актовых материалов по территории, по времени, по содержанию, по принадлежности определённым писцам.

Лингвистическое издание этих материалов, однако, вовсе не исключает изданий, совместных с историками с целью в той или иной степени (желательно – максимально) приспособить публикации, принимаемые историками для своих нужд, также и к потребностям специалистов в области языка. Не следует забывать, что одни языковеды без содействия учёных смежных специальностей не в состоянии подготовить к изданию ту громадную массу памятников, которую оставила нам история нашей Родины. Следует считаться далее и с тем, что издание памятников письменности – дело весьма трудоёмкое и дорогое. Желательно сотрудничество лингвистов с литературоведами. При этом мы учитываем, что принципы издания у лингвистов и специалистов смежных специальностей различны. Необходим разумный компромисс. Совместные издания явятся полезным дополнением к основным для лингвистов изданиям, которые могут быть лишь строго лингвистическими и палеографическими. Однако и для совместных изданий, применительно к определённым историческим периодам и категориям источников, необходимо разработать обязательный минимум лингвистических требований, который следует соблюдать при любом эдиционном содружестве.

Институт русского языка АН СССР наметил на ближайшие годы подготовку следующих изданий: Изборник 1076 г., Успенский сборник (неизданная часть его), Синайский патерик, древнерусские граффити, Смоленские грамоты, материалы частной переписки XVII в.; предполагается публикация некоторых южновеликорусских текстов XVII в. Из грамматических сочинений будет опубликована

грамматика Пауса (И. В. Паузе) начала XVIII в. Начата совместная работа с историками: Институт русского языка принимает участие в издании актов XVI и первой половины XVII в. и переписки стольника Безобразова (XVII в.).

При наличии колоссального количества в собраниях рукописей нашей страны и разбросанности хранилищ разыскание необходимых для лингвистов материалов чрезвычайно затруднено. Поэтому заслуживает особого внимания предложение члена-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц закончить составление картотеки всех сохранившихся памятников древнерусской письменности, на основе которой можно будет уже группировать источники, объединяя их по разным признакам. Такую картотеку составляла в своё время группа сотрудников под руководством акад. Н. К. Никольского. После смерти руководителя работа остановилась, и картотека поступила на хранение в Отдел рукописей Библиотеки АН СССР. Автор предложения подчёркивает, что закончить эту огромную работу можно лишь при деятельном участии коллективов отделов рукописей московских и ленинградских древлехранилищ. Вместе с тем в сотрудничестве с архивными учреждениями и рукописными отделами музеев и библиотек пора начать (по печатным источникам и путём непосредственного ознакомления с фондами) выявление древнерусских текстов в хранилищах зарубежных стран и накопление этих материалов посредством фотокопирования и микрофильмирования, что дополнительно даст в руки исследователей существенный круг источников.

После широкого выявления ценных в лингвистическом отношении текстов можно будет приступить к составлению сводного лингвистического описания важнейших памятников русского языка. Назрела также необходимость в составлении специализированных описаний древнерусских текстов, например, материалов частной переписки, рукописей, приуроченных к той или иной древнерусской области, отражающих локальный диалект, словарей и азбуковников, грамматических руководств и т. д.

На основе лучших эдиционных традиций предстоит разработать принципы и методику изданий, разработать вопрос о типах изданий, что в свою очередь связано с решением ряда проблем. Необходимо, в частности, определить сферы и границы применения в том или ином типе издания принципов дипломатической и критической публикации. Мы не выступаем безоговорочно за дипломатическое издание, в котором предельно точно воспроизводятся все особенности текста, в противовес изданию критическому, в котором текст подвергается критике; нам кажется возможным гармоническое сочета-

ние того и другого принципа. Одно лишь несомненно: критические элементы издания не должны вноситься в текст источника. Способ издания – факсимильный, шрифтовой или их сочетание – определяется назначением издания.

Не касаясь специально, как сказано выше, принципов и типов изданий, сделаем несколько замечаний о способах воспроизведения текста и справочном аппарате изданий. В значительном числе случаев необходимо будет факсимильное воспроизведение рукописей. Но такое издание не должно и не может исключать наборного шрифтового издания того же памятника, так как первое имеет не только ясные для всех преимущества, но также и свои недостатки. Трещины и сгибы пергамента или бумаги, на которых написан древний текст, пятна и иные повреждения текста на снимке передаются вместе с изображениями букв и препятствуют иногда правильному прочтению. К этому необходимо добавить, что не всегда удаётся уберечь воспроизведение от крайне нежелательной ретуши, а это также приводит к нарушению буквы, а иногда и смысла текста. Тщательно выполненное наборное издание по сравнению с фотомеханическим или другим современным типом факсимильных изданий воспроизводит меньшее количество индивидуальных особенностей рукописи, не воспроизводит почерка, но всё же в общем достаточно для многих видов лингвистического исследования.

Возможности факсимильного воспроизведения текста зависят в первую очередь от состояния самой намеченной к опубликованию рукописи. Так, например, Остромирово евангелие при его состоянии в 1954 г., когда листы были покороблены, не могло быть предметом фотографирования или какого-либо другого современного способа факсимильного воспроизведения: покоробленный и «поведённый» пергамен нельзя распрямить для фотографирования. Но теперь благодаря тщательной, кропотливой, блестящей по достигнутым результатам реставрации рукописи, проведённой Е. Х. Трей [см. Трей, 1958] и новому потетрадному хранению, этот важнейший памятник не только древнерусской, но и вообще славянской письменности легко может быть сфотографирован и издан способами, обеспечивающими точную передачу текста. Даже такой великолепный по письму и сохранности памятник, как Мстиславово евангелие, при фотографировании даёт сильное искажение почерка и искривление строк, а некоторые места его по фотографии не читаются из-за того, что были залиты в своё время дезинфицирующим раствором, повлекшим потемнение пергамента. Следовательно, факсимильное воспроизведение памятника полезно сопровождать не только научным комментарием его внешних

особенностей, но и наборным изданием самого текста.

Наборное издание памятников XI–XIV вв. нужно, видимо, осуществлять кириллицей с соблюдением всех сокращений или, по крайней мере, с тщательными пометами в каждом случае раскрытия титл и внесения надстрочных букв в строку. Целесообразно сохранять размещение строк или же делать помету о конце строки. Также крайне желательно передавать разделительные и надстрочные знаки. В тех случаях, когда невозможно дать точную транслитерацию, необходимо оговорить все отклонения от этого общего принципа и давать снимки с рукописи.

При подготовке древней рукописи к публикации необходимо во многих случаях прибегать к помощи современной научной фотографии. Так, замазанные чернилами и красками тексты могут быть восстановлены в первоначальном виде путём фотографирования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. Желательно, чтобы лингвистическое издание памятника включало в себя указатель слов и форм публикуемой рукописи подобно тому, как они давались в лучших прежних изданиях, начиная с Остромирова евангелия 1843 г. Для лингвистов-лексикографов это дало бы непревзойдённый материал.

Совершенно необходимо каждое издание памятника сопровождать хотя бы кратким палеографическим описанием. Никто не сможет сделать детального описания рукописи со стороны палеографической так, как лингвист-палеограф, подготавливающий её к печати. Палеографическое описание важно как для лингвистического изучения данной публикации, поскольку многие языковые особенности могут быть связаны с языком отдельных писцов, переписывавших рукопись, так и для датировки её. Не менее важно, чем границы почерков, указывать в палеографическом очерке состав тетрадей рукописи и их границы, так как это тоже может быть безразлично для последующих исследований языка, которые будут производиться по данному изданию памятника.

Наряду с этими мерами для обеспечения лингвистических исследований материалом памятников письменности необходимо предпринять как можно быстрее репродукцию современными методами лучших старых публикаций, ставших к настоящему времени библиографической редкостью и отсутствующих не только в частных библиотеках языковедов, но и в библиотеках вузов. Сюда в первую очередь относятся те дореволюционные и советские издания, в которых имеются хорошие словоуказатели. Таковы, например, «Остромирово евангелие» А. Х. Востокова (СПб., 1843; это издание нужно повторить, учитывая исправления, сделанные в 1885 г. М. М. Козловским); «Ма-

риинское четвероевангелие» И. В. Ягича (СПб., 1883); «Саввина книга» В. Н. Щепкина (СПб., 1903); «Домострой по Коншинскому списку» А. С. Орлова (М., 1908); «Синайская псалтырь» С. Н. Северьянова (Пг., 1922); «Русская Правда по древнейшему списку» Е. Ф. Карского (Л., 1930). Не менее важно повторное издание современными способами воспроизведения текста некоторых памятников, не снабжённых словоуказателями, но тем не менее представляющих большую ценность, например, «Жития Нифонта по списку 1219 г.» А. В. Рыстенко (Одесса, 1928); Великих четий-миней митрополита Макария, о значении которых пишет А. И. Белецкий (см. выше), и других памятников.

Усилия лингвистов в деле издания важнейших памятников языка восточнославянских и вообще славянских народов и повышение филологического уровня публикаций, осуществляемых представителями смежных наук, дадут в руки советских языковедов необходимый для исследований материал. [*Подписи:* Л. П. Жуковская, С. И. Котков]

**17. О совместном издании древнерусских скорописных памятников лингвистами и историками // Лингвистическое источниковедение. – М., «Наука», 1963. – С. 5-23.**

Плодотворное изучение русского языка в настоящее время зависит не только от совершенствования старых и применения новых методов, но и всемерного расширения древнеписьменной базы исследования, то есть введения в научный оборот нового круга памятников древнерусской письменности. Недостаток материалов этого рода существенным образом сказывается на выводах и обобщениях в области истории русского языка. Речь идёт не о частностях, а, собственно, о концепции его национального развития. Уместно напомнить о тех проблемах, решение которых, по нашему мнению, находится в зависимости прежде всего от расширения указанной базы исследования.

До сих пор мы не имеем содержательной характеристики древнерусского народно-разговорного языка в его конкретных проявлениях, а не только в общих чертах, как это обычно бывает представлено в лингвистической литературе. Поэтому различие книжно-литературной и народно-разговорной речи применительно к XVI–XVII вв. не идёт обыкновенно далее противопоставления церковнославянского языка и «живой народной речи», в то время как различие между первым и второй, насколько позволяют судить и деловая письменность и известные нам неопубликованные материалы частной переписки, не совпадает с этим противопоставлением, является более сложным: с одной стороны, существовали уже довольно значительные элементы книжного языка и вне церковнославянской сферы, с другой стороны, в недра «живой народной речи», отражённой в безыскусственной бытовой переписке, ощутительно проникали определённые элементы из области церковнославянского языка, например, из его фразеологии.

Пока ещё не выяснено, каково было соотношение северно- и южновеликорусских элементов в те или иные периоды истории русского национального языка. Между тем разработка его истории и ныне опирается почти исключительно на источники, приуроченные к центральной и северной зонам Европейской части СССР. Богатая старая письменность южновеликорусского происхождения всё ещё находится вне поля зрения исследователей. Сложившиеся в процессе такого ограниченного изучения истории языка выводы и заключения неправоммерно распространяются на русский язык в целом, иногда не только не содействуя развитию научных исследований, а, напротив, в какой-то степени задерживая их. Вследствие отсутствия необходимых

данных территориальная приуроченность ряда языковых явлений и фактов, особенно в области лексики, устанавливается неправильно. Таковы, например, заключения о словах *конь*, *изба*, *клеть*, *выть* (в смысле 'пай', 'доля'), *бросить* и некоторых других, о произношении *ин* вместо *чи*, формах родительного падежа единственного числа имён прилагательных на *-ово*, конструкции типа *земля пахать* как явлениях и фактах генетически северновеликорусских. Невозможным также оказывается и более или менее правильное установление абсолютной хронологии многих явлений.

Нет и основательно документированной характеристики говора Москвы XVII–XVIII вв. Воссоздание его обыкновенно строится или на материале законодательных актов или в свете данных современного литературного языка и подмосковных диалектов, исследованных по памятникам XVI–XVII вв. При свободном оперировании таким термином, как «старое московское просторечие», мы пока ещё не имеем никаких специальных публикаций, по которым можно было бы составить определённое представление о языке населения столицы в XVII столетии.

Всё ещё остаётся нерешённой задачей широкое, наполненное конкретным содержанием раскрытие взаимодействия между стилями, а помимо того, и жанрами древнерусского языка.

То же следует сказать и об истории лингвистических связей в восточнославянской области, взаимовлияниях русском, украинском и белорусском.

Располагая неисчислимыми рукописными богатствами (разнообразными в жанровом отношении), которые собраны в центральных хранилищах и на периферии, мы в сущности не имеем достаточно полного представления об их лингвистическом значении. Неосведомлённость в этом направлении приводит иногда к некритическому использованию в качестве локальных таких рукописных источников, которые принадлежат московским писцам. Примером может служить хотя бы использование писцовых книг. Напротив, тексты, вышедшие из-под пера местных писцов, нередко относят к произведениям московского происхождения, а иногда утверждают, что локальные тексты – лишь копии московских образцов и по сравнению с последними лингвистически неоригинальны. Таким образом вовсе отрицается возможность изучения по памятникам областных, диалектных вариантов древнерусского языка. Выявление, учёт, а также популяризация и критическая оценка рукописей с целью отбора наиболее ценных из них для научной публикации требуют совместных усилий лингвистов, историков и литературоведов, а возможно, учёных и других специальностей. Нам, естественно, могут заметить: представители названных и

иных специальностей уже давно занимаются рукописным наследством, его публикацией и изучением. Да, но все эти группы исследователей обыкновенно работают разобщённо. Совместных публикаций, а тем более исследований, тех или иных древнерусских памятников, осуществляемых, скажем, лингвистами и историками, мы почти не имеем. Необходимость в объединении усилий вызывается не только обилием рукописей, но и разнообразием их и порой весьма сложным составом. На объединение усилий ориентирует и всё более развивающееся сближение наук, в данном случае гуманитарных, и связанное с этим повышение требований к научным достоинствам публикаций. Не говорим уже о значении таких очевидных моментов, как устранение дублирования в издании памятников, разумная экономия сил и средств. Конечно, отсюда вовсе не следует, что не может быть изданий, осуществляемых отдельно лингвистами, историками и литературоведами, но это особая тема.

Рассмотрим некоторые аспекты возможного сотрудничества историков и языковедов в области издания древнерусских памятников. Коснёмся вопроса отбора материалов для публикаций и наборного воспроизведения рукописных текстов. Здесь возможно и совпадение научных интересов обеих сторон и расхождение. Указав вначале расхождения между лингвистами и историками, отметим далее и то, что их объединяет. Поскольку историков прежде всего занимает содержание древнерусского памятника, обыкновенно безотносительно к его языку, вернее, диалектным и иным вариантам, при наличии ряда списков памятника их привлекает текст его со всей совокупностью разночтений, а не только данная конкретная рукопись, причём в значительном числе случаев для них не столь важно, является эта рукопись списком или оригиналом. Лингвисты считают вполне надёжным материалом для исследований только оригиналы. потому что списки с оригиналов писались обычно другими людьми и в другое время, порой довольно отдалённое от времени оригиналов, а это вносило известные искажения в картину запечатлённых в оригиналах явлений и фактов русского языка. Само собой разумеется, что практикуемая историками реконструкция протографа для лингвистов неприемлема.

Не считая списки вполне надёжным материалом для исследования языка, лингвисты, однако, не только могут, но и должны принимать участие в подготовке научных публикаций списков таких выдающихся памятников древнерусской письменности, как «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», летописей и некоторых других, не сохранившихся в оригиналах, поскольку эти произведения и в виде списков обладают большой лингвистической ценностью, являясь неповторимыми образцами русской художественной



речи старшего периода, и если дают непервичные сведения о фонетике и морфологии языка того времени, то в лексическом отношении едва ли утратили свои первозданные качества.

Помимо различия в отношении к спискам, у лингвистов и историков вполне возможно и различие точек зрения на отбор определённых категорий памятников по содержанию. Так, многочисленные памятники житийно-учительной литературы раннего времени, являющиеся для известной эпохи и определённых областей древней Руси единственными в ряде случаев лингвистическими источниками, едва ли могут интересовать историков-публикаторов. Напротив, некоторые таможенные книги, привлекающие историков чрезвычайно ценными сведениями о состоянии древнерусской экономики и торговли, вследствие краткости и стандартности составляющих их записей, вряд ли целесообразно публиковать только с лингвистической целью. В языковом плане они «однотонны», порою лексически небогаты, бывают бедны и фонетическими и морфологическими данными, особенно если книга велась одним лицом.

Требования к наборному воспроизведению текста у лингвистов и историков тоже неодинаковы. Первые, не довольствуясь точной передачей содержания написанного, настаивают на сохранении всех особенностей языка и графики древней рукописи. Вторые нередко ограничиваются в основном сохранением смысла воспроизводимого текста, иногда допуская значительные упрощения в его транскрипции, что делает наборное воспроизведение текста непригодным для лингвистического исследования с фонетической и морфологической стороны. Различный подход к воспроизведению текста у лингвистов и историков в известной мере предопределяет приёмы его цитирования, несколько отличные у тех и других, а это, в конечном счёте, подобно отмеченным выше расхождениям, обусловлено спецификой истории и языкознания. Наконец, сопутствующий публикации текста древней рукописи справочный аппарат у лингвистов имеет один состав, у историков – другой. Например, для первых всегда важны сведения о писцах, и если писцы не указаны, – то сведения об их почерках, а, скажем, в подробном комментировании описываемых событий лингвисты обыкновенно не нуждаются. Историки, наоборот, комментированию этого рода уделяют особое внимание, зато в указателе почерков не имеют необходимости. Справедливости ради следует признать, что вообще указателей почерков, насколько нам известно, лингвисты не составляли, так как самостоятельных изданий материалов, в которых представлено множество почерков (материалов частной переписки, так называемых сказок и т. п.), они или не предпринимали, или имели дело с такими источниками, составляя к которым указатель почерков либо не было смысла (списки, а не оригиналы), либо не было возможности (записи, не объ-

единяемые ни хронологически, ни территориальной приуроченностью).

Отмечая все эти особенности подхода к изданию памятников у лингвистов и историков, мы, с одной стороны, подчёркиваем необходимость осуществления наряду с совместными изданиями и специально лингвистических изданий, и изданий для историков, с другой стороны, в наиболее общем виде намечаем вероятную сферу сотрудничества, отграничивая её от областей, в которых специфика наук – языкознания и истории – делает это сотрудничество либо малоэффективным, либо нецелесообразным. Итак, необходимой основой совместного издания памятников, которое могли бы предпринять лингвисты и историки, является наличие в публикуемых рукописях сведений, интересующих тех и других, приемлемое для обеих сторон воспроизведение рукописных текстов и такой справочный аппарат издания, который удовлетворял бы обе специальности.

До сих пор говорили лишь о наборной публикации. Но, может быть, фотомеханическая публикация, свободная от некоторых недостатков наборной, открывает более широкие перспективы сотрудничеству лингвистов и историков? Вопрос этот нуждается в рассмотрении, особенно потому, что в последнее время получило известное распространение мнение, согласно которому наборное издание – устаревший способ воспроизведения и непременно должно уступить место фотомеханическому, по словам сторонников данного мнения, единственно научному в наше время воспроизведению. Действительно, использование фотографии снимает одну из сложных проблем – проблему транскрипции древнего текста, к разрешению которой историки и лингвисты подходят неодинаково. Однако ограничиться фотовоспроизведением, во-первых, и не всегда возможно, а во-вторых, не всегда целесообразно: в некоторых случаях оно делает древний текст менее доступным для исследования, особенно по фонетике, нежели наборное воспроизведение. Невозможно фотомеханическое издание таких, например, рукописных текстов, которые лишь с большим трудом читаются невооружённым глазом, – сильно поплёкших, покрытых пятнами, стёртых по краям листов и т. д. Даже превосходная фототипия не в состоянии преодолеть эти недостатки текста, а растровое воспроизведение – тем более. Неустранимые затемнения по склейкам листов, в сгибах и трещинах писчего материала, помарки и пятна различного происхождения в фотографии сливаются и переплетаются с начертаниями букв, затрудняя их прочтение. Волосные линии букв, произведённые сухим пером, даже в самой лучшей фотографии не получают отражения. В тех случаях, когда та или иная буква написана по другой или исправлена из другой, фотография не позволяет установить после-

довательность написания данных букв и, следовательно, выявить смысл исправления, если правильное прочтение данного места не поддается содержанию рукописи. Далее, фотографическое воспроизведение текста исключает возможность приведения не только наиболее удобных для читателя постраничных примечаний, но и вообще любых примечаний к тексту, хотя в публикациях подобного рода необходимость в них не отпадает. Излишне говорить о таком существенном неудобстве фотомеханического издания, как сохранение в нём сплошного древнерусского текста, без деления на слова, неудобства, особенно чувствительного для исследователей, оперирующих обширной группой источников. Трудно представить себе составление по изданию рассматриваемого типа указателя слов и форм. Итак, фотомеханическое издание, обладая определёнными достоинствами, не может полностью заменить издания наборного. Идеальным было бы сочетание обоих способов воспроизведения в составе одной публикации.

Сведение проблемы воспроизведения текста к проблеме полиграфической ещё не решает вопроса о сотрудничестве лингвистов и историков и в то же время уводит в сторону от разработки теории источниковедения и издания памятников.

Итак, возвращаемся к наборным изданиям: с ними, сохраняющими своё значение и при наличии фотомеханических, связано выяснение весьма существенных для совместных эдиционных предприятий вопросов и в отношении отбора памятников, и в отношении воспроизведения текста. Отбор памятников для наборного издания, если не считать таких, в которых сохранились лишь отдельные буквы и слоги, теоретически неограничен, потому что возможное, вплоть до буквы, обстоятельное комментирование в нём придаёт определённую ценность и таким древнерусским текстам, которые в фотомеханическом воспроизведении, лишённые подобного комментирования, вследствие большой дефектности остались бы осмысленными крайне предположительно, а частью и вовсе не прочитанными. Наборный способ незаменим при издании скорописных памятников XVII в., писанных грамотеями невысокой выучки и, следовательно, отличающихся особой неразборчивостью. Фотомеханическое воспроизведение в данных случаях не обеспечивает беглой обозримости смысловых отрезков текста, не говоря уже об уверенном восприятии отдельных букв и сочетаний букв, в частности в положении над строкой, и ставит исследователей перед необходимостью прибегать к транскрипции, то есть выполнять в сущности ту же самую адаптацию, которую даёт наборное издание. Так, фотомеханическая публикация переписки с владельцами вотчин и поместий приказчиков, старост и выборных крестьян, заключающая

немало графических ребусов, помарок, пропусков букв и слогов, повреждений писчего материала, поблёкших и полустёртых мест, могла бы вызвать у исследователей только чувство досады; каждый из них оказался бы вынужденным, отложив публикацию в сторону, обратиться к оригиналам. То же самое получилось бы при издании аналогичным способом значительной части материалов частной переписки.

Хорошо сохранившиеся древнерусские памятники, писанные уставом и полууставом, понятно, более пригодны для фотомеханического дублирования, нежели скорописные. Поскольку они бывают осложнены обильной диакритикой, дублирование этих памятников тем более оправдано. В эту группу памятников входят, в частности, певческие рукописи с крюковой нотацией. Значение фотомеханического способа ещё более повышается в тех случаях, когда публикуемые рукописи являются уникальными и известны в качестве образцов древнерусской письменной культуры. Но если говорить об издании памятника, удовлетворяющего всем научным требованиям, то указанная публикация не только не исключает, а, напротив, обязательно предполагает дополнение её наборным воспроизведением, потому что без последнего невозможно ни составление указателя слов и форм, что может быть небезразлично также и для историков, ни приведение иноязычных параллелей, если памятник относится к числу переводных.

После этих замечаний о сфере применения того или иного способа воспроизведения, назовём в качестве примеров отдельные группы памятников, которые, нам представляется, могли бы публиковаться совместно лингвистами и историками. В составе деловой письменности выделяем прежде всего многочисленные акты разнообразного содержания: договорные, жалованные, правые, разъезжие и другие грамоты, данные, духовные, купчие, меновные, кабальные записи и т. д. Являясь важными документами социально-экономической истории, они заключают в себе обильные сведения о древнерусской лексике, в частности, ономастике и топонимии, правовой фразеологии и терминологии, представляя значительный интерес и для изучения фонетики, а также грамматических форм. Начало совместному изданию подобных документов положено подготовкой первого тома актов XVI–XVII вв. силами Института истории АН СССР и Института русского языка АН СССР. Сотрудничество лингвистов и историков особенно необходимо при издании чрезвычайно сложной для расшифровки переписки сельских приказчиков, старост и выборных крестьян с владельцами вотчин и поместий в XVII столетии. Рисующие экономическое состояние деревни, ужасающий гнёт и произвол крепостников, подобные материалы этого рода имеют исключительное значение для

историков, являясь в то же время незаменимыми источниками по истории русского языка и, что особенно важно, его народно-разговорной стихии. Опыт такого сотрудничества мы видим в двух томах хозяйственной переписки стольника А. И. Безобразова, подготовленной теми же институтами. Исторические повести в оригиналах или в одном из списков, если только отсутствие разночтений для историков несущественно или если эти разночтения приводить вне текста публикуемой рукописи, в виде приложений, можно было бы также предложить для совместного издания, разумеется, не допуская в их воспроизведении элементов адаптации, позволительной, скажем, в издании вотчинной переписки. Соблюдение в издании исторических повестей строгого, тщательного воспроизведения текста обусловлено и выдающимся их литературным значением и наличием при этом в ряде случаев нескольких разновременных и различной территориальной приуроченности списков, с чем могут быть связаны различия языковые. В этих условиях воспроизведение с отклонениями от строгих правил могло привести к совпадению и публикации отдельных разночтений не только фонетического, но и смыслового характера.

Переходим к вопросам наборного воспроизведения скорописных текстов XVII в., вопросам особенно актуальным в плане разработки принципов изданий, осуществляемых совместно лингвистами и историками, изданий, широко доступных и для исследователей нефилологов и неисториков. Издание текстов, исполненных скорописью, включающих, вследствие происхождения из разных мест древней Руси, обилие диалектных написаний, текстов, порой малоразборчивых, с пропусками букв и, напротив, повторением букв, совпадением в начертании разных букв, особенно выносных, сопряжено с некоторыми специфическими трудностями. Последние вызваны не только свойствами беглого письма как такового, но и материальными условиями его применения: писали на бумаге, а не пергамене, в столбцах, это были небольшие листы, исписанные вплоть до края, поля оставляли далеко не всегда, обыкновенно только слева, вертикальные края столбцов пушились, темнели и частью отрывались, вместе с тем утрачивались и крайние буквы, подвергалось повреждению письмо по склейкам. Добавим к этому некоторые сокращения за счёт середины слова, систематическое недописывание отдельных слов и даже некоторых категорий слов, многочисленные выносы букв из строки и размещение их над строкой не обязательно в соответствии с их положением в строке, разнообразные надстрочные знаки. Конечно, почти все эти особенности не чужды в той или иной мере и более чётким разновидностям древнерусского письма – уставу и полууставу, но наибольшее их раз-

витие в целом наблюдаем именно в скорописи. Однако несколько особый подход к воспроизведению древнерусской скорописи определяется не только и порою не столько этим, сколько вследствие большей близости этой последней к нашему времени, наличием для её воспроизведения более надежных оснований лингвистического характера, поскольку состояние русского языка в эпоху развития скорописи нам лучше известно, чем более раннее, и поскольку это состояние в сравнении с более ранним ближе к современному. Лингвистические основания воспроизведения скорописи необходимо соблюдать, помимо изданий, предназначенных специально для лингвистов, и в совместных изданиях лингвистов и историков.

Несколько слов в связи с пониманием самого термина «воспроизведение». Необходимость уточнения его содержания диктуется тем обстоятельством, что взгляды на функции и границы применения некоторых средств воспроизведения у лингвистов и историков не вполне одинаковы. Воспроизведением мы называем эдиционную передачу всего сообщаемого в древней рукописи: с одной стороны, написанного, с другой – предопределяемого, «подсказываемого» написанным. Передача первого – транскрипция, передачу второго условимся называть эдиционным восполнением.

Лингвисты уделяют внимание тщательной транскрипции и стремятся свести к минимуму эдиционное восполнение, у историков, наоборот, наблюдается тенденция к широкому использованию эдиционного восполнения и упрощению в транскрипции. Следовательно, в том и другом случаях, устанавливая правила воспроизведения для совместных изданий, целесообразно ориентироваться на «среднее» решение. Такое решение в области транскрипции возможно осуществить прежде всего за счёт отказа от передачи в публикации тех надстрочных знаков, которые представляют собой лишь письменную традицию и, по данным истории языка, в эпоху применения древнерусской скорописи не обнаруживают фонетического значения. Имеем в виду знаки придыхания, паерки и варианты титл. Конечно, вследствие этого совместная публикация утрачивает значение источника, пригодного для исследования указанных явлений графики, но от наборного издания и невозможно требовать, чтобы оно удовлетворяло и этой цели. Графику следует изучать по рукописям или фотокопиям. Далее, нет лингвистических оснований, следуя за рукописью, располагать выносные буквы обязательно над строкой. В то же время выносные буквы непременно должны быть выделены, потому что с этим связано осмысление написанного: ср. *или* и *и<sup>л</sup>и* (Ильи). Для этого достаточно при внесении букв в строку выделения их курсивом. Как показывает практика последнего времени, в лучших изданиях исто-

риков этот приём получил признание [см.: Дух. и дог. гр, АСЭИ I–III]. Когда выносные буквы в издании помещаются в междустрочии, возникает некоторая помеха нормальному восприятию смысла, поскольку внимание рассредоточено по двум читаемым уровням; при включении выносных букв в строку помеха эта снимается.

В публикации скорописных памятников возможна без ущерба для фонетики и замена отдельных букв рукописи иными буквами. Таково употребление *ϕ* на месте *f*, *я* на месте *#* и *"*, *кс* на месте *k* и *пс* на месте *j*. Обычно это вызывается не только и не столько стремлением избежать усложнения транскрипции, сколько обстоятельствами внешнего порядка – полиграфическими возможностями.

С большим затруднением сопряжено транскрибирование рукописных *ъ* и *ь*. В скорописных памятниках XVII в. эти буквы очень часто совпадают в начертании. Порой в их передаче следуют этимологическому принципу, не принимая во внимание начертание данных букв, таким путём в сущности вообще отвергая транскрипцию. Опуская *ъ* в конце и в середине слова между согласными, что нередко видим в современных изданиях, ориентируются, напротив, на современное правописание. Устранение буквы *ъ* в указанных положениях, основанное на том, что в XVII в. она не имела фонетического значения, для совместных изданий как будто приемлемо.

Однако такое простое решение не всегда бывает возможно. В самом деле, как передавать в издании слово *женский*, если в рукописи после *н* находим букву, равно воспринимаемую и в качестве *ъ* и в качестве *ь*, а некоторые русские говоры ещё хранят произношение *женьский*? Остаётся либо, ориентируясь на современное правописание, опустить «сомнительную» букву и освободить будущего исследователя от каких бы то ни было размышлений относительно возможности отражения в данном письменном памятнике, если судить по его изданию, известного диалектного явления, либо воспользоваться особым знаком, не исключаящим в этом случае и вероятной мягкости *н*. Предпочитаем второй вариант. В лингвистических изданиях весьма желательно последовательное осуществление этого варианта. Что касается совместных изданий, то применение в них особого знака должно быть ограничено только теми случаями, когда о вариантности по мягкости и твёрдости свидетельствуют история русского языка, русская диалектология. Например, известно произношение *верх* и более старое *верьх*. Если в рукописи в этом слове после *р* находим букву, в которой можно усматривать и *ъ* и *ь*, в издании на месте этой буквы необходимо употребить особый знак. При наличии в истории русского языка и современных говорах или только в истории языка указаний на возможность в том или ином

случае либо только ъ, либо только ь, несмотря на то, что рукописную букву можно принять и за ъ и за ь, в публикации, согласно лингвистическим данным, употребляется ъ или ь, а не третий, особый знак.

Несколько слов о характере этого знака. Отличаясь в начертании от ъ и ь, он в то же время должен быть графически близок к ъ и ь. Рекомендуем в качестве такого знака употреблять перевернутое ч (*h*).

Считаем возможной в совместных изданиях замену букв с цифровым значением арабскими цифрами, однако замена подобным образом имён числительных не допускается.

Как видим, вопрос о вариантах транскрипции, различие между которыми лишено фонетических оснований, для изданий недипломатических – вопрос не принципиальный, а скорее практический, приобретающий несколько большее значение при подготовке изданий памятников, рассчитанных на читателей-неспециалистов. Другое дело – вопрос об эдиционном восполнении. Именно последнее в основном определяет облик любого критического издания, а совместная наборная публикация только критической и может быть. В зависимости от того, какие элементы мотивированно вводятся в публикуемый текст данной, конкретной рукописи, каковы их функции в речевом потоке, можно говорить о фонетических, морфологических, синтаксических и лексических восполнениях, а также фонетико-морфологических, морфолого-синтаксических и т. д.

Чисто фонетическое восполнение имеем, например, в случаях включения в круглых скобках ь в качестве знака мягкости: в ркп. *ден* (им. пад. ед. ч.), в изд. *ден(ь)*; в ркп. *Офонка*, в изд. *Офон(ь)ка* и т. д. Включение ь в круглых скобках как знака мягкости и одновременно разделительного является точно так же восполнением фонетическим: в ркп. *и'и*, в изд. *Ил(ь)и*. Фонетико-морфологическим считаем, например, восполнение, представляющее собой раскрытие отражённого в письме слияния звуков на стыке тех или иных морфем. Так, рукописное *сытатъ* (ссыпать) в публикации приобретает вид *(с)сытатъ*. В качестве раскрывающего долготу согласного восполнение имеет характер фонетического, как раскрывающее границу между приставкой и корнем восполнение является морфологическим. Остановимся на раскрытии таких слияний, предпосылкой которых служит ассимиляция согласных по глухости и звонкости. Возьмём рукописное *истари* (исстари). Возможны два варианта восполнения: *и(з)стари* и *и(с)стари*. Обоснования вариантов различны. В основе первого – этимологический принцип, в основе второго – фонетический. Принимая вариант *и(з)стари*, мы игнорируем факт слияния, что в научной публикации не может быть оправдано. Если при восполнении утраченного текста условное, этимологическое восполнение допустимо, обращение



к нему при наличии реального, фонетического основания, по меньшей мере, нежелательно. Поэтому предпочтительнее вариант *и(с)тари*. Заключение в скобки первого, а не второго элемента слияния обосновано явлением регрессивной ассимиляции: первый элемент несамостоятелен, поскольку явился в результате ассимилирующего влияния второго. Следуя фонетике, *зывать* (сзывать) передаем в публикации с восполнением (*з*)*зывать*, а не (*с*)*зывать*. Переходим к слияниям с участием предлогов, например, *в* и *с*: *упал воду* (упал в воду), *взял собою* (взял с собою) и т. п. Восполнение в таких случаях – фонетиколексическое: раскрывает, во-первых, долготу согласного, во-вторых, границу между словами. Как поступать в подобных случаях – восполнять предлог или начальный элемент последующего слова? Ответ и здесь даёт рассмотрение звука – предлога и начального звука слова в таких фонетических условиях, которые позволяют установить, какой из рассматриваемых фонетических элементов ситуационно несамостоятелен. В устном литературном языке, в том или ином диалекте проявления ситуационной несамостоятельности того или иного элемента могут быть различны, и это необходимо учитывать, но здесь имеет главное значение не различие в проявлениях несамостоятельности определённого элемента в литературном языке и в известном диалекте, а свойственность этих проявлений в том и другом случае одному и тому же элементу. Так, в условиях литературной речи и огромной массы северновеликорусских и многих средневеликорусских говоров *в* перед глухим согласным звуком оглушается (ср. *в воду*, но *ф поле*), а в условиях многих южновеликорусских, как *в* билабиальное, в положении перед любым согласным уступает место *у* (не *в воду*, а *у воду*, не *в поле*, а *у поле*). На почве литературного произношения и массы южновеликорусских говоров обоснование фонетической несамостоятельности предлога *в* видим в регрессивной ассимиляции, а на почве южновеликорусского наречия – в своеобразной диссимилиации по слоговости и неслоговости. Таким образом, при слиянии двух *в* рукописное *воду* передаём в публикации (*в*) *воду*. При слиянии двух *с* рукописное *собою* получает вид (*с*) *собою*. Фонетическая несамостоятельность предлога *с* обнаруживается, например, в произношении *ш шара* (с шара), знакомом и устной форме литературного языка и народным говорам. Восполнение раскрываемых сокращений связано с одним затруднением – возможной его вариантностью, обусловленной историей языка и историей письма. Так, сокращение *члвкъ* (человек) можно раскрыть двояко: *ч(е)л(о)в(ѣ)къ* и *ч(е)л(о)в(е)къ*. Для памятников XVII столетия, созданных на северновеликорусской почве и в центральной, московской области, более или менее надёжным было бы в этом слу-

чае восполнение в виде *ѣ*, для созданных на южновеликорусской почве такое восполнение менее обосновано, потому что на западе этой области в XVII столетии, как свидетельствуют данные этой письменности, звук, обозначаемый буквой *ѣ*, и в положении под ударением произносился как *e*. К тому же это не всегда чёткое различие между южновеликорусской и неюжновеликорусской областями несколько искажается отклонениями в ту и другую стороны, связанными с той или иной степенью орфографической выучки писцов. Итак, раскрывая сокращение *члвкъ*, невозможно вполне уверенно выбрать в качестве восполнения для положения между *в* и *к* вариант *ѣ* или *e*. Если даже в тех случаях, когда известна отнесённость рукописи по отражённым в ней языковым чертам к определённой лингвистической области, встречаем такие затруднения, при отсутствии данного условия они абсолютно непреодолимы. Остаётся ориентация на этимологический принцип или на современное правописание. Первую нельзя признать удовлетворительной, так как в XVII в. звуковой строй русского языка, по сравнению с тем, какой отражён в ранних древнерусских памятниках и тем более в старославянских памятниках, значительно изменился. Например, раскрывая сокращение *кнзь* в соответствии с этим принципом, мы смогли бы лишь указать на маловероятное в письменности XVII в. отражение старого графического явления: *кн#зь*; ср. в современном правописании: *князь*. Приходим к выводу: наиболее целесообразно раскрывать описываемые сокращения по нормам современной орфографии, иными словами, прибегая к условному эдиционному восполнению. Предвидим возражение: условное восполнение может противоречить соответствующим элементам в нечастых полных написаниях слов, которые обыкновенно сокращаются, то есть рядом с воспроизведениями *ч(е)л(о)в(е)къ* и *кн(я)зь* в издании окажутся *человѣкъ* и *кн#зь*. Замечание справедливое, но тем не менее его не следует принимать во внимание, поскольку вероятны и обратные отношения: *ч(е)л(о)в(ѣ)къ*, *кн(#)зь* – *человек*, *князь*. Итак, помимо восполнений, мотивированных заключёнными в рукописи лингвистическими данными, в совместных изданиях применимы восполнения и условные.

В некоторых изданиях древнерусских памятников встречаем сокращения, сделанные публикаторами: *з.* (гривна), *з.* (государь), *х.* (холоп) *т.* (твой) и др. Обычно введение таких сокращений вызывается стремлением избежать многочисленных повторений одних и тех же слов, особенно обращений, и соображениями иного порядка. В совместных изданиях, на наш взгляд, подобные сокращения недопустимы. При подготовке публикации необходимо считаться не только с обстоятельствами преходящего характера, но и с тем, как будут исполь-

зованы опубликованные материалы впоследствии многими поколениями исследователей. При пересказе материалов или их цитировании более или менее пространными выдержками сокращения подобного типа не мешают, не затрудняют понимания цитируемого. Но так поступают обыкновенно лишь историки, а лингвисты в огромном большинстве случаев цитируют отдельные слова и формы, словосочетания и отдельные предложения. Не приходится говорить, что различие в приёмах цитирования обусловлено спецификой наук. При лингвистическом цитировании указанные сокращения, во-первых, мешают пониманию смысла и, значит, правильному истолкованию отражённых в памятниках фактов языка, во-вторых, невольно вызывают у исследователей сомнение в точности воспроизведения в издании текста древней рукописи. Ознакомление читателей лингвистических трудов с материалами, уснащёнными такими сокращениями, едва ли вызовет чувство удовлетворения. В самом деле, сокращения *г.*, функционирующее в качестве обращения, в ограниченном контексте можно воспринять и как «государь», и как «государю», «государии» и т. д. За сокращением *х. т.* скрывается «холоп твой», «холопа твоего» и т. д.

В зависимости от типа издания (лингвистическое, совместное лингвистов и историков и т. д.) меняется объём и характер подстрочных примечаний. То, что для историков в тексте рукописи является неисправностью, например, опиской и подлежит исправлению, то для лингвистов может оказаться очень важным и не должно подвергаться исправлению. Это противоречие в совместных изданиях можно, хотя и не вполне, устранить следующим образом: лингвистически мотивированные «неисправности» воспроизводить в основном тексте, не сопровождая примечаниями; неисправности, лингвистически не мотивированные, исправляя в основном тексте, помещать без исправления в подстрочных примечаниях. Последнее, между прочим, необходимо для характеристики графических и орфографических навыков писцов, что при выявлении в их письме отражений языковых фактов должно приниматься во внимание.

Переходим к вопросам пунктуации. В лингвистическом издании возможна только пунктуация, представленная в рукописи, что, кстати сказать, в скорописных текстах XVII в. наблюдается очень редко и проводится фрагментарно. В совместной публикации, рассчитанной на более широкий круг читателей, в значительной части нефилологов, пунктуация, существенно помогающая осмыслению древнего текста, должна, разумеется, быть всеобщей и, следовательно, привнесённой публикаторами. Чрезвычайно редкие случаи пунктуации в рукописи, в том числе и таких знаков, пунктуационные функции которых не установлены, в воспроизводимом тексте не передаются, однако их

наличие отмечается в подстрочных примечаниях. Наглядное представление о начертаниях и расположении этих знаков в составе текста может дать факсимильное приложение. Вводя в публикацию знаки препинания, следует всё же учитывать невозможность последовательного применения современной пунктуации во всех без исключения случаях. Невозможность эта обусловлена следующими обстоятельствами: своеобразием древнерусского синтаксиса в сравнении с современным; отсутствием опоры на интонацию, поскольку публикаторы имеют дело с письменной речью, тогда как в основу некоторых современных правил пунктуации положен интонационный принцип; наконец, наличием в древних рукописях известного количества таких мест, которые не поддаются вполне уверенному определённом толкованию. Имеют также значение и технические моменты: например, нередкое в изданиях употребление круглых скобок при эдиционном восполнении исключает их применение в качестве знаков препинания. Пунктуация, вводимая в издание, является современной лишь в том смысле, что любой из знаков препинания ставится в тех положениях, в которых его употребляют и в современной письменной речи. Однако далеко не всегда следует принимать во внимание все положения, что объясняется, помимо упомянутых обстоятельств, особенностями языка отдельных рукописей. Так, некоторые из них настолько насыщены модальными элементами (вводными словами, выражениями и частицами), рядами однородных членов и приложениями, что выделение всех этих элементов знаками препинания привело бы не к облегчению, а, напротив, затруднению понимания содержания: в массе случаев едва ли не каждое слово пришлось бы от соседних отделять, например, запятой. Одновременно подчёркиваем, что отклонения от правил такого выделения допустимы лишь в той степени, в какой отсутствие пунктуации не влияет на понимание содержания.

Мы коснулись только некоторых вопросов совместного издания памятников лингвистами и историками. Рассмотрение этих вопросов показало, что одних эмпирических оснований для осуществления подобного типа изданий да, собственно, и иных типов явно недостаточно; необходима разработка их теоретических оснований. Распространённое мнение, согласно которому издание памятников древнерусской письменности сводится лишь к «технике», представляется нам ошибочным. Невольно вспоминается то примечательное обстоятельство, что в прошлом публикацией древнерусских памятников занимались корифеи отечественного языкознания.

## **18. Исследование и издание скорописных памятников русского языка // Вопросы языкознания. – 1981. – № 6. – С. 6-16.**

Русский литературный язык национальной эпохи формировался на основе устного разговорного фонда общенародного характера, обширной письменности делового содержания и, в известной мере, элементов церковнославянского языка. Поскольку былое состояние русской разговорной стихии получало некоторое отражение прежде всего в деловой письменности, значение последней для исследования и устного разговорного языка, и литературного языка данной эпохи, да и всего национального, является ключевым. Деловая письменность данного времени, за весьма немногими исключениями, – скорописная. Поэтому в разработке проблем истории русского языка XVI–XVII вв. и в малой мере XVIII в. исследование скорописных памятников приобретает первостепенное значение.

Насколько отвечает этой задаче современное состояние изучения огромной массы скорописных текстов XVI–XVIII вв.? Мы не ошибёмся, если скажем: лишь в минимальной степени. На первый взгляд, подобная оценка лингвистического освоения скорописного наследия представляется крайне заниженной: русисты располагают многочисленными публикациями скорописных материалов, подготовленных историками, а в последние два-три десятилетия появилось заметное количество исследований, основанных на данных деловой письменности XVII столетия. И тем не менее эти факты не отражают подлинного положения дел и изучения скорописного наследия.

Начнём с того, что издания историков осуществлялись, естественно, с учётом требований исторической науки, без специальной ориентации на филологические потребности. Так определялся и круг источников, которые входили в публикации, и последовательность осуществления изданий, и приёмы передачи скорописных текстов в печатных воспроизведениях памятников.

К сожалению, русисты недостаточно осознавали профессиональную выборочность источников, которые были опубликованы историками, и пытались только на их основе решать существенные вопросы истории русского языка, иногда компенсируя их недостаточность современным диалектным материалом. Результаты исследований, основанных на сравнительно ограниченных и в отдельных случаях произвольно сопрягаемых источниках, порой однотонных в тематическом отношении, обыкновенно оказывались спорными.

При всём обилии подготовленных историками изданий скорописных текстов лингвистам приходится иметь в виду: отбор их, есте-

ственно, был ориентирован на удовлетворение одной науки – науки исторической, и вследствие этого, определённые тексты, связанные с определённой сферой жизни, а вместе с тем и языка, достаточно широко публиковались, а другие, связанные с той же сферой, пребывали в полном забвении.

Возьмём такую важную область, как феодальное землевладение. Документация, связанная с этой областью, «обусловлена существованием трёх проблем: фиксации права владения землёй, изменения землевладений, государственного налогообложения подвластного населения» [Источниковедение 1973: 125]. Важнейшими видами данной документации являлись многочисленные писцовые и сопутствовавшие им приправочные книги, а кроме того, отказные книги. И, тем не менее, историки, охотно издавая писцовые, не приступали к изданию отказных книг. Только в самое последнее время появилась публикация нижегородских отдельных и отказных книг 1596–1600 гг. [см.: Анпилогов 1977: 210-404]. Как видим, для историков являлось актуальным издание именно писцовых книг. Тенденция эта сохраняется. «Многое ещё предстоит сделать, – пишут В. И. Буганов и А. А. Зимин, – в области издания писцовых книг... необходимо не только доиздать остающиеся неопубликованными писцовые книги (ярославские, рязанские и др.), но и переиздать всё калачёвское издание, осуществлённое совершенно неудовлетворительно» [Буганов, Зимин 1980: 122]. Об исследовании и издании отказных книг не говорится. Между тем для историков языка из всего состава рукописных книг, связанных с областью землевладения, наибольшее значение имеют отказные. Сравнение тех и других показывает это особенно наглядно. Писцовые составляли лица, присылаемые из Москвы, а отказные писали местные уроженцы. Из этого следует: писцовые книги, хотя и называются по местам, которые в них описаны, владимирскими, костромскими, орловскими, рязанскими, тульскими и т. д., являются в главном, в своей основе памятниками московского приказного языка; отказные книги, напротив, во многом являются памятниками живой народной речи, в некоторой степени и диалектной.

В писцовых книгах отражён словарь не столько живой народной речи, сколько приказной письменности, а его локальные элементы в основном составляют топонимы и собственные наименования лиц, а также названия бортовых знамён и, кроме того, обозначения некоторых особенностей ландшафта, например, на Юге такие слова как *болонье* ‘заливной, поёмный луг, или подгорье’, *ерик* ‘небольшой ручей, старица’, *колодезь* ‘речка, ручей’, *струга* ‘поток’, *яруга* ‘овраг’ и др. В отказных книгах заметное место занимает лексика народной речи, а

что касается локального словаря, то он представлен значительно шире, нежели в писцовых книгах, что связано с более подробным, по сравнению с последними, описанием разного вида земельных угодий и обстоятельным их обмежеванием, с фиксацией учитываемых при отводе земли определённых родственных отношений и некоторыми другими обстоятельствами.

О народно-разговорной доминанте в лингвистической содержательности отказных книг говорят и грамматические явления и, в особенности, фонетика; явственно проступает в книгах и диалектный колорит. В подобном характере доминанты лингвистической содержательности данных книг убеждают, например, такие частности, как обозначения растительных ориентиров [см.: Котков 1969]. Являя собой прежде всего памятники народно-разговорного языка, отказные книги в известной мере представляют и строй приказной письменности, что выражается главным образом в социально-правовой фразеологии и терминологии. С этой стороны они пригодны и для исследования данной письменности. Такого рода совмещения стихии живой народной речи и элементов указанной письменности в писцовых книгах нет. Имеет существенное значение и то немаловажное обстоятельство, что отказные книги представляют всю основную территорию южновеликорусского наречия, в изучении которого по памятникам наблюдается глубокое отставание. Из сказанного об этих книгах следует: лингвисты не вправе ограничивать себя только тем репертуаром памятников, которыми оперируют историки.

Те или иные расхождения в оценке одних и тех же источников между историками и лингвистами – явления довольно частые. Мы говорим об этом не в укор историкам, поскольку многие расхождения являются правомерными, а лишь руководствуясь желанием привлечь внимание исследователей-русистов к интенсивной разработке рукописного наследия, в частности скорописного. Имеем в виду его исследование и непосредственно по рукописям и наименее опосредствованно – по лингвистическим изданиям памятников.

Видимо, прежде всего потому, что материалы старинной частной переписки, так называемые грамотки, публиковались порой не столько историками, сколько любителями старины, и более или менее ограниченно, да к тому же крайне упрощённо, что делало их непригодными для фонетических и морфологических исследований; эта замечательная разновидность памятников деловой письменности историками русского языка, в сущности, не использовалась. Приведение разрозненных примеров из грамоток, впрочем довольно редкое, положения не меняло. А что касается изучения грамоток по рукописным

оригиналам, то вплоть до шестидесятых годов текущего столетия его в науке о русском языке не существовало. Если грамотки, отказные книги и другие скорописные источники, в которых живой русский язык, скажем, XVII столетия, получал выразительное отражение, были вне поля зрения русистов, выявление его конкретного облика оказывалось маловероятным. А без этого и разработка проблемы образования русского национального языка и особенно литературного лишалась существенных исходных данных. Прежде всего сказывалось отсутствие южновеликорусских материалов означенного времени.

Из всей старинной деловой письменности эпистолярные источники наиболее непосредственно передают живую стихию языка и, что представляется особенно важным, её изменения во времени. Вследствие этого, с точки зрения установления абсолютной хронологии последних, показания грамоток являются оптимальными. Оптимальны они и в другом отношении: знакомят нас с такими фонетическими и иными явлениями и фактами из истории живой народной речи, которые могли получить отражение лишь в этих, наиболее «чувствительных» к их восприятию источниках. Например, в процессе изучения грамоток XVII в. нам впервые удалось обнаружить такую своеобразную особенность многих старинных народных говоров и северно- и южновеликорусского наречий и средневеликорусской полосы, как глухость согласных вместо звонкости и наоборот вне условий непосредственного ассимилятивного оглушения и озвончения [Котков 1980: 232–234]. Из отдельных фактов, дошедших до нас только в составе грамоток, отметим хотя бы глагол *облегчиться*, в форму которого *облегчись* ещё в XVII и в начале XVIII в. облекалось пожелание-приглашение в смысле «будь лёгок на подъём, приезжай в гости». Подобное значение глагола *облегчиться* применительно к минувшим векам выявлено лишь в последние годы, в связи с публикацией старинных грамоток [Котков 1967: 70–71].

Неповторимое достоинство грамоток заключается далее в том, что из всех разновидностей деловой письменности едва ли не исключительно одна эпистолярная доносит до нашего времени отголоски живой интимной речи, выражавшей глубокие душевные переживания, любовь и дружеское расположение к особенно близким людям.

Не вводились в научный оборот и такие важные скорописные источники, как хроникальные вести-куранты. Забвение этих замечательных текстов не только исследователями-русистами, но и историками-медиевистами, прямо скажем, необъяснимо. Историки оставляли в стороне такую влиятельную информацию, которая в определённой мере ориентировала верхи Русского государства в сложных междуна-



родных делах, а историки языка проходили мимо такой разновидности источников, которые широко представляли и лингвистические контакты России со странами Западной Европы, и возможности развития в условиях русской действительности языка публицистической литературы и периодики. Сопоставление русских переводов курантов с их сохранившимися оригиналами – номерами иностранных газет даёт конкретное представление о состоянии культуры светского перевода в России XVII в. Сравнение черновых переводов вестей-курантов с соответственными беловыми рукописями и затем ранних и более поздних черновики и беловики позволяет наблюдать процесс становления норм русского литературного языка того же самого времени. От лексики актов и эпистолярной письменности словарный состав вестей-курантов отличает значительное своеобразие, что связано со спецификой событий, главным образом военных и политических, и общественно-экономических отношений, которые получали в них освещение. В известной мере с вестями-курантами сближаются в данном отношении только статейные списки.

Словом, каждая из обрисованных выше в общем плане разновидностей текстов (актовая, эпистолярная, хроникальная) обладает такой лексико-фразеологической, а в некоторой степени и синтаксической содержательностью, которую далеко не всегда находим в других разновидностях скорописных текстов того же самого времени. Отсюда ясно, насколько важно для успешной разработки истории языка не просто всемерное расширение количества вовлекаемых в исследование источников, что имеет преимущественное значение для экстенсивного изучения языка, но и расширение их качественного разнообразия, что обеспечивает в первую очередь его интенсивное изучение.

Отбор вовлекаемых в лингвистическое исследование старинных скорописных источников, вследствие их необыкновенного обилия, представляется достаточно сложным. Не вызывает сомнения, однако, его основной критерий: отбираются источники, оптимально удовлетворяющие с точки зрения лингвистической содержательности и информативности разработке наиболее актуальных проблем истории русского языка. В настоящее время, полагаем, такими являются следующие проблемы:

Язык великорусской народности как исходная база образования русского национального языка.

Значение народно-разговорной речи XVII–XVIII вв. в развитии национальной интеграции.

Степень северно- и южновеликорусского участия в начальном процессе формирования русского национального языка.

Формирование московского койне в XVII–XVIII вв. как определяющего центра национальной лингвистической общности.

Образование русского национального языка и его наиболее совершенного компонента – языка литературного.

Взаимодействие языка художественной литературы, народно-разговорной речи и языка деловой письменности XVII–XVIII вв.

Взаимодействие в XVII–XVIII вв. братских восточнославянских языков.

Глубокие исследования в данных аспектах послужат необходимой предпосылкой разработки со временем истории русского национального языка. Материальную базу разработки означенного круга актуальных проблем обеспечивают неисчислимые произведения старинной русской скорописи и всё более и более возрастающий в течение XVII–XVIII вв. состав печатных материалов. Поскольку церковнославянская стихия представлена в произведениях уставного и полууставного письма, а в печатных нецерковных текстах её влияние в то время постепенно ослабевало, проблему её соотношения и взаимодействия с русской стихией в тот исторический период причислять к наиболее актуальным не видим оснований.

Хотя применение русской скорописи наблюдалось уже в XIV в., подавляющая масса дошедших до нас старорусских скорописных текстов принадлежит XVI и, главным образом, XVII–XVIII векам. Поэтому проблематика, разработка которой обеспечивается материалами старой скорописи, ограничивается этим временем.

В рамках означенного выше общего критерия отбора источников, в зависимости от предмета исследования, необходимо применение и других, так сказать, специализированных критериев. Например, критерием отбора тех или иных скорописных текстов или их лингвистических изданий для исследования живой локальной речи служит подтверждаемая современными данными соответственных народных говоров или прямыми указаниями в означенных текстах принадлежность писавших эти тексты к местным уроженцам. А, скажем, критерием отбора текстов, представляющих язык приказной письменности, является принадлежность их, во-первых, писцам московских приказов, во-вторых, лицам, тесно связанным с центральной администрацией, которые посылались из Москвы в различные города и уезды с целью составления там, например, писцовых книг.

Если в тексте нет прямых указаний на принадлежность писца к местным уроженцам, то установление этого факта во многих случаях осложняется приверженностью пишущего к орфографическим нормам. Значит, при прочих равных условиях в исследовании живой народной

речи в её историческом состоянии следует прежде всего опираться на менее грамотные тексты, соизмеряя степень грамотности последних не с современной, кодифицированной, а с узуальной орфографией исследуемой эпохи. Однако основывать изучение живой народной речи прошлого на показаниях только таких написаний, которые расходились с орфографическими, совершенно неправомерно, поскольку письмо, при всей условности, несомненно обеспечивает правильную передачу основы живой общенародной речи и несколько менее – диалектной. Так, последовательно проведённые в рукописи соответствия букв определённых гласных определённым звукам в подударном положении, на фоне существенных отклонений от орфографии в передаче безударных гласных, едва ли можно всецело объяснять орфографической выучкой писавших, не видя в этих соответствиях правильной передачи произношения гласных. Усматривая в последней только следование твёрдо заученному правописанию, мы вправе были бы ожидать соблюдения правописных норм и в передаче безударных гласных. Особенно убедительна соотнесённость тех и других фактов в пределах одного почерка. Как видим, выявление через призму письма живой общенародной и диалектной речи предполагает рассмотрение отражений любого лингвистического явления в той или иной старинной рукописи непременно в соотнесении с отражениями других лингвистических явлений, причём, повторяем, особенно убедительными являются результаты подобного соотнесения в пределах одного и того же почерка. В результате указанного соотнесения выясняется не только определённый компонент лингвистической содержательности источника (в данном случае – его вокализм), но и роль такого фактора, обуславливающего, наряду с другими, лингвистическую информационность источника, как орфографическая выучка писца. Установление принадлежности старинной рукописи перу носителя определённого говора или наречия – самая трудная, а вместе с тем и самая важная задача, которая встаёт перед исследователем при изучении по памятникам и живой общенародной и диалектной речи. Помимо анализа представленных в рукописи отражений лингвистических явлений в соотнесении с иными, опорой при выявлении говора писца могут служить и внесённые им или каким-нибудь справщиком в рукопись исправления. Они выявляют отдельные расхождения между говором писца, с одной стороны, и общенародной речью, с другой, не говоря уже о расхождениях с языком деловой письменности.

Когда из-за невозможности изучения всей массы определённого вида источников приходится ограничиваться исследованием всего лишь какой-то доли их, в основу отбора этих текстов должно быть по-

ложено прежде всего привлечение всех основных вариантов подобного рода источников, вариантов по содержанию. Например, исследование или издание всех дошедших до нашего времени челобитных даже одного XVII в., можно сказать, немыслимо. Что касается их основных вариантов, то они в общем прослеживаются и выборочно могут быть изучены и опубликованы. При всём разнообразии их содержания они, тем не менее, образуют группы более или менее однородных в том или ином отношении текстов. Таковы челобитные о наделении землёй и связанные с земельными спорами, исковые имущественные и денежные, о пожаловании чего-либо или чем-нибудь, о розыске беглых крестьян и дворовых, по поводу разных видов бесчестья и др.

Выборочное исследование и издание таких разновидностей скорописных источников, которые дошли до нашего времени в ограниченном количестве, не может быть оправдано. Все они должны быть изучены и опубликованы. К подобному кругу источников принадлежат, например, грамотки.

Изложенные выше критерии и рекомендации, наряду с некоторыми другими, сложились в процессе осуществления в последние два десятилетия в Институте русского языка АН СССР изучения и издания скорописных памятников русского языка. Занимается этим Сектор лингвистического источниковедения и исследования памятников языка. Заметим: прежде лингвистических изданий скорописных памятников вообще не было. Намеченный сектором план изучения и публикации этих важных источников подчинён разработке наиболее актуальных проблем истории русского языка непосредственно преднационального и национального периодов. Принимая во внимание, что плодотворная разработка проблем образования национального языка и его наиболее совершенного компонента – литературного языка без выяснения строя народной речи того же времени невозможна, мы приступили к исследованию и изданию таких скорописных источников, в которых стихия этой речи представлена оптимально. В данном отношении эпистолярные тексты превосходят все другие. Поскольку грамоток сохранилось мало, а лингвистическое значение их исключительно, необходимо издание всего состава материалов частной переписки. Начало этому положено [см.: Переп. частн. лиц; Переп. Безобразова; МДБП: 15-43; Грамотки. – Отдельные письма напечатаны в источниковедческих сборниках Сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников]. В лингвистическом воспроизведении увидели свет свыше 1350 писем-грамоток. От их предшествующих публикаций, впрочем более или менее скромных, новые отличаются две особенности: во-первых, лингвистическое воспроизведение; во-

вторых, принадлежность многих грамоток перу не только менее именитых, но и простых людей.

Предстоят дальнейшие разыскания в архивах материалов старинной частной переписки и издание этих материалов. Не имевшие юридического значения, они не особенно сберегались, почему дошедшие до нашего времени их незначительные остатки несут следы существенных повреждений, отдельных утрат и ветшания. Обнародование всех этих материалов – задача не только важная, но и безотлагательная. В совокупности с берестяными грамотками, которые без всяких на то оснований почему-то именуют грамотами, они высвечивают историю самого глубинного, с точки зрения исследования языка через призму письменности, пласта живой народной речи. Уступая берестяным в древности, бумажные грамотки в сравнении с ними являются более пространными и, вследствие этого, заключают более обширную лингвистическую содержательность, причём одни лингвистически опубликованные, не говоря уже об остальных, представляют бóльшую территорию распространения русского языка, чем берестяные.

Хотя в актовой письменности живая народная речь проступает не так рельефно, как в грамотках, всё же без исследования этой письменности, понятно, наряду с эпистолярной, невозможно более или менее достаточное познание народно-разговорной стихии в её былом состоянии. Преимущество актовой письменности в том, что она, в отличие от эпистолярной, географически представляет не «оазисы», а весь массив русского языка и при этом в течение всего исследуемого периода. Кроме того, она содержит немало лексических элементов, заведомо свойственных народной речи, но вследствие тех или иных причин не получивших отражения в эпистолярных текстах или представленных в них крайне ограничено и в иных контекстуальных условиях, что небезразлично для выяснения семантики и грамматических качеств слов. В последние годы появилось несколько лингвистических публикаций материалов актового характера [см.: МДБП 1968: 44-290; Отказн.кн.южн. 1977; Пам.Ряз. 1978; Котков, 1974: 285-355; Котков 1980: 81-111].

Наряду с отражениями явлений народно-разговорной стихии актовая письменность заключает в себе и отражения строя приказного языка. Известна влиятельная роль последнего в формировании национальной языковой культуры. Поэтому исследование актовых текстов и с этой, приказной, стороны представляется равно необходимым, как и исследование по ним отражений народно-разговорной речи.

Поскольку образование централизованного государства и формирование нации возглавляла Москва, изучение старинной мос-

ковской речи, в которой лингвонациональное единство создавалось особенно интенсивно и являлось определяющим для страны, становится задачей первостепенной важности. Поэтому и предпринято было издание московских материалов XVII в. Это самые разнообразные бумаги делового содержания, написанные москвичами: челобитные, сказки, памяти, поручные записи и купчие, расспросные речи и др. Представлены и грамотки. От всех лингвистически опубликованных ранее московских текстов делового содержания, впрочем немногочисленных, лингвистически изданные в последнее время отличаются и принадлежностью, так сказать, рядовой писцовой братии, а не элите верховных канцелярий, и некоторой близостью к народному языку. Конечно, столичная писцовая братия, а также переводчики Посольского приказа и справщики Печатного двора ориентировались на московские литературные нормы, но так как последние в то время являлись в основном узуальными, в московской деловой письменности даже официального характера получали заметное отражение элементы народно-разговорной стихии, точнее, московского койне. Это обстоятельство, с одной стороны, обеспечивает широкую материальную базу изучения живой московской речи, скажем, XVII столетия, с другой – определённо затрудняет разграничение письменно-литературной и московской разговорной норм. С введением в научный оборот большего круга московских источников XVI–XVIII вв. возможность такого разграничения, естественно, будет возрастать.

В свете изложенных проблем, с учётом некоторого продвижения в исследовании старинного скорописного наследия за последние два десятилетия и в научных учреждениях, и в вузах страны более или менее определённо проступают перспективы его изучения в ближайшие два десятилетия. Главной проблемой, разработка которой должна находиться в центре внимания, остаётся проблема образования и развития русского национального языка и особенно его наиболее совершенного, литературного компонента. Разработка всех иных проблем национальной истории языка предопределяется этой главной.

Поскольку основной базой сложения русского национального языка явилась великорусская общность – язык великорусской народности, предстоит интенсивное исследование и затем лингвистическое издание ещё не знакомых историкам языка памятников деловой письменности XV–XVI вв. К ним относим прежде всего памятники московского происхождения, в которых великорусская общность выражалась наиболее рельефно, а также южновеликорусские тексты XVI столетия (более ранних нет), которые дают известное представление как

об участии в данной общности, так и о диалектном своеобразии речевого уклада южновеликорусов.

Знание былого состояния южновеликорусского наречия – одна из главных предпосылок успешной разработки проблемы формирования русского национального языка. Между тем, изучение истории этого влиятельного наречия, в отличие от северновеликорусского и средневеликорусских говоров, по данным письменных памятников только начинается. Следовательно, необходимо прежде всего развернуть широкое выявление и обследование архивных материалов южновеликорусского происхождения, изучение их, а вместе с тем и прямое, и посредством публикаций введение в научный оборот. Отставание в исследовании подобных материалов является столь значительным, что потребуются немало усилий для его преодоления. Пока имеем лишь одно лингвистическое издание южновеликорусских текстов – печатное воспроизведение некоторой части отказных книг первой половины XVII в. Кроме того, подготовлено издание таможенных книг того же времени, связанных с южновеликорусской областью. Минимальная программа включения в исследование старинных южновеликорусских текстов представляется нам в виде серии исследовательских работ и публикаций, связанных с освоением в первую очередь таких собраний источников: отказные книги второй половины XVII в.; таможенные книги XVII в. и таможенные книги Камер-коллегии XVIII в.; отписные книги первой четверти XVIII в.; десяти XVII в.; челобитные XVII в.; купчие, меновные, данные, духовные и другие частноправовые акты XVII в.; сказки и расспросные речи XVII в.; ревизские сказки первой половины XVIII в.; грамотки XVII и первой половины XVIII в. Необходимо, далее, издание разнообразных текстов делового содержания, объединяемых принадлежностью к отдельным местам и основной южновеликорусской территории – воронежским, елецким, курским, орловским – и связывающих эту территорию с Москвой и южным Подмосковьем – тульским и калужским.

В процессе изучения южновеликорусских памятников и на базе их публикаций могут быть подготовлены материалы для словаря южновеликорусской письменности XVI–XVII вв. Необходимость в таких материалах очевидна. Отсутствие их весьма ограничивает развитие исторической лексикологии русского языка, поскольку без южновеликорусских данных историческая география многих слов и их семантические характеристики оказываются неполными и потому неверными. В то же время подготовка словаря в собственном смысле этого слова, а не материалов для словаря, при слабом освоении южновеликорусской письменности XVI–XVIII вв. была бы преждевременной.

В образовании русского национального языка особая роль принадлежит центральной области Русского государства во главе с Москвой. Именно здесь выработка общенациональных лингвистических норм происходила наиболее интенсивно. Поэтому, наряду с вовлечением в исследование всё более и более широкого круга московских текстов делового содержания XVII–XVIII вв., представляется важным и освоение аналогичных источников того же времени с территории Владимирского края, который, как и Москва, унаследовал и развил лингвистические традиции древней Северо-Восточной Руси. Исследование тех и других источников позволит, с одной стороны, показать, хотя бы в основных проявлениях, состояние живой народной речи центральной области России в XVII–XVIII вв., с другой – ретроспективно выявить некоторые особенности этой речи в эпоху великорусской народности. Хотя места, соотносимые с древней Северо-Восточной Русью, оставили нам и более древние скорописные тексты делового содержания, мы всё же обращаемся к более поздним, и прежде всего к материалам XVII столетия. В сравнении с предшествующими эти источники разнообразнее и в жанровом, и в тематическом отношении, а кроме того, представлены не в списках, как многие из предшествующих, а оригиналами. Иногда в них обнаруживаем безусловно древние факты, однако, неизвестные ранней письменности. Приведём характерный пример. Со времени первого издания Псковской судной грамоты 1467 г., в которой содержится единственное употребление слов *изорник* и *изорничь*, в течение 120 лет не появлялось новых свидетельств былого существования этих слов и других, образованных от той же основы. А в ужинных книгах XVII в. Суздальского Покровского монастыря нам довелось отметить *изорные десятины*, а потом и *изоры* [и *изорницы* – Л.А.] [Котков, Савченко 1969: 216, 218]. Как видим, это прямое свидетельство существенных лингвистических связей Северо-Восточной Руси с великорусским Северо-Западом. Во владимирских текстах XVII в. обнаруживаем также отголоски связей Северо-Восточной Руси с южновеликорусской областью. Таковы, например, названия *корец* и *ночвы*, в которых обыкновенно усматривают типичные южновеликорусизмы [там же]. Словом, исследование деловой письменности Владимирского края XVII в. заметно уточняет историческое взаимодействие заключённых в его пределах говоров и с Москвой, и с северо-западным и южным регионами русского языка. Обоснованное выделение полосы средневеликорусских говоров едва ли возможно без учёта соответственных исторических данных. Не случайно намеченная в последние годы лишь по современ-



ным данным география средневеликорусских говоров не получила всеобщего признания.

Если специфика древнерусских памятников предопределяет их издание, за самыми редкими исключениями, вроде изданий древних грамот, в виде монографических воспроизведений, то специфика старорусских памятников, в подавляющей массе скорописных, предопределяет их публикацию, напротив, в виде сборников. Однако из этого не следует, что монографические публикации скорописных памятников вообще невозможны или нежелательны. Во-первых, среди скорописных текстов имеются такие, которые можно издавать лишь монографически. К ним относятся, например, литературно-художественные произведения и, порой не лишённые художественных достоинств, так называемые статейные списки, или отчёты русских послов. Во-вторых, публикация скорописных источников именно в виде сборников обусловлена в настоящее время не только их спецификой, а и тем, что введение их в исследование в виде лингвистически подготовленных изданий пока находится в начальной стадии, носит разведочный характер. На этой стадии главной задачей является предварительное «зондирование» наиболее обширной территории распространения русского языка и охват этим «зондированием» по меньшей мере основных разновидностей скорописных источников делового содержания. Когда в результате этого составится хотя и общая, но документированная картина состояния скорописного наследия XV–XVIII вв., естественно, определится круг источников, монографическое издание которых на-сущно необходимо для изучения русской лингвистической культуры данного периода.

Изучение последней непосредственно по рукописям и лингвистическим изданиям означает её исследование не только в плане языка, возможное в какой-то степени и на базе иных изданий, изданий нелингвистических, но и в плане речи – с точки зрения реализации системы языка в конкретных речевых актах его конкретных носителей. Известно, что развитие языка знаменуют явления вариативности. Для суждения об этом развитии необходимо знать, какие варианты и в каком взаимодействии сосуществовали в том или ином лингвистическом образовании – языке, наречии, говоре, и в первую очередь в пределах индивидуального речевого уклада. Такие данные наиболее надёжно документируют внутреннее развитие языка, абсолютную хронологию возникновения в нём или отмирания каких-либо явлений и отдельных фактов. В рукописи индивидуальный речевой уклад выделяется своеобразным почерком его носителя. Примечаниями выделяются почерки, а

с ними и речевые уклады писавших в лингвистических изданиях старинных текстов.

Изучение языка непосредственно по рукописям и лингвистическим изданиям имеет и другое преимущество – в них так или иначе прослеживается орфографическая выучка, а непосредственно в рукописях и графика писавших, следовательно, и степень информативности источников в передаче некоторых норм живой народной речи, особенно диалектной, не согласуемых с правописными.

Осуществление исследований в плане речи, частью и в плане языка, предполагает глубокое знание скорописи, развитие культуры её чтения, которой русисты-историки, за весьма немногими исключениями, в общем не владеют. Заметим кстати: осведомлённость в скорописи оберегает исследователей и от некритического восприятия массы опубликованных скорописных текстов, воспроизведённых в изданиях нелингвистически. Изучение старинной русской скорописи должно непременно входить в программу подготовки русистов-историков.

По мере того как прошлое, отражённое в рассматриваемых источниках, уходит от нас всё далее, всё более сложной становится смысловая интерпретация данных текстов, поскольку для этого необходимы не только лингвистические и общие исторические познания, но и конкретные представления о повседневном быте наших предков, их духовной и материальной культуре, о той совокупности предметов и понятий, обозначения которых для современных людей, в том числе и исследователей-русистов, являются глубокими историзмами, либо с недостаточно ясной, либо с неизвестной семантикой. Пока не поздно, следует приступить к созданию обстоятельного словаря русских исторических реалий и понятий. В отличие от исторических словарей, в нём, кроме значений слов, должны быть представлены и описания обозначаемых этими словами исторических реалий и понятий. Поскольку историзмов не так много, словарь не может быть обширным. По типу он представляется близким к энциклопедическим.

Изучение и введение в научный оборот скорописных памятников русского языка в их полноценном виде является одним из главных условий успешной разработки его истории эпохи национального развития и проявления некоторых моментов его состояния в древности.

**19. Об одном «освещении» изданий памятников древнерусского языка // Вопросы языкознания. – 1982. – № 4. – С. 126-131  
[соавторы – В. С. Гольщенко, В. Г. Демьянов]**

Естествен тот большой интерес, который вызывают в широких кругах лингвистов и представителей смежных специальностей лингвистические издания памятников древнерусской и старорусской письменности, подготовленные за последние годы Сектором лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР. Об этом свидетельствуют как многочисленные научные работы, построенные на материалах данных публикаций, так и рецензии на них в нашей стране и за рубежом. Авторы рецензий в целом положительно оценивают работы Сектора, вместе с тем указывают и на некоторые недостатки изданий. Критика носит позитивный, строго научный, уважительный характер, безусловно способствуя улучшению изданий. Статья М. Ф. Мурьянова «О минее Дубровского» [ВЯ 1981, № 1] занимает в этом отношении особое положение.

М. Ф. Мурьянов, с одной стороны, склоняется к мысли, что требования лингвистов, литературоведов и историков к изданиям памятников славянорусской письменности «похоже... практически несоместимы» (с. 121), с другой стороны, находит нецелесообразным «издавать один и тот же памятник одновременно трижды, чтобы один вариант служил только лингвистам, другой ориентировался на нужды поэтики, а третий был оформлен во вкусе палеографов» (с. 121). Заметим: лингвистическое издание той или иной древней рукописи без палеографического исследования абсолютно невозможно, поэтому противопоставление лингвистических изданий палеографическим по меньшей мере странно. Неужели необходимо доказывать, что для лингвистической характеристики рукописи небезразлично, скажем, то, создавалась она одним или несколькими писцами? А это, как и датирование не имеющей прямой даты рукописи, и многое другое, составляющее историю рукописи, устанавливает палеография. Издания «во вкусе палеографов» представляются нам загадочными, поскольку палеографы работают непосредственно по рукописям.

Автор статьи сочувственно цитирует мнение Г. Биркфельнера о «Правилах лингвистического издания памятников древнерусской письменности» (М., 1961), которые характеризуются как «необычно сильно склоняющиеся в историзм, придерживающиеся линии палеографической эдиционной техники» (с. 121). С нашей точки зрения, подобное сильное склонение в историзм и всемерное использова-

ние палеографии являются теми основами, без которых вообще немислимо лингвистическое издание древних текстов. Адресуя нам упрёк Г. Биркфельнера в приверженности к так называемой палеографической эдиционной технике, М. Ф. Мурьянов далее, тем не менее, вынужден признать: «именно палеографической стороной сильны наши публикации по лингвистическому источниковедению, это общепризнано» (с. 138).

По словам М. Ф. Мурьянова, Г. Биркфельнер констатировал, что наши правила «не стали основой для международной стандартизации, которая остаётся острой потребностью...» (с. 121). Между тем Г. Биркфельнер по этому поводу не предъявляет нам претензий, а лишь указывает, что несмотря на выдвижение проблемы стандартизации в работах ряда учёных и появление наших правил, вопрос о стандартизации эдиционной техники применительно к области древней славянской филологии остаётся самым актуальным и предлагает проект эдиционных правил, основанный на опыте издания античных и византийских текстов [Биркфельнер 1978]. М. Ф. Мурьянов высказывает сожаление, что проект правил, предложенный Г. Биркфельнером, в кругу русистов не вызвал отклика, а вместе с тем и сам сомневается в пригодности данных правил. «Возможно, – признаётся он, – венский проект недостаточно реалистичен, – например, тем, что сформулирован он на неславянском языке, а критический аппарат к древнему тексту в нём предлагается писать по-латыни...» (с. 121). Обратимся к этому проекту. Хотя Г. Биркфельнера не удовлетворяет наша ориентация на палеографическую эдиционную технику, и он не в состоянии обойтись без помощи палеографии, если предполагает отмечать характерные особенности письма каждого писца и указывать ошибки чтения [Биркфельнер 1978: 23]. Упрекая нас в приверженности к палеографической эдиционной технике, Г. Биркфельнер никак не аргументирует преимущество иной (редуцированной в палеографическом отношении?) эдиционной техники. Точно так же обстоит дело и относительно вменяемого нам сильного склонения к историзму: необходимость его редукации тоже не объясняется. Положения, лишённые обоснования, естественно, не могли послужить предметом научного обсуждения, почему и не вызвали отклика со стороны источниковедов-русистов.

А вообще говоря, проект Г. Биркфельнера не свободен от таких решений, которые вряд ли согласуются с точностью воспроизведения текста. Назовём хотя бы удаление из текста всех надстрочных знаков, включая ударения и титла; их начертания и функции рекомендуются описывать во введении [там же: 24]. Неприемлемо и привнесё-

ние в текст современной пунктуации: прямая речь, полагает Г. Биркфельнер, может выделяться в тексте апострофом [там же]. Снижает эдиционную точность и правило, по которому сокращения в тексте в основном раскрываются и восстанавливаются с учётом данных языка основного текста [там же]. Неясно, почему раскрытие сокращений производится только в основном. Усматривая в наших эдиционных деяниях некую «закрытость», М. Ф. Мурьянов провозглашает: «Проблема единых правил должна открыто обсуждаться, а будучи принятыми, правила, в силу живого, творческого характера науки, должны играть роль не догмы, а руководства к действию» (с. 121). В ответ на этот риторический пассаж позволительно напомнить, что, например, наши «Правила» в своё время открыто обсуждались и 20 лет назад были опубликованы, стали достоянием научной общественности. Мы далеки от мысли, что они безупречны и не нуждаются в совершенствовании. Однако так называемое совершенствование за счёт отхода от историзма и глубоких палеографических исследований, с нашей точки зрения, снижает уровень эдиционных работ. А если говорить о единых правилах, способных удовлетворить лингвистов, литературоведов и историков, то сетования нашего оппонента должны быть адресованы, помимо нас, и к этим специалистам.

Призывая нас к современным решениям, вроде редукции историзма и палеографии в издании древних текстов, М. Ф. Мурьянов далее объявляет основную задачу своей статьи: «... прежде чем выдвигать те или иные требования к смежным дисциплинам, самокритично посмотрим, нет ли недостатков в осуществлённых лингвистических изданиях...» (с. 121). Заранее скажем: есть. В то же время внесём необходимые уточнения: требования к смежным дисциплинам (подразумевается: с нашей стороны) известны лишь автору приведённой цитаты, а самокритичное рассмотрение недостатков лингвистических изданий ему совершенно недоступно, так как памятников письменности он не издавал. Следовательно, рассмотрение является исключительно критическим, обращённым только к нам.

К сожалению, кроме верных суждений, в статье М. Ф. Мурьянова немало и таких, которые представляются спорными.

Вызывает недоумение, что «качество издания текста» рассматривается на примере статейной публикации, которая таким образом преподносится как образец наших изданий памятников.

Предлогом для написания статьи послужила небольшая публикация Е. Э. Гранстрем [см.: Гранстрем 1971], вышедшая в свет десять лет назад. Представленные в статье древние тексты занимают всего 17 страниц малого формата. Публикация преследовала скромную

цель. «Считаем полезным, – сообщалось в ней, – опубликовать в сопоставлении с греческим оригиналом фрагмент минеи на июнь месяц, XI в.» [Гранстрем 1971: 25].

Словно читая мысли редактора, включившего минейный фрагмент в сборник, М. Ф. Мурьянов информирует научную общественность: «Минея Дубровского, насчитывающая 15 листов пергамента, слишком мала, чтобы стать содержанием книги обычного объёма, но и слишком велика, чтобы вписаться в статью. Было принято промежуточное решение – издать в виде статьи часть Минеи...» (с. 122). Таким нехитрым способом частичное освещение фрагмента Минеи (в отношении к греческим параллелям) превращается в её обстоятельное издание. Иначе как некорректным приёмом это не назовёшь. В публикации фрагмента Минеи наш критик обнаруживает такой дефект, как отсутствие палеографического описания (с. 138), очевидно, забывая на сей раз о своём равнодушном отношении к палеографии и не понимая того, насколько ошибочным может быть палеографическое описание рукописи по фрагменту в сравнении с описанием всей рукописи. Особое негодование критика вызывает то, что Е. Э. Гранстрем привела греческие параллели не ко всем строфам фрагмента Минеи. Мы не видим в этом криминала. Странно, что при всей библиографической оснащённости статьи М. Ф. Мурьянова автор умалчивает о большой работе, проделанной советскими учёными по изучению рукописных минейных текстов [см., например: Момина 1976 и Рогов 1973], хотя пройти мимо этих работ, изучая Служебные минеи, в настоящее время уже нельзя.

Удивительно, что приведение в публикации Е. Э. Гранстрем параллелей из рукописей ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина [ныне–РНБ], а не из печатных изданий, не заслуживает одобрения критика. «Четыре опознанных текста, – заявляет он категорически, – не было нужды искать в рукописях...» (с. 123). Разве введение в науку новых рукописных источников из отечественных хранилищ перестало быть достоинством?

Обращаясь к нашим изданиям, М. Ф. Мурьянов указывает на частные моменты в правилах воспроизведения и комментирования текста. Поводом для критики, обращённой ко всем лингвистическим изданиям памятников, осуществлённым Институтом русского языка АН СССР, оказываются: употребление пометы *так в ркп.*, неприменение строчных букв в именах собственных и знака переноса в изданиях древнейших текстов. Едва ли можно согласиться с рекомендациями М. Ф. Мурьянова в отношении введения в публикации древних памятников прописных букв, знака переноса и сокращения случаев употреб-

ления пометы *так в ркп.* Во всяком случае, эти детали эдиционного воспроизведения древних текстов получили признание со стороны специалистов и нареканий не вызывают.

Отсутствие знака переноса в изданиях древних текстов, передаваемых строка в строку, а также воспроизведение, в соответствии с рукописной традицией, имён собственных со строчной буквы даёт повод автору статьи предостерегать научную общественность: блюстители «палеографической точности» могут довести дело до издания без деления текста на слова (с. 140). Между тем, эти детали эдиционного воспроизведения древних текстов согласуются с их словоделением. Абсурдность предположения об издании сплошного текста наборным способом очевидна.

Что касается употребления пометы *так в ркп.*, то она далеко не всегда означает ошибку писца, как полагает М. Ф. Мурьянов (с. 139), а выполняет и другую, не менее существенную функцию – предварительно ориентирует исследователя в некоторых лингвистических особенностях текста. Поэтому мы не можем согласиться с исключением этой пометы вообще, как рекомендует поступить М. Ф. Мурьянов, ссылаясь на опыт публикаторов античных и византийских текстов, которые идут по этому пути, «более экономному» (с. 139). Применение подобной экономии при издании древнерусских текстов мы не находим целесообразным. В этих текстах, даже переводных, ощущаются многообразные связи с живой историей языка, а проявления последних требуют более детального комментирования. Предлагается нам и другой выход: проставлять *так в ркп.* «при каждой мелочи» (с. 139). Полагаем, однако: реальность «мелочей», которые в рукописи повторяются или обнаруживают известную регулярность, в подтверждении пометой не нуждаются.

Статья М. Ф. Мурьянова обнаруживает недостаточные познания автора в вопросах славянской палеографии. Только этим можно объяснить скептическое отношение его к тому вниманию, которое издатели Выголексинского сборника [Выг.сб.: 45–46] уделяют *o* очному (с точкой внутри) и *o* с крестиком внутри, включая их, в соответствии с традицией, в перечень букв, употребляемых в рукописи. Дело в том, что в Выголексинском сборнике *o* очное и *o* с крестиком так же, как и  $\omega$ , встречаются только в начале слова и, таким образом, вопреки мнению М. Ф. Мурьянова, не связаны с *o* «микронном» (с. 122). Следует также иметь в виду, что случаи употребления в рукописях *o* и  $\omega$  могут служить материалом для фонетических исследований [см., например, Зализняк 1978].

В написании «и сиона» М. Ф. Мурьянов усматривает «позиционно закономерное выпадение оглушённого з перед с-» (с. 139). Неясно, что «позиционно закономерно» в этом случае для М. Ф. Мурьянова – «выпадение» или оглушение з перед с? На самом деле в написании *и сиона* отражён результат регрессивной ассимиляции на стыке двух слов: предлога *из* и словоформы *сиона* (род. ед.). Исходя из этого, о выпадении звука не может быть речи, т. к. в соответствии с з с в данном случае, полагаем, произносился как долгий с. В этом случае можно говорить о «выпадении» только буквы з.

Строго спрашивая с других публикаторов и призывая их к самокритичности, М. Ф. Мурьянов в то же время сам допускает неточности в воспроизведении древних текстов.

Упрекая Е. Э. Гранстрем в нескольких допущенных ошибках, в число которых, можно думать, входят и опечатки, например, глы вм. глы, где титло исчезло, скорее всего, по вине типографии, М. Ф. Мурьянов сам допускает неточности в воспроизведении текста. Цитируя текст ещё не изученной ни палеографически, ни лингвистически Служебной Минеи XI–XII вв., М. Ф. Мурьянов не соблюдает единства при воспроизведении аналогичных написаний с выносными буквами. В одном случае выносное с просто внесено в строку и не выделено при этом курсивом – быс (с. 130), в другом – сохранено выносное в в междустрочье, а рядом, справа от него помещено титло: **извъѣстова** [над о напечатано в под титлом в слове **извъѣстова** – Л.А.] (с. 138). Кстати, титло, которое должно было бы стоять над словом **быс**, в другом случае оказывается над написанным полностью, без сокращения, словом мѣсть, являющимся предметом многостраничного рассуждения автора. Понимает ли М. Ф. Мурьянов, что такая «опечатка», как **мѣсть** вм. мѣсть, гораздо серьёзнее, нежели глы вм. глы?

Недостаточная осведомлённость в вопросах соотношения оригиналов и списков в древней славянской письменности приводит М. Ф. Мурьянова к предположению, от которого он сам, естественно, приходит в ужас: «Богоматери приписано желание мести – ошибка в догматическом отношении чудовищная...» (с. 129). Основание для такого предположения послужило написание мѣсть [ГИМ, Син. 167: 67] вместо мѣсть. Объяснение этого следует искать скорее всего в орфографии одноеревой южнославянской рукописи, которая могла послужить оригиналом древнерусского списка. Следовательно, **мѣсть** можно понимать как **мѣсть** «муст», а не «мѣсть».

Происхождение отдельных написаний М. Ф. Мурьянов выводит из ошибок диктанта (с. 135-136). В связи с этим напомним известные всем, кто работает с рукописными источниками, слова Д. С. Лиха-



чёва: «В древней Руси, как и в Западной Европе, писцы сравнительно редко писали под диктовку. Когда-то под диктовку писали писцы античных имперских канцелярий. По свидетельству автора Федора Студита, последний также диктовал свои произведения. Можно предполагать, что частично диктовал свои произведения Иван Грозный. Но по большей части писцы переписывали текст не со слуха, а имея перед глазами оригинал или даже несколько оригиналов» [Лихачёв 1962: 59–60]. И далее: «Именно путём “внутреннего диктанта” в текст проникают специфические изменения, которые могут навести на мысль неопытного текстолога, что писец писал “со слуха”» [там же: 70].

Укажем случаи терминологической неточности в отношении понятий, связанных с древней письменностью.

Непонятно, что означает выражение «обычный алфавит» (с. 121), употреблённое в рассуждении о Выголексинском сборнике, рукописи, написанной в XII в., в эпоху становления и развития древнерусской графики и орфографии. Неясно, в каком значении употребляется выражение «греческий первоисточник» (с. 124) в отношении отдельных феотокионов Служебной Миней Дубровского.

Вызывает сомнение привлечение М. Ф. Мурьяновым некоторых источников. Он находит, например, опору в письме зарубежного коллеги, который, по собственному признанию, «не понимает церковнославянски» (с. 135).

Ошибки и тем более многие недостатки рассматриваемой статьи могли быть устранены на редакционной стадии её подготовки, но этого, к сожалению, не случилось.

Обратим внимание хотя бы на следующее невнятное высказывание автора: «В русских условиях **виноград** стал обозначать любой фруктовый сад, а **вино** – напиток, изготовленный не только из винограда, лишь бы он был алкогольным, в том числе и так называемое хлебное вино, под которым разумеется водка. Возможно, этот вербальный сдвиг заменил передвижение границы виноградарства на север, которое имело место в средневековой Западной Европе под давлением церковной потребности в нефальсифицированном литургическом вине, когда нельзя было полагаться на бесперебойную дальнюю доставку» (с. 131-132). Замена вербальным сдвигом реального передвижения границы виноградарства вызывает недоумение.

Заметим здесь же, что в рассматриваемой статье имеется очень много рассуждений по поводу фактов, имеющих лишь ассоциативную связь с предметом изложения, но чаще всего вообще не имеющих к нему никакого отношения. Например, в примеч. 117 на с. 139 М. Ф. Мурьянов пишет: «Написание и сиона “из Сиона”... Конечно,

позиционно закономерное выпадение оглушённого *з* перед *с* – мешало и мешает пониманию синтаксической связи, визуально и на слух, связи очень важной – ведь Сион есть **пипъ земли** (Иез. 38, 12)».

Ошибка в словоделении **мъстьми** даёт повод автору занять 9 страниц журнала рассуждениями об истории виноделия, затрагивающими детали, не имеющие отношения к толкованию значения слова *вино* в данном контексте [см., например, примеч. 82]. Поскольку внимание автора сосредоточено на древнейшем периоде письменности (автор упоминает о «славянских переводчиках»), остаётся непонятным, к какому времени он относит определение слова *вино* как «водка»: автор статьи ссылается при этом на «Словарь русского языка XI–XVII веков» [вып. 2. – М., 1975], в котором данное значение иллюстрируется примерами XVI–XVII вв., взятыми из памятников не литургических.

В подкрепление своих положений автор зачастую ссылается на мнение авторитетных специалистов, не затрудняя себя порой проникновением в существо излагаемых ими мыслей. В. М. Жирмунский в статье «О границах слова» [ссылку на неё см. на с. 140] обсуждает общие вопросы, связанные с изучением слова как единицы языка в языках различных типов [см.: Жирмунский 1976]. Вопрос же о графических границах слова (какое написание принять – слитное или раздельное) применительно к практическому эдиционному решению (а именно его касается М. Ф. Мурьянов) нуждается в обсуждении не в общем плане, а в конкретно-исторических, сопоставительно-грамматических данных. Ссылка М. Ф. Мурьянова на работу Ф. П. Филина [см.: Филин 1972] для подтверждения того, что словоформа *силою* вместо *солю* в текстах Минеи XI–XII вв. – один из ранних украинизмов, бьёт явно мимо цели (с. 135). Ф. П. Филин пишет о раннем удлинении *о* и *е* в новых закрытых слогах, а не их качественном изменении. Если бы М. Ф. Мурьянов ознакомился целиком с разделом о судьбе исконных *о* и *е* в новых закрытых слогах, то его, несомненно, заинтересовало бы вполне определённое замечание Ф. П. Филина: «Первый более или менее надёжный пример передачи *i* на письме приводит А. Е. Крымский: *иткиль* (= *відкіля*) (буковинская грамота 1436 г.)» [Филин 1972: 225], и он не стал бы искать эту передачу в памятниках XI–XII вв. Ссылаясь на «Славянскую кирилловскую палеографию» Е. Ф. Карского [Л., 1928], М. Ф. Мурьянов приписывает ему понимание *о* очного и *о* с крестиком как разновидностей «одной и той же буквы» (с. 122). Между тем Е. Ф. Карский, отмечая случаи их употребления в памятниках славянорусской письменности, не определяет их функций. Такие отрывочные цитаты из высказываний отдельных учё-

ных, изолированные от широкого контекста, способны лишь ввести в заблуждение читателей.

Упрёки к нашим изданиям нередко сформулированы таким образом, что читатель получает неверную информацию о действительном положении вещей. К примеру: «В самом тексте Изборника указано, что... выражение является цитатой из Иезекииля, а в аппарате дан греческий текст – по парафразе у Миня, без более правильного привлечения Септуагинты, которая точнее соответствует славянскому тексту...» (с. 132). При таком изложении остаётся скрытым тот факт, что греческий текст по Миню приведён не специально к библейской цитате, а к отрывку из произведений Иоанна Златоуста, где процитирован текст Иезекииля [см.: Изб. 1076 г.: 803].

В заключение считаем необходимым сказать, что доброжелательная критика, какой бы строгой она ни оказалась, вызовет у всякого учёного чувство благодарности. Как видим, статья М. Ф. Мурьянова несколько иного свойства.

**20. Источниковедческие исследования и научное издание памятников в области русского языка // Источники по истории русского языка XI–XVII вв. – М., «Наука», 1991. – С. 3-14.**

Формирование лингвистического источниковедения прежде всего на базе русистики, а если говорить точнее, на базе истории русского языка было предопределено и состоянием данной истории языка, и некоторыми сопутствующими обстоятельствами филологического и внефилологического характера. Исследование истории русского языка в последние десятилетия со всей очевидностью показало, что решение её основных проблем в значительной степени зависит не только от совершенствования методов изучения, но и всемерного расширения круга используемых источников, а также и более глубокого, специального их изучения.

Обратимся к проблеме формирования литературного языка восточных славян древнерусской эпохи. Ограниченность источниковой базы, в основном церковнославянской, на которой обычно строятся те или иные концепции сложения данного языка, не позволяет убедительно аргументировать роль восточнославянской стихии в указанном процессе. Между тем, возможности аргументирования этой роли не только далеко не исчерпаны, но, если говорить точнее, в сущности, мало использованы. Исследования Л. П. Жуковской показали, насколько они значительны даже в таких классических текстах церковнославянского характера, как многочисленные евангелия [см.: Жуковская 1976].

Сменившая древнерусскую эпоха эпоха великорусской народности в её конкретных проявлениях в истории русского языка в более или менее целом виде всё ещё не представлена, чему в немалой степени мешает отсутствие лингвистических изданий памятников этого периода и недостаточная осведомлённость русистов в его рукописном наследии.

Объективная разработка проблемы образования русского национального языка длительное время сдерживалась тем, что старинные тексты, происхождение которых связывалось с южновеликорусской областью, за самыми малыми исключениями, оказывались вне поля зрения историков, а русистам в рукописном виде были неизвестны. Вследствие этого изучение процесса сложения русского национального языка традиционно строилось на базе северновеликорусского наречия и средневеликорусских говоров. Участие в этом историческом процессе южновеликорусского наречия должного освещения не получало. Указанное обстоятельство препятствовало и выяснению геогра-

фии отдельных слов, фонетических и грамматических явлений, а вместе с тем, в некоторых случаях, и выявлению их генетической принадлежности к тому или иному лингвистическому образованию – языку, наречию, говору.

Возможности для существенного расширения круга исследуемых источников и их специального изучения со стороны лингвистической содержательности и лингвистической информативности в нашей стране не особенно благоприятны. В архивохранилищах России отложилось огромное количество старинных русских рукописей и старинных печатных текстов, располагают подобного рода материалами и хранилища других республик. Отечественная русская филология накопила богатый опыт интерпретации и издания памятников письменности и языка.

Возникновение лингвистического источниковедения в связи с необходимостью решения едва ли не самых основных вопросов истории русского языка вовсе не означает, что его применение ограничивается данной научной областью. Нуждаются в источниковедческом анализе и тексты, составляющие материальную базу исследований современного русского языка, причём, представленные не только в графических, но и в инструментально-физических запечатлениях. Полное отсутствие в области исследований современного русского языка (за самыми редкими исключениями) источниковедческого аспекта в известной мере объясняется тем, что восприятию учёного-современника русский язык, помимо источников, доступен и в живом исполнении, а это как будто само собой позволяет исследователю обходиться без такого специального анализа.

Можно думать, со временем лингвоисторический аспект утвердится в исследовании и других языков, а также станет предварительным условием машинной обработки лингвистических материалов, особенно извлекаемых из памятников письменности, поскольку для введения их в машину необходимо выполнение большой подготовительной работы и с точки зрения отбора их по тем или иным признакам, и с точки зрения обеспечения определённой кодификации предназначенного для машинной обработки материала.

И состояние истории русского языка, и осознание назревших задач лингвоисторического плана в науке о русском языке вообще привели в последние годы к необходимости развития лингвистического источниковедения. С этой целью по нашей инициативе, при содействии академика В. В. Виноградова, в Институте русского языка АН СССР был создан Сектор лингвистического источниковедения и исследования памятников языка, носивший до 1967 г. название Сектор

библиографии, источниковедения и издания памятников. Со времени создания сектора (в 1958 г.) прошло более 25 лет. Есть основания подвести первые итоги его деятельности и с учётом реальных возможностей наметить его ближайшие перспективы как в области теоретических исследований, так и в области научного издания источников, в первую очередь древнерусских и старорусских памятников.

Разработаны теоретические основания лингвистического источниковедения, получили определения предмет и метод этой науки, понятия «лингвистическая содержательность», «лингвистическая информационность» и нек. др. [см.: Котков 1964: 3-13; он же, 1968: 140-143; он же, 1977: 51-58; он же, 1980: 5-16].

Обращение к источниковедческому аспекту в связи с историей русского языка выразилось прежде всего в обращении к филологам с вопросом: издание каких памятников языка было бы особенно актуально? Обзор многочисленных ответов был опубликован [см.: Жуковская, Котков 1960: 134-140] и послужил известным ориентиром при выборе впоследствии для публикации древнерусских памятников. Изучение опыта публикации древнерусских текстов подготовило составление Правил лингвистического издания памятников древнерусской письменности [Правила 1961]. Правила были составлены О. А. Князевской под руководством и при участии С. И. Коткова. Ограничение названных правил областью древнерусской письменности обуславливалось отсутствием в то время в отечественной науке о русском языке опыта лингвистических изданий памятников более поздней поры, которые, в отличие от древнерусских, являются в основном скорописными. Несколько слов по поводу определения наших изданий как лингвистических. Оно отграничивает наши издания от эдиционных воспроизведений рукописных текстов, осуществляемых историками и специалистами по древней литературе. Многие из этих воспроизведений не свободны от тех или иных упрощений в передаче указанных текстов, вплоть до привнесения в них современной пунктуации, и поэтому не вполне пригодны для лингвистических исследований. Не обладают они и некоторыми необходимыми для лингвистов комментариями, не раскрывают «технологии» исправлений и т. д. Для успешных исследований по истории языка означенное различие изданий представляется чрезвычайно существенным. [Вошедшее в научный оборот свыше двух десятилетий назад понятие «лингвистическое издание» не подвергалось сомнению. Лишь недавно оно вызвало такое риторическое замечание: «Почему у византологов не существует так называемых лингвистических изданий памятников, практикуемых русистами? Нет их, кстати сказать, и у латинистов, и у романо-

германистов, хотя наука о греческом, латинском, романских, германских языках существует и чувствует себя неплохо». *Мурьянов М. Ф.* Ещё раз о Минее Дубровского // Вопросы языкознания. – 1982. – № 5. – С. 90]. Не возвращаясь к тому, что было сказано о лингвистических изданиях, обратим внимание нашего оппонента на мнение специалиста относительно положения дел в издании памятников латинского языка: «...нередко грешат и современные издатели, чрезмерно нормализуя тексты и устраняя из них интересные лингвистические явления» [*Тронский И. М.* Очерки из истории латинского языка. – М.:Л., 1953. – С. 11]. Как видим, усовершенствование изданий актуально не только для русистов.

Возобновлению, после тридцатилетнего перерыва, изданий древнерусских памятников предшествовала палеографическая подготовка сотрудников сектора в семинаре выдающегося специалиста по древнерусской письменности М. В. Щепкиной, изучение старинной русской скорописи и ознакомление с полиграфическим производством.

Известно, что большинство древнерусских памятников представляет собою списки, при том в значительной своей части переводных произведений. Естественно, перед нами встал вопрос: что и как издавать – текст того или иного произведения, история сложения которого представлена многими списками, следовательно, с приложением разночтений, или тот или иной конкретный список, конкретную рукопись? В первом случае издание приобретает характер филологического, во втором, в отличие от первого, остаётся в основе своей лингвистическим, поскольку привлечение разночтений к воспроизведению данной, конкретной рукописи не имеет самостоятельного значения в плане познания истории текста, а выполняет вспомогательную роль, помогая уяснению тёмных мест лишь данной, воспроизводимой рукописи. Признавая возможность и необходимость осуществления изданий первого типа, мы всё же избрали первоочередной подготовку изданий второго типа. Это было обусловлено и стремлением к более интенсивному введению в науку о русском языке важнейших древних источников, и возможностями сектора. К сожалению, осуществление намеченных изданий не обеспечивалось кириллическим набором и они выполнялись в основном средствами современной графики.

Первым в серии подготовленных в Секторе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка изданий древнерусских памятников явилось издание Изборника 1076 г. [см.: Изб. 1076]. [За два года до выхода Изборника появилась осуществлённая в Секторе истории русского языка и диалектологии публикация: Смоленские грамоты XIII–XIV веков / Подгот. к печати Т. А. Сумникова,

В. В. Лопатин. Под ред. Р. И. Аванесова. – М., 1963 – Смол.гр.]. Это самый ранний памятник не столько церковнославянского, сколько древнерусского языка. Ещё в конце прошлого века [XIX века – Л.А.] Изборник был дважды издан В. Шимановским, но совершенно неудовлетворительно – сверка этих публикаций с рукописью выявила около двух тысяч ошибок. Неоднократно подправленный текст рукописи нуждался в оптико-фотографическом исследовании. Такое исследование рукописи при её лингвистическом издании выполнено впервые в нашей стране в лаборатории консервации и реставрации документов АН СССР [Ленинград] Д. П. Эрастовым при участии В. С. Голышенко. В составе издания – воспроизведение текста, некоторые греческие параллели, очерк истории изучения Изборника, палеографическое описание и сведения об оптико-фотографическом исследовании рукописи, указатель слов и форм и снимки отдельных страниц рукописи.

Затем последовало издание Синайского патерика XI–XII вв. [см. Патерик Син.], в котором выразительно представлена стихия древнерусского языка в её взаимодействии со старославянской. Воспроизведению текста предшествуют палеографическое описание рукописи и сведения о греческом оригинале. В прошлом была опубликована лишь четвертая часть патерика, причём с немалым количеством ошибок.

В своё время А. А. Шахматов и П. А. Лавров предприняли попытку издания Успенского сборника XII–XIII вв. [см.: Сборник XII в.], заключающего не только переводные, но и первые на русской почве оригинальные житийные произведения. Была опубликована примерно третья часть рукописи. Интересы науки требовали полного издания сборника. В 1971 г. его печатное воспроизведение поступило в научный оборот [см.: Усп.сб.]. Помимо текста, в его составе – введение, указатель слов и форм и снимки отдельных страниц рукописи.

Следующим печатным воспроизведением древнерусского текста явилось издание Выголексинского сборника XII в. [см.: Выг.сб.], состав которого образуют жития Нифонта и Феодора Студита. В полном виде сборник прежде не издавался. В нашу публикацию вошли обстоятельное палеографическое описание рукописи, древнерусский текст и, кроме того, фрагмент греческого текста, а также указатель слов и форм и снимки отдельных страниц рукописи.

Первостепенным научным предприятием явилось издание к IX Международному съезду славистов Мстиславова евангелия, подготовленное Л. П. Жуковской, Л. А. Владимировой и Н. П. Панкратовой и напечатанное кириллическим набором. Этот выдающийся источник, являющийся украшением ГИМа, написанный около 1115 г., издан в полном виде впервые [см.: Мст.ев.].



Специфика древнерусских материалов predeterminedила монографический тип изданий, приемлемый и для более поздних текстов переводных сочинений и оригинальных художественных произведений. Примечательным памятником подобного рода, памятником русского языка и русско-польских культурных связей является Назиратель – русский перевод XVI в. с польского издания сочинения по сельскому хозяйству Петра Кресценция, переведённого в свою очередь в Польше с латинского. Издание единственного списка этого произведения появилось в 1973 г. [см.: Назиратель].

Материалы XVI–XVIII вв. значительно отличаются от древнерусских и по характеру содержания (во многом – деловые тексты), и по характеру письма (за малой частью – скоропись). Количество их огромно. Вследствие этого они не могут быть опубликованы полностью, возможно лишь выборочное их издание и при этом за немногими исключениями (монографические издания художественных, дневниковых и важнейших актов текстов), в виде сборников материалов, объединённых либо временем, либо локальной принадлежностью, либо в жанровом отношении, или одновременно по двум или трём из этих признаков.

Начало серии таких сборников и вообще лингвистических изданий старорусских текстов делового содержания (прежде тексты такого рода издавали только историки) положила обширная публикация писем-грамоток [см.: Переп. частн. лиц], оптимальных источников по истории народно-разговорного языка. Затем появились ещё две книги подобных материалов [см.: Переп. Безобразова и Грамотки]. С учётом всех изданий сектора за последние два десятилетия напечатано до 1480 писем-грамоток. Обращение к данному кругу источников обусловлено было тем, что в отечественной и особенно в зарубежной русистике ещё влиятельным было сомнение в какой бы то ни было возможности исследования живой народной речи в её былом состоянии по памятникам деловой письменности, а между тем выяснение процесса образования русского национального языка и его наиболее совершенного компонента – языка литературного – без этого немыслимо, поскольку и национальный в целом и литературный языки формировались прежде всего на базе живого народного языка и в то же время в качестве особых, отличных от этого языка образований.

Вторую после грамоток, эдиционную серию составляют материалы того же времени актового характера. Наиболее ранние представлены оригиналами и списками, связанными с историей Рязанского края [см.: Пам. Ряз.]. Две книги актовых материалов в сочетании с эпистолярными дают известное представление о состоянии московской

речи в XVII–XVIII вв. [см.: МДБП, Пам.Моск.]. Материалы книг свидетельствуют: Москве в то время уже было свойственно определённое речевое единство, существовало московское койне. Установление этого особенно важно для выяснения процесса формирования русского литературного языка в целом и в особенности устной его разновидности.

Как известно, история русского языка национального периода традиционно строилась без учёта памятников южновеликорусского происхождения, а потому была неполной и вследствие этого односторонней. Восполнению её существенными южновеликорусскими данными служит двухтомное издание южновеликорусских текстов первой половины XVII в. [см.: Отказн.кн.южн., Там.кн.южн.].

Значительно расширяет возможности изучения публицистического стиля четырёхтомное издание вестей-курантов, представляющее данные источники в пределах первой половины XVII столетия [см.: Куранты]. Не будет ошибкою сказать, что эти хроникальные тексты вышли в свет впервые, поскольку в прошлом их было напечатано всего лишь несколько страниц.

С точки зрения ретроспективного изучения языка великорусской народности имеют первостепенное значение показания текстов делового содержания XVII столетия, написанных во Владимирском крае, составляющем ядро территории указанной народности. Сборник текстов подобного рода вышел в свет [см.: Пам.Влад.].

В состав старорусских изданий-сборников, помимо лингвопалеографических и текстологических комментариев к текстам, обыкновенно входят указатели слов, а при наличии соответственных сведений, и указатели писцов (первый опыт в русистской эдиционной практике) и, кроме того, снимки отдельных страниц рукописей.

Одновременно с монографическими изданиями древнерусских текстов и публикациями в виде сборников текстов старорусских выходили сборники по лингвистическому источниковедению [см.: Сб.статей]. Содержание сборников составляют статьи по проблемам этой научной дисциплины, вопросам эдиционной теории, исследования и обзоры древнерусских и старорусских памятников, материалы по истории русской письменной культуры, заметки по палеографии, воспроизведения некоторых старинных текстов и др.

В общем в наших изданиях впервые представлены научно выверенный текст Изборника 1076 г., научно подготовленные полные тексты Синайского патерика, Успенского и Выголексинского сборников, а также текст Назирателя. Впервые опубликованы обширные собрания грамоток, писанных простыми людьми, обширные собрания вестей-курантов, тексты, принадлежащие перу москвичей XVII–

XVIII вв., удовлетворяющие требованиям лингвистического исследования памятники южновеликорусского происхождения, тексты, связанные с Рязанским краем XV–XVI вв. По страницам источниковедческих сборников учёные имеют возможность ознакомиться с такими разнообразными лингвистическими источниками, как новгородские надписи-граффити, описания бортных угодий, книги Денежного стола, статейные списки, порядные, сельскохозяйственные книги, гадательная книга, описная книга Оружейной палаты, книги городского дела, новгородские документы, хранящиеся в Упсале (Швеция), дневник участника русского посольства в страны Западной Европы в конце XVII в., экономические примечания и ревизские сказки XVIII в. и др.

С разработкой проблем лингвистического источниковедения и вопросов научной эдичии, с возрождением [на новых основаниях] издания древнерусских памятников и началом лингвистического издания текстов старорусской эпохи наметилось определённое оживление в исследовании некоторых важных аспектов истории русского языка. Это выразилось прежде всего в появлении многочисленных работ, основанных на наших изданиях и в несколько меньшей степени – непосредственно на рукописных материалах, а также в проведении на филологических факультетах соответствующих спецкурсов и спецсеминаров. Это выразилось и в некотором расширении исследований в области древнерусского языка, а также в признании значительной роли письменности делового содержания в формировании русского национального языка и его наиболее совершенного компонента – литературного языка и, кроме того, в известном пересмотре традиционной точки зрения, согласно которой в XVII в. говорили по-русски, а писали по-церковнославянски. Получило определённое признание документированное нашими материалами и показанное в исследованиях существенное участие в формировании русского национального языка в XVII–XVIII вв. южновеликорусского койне. Изучение старинных рукописей в плане языка начинает дополняться изучением в плане речи.

Имея в виду означенные итоги и основные аспекты деятельности сектора, мы и намечаем на ближайшие годы и виды работ, и их последовательность.

Сосредоточение внимания сектора на истории русского языка обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, решение кардинальных проблем его исторического развития, как было сказано ранее, определённым образом зависит от целенаправленного выявления и специальной, источниковедческой, интерпретации соответствующих источников. Во-вторых, изучение старинных источников не только в плане языка, но и в плане речи, которое у нас, можно сказать, бы-

ло предано забвению, возможно лишь непосредственно по рукописям. В-третьих, культура изучения памятников русского языка в их первоизданном, рукописном виде вот уже в течение полувека, начиная с тридцатых годов [XX века – Л.А.], всё более и более угасает и нуждается не только в возрождении, но и всемерном расширении и усовершенствовании. Поэтому изучение памятников языка в их непосредственном, рукописном виде и входит в программу работы сектора. Уместно напомнить: все корифеи отечественной науки о русском языке занимались исследованием старинных рукописей и изданием древнерусских памятников, печатные воспроизведения которых служили в то время образцами для учёных других стран. Назовём имена А. Х. Востокова, И. И. Срезневского, И. В. Ягича, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, В. Н. Щепкина, Е. Ф. Карского. Работа по источниковедению в области истории русского языка должна продолжаться и в будущем.

Готовится научная публикация «Изборника Святослава 1073 года». Изданный фотолитографически Обществом любителей древней письменности в 1880 г. памятник нуждается в более точном воспроизведении. К тому же изданный всего в 260 экземплярах он давно стал библиографической редкостью [В 1983 г. вышло в свет факсимильное издание «Изборника Святослава 1073 года» тиражом 3000 экз. – прим. ред.]. Составляющий принадлежность ГИМа «Изборник Святослава 1073 года» – произведение древней мысли исключительного значения, своеобразная энциклопедия тех времён. Насущно необходимым является не только научное воспроизведение обширного текста Изборника, но вместе с тем и полный указатель слов к нему. [В 1991 г. Изборник издан строка в строку гражданским шрифтом в Болгарии в Софии, см.: Изб. 1073 г. Соф. – Л.А.].

В известной мере энциклопедична Книга Козмы Индикоплова, в списке конца XV в., хранящаяся также в ГИМе. Подготовка к изданию этого сочинения с полным указателем слов и форм осуществляется в настоящее время. [«Книга нарицаемая Козьма Индикоплов», подготовленная В. С. Гольщенко и В. Ф. Дубровиной, вышла в Москве в 1997 г. – Л.А.].

Введение в научный оборот названных источников – основная программа сектора в области древнерусских исследований. Освоение филологической наукой названных древнерусских текстов обещает быть особенно плодотворным не только в лексико-фразеологическом отношении, но и с точки зрения освещения переводческой культуры славян. Древнерусская проблематика найдёт достойное место и в последующих источниковедческих сборниках. Источниковедческое содействие исследованию древнерусского языка представляется особен-

но актуальным, если учесть, что в полемике с нашими идеологическими противниками по вопросам образования в Древней Руси литературного языка аргументирование конкретными материалами особенно доказательно.

В свете наиболее актуальных проблем исследования древнерусского языка необходима разработка общей концепции целенаправленного изучения и последовательного издания ещё не опубликованных или неудовлетворительно воспроизведённых памятников древнерусской эпохи. Поскольку древнерусская письменность за исключением берестяной и немногих актовых источников, представлена списками, лингвистические издания этих рукописей должны в определённой степени удовлетворять требованиям текстологии. Издание представленного списками текста существенным образом отличается от издания рукописи-оригинала. Поэтому необходимо исследование, с одной стороны, возможностей совмещения, а с другой, должного разграничения в эдиционной теории и практике лингвистического и текстологического аспектов.

Русский литературный язык национальной эпохи формировался на основе устного разговорного фонда общенародного характера, обширной письменности делового содержания и, в известной мере, элементов церковнославянского языка. Поскольку бывшее состояние русской разговорной стихии получало, хотя и неполное, отражение в письменности делового содержания, значение последней для исследования и устного разговорного языка, и литературного языка данной эпохи, да и всего национального, является ключевым.

В изучении и издании старорусских памятников мы исходим из необходимости обеспечения успешной разработки следующих кардинальных проблем: язык великорусской народности как исходная база образования русского национального языка; значение народно-разговорной речи XVII–XVIII вв. в развитии национальной интеграции; степень северно- и южновеликорусского участия в начальном процессе формирования русского национального языка; формирование московского койне в XVII–XVIII вв. как определяющего центра национальной лингвистической общности; образование русского национального языка и его наиболее совершенного компонента – языка литературного; взаимодействие языка художественной литературы, народно-разговорной речи и языка деловой письменности XVII–XVIII вв.; взаимодействие в XVII–XVIII вв. братских восточнославянских языков.

Глубокие исследования в данных аспектах послужат необходимой предпосылкой разработки со временем истории русского национального языка. С введением в научный оборот новых категорий

источников мы связываем жанровое обогащение материальной базы исследований, особенно продуктивное с точки зрения изучения народно-разговорной речи и публицистической разновидности русского литературного языка.

Для характеристики живых истоков национального языка и южновеликорусского наречия в преднациональный период существенное значение имеет издание самых ранних источников южновеликорусского происхождения. Такова публикация «Памятники южновеликорусского наречия. Конец XVI – начало XVII в.» [книга вышла в 1990 г., см. Пам.южн.– Л.А.]. Вместе с вышедшими в свет двумя томами отказных и таможенных книг южновеликорусского края она углубляет наши познания о южновеликорусском наречии на четыре столетия и, кроме того, проливает свет на состояние русского языка великорусской народности накануне процесса преобразования его в национальный. Предполагается также осуществить издание челобитных и расспросных речей той же территориальной приуроченности, лексический состав которых и представленные в них грамматические конструкции особенно разнообразны. [Издание подготовлено и должно быть сдано в производство в 1991 г., книга вышла в 1993 г., см.: Южн.чел.].

Воссозданию конкретного облика языка великорусской народности, в основном ретроспективно, служат изданные сектором рязанские тексты XV–XVI вв. и до некоторой степени с той же целью изданные владимирские памятники XVII в. Исследования в этом направлении получают продолжение в публикации памятников конца XVI и начала XVII в., писанных москвичами. В результате история русского языка получит материалы, представляющие центральную и южновеликорусскую территорию Европейской части России, материалы, исследование которых внесёт определённые поправки в традиционную концепцию истории русского языка, лишённой влиятельного участия южновеликорусского начала. Вовлечение в научный оборот новых московских источников имеет большое значение и для изучения московской речи, которая явилась основой формирования устной разновидности русского литературного языка. Между прочим, в отличие от традиционной трактовки московского говора XVII в. как говора смешанного, наши публикации позволяют утверждать: в XVII и тем более в XVIII веке в Москве существовало вполне сложившееся койне.

Намеченный на предстоящие годы объём исследовательских работ, связанных с изданием старорусских материалов, должен найти продолжение и в эдиционном воспроизведении грамоток, поскольку введение в научный оборот этих оптимальных для изучения народной

речи источников должно быть исчерпывающим. Имеем в виду эпистолярные тексты XVII–XVIII вв.

К началу 90-х годов намечается распространение источниковедческих исследований на тексты XVIII–XIX вв. с перспективой в дальнейшем постепенного освоения в источниковедческом аспекте графических и инструментально-физических источников русского происхождения XX столетия.

На очереди – дальнейшая разработка таких теоретических вопросов: предмет лингвистического источниковедения; метод лингвистического источниковедения; параметры лингвистического источника; объективно сложившиеся источники и источники с заданными свойствами; первичные и вторичные источники; лингвистическое наполнение и лингвистическая содержательность источника; принципы описания и систематизация лингвистических источников; издание для исследования и исследование для издания.

На базе современного эдиционного опыта в конце текущего десятилетия возможна разработка двух сводов правил лингвистического издания рукописей, во-первых, древнерусских (уставных и полууставных), во-вторых, старорусских (скорописных). Раздельное составление указанных правил обусловлено как спецификой тех и других рукописных материалов, так и спецификой их изданий. Уставные и полууставные источники представлены в подавляющем большинстве списками, скорописные, напротив, – оригиналами. Естественно, издание первых возможно в основном как издание текстов, издание вторых – главным образом как издание рукописей. Печатные воспроизведения первых могут быть осуществлены преимущественно в виде лингвотекстологических в форме монографий, печатные воспроизведения вторых – по преимуществу в виде лингвистических, главным образом – в форме сборников. Уставные и полууставные публикации предполагают в своём составе указатели слов и форм, скорописные – указатели слов, а где возможно – и писцов.

## 21. Русская частная переписка XVII–XVIII вв. как лингвистический источник // Вопросы языкознания. – 1963. – № 6. – С. 107-116.

В кругу письменных источников по истории русского языка материалы частной переписки занимают особое положение. Во-первых, они доносят до нас старинную устную речь, представленную в письменном отражении, в наиболее непосредственном виде по сравнению с иными категориями письменных источников; во-вторых, они являются сравнительно редкими. Яркое отражение в частной переписке живого народного языка обусловлено её содержанием, её функцией, характером речевой культуры авторов писем (письма обычно назывались грамотками), наконец, составом и выучкой лиц, писавших эти грамотки. Содержание грамоток в основном определялось всем кругом личных, семейных и вообще родственных отношений, а также деловых и социальных отношений, которые связывали участников переписки. Иногда в переписке находили отражение и события более широкого плана, обычно в той мере, в какой они оказывали непосредственное влияние на судьбы участвовавших в ней людей. Как средства неофициального общения, не выполнявшие документальных функций, грамотки писались необыкновенно вольно, если не считать известной стандартизации зачинов и окончаний их. Неофициальным характером этих писем объяснима и та особенность, что они обыкновенно не сохранялись и знакомством с ними в наше время мы обязаны только счастливым случайностям. Значение материалов частной переписки как свидетельств живой минувшей речи подкрепляется тем обстоятельством, что авторы-писцы или грамотеи, писавшие под диктовку авторов, в подавляющей массе случаев не обнаруживают высокой правописной выучки. Последнее, между прочим, говорит о более широком, нежели полагали, распространении грамотности в древней Руси, об известном проникновении её в среду простого люда. Если более ранний период (XI–XV вв.) характеризуют с этой стороны берестяные грамотки, найденные в Новгороде, то более позднее время с ещё большей очевидностью характеризуют в этом плане материалы частной переписки XVII и начала XVIII в. Здесь получит характеристику переписка именно этого времени.

Можно было бы ограничиться подробным обзором того, что в этой переписке есть, и подробно перечислить, чего в ней нет, но это не показало бы её действительного значения для исследования истории русского языка. Её действительное значение вырисовывается лишь в свете тех задач в области изучения истории русского языка, решению которых она служит. В трудах по истории русского языка



постоянно встречаются упоминания о его народно-разговорном варианте, и всё же наполненной конкретным содержанием характеристики данного варианта в науке пока не имеется не только для раннего периода развития русского языка, чего, собственно, и трудно ожидать, поскольку памятники той поры содержат мало соответствующих данных, но и для поздней эпохи, например XVI–XVII вв. Воссоздание конкретного облика народно-разговорного языка указанной эпохи – задача первостепенной важности; с её решением связано решение многих других задач, по отношению к ней производных. Необходимо, в частности, выяснить соотношение и взаимодействие книжной и народно-разговорной стихий в различных сферах литературного языка того времени, причём на базе широкого исследования той и другой стихии, а не случайных наблюдений, как это обычно делается. Нуждается в основательном исследовании вопрос о соотношении и взаимодействии северной- и южновеликорусского начал в формировании и развитии национального языка. Требуется уточнений относительная и абсолютная хронология языковых изменений, особенно по диалектным областям в отдельности. Имеется острая необходимость в содержательной характеристике московского говора XVI–XVII вв., послужившего, по мнению многих, основой русского литературного языка. Едва ли нужно продолжать перечисление задач. И отмеченных довольно, чтобы представить всё значение выявления и публикации материалов частной переписки.

Лингвистическая ценность этой переписки определяется прежде всего её содержанием. Последнее достаточно разнообразно и, что самое главное, наряду с другими сферами жизни отображает повседневный быт людей. Естественно, одним из характерных свойств переписки и особенно её интимно-бытовой разновидности является наличие в письмах значительной группы лексики, в которой обнаруживают себя движения человеческой души, настроения и переживания людей, борьба их страстей, их помыслы. Переписка насыщена лексикой, так сказать, интимно-бытового круга. Трудно назвать иные источники вне области художественной литературы, относимые к тому времени, в которых можно было бы встретить употребление, скажем, таких образований и выражений, как: «не пѣчался... пожалѣи» [ГИМ, ф. 440, № 375: 3]; «умилис надо мною» [там же: 3 об.]; «подивляюс» [там же: 50]; «добродою ласкавому» [ГИМ, ф. 88, № 13: 92]; «вижю очи твои» [там же: 141. – В статье приняты следующие сокращения: ГБЛ – Государственная библиотека им. В. И. Ленина.отдел рукописей; ГИМ – Государственный Исторический музей. Отдел письменных источников; ИРЯЗ – Институт русского языка АН СССР. Сектор библиогра-

фии, источниковедения и издания памятников; РГАДА – Российский государственный архив древних актов]. Но если в текстах художественной литературы подобные лексические включения выступают перед исследователем в качестве опосредствованных, воспринимаемых через призму художественного мышления древнерусского автора, в материалах частной переписки они являются в своих наиболее постоянных, наиболее устойчивых значениях и речевых ситуациях. [Отсюда, однако, не вытекает, что язык рассматриваемой переписки абсолютно не связан с литературным; здесь только констатировано различие между ними, которое необходимо иметь в виду при лингвистическом исследовании.] К тому же и самый репертуар указанных включений в лапидарных назидательных произведениях древнерусской литературы значительно уже материала, представленного в частной переписке. Таким образом, в частной переписке открывается оптимальная возможность изучения этих наименее уловимых, но чрезвычайно важных элементов того словарного состава, который определял в прошлом специфику народно-разговорной речи. Они оживляют иногда и традиционные начала писем с обращениями к адресатам и пожеланиями здоровья, переплетаясь в составе этих начальных клаузул не только с русской лексикой иных функциональных пластов, но и церковнославянским элементом. Излишне говорить, что вне начальных и других эпистолярных клаузул слова и выражения рассматриваемого круга в грамотках более употребительны, нежели в пределах клаузул. Слова и выражения такого плана отличают (и это вполне естественно) прежде всего те грамотки, содержание которых носит узко личный, семейный характер. Любопытны в этом отношении немногочисленные женские письма, писавшиеся обычно в господской среде, причём не только авторами, но и другими лицами, которые были близки к авторам, пользовались их доверием; крестьянки по неграмотности и вследствие общих условий крепостного существования писем не писали, прибегать к услугам грамотных людей им обыкновенно не приходилось, а в тех исключительно редких случаях, когда они, измученные невзгодами, осмеливались обращаться к далёкому барину, грамотки, составляемые для них скорописцами, были горькими, слёзными просьбами и, конечно, не имели ничего общего с перепиской интимно-бытового характера.

Своеобразный колорит последней ярко выступает, например, в письме жены Т. С. Ларионову. Печалась, сетуя на то, что супруг её не жалуется – о своём здоровье не сообщает, «женишка» Катюшка пишет: «ели бы Траөимь не заеха | и па сю пори бы о тебя гсдря ка мне вести не была я | у тебя гсдря милости прасила со слезами и тебе гсдрю мо|еми и слезы маи места вады я гсдрь вины не зна|ю своеи пре тобою

за што гневъ твой на мене... да изволили ты гсдрь Тимоеи Семеновичъ писать что кипить Дашике и мѣне и я и писать к тебе не | смею патами что маи слава тебе гсдрю не годны | а чомъ я у тебе милости ни прасила и мѣне об<о все>мъ окась Дашика била чълоть кипить шельчки | алава да сереб<р>а а мѣне прикажи кипить башма|чоки» [ГИМ, ф. 440, № 375: 4]. Другом сердешнымъ называетъ в письме мужа Д. Е. Ларионова, а о маленькой дочке рассказываетъ: «у насъ толко и радости | что Парашенка... а Парашенка у меня девочка ізрядная даи гди те<бе> і какъ станемъ тебя кликатъ і она такъ же кличетъ і намъ всево дороже» [тамъ же: 3].

Подобные или сходные с приведенными выше проявления живой народной речи можно обнаружить и в древнерусской повести, и, тем не менее, преимущество сопоставимых с ними во времени данных частной переписки представляется несомненным: для лингвиста особенно важно, что в письмах данные такого рода исходят непосредственно от конкретных носителей древнерусской речи, тогда как в составе повести аналогичные данные характеризуют её отвлечённого, обобщённого носителя, хотя бы и воплощённого в определённом персонаже. В первом случае рассматриваемые данные, можно сказать, документальны, во втором они более или менее относительны и в хронологическом и в географическом аспектах, а также и в смысле принадлежности определённому кругу носителей древнерусского языка.

В группе слов интимно-обиходного употребления встречаются уменьшительно-ласкательные образования – собственные и нарицательные названия лиц – вроде *Ивашенко, Парашенка, Петрунюшка, братец, батюшка, матушка, невестушка, детушки. куманек, кумушки* и т. д. Этим материалы частной переписки, между прочим, отличаются от деловой письменности, где уменьшительные образования – названия лиц – выступают обыкновенно с уничижительным значением либо в качестве нейтральных, вообще лишённых какой бы то ни было эмоциональной окраски. Далее, в отличие от деловых текстов, переписка семейного характера представляет не только уменьшительные формы от собственных имён – названий лиц, но и от нарицательных. Если к этому добавить наличие в ней и других уменьшительных образований (названий неодушевлённых предметов), значение частной переписки как источника для изучения категории субъективной оценки в древнерусском языке едва ли можно переоценить. В грамотки попадали, впрочем одинокие, элементы лексики и фразеологии также интимно-обиходного круга, и из области русского народного творчества. Например, невестка писала свекрови: «поздравляю тебъ | светъ мои Настас# Ивановъна» [ИРЯЗ, ф. 3, № 1: 85]. К И. С. Ларионову обращались

с такими словами: «свету моему |и шутишке Семеновічу я свет мої на | Москвѣ... а ты свѣт мої пи|ші ко мнѣ... а от меня вам всѣмъ свѣтом моим | мир и блгоденство» [ГИМ, ф. 440, № 375: 30]. Ср. широкую употребительность ласкательного обращения *свет* в народных песнях и былинах. В одном из писем читаем: «свої своему понѣволи друг бывает» [ИРЯЗ, ф. 3, № 1: 67]. Ср. старую поговорку: «Свой своему поневоле брат». Попавший в бедственное положение иконописец заключает: «всякъ дивится чем мы живимся» (Калужский краевед. музей). Ср. представленное у Даля: «Богатый дивится, чем бедняк (убогий) живится – ан убогому бог даѣт» [Даль I: 554]. Непочтительный племянник упрекает дядю: «ко мнѣ к одному не пожаловал рыбки не ізволил при-слат не рыба та гсдрь мнѣ дорога дорого мне твое приятство» [ГИМ, ф. 440, № 375: 5]. Ср. параллель: «Не дорог подарок, дорога любовь». Таким образом, частная переписка даѣт известный материал и для сведений о влиянии языка фольклора на слог эпистолярного жанра того времени. Рассеянные в ней, хотя и редкие, элементы фольклорной фразеологии служат необходимым дополнением к старинным сборникам пословиц и поговорок: если в сборниках они выступают вне контекста, то в частной переписке – не изолированно, а в типичных для них речевых ситуациях, что для уяснения их смысла и выяснения степени фразеологизации представляется весьма существенным.

Обиходной тематикой многих писем обусловлено наличие в них названий домашней утвари, одежды, украшений, пищи и т. д., т. е. слов, образующих ту обширную группу лексики, которая в иных древнерусских памятниках, за исключением разве росписей, либо вовсе не находит отражения, либо встречается в виде случайных, сравнительно редких вкраплений. В отличие от росписей животам или пожиткам в письмах слова этой группы являются не в виде номинативных перечней, а в естественных условиях повседневного употребления и, таким образом, не в одной, а в разных падежных формах. Этим и определяется в рассматриваемом случае значение материалов частной переписки для исследования склонения имён существительных, помимо само собой разумеющегося значения подобных материалов для лексикологических наблюдений. Следует также отметить, что преимущественно данной группой слов представлена категория субъективной оценки (в виде уменьшительных образований) в кругу нарицательных имён существительных и категория вещественности. Если отражения второй (*пуд воску, бочка дехтю* и т. п.) нередки в старой официальной письменности делового содержания, особенно в книгах таможенного дохода, то уменьшительные существительные, именно нарицательные, в других категориях памятников, исключая произведения художествен-

ной литературы, либо малоупотребительны, либо вовсе не встречаются. Употребление таких уменьшительных образований в грамотках обыкновенно связано с многочисленными просьбами об уступке, или покупке, или дарении чего-нибудь, с подчёркиванием бедственного положения просителя, а также нейтральным, не окрашенным эмоцией, упоминанием малых реалий. Примеры дают об этом наглядное представление:

«Велите пожаловат дат сенца и соломки» [ГИМ, ф. 253, № 39: 63]; «пожалуй прикажи ко мнѣ прислат по млсти | своеі на пива солодку» [ГИМ, ф. 88, № 13: 41]; «пожалуй пришли к именином моимъ вхляжечку водочки» [там же: 42]; «я в Синбирску в печалех своих жив... за грехи на Мосѣкве дворишка погорель без остатку | и животишка все» [ГИМ, ф. 253, № 39: 20]; «не даі вконець расаритца которои гсдръ наши по силы | нивишки были і ты у насъ оттымают» [там же: 91]; «лекарствы... в скляночках | запечатаны печат травочка в неи клеімо» [там же: 19].

Рассматриваемая группа лексики – названия предметов, частью не имевших всеобщего распространения и известных только в определённой этнографической среде – привлекает далее внимание тем, что в сопоставлении с подобной группой слов в современных народных говорах она помогает уточнить исторические границы отдельных русских диалектов и проследить эволюцию значений некоторых слов за последние три столетия, с одной стороны, а с другой, определить, хотя бы и приблизительно, локальную принадлежность памятников письменности, в которых слова этого рода могут быть отмечены. К числу таких названий относим, например, следующие: «берестен» [ГБЛ, ф. 161: 10124 об.]; «контар» [там же: 10137]; «замашечки» [ГИМ, ф. 88, № 13: 157 об.]; «бродники» [там же].

Частная переписка более подробно, нежели официальная деловая письменность, знакомит с производственными процессами, с хозяйственной деятельностью людей; заключённая в ней лексика сельского хозяйства и ремесла является более разнообразной, чем соответствующая лексика в деловой письменности. Особенно выделяются в этом отношении конкретные грамотки сельских старост и выборных крестьян с описаниями хозяйственных операций, учётом оброчных повинностей и барщинного труда. Упомянутые грамотки вводят нас до известной степени в специализированную лексику, иногда сближающуюся с терминологической. Сравнение грамоток с иными источниками приводит к заключению, что в них рассматриваемая группа лексики более детализована. Интересна и другая особенность грамоток: не ограничиваясь сухим изложением дел, староста и крестьяне иногда

повествуют о связанных с этими делами коллизиях узко житейского характера, сопутствующих обстоятельствах и т. д.

Так, один «старостишка» жалуется барыне: «три катки капусты секли семь | днеи кака# гсдрн# работа а прикащик с ними патакает | за одна... своих ул#т гсдрн# онъ | прикащик приель да места сво|их наметиль твоих ба#рских петерых утак а мнѣ сказали | хажельницы про то дело... а гаварить гсдрн# нельзе бранит и кикиши | кажет и в бороде плюет и вс#чи|ни сарит он прикащик ис твоева | дому ба#рскава» [ГИМ, ф. 253, № 39: 43-43 об.]. Ромашка Татаринов пишет: «а # ево Демида ноне посадил в ызби жить ко Хфролькиноі матери і онъ завладел тремя углами потаму что у нево скотины многа а ваши боярскою скотину стеснил» [там же: 46].

Безыскусственная лексика жанровых сюжетов наподобие приведенных (их в письмах немало) – редкостный материал для наблюдений над самой «глубинной» струёй народной речи, струёй, как правило, не отражаемой ни в каких других памятниках, за исключением разве необыкновенно редких случаев в судебных делах. В ряду некоторых иных источников этого времени (скажем, книг таможенного дохода или росписей животам) отчётные грамотки из поместий и вотчин дают обстоятельные сведения по лексике метрологии, главным образом метрологии экономического характера.

Лингвистические данные частной переписки могут внести коррективы в традиционное представление о сферах употребления и взаимоотношении русского и церковнославянского языка в XVII в. Обычно в первом усматривают лишь функции народно-разговорного, а второй отождествляют с книжно-литературным. При этом нередко ссылаются, например, на свидетельство Лудольфа, которое, однако, вряд ли подтверждает такую дифференциацию. Вот что читаем в его «Русской грамматике»: «Но точно так же как никто из русских не может писать или рассуждать по научным вопросам, не пользуясь славянским языком, так и наоборот, – в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка, потому что названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по каким научаются славянскому языку. Так у них говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски» [Лудольф 1937: 114]. Последняя фраза Лудольфа едва ли допускает буквальное толкование. Насколько позволяют судить об этом и деловая письменность и материалы частной переписки XVII в., с одной стороны, существовали уже довольно значительные элементы книжного языка и вне церковнославянской сферы; с другой стороны, в недра живой народной речи, отражённой в

безыскусственной бытовой переписке, проникали определённые элементы из области церковнославянского языка, например, из его фразеологии.

Характерно подобное фразеологическое оформление зачинов, иногда и заключений писем с пожеланиями здоровья и благополучия адресатам, выражением нарочитого смирения перед ними. Это фразы, или просто заимствованные из произведений церковной литературы, или сложившиеся в условиях русского языка под её воздействием. Колоритных и, более того, витиеватых образцов такой фразеологии, связанных с нормами поведения и обхождения того времени, принятыми в привилегированной среде, можно привести немало. Вот несколько в известной мере стандартных вариантов.

«Гсдрю моему млстивому батюшки Fewдоту Димитриевичу снь твоі | Савва падь пред чстными твоими | ногами блгословения твоегw отеческагw много челомъ бью до лица земнаго здравие твое да сохранить | вседержащая десница вышняго бга і впредыдишия на лѣта многа» [ГИМ, ф. 88, № 13: 11]; «Гсдрю моему млстивому приятелю брату Ивану Вндрѣвичю пад подножию твоему Улянко Ковѣзин | челомъ бьет | многолѣтно гсдрь здравствуи со всѣми своими ближни приятели и з благочестии|выи своим праведнымъ домом» [ГБЛ, ф. 161: 10138]; «Гсдрю добросродственному ко мнѣ | сердоболу и ближнему | приятелю Ивану Андрѣвичю тотка твоя Афонасева же|на Логиновича Пелагѣя челомъ бью здравствуи Иван Ондрѣевич съ семейо своею и з детми на многия лѣта и буд | покровен десницею вышняго со всѣм своим блгодат|нымъ домом» [там же: 10127]. «Гсдрю моему брату Федору Макимовичю Вас<ка Че>|лицевъ челомъ бьет подаі гсдѣ бгъ тебѣ гсдрю моему | многолетная здоровья і всья благая» [РГАДА, ф. 214, № 843: 6]; «Приятел моі Андреі Никитич умножи гсди лѣт живота | твоего со всеми тобою одержи|мыми» [ГИМ, ф. 253, № 39: 21].

Необыкновенное обилие представленных в письмах вариантных написаний свидетельствует о колебаниях в орфографии, а также о чрезвычайно большом количестве отклонений от орфографии той эпохи в сторону произношения, характерного для лиц, не обладавших достаточной выучкой, которые писали грамотки, – иными словами, об особой близости переписки к живому народному языку. В этом отношении с частной перепиской не выдерживают сравнения никакие другие категории древнерусских источников, за исключением разве крайне редких записей народных песен XVII в. Заслуживает быть отмеченным не только изобилие отклонений от правописания в частной переписке, но и самый характер этих отклонений: в ней в противополож-

ность всем иным источникам местного происхождения, например деловой письменности, наблюдаем заметное увеличение прямых отражений русской фонетики и, напротив, некоторое уменьшение её отражений косвенных, как известно, обязанных своим появлением слишком усердной ориентации более подготовленных писцов на орфографические нормы. Наблюдение это основано главным образом на отражениях в письме безударного вокализма. Письма, в которых отозвалась южновеликорусская стихия, не свободны даже от таких резких проявлений яканья, какие во многих других текстах того же времени и локально сопоставимых либо вовсе не встречаются, либо встречаются значительно реже. Характер отражения в древнерусском письме системы безударного вокализма обуславливается не только этой системой, но и определённым соотношением графики и фонетики. Влияние последнего в частной переписке сказывается слабее, чем в других по месту и времени сопоставимых категориях источников. Поскольку вследствие этого в материалах частной переписки отражение безударного вокализма более непосредственно, именно её соответствующие данные позволяют более уверенно судить, нежели данные других источников, о строе безударного вокализма в средневеликорусской и южновеликорусской областях XVII–XVIII вв.

Относительно свободные от правописных традиций грамотки содержат любопытные сведения по ударному вокализму, например, о произношении гласного звука, который обозначали буквой ѣ, а также об обусловленной различными причинами сильной лабиализации о.

Если обратиться к консонантизму, то здесь выступает такая редкостная особенность части русских говоров, как глухость согласных вместо звонкости и значительно реже, наоборот, звонкость вместо глухости вне условий ассимилятивного оглушения или озвончения: «послал ездоков» [ГИМ, ф. 88, № 13: 40]; «двадцат земь алтънъ» [там же: 93]; «тое ломпата отдана» [ГБЛ, ф. 221, к. III, № 30: 1 об.]. Фонетически природа подобных фактов получает подтверждение в аналогичных, впрочем довольно редких, случаях современного диалектного произношения, которое иногда объясняют аналогией, скажем, *лампата*, потому что в род. падеже мн. числа произносится *лампат*. В переписке данное явление выступает достаточно заметно и, что особенно важно, – частью в положениях, которые вовсе исключают влияние аналогии. Таким образом, в этих написаниях можно усматривать явление органическое, а не аналогического происхождения.

Согласно привычной точке зрения отверждение шипящих в русском языке произошло в XIV–XV вв. Сведения, извлекаемые из частной переписки, говорят о мягкости шипящих в значительной зоне рус-



ского языка в более позднее время. Если некоторые поздние написания, скажем, *жю* и *щю* в Уложении 1649 г. ещё можно объяснять орфографической традицией, подобные написания в частной переписке могут быть фонетически доказательными.

В некоторых написаниях нешипящих согласных и неаффрикат можно подозревать отражение какого-то отличного от современного состояния в области мягкости – твёрдости: «дла ради земли|ного дѣла» [ГИМ, ф. 88, № 13: 24]; «тебѣ весно чини» [там же: 66], ср.: «весно тебѣ чиню» [там же]; «денги до мена... дошли» [ГБЛ, ф. 161: 10134].

В грамотках южновеликорусского происхождения обильны случаи взаимной мены *у* и *в* – свидетельства *в* губно-губного образования или *у* неслогового.

Многочисленны отражения ассимилятивного оглушения и озвончения согласных. Из написаний, которые говорят об оглушении звонких в конце слов, отметим, в частности, появление *х* на месте буквы *з*, что указывает на фрикативное образование *з* в соответствующих говорах. Заметнее, чем в иных источниках, в переписке находят отражение, впрочем единичные, и факты межслоговой ассимиляции согласных. Следы произношения сочетания *чи* как *ши* : «нарошного | члвка» [ГИМ, ф. 88, № 13: 52]; «поришная (запись)» [там же: 152]; «Авдоти | Илинишны» [ГБЛ, ф. 221, к. III, № 15: 1]; «шапошник» [там же, № 20: 3] и т. д., – отмечаемые в грамотках немосковского происхождения, позволяют ставить вопрос о пересмотре известного в литературе предположения об этом произношении в старину как явлении типично московском, получившем впоследствии при посредстве литературного языка распространение на территории северновеликорусских и южновеликорусских говоров [см., например Черных 1953: 235].

Нет возможности упоминать об иных явлениях консонантизма, выразительные отпечатки которых донесли до нашего времени материалы частной переписки. Достаточно сказать, что их довольно много. В этом смысле показания частной переписки до некоторой степени можно сравнить с современными диалектными записями.

Отмечая преимущество частной переписки как лингвистического источника, следует в то же время учитывать, что вследствие, по видимому, определённых соотношений между графикой и фонетикой и по другим причинам отдельные фонетические явления едва ли могут получить в ней соответствующее отражение. Характерно, скажем, что распространение на западе южновеликорусского наречия произношения *ш'* на месте *ч'* почти не устанавливается по данным грамоток, в которых отразились особенности говоров указанного края [см.: Котков

1952: 48]. Аналогично положение и для *с* на месте *ц* – явления довольно заметного в южновеликорусских говорах.

Морфологический строй русского языка отложился в частной переписке со всем богатством локальных вариантов; в единичных случаях, обычно в составе фразеологии, представлены и стилистические варианты. Так, при нормальных для той поры формах пред. падежа ед. числа с основой на задненёбные, в застывшем церковном выражении встречаем пред. падеж ед. числа с переходным смягчением задненёбных: «о бозе радоваться». В переписке явственно прослеживаются и некоторые общерусские морфологические процессы, вроде, скажем, постепенной смены форм дат. падежа мн. числа на *-ом* формами на *-ам*, например: «вели... крестьяномъ» [ГИМ, ф. 88, № 13: 163], ср.: «вели... двим чело|векамъ» [там же], ср. ещё: «нужда крестьяншкам моим» [ГБЛ, ф. 221, к. III, № 27: 1]; твор. падежа мн. числа на *-ы* формами на *-ами*, например: «с первыми крестьяны» [ГИМ, ф. 88, № 13: 163], ср.: «с норочитыми ъздаками» [ГИМ, ф. 440, № 375: 48 об.]; пред. падежа мн. числа на *-ех* формами на *-ах*, например: «в последних числах» [ГБЛ, ф. 221, к. III, № 27: 1]; ср.: «на дву колесах» [ГИМ, ф. 440, № 375: 26] и т. д. Представленная в более разнообразном, нежели в приказной письменности, лексическом составе, эта смена в переписке может быть исследована не только в собственно грамматическом аспекте, но и в более широком – в связи с процессами лексико-семантического и стилистического плана.

Для выявления собственно грамматических изменений материалы частной переписки по сравнению с этой письменностью также более перспективны. Вследствие их отнесённости к определённым, конкретным авторам или писцам, писавшим грамотки с их слов, и вследствие узко личного характера эпистолярной информации, в них несколько увереннее можно вычленишь те морфологические новшества, которые обязаны своим появлением именно грамматическим процессам, а не опосредствованному воздействию моментов внешней истории языка, например, инодиалектным влияниям, книжности и т. п. Зарождаясь в устной народной речи, новые формы вторгались затем в область письменного языка; при этом частная переписка, в силу своей специфики, оказывалась к ним особенно восприимчивой.

Устанавливаемую по данным частной переписки хронологию новых явлений в сравнении с той, которая намечается по другим современным ей источникам, можно поэтому считать наиболее реальной. Значение этого факта довольно существенно, если учесть, что даже относительно поздняя история русского языка имеет своим основанием преимущественно относительную, а не абсолютную хронологию.

Мы коснулись проблемы абсолютной хронологии в морфологическом аспекте не случайно: становление современного морфологического строя русского языка и в его говорах, и особенно в его литературной форме протекало в значительной степени в рассматриваемую эпоху. В области фонетики, развитие которой в указанную эпоху не обнаруживает более или менее существенных сдвигов, по крайней мере в говорах, установление абсолютной хронологии тех или иных явлений по данным письменных памятников менее перспективно.

Привлечение данных эпистолярной письменности южновеликорусского происхождения особенно важно для выяснения такого спорного вопроса, как оформление род. падежа мн. числа полных прилагательных и местоимений на почве южновеликорусских говоров в национальный период развития русского языка. Согласно традиционной точке зрения, род. падеж мн. числа на *-ово* представляет собой принадлежность исключительно неюжновеликорусских говоров, южновеликорусским признаётся только *-ого*. Наличие форм на *-ово* в деловой письменности южновеликорусского происхождения сторонники этой точки зрения считают недоказательным, объясняя их присутствие в названных памятниках ориентацией писцов на приказную норму. В то же время не отрицается доказательность в этом случае свидетельств интимно-бытовой переписки. Написания рассматриваемых форм род. падежа мн. числа в переписке подобного рода могут склонить к пересмотру традиционной точки зрения.

Введение в научный оборот заключённых в частной переписке сведений об употреблении глагольных форм поможет более чётко дифференцировать в сфере этой категории элементы книжной речи от тех, которые в ту эпоху равно обслуживали и книжную речь, и устное общение.

Материалы частной переписки расширяют представления о словообразовательных возможностях русского языка в прошлом. Помимо широко представленных в ней уменьшительных образований, ср. также, например, формы «отездки не было» – род. падеж ед. числа [ГИМ, ф. 88, № 13: 73], ср. *отъезд*; «о праведке» [там же: 93] от *проведать*; «любительную» [там же: 76]; «посрочнить» [там же: 82], ср. *срок*; «безсорно» (без ссоры) [там же: 93 об.].

Располагая известным кругом работ по синтаксису летописей, древнерусских грамот и некоторых других категорий источников, история русского языка пока в сущности не имеет синтаксических исследований, опирающихся на материалы частной переписки, что легко объясняется и относительно редкой её сохранностью, и фрагментарностью её публикаций. Между тем в сравнении со многими другими ста-

рыми источниками она обладает особым достоинством и в синтаксическом отношении: меньшей степенью нормативности. Это обстоятельство благоприятствует исследованию глубинного, протекавшего в народно-разговорной сфере процесса формирования свойственных национальному языку синтаксических отношений. Недостаточной исследованностью древнерусского синтаксиса, особенно XVI–XVIII вв., объясняется едва ли не обычное в работах по истории русского языка отсутствие необходимой дифференциации между синтаксическими явлениями, которые были характерны для простой, народной речи, и явлениями, характерными для книжного языка. Обогащение известного круга источников материалами частной переписки служит существенной предпосылкой проведения такой дифференциации.

Сравнение извлекаемых из переписки сведений с современными диалектными позволяет проследить изменения в синтаксисе русских народных говоров за последние три столетия и вносит существенные поправки в некоторые традиционные представления. Так, наличие в южновеликорусских грамотках конструкции «им. падеж на *-а* при инфинитиве» не оставляет сомнения в том, что исторически названная конструкция равно принадлежала и северно- и южновеликорусской областям.

Материалы частной переписки представляют особенно большие возможности для наблюдений над прямой речью и, поскольку нередко изобилуют эллиптическими построениями, для исторического исследования неполных предложений. Взаимодействие прямой и косвенной речи в старинном русском языке ещё не подвергалось обстоятельному исследованию. Своеобразное переплетение в некоторых письмах той и другой речи может служить надёжной основой для подобного исследования. В свете данных частной переписки XVII – начала XVIII в., по-видимому, нуждается в известном пересмотре категорическое определение косвенной речи как одной из наиболее искусственных конструкций литературного языка, до сих пор остающейся по существу явлением книжным [см.: Булаховский 1953: 374].

Формирование в масштабе предложения тех новых отношений, которые определяют его современную специфику, естественно, было связано с соответствующими преобразованиями в типологии словосочетаний. Надо сказать, что и эти процессы применительно к начальной стадии сложения русского национального языка недостаточно изучены, а в языке частной переписки и вовсе не исследованы.

В обстоятельном исследовании нуждаются представленные в языке писем синтаксические функции союзов и предлогов. Здесь много интересного. Имеются существенные данные, необходимые для

установления абсолютной хронологии протекающих в этой сфере изменений. Прослеживаются синтаксически обусловленные процессы преобразования отдельных предложных словосочетаний в наречия, например *по том в потом* и др.

Нельзя не отметить и историко-литературную ценность рассматриваемых материалов, особенно для изучения процесса демократизации художественной литературы, фольклоризации её языка, развития её стилевых особенностей. Бесспорно значение таких материалов и в общеисторическом плане: они дают конкретное представление об острых социальных коллизиях, экономических отношениях, бытовом укладе и духовной жизни широких кругов русского населения того времени.

Успешное решение центральных проблем истории русского национального языка едва ли не в равной степени зависит как от совершенствования методов исследования, так и значительного расширения материальной базы исследования, при этом не только в количественном, но и в качественном отношении. В данном смысле аннотируемая переписка является источником первоклассным. Отсюда ясно, насколько важно издание подобных материалов – замечательных источников по истории русского национального языка и его народно-разговорной основы. Начало работы в этом направлении положено в Институте русского языка АН СССР – автором этих строк и Н. П. Панкратовой подготовлено к печати 500 писем второй половины XVII – начала XVIII в. [см. Переп. частн. лиц].

Необходимо провести тщательное обследование центральных и периферийных хранилищ с целью выявления новых источников и их лингвистической публикации.

## 22. Отказные книги // Вопросы языкознания. – 1969. – № 1. – С. 130-135.

В Центральном государственном архиве древних актов хранятся отказные книги XVII (главным образом) и XVIII вв., в которые записывали отказы или отделы различных угодий, отводимых в поместный оклад. В дореволюционное время эти книги находились в Московском архиве Министерства юстиции. Представляя собой огромную и необыкновенно ценную группу источников, они тем не менее пребывают в забвении и не пользуются вниманием исследователей, хотя в литературе и указывалось на необходимость их изучения. Со времени информации об этой группе рукописей минуло шесть десятилетий, прежде чем последовала, в недавнее время, вторая. Обращая внимание на отдел документов, известный под названием «Отказные книги», автор первого сообщения о них В. Н. Холмогоров писал: «Среди отказных книг встречаются также книги отдельные, сыскные, раздаточные, раздельные и строельные, так что общее число всех книг достигает довольно значительной цифры – более 15 тысяч. Большая часть их распределена в особых томах по уездам, а остальные находятся при делах Поместного приказа и Вотчинной коллегии. Отказные книги... предназначались служить юридическим актом, закреплявшим недвижимые имения за владельцами» [Холмогоров 1900: 69]. Вторая, более обширная работа, посвященная данным рукописям, принадлежит В. Б. Павлову-Сильванскому [см.: Павлов-Сильванский 1963]. В ней показан процесс создания книг, рассмотрены их источники и выделены основные группы материалов, которые содержатся в этих книгах.

Отказные книги, насколько известно, со стороны языка не изучались. В этом нет ничего удивительного. Поскольку историки русского языка в течение последних десятилетий занимались не столько старинными рукописями, сколько их публикациями, а отказные книги не издавались, они для них и оказались недоступными. Попытаемся, хотя бы конспективно, показать лингвистическое значение этих важных источников, для чего воспользуемся двумя собственно отказными книгами из южновеликорусской области.

Отказные книги писались на местах, при этом обыкновенно такими писцами, которых с уверенностью можно считать носителями локальной речевой культуры. Книги содержат прямые указания на принадлежность их к местному населению. Так, писцы отказных книг №15684 и № 15685, приуроченных к г. Курску, именуются курчанами. Вот некоторые данные из книги № 15684: «писал курченин Сидарка Иванов» [л. 114]; «писал курчанин Микиѳорка Ивановъ сын Коно-

навъ» [л. 129]; «писал курской губной дьячок Наумко Кобатовъ» [л. 137 об.]; «писал курченинь Ивашка Гурьевъ снъ Протопопавъ» [л. 292 об.]; «писал курской площадной дьячок Федка Кобатов» [л. 345]; «писал курченин Феонка Исаевъ» [л. 593]; «писал курченин Васка Михайлов снъ Толмачовъ» [л. 649]; «писал курченин Фролко Оорѣмов снъ Дроковцов» [л. 665]. Этот список можно продолжить. Отдельные писцы принимали участие в составлении отказных книг в течение многих лет. К примеру, в 30–40-х годах XVII в. в курских книгах выступает писец Наумка Кобатов, в сороковые годы – писцы Протопоповы и т. д. В этом отношении отказные книги обладают несомненным преимуществом перед книгами писцовыми, составлением которых обычно занимались люди, присланные из Москвы, и обнаруживают местные языковые особенности. Поэтому отказные книги можно рассматривать как источники для исследования русской локальной речи в её отдалённом прошлом.

Ценность отказных книг определяется не только тем обстоятельством, что писали их местные люди, в значительной степени не профессионалы-писцы (дьяки или подьячие), а грамотеи из военно-служилого населения, торгово-ремесленного посада, городской и иной администрации, а также из низшего духовенства, – но и особенностями их содержания.

Каждый «отказ» представляет собой отдельный, законченный поземельный акт. Вначале в нём говорится, по чьему челобитью возбуждается дело об отказе, затем называются лица, которым поручается выехать на место, в уезд, самым тщательным образом указывается место. Здесь посланные производят обыск, «сыскивают всякими сыски накрепко», обследуют уголья, о которых идёт речь. Производится перепись угодий, проверка прав на владение ими. Наконец, в итоге всего производится отказ – выделение челобитчику той земли, на которую он претендовал, подавая челобитную. Разумеется, отказ производили при обязательном участии свидетелей – «тутошних и сторонних людей».

Исторически сложившаяся процедура и её письменное оформление, вполне естественно, были стандартными и носили явную печать приказной регламентации. Общая, стандартная схема «отказа», его конструктивный «остов» воплощались в нормах языка московских приказов. Но этот формальный «остов» акта наполнялся конкретным содержанием, в котором находим отложения живых народных говоров. Сочетая в себе такие различные лингвистические компоненты, как жёсткая структура приказного языка и стихия живой народной речи, отказные акты позволяют исследовать довольно сложное взаимодействие того и другого. Из развитой лексической системы приказного язы-

ка XVII в. привлекаются только такие элементы, которые для всех людей, имевших то или иное отношение к земельно-правовым установлениям, являются «своими», обыденно-привычными.

Исполненная в ключе приказного языка схема отказного, или отдельного, акта выглядит примерно так.

По челобитью [такого-то, такой-то], взяв с собою тутошних и сторонних людей, сколько человек пригоже [в такой-то уезд, стан и поместье] ездил, да в том поместье по сыску своему переписал всякое угодые [следует описание угодий с указанием их владельцев], да к тем усадищам по той же выписи с книг пашни паханые и перелогу и дикого поля и дубравы столько-то в поле, а в дву по тому ж [по грамоте царя] и по сыску отказал [указывается, кому и сколько], а пашня им пахать через загон через десятину, и сено косить, и в леса въезжать, и всяким угодыем владеть вопче с помещики с детьми боярскими. А на отказе [с таким-то] были [перечисляются тутошние и сторонние люди], а отказные книги писал [приводится имя писца].

Отказчики, как можно судить по их многочисленным отказам, неплохо знали эту схему и старательно её придерживались. Это в какой-то мере свидетельствует об их осведомлённости в приказном языке, в его наиболее привычных нормах, что не было редкостью: контингент земельных отказчиков достаточно обширен. Воеводы посылали на отказы не только административных дельцов, но и обывателей-горожан, кто оказывался под рукой и был к тому же грамотным. Среди отказчиков – обитателей Курска – упоминаются, например, осадные головы Воин Анненков и Богдан Виденьев, подьячий Павлин Истомин, губные старосты Евсевий Стрекалов и Никифор Шуклин, курчане дети боярские Афанасий Быканов, Анисим Горбатый, Михайла Толмачёв, Ларион Филиппов, Федос Шуклин и многие другие.

Лексическое наполнение отказной схемы знакомит нас с характерною для поместного землевладения той эпохи терминологией и фразеологией, с такими словами и выражениями, как например: *усадище, жеребей* ‘доля’, *оклад* (поместный), *поместная дача, перелог, дровяной лес, с поместья государева служба служить, всяким угодыем владеть* и т. д.

В применении приказного языка в его конкретных реализациях, при всей его стандартности, наблюдалась вариантность, в которой можно подозревать и отражение синхронных колебаний, не чуждых приказному языку, с одной стороны, и появление в нём некоторых новшеств, с другой, а также вторжение отдельных локальных элементов. Так или иначе, благодаря известной однородности содержания и принадлежности обширному кругу писцов отказные записи представ-



ляют благоприятное поле для наблюдения над явлениями лексической синонимии в пределах приказной схемы. Приведём два-три примера. Необыкновенно устойчивое наименование *сторонние* (люди) в привычной формуле «взяв с собою тутошних и сторонних людей» под пером подьячего Наумки Кобатова перебивается словом *окольные*: «взяв с собою тутошних и окольных людей» [кн. № 15685: 343 об.]. Можно думать, семантически равноправными были слова *отказчик* и *отдельщик*, а также *отказные* и *отдельные* (книги). Ср. запись одного года: «писал отказщикъ Лорионка Гилатовъ» [кн. № 15684: 383 об.]; «писал отдѣльщикъ Микифорька Кононовъ» [там же: 388 об.], а далее: «писал отказщик Микифорка Кононовъ» [там же: 405]. Ср.: «книги отделныя писал губной дьячок Наумка Кобатовъ» [кн. № 15684: 13]; «книги отказные писал курской губной дьячок Наумка Кобатовъ» [там же: 233 об.]. Вторжение в приказный оборот локальной речевой стилистики иллюстрирует запись Василия Кобатова: «про то их прожиточная помѣстье сыскивал тутошними и обapolнени людьми» [кн. № 15684: 47 об.]. Слово *обáпольный* «окрестный, окольный» [от *обáпол*, *обáполо* «кругом, около»] отмечается в южновеликорусских говорах [СВАН IX, 1. 1929 г.].

Вследствие однородности и краткости записей в составе приказной схемы мы обнаруживаем лишь единичные факты лексической синонимии, зато представляется возможным судить, какой они носят характер – индивидуально-речевой или общезыковой, поскольку всегда вполне очевидна их отнесённость к определённым писцам.

Отступления от традиционной приказной схемы в словарном составе отказных книг обусловлены в основном их локально-поместным характером. Перечисляются разнообразные земельные угодья с исторически сложившимися их индивидуальными наименованиями, устанавливается их положение по отношению как к естественным (реки, дубровы и т. п.), так и искусственным (гатище, перекопи и т. п.) ориентирам. В соответствующих мерах указывается размер различных угодий, называются их старые и новые владельцы. Наконец, фиксируются некоторые условия пользования этими угодьями. Для исследователя-лексиколога отказные книги в упомянутых лексических аспектах представляют значительный интерес.

В отказных книгах мы встречаемся с довольно развитой нарицательной терминологией угодий, не чуждой в своих основных элементах и традиционной схеме отказа. Отмечены такие названия: *пашни паханые*, *дубровы пашенные*, *дикое поле*, *перелог*, *дубровы*, *лес хормной*, *избной* или *селитобной* (пригодный для сооружения строевой), *лес дровяной*, *лес непашенный*, *лес красный*, *борок*, *сенные поко-*

сы, сеножать, поляна сенокосная, поляна сеножатная, кулига, луг, выгон, бортные ухажья, звериная ловля, бобровые гоны, козиные ходы, козиные сети, рыбная ловля, присады, займища, тетеревиные попужи, встуды и перевесья, хмелевые пощипы. В этих относительно поздних книгах обнаруживаем отдельные названия угодий, не известные Картотеке ДРС, не говоря уж о «Материалах» Срезневского. Один из подобных случаев – *тетеревиные попужи*. Второй компонент этого названия, по-видимому, связан с древнерусским *пудити* «гнать, прогонять». О *хмелевых пощипях* мы узнаём также только из отказных книг. Ни в Картотеке ДРС, ни в «Материалах» Срезневского такого названия нет. Разгадку этого явления, вероятно, следует искать в том, что в книги более обобщённого учёта подобные наименования не попадали.

Развитой терминологии угодий сопутствует богатая терминология природных и искусственных межевых примет, впрочем, более или менее однородная с репертуаром последних в писцовых книгах. Приведём описание межи одного из курских поместий, составленное в 1633 г.: «а межа тому Федорову новому помѣс<ь>ю дикому полю от Тимоѣева помѣс<ь>я Муратова да от Авдѣева помѣс<ь>я Старкова и от гдрваи земли верхъ верха береза взголява на неи грани старые да новые а от тои березы через стежку на курган на кургане столбъ дубов на немъ грани а от того кургана к рѣчке Рагозне прямо на курган на кургане столбъ дубов на нем грани а от тог<о> кургана на курган на немъ столбъ дубов на нем грани а от тог<о> кургана на дубчик краковит одинок на немъ грани а от тог<о> дубчика на столбъ дубов на немъ грани а от тог<о> столба на столбъ дубов что к рѣчке Рагозне на || пригорке на немъ грани а от тог<о> столба прямо к рѣчке Рагозне на олховой молажавой кустъ» [кн. № 15684: 59-59 об.]. Отметим и другие детали ландшафта, служившие порой ориентирами: «на реке на Семи в Нижнем лесу на узголов<ь>и высокой холмъ обапол Балшой лазы да вверхъ по Семи Ивитцкое плесо» [там же: 75]; «по Псынскому колодизи с упальми рѣчки и колодези с вешними розлои [розлоги? – С.К.]... по Обоянскому ровню и по лесомъ» [там же: 219 об.]; «выгон против ендовища» [там же: 722], ср.: *ендовище* ‘впалая поляна или луговина, обширная плоская впадина’ [Даль I: 535]; «по суходолу к рѣчки к Новогробли» [кн. № 15685: 84]; «другая усада на гору по Бражному ржавьцу» [там же: 255], ср.: *ржавец* ‘ржавое болото’ [Даль IV: 96].

Вместе с нарицательными топонимами в книгах, естественно, отложились и собственные топонимические наименования. Они проливают некоторый свет на те элементы словарного состава, которые вне топонимической сферы в деловой письменности обыкновенно не отражаются. Например, вопреки известному мнению, что для юга ха-

рактрным является название *бирюк*, а не *волк*, книги дают иные показания. В них упоминаются *Волчий лесок* [кн. № 15684: 517 об.]; *Волчьи лозы* [кн. № 15685: 9 об.]; *Волчьи лески* [кн. № 15684: 791]. Небезынтересно следующее: топонимов с определением *бирючий* в южновеликорусской области, по данным XVII в., не существовало. Заимствованное из тюркской среды слово *бирюк*, насколько известно, функционировало в этой области исключительно в виде прозвища угрюмого человека, а отнюдь не в качестве названия волка. Исторически *бирюк* у южновеликорусов не соответствовало слову *волк*, да и в современном употреблении не является, собственно говоря, его семантическим эквивалентом. «Атлас русских народных говоров» не позволяет высказать по этому поводу противоположного суждения. Поэтому недостаточно точным представляется такое утверждение: «В большинстве говоров русского языка существует слово *волк*, но в некоторых говорах южного наречия ему соответствует слово *бирюк*...» [Рус.диалектология 1965: 208].

В отказных книгах указывались и размеры поместных владений в соответствующих мерах, например, полей – в четях, а луговых угодий – в копнах сена, которые давали с лугов укусы; упоминались и десятины. Вообще же сведения о метрологии в отказных книгах ограничены, и в этом смысле последние уступают не только таможенным, но даже и писцовым книгам, в метрологическом отношении в общем небогатым.

В отказе или отделе принимали участие и те, кому земля отводилась, и те, кто производил отвод, составлявшие отказные акты подьячие и другие, выступавшие в роли писцов грамотные люди, а также многие свидетели из местного населения. Вследствие этого в книгах наблюдаем обилие личных собственных имён. Отказные книги свидетельствуют о том, что ещё были в речевом обиходе старые русские имена. Приведём примеры из отказной книги № 15684: *Позняк Максимов* [л. 4]; *Нехорошко Истомин* [л. 95]; *Первушка Истомин* [л. 237]; *Неуструи Маслов* [л. 338 об.]; *Нехорошко Мортем<ь>янов* [л. 354]; *Ждан Ерёмолов* [л. 577]; на л. 586 упоминается *Ждан Ефремов*, а на л. 886 – *Чужим Мосолов*.

Обширную коллекцию личных имён, обычных и для нашего времени, появление которых на Руси связано с христианством, дополняют отдельные прозвищные наименования. Они иногда указывают на такие элементы словарного состава, о существовании которых в тех местах, откуда происходят отказные книги, без посредства этих прозвищ мы едва ли бы узнали. В книге № 15684: «Ондрюшка Федоров с сыном Сенкою прозвище Лиходѣи» [л. 323]; «Олешка Рыжий прозви-

ще Хлуу» [л. 380], в Словаре Даля этого слова нет; в книге № 15685: «пачинок Кузмина сна Игнатова прозвища Зык» [л. 233 об.], ср.: «два леска Зыковы» [л. 234]. Есть и другие случаи. Образованная от прозвища *Козюлька* фамилия *Козюлькины* [кн. № 15684: 70 об.], по всей вероятности, свидетельствует о бытовании в ту пору и несколько ранее в пределах степного юга названия гадюки *козюля*, известного и ныне в южновеликорусских говорах. Ср.: «Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли водятся» (И. С. Тургенев. «Бежин луг»).

В отказных книгах встречаются и женские личные имена, главным образом там, где говорится о так называемых прожиточных поместьях или каких-то обязательствах новых владельцев по отношению к своим предшественникам и членам их семей. Например: «отделил женѣ ево Осипове вдавѣ Духане з дочер<ь>ю... на пражитакъ вдавѣ Духане пятнадцат чет<ь>и а дочери... семь чети с асиною в поля а в дву по тому ж» [кн. № 15685: 241 об.]; «он владѣл вдавиним Марѣиным прожиточным помѣстьем Михаиловай жены Иванова» [там же: 47]; «ему Тимоѣю с тово деда своево помѣстья гедрва служба служит а бабку свою вдову Анну да ее живота кормит» [кн. № 15684: 413 об.]. В связи с указанными обстоятельствами в книгах более или менее полно отложилась номенклатура родства.

Представлена и наиболее ходовая терминология, связанная с номинацией людей по их социальному, должностному, соседскому и иному положению. Между прочим, соседи в ряде случаев именуется себрами: «а пашня ему Воину в томъ своемъ в новам помѣстьи похать и сѣна касит и в лѣса вѣѣзжать и всяким угодем влодет с старами помѣщики а с своими себрами» [кн. № 15684: 694]. Когда-то себровство, или сябровство, пришло на смену родовым отношениям. А в XVII в. в поместном кругу, по крайней мере в южновеликорусском, под себровством подразумевалось соседство в землевладении.

Несмотря на более или менее однородный лексический состав отказов и присутствие в них значительной доли оборотов приказного языка, явления местной фонетики, а также и морфологии здесь представлены относительно свободно и широко. Причину этого следует искать в наличии обширного контингента писцов – носителей местной речи. Недостатки в их орфографической выучке, в общей их начитанности, в знакомстве с теми или иными нормами приказного языка, различия, хотя и минимальные, в их индивидуальном произношении, наконец, влияние полевых условий, в которых происходило составление актов, от чего зависело внимание и сосредоточенность писцов, – всё это приводило к колебаниям, и при этом порою существенным, при передаче разными писцами одних и тех же фонем и морфем, к откло-

нениям в орфографии. В свою очередь и неустойчивость последней благоприятствовала появлению отклонений.

В отказных книгах немало данных о местном вокализме. Например, по страницам курских книг рассеяны многочисленные примеры аканья, причём определённо выявляется его не московский, а локальный характер [московский можно было бы связать с приказным языком]: *воеводы* [кн. № 15684: 69]; *Лебядиног<о> калодезя* [там же: 233]; *на ряку* [там же: 304]; *яму взяти с собою* [там же: 663]; *нал#вя* [там же: 602]; *Федот Пятров* [кн. № 15685: 129]; *сянные покосы* [там же: 379]. По некоторым данным, в курских книгах реализацию фонемы *ě* на письме в зависимости от подударного или безударного положения можно было бы уподобить той, какую наблюдаем в московской письменности того же самого времени: подударному положению на письме соответствует в общем Ъ, безударному положению – буква е. Не приводя примеров, отметим: такая реализация фонемы *ě* под пером того или иного писца идёт в одном ряду с иными отражениями южновеликорусской фонетики. Это обстоятельство позволяет видеть в ней не привнесённую традицию приказной московской письменности, а локальное явление [Котков 1963: 52].

Отказные книги открывают возможность регистрации конкретных проявлений подспудных тенденций локальной фонетики, регистрации их во времени. Так, регистрируются убедительные признаки тенденции к сильной лабиализации *o* в положении под ударением в некоторых условиях в пределах южновеликорусских говоров. Наряду с фамилией *Волобоев* [1633 г., кн. № 15684: 62, 64] представлен вариант с ударяемым *y*: «Ортему Волобуеву» [1635 г., там же: 136 об.], «в Титова помѣстья Волобуева... Титу Волобуеву» [1639 г., там же: 396-397], «Григорей Волобуев» [1644 г., кн. № 15685: 174]. Сильную лабиализацию могло претерпевать не только *o* этимологическое и не только то, которое соответствовало *o* под старым восходящим ударением, но и *o*, которое в исследуемый период являлось на месте ударяемого *a*, по-видимому, вследствие воздействия влиятельного на юге соотношения: *a* – в безударном положении, *o* – под ударением. В 1632 г. пишут о Федоре Дериглазове [кн. № 15684: 25]. В 1639 г., упомянув о поместье Дериглазова, далее дважды говорят о Федоре Дериглазове [там же: 406-407], а в 1662 г. упоминается усада уже Федора Дериглузова [кн. № 15685: 20 об.].

Изменение *o* в направлении к *y*, получившее отражение в письменных памятниках в течение всего двух-трёх десятилетий, предполагает актуальность данного явления в это время для южновеликорусских говоров. Если бы эти лингвистические факты были представ-

лены в разнородных с точки зрения и диалектной и временной приуроченности текстах, заключение подобного рода явилось бы невозможным и тенденция к сильной лабиализации *o* под ударением, действовавшая в некоторых условиях, осталась бы невыявленной.

Существенны данные отказных книг о явлениях локального консонантизма. В книге № 15684 имеются косвенные свидетельства о фрикативном характере *z*: «берехъ реки Семи да берех рѣчки Плоской» [л. 658]; «по выписи с книхъ» [л. 759 об.]. Убедительны указания на билабиальное *v*: «дочере... ускормивъ выдот замужъ» [л. 11]; «уверхъ» [л. 335 об.]; «а вгод<ь>е против тое порозжаи земли» [л. 661 об.]. В соответствии с *ф* иноязычного происхождения выступают *x* или *xв*: «Хролов снь» [л. 287]; «Охрѣмова усадища» [л. 610 об.]; «Еньтихвъявы шур<ь>я» [л. 787 об.]. Отражено смягчение *k* после мягких согласных и *j*: «сколкъ члвкъ» [л. 31]; «Евъсѣика да Ескя Неструевы» [л. 327].

Поскольку участие отдельных писцов в составлении отказных книг было продолжительным (10 лет и более), представляются возможными наблюдения во времени не только в общезыковом плане, но и в области индивидуальной речи, а также индивидуальной орфографии. Приведём пример из того же источника. Первушка Истомин принимал участие в составлении книг полтора десятилетия и почти всё это время в положении после мягких согласных передавал смягчение *k* – «Евъсѣика да Ескя» [л. 327], «с Сенькямъ» [л. 428], «Миленкя» [л. 451 об.], «сколкъ» [л. 453], «с Феткемъ» [л. 577], «с Ларкемъ» [там же], – а на десятый год «отказной» практики, приглядевшись к орфографии более грамотных собратий и к московским образцам, написал уже не *Васкя*, а *Васка*, однако рядом, заодно – *с Феткею да Сенкемъ* [л. 713 об.]. Учёт явлений подобного рода, соотносительно с явлениями фонетики и морфологии, позволяет осветить некоторые моменты овладения орфографией, составить известное представление об орфографической выучке писцов и о степени их ориентации на московские правописные образцы. Следует сказать: общее мнение об ориентации на эти образцы ещё не получило обоснования в виде конкретных исследований приказной московской и локальной письменности в их постоянном взаимодействии при ведущем влиянии Москвы. Изучение орфографии отказных книг в сопоставлении с московскими рукописями однородного содержания, как нам кажется, было бы перспективно, оно открыло бы новые возможности в области изучения истории языка и его орфографической культуры.

Значение рассматриваемой группы источников для морфологических изучений заключается прежде всего в том, что благодаря

специфике своего содержания они позволяют исследовать элементы системы словоизменения в их многократном функционировании на протяжении известного отрезка времени не только в однотипных синтаксических, но в большей мере, чем в иных источниках, и в однотипных лексико-синтаксических условиях. Наблюдаемые колебания в образовании форм оказываются сопоставимыми и в отношении времени, и в жанровом отношении, а иногда и по принадлежности к определённой писцу. Имеется известная возможность изучения явлений словоизменения в аспекте и общей системы языка, и индивидуальных речевых систем. Из таких явлений в отказных книгах находим, например, колебания в образовании именительного-винительного множественного числа в среднем роде: (*гумна – гумны* и т. п.), вытеснение новым окончанием *-а* старого окончания *-ы* в именительном множественного числа: *леса* и т. п. Представлен и ряд других изменений в области склонения имён, а также местоимений.

Желательно привлечение этой группы источников и с точки зрения исследования локальных вариантов синтаксиса в деловой письменности XVII в. Здесь, например, встречаются конструкции типа *земля пахать* [Котков 1959: 45-53], которые обыкновенно относили только к северу и центральным областям Русского государства.

Отказные книги необходимо включить в круг важнейших источников по истории русского языка. Они особенно ценны для изучения его локальных разновидностей, и письменных и устных.

**23. Монастырские фонды рукописей во Владимирском областном архиве [XVII – нач. XVIII в.] // Изучение русского языка и источниковедение. – М., «Наука», 1969. – С. 211-222  
[соавтор – Н.Ф. Савченко]**

По данным путеводителя «Государственный архив Владимирской области» [1959], рукописные материалы XVII – начала XVIII в. имеются в фондах таких монастырей: Боголюбовский мужской, Владимирского уезда [ф. 567]; Успенский Княгинин женский в гор. Владимире [ф. 568]; Муромский Благовещенский мужской в гор. Муроме [ф. 1094]; Покровский женский в гор. Суздале [ф. 575]; Спасо-Кукоцкий мужской, Суздальского уезда [ф. 579]. Наиболее обширные материалы Покровского женского монастыря. Применительно к интересующему нас периоду содержание монастырских фондов раскрывается в путеводителе следующим образом: «Копии жалованных грамот. Дела об оброке и барщине с монастырских крестьян. Донесения старост монастырских вотчин о полевых работах. Выписки из межевых книг о монастырских вотчинах. Ведомости монастырского имущества. Контракты, заключённые с крестьянами об аренде мельниц, лесных угодий, земли и строений. Ведомости о расходе и остатках казенного хлеба. Ведомости о настоятелях, монахах, послушниках. Приходо-расходные книги» [ГАВО 1959: 53]. Материалы того же времени находятся и в фондах мужских пустыней – Лукьяновой Александровского уезда [ф. 584] и Флорищевой Гороховецкого уезда [ф. 586]. Составители путеводителя упоминают в этих фондах царские указы, описи монастырского имущества, приходо-расходные денежные книги [там же]. Языковеду эти краткие сведения мало что говорят. В настоящем обзоре мы пытаемся дать более или менее конкретное представление о лингвистической ценности данных материалов.

Состав монастырских фондов ограничивается деловой письменностью. Выделяется значительное количество рукописных книг разнообразного содержания. В их числе отметим прежде всего приходо-расходные, которых насчитывается свыше 60. Больше всего таких книг в фондах Покровского монастыря [35] и Лукьяновой пустыни [15 – XVII в., 1 – первой половины XVIII в.], меньше их в фондах других монастырей, например, сохранилось по 4 книги – XVII и первой половины XVIII в. – Успенского Княгинина монастыря и Флорищевой пустыни. В книгах этого рода фиксировался приход и расход денег, различных материалов и припасов. Записи велись в хронологическом порядке. Вели приходо-расходные книги и представители монастырской администрации, и доверенные люди из местного населения, из монастырских вотчин



– «купчины», старосты, целовальники. Их имена указывались в начале книг, в самых первых строках. Приведём два примера:

«Книга росходная козначея старца Тарасия Рыбенкова РЧЕ 2 году с марта мсца», 1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 23 [Здесь и далее после примера указываем дату, номер фонда, описи, единицы хранения, лист – *прим. авт.*].

«А☆А году генваря с перваго числа кнги росходные Покровского двча монастыря вотчинного выборного купчины Максима Степанова вышеписаннымъ приемнымъ днгам что он приимать у подячего у Василя Крюковского и куды что сорено и то писано ниже сего» [1701, ф. 575, оп. 1, № 26: 31].

Лица, которые вели книги, не всегда являлись их писцами. Например, в книгу Максима Степанова записывал подьячий, за что и получал вознаграждение. Об одной из форм вознаграждения в книге сказано так: «Заплачено... за три гуся семь алтнь... и два гуся *отнесены* на двор Василю Михаиловичю (видимо, начальству – *Авт.*), а гус *отнесень* в почесть подячему Федору Григореву для того что он записывает у меня *купчины* росход и *тот гус отнесень* ему за работу в почесть» [там же: 54-54 об.].

Иногда записи о выдаче денег сопровождалась приложением рук просителей: *Андреи Дитятев* против сеи записки днги взял и росписался [ф. 575, оп. 1, № 23: 72]; *Василеи Безпутин* днги взял и руку приложилъ [там же: 73].

Писцы из монастырских старцев могли быть по происхождению и из других краёв России. Поэтому свойственные местной речи явления фонетики и грамматики в их записях могли и не получать отражения. Безусловно препятствовало этому отражению и знакомство старцев с церковной книжностью. Зато предметно-бытовая лексика – названия, обозначения тех предметов, которые вседневно употреблялись в нехитром хозяйственном обиходе и за которые они отчитывались, – отлагалась в книгах местная. Писцы и рукоприкладчики из местного населения, естественно, в той или иной степени оставляли в письме следы локальной не только лексики, но и фонетики и грамматики. При лингвистическом исследовании приходо-расходных книг эти моменты биографии пишущих приходится учитывать.

Содержанием приходо-расходных книг предопределяется наличие в них широкого круга предметно-бытовой лексики. Мы знакомимся здесь с названиями таких предметов домашнего обихода, явлений материальной культуры, упоминания о которых в других видах деловой письменности того же самого времени обычно не встречаются. Хозяйство монастырей, особенно больших, было достаточно раз-

ветвлённым. Это наложило свой отпечаток на содержание приходо-расходных книг. Записи в них касаются различных отраслей хозяйства. Если сравнить с этой стороны монастырские приходо-расходные книги с соответствующими книгами, которые велись, например, в таможенных учреждениях XVII в., то сравнение в ряде случаев едва ли будет в пользу вторых. Обратимся к иллюстрациям. Вот, например, упоминания о предметах домашнего обихода: куплено веников березовых сотня... куплено на мирской двор кувшинов и корчагъ у Семена Ганчарова на восемь днгъ [1701, ф. 575, оп. 1, № 26: 32]; куплена кад елевая [там же: 41 об.]; каракуля желъза куплена [там же: 31 об.]; заметим кстати, что слово *каракуля*, по-видимому, было вполне привычным – бытовало производное от него прилагательное: куплено полсвяски желъза каракулного [1698, ф. 586, оп. 1, № 3: 17]. Говорится также о покупке коробов, лукошек, рукомойников и прочей утвари.

Приобретая различные материалы и вещи, авторы записей нередко указывали, для чего их покупали. Скажем, писали в книге о приобретении лопат липовых и тут же объясняли: огребать на мнстрѣ снегъ [1701, ф. 575, оп. 1, № 26: 37]. В этих объяснениях порою находим косвенную характеристику отдельных реалий, а вместе с тем и уточнение семантики соответствующих названий. Ограничимся тремя примерами: куплено на воловеи двор лыкъ на две днги вить привязки коровам да на завертки да ужище куплено дано днга возить солома на двор и тем ужищем привязыват [там же: 38 об.]; куплен желъзною заслон... отданъ на мирской двор въ верхъ заславиват в комнате печь [там же: 43]; куплено четыре кади липовых на квашни [там же: 46]. Рассеяны в книгах наименования и всякого рода съестных припасов. Записаны и свежина, и «моклоки» говядины, и «ссекъ» еѣ, и рыба в самых различных видах, от сухих вандышей до щук «колодошных» и щеки белужьей, крупы «грешневые» и ягоды, вроде жаравики (клюквы) и брусницы, а кроме того, и ягоды изюмные.

Заметный перечень составляют названия одежды, обуви и материалов, из которых шились одежда и обувь. Например, только в одной книге Лукьяновой пустыни упоминаются балахоны, зипуны, кафтаны шубные [и шубы], портки, рубахи, свитки, сарафаны; крашенина, сукно сермяжное, холсты, шубное лоскутье; башмаки, коты, лапти и сапоги. Лапти на счёт продавались «обувями»: шестеро обуви лаптеи [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 26]; сорокъ обуви лаптеи [там же: 55], но в то же время: двои бошмаки [там же: 35], а не «двои обуви башмаков». Аналогично вместо того, чтобы писать о парах вѣдер, прибежали к иному, «наглядному», выражению значения парности: куплено... двои

коромысла вѣдер [1695, ф. 575, оп. 1, № 295: 69 об.]; куплено четыре коромысла вѣдер [там же: 70 об.].

Поскольку нередко деньги тратились на различные поделки и подѣнные работы, в расходных записях попадаются наименования лиц по мастерству или виду работы. Наименования эти не лишены интереса в словообразовательном отношении. Перечислим лишь некоторые из них: каменщики, кирпичики, кожевники, метальщики (стогов), мясники, огородники, садовники, хлебники, чашники, гребцы (сена), жнецы, косцы, кузнецы, повара, пахари, водовозы, шерстобиты. Любопытны, к примеру, такие записи: а тот мнстрской запас в селе Шиповѣ пили ели мнстрские служебники и ратые и погонцы работников за плугом [1655, ф. 575, оп. 1, № 23: 32 об.]; и всех ратоев у плугов и у косул (у сох – *Авт.*) и погонцов кои погоняли в плугах и в косулях дватцат четьрѣ члвка да четыре бороноволака которые землю боронуют за плугами и за косулями да два садца да кошовар да хлебъникъ да конюх [там же: 33].

Монастырские приходо-расходные книги любопытны ещё с одной стороны. Известно, что диалектизмы в своей значительной части принадлежат к предметно-бытовой лексике. Если в других категориях памятников делового содержания они – явление редкостное, в составе предметно-бытовой лексики рассматриваемых книг они довольно обычны: дано коссом одному за два дни с уповодом В ал В де пети челоуѣкомъ дано за Г дни ЕІ ал [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 38 об.]; купил... десяток молотилных пущцовъ [там же: 46]; три туеза [там же: 69]; куплено уголя четыре острамка [1695, ф. 575, оп. 1, № 295: 88 об.]; куплено... шестеры ночвы [там же: 68]; корецъ... болшой пивной долгая рукоят [1678, ф. 584, оп. 1, № 2: 56]. Как видим, слова *корец* и *ночвы*, которые ныне обыкновенно связывают с южновеликорусской областью, употреблялись и в средней полосе России. Диалектными являются и отмеченные выше слова *жаравика* и *косуля* и нек. др. Приходо-расходные книги – ценный источник для изучения лексических диалектизмов в историческом аспекте.

Страницы этих книг содержат и случаи употребления отдельных слов в значениях, неизвестных нашему времени: к носилкамъ куплены оглобли [1695, ф. 575, оп. 1, № 295: 87], это значение не отмечено даже в словаре Даля; в неизвестном ныне смысле функционировало слово *череп*: масла коровья кринка и с черепом КЕ гривенок [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 65]; один короваи сала [1683, ф. 567, оп. 2, № 2: 48]. Небезынтересно наименование предмета, который в литературном языке сохранял иноязычное название. О ремонте часового циферблата сказано: к часамъ дѣлан указной круг желѣза изашло краснова В листа

да олова VI золотников *от* дѣла того круга дано И ал В *де* [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 34]. Примечателен случай сохранения образования, послужившего исходным для известного ныне производного слова: облукъ *санной* [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 63 об., 73 об.], ср. *облучок* ‘сиденье для кучера в повозке’. Обращают на себя внимание обозначения действий, воспринимаемых в качестве опредмеченных: бороньба (от *боронити*) [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 33]; полотье (от *полоть*) [там же: 38, 42]; обжага (от *обжигать*) [там же: 42].

Вторая группа рукописных книг – посевные, ужинные, опытные и умолотные книги монастырских вотчин. Посевные заключали сведения о посеве, ужинные служили для учёта сжатого, а умолотные – для учёта обмолоченного хлеба. В начале обмолота делали опыт – брали известное количество снопов и обмолачивали их, устанавливая таким путем, каков выход зерна, производили, так сказать, «опытание» урожая. Всё это записывалось в так называемых опытных книгах. На основании опыта прикидывали общий объём урожая. О характере посевных и перечисленных с ними книг дают представление следующие строки:

«Кнга записная ужинная и умолотная посежная Покровского двча мнстря вотчины села Бережку старосты Якова Федотова целовалника Мины Васильева мнстрьскому ржаному хлѣбу ужато в селе Бережку мнстрьские ржи на мнстрьскомъ жеребю на крстьянскои пахоте на трицати на осми десятинах сто трицат сотницъ а по опыту умолоту и <3> сотницы с овина по четверти» [1661, ф. 575, оп. 1, № 26: 4-4 об.].

В ряде случаев подобные книги превращаются на следующих страницах в книги прихода-расходные, когда, во-первых, подводится итог собранному хлебу и, во-вторых, отмечается его расходование на те или иные нужды и статьи. Вследствие этого лексический состав данной группы рукописных источников не ограничивается сельскохозяйственным словарём, а является более широким. Впрочем, и заключённый в них сельскохозяйственный словарь достаточно разнообразен – содержит номенклатуру обрабатываемых угодий, наименования производственных операций и способов обработки сельскохозяйственных культур, названия, характеризующие качество зерна, и т. д. В этом легко убедиться, заглянув, например, в рукопись «Книги ужинные и опытные и посевные Покровского двча мнстря вотчины села Шипова». «Ужато, – отмечается в них, – на крстьянскои пахоте на мнстрьскомъ жеребю на взгоне и на изорных на пятидесят на девяти десятинах без четверти десятины двести пятьдесят шесть сотницъ ржи неградобоинои да градобоинои нажато на тех же десятинах двести дватцет две сотницы да леглои нажато тритцетъ две сотницы да тое же неградо-

боиной ржи обмолочено на семена с овинов и сырбоек сто шестьдесят сотниц... неградобоиной же ржи складена клад восьмьдесят сотниц» [1692, ф. 575, оп. 1, № 26: 69, 71 об., 73]. Упоминание об изорных десятинах содержится и в начале книг [л. 1]. Ни в «Материалах» И. И. Срезневского, ни в Картоотеке ДРС это слово не представлено, в последней имеется только *изорник*, а в «Материалах» ещё прилагательное *изорьничь*, причём оба слова – только из Псковской судной грамоты.

Кроме приходо-расходных, посевных, ужиных и иных книг, монастырские фонды охватывают немало дел, объединяющих разнообразные документы, появление которых было связано с административной и экономической жизнью монастырей, социальными столкновениями, повседневной жизнью монастырских вотчин. Это и выписи из писцовых книг, и материалы о состоянии монастырского хозяйства, в том числе донесения старост, и описи имущества, и челобитные, и поручные записи и т. п. Надо сказать, что эти памятники местной деловой письменности, за исключением копийных текстов, вроде выписок из писцовых книг, в общем несколько отличаются от московских приказных текстов той же самой поры. Они менее формализованы. По всей вероятности, случилось то, что многие из этих документов служили для внутреннего употребления, в пределах монастырских владений. В документах находят отражение определённые события, действия, поступки и отношения между людьми. Вследствие их «событийного» характера в них богаче, нежели в книгах, представлена лексика, связанная с обозначением действий, процессов, состояний или явлений. Подобные тексты в известной мере раскрывают перед нами ту область словаря, которая в указанных книгах, в силу предметности их содержания, не могла получить заметного отражения. Вот, например, одна из крестьянских челобитных.

«Гсдрне игумене Марфе и гсдрне келарю старице Анастасии и всему собору бьет челом сирота вашь манастырские вашии вотчины селца Чагина кристянин Мишка Василевъ обѣщание у меня сироты пострищся а без вашего властелинского указа я сирота пострищся не смею а что у меня сироты тягла и тем тяглом владеет детям моимъ Максимку да Костюшке Михайловым да мнучетом моимъ Лукояну да Семену Якимовым умлстивитесь гсдрни игуменя Марфа и гсдрни келар старица Анастасия и вес собор пожалуйте меня сироту своего велите гсдрни о пострижении дат мнѣ сиротѣ отпускную память и велите гсдрни тем моимъ тяглом владеет им детям да мнучетом моимъ гсдрни смилуйте пожалуйте» [1699, ф. 575, оп. 1, № 16: 26].

Струя живой народной речи в отдельных деловых текстах пробивается очень заметно. Приведём рассказ о хмельных приключениях монастырского гонца.

«В приказной избѣ мнстрскои слуга Иван Замораев в допросе сказал в ннеишем де во РЧЗ году июля въ КЗ де по приказу гсдреи властеи послан я к Москве с мнстрскими писмами и того де числа я из двора своего не поѣхал потому что было поздо а жены де ево в доме не было и поѣхал де на утро... в понедѣльникъ в час дни и заѣхал де на похмеле в город кремль к николскому попу Василю Гаврилову и пил у него до полдни и напився пьян от него попа Василя поѣхал к селу Иванскому и дорогою ѣдучи к селу Яневу с лошеди свалился а в коем де мѣсте свалился тово не упомню был пьян и на поле спал и проснувся за лошедю побѣг к Суздально и лошедеи поимал... а седло де и потники и сумки с писмами и епанчю лошед потеряла невѣдомо гдѣ и села де Селца с крстьянином с Михаилом Токмаковым седла и потников и епанчи и сумок с писмами искали и нашли одны потничка а в коем мѣсте нашли тово он Иван сказал не упомнит скажет де Михаило Токмаков и спал де он Иван истерявся на поле а с поля розбудя взял ево ночью Конохов Митка» [1689, ф. 575, оп. 1, № 18: 31].

Сообщим некоторые фрагментарные сведения об отражении отдельных звуковых и грамматических явлений в интересующих нас рукописных текстах. В отличие от материалов того же времени, но южновеликорусских по происхождению, они для наблюдений по фонетике, не согласной с орфографией, дают относительно немного.

В значительной группе рукописей, даже при первом ознакомлении, бросается в глаза сохранение *ѣ* в положении под ударением; одновременно в соответствии с *ѣ* этимологическим в безударном положении пишется *е*: мнстрскои лѣс [1653, ф. 575, оп. 1, № 14: 3], ср.: в томъ лесу [там же]; на рѣчке [1683, ф. 567, оп. 2, № 2: 76], ср.: на рекѣ [там же: 75]. В части текстов представлено написание *е* вместо *ѣ* в любых положениях. Не претендуя на бесспорное обобщение, заметим: в большом количестве текстов, с которыми мы ознакомились, случаев, иллюстрирующих переход *а* в *е* в положении между мягкими согласными под ударением, не обнаружено. Налицо результаты перехода *е* в *о* как после шипящих [решот, 1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 24 об.], так и после мягких согласных: отвезон, згребона [1616, ф. 575, оп. 1, № 18: 12]; овос [1620, там же: 14]; Кисилоть [1655, ф. 575, оп. 1, № 23: 18].

В области безударных гласных можно отметить случаи отражения заударной редукции *о* в виде написания буквы *а*. Встретилось несколько случаев аканья, например: Рамашке [1655, ф. 575, оп. 1, № 23: 12]; фанарь [1698, ф. 586, оп. 1, № 3: 28] и др. Связывать эти факты

с состоянием местной речи в XVII столетии, однако, не представляется возможным. Они производят впечатление случайных и скорее всего объясняются тем, что среди обитателей монастырей и монастырских вотчин могли оказаться и выходцы из южновеликорусских мест. О сильной лабиализации гласного *о* в начальном безударном слоге говорит написание: угорода [1697, ф. 586, оп. 1, № 3: 4]. Нередко употребление буквы *ы* вместо *и* в начале слова в положении после твёрдого согласного: с Ывашке [1689, ф. 586, оп. 1, № 3: 12]; с ыстока [XVIII в., ф. 586, оп. 2, № 2: 13]. Отмечается появление *о* перед определёнными группами согласных в начале слова: оржанои [1655, ф. 575, оп. 1, № 23: 32]; овторника [1668, ф. 575, оп. 1, № 14: 8]; масла... олленава [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 57 об.]; холста... олленава [там же: 68 об.].

В общем нет данных, которые указывали бы на сохранение в черте монастырей и вотчинных их владений старой мягкости шипящих. Только в приходо-расходной книге Лукьяновой пустыни (Александровский уезд) писец после *ш* допускает букву *ю*: шюбнои кофтан [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 29]; шюбрь поношенных [там же: 36 об.]; дано... по грошю [там же: 41]. После *ц* пишется *ы*. Довольно обычно *ин* из *чи*: ссылошную память [1634, ф. 575, оп. 1, № 10: 2]; насвѣшник [1683, ф. 567, оп. 2, № 2: 50 об.]; мелнишная [там же: 45]; рукавишнова товару [1687, ф. 584, оп. 1, № 2: 68]; кирпишному [1695, ф. 575, оп. 1, № 295: 77]; пешнику [там же: 97 об.]; оброшныхъ [1697, ф. 586, оп. 1, № 3: 5 об.]. Отметим изменение *ви* в *ми*: мнучетом [1699, ф. 575, оп. 1, № 16: 26]. Обыкновенны отражения ассимиляции согласных по звонкости и глухости.

Несколько замечаний об отдельных грамматических фактах. Слово *сирота* и как название лица мужского пола могло ещё относиться к категории женского рода: сирота твоя... крстьянин [1633, ф. 575, оп. 1, № 14: 5]. Имело широкое распространение окончание *-у* в родительном падеже единственного числа имён существительных мужского рода: без остатку [1653, ф. 575, оп. 1, № 14: 3]; с перевозу [1697, ф. 586, оп. 1, № 3: 2]; солоду... смолото [1655, ф. 575, оп. 1, № 23: 29]; куплено... меду [1698, ф. 586, оп. 1, № 3: 14 об.]. Имена существительные – названия животных в винительном падеже множественного числа не входили в категорию одушевлённых: кормили лошади [1655, ф. 575, оп. 1, № 23: 18]; чистил... лошади [1694, ф. 575, оп. 1, № 286: 22]; куплено доиников доит мнстрьские коровы [1701, ф. 575, оп. 1, № 26: 49 об.]; подковывать мнстрьские лошади [там же: 52 об.]. В родительном падеже единственного числа мужского рода прилагательных и неличных местоимений наличествуют следы отражения произносительной нормы *-ово*: своево [1634, ф. 575, оп. 1, № 10: 2];

годова [1655, ф. 575, оп. 1, № 23: 12]; плужново [там же: 13 об.]; ржанова [там же: 29]. Представлены деепричастия на *-учи*: *ѣдучи... с лошеди свалился* [1689, ф. 575, оп. 1, № 18: 31].

Из синтаксических особенностей обращает на себя внимание конструкция «инфинитив + форма именительного падежа единственного числа существительных женского рода на *-а*»: *желѣза... отдано кузнецу... дѣлат на мирской двор лопата* [1701, ф. 576, оп. 1, № 26: 31 об.]; *возить солома* [там же: 38 об.]; *возить на мнстръ вода* [там же: 46].

В заключение отметим, что некоторые извлечения из названных монастырских фондов в прошлом публиковались. Таковы, например, публикации К. Тихонравова:

Книга расходная суздальского Покровского девичьего монастыря 1686 г. – «Владимирские губернские ведомости», 1865, № 12. Часть неофициальная.

Разные старинные акты, хранившиеся в суздальском Покровском девичьем монастыре в 1669 г. – «Владимирские губернские ведомости», 1867, № 34. Часть неофициальная.



## 24. Об исследовании источников по истории говора Москвы // Русский язык. Источники для его изучения. – М., 1971. – С. 85-103.

Одна из самых неясных страниц в истории русского языка – история говора Москвы, хотя сохранившаяся московская письменность и ведёт начало с XIV в. Отставание в исследовании этой проблемы объясняется многими причинами. Одна из них – довольно давнее ограничение исследуемого круга источников относительно немногими общеизвестными текстами и, вместе с тем, иногда некритическое использование их показаний, в свою очередь обусловленное формальным подходом к источникам, недостаточностью их анализа.

Обратимся к таким ранним источникам, как евангелия 1339 и 1358 гг. Представляя собой канонические тексты, переписывавшиеся обыкновенно тщательно, евангелия, естественно, не могут дать более или менее существенных сведений о московском говоре той поры. Но если тексты подобного рода воспроизводили тщательно, то тем значительнее их показания в тех немногих случаях, когда, несмотря на всё внимание, сосредоточенность писца, воздействие родной, московской речи сбивало его со стези освящённой традицией орфографии, например, в сторону аканья. По одиноким проявлениям последнего в указанных евангелиях нельзя заключать о столь же редких проявлениях его в московском говоре соответствующего времени. К сожалению, крайне редкие в текстах подобного рода отражения локальной фонетики иногда недостаточно обоснованно относят к разряду фактов, лишённых лингвистического значения, обусловленных так называемой графической ассимиляцией. Например, в написании *прадающим* [ев. 1339] появление *a* в первом слоге объясняют именно таким образом – ассимиляцией с *a* последующего слога [см.: Селищев 1968: 203]. Подобную ассимиляцию допускают и в *ака* вместо *ако*: *ака* на нбси [ев. 1358], хотя одновременно говорится, что *ака* с *a* вместо *о* можно признать фонетическим написанием «с наибольшей вероятностью» [Князевская 1957: 162]. В описании того же евангелия встречаем и такое суждение: «Написания с *a* в книжных глагольных основах многократного вида объясняются морфологически и ни в коей мере не указывают на наличие аканья – речь идёт о написаниях *оукар#ти*, *свьпрашати*, *напа"ше*, *ража-тс#*, *оутанаху* в мори и др.» [там же; разрядка наша. – С.К.]. Фонетическое значение этих случаев категорически исключается при наличии в той же рукописи и вариантов с *о* вроде *оукор#ти*. Заметим кстати: в определённой части русских народных говоров можно найти и фонетическое обоснование подобных написаний. В этих говорах *a* вместо *о* в предударном положении возможно

только при гласном *a* в слоге под ударением. В современной науке такое состояние считают ранним этапом перехода от системы оканья к системе аканья. Аналогичное состояние, можно думать, имело место и в прошлом в истории ряда говоров.

Касаясь фонетической достоверности тех или иных написаний, следовало бы принимать во внимание не только самый характер текста (в данном случае канонический), чем в значительной степени определялось особое отношение к нему писцов, но, кроме того, и специфику его рукописного воспроизведения. При списывании с оригинала, исполненного уставом, происходило побуквенное воспроизведение текста. Во всяком случае, уставное, несвязное письмо оригинала, к тому же несколько «рисованное» и без деления на слова, ориентировало именно на это. Графическая ассимиляция возможна скорее при копировании связного письма – текста, исполненного скорописью, в условиях несколько большего, в сравнении с уставным письмом, графического автоматизма.

Лингвистическое исследование древнего текста имеет непрерывной предпосылкой и знание характера его орфографии. Поскольку в обычном русском письме редукция безударных гласных выявляется лишь вопреки орфографии, тогда как существование оканья за орфографическим «фасадом» признаётся априори, противопоставление аканье – оканье при исследовании памятников русской письменности считаем несостоятельным и находим реальным только аканье – отсутствие аканья. В самом деле: старинное аканье так или иначе документируют отклонения от орфографии, а оканье просто предполагается на основании вольного отождествления фактов безударного вокализма с определёнными правописными.

Связанные в общем с той же эпохой, что и упомянутые канонические тексты, грамоты великих московских князей представляют московский говор не только редкими «обмолвками» фонетического характера, как источники канонические, но дают известное представление о его фонетике в целом, о его лексическом составе, морфологии и синтаксисе. Однако думать, что московский говор представлен во всех его элементах, было бы опрометчиво: в духовных грамотах сказывается налёт церковно-книжной фразеологии [см.: Горшкова 1951: 5], в договорных отложилась едва ли не общая в то время на Руси фразеология междукняжеских отношений. К тому же обыкновенно не указывается, кем грамота написана, что всегда вызывает сомнение в её безусловно московском «качестве», а наиболее ранняя грамота [1339 г.] – духовная Ивана Калиты – писалась дьяком Костромой, возможно, если судить по прозвищу, и не москвичом. Принимая во внимание, что

великокняжеские писцы были в достаточной степени опытными (и строй и правописание грамот не оставляют в этом сомнения), едва ли возможно ожидать в написанных ими грамотах более или менее значительных, не согласных с орфографией проявлений местного говора.

Не случайно скептическое отношение к робким признакам аканья распространяется и на грамоты. Например, колебание в огласовке упоминаемой в грамотах деревни *Брошевая – Брашевая* считают, возможно и справедливо, ненадежным свидетельством аканья (слово относят к числу «неясных по своему звуковому виду» [Селищев 1968: 203]), но в то же время, видимо, не придают значения тому обстоятельству, что ранний вариант с *o*, а более поздние – с *a*. Не служит ли это все-таки, хотя и довольно слабою, приметой распространения тогда в московской округе аканья? Вместе с тем, напротив, в топониме *Растовець* не обязательно видеть проявление аканья: в древнерусском языке имеем *ростъ* и *расть* с одной и той же семантикой [Срезневский III: 92, 172].

При оценке заключённых в грамотах фактов с точки зрения отнесённости их к говору Москвы, понятно, приходится учитывать, в подлинном виде или в списке представлена та или иная грамота.

Возьмём список докончания великого князя Василия Дмитриевича с рязанским князем 1402 г. В первой половине грамоты сочетания *кы* не встречаем, наблюдаем только *ки*: *р#занским, киевског<o>, великих, московских и коломенских, торусские, р#занские*; во второй половине преобладает *кы*: наряду с написаниями с *новосилским, татарьски", морьдовски", великим, кр<e>сть"нские, великих* находим с *торискыми, великы* [6 раз], *великих* [см.: Дух. и дог.гр. 1950: 42-55]. Отмеченное в подлиннике подобное явление могло бы получить такое истолкование: в говоре писца грамоты противоборствовали *кы* и *ки*, при этом первое было связано с не вполне утраченным старым произношением, а второе – с необходимостью равнения на новое, уже возобладавшее в устной речи и получившее закрепление в письменной; сначала, пока не рассеивалось внимание, писец сосредоточенно следовал этой новой норме, а затем, при ослаблении внимания, стал, естественно, сбиваться на ещё непреодоленную и для него привычную. Отмеченное в списке аналогичное явление допускает иное истолкование: в составлении оригинала грамоты принимали участие два писца, либо неодинаково внимательные, либо носители разных говоров, если видеть в написании *кы* отражение произношения, а не лишённый устного основания элемент письменной традиции.

Расхождения в интерпретации некоторых данных, заключённых в оригиналах или списках, возможны и в области морфологии. В

области лексики показания списков, в сравнении с данными оригиналов, можно, видимо, считать не менее надёжными, если, впрочем, исключить невольные искажения текста со стороны переписчика. Надёжность объясняется не только тем, что замена слов оригинала в составе списка иными словами с точки зрения «технологии» копирования маловероятна, но и самым характером грамот – строго юридическим. Понятно, речь идёт о списках, в которых содержание подлинника не подверглось фальсификации.

Если сравнение списанных в разных зонах русского языка церковно-канонических текстов вроде евангелия не даёт более или менее существенных сведений о региональной дифференциации словаря, сравнение в аналогичном плане грамот даёт известное представление о характерных для московского говора отдельных лексических элементах. Однако вполне обоснованное выявление подобных элементов возможно лишь при том условии, если сравниваем грамоты, идентичные по содержанию или, в крайнем случае, их отдельные части, идентичные в том же отношении. Несоблюдение этого условия приводит к ошибочным заключениям. Вот один из примеров. К словам, появившимся первоначально именно в языке московских грамот и позднее (с конца XV – начала XVI в.) употреблявшимся в памятниках немосковского происхождения, О. В. Горшкова причисляет слово *деревня*. Делается это в результате сравнения московских и новгородских грамот [Горшкова 1951: 14]. Между тем в берестяной грамоте № 311, датируемой рубежом XIV–XV вв., называют *деревенку* Климецу Опарину [Арциховский, Борковский 1963: 144].

Иногда характерными для говора Москвы XVI в. называют некоторые лингвистические факты, отложившиеся в списках Домостроя, хотя принадлежность этих списков и, тем более, оригинала памятника к московской речевой культуре далеко не установлена. Следствием этого и слабой изученности средневековой русской письменности является невольное «прикрепление» прежде всего именно к Москве ряда таких лингвистических фактов, которые исторически свойственны и многим немосковским говорам.

С. Д. Никифоров, исходя из фонетических наблюдений над Коншинским списком Домостроя, писал, например, следующее: «Изложенные выше факты дают основание думать, что писец Коншинской рукописи принадлежал к представителям среднерусского говора, складывавшегося в результате влияния на Владимиро-Поволжский говор акающего, по-видимому, Рязанского говора. Сходную фонетическую систему можно найти в говорах подмосковных районов, описанных в начале XX в. В. И. Чернышёвым [Никифоров 1947: 29]. Далее указы-

вается аканье, яканье перед твёрдым ударным слогом и иногда в конечном заударном слоге, чаще же в безударных слогах еканье или иканье; указывается произношение *чи* как *ши*, диссимилиция вроде *кто*, *што*, твёрдость конечных губных согласных (*кров*, *сем*) при наличии и мягкости (*кровь*, *семь*), твёрдое произношение суффиксального *н* в именах прилагательных (*малолетнай*, *позная* и др.), произношение мягкого *р* в случаях *черьви*, *перьявая* и под., протетическое *в* (*вострая*, *восна*), утрата безударного *и* в повелительном наклонении (*паложь*, *прагонь*) [там же]. Совокупность явлений подобного рода и по современным данным и по данным памятников, скажем, XVII в., известна не только подмосковным, но и многим прочим русским говорам. По этим признакам Домострой может быть и не московского, а иного происхождения.

Характеризуемые как типично северновеликорусские отдельные данные Домостроя в свете некоторых новых сведений из других письменных источников оказываются и южновеликорусскими. Так, например, названия *тын*, *горница*, *подклет*, *сенница*, на основании которых в числе иных С. Д. Никифоров относит прототип Домостроя к северновеликорусской области [см.: Никифоров 1947: 26. – Название *сенница* при этом попадает в северновеликорусские по ассоциации со словом *сенник* в выражении *сенник на хлевах*. Купчая Кирилловского монастыря 1578 г.] и, поскольку связывает Домострой с Москвой, в какой-то степени признаёт основание говора Москвы в XVII столетии северновеликорусским. Ср., однако, аналогичные факты в заведомо южновеликорусских памятниках XVII и начала XVIII в.: двор огорожен тыном [Белгород 1639, Прик. стлб 124: 227]; горница с комнатою [Белоклодск 1696, Прик. стлб. 221б: 21]; клеть на подклетех да черная горница с подклетам [Курск 1707, ф. 1136, оп. 1, № 336: 10]; у меня ж згорѣло клѣть с хлѣбомъ да сенница [Новосиль 1659, Бел. стлб., 419: 460]. Можно привести и другие примеры.

Определённо написанные в Москве Судебники XV и XVI вв., Стоглав, Тысячная книга 1550 г., Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. и некоторые иные московские тексты того же самого времени сохранились только в списках, да и с точки зрения содержания они далеко не таковы, чтобы давать явственное отражение обыденной речи москвичей XVI столетия. Понятно поэтому стремление исследователей привлечь к изучению подмосковные тексты, которые, в их представлении, применительно к данному времени могли бы в какой-то степени знаменовать московскую речь. При этом особое внимание проявляется к обширному фонду деловой письменности (в значительной части XVI в.) Иосифо-Волоколамского монастыря. Критическое сопоставле-

ние этих материалов и собственно московских помогает воссоздать общую картину состояния северновеликорусских говоров в упомянутую эпоху и высказать некоторые соображения об их взаимодействии и хронологии отдельных свойственных им явлений. Например, исследовав волоколамскую письменность соответственного периода, В. В. Иванов высказывает предположение: «Возможно, что XVI век в истории волоколамских говоров и явился тем периодом, когда акающее произношение укрепилось как черта, общая для всех носителей диалекта» и далее: «...можно думать, что акающее произношение, развившееся в волоколамских говорах ранее, чем в Москве, было поддержано московским произношением» [Иванов 1959: 40]. Не касаясь того, насколько основательны или спорны эти предположения, отметим существенное обстоятельство: говор Москвы и волоколамский в исследовании Иваново разграничиваются. Данных для их отождествления он не обнаруживает.

Иную оценку одному из волоколамских источников даёт В. М. Марков. Обращаясь к материалам Расходной книги Волоколамского монастыря [1547–1561], Марков усматривает в них данные по истории московского говора. Исходным при этом принимается замечание М. Н. Тихомирова: «Язык рукописи обличает московского человека с его акающим говором. Казначей или писец, вносивший записи в книгу, не отличался особой грамотностью и писал без определённых грамматических правил. Едва ли мы ошибёмся, если скажем, что этот памятник поэтому особенно интересен для изучения живого русского языка XVI века» [Марков 1961: 165]. «Считая это замечание вполне справедливым, – продолжает Марков, – следует уточнить его лишь в одном отношении, остановившись на вопросе: действительно ли составитель документа может считаться «человеком московским». Способствовать решению этого вопроса можно, как кажется, поставив в один ряд показания нашего источника и показания других московских документов XVI–XVII веков» [там же: 165–166].

Наличие аканья, с одной стороны, в волоколамской Расходной книге, и, с другой, в московских памятниках той же самой эпохи позволяет Маркову заявить: нет оснований возражать Тихомирову, который считает казначея или писца москвичом [там же: 166].

Доказательство близости аканья, представленного в Расходной книге, и аканья московского усматривается в том, что в положении после мягких согласных его отражение в данной книге подобно отмеченному П. Я. Черных в московском просторечии XVII в.: еканье в предударном и вообще начальных неударенных слогах при яканье в заударном положении [там же: 170]. Заметим: сближение по этому

признаку волоколамских и московских текстов едва ли доказательно. Аканье в широком смысле слова знакомо многим памятникам XVI–XVII вв., относимым к весьма обширной и немосковской территории. А что касается отражений аканья в положении после мягких, то соответствующая тенденция, хотя и менее ярко, выступает и в южновеликорусской письменности XVI–XVII вв. [см.: Котков 1963: 63–82]. Учитывая это обстоятельство, в проявлении данной тенденции в немосковской средневеликорусской области трудно сомневаться. Словом, аканье Расходной книги можно ассоциировать не только с тем, которое наличествует в московских текстах. То же следует сказать и по поводу отражения в данной книге гласного звука, передаваемого буквой ѣ: преимущественное написание ѣ в соответствии с ударяемым положением отличает помимо московских и многие другие тексты, в частности южновеликорусские [см.: там же: 36–44].

Особенно спорно признание московскими отдельных представленных в волоколамской книге явлений консонантизма. Имеем в виду прежде всего непереходное смягчение *к* в положении после мягких: *Иванкя, Сенкя, Панкя, Феткю* [Марков 1961: 181]. Как известно, Д. К. Зеленин полагал: «Москва довольно рано усвоила указанную диалектическую черту» [Зеленин 1913: 533]. А. А. Шахматов, напротив, возражая Зеленину, писал: «Представляется весьма маловероятным, чтобы Москва имела когда-нибудь в своём говоре мягкое *к*» [Шахматов 1915: 341]. Марков, по его собственным словам, избирает компромиссное решение вопроса – «...допущение раннего существования в московском говоре мягкого *к*, поскольку оно, несомненно, было представлено в говорах тех южнорусских областей, которые ранее других объединились с Москвой, в частности в говоре Коломны. Позднее мягкое *к* могло быть устранено точно так же, как были устранены в московском говоре мягкие шипящие, фрикативное *з* и, по видимому, некоторые другие южнорусские особенности консонантизма» [Марков 1961: 180–181]. Нарастание южновеликорусского влияния в московском говоре с XVI в. – факт, насколько нам известно, едва ли не общепризнанный. Устранение из говора Москвы упомянутых южновеликорусских особенностей [разумеется, мягкие шипящие как явление общерусское в их число не входят] при нарастании в московском говоре южновеликорусского влияния кажется гадательным. Правдоподобней полагать: в эпоху средневековья в Москве таких особенностей не было. Например, материалы XVII в. определённо московского происхождения, в которых ясно проступает стихия народно-разговорной речи, об указанном смягчении *к* не дают никаких сведений [см.: МДБП].

Написания *Володке* (им. пад.), *Степаня* в документе 1517 г. и *Нася* (от *Анастасий*) в отрывке из розыскного дела 1521 г. [Зеленин 1913: 24-26], на которые иногда ссылаются как на московские свидетельства, могли принадлежать писцам родом из южного Подмосковья и к собственно московскому говору едва ли имеют отношение. В самом деле, эти случаи выглядят слишком одиночными на фоне значительного количества соответственных случаев с твердым *к* безусловно московского происхождения, рассеянных в самых разнородных текстах XVI в. Не случайно даже Зеленин, допуская наличие мягкого *к* в московском говоре XVI в., о принадлежности московским писцам документов 1517 и 1521 гг. говорил лишь предположительно.

Отнесение волоколамской Расходной книги к тому кругу источников, в которых отразился московский говор, пожалуй, не менее сомнительно и в свете других её показаний. «Наш памятник, – указывает Марков, – позволяет судить о наличии в отражённом в нём говоре фрикативного *з*, поскольку целый ряд засвидетельствованных в нём написаний может рассматриваться как свидетельство близости артикуляций нужного нам палатального фрикативного звука и йота, представленного в различных положениях в слове. С одной стороны, буква *з* опускается, с другой – она пишется там, где присутствует йот» [Марков 1961: 181]. Далее следуют примеры: *Ерман, Ерасимовим, Ерасимов, Ерасимову, от Ильгина дни, в великой месагъдь* [см.: там же]. Обращаемся вновь к московской письменности XVII в.: написаний *з* в соответствии с *ј* в ней не обнаруживаем, а написания кнеинѣ, кнеиня без *з* встречаем, к примеру, в грамотках, по-видимому, рязанца родом, Д. В. Михалкова – владельца вотчин в Рязанском и Ряжском уездах [МДБП: 42.] Между прочим именно в рязанских местах отмечались и следы произношения *ј* на месте фонемы *γ* перед гласным переднего ряда, и малограмотные написания вроде *воробзи, гих, гим* (вместо *их, им*) [Аванесов 1952: 38-39].

Заметим: отражения в книге близости *ј* и *γ* Марков приводит в доказательство существования в волоколамском говоре XVI в. *з* фрикативного образования. Вместе с тем высказывается мнение: «...по-видимому, и в XVII веке, и раньше в Москве было немало носителей говоров с интересующим нас звуком [имеется в виду фрикативное *з*. – С.К.]» [Марков 1961: 181]. О том, насколько это верно, мы скажем несколько позднее, а теперь обратимся к моменту палеографического характера. Приведение данных волоколамской книги как примет московского говора вряд ли является оправданным по той простой причине, что вопреки мнению Тихомирова об одном, московском, создателе книги (казначее или писце), по сведениям также самого Тихомирова,



можно говорить о ряде писцов: «Вся рукопись, размером в обычную четвертку, написана на 183 листах разными полууставными и скорописными почерками» [Кн. ключей: 11; разрядка наша. – С.К.]. А там, где несколько писцов, да ещё возможно, из монастырской братии, нередко пёстрой по происхождению из разных русских областей и, следовательно, разнодиалектной, трудно быть уверенным в том, что все они были москвичами.

Возвращаясь к вопросу о вероятном наличии фрикативного *z* в московском говоре XVII в., необходимо заметить: опираясь на данные, извлечённые из писем и бумаг Петра Первого, вполне определённо по этому поводу писал В. А. Богородицкий «Согласный *z*, – утверждал Богородицкий, – имел спирантное (придувное) произношение и в конце слов сменялся на *x*: *бох... денех*» [Богородицкий 1902: 5]. В применении не к индивидуальной речи, а к московскому говору в целом заключение это, можно думать, является ошибочным: в обширных материалах с ярко выраженными проявлениями народно-разговорной речи составивших издание «Московская деловая и бытовая письменность XVII века», находим всего какой-нибудь пяток подобных случаев.

Значительная группа московских грамот послужила материалом для исследования Л. Л. Васильева «К истории звука *ѣ* в московском говоре в XIV–XVII веках» [см.: Васильев 1905]. Не ограничиваясь обращением к известной публикации «Собрание государственных грамот и договоров», Васильев ознакомился с московскими грамотами непосредственно по рукописям в Публичной библиотеке Петербурга. Грамот XVI–XVII вв., в которых исследователь наблюдал интересное его явление – сохранение буквы *ѣ* исключительно в слоге под ударением – привлечено было 142. Васильев – едва ли не единственный исследователь, изучавший непосредственно рукописи, а не только печатные воспроизведения этой группы московских текстов. (Работа П. Г. Стрелкова «О языке семи древнейших завещаний московских великих князей XIV века» [см.: Стрелков 1927] в этом случае не в счёт: изучено только семь текстов и притом лишь по фотографическим и рукописным копиям, с учётом дополнительных примечаний к первым, сделанным руководителем фотосъёмки. Не случайно поэтому П. Г. Стрелков осторожно замечает: «Наличие указанных дополнений к снимкам приближало мою работу, по уверенности того или иного чтения текста, к работе по оригиналу» [там же: 107]). Являясь официальными документами, последние несли на себе печать приказной регламентации и, в той или иной степени, орфографической традиции, почему и отражали московский говор с известным ограничением. Приказная фразеология этих источников и некоторая часть лексики

представляются явно не характерными для устной народной речи. И всё же для данного фонетического исследования они оказались достаточно надёжными, о чём свидетельствуют интересные наблюдения и выводы Васильева. Исследуя замены буквы ъ буквой е в положении после *ц* в слове под ударением, учёный воспользовался и списком Космографии второй половины XVII в., который был, по его словам, «переписан безусловно лицом, говорившим московским говором и вполне владевшим московской орфографией» [Васильев 1910: 191].

Отметим далее попытку представить говор московского населения по грамотам князя Никиты Одоевского. Изучая эти грамоты, П. Я. Черных не располагал их оригиналами, пользовался только изданием [см.: Арсеньев 1906]. Сообщая о том, что неизвестно, написаны ли грамоты Одоевским, а кроме того, «насколько точно воспроизведены особенности орфографии и языка грамот», Черных, тем не менее, видит в них памятник старомосковского просторечия, утверждая при этом, что «в Москве в середине XVII в. просторечие верхушечных слоёв имущих классов ни в чём существенно не отличалось от разговорной [диалогической] речи простого народа» [см.: Черных 1953: 80-81]. Возможно, было и так, но утверждение это, по нашему мнению, нуждается в доказательстве. Возвращаясь к источникам, заметим: количество грамот (всего 17) для наблюдения в указанном аспекте представляется нам недостаточным. Недостаток материала в известной мере восполняется из писем царя Алексея Михайловича, боярина Морозова, княгини Урусовой и князей Хованских – представителей тех же верхушечных слоёв. Насколько в данной группе текстов отразился говор московских низов, остаётся только догадываться.

В своё время именно с точки зрения изучения истории московского говора внимание В. А. Богородицкого привлекло издание писем и бумаг Петра Первого. Воспроизведение писем Петра в издании – достаточно близкое к подлинникам, поэтому их свидетельства о живой московской речи надёжнее показаний, заключённых в письмах Одоевского. В заметке «Московское наречие двести лет назад» Богородицкий указывал на особую ценность собственноручных писем Петра для изучения в этом плане. Стиль писем, по его определению, деловой, краткий и сильный, является «в двух различиях: стиль обыкновенный или повседневный – в письмах приятельских и хозяйственно-распорядительных, и возвышенный – в письмах дипломатических... в последней категории писем встречаются в изобилии церковнославянизмы» [Богородицкий 1902: 8]. В заключение Богородицкий устанавливает: данные писем Петра сходны с данными, отмеченными в письмах царя Алексея Михайловича [там же]. Стилистическая неоднородность петров-

ских писем, вполне понятно, исключает использование некоторых из них для изучения говора Москвы не только в лексикологическом, но частью в словообразовательном и грамматическом отношениях.

Правомерно К. В. Горшкова, обращаясь к истории московского говора, исследует эти источники, не выходя за грани фонетики [см.: Горшкова 1947; она же, 1959]. Вслед за Богородицким Горшкова пользуется их изданием. Исходя из того, что особенности произношения Петра сложились в Москве, в письмах его усматривается отражение московской фонетики. «Живой язык, отразившийся в “Письмах и бумагах Петра Великого”, – полагает автор исследования, – является проявлением разговорной речи, характерной для коренного населения города Москвы второй половины XVII в.» [Горшкова 1959: 83]. Однако в этом случае мы знакомимся с речью, воплощённой в письме представителя верхов, а отнюдь не грамотных людей из основного московского населения. Даже если принимать во внимание предполагаемое отсутствие существенных различий между говором основного состава и верхов московского населения, петровские письма всё равно не дают некоторых важных сведений о московском говоре той поры и прежде всего о регулярности и широте распространения в нём, а не в индивидуальной речи, определённого круга присущих ему элементов и явлений. В материалах, привлекаемых для сопоставления, встречаем письма царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, сочинение Котошихина о России, акты хозяйства боярина Морозова и принадлежащие XVIII в. записки княгини Долгорукой [см.: Долгорукая 1913].

Предметом специального исследования явились эти записки в работе Р. И. Лихтман, посвящённой московскому просторечию XVIII в. [см.: Лихтман 1953; она же 1960]. О речевом складе Долгорукой в работе читаем следующее: «Особенности языка автора, москвички, складывались в Москве (вслед за мужем она едет в Сибирь, в ссылку, где живёт десять лет; конец жизни она проводит в Киеве, в монастыре, где и пишет свои «Записки»), мы предполагаем отсутствие влияния на её язык говоров Сибири или украинского языка. Речь Н. Долгорукой, представительницы московского общества, следует считать образцом московского просторечия первой половины – середины XVIII в.» [Лихтман 1953: 3]. Как можно, только предполагая отсутствие в этой речи влияний иноречевых культур, считать последнюю образцом московского просторечия? Вряд ли можно отвлекаться от такого существенного факта, как довольно значительные проявления в записках княгини Долгорукой следов украинского влияния в области орфографии, о которой упоминается мимоходом в подстрочном примечании: «Особенностью орфографии памятника является употребле-

ние во многих словах *и* вместо *ы*, черта, очевидно, чисто графическая, не отражающая каких-либо особенностей произношения» [Лихтман 1960: 287]. Признание подобной черты правописной и вместе с тем чисто графической явно противоречиво. При отрицании влияния украинского языка появление в «Записках» Долгорукой многочисленных написаний буквы *и* в соответствии с русским *ы* представляется нам немотивированным: княгиня, по её словам, писала воспоминания для родственников, а они были русскими; с какой же стати, обращаясь к ним, чисто формально заменять правописную русскую манеру манерой украинской?

Заслуживает внимания и другая орфографическая особенность «Записок» – «почти полный отказ автора от буквы ъ» [там же: 290]. Не является ли это приноровлением к украинской орфографии? Характерно, что некоторые тексты с запада южновеликорусской территории, из мест, сопредельных с украинскими, отличает та же особенность [Котков 1963: 47].

Не считаем специфически московской или, напротив, украинской особенностью, о которой говорится следующее: «...ряд сочетаний двух гласных на конце слова в заударном положении не сохраняется. Это – сочетание гласных с интервокальным *j*. Часто вместо них пишется одна буква: сочетание *ии* находим только раз – *церемонии*... все остальные многочисленные примеры написаны с одним *и* – *стихи*... («стихии»), *о рождени*... *в гварди*... *из галантери*... *всякие приключения*» [Лихтман 1960: 302]. Подобные написания в ту эпоху в широкой русской письменности были сравнительно обычны. «Записки» выделяют лишь регулярность этих написаний.

Написания *на<у>чил* [в ркп. *начил*] или *не <у>мела* [в ркп. *не мела*] намекают на склонность автора к *в* бибиального образования или у неслоговому: в украинском произношении – *наўчати*, *не вмію*. Не случайными в свете последних фактов представляются пропуски предлога *в* в сходных фонетических условиях: привести на память все то, что случилось мне жизни [вм. *в жизни*] моей; девеносто версть оть города какь отъехали, первой [вм. *в первой*] провинциальной городь приехали.

Не согласуются с представлением о московской фонетике случаи вроде *цара* Давида, как громъ *гранеть*, а также: *дла* таво; луга *потоплаить* вода; *каласки* были малинки [ср. предшествующее написание: вышли изъ калясокъ]; с *апрела* по сентябрь.

Любопытен один лексический факт: онъ *ѳундаторъ* всему моему благополучию таперешнему. В украинском *фундатор* «основатель». Напрашивается вывод: записки Долгорукой едва ли могут быть причислены к разряду надёжных источников по истории московского говора.

Подведём некоторые итоги. Московский говор в его истории на протяжении семи десятилетий неоднократно привлекал внимание исследователей русского языка, но и поныне ясных представлений о его конкретном облике в те или иные исторические эпохи в науке не сложилось. Объяснение этому следует искать не только в общей незавершённости синтетической истории русского языка, но и в недостаточном исследовании соответствующих источников. Последнее обусловлено и незнанием значительного круга подобных источников, принадлежащих XVII–XVIII вв., и односторонним характером изучения уже известных русистам источников – едва ли не исключительно фонетико-морфологическим. Неосведомлённость в старой русской письменности нередко заставляет исследователей ограничиваться материалами публикаций. Воспринимаемые без глубокого археографического анализа, материалы эти иногда неверно интерпретируются. Следствием являются ошибочные заключения. Да и состав привлекаемых публикаций ограничивает возможности исследования – не отвечает задачам изучения старинного говора Москвы в его широком функционировании, в среде основного московского населения, а не только в столичных верхах. Становление и развитие московского говора в течение целого ряда столетий протекало в условиях непрерывного обновления состава его носителей, обновления, определяемого прежде всего объединяющей ролью Москвы. Обыкновенно это обстоятельство не принимают во внимание, а между тем без его учёта историческое изучение говора Москвы не может быть плодотворным.

Значительная роль в истории говора речевого склада пришельцев – представителей разных диалектных групп – обязывает исследователя московского говора строить его историческое изучение на широком круге источников, чтобы с наибольшей достоверностью можно было вычленить, с одной стороны, то общее, что составляло столичный говор, с другой, – элементы, несродные ему, привнесённые извне, периферийного характера. Оптимально такое изучение говора обеспечивают только памятники сравнительно позднего времени, начиная с XVII столетия. Однако в свете их показаний представляются более надёжными и данные более ранних памятников по тем явлениям говора, которые в текстах прослеживаются в течение ряда веков. Материалы эти довольно обширны и частью опубликованы. В старых изданиях они рассеяны в массе актов письменности. Возможно, это и привело к тому, что они оказались вне поля зрения историков русского языка. Книга «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» является первым опытом издания собрания подобных источников, при этом издания лингвистического. (Характеристику

издания см. в рецензиях Г. А. Богатовой [«Филол. науки», 1969, № 1: 137-138], В. Кобринна [«Новый мир» 1969. – № 3: 271-274], Г. А. Хабургаева [ВЯ, 1969.– № 3: 141-146]. См. также отзыв Т. Мазур в заметке «Берегите письма» [«Неделя» 1968. – № 50]).

Рукописные материалы аналогичного свойства, до сих пор не изданные и не исследованные историками языка, можно сказать, значительны. Так, в Центральном государственном архиве древних актов выделяются в этом отношении фонды Архива Московской Оружейной палаты. Назовём, к примеру, фонд № 232 (Государева и Царицына мастерские палаты). В нём среди иных рукописей находим и такие, в которых бьётся живая речь простого московского люда. Это материалы «о мастеровых людях, изготовлявших царское платье и обувь (портные, шапочники, чоботники, кружевники и пр.); о московских слободах – Кадашевской, Хамовнической... о торгах и промыслах тягловцев Кадашевской слободы; о состоянии царских хамовных (полотняных) мануфактур; о положении хамовников (ткачей)... о Московской Кисловской слободе» [ЦГАДА 1947: 60]. Любопытны с этой стороны и материалы ф. 396 (Оружейная палата) и некоторых других, скажем, ф. 220 (Казённый приказ), ф. 1245 (Приказ золотого и серебряного дела) и т. д. [Подробнее об этих и других интересных в том же отношении фондах см.: ЦГАДА 1949].

В Отделе письменных источников Государственного Исторического музея в ф. 440 (И. Е. Забелин) имеются «документы и книги дворцовых приказов и учреждений о слободах Москвы (дворцовых, казённых и др.): Барашской, Бронной, Воронцовской, Гончарной, Екатерининской, Кадашевской, Огородной, Станочной, Таганной, Хамовной – судные дела тягловцев разных слобод, купчие на дворы, записи поручные, челобитные, сказки, памяти, докладные выписи, наказы, дело о размежевании земли Таганной и Кузнецких слобод (1619–1698)» [ГИМ ОПИ 1967: 115].

Переходя к более позднему времени, нельзя не обратить внимания на ф. 32 (Московский городской магистрат) в Государственном историческом архиве Московской области. В нём представлены материалы с 1725 г. [ГИАМ 1961: 61].

Мы назвали всего лишь несколько фондов, но даже по перспективным данным кратких путеводителей круг подобного рода источников в целом довольно внушителен. С точки зрения изучения московского говора в его историческом развитии исследование этих источников является крайне необходимым и, особенно в области лексикологии, необыкновенно перспективным.

## 25. О памятниках народно-разговорного языка // Вопросы языкознания. – 1972. – № 1. – С. 37-45.

В заметке «Редкое выражение русской разговорной речи XVII века» Б. О. Унбегаун, касаясь исследований синтаксиса древнерусского разговорного языка, пишет: «Уже само изучение разговорного языка по письменным памятникам, – а иными источниками мы, увы, не располагаем, – является парадоксом» и далее утверждает: «... даже тексты, казалось бы, наиболее близкие к строю разговорной речи, написанные на так называемом деловом языке, всё же значительно отклоняются от этого строя, следуя правилам выработанной письменной традиции, особенно в XVII в.». «Поэтому, – замечает он попутно, – несколько странно звучит заглавие недавно вышедшего издания писем XVII в.: Памятники русского народно-разговорного XVII столетия. (Из фонда А. И. Безобразова). Издание подготовили С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М., 1965» [Унбегаун 1971а: 273]. Указывая, что тексты делового содержания «являются сугубо утилитарными, далёкими от разговорной стихии языка», исследователь вместе с тем напоминает: «даже частная переписка, и та подчиняется условностям традиции, отклоняясь от непосредственности устного разговора, каким она в сущности могла бы быть» [там же].

Хотя уже сам условный характер письма древнерусских памятников, как и любого обыкновенного, общепринятого письма, предопределяет некоторые отклонения от звуковой, а в известной мере и грамматической непосредственности, однако это вовсе не означает, что в основной своей конкретной данности фонетика и грамматика разговорной стихии в нём не реализуются, если не вступает в действие влияние таких лингвистических факторов, которые заведомо лежат за пределами разговорности. Следовательно, основное затруднение заключается не в том, что разговорную стихию прошлого приходится изучать по письменным памятникам (это историческая неизбежность), а в том, что определённый уровень разработки истории русского языка, и в частности письменных источников, далеко ещё не всегда обеспечивает уверенное различие отложившихся в памятниках литературно-книжной и разговорной стихий, а следовательно, и самих памятников по преобладанию в них той или другой из этих стихий.

Не случайно и автор упомянутой заметки без достаточных на то оснований из обширного круга различных текстов старинной деловой письменности избирает как включающие элементы разговорной речи только так называемые явки, «происходящие почти исключительно из северных, бывших новгородских, земель и сохранившихся в

архивах Устюжской и Холмогорской епархий» и определяемые как «заявление о преступных действиях, направленных против автора явки, вместе с просьбой о защите и помощи» [там же].

Несколько слов относительно того, что материалы деловой письменности, как «сугубо утилитарные», далеки от разговорной стилистики. Напротив, их практическая направленность может как раз благоприятствовать проявлению в них этой стилистики. Всё дело в том, каков характер их утилитарности, какая сфера человеческого бытия и в каком именно виде получает в них отражение. Скажем, и царская грамота, и грамотка, адресованная родственнику, по-своему утилитарны, но первая, естественно, облечена в особую, официальную форму, далёкую от разговорной, а грамотка, помимо зачина и концовки, порою не свободна от фразеологии, навеянной церковной книжностью, в значительной степени разговорна, поскольку обслуживает сферу неофициального, интимного общения.

Вот, к примеру, грамотка, сугубо утилитарного свойства:

«Гсдрю Андрѣю Иличу холопу твою Истратка Микитин да старостишко Харлашко Борисовъ челомъ бьют писал ты гсдрь ко мне холопу своему велель прислать лен и поскон что осталос за роздачу у оброков и у нас гсдрь лен не родился нет ни горсти а поскони толко десет десятков да ты же гсдрь ко мне холопу своему пишеш велишь кормить мелкую скотину ухвостьемъ и у меня холопа твоего ухвостья нет по ка места молотили хлеб по та места и ухвотья [так в ркп. – С.К.] было пожалуйи гсдрь изволь прислать льну на сети» [Переп. Безобразова, 73. – Здесь и далее буква ‘ук’ заменяется буквой у].

Мы не видим в грамотке ни одного слова, во вседневном, обиходном употреблении которого в то время в среде простого люда можно было бы сомневаться. Всё, обозначаемое подобной лексикой, – предметы, явления и отношения – составляло тот обыденный мир простого русского человека, в условиях которого как раз и пользовались разговорной речью. Характерно в этом отношении и выражение *лен не родился*. А такие образования, как *посконь*, *горсть* в значении «мера льна» и, кроме того, *ухвостье* обличают в писавших грамотку носителей диалекта. [О нетвёрдости их правописания и отсутствии книжной выучки, что безусловно благоприятствовало проявлению в письме «разговорности», свидетельствует, между прочим, отказ от употребления буквы ъ: *хлеб* (вместо *хлѣб*), *сети* (вместо *сѣти*) и т. д.]. Географическая дифференциация, с одной стороны, слова *посконь*, а с другой, *замашки* применительно к XVII в. установлена нами, например, для южновеликорусской области [Котков 1970: 28]. Принадлежность слова *горсть*, применяемого в указанном значении, к словам не обще-



го употребления отмечалась неоднократно. О диалектном характере слова *ухвостье* говорит наличие дублетов *озадки* и *ухоботье* в других русских говорах.

Уже в приведённом заурядном тексте, небольшом и относительно «однотонном», определённо проступает народно-разговорная речь в её лексических элементах. Нет оснований определять как далекий от разговорного, как свойственный, скажем, литературно-книжному или приказному языку и синтаксис этой грамотки.

С точки зрения отражения на письме народно-разговорной стихии подобной общей характеристике отвечают и многие другие тексты той же категории, вошедшие в публикацию, упомянутую Б. О. Унбегауном. Не выпадает из этого круга текстов, например, про странная грамотка которую послал своему брату Ф. И. Безобразов. За вычетом единичных выражений («приставили к тебѣ», «кискали владенья», «земли ісшут», «межа писцовая», «прямой... выписи», «велел ему тебя во всем дакладоват»), её лексическое и фразеологическое наполнение не обнаруживает характерных примет приказного языка, как не обнаруживает явных примет и литературно-книжного языка (кроме разве пожелания «пребываи во всяких радостях» и выражений «добра желател» и «чести твоеи аберегаеть»). А отражение в ней фонетических явлений свидетельствует о близости написанного к устной народной речи.

Вот текст грамотки:

«Батка и братецъ Андреи Ильич здравствуи гсдрь на многие лета і пребываи во всяких радостях с невѣстькою с Агаѣю Василевною і с теми кто тебѣ гсдрю всякова добра желател и чести твоеи аберегаеть

Писал ты гсдрь ко мне что Иван да Степан Ловчиковы приставили к тебѣ і не сходя суда искали владенья сорока семи четвертеи с осминою и про то гсдрь мне вѣдома и то гсдрь дела у нас обчѣя толка гсдрь какои они земли ісшут у нас их земли нет с нашею дрвнею Дешкиною и ныне межа писцовая съ их дрвнею Дешкиною толка гсдрь по тои меже ныне проложена болшая дарога и от реки от Оки каторыя были грани на деревьях те все высечаны толка один столбъ у дароги стоит а от тово столба межою да телчанскои межи надобна была два столба да две ямы и те столбы выволилис а ямы заплыли а прямой гсдрь выписи нету и ты извол гсдрь выпис прислат а я нарошна велел чюбаровского своего крестьянина прислат кои час приедит члвченка мои что с Ловчиковыми з дрвнею Дежкиною писцовою межою да без нея ж и не даходя Оки межа цела толка гсдрь столбы вывалилис всево два столба стоит да две ямы и они не о своем уме на нас земли исшут у нас промеж их дрвни Дешкиною і нашеи дрвни Телчеи межа писцо-

вая а кои час гсдрь пут падет и я тот час буду к Москве и мне на них бит челом с тобою вместе что у нас их земли нет і не бывала а их земля от наших земель отмежевана и крестьяне гсдрь наши владеют по писцовым книгам и по писцоваи меже как батюшка и дядя при прежних памешиков владели а что ты гсдрь изволил ко мне писат что дорога из Болхова і ва Мценескъ ездят и по иным по той дароге гсдрь Ловчиковы крстьяне не ездят а другая дорога что на их дрвню была и я по твоему писму велел вспахат и надолбы от их земли зделат чтоб их скотина на нашу землю не ходила и в лес в наши бы их не пускаш и то гсдрь зделано во все лето ногою не были а иных дарок нет по нашей земли и своим крстьяном заказал против твоего писма да пишеш гсдрь чтоб мне не заживатца в дрвне естли бы братецъ не нужна меня несла для орловской дрвни для межаваня кто бы меня с Москвы нес еи гсдрь за писцом за Полухтом Шамординым посылаючи лошадеи и людеи помарил а я гсдрь с твоими по меже ездил и землю их смечали и у них надобна в дачах на петдесят четвертеи старье дачи да внос сорок сем чети въ их жа дачех за писцовою межою и они без ума на нас исшут мошна и на землю что у них в дачех и я у них землю смечую всю і к тебѣ отпишу что у них всеи земли да пишеш ты гсдрь ко мне что будут писцы в Канкова и в Гаврикова и на Каменку межават а меня на Москве нет и тебѣ бутто без меня делат нечава и Яков Стрешнев нарежаетца бит челом и Якову гсдрь с коими глаза бит челом брат ево Яковлев Григорей бил челом на батюшка и на дядю об межаване и по ево челобитю Семен Хлопов и межавал и про то тебѣ гсдрю ведома сам ты тут был и как что делал все при тебѣ а я в те поры был под Быховом и Якову как бит челом а гсдрвь указ старои и новаи не токмо что межавоя дело будет по записям или по каким крепостям у прежних помещиков или у вотчинников зделки были так им и быть будет Яков станет на нас бит челом и ты изволь на него бит челом гсдрвымъ указом и мое именишка вели написат а что гсдрь пишеш мне самому быт не на чамъ а дрвенские выписи с писцовых книг у тебя гсдрь дрвни Канковаи выпис с межавых книг Семена Хлопова у тебя гсдрь а хотя братецъ я и на Москве был и мне без твоево веленя как делатъ как тебя гсдрь богъ на разум наставит так и делаи во всем ты волен послал к тебѣ гсдрю нарошина члвченка своего Силку и велел ему тебя во всем дакладоваат что ты гсдрь изволиши и ты гсдрь за тем делаи прикажи члвку своему ходит а будет что лучитца кормъ или что дат и ты гсдрь прикожи члвченку моему да писал ты гсдрь ко мне что мои члвкъ Митка Даниловъ с поваренным малам украл полсажени дров и я как буду на Москве і про то гсдрь розыщу мне гсдрь такая дурость не надобна по том тебе гсдрю своему і нѣвестьке Агаѳе Василевнои бра-

тишка твои Гетка челомъ бьеть

В белевской своей дрвни Телчеи октебря въ КГ де живь [Переп. Безобразова: 43-44].

Промелькнувшее в тексте *токмо* – не обязательно из церковных книг: для многих русских говоров, по данным старых словарей и современных наблюдателей, образования *тѣ́кмо* или *токмá* вполне обыкновенны, почему и попадают в художественные произведения в качестве народных, например: «[Акулина:] Не токмо пшена, – хлебушка нет» [Эртель. Гарденины]; «Афанасий Яклич выразил большое неудовольствие, когда Гараська взял столичного человека. – Я бы эдакую погань не токма ночевать, на версту не подпустил к деревне! – сказал он с необыкновенным видом презрения прямо в лицо столичному человеку» [Эртель. «Гарденины»].

Особенно яркие приметы народно-разговорной стихии находим в таких, например, выражениях: «кои час гсдрь пут падет и я тот час буду к Москве»; «другая дорога что на их дрвню была и я... велел вспахат... чтобы их скотина на нашу землю не ходила... и то гсдрь зделано во все лето ногою не были»; «пишеш гсдрь чтоб мне не заживатца в дрвне»; «естыли бы братец не нужна меня несла... кто бы меня с Москвы нес»; «Яков Стрешнев нарежаетца бит челом и Якову гсдрь с коими глаза бит челом». В оборотах вроде «пут падет» и «во все лето ногою не были» или «не заживатца в дрвне» и «естыли бы... не нужна меня несла... кто бы меня с Москвы нес», и, помимо того, «Якову... с коими глаза бит челом», легко улавливаем слог, характерный для устного рассказа.

О том, что писавший грамотку был обычным сельским грамотеем, в значительной степени свободным от орфографической традиции и, значит, в письме во многом следовавший живой народной речи, говорят его весьма нередкие отклонения от орфографии, с едва ли не полным отрешением от правописания буквы ъ.

И приведённые грамотки, и многие другие, вошедшие в цитируемое издание, по содержанию являются деловыми, и тем не менее отождествление их со всеми иными деловыми текстами явно неправомерно. Грамотки обслуживали неофициальное, порою семейное общение и не имели юридического значения, почему определённо выпадали из приказной, официальной письменности, сферы приказного языка. К сожалению, безоговорочное отнесение материалов частной переписки к неизмеримо более стандартной и функционально иной официальной письменности в науке ещё не преодолено. Обыкновенно не делают различия не только между грамотками и частно-правовыми актами – меновными, раздельными, духовными и т. п., – но и между грамотками

и актами государственными. Так, например, читаем: «Рядом с описанным здесь литературным стилем письменного языка Московская Русь знала и другой его стиль – деловой. Этот стиль речи принято называть приказным языком, так как наиболее типичные его образцы находятся в приказном делопроизводстве XVI–XVII вв. Это, следовательно, язык канцелярских бумаг, юридических актов, хозяйственных записей, официальной и частной переписки, то есть таких явлений письменности, в которых нет стремления к литературности изложения» [Винокур 1959: 64]. Поскольку ранее у автора говорилось о произведениях с определёнными художественными достоинствами, литературность так или иначе в приведённом здесь высказывании сводится к художественности, а между тем «понятие “литературности” речи необходимо отличать от понятия её “художественности”» [Виноградов 1958: 69].

Трудно согласиться с представлением, что в XVII в. русский литературный язык существовал всего лишь как язык художественной литературы и не было общего литературного языка, в основе своей русского, на базе которого (и церковнославянского) в то время только и мог развиваться язык художественной литературы. Связывать его развитие с одним лишь церковнославянским, по меньшей мере, спорно. Предположение, что в русском обществе в течение полутысячелетия, в том числе и в деловом общении, литературные функции выполнялись исключительно старославянским – церковнославянским языком, не согласуется с данными старой письменности. Существенные литературные функции выполнял и так называемый язык московских приказов. Отказывать этому языку в какой бы то ни было литературности едва ли есть основания, особенно если принимать во внимание, что в название «приказный язык» вкладывают самое разнообразное содержание.

В самом деле: разве язык того же Уложения не несёт на себе печать определённой кодификации (имеем в виду литературную, а не юридическую), которая прежде всего и обуславливает литературность? Не случайно и Г. О. Винокур обнаруживает в этом «памятнике приказного языка» «некоторый налёт книжности». Присутствие последней правомерно объясняется естественной необходимостью в литературной обработке документа большого государственного значения. Едва ли возможно полагать, что существовавшее в ту пору на Руси представление о литературности не было принято во внимание составителями основного закона государства. А по мнению Г. О. Винокура, наличие в нём налёта книжности «имеет специальное объяснение в особых условиях его появления [каких именно условиях, об этом не говорится. – С.К.] и, в частности, в том, что ему была придана типо-

графская печатная форма» [Винокур 1959: 66].

Придание Уложению печатной формы в какой-то степени, понятно, содействовало его кодификации, но лишь в отношении графики, орфографии и пунктуации и не имело существенного значения для его литературности. Ср. замечание П. Я. Черных о работе справщиков Печатного двора: «Они не имели возможности (если бы даже к этому стремились) произвести какие-нибудь существенные изменения в тексте печатного Уложения сравнительно с рукописным оригиналом, потому что за этим следил Одоевский и дьяки, но они были полными хозяевами этой книги в других отношениях, в частности, например, в области графики, орфографии и пунктуации...» [Черных 1953: 73].

Возьмём не попадавшие в печатный станок Вести-Куранты XVII в. И они являют собой образцы хотя и не специфически художественного, тем не менее, литературного изложения. Стремление «курантельщиков» Посольского приказа – русских переводчиков зарубежных вестей – к определённой литературности проявляется и в композиции материала, и в исправлениях, порой многочисленных, рассеянных в черновых записях, причём не только фактического, но и стилистического свойства. То же стремление к литературности прослеживается и в отчётах русских послов, или так называемых статейных списках, которые Д. С. Лихачёв с достаточным основанием характеризует как памятники литературы [см. Лихачёв 1954]. Уже самый характер таких текстов, как Уложение (государственный кодекс), Вести-Куранты и Статейные списки (ответственная международная информация), в значительной мере предопределял необходимость их литературной обработки, тем более, что в приказной практике сложились для этого благоприятные условия. «В московских приказах, – справедливо писал Б. А. Ларин, – ...с XV–XVI вв., по мере усиления централизации административной системы создаётся единство административной терминологии и фразеологии, единство основных норм языка деловой письменности» [Ларин 1961: 29].

Но если тексту Уложения, Вестям-Курантам и Статейным спискам нельзя отказать в литературности (не касаясь обстоятельств иного рода – хотя бы просто потому, что они выходили из-под пера людей по тем временам образованных), говорить о стремлении к литературности писца какой-нибудь грамотки в лице, например, деревенского старосты или барского приказчика, а также сельского нецерковного дьячка или, скажем, в более высоком кругу, супруги, пишущей к мужу, было бы, по меньшей мере, опрометчиво. Особенно показательны в этом смысле не свободные порой от элементов фольклора грамотки «семейные», грамотки интимного свойства, Только в зачинах и

концовках этих, как и прочих, грамоток встречаем слова и выражения, навеянные церковной книжностью. Вот несколько примеров: «гсдрю моему і другу сердешному Ивану Семеновичю женишка твоя Дашка премного чело [так в ркп. – С.К.] бьет здравствуи друг мои Иванъ Семенович на множество лѣт в млсти бжии а ко мнѣ друг ізвол писат о своемъ многолѣтномъ здорове чего я о твоємъ блгоздравии по вся чсы слышати со усердиемъ желаю»; «подаи годь богъ тебе гсдрю моему многолетна здравствовать на многие впреть идущия леты»; «за семь писаниемъ мир и тебя благословения»; «на многие нищетные лѣта желая к себѣ вашего премногого млсрдие Ивашка Губинъ рабски і с женою и з детми со усердиемъ премного с радостию челом бьемъ» [Переп. частн.лиц: 65]. Примеры эти ещё не указывают на осознанное стремление к литературности, а знаменуют лишь усвоение писцами, так сказать, в готовом виде исторически сложившихся формул эпистолярного этикета.

А вот каков основной текст этой «семейной» грамотки [приводимой вследствие повреждений с незначительными купюрами], которую послала Ивану Семёновичу его «женишка Дашка»:

«...а Парашенка у меня девочка ізрядная даи гсди те<бе>... і как станем тебя кликат і она так же кличет і нам всево дороже... прошу у тебя друг мои Иванъ Семенович млсти гда ра<ди>... мои не пѣчался во всемъ уповаи на млсть бжию і пожалѣи мѣ<ня> і детокъ своих а у нас толко і радости что ты друг мои бга ради не пѣчался

А чаят Петров днь кончая... Мартьянь с Воронежа приѣхал а с Воронежа с ним ...ко Кузма Титов в Козловѣ у строгового дѣла <н>е бывал а будет де он ис Козлова на Воронеж на Троицу... даны будары которыя на Воронеже Семену Грибое<до>ву а естли Кузмы Титова ждат с запасом на Воронеже ж... будет долго а которыя будары на Воронеже есть ис под Азова взогнаты і те все на сухом берегу худы и гнили і по се число не чинены а в грамоте великаго гсдря какова послана ис Пишкарскаго приказу на Воронеж Кузме Титову о бударах написано велено дат боярину кнзю Алекѣю Петровичю Прозороскому будара а нам будара з дьяками ис тех которыя всогнаты ис под Азова вверх Доном на Воронеж болшаго полку боярина і воеводы Алекѣя Семеновича Шеина і боярина кнзя Алекѣя Петровича члвкъ ево Семень Куров і Лазоревъ грамоту великаго гсдря Семену Грибоедову подали і онъ указал на старыя будары которыя на сухом берегу не починены и згнили і о гребцах грамоты великаго гсдря подали ж Семену Грибоедову і онъ сказал у мѣня скат грѣбцов нет гребите і сами і Лазорев вкупился в будару у донских казаков і со всем в будару угрузалис а дано вкupu И ру их гребцы і кормщик а хотя б будары і дали старыя і

гнилыя і в тех бударах ѣхат опасно і на починку б днгъ много надобно а гребцов бы нанят же а чаят с Воронежа вскоре а что прислана грамотка июня в И де а в Азовѣ писана маяя К з числа и писано немного і мне о том гараздо печелно все ли ты друг мои в добром здорове і смирно ли у вас і нет ли каких подходов от неприятелєи і ты друг мои о томъ ко мнѣ никогда не отпишеши... у вас дѣлаецца а горенка і садния сени гараздо худы ннешнее лѣто одва простоит ли а естли поваляецца сад вес переломаеть а в горенку нне і девки не ходят і ходит дѣтям по сеням опасно а прошлаго году починивали присылан был съ Юрева Ванка Деменьтьев і нне вся горенка і с сени отошла от полаты і поклонилас вся на сад а какъ горенка і сени обваляецца сад вес переломает да пожалуи друг мои сердешнои Иванъ Семеновичъ не печался побереги своего здорovia умилєи надо мною над такою бедною безродною і над детми а я безродная і безпомошная пожалєи своего здорovia да пиши друг мои х Катюшке грамотки уставом хотя неболшее да послала я к тебѣ друг мои связочку извол носит на здорове і связыват голувишку а я тое связочку целои днь носила і к тебѣ друг мои послала извол носит на здорове а я еи еи в добром здорове а которыя у тебя друг мои ест в Азовѣ каютаны старыя изношены и ты друг мои пришли ко мне отпоров от воротка лоскуточикъ камки и я тое камочку стану до тебя друг мои стану носит будто с тобою видяецца а Дмитриєи Федорович і Матрена Ивановна і Марѣа Дмитревна дал бгъ здорovy а живут в подмосковнои а кнзь Василєи Григорєвичъ в дрвне а кнгиня Ирина Ивановна на Москвѣ и с свекровю а кнжны Стеѣаниды Василєвны не стало і я у неи на погребеньє была і о том пожалуи друг мои не пѣчался у нас и у самих Михаилушка не ста<ло> да не пособит по тому тебѣ друг мои премного челом бью да пожалуи друг мои извол писат об людях все ли в добромъ здорове а к женам грамотки не прих<одят> и оне плачють извол друг мои их грамотки своими печат...» [Переп.частн.лиц: 65-66].

И описание семейного быта, и всяких хозяйственных забот, и изливание связанных с народным верованием глубоких, интимных чувств, и сообщения о судьбах близких людей и о различных житейских обстоятельствах – всё это (оно и составляет содержание письма), не нуждаясь в особом, церковно-книжном или специально приказном выражении, естественным образом облекалось в форму разговорной речи.

Конкретно эта «разговорность» письма, при всей разнородности его содержания, проявляется в абсолютно свободном переключении с одной темы на другую, переключении, нисколько не мотивированном предшествующим текстом: так, задушевную весточку о детях сменяет рассказ о затруднениях с бударами и о плохом состоянии домашних строений, а далее следует изъяснение нежной привязанности к мужу. О «разговорности», кроме того, свидетельствуют и обращение к

«другу сердешному»), и экспрессивное употребление уменьшительных образований не только от собственных имён, что было обыкновенно в приказной письменности и в ней социально обусловлено, но также от нарицательных, и уверение «ей ей».

Для суждения о том, каким языком писались в то время грамотки, существенны сведения о людях, которые их писали (как писали и документы), особенно сведения о писцах с огромной периферии. Исследование южновеликорусской письменности XVII в. убедительно показало: периферийные писцы-профессионалы не являлись присланными из Москвы, как прежде обычно думали, а в подавляющем большинстве своём были местными уроженцами. Аналогично происхождение и писцов-непрофессионалов. [см.: Котков 1963: 24–26; Котков 1969: 131]. Вместе с тем выяснилось, что письмо подобных грамотеев не отличается твёрдой орфографией и включает приметы локальной речи [Впервые осуществлённые лингвистами обширные публикации грамоток подтверждают это со всей определённой. Кроме названных см.: «Грамотки XVII – начала XVIII века», изд. подготовили Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова, под ред. С. И. Коткова. – М., 1969. См. также отдел первый в кн. «Московская деловая и бытовая письменность XVII века», изд. подготовили С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. – М., 1968]. Принимая во внимание эти обстоятельства, отражение в грамотках разговорной стихии можно считать реальным. Итак, приходим к заключению: частные письма-грамотки в сопоставлении с прочими источниками того же самого времени представляют разговорную стихию если и не в полном виде, то наиболее рельефно. Выходит, характеристика грамоток как памятников народно-разговорного языка имеет достаточные основания.

Определённые объективные обстоятельства в известной степени обеспечивают отражение разговорной стихии и в материалах актового характера, в документах государственного управления и частно-правовых. Вместе с тем подобные материалы включают и заметный элемент того литературного языка, истоки которого берут начало в древнерусской эпохе и который, в отличие от церковнославянского, способен был обслуживать более широкие сферы жизни русского общества. В исследуемое время, как и прежде, при известном церковнославянском влиянии, этот язык продолжает развиваться на общерусской основе, наиболее обобщённым выражением которой к началу национального периода становится московский говор.

Недифференцированное, общее восприятие деловой письменности XVII в. приводит к ошибочным суждениям о лингвистической содержательности и лингвистической информативности образующих её категорий источников. В интересах успешной разработки истории русского языка составляющие деловую письменность категории ис-



точников необходимо определённо разграничивать. Поскольку эта письменность недостаточно исследована, в качестве элементарного разграничения, полагаем, возможно следующее: эпистолярная письменность, актовая письменность, статейная письменность. Первые два обозначения не нуждаются в особых разъяснениях. Заметим только: в актывые включаем и законодательные тексты, вроде Уложения 1649 г. Статейную письменность представляют отчёты русских послов, или так называемые Статейные списки [см.: Котков 1967: 72-73], а также Вести-Куранты. Включение последних в статейные тексты оправдано и общностью их содержания, и содержания Статейных списков (военно-политические и экономические вести из зарубежных стран), и более или менее общим следованием в тех и других источниках статейному принципу изложения. Например, в Вестях-Курантах 1620 г. встречаем такие редакторские пометы: «переписат к тѣм к прежнимъ к четыремъ статьямъ тотчсъ» [РГАДА, ф. 141, оп. 1, 1620 г., № 15: 15]; «переписат тотчсъ к прежнимъ к тремъ статьямъ» [там же: 30]. На листе амстердамского издания «Europische Saterdagse courant», с которого переводили вести, встречаем следующую помету: «переведены тѣ стати которые надобны а иные были» [РГАДА, ф. 155, 1646 г., № 5: 4 об.].

С деловой письменностью исследуемой эпохи обыкновенно связывают деловой, или так называемый приказный язык. Но если эта письменность, как можно было убедиться, довольно неоднородна, по-видимому, нуждается в пересмотре и представлении об этом языке как однородном образовании. Когда выделяют «деловой» язык, в отличие от «книжно-литературного», то это противопоставление в какой-то мере оправдано, поскольку определение «деловой» в сравнении с «приказный» является более ёмким. А что касается определения «приказный», то его применение к языку в смысле «деловой», по меньшей мере, спорно. Скажем, язык эпистолярной письменности, в известной степени деловой, не является, однако, приказным, тождественным языку делопроизводства и государственного управления, языку актовой письменности. Да и в таких безусловно «деловых» произведениях русской письменности, как Статейные списки и Вести-Куранты, мы не можем с уверенностью усмотреть просто язык приказов, хотя появление этих произведений и обуславливалось деятельностью последних. И в Статейных списках, и в Вестях-Курантах вполне отчётливо проступает определённая литературность и, кроме того, заметные элементы публицистического стиля, которые в общем не характерны для массовой актовой письменности. По нашему мнению, определение «приказный» условно можно ассоциировать только с языком стандартных актовых текстов.

**26. Таможенные книги Камер-коллегии – источники по истории русского языка // Русское и славянское языкознание. – М., 1972. – С.135-143.**

Образованная в 1718 г. Камер-коллегия просуществовала до 1788 г. Восстановленную через девять лет Коллегию окончательно упразднили в 1801 г. В результате деятельности этого учреждения отложились многочисленные рукописные материалы: в Центральном государственном архиве древних актов обширный фонд Камер-коллегии (№ 273) насчитывает свыше 34 тысяч единиц хранения [ЦГАДА 1946: 266]. В него входят материалы, связанные с той экономической сферой, которой ведала Коллегия, а ведала она «государственными доходами, казёнными подрядами и откупами, продажей казённых товаров, казёнными винокуренными заводами, рыбными ловлями и сальными промыслами, строительством казённых зданий, дорог и мостов, а также таможенными сборами» [СИЭ, т. 6: 911]. На местах регистрация подобных сборов производилась в таможенных книгах. Характеристике этого рода книг как лингвистических источников и посвящена наша статья.

До сих пор упомянутые таможенные книги языковедами не исследовались. Объясняется это разными причинами и, между прочим, тем, что таможенные XVIII в. книги не публиковались. А что касается обращения лингвистов непосредственно к данным рукописным книгам, то господствующие и ныне тенденции в области исследования русского языка XVIII столетия его вообще исключают: внимание направлено прежде всего на сложение в эту историческую эпоху нового русского литературного языка, понимаемого неполно как язык художественной литературы, науки и публицистики, и на процесс его обогащения иноязычными элементами. Язык русской деловой письменности названного периода, за исключением, пожалуй, терминологии (обыкновенно иноязычной), собственно не изучается. Для восполнения пробела в этой области изучение рассматриваемых таможенных книг представляется существенным.

Нередки упоминания об этих источниках в общих описях камерального фонда, которые, помимо указанных книг, включают и многие другие единицы хранения. Отдельно почти полтораста книг перечислено в специальной описи. Сохранившиеся до нашего времени книги представляют едва ли не всю территорию Русского государства. Об этом даёт наглядное представление и неполный список пунктов, к которым они относятся: Архангельск, Балахна, Болхов, Брянск, Великий Устюг, Вологда, Воронеж, Вязьма, Вязники, Елец, Казань, Каши-

ра, Киев, Курск, Москва, Муром, Нижний Новгород, Орёл, Пенза, Переяславль-Залесский, Переяславль-Рязанский, Путивль, Саранск, Севск, Смоленск, Стара Русса, Темников, Тобольск, Углич, Хотмышск, Шенкурск, Ядрин (на р. Суре), Ярославль. Охватывая основную территорию государства, в хронологическом отношении данные книги, естественным образом, продолжают таможенные книги XVII в. [Об этих книгах см. например, Н. С. Коткова 1964 – Книги денежного стола], и, в совокупности с ними, охватывают весьма значительный период – два с половиной века.

К достоинствам названных источников (здесь и далее имеем в виду книги, зарегистрированные в оп. 1, ч. 8) относим и то, что многие из них довольно внушительного объёма. Так, тобольская книга прихода и расхода таможенных и кабацких денежных сборов за 1751 г. (№ 32657) составляет 909 л.; архангельская 1757 г. (№ 32658) – 700 л.; в новгородской книге записи денежного сбора (таможенного, кабацкого, рыбных ловель, домовых бань) за 1718 г. (№ 32669) насчитываем 870 л.; киевская книга денежного сбора (таможенного, кабацкого, рогатого, хомутного и пр.) за 1721 г. (№ 32678) содержит 654 л.; в книге 1720 г. из Темникова (№ 32679) – 920 л.; в казанской 1721 г. (№ 32681) – 800 л.; в книге 1721 г. из Севска (№ 32682) – 572 л. Обширные тексты таможенных книг, при более или менее однородном, повторяющемся содержании записей, дают особенно надёжные, вследствие их массовости, материалы для исследователей.

Таможенные записи обличают в писцах людей местного происхождения и потому заключают данные, представляющие особый интерес для воссоздания русского языка XVIII в., точнее, в первую очередь языка деловой письменности, и не только как некоего целого, но и в его локальных разновидностях. Вместе с тем указанные записи могут служить известным материалом и для познания устной речи того же самого времени, не исключая и диалектной.

Приуроченность описываемых таможенных книг к эпохе оживлённого усвоения русскими отдельных словарных элементов из западноевропейских языков позволяет уверенно проследить, особенно в сфере предметной лексики, закрепление в русском языке одних лексических заимствований и выпадение из русского обихода впоследствии других.

Поскольку сборами облагали предметы купли-продажи, в рассматриваемых книгах обнаруживаем многочисленные названия товаров, а также их признаков и качеств и количественных обозначений. В числе предметных наименований мелькают порой такие, каких в настоящее время нет не только в литературном языке, но и в народных

говорах, или же в последних они являются реликтовыми: десять пещериков кремнеи (Курск 1720, № 32772: 304 об.); тридцать пещериков лычных (Брянск 1726, № 32748: 237 об.), ср.: *пещерик* «кулёк» (Даль); триста сорюк ужищ липовых (Архангельск 1710, № 32762: 115), ср.: *ужище* «верёвка» (Даль); двести хребтиховъ (Брянск 1726. № 32748: 356 об.), ср.: *хребтуг* «веретье, редно, вроде простыни, которое извозчики подвязывают ко приподнятым оглоблям, для корму коней овсом» (Даль); Ловрентеи Килаков торгует хресцем (Болхов 1720. № 32672: 31); две тысячи концовъ холстов хрящю... холсты хрящевые (Углич 1721, № 32875: 3 об.); шестьсотъ аршин хрещи пасконного (Елец 1730, № 32900: 2), ср.: *хряц* «самый толстый грубый холст» (Даль); сорюк черезов сыромятных (Архангельск 1719, № 32762: 105); сто черезов (Курск 1720, № 32772: 121 об.), ср.: *через* «кошель поясом, кошка; рукав, кишка с пряжками, застёжками, куда кладут деньги и ею опоясываются» (Даль); четыре пуда пшена сорочинского (Брянск 1726. № 32748: 9 об.), ср.: *сарацинское*... пшено «рис» (Даль); три тысяччи ложекъ шадровых (Углич 1721, № 32875: 19), ср.: *шадровитый* «фрябой» (Даль).

Книги содержат обширную коллекцию функционирующих и ныне лексических элементов, характеризующих определённые стороны быта, материальную культуру. Таковы названия различных тканей, кож, мехов, одежды и обуви, головных уборов, украшений, разнообразных предметов домашнего обихода, съестных припасов, строительных материалов, красок, металлических заготовок, изделий из металла и т. д. С точки зрения изучения бытовой лексики в её историческом развитии, данный круг источников имеет исключительное значение. Сравнение показаний этих памятников с соотносительными в локальном плане современными диалектными представляется особенно необходимым: «прикрепление» отдельных лексических элементов, зарегистрированных в современных говорах, к определенной лингвистической зоне и проецирование их географии в прошлое вне сравнения с более ранними данными иногда бывает ошибочным. Например, по поводу слова *через*, которое, по сообщению Ричарда Джемса, бытовало в начале XVII в. в архангельских местах, Б. А. Ларин писал: «Теперь сохранившееся только в украинском языке: *черес* – название поясного кошель (от *чересло*, *чресла*) едва ли в XVII в. было своим на Севере, скорей всего записано от украинских купцов; потому здесь и упоминание о путешественниках по Польше и России» [Ларин 1959: 238]. Приведённый выше курский пример говорит о бытовании слова *через*, не обязательно заимствованного из украинского, и в южновеликорусской области. [Картотека ДРС показывает употребление этого слова на значительной северной территории, а в пределах южновели-

корусской области, по данным других локальных памятников, оно уверенно фиксируется с конца XVI в. – См. Котков 1970].

Вообще аннотируемые книги для построения не гадательной, а реальной исторической диалектографии имеют немалое значение. Так, свидетельства указанных источников оправдывают основанное на диалектных данных отнесение названия *замашка* «посконь» к южно-великорусским образованиям, а названия *кербь* «пучок, вязанка» – к северновеликорусским: купиль... тыс#чю семьсотъ веревакъ замашек (Курск 1720, № 32772: 64 об.), ср.: пятьсотъ десять аршинъ холста хрящи замашного (Брянск 1726. № 32748: 314 об.); триста корбей лня (Архангельск 1719, № 32762: 10). Далее, подтверждается преимущественная принадлежность Югу слова *волна* «шерсть, особенно овечья»: купил... пятьдесят пуд волны (Курск 1720, № 32772: 19); *триццат* пуд волны (там же: 103 об.); сто десять пидовъ волны овечи шерсти (Брянск 1726. № 32748: 323 об.). Ср.: сорок парь чюлковъ волновых (Елец 1730, № 32900: 35 об.). Заметим кстати: подобные факты убедительно показывают, что вносимые в книги наименования товаров отражали номинацию их в говорах, где велись книги. Органическая связь указанных наименований, как правило, с местным говором определялась двумя моментами: лица, которые вели книги, являлись носителями этого говора; в случаях лексических расхождений приезжие торговые люди, представители иной диалектной среды, в условиях коммерческого общения, например, регистрируя товары, пользовались местной терминологией.

В книгах получает некоторое выявление зона непосредственных контактов носителей русского языка с украинцами и белорусами. Например, с украинскими словами *болонка* «оконное стекло» и *шибка* с тем же значением, а также с белорусским *шыба*, означающим «стекло в окне», перекликаются такие факты: тысяча скла... шыби болоночного (Брянск 1726. № 32748: 33); шестьсотъ болонокъ стекляных (там же: 202). Ср. употребление слова *дробный* (укр. *дрібний*) в соответствии с русским *мелкий* «небольшой по величине, объёму, размерам»: полтора пуда арехов дробных турецких (Брянск 1726. № 32748: 11 об.).

Заклѹчѣнные в названных книгах данные проливают некоторый свет и на связи русских в лексической сфере с носителями неславянских языков. Укажем хотя бы на такие факты: скандинавское по происхождению слово *кербь* (др.-сканд. *kiarf*, *kerf*), как мы уже отмечали выше, фиксируется в Архангельске; в книге того же города, осуществлявшего торговлю с границей, находим заимствование из немецкого *бунт*: *пятнатцат* бунтъ кудели пенковой (1719, № 32762: 19), ср. нем. *Bund*; аналогичный факт имеет отношение к южновеликорус-

ской периферии, где можно, впрочем, предполагать и польское посредство: два бинта ножей складных (Курск 1720, № 32772: 148 об.).

Если вообще говорить о заимствованиях более или менее поздней поры и особенно Петровского времени, то прежде всего необходимо отметить в таможенных камеральных книгах элементы предметной лексики. Репертуар названий этого рода довольно разнообразен и знаменует распространение в русском быту, в основном в состоятельных кругах, определённых предметов материальной культуры, заморских товаров и т. д.: два косяка шпалеровъ настѣнных (Архангельск 1719, № 32762: 163), ср. нем. Spalier; ящикъ щекалати (там же: 251 об.), ср. исп. chocolate; один пуд тритцат ѳунтъ коои бобков (там же: 45), ср. голл. coffi; пудъ сикатов в патокѣ (Курск 1720, № 32772: 45), ср. итал. succada; три ѳинта чаю (там же); два ѳинта чаю (Соль Вычегодская 1723, № 32870: 3), ср. кит. чауе, ча; четыре камзола крашенинных (Курск 1720, № 32772: 72), ср. франц. samisole; пятьдесятъ тысячъ шпилекъ (там же: 119 об.), ср. польск. szpilka от нем. Spill; дюжину карандаше (так!) красных (Соль Вычегодская 1723, № 32870: 35 об.), из тюрк. karadaş; десятъ ѳюаеакъ холшенных (Елец 1730, № 32900: 9), ср. итал. fofa; сорокъ пар тѳел мужских и женских (там же: 29), ср. нем. Tuffel. Сопоставление во времени этих фактов и первых отражений подобных заимствований в словарях русского языка имеет существенное значение для суждения об их распространении и большей или меньшей постепенности внедрения в литературный обиход.

Выделяется группа обозначений метрологического характера, в которой традиционные наименования ещё довольно употребительны: триста девяносто четыре куклы лня корѣлского (Архангельск 1719, № 32762: 81); тысячу четыреста ужиш липовых двенадцатерику, сто тритцат ужиш липовых десятиерику (там же: 203); пять береман голов тросковых сихих (там же: 213); сто мотков пегинакъ нитеи (Курск 1720, № 32772: 49 об.); десять тысячъ билавакъ болшой и малои руки (там же: 219); шесть косяков лиданов малои руки... четыре косяка пестреди красной средней руки (там же: 239); три наволоки перья гусиного (Углич 1721, № 32875: 9); тринадцатъ черепов масла коровья (там же: 131 об.); дватцать два гнезда тетереви битых (там же: 146); два коробка очковъ восмирной руки (Соль Вычегодская 1723, № 32870: 18) и т. д.

С характеристикой разного рода товаров связано обилие в камеральных книгах определений в виде имён прилагательных. В текстах этих книг исследователь находит оптимальные условия для изучения, к примеру богатой гаммы цветовых обозначений: МА баран [‘бараном зовут и выделанную овчину, и кожу... бараний сафьян’

(Даль)] красных и желтых (Архангельск 1719, № 32762: 28); пять концов понитку смурого (там же: 46); пять аршин сукна серого и смурово (там же: 64); *тритцат* три киклы лня синего (там же: 81); пять медведень бирыхъ чотыре мѣдвѣдна черных (там же: 162); три тюня китаики василковой (Курск 1720, № 32772: 56); пуд сахару бѣлого (там же: 119); евил... крошенины... красной и зеленой и кирпичной (там же: 127); (явил) штуку олеру чайного (там же: 148 об.); десять тюней китаики желѣзной и вишневои (там же: 149); семьсотъ заечин серых и чалых (Углич 1721, № 32875: 36 об.); *тритцат* шесть портищъ крашенин ровной кибовой краски [*кубовая краска* «синяя растительная краска» (Даль)] (там же: 109 об.); четыре копы лазарево-го стекла (Брянск 1726. № 32748: 383); пуд сандалу черного полпуда сандалу красного (Елец 1730, № 32900: 59).

Многочисленны определения-прилагательные, производные от названий материалов и веществ, из которых изготавливались товары, а также штучных названий последних, связанные с характеристикой товаров по их назначению, естественным признакам, способам обработки и т. д.

Ограничимся несколькими примерами из курской таможенной книги (№ 32772): двѣсти аршин покромей сиконных двѣсти гоитанов шелковых (л. 34); двѣ бочки сахару головного (л. 36) восемь скатинъ рогатых три тиши свиных (л. 36 об.); десять замковъ внутренних (л. 38 об.); сорокъ пуд овечи шерсти... четыре пуда масла коровя (л. 40 об.); пятьдесятъ сковород блинных (л. 42); семьдесятъ вѣдръ конопного масла (л. 42-42 об.); сто аршинъ пестреди нитной... *тритцат* колодокъ гвоздя лиженого... пид пшена сорочинского (л. 42 об.); рыбы семь тысячъ двѣсти силы вялой (л. 46); двѣ тысячи ложекъ кленовыхъ (л. 50 об.); сто семьдесятъ пид желѣза тянитова (л. 52); четыре пары сапоговъ борановых (л. 55-55 об.); оинтъ блестов медных... *двацат* аршинъ поесковъ жичковых [жичка 'цветная шерстяная пряжа, гарус, особенно красная' (Даль)]; пять картъ пеговиць обшивных каотанных... полдюжины ножъниц краилных... *двацат* тысячъ гвоздеи подбоинных (л. 55 об.); пятьдесятъ пид сала говьяся (л. 61 об.); сто кос сенокосных (л. 69); сто либковъ липовых... *четыреста* хомитин молчалных двѣсти тежеи паклинных (л. 76 об.).

Для исследования адекватных образований в лексико-семантическом и словообразовательном плане материалы названных камеральных книг представляются исключительно перспективными.

Отделенные от нашего времени более чем двумя столетиями, книги фиксируют в отдельных словах значения, не сходные с современными. Показания книг Камер-коллегии в сопоставлении с совре-

менными в ряде случаев раскрывают семантическую эволюцию слов. Приведём пример. Ныне словом *кумач* обозначают хлопчатобумажную ткань ярко-красного цвета, а «в книгах око характеризует ткань не по цвету, а по волокну, поскольку заимствование из арабского в старом татарском (откуда и в русском) служило общим названием всех бумажных материй» [Дмитриев 1958: 27]. В книгах Камер-коллегии: семьдесят семь кумачей разных цветовъ (Курск 1720, № 32772: 51); шездесят кумачей красных (там же: 66 об.); сорокъ кумачей зеленых (там же: 130); два кумача красных (Елец 1730, № 32900: 47 об.). Как видим, самое название *кумач* тогда ещё не означало «красный» (ср.: кумачи разных цветов, кумач зелёный) и для выражения этого понятия прибегали к соответствующему определению.

К сожалению, и поныне разработка исторической морфологии русского языка минует материалы XVIII в. Между тем интересующие нас источники, в числе многих других, относимых к тому же времени, заключают такие морфологические сведения, которые следует принимать во внимание.

Предметно-перечневый характер записей в рассматриваемой группе книг обуславливает насыщенность данных источников в основном именными образованиями – существительными и прилагательными. Исследование по ним именного склонения и других грамматических явлений может внести некоторые уточнения в географическое и хронологическое распределение тех или иных морфологических фактов, уточнить время появления одних и, напротив, исчезновения других, смены одних другими.

Например, материалы этих книг убедительно свидетельствуют об активном употреблении в начале XVIII в. собирательных образований на *-ье*: дватцать пять килей перя тетеревиного семнатцать килей перя гусиного (Архангельск 1719, № 32762: 12); два мѣшка перя тетерья (там же: 37); двенатцать пар полозя дубового и ясного (там же: 97); тритцать колодокъ гвоздя луженого (Курск 1720, № 32772: 42 об.); еவில்... тысячо камня красного сережного (там же: 78 об.); восем кулков кремения (там же: 111); шесть кулей перя гусиного (Углич 1721, № 32875: 7); коропь щепья плашного (там же: 43 об.); куль крыля гусиного щетомъ шестьсот крыль (там же: 141 об.); дюжина ножей с вилки черенье деревянное (Соль Вычегодская 1723, № 32870: 17).

Из фактов в области грамматического рода: известное ранней русской письменности *бересто* в том же родовом обличье предстаёт в XVIII столетии – пятьдесят пуд береста втулошного (Архангельск 1719, № 32762: 113 об.); в соответствии с *заслон* находим образование



в форме женского рода – дватцать три заслони желѣзных (Курск 1720, № 32772: 275).

Ещё продолжают звучать отголоски старой системы именного склонения. В творительном множественного числа имён мужского и среднего рода: четыре кля перья рябового вѣсомъ дватцать пять пид с мѣсты (Архангельск 1719, № 32762: 164); Семен Быкодоров с товарищи (Курск 1720, № 32772: 36 об.); ср. отражение влияния подобных форм на женский род: дюжина ножей с вилки (Соль Вычегодская 1723, № 32870: 17). В предложном множественного мужского рода: в... городехъ (Курск 1720, № 32772: 69); в мясных р"дѣхъ (Углич 1721, № 32875: 27 об.). Следы взаимодействия разновидностей склонения отложились, скажем, в таких случаях: четыре дюжины ножев перочинных (Архангельск 1719, № 32762: 39); дватцат концев крашенин (там же: 177 об.). В *ножеев* усматриваем результат влияния твёрдой разновидности на мягкую, в *концевеи* – влияние мягкой разновидности (старых основ на *i*) на другую, также мягкую (старых основ на *jo*).

Прослеживаются, далее, колебания в морфологическом освоении заимствований. Ср.: десять обувеи тиюлеи (Елец 1730, № 32900: 54), *десят пар* тиюель (там же: 57); с одной стороны: пятнатцат бунть кидели пенковой (Архангельск 1719, № 32762: 19), с другой: семьдесят бинтовъ ножей складных и бритов (Курск 1720, № 32772: 344).

Засвидетельствованы собирательные числительные за пределами десятка: сто дватцатеры стелки вязаные (Архангельск 1719, № 32762: 291); евил... трицатеры сашников (Курск 1720, № 32772: 153); трицатеры очки (Брянск 1726, № 32748: 136 об.).

Поскольку в описываемых камеральных книгах записи событийного характера редки, исследованию местоимений и глагольных образований эти книги служить не могут. Не открывают они и перспектив для изучения наречий.

Вследствие того же обстоятельства в синтаксическом отношении материалы камеральных книг являются несколько однообразными – представлены едва ли не исключительно сочинительные конструкции. Несмотря на известную стандартность записей и, кажется, более высокую выучку таможенных писцов XVIII в. в сравнении с их предшественниками – писцами XVII столетия, живая речь отражалась в книгах не только в рамках орфографического письма, что особенно видно в лексике, но и вопреки правописанию.

В книгах из южновеликорусской области находим вполне определённые прямые и косвенные свидетельства аканья, приводить которые здесь излишне.

В книгах из той же области заслуживают внимания и показания, касающиеся качества гласного в подударном и безударном положении, который в древнерусской письменности передавался буквой ъ. Ср. в курских записях (1720, № 32772): двѣсти (л. 34), двѣ (л. 36), сахору... бѣлого (там же), вѣсомъ сто два пуда (там же), двѣсти (л. 37), две (л. 40), двѣсти (л. 46), двѣ (л. 50 об.), желѣза (л. 52); но: по цветамъ... по цветам (л. 33 об.), десять мехов (л. 44), дватцать ѡнитов инбирию в патоке пидь сикатов в патокѣ (л. 45). Небезынтересны в этом плане и книги, приуроченные к северновеликорусской области.

Не будем касаться иных аспектов изучения данных рукописных книг с точки зрения фонетики.

Полагаем, что сказанного достаточно, чтобы прийти к выводу: всестороннее исследование этих источников могло бы существенно содействовать познанию русского языка XVIII в., особенно его словарного состава.

**27. Об изучении русской фонетики по памятникам письменности // Вопросы филологии. – М., 1974. – С. 103–109. / К семидесятилетию со дня рождения и к пятидесятилетию научно-педагогической деятельности Алексея Никитича Стеценко**

Напомним высказанные по этому вопросу общие суждения. Изучая язык новгородских грамот, А. А. Шахматов писал, что имеет дело «не столько со звуками, сколько с буквами, а результатом этого является весьма сложная задача: доискиваться звукового значения этих букв. Поэтому, – заключал исследователь, – ...придётся остановиться на употреблении некоторых букв в разбираемых нами памятниках, т. е. сначала коснуться их графической стороны, чтобы потом приступить к лингвистической» [Шахматов 1895: 132].

Продолжение мысли А. А. Шахматова находим в следующем замечании Р. И. Аванесова: «Известно, что единственным путём исследования древнего письменного памятника с фонетической точки зрения является путь от изучения графики (написаний) к орфографии (к системе правил употребления этих написаний) и от орфографии как системы – к отклонениям от неё при постоянном критическом сопоставлении всего этого графического в широком смысле, т. е. писанно-зрительного, материала с данными живого языка или живых родственных языков позднейшей (обычно – современной) эпохи» [Аванесов 1955: 79].

Приемлемые как общие, эти положения не обеспечивают, однако, во многих случаях достаточно правильного истолкования получивших отражение в старой письменности фактов русской фонетики. Дело в том, что для их истолкования мало знания одних соотношений между фонетической системой, графикой и орфографией. Необходимо учитывать и конкретные условия, в которых данные соотношения реализуются. К сожалению, подобный аспект исследования во внимание не принимается, хотя указанные соотношения под пером носителей общерусской, но в каждом отдельном случае индивидуализированной, речевой культуры и правописной выучки получают в старой письменности порой неодинаковое выявление.

Для современной истории русского языка характерно исследование фонетических отражений в полном отвлечении от писцов, у которых они явились, в отвлечении от их речевой культуры и орфографических навыков. Отражения рассматриваются как обезличенные, не связанные с определённым писцом, названным или не названным в тексте, вне учёта их соотношения в пределах того или иного почерка. Подобного рода уединённое изучение показаний старой письменности не может гарантировать их верной интерпретации. Необходимая пред-

посылка последней – изучение любого лингвистического факта, или, точнее, его отражения непременно в свете иных отражений, представляющих общую речевую культуру и орфографическую выучку писца. Между прочим, как это ни странно, упомянутое выше уединённое, мы бы сказали, внесистемное изучение исторических фактов русской фонетики в известной мере перекликается с системным изучением русского языка в фонологическом аспекте, когда исследователь оперирует принципиально обезличенным лингвистическим материалом.

Оперирование лишь обезличенным материалом, полагаем, в той или иной степени ограничивает характеристику фонетических явлений, в особенности качественную. Рассмотрим несколько случаев.

Например, для выяснения того, насколько распространённым было аканье и являлось ли оно произносительной нормой, безусловно, следует знать, насколько орфографическая подготовка писцов и в каких преимущественно ситуациях ограничивала в памятниках письменности его прямые или косвенные проявления. Естественно, опытный писец уклонялся в сторону аканья главным образом в тех случаях, когда отсутствовала возможность проверки написания безударной гласной звучанием её под ударением, а у писца, не искущённого в орфографии, обыкновенны были отражения аканья и в проверяемых положениях. Это... наблюдение, давно учитываемое в школьной практике, не принимается во внимание в исследованиях по исторической фонетике: в них господствует, так сказать, валовое изучение фактов.

Интерпретация в полном отвлечении от писца отражений безударного вокализма в составе флективных элементов слова может привести к ошибкам в понимании и морфологических фактов.

Возьмём рукопись того времени, когда в дат. пад. мн. числа определённой группы имён существительных старая форма на *-омъ* вытеснялась новой на *-амъ*. В зависимости от выучки писца из южно-великорусской области буква *a* в написаниях вроде *крестьянамъ*, *помъщикамъ* допускает двоякое толкование: либо это примета новой флексии, либо проявление аканья в старой флексии *-омъ*. Напротив, буква *o* в аналогичных положениях может быть трактована и как примета старой флексии и как «перестраховочная» в составе новой флексии. Поэтому для оценки употребительности указанных старых и новых форм в пределах того или иного почерка представляется важным общий учёт, а не только в данной падежной флексии написаний *a* на месте *o* и «перестраховочных»: менее опытный грамотей был более склонен к «перестраховке», нежели более опытный.

Небезразличен далее учёт орфографической выучки писцов и при оценке качества фонемы, исторически передававшейся буквой ъ.

Необходимость этого признаётся, но в исследованиях обыкновенно не реализуется. Отражение указанной фонемы в том или ином почерке рассматривают в полной изоляции от каких бы то ни было отражений иных лингвистических явлений, совокупность которых (отражений) могла бы дать представление об орфографической выучке писца. Кроме того не учитывают и употребительность буквы ъ под пером отдельных писцов. Между тем о заметном различии в применении данной буквы в зависимости от грамотности писцов говорит, например, следующее: у заурядных московских грамотеев, в отличие от опытных, как показывают известные нам рукописные материалы XVII в., преобладает явственная тенденция – избегать употребления буквы ъ.

Анализ правильных написаний ъ и взаимной мены ъ и е в пределах разных почерков, иначе – у тех или иных писцов, с учётом их правописных навыков – позволяет уверенно судить, с отражением каких явлений мы имеем дело: явлений фонетических или орфографических. Практика отдельных писцов, как мы убеждались многократно, например, показывает, что в жёстко регламентированных оборотах стандартных зачинов и концовок старой актовой письменности ъ пишется правильно, а в условиях менее регламентированного изложения появляется немало отклонения от ъ в сторону е в безударных положениях. Ясно, что в первых случаях сказывается орфография, а во вторых – явление фонетического порядка. Принадлежность тех и других написаний перу одного писца как раз и представляется нам особенно доказательной. Обезличенное изучение подобных фактов таких перспектив не открывает. Поскольку исследования в данном аспекте естественно ограничиваются установлением лишь общих соотношений между системой фонем и звуков и системой правописания, не получив фонетического решения проблемы, апеллируют к орфографии.

Вот один из примеров. Исследовав соответствующие факты дифференцированно по писцам, мы пришли к заключению, что в южновеликорусском наречии XVII в. фонемы *ě* и *e* под ударением различались, а в безударных положениях первая совпала со второй. К аналогичным результатам пришли и некоторые другие исследователи, изучавшие и ранее, и в наши дни конкретные материалы того же времени из иных областей России. Сомневаясь в правильности таких итогов, К. В. Горшкова пишет: «Если все авторы правы, то окажется, что на огромной территории распространения русского языка в XVII в. (центр, юг, новые поселения на Дону и в Сибири) была распространена одна и та же диалектная черта – различение фонем типа *ě* и *e* под ударением и их неразличение без ударения.

Основываясь на наших знаниях о состоянии северновеликорусского и южновеликорусского вокализма до XVII в. и о состоянии современных говоров, вряд ли можно согласиться с подобной реконструкцией данной изоглоссы для XVII в. Можно предположить, что деловая письменность XVII в. разных территорий могла испытывать влияние московской орфографической школы, так как к этому времени Москва становится не только экономическим, политическим, но и культурным центром русского... государства [Горшкова 1972: 27].

Не отрицая влияния московской школы на периферийную письменность Руси, мы всё же должны заметить: употребление ъ под ударением и е взамен буквы ѣ в безударных положениях как явление чисто орфографическое, лишённое вполне реального фонетического основания, нельзя считать доказанным. Напротив: во многих русских говорах, и современных, и XVII в., определённая степень изменения гласных, большая или меньшая, в безударных слогах установлена.

Уже не приходится говорить о том, что влияние предполагаемой орфографической нормы в периферийной письменности XVII в. странным образом уживается с довольно значительными проявлениями живой локальной речи [см. например, Котков 1963; он же 1970]. Выходит, московское орфографическое влияние было «избирательным» – в отношении употребления буквы ѣ оно оказывалось влиятельным, а в отношении иных правописных норм гораздо менее результативным.

Отклоняем и ссылку на состояние современных говоров. Судить по нему о том, что было в XVII столетии, несколько рискованно.

Гадательной представляется нам и осведомлённость историков языка в южновеликорусском вокализме до XVII в.: южновеликорусские памятники XVI в., точнее, конца этого столетия, во-первых, малочисленны, во-вторых, научно-лингвистически ещё не издавались.

Полагаем, реальным способом выяснения «природы» употребления буквы ѣ под ударением и е на месте буквы ѣ в безударных положениях является исследование подобных фактов дифференцированно – по писцам, в пределах отдельных почерков. Особенно доказательным представляются написания ѣ при ударении и е при отсутствии ударения в одном и том же слове. Ведь если, скажем, одна рука пишет *в рекѣ*, но *рѣчка*, о каком следовании орфографии можно здесь говорить? Разумеется, необходимо принимать во внимание и возможность «перестраховки». Написание *в реку* вместо правильного *в рѣку* у писца, заведомо избегавшего применения буквы ѣ, никаких данных о совпадении фонемы, обозначавшейся посредством ѣ, с фонемой е не содержит, а у писца, который иногда сбивается с буквы ѣ на е, намекает на совпадение.

При учёте графики и орфографии вне поля зрения исследователей остаётся технология письма – приёмы нанесения его элементов на писчий материал. Поэтому некоторые отклонения от орфографии необоснованно относят к отклонениям, не имеющим фонетического значения, хотя технологией письма, в котором они появились, иное, графическое происхождение их не может быть оправдано. Речь идёт о так называемой графической ассимиляции, в принципе возможной. Однако, в принципе возможная, она далеко не всегда вероятна. Выражение её находят в следующем: сознание писца ещё не отрешилось от написанного слога, а выводится уже новый слог и, вследствие этого, в новом слоге вместо ожидаемой буквы непроизвольно пишется та же самая, что и в первом слоге. Естественно, наиболее благоприятные условия для проявлений графической ассимиляции предполагаются в свободном от известного автоматизма. К такому письму принадлежит старинная русская скоропись, особенно XVII и XVIII вв. Напротив, старинный русский устав (с его отдельной расстановкой букв, порой не просто написанных, а едва ли не рисованных, с соблюдением геометрии начертаний, не обладает ни связностью, ни беглостью [В. Н. Щепкин писал, что устав отличает «геометрический медленно (разрядка наша. – С.К.) вычерченный характер букв» – Щепкин 1918: 93]. Условия для проявления в нём графической ассимиляции, как видим, минимальны, можно сказать, отсутствуют. Таково уставное письмо и, в меньшей мере, полууставное и списков, и оригиналов.

То печальное обстоятельство, что с подробным существенным различием в технологии русского письма обыкновенно не считаются, объясняется главным образом недостаточным развитием культуры чтения и исследования старинных рукописей. Историю русского языка непосредственно по рукописным материалам мало кто изучает, обычно удовлетворяются их изданиями, для фонетических разысканий малопригодными. А если и обращаются к рукописям, то, за самым редким исключением, к более легко читаемым – уставным и полууставным; скорописные фонды минувших веков, поистине необозримые, остаются в полном забвении.

Крайне сомнительны указания на проявления графической ассимиляции в уставных строках церковных книг, которые списывали с особым тщанием. Например, в московских евангелиях XIV в. такой ассимиляцией объясняют написания вроде *падающимъ, съвпрашати* и т. п. Помимо того, что данные факты могут быть связаны с аканьем [см. Котков 1971: 85–86], понимание их именно как графических представляется нам неприемлемым и с другой точки зрения. Ассимиляция, квалифицируемая как графическая, предполагает принципиальную

возможность дублирования любой буквы, а в упомянутых случаях она ограничивается только буквой *a*, т. е. буквой, отражающей аканье.

Выяснению не только общего соотношения фонетической системы, с одной стороны, графики и орфографии, с другой, но также и его преломления в индивидуальной практике писцов существенным образом помогает анализ представленных в рукописях исправлений, внесённых либо писавшими, либо редакторами-правщиками. К сожалению, в тех публикациях памятников, которые находятся в обращении, фиксируется обычно результат, а не самый процесс исправления. Вследствие этого фонетическое явление, сущность которого обнаруживается в колебании между первоначальным и исправленным написанием, остаётся исследователю неизвестным. [Исправления формально-орфографические, лишённые фонетического содержания, само собой разумеется, во внимание не принимаем. Учёт исправлений подобного рода необходим в исследованиях иного плана – при изучении истории орфографии, нормализации письменного языка и т. д.]. А ведь именно эти колебания, особенно в пределах одного почерка или, иначе говоря, под пером одного писца, в значительной степени и раскрывают состояние живого языка в его отдалённом прошлом, развитие в нём определённых тенденций и становление определённых норм. Колебания, фиксируемые в пределах почерка (при исправлениях, сделанных самими писцами, а не редакторами-правщиками), характеризующие один говор, представляют оптимальные возможности для исследования внутренней его эволюции; колебания, полярные проявления которых выступают в разных почерках, не всегда открывают такие возможности, поскольку могут выражать не только известную вариативность внутри одного говора (если авторы почерков – равно его носители), но и различия между говорами (если авторы почерков – носители разных говоров). При изучении в лингвистическом плане старой русской письменности, с типичной для её произведений писцовой анонимностью, считается с этим обстоятельством совершенно необходимо. Имеем в виду, что индивидуальное и общее в говоре более однородны, нежели два говора одного языка, в данном случае русского.

В итоге приходим к убеждению: непременным условием конкретной разработки исторической фонетики русского языка, особенно XVI–XVIII вв., должны явиться глубокие исследования замечательно рукописного наследия, которое оставила нам история народа. Сведёние исследований в данной области к конструированию формальных моделей и схем, как показывает опыт, – это ещё далеко не познание исторической фонетики.



**28. П.К. Симони об изучении надписей на памятниках древнерусской станковой живописи // Исследования по лингвистическому источниковедению. – М., «Наука», 1963. – С. 190-198.**

В изучении истории русского языка сложилось противоречивое положение. Специалисты признают, что того круга памятников, которые опубликованы и служат основанием для её построения, явно недостаточно для решения ряда важнейших проблем. Известные нам источники в значительной мере исчерпаны, если не иметь в виду проблематичной возможности их исследования методами, которые ныне едва ли правомерно считаются единственно структурными. Думается, что и традиционное языкознание таит в себе определённые возможности изучения лингвистической структуры. Не задерживаясь на этом популярном замечании, обратим внимание на то обстоятельство, что при указанной ограниченности материальной базы исследования обыкновенно не наблюдается более или менее активного стремления историков языка к работе непосредственно по рукописным источникам и введению в научный оборот новых данных древнерусской письменности, сохранившиеся фонды которой огромны. В частности, надписи на произведениях древнерусской станковой живописи, насколько нам известно, не привлекали внимания лингвистов, а между тем подобные надписи и с точки зрения истории языка, и палеографии небезынтересны.

В этой связи, нам кажется, заслуживает быть отмеченной попытка изучения таких надписей в палеографическом аспекте, вызванная необходимостью воспользоваться их показаниями для датировки памятников древнерусской живописи. В тяжёлых условиях гражданской войны и иностранной интервенции Советское государство заботилось о сохранении памятников русской культуры, об их изучении и приобщении к миру культурных ценностей широких народных масс. В 1920 г. образованный в составе Российской Академии истории материальной культуры Разряд древнерусского искусства приступил к обследованию древнейших памятников живописи в России и обратился с просьбой о содействии в изучении надписей на них к лингвистам-палеографам. В Отделе письменных источников Государственного Исторического музея сохранились некоторые материалы, связанные с этим научным предприятием [ф. 37, ед. хр. 235]. А. А. Шахматов, которому писал по этому поводу заведующий Разрядом И. Грабарь, не мог принять участие в предполагавшейся работе и рекомендовал пригласить П. К. Симони. В письме от 13 мая, адресованном Симони [л. 4, машинопись], Грабарь определял задачи обследования и высказывал некоторые пожелания относительно характера тех заключений, кото-

рые Разряд ожидал получить по 53 фотографиям надписей. При этом сообщалось следующее: «Во избежание осложнения работы по экспертизе, возможного при наличии следов разновременных палеографических элементов, надписи освобождены от всех позднейших поправок и дополнений и в предлагаемом на фотографиях виде являются либо изначальными, либо современными непосредственно под ними лежащему слою живописи, хотя и не изначальному, но все же древнему». Ещё до получения письма Грабаря по поручению Шахматова Симони составил записку, в которой изложил свои соображения о методике палеографической экспертизы [лл. 17-18, машинопись]. Записка датирована 9 мая. Сохранился черновик письма, адресованного Симони Шахматову, помеченный также 9 мая [л. 10]. Сообщая о выполнении поручения, Симони вместе с тем замечает: «Впрочем, за свой план и последовательность работы по датировке снимков я не стою; будет мне предложен иной план, я буду готов выполнить и его». «Интересно было бы, – читаем далее, – иметь в руках Ваше печатное руководство по славяно-русской палеографии». Здесь же находим высокую оценку палеографического руководства В. Н. Щепкина: «В. Н. Щепкин давно дал мне печатные листы своего превосходного курса славяно-русской палеографии, читанного им в Московском университете. Курс у него разработан полностью и мастерски. И вязь, и миниатюра, и орнамента очень детально разработаны, даже и печатный отдел. Это вполне *vademecum* палеографа и библиографа и справочная книга».

Несмотря на то, что в наше время палеографу в прочтении и интерпретации надписей существенно помогает фотоанализ, соображения Симони в известной степени и поныне не утратили своего значения, почему их публикация и представляется полезной. Уместно вспомнить, что основой важнейших его трудов была палеография, а «постоянная работа над рукописями выработала из него первоклассного специалиста в этой области» [Виноградов 1935: 291].

Прежде всего необходимо отметить строго объективный подход Симони к прочтению древних надписей, что, между прочим, явствует из категорического отрицания им какого бы то ни было восстановления частично или полностью утраченных букв по догадке, «хотя бы идейный контекст иногда и давал возможность угадывать их продолжение или выпавшие места». Непременным условием предварительного исследования начертаний отдельных букв и знаков ставится сопоставление их с точными графическими соответствиями, а также ближайшими параллелями в опубликованных памятниках иконного письма, эпиграфических и т. д. Затем на основании всех наблюдений исследуемый графический материал сводится в группы букв и знаков

и только после этого, хотя бы приблизительно, определяется время написания «графических изображений на иконах». Для более уверенного суждения о времени написания, как полагает Симони, палеографу необходимо «непрерывно самому», «своим глазом» изучить основу-доску, подволоку-подстилку, технику грунта и технику свойств и способов наложения и закрепления красок, золота или чернил. Симони не удовлетворяют палеографические решения, основанные лишь на одном каком-нибудь признаке, вроде, скажем, почерка или характера букв. Ему свойственно широкое понимание палеографии как синтетической дисциплины. Такое понимание имело основанием прежде всего всесторонний опыт самого исследователя и его особое, мы бы сказали, проникновенное отношение к древней письменности. Например, в одном из своих трудов он ранее писал:

«Когда я приступал к занятиям по изучению нашей книжной старины по памятникам древней письменности, как начертанным на пергамене, так и на бумаге, и надписям на всякого рода вещах и проч., меня часто занимала мысль о той обыденной обстановке, в которой приходилось действовать старинному писцу и строителю всякого книжного дела вообще, а также и художнику-иконописцу в частности. Я приглядывался к цвету чернил и киновари или бакана, золота, красок и проч., коими писаны и украшены старинные рукописные книги и свитки-столпцы и т. д. Равномерно моё внимание привлекали к себе и все другие стороны, так сказать, материальных изучений памятников, на коих приходилось встречать письма, далее разнообразие приёмов написания и почерков, украшений всякого рода, наконец, лицевых изображений и икон, в сложных по замыслу сочетаниях и т. д. Тогда же я заинтересовался и старинными окладами и переплетами» [Симони 1906: 1].

Стремлением к максимальной обоснованности заключений продиктовано требование Симони проверять данные надписей на памятниках древнерусской живописи показаниями пергаменных рукописей и письменности на бумаге.

Палеография, справедливо замечает Симони, «вообще более ещё лишь занимается собиранием фактов, а не догматизирует». В наше время её теоретическая разработка является одной из актуальных задач.

### **Письмо И. Грабаря П. К. Симони**

Глубокоуважаемый Павел Константинович,

Разряд древнерусского искусства Российской Академии истории материальной культуры, поставив своей ближайшей задачей выяснение дат древнейших памятников живописи в России, наметил об-

следование их не только со стороны данных летописных, стилистических и технических, но и со стороны палеографической. Палеографический метод датировки, широко применяемый при исследовании рукописей, до сих пор мало использован при изучении памятников живописи, палеографически несколько разнящихся от рукописей и требующих, быть может, иного подхода.

Ввиду важности дела и новизны его, Разряд остановился на мысли обратиться к содействию известных в этой области русских учёных, прося их дать своё авторитетное заключение о ряде надписей, сфотографированных с памятников, датировка коих может оказать решающее влияние на установление главных моментов эволюции древнерусской живописи.

Препровождая Вам при сем 53 фотографии с 28 памятников, Разряд надеется, что Вы не откажете ему в Вашей ценной помощи и дадите своё заключение о всех прилагаемых надписях.

Со своей стороны Разряд позволяет себе высказать несколько своих пожеланий, касающихся технической стороны экспертизы.

Прежде всего желательно получить подробное мотивированное заключение о каждой отдельной надписи, по возможности с указанием аналогичных палеографических элементов в некоторых других известных Вам памятниках.

В тех случаях, когда, по Вашему мнению, среди прилагаемых надписей имеются более или менее близкие по времени начертания, нет необходимости давать особое заключение о каждой из них в отдельности и возможно объединение их в группы.

В случаях, где это представляется возможным, желательно отметить в характере надписи такие элементы, которые могли бы послужить косвенным указанием на территориальное или национальное происхождение памятника: «русский север», «русский юг», «Новгород», «Псков», «Болгария», «Сербия» и т. п.

Датировку желательно получить не в слишком общих хронологических границах, по возможности не в пределах целого столетия, а в частях его.

Ввиду исключительной важности настоящей экспертизы опубликование её результатов не желательно ранее официального заслушивания всех заключений в Разряде древнерусского искусства.

Во избежание осложнения работы по экспертизе, возможного при наличии следов разновременных палеографических элементов, надписи освобождены от всех позднейших поправок и дополнений и в предлагаемом на фотографиях виде являются либо изначальными, либо современными непосредственно под ними лежащему слою живописи.

си, хотя и не изначально, но всё же древнему.

Данные экспертизы в запечатанных конвертах с надписью «Палеографическая экспертиза», вложенных в пакеты, направляются к 1 июля 1920 г. в разряд древнерусского искусства Московской секции Российской Академии истории материальной культуры [Малая Никитская, 12].

Гонорар за экспертизу предлагаемых надписей – 15 000 р. [пятнадцать тысяч] .

*Заведующий Разрядом* Игорь Грабарь

### **Докладная записка П. К. Симиони**

Я представлял бы себе работу по дешифровке иконных надписей на основании представленных фотографических снимков в следующем виде:

☞] Отметить на отдельной карточке, скопировав с фотографического снимка – так сказать, для частного своего употребления и более скорого и удобного розыска нужных чёрточек – в виде схематических чертежей начертания всех сохранившихся в данной надписи полностью букв; если же какие буквы испорчены и не подают даже намёка, чтобы можно было попытаться установить, хотя бы по догадке, недостающие части, то такие буквы считать пропавшими, хотя бы идейный контекст иногда и давал возможность угадывать их продолжение или выпавшие места. Занумеровать каждое начертание, т. е. буквы и все знаки: 1] препинания, 2] придыхания, 3] ударения и проч.

Обратить внимание на титлование слов, сокращаемых под титлами, на выносные за строку или при недописях за недостатком места и проч. – буквы [системы титлования были различны смотря по местностям написания памятников].

☞] Постараться подыскать [по возможности] самые подходящие соответствия изображению каждой буквы и отдельного знака по обнаруженным уже в печати до сих пор памятникам главным образом иконного письма, а также и по эпиграфическим вообще памятникам разного, впрочем, достоинства и значения, археологическим, палеографическим и иным трудам, постоянно сопровождая свои отметки ссылкой на найденный источник.

☞] Когда работа по приисканию точных соответствий, а также и их ближайших параллелей будет закончена, тогда можно приступить и к сводке всех наблюдений относительно характера отдельных приёмов графических начертаний: можно было бы и подбираемый из фотографических снимков материал сводить в группы букв и знаков.

Ω] Только после первоначальной – такой предварительно грубой, так сказать, – исследовательской работы можно будет пытаться определить и, хотя бы приблизительно, время написания графических изображений на иконах.

℄] Приблизительно только, – так как русская эпиграфика, особенно иконная, ещё по сие время почти не существует:

1. Памятники её ещё не собраны в одно место и не разработаны.

2. Надёжных снимков с надписей, какие бы были нужны, мы ещё не имеем, по крайней мере, в достаточном количестве. Собрание проф. И. А. Шляпкина для Археологической комиссии [в Петрограде] ещё не вышло в свет, за исключением отдела крестов [в Записках Р. Археол. общ.] и скудных валовых его же заметок в курсе «Палеографии» [1905–1913 гг.].

3. Вообще же снимки в разных палеографических, археологических и других трудах по большей части весьма не точны; описаний настоящего состояния памятников и всех деталей их техники издатели, «сберегая место», обыкновенно не находят нужным давать. Кроме снимка, не прилагается никаких примечаний или объяснений, за редкими, впрочем, счастливыми исключениями. Надписи в натуре или грубо подрезывались и обновлялись, или сплошь закрашивались, если не просто замуровывались куда-либо в строение, фундаменты и т. д. Надписи на миниатюрах-иконах в рукописях и на отдельных листах, особенно же на деревянных досках, на камне и на металлических дощечках, переписывались при поновлении, часто переиначивались и сокращались и т. п. Вот причины, отчего и дошло надписей вообще мало и автентичность и сохранность их пострадали страшно. Памятники нашей иконописи издавались как-то вообще хуже, чем памятники других отделов археологической науки. Вопросы об изучении палеографической стороны иконных изображений почти что и не подымались, хотя снимки в разных родах исполнения уже имеются.

4. Палеографу для более уверенного суждения о времени или месте, к каким должна быть относима та или иная надпись, следует – как вообще для пользы самого дела – непременно самому осязательно изучить своим глазом основу-доску, подволоку-подстилку и технику грунта, на коем помещается иконная надпись, и технику свойств и способов наложения и закрепления красок, золота или чернил, различать глазом и при дневном свете [особенно при солнце] то многое, чего не подобрать и не закрепить на фотограмме фотографии, особенно поправки, переделки, подчистки, починки, пропуски букв, вязи и т. д., смешение приёмов, т. е. употребление краски и золота,

причём одно могло поблекнуть – слинять, а другое остаться и т. п. – вообще случаи, не закрепляемые фотографией. Да помимо всего того, палеографу вообще нужно знать, золотом ли или красками, кинovarью, суриком, баканом или белилами, или чернилами написаны буквы и знаки надписи.

Палеография вообще более ещё лишь занимается собиранием фактов и материалов, а не догматизирует. Пока она лишь – практическое знание, энциклопедически и по частичкам отвлекаемое от разных смежных знаний, наук и практических ведений, а потому всякому палеографу, для более смелого и решительного суждения, нужно бы стараться – кроме запаса разнообразнейших практических знаний – непременно своими глазами увидеть и, так сказать, осязать весь изучаемый предмет и со всех сторон: исторической, художественной, технической и т. д., так как современная нам палеографическая наука силится постановлять своё решение не по одному лишь какому-нибудь признаку вроде почерка или характера букв [«сводной азбуки»], а лишь по сумме всех доступных исследованию палеографических признаков [cf.: графика, почерк, росчерки, надстрочные знаки, лигатуры, характер чернил, киновари, золота, пергамента или бумаги, заглавных букв, вязи, заставиц, миниатюр, орнамента, переплета, «узорочья» цветных полосок и «прокладиц» при миниатюрах, «обшивки» в узоре разноцветными шёлковыми нитями «головок» [главник, главица] внизу и сверху корня книг и переплета и т. д.].

⌘] Изучение надписей на иконах, писанных на досках, сближается с палеографическим учением о надписях на иконах, помещённых на книжных миниатюрах, отчасти даже, особенно для XVI и след. стол., на басменных золотом, серебром или просто тисненых горячим способом с медных дощечек на книжных переплетах; затем ещё далее отстоит по характеру техники палеография надписей в стенных росписях, на шитых шелками или жемчугом воздухах, пеленах, покровах и т. д. Хотя привлечение и этих групп материалов могло бы быть очень полезно и облегчить в вопросе о датировке, так как датированных икон на досках чрезвычайно мало доступно для изучения исследователей-палеографов.

⌘] По заключении работы по изучению надписей на означенных иконах исследователь может и должен будет проверить свои выводы опять ещё по тем данным, какие ему может предоставить вообще палеографическая наука, построившая свои выводы на изучении письма рукописей и актов-грамот, писанных на пергамене и на бумаге.

Это тем более необходимо будет сделать, так как и писание икон, хотя бы и на досках, и особенно писание надписей на таких ико-

нах очень близко стоит и во всяком случае напоминает письмо рукописей и ему соответствует. Впрочем, в надписях на иконах почему-то довольно часто глаз исследователя примечает и поражается присутствием не на месте то того, то другого архаического или, лучше сказать, архаизированного намеренно буквенного изображения или графического или иного знака [переживания и остатки старины. Ср. в греко-византийских минускульных рукописях IX в. и далее в югослав. и русском украшенном письме, особенно хризографией или разными красками].

9 мая 1920 г.

Павел Симони



**29. Книги городского дела XVII в. // История русского языка. Исследования и тексты. – М., «Наука», 1982. – С. 3-18.  
[соавтор – Н. Н. Бражникова]**

Городовое дело состояло в постройке городов, возведении и ремонте крепостных оборонительных сооружений. С окладной единицы (сохи, а позднее – двора и четверти) выставялось определённое число работников или взимались деньги для найма работников. Выполнение этой повинности регистрировалось в книгах городского дела.

Книги городского дела в качестве лингвистических источников представляют определённый интерес. Приуроченные к разным территориям Русского государства, они могут служить источником сведений по истории русского языка в целом и исторической диалектологии. Отражая и традиционные, и новые факты русского языка XVII столетия, книги помогают раскрытию отдельных моментов его развития и становления письменных и устных норм в начале национальной эпохи. Между тем лингвисты до сих пор книги не исследовали.

С целью освещения содержания и лингвистического наполнения данных памятников мы обратились к Книгам городского дела, которые хранятся в Отделе рукописей ГБЛ (ныне – РГБ) ф. № 178. Укажем принятые нами их сокращённые обозначения.

Б. – Книга острожного дела в г. Болхове 1657 г., № 1400;

Бр. – Книги городского дела г. Брянска за 1676–1678 гг., № 1397;

З. – Книги городского дела г. Зарайска за 1671–1672, 1672–1673, 1673–1674 гг., 1674 г., № 1398;

К. – Книги городского дела г. Калуги за 1677–1679 гг., № 1392 [Поскольку данная единица хранения объединяет три книги, две из которых имеют сквозную нумерацию, а третья – самостоятельную, первые две книги далее обозначаем К.1, а третью – К.2];

Кас. – Книга городского дела г. Касимова, 1671–1674 гг., № 1395;

М.1 – Книга городского дела г. Муромы, 1665 г., № 1394;

М.2 – Книги городского дела г. Муромы, 1676–1678 гг., № 1402;

П. – Книга городского дела г. Пронска за 1640–1641, 1641–1642, 1640–1642 гг., № 1396;

Р. – Книга городского дела г. Ржева [Володимерова], 1671 г., № 1399;

С. – Книги острожного дела г. Серпухова, 1636 и 1661 гг., № 1401;

СШ. – Книга городского дела г. Суздаля и Шуи, 1646 г., № 1393.

Книги составлены из тетрадей, записи в которых велись на лицевых и оборотных сторонах листов. Формат их примерно одинаков и равен в среднем 20х16 см. Написаны они скорописью. Каждая книга имеет скрепы. Среди тех, кто оставил скрепы, упоминаются подьячий

Андрей Ширшин, спасский поп Иван, поп Феодот, брянский горододелец Дмитрий Иванов сын Надеин, воевода Семен Беклемишев, горододелец боярин Савва Чубаров, горододелец Иван Григорьев сын Мусин Пушкин, сын горододельца и воеводы князя Григория Федоровича Чертенского Петрушка Чертенской, горододелец Михайло Вырубов, дьяк Федор Леонтьев. К Книгам городского дела г. Суздаля и Шуи руку приложил тверитин Осип Щербининцов.

В книгах отмечалась отработка «городовой» повинности, сбор «городовых» денег. В отдельных частях описывались возведённые сооружения с указанием их размеров. Книги велись в соответствии с царскими указами, в которых предписывалось «делать город и острог со всякими крепостями». После обычного для делопроизводства того времени вступления (Лѣта... по гедру црву і великого князя... всеа Великия и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца указу...) следовали записи, фиксирующие, кем, в каком объёме и какого характера выполнена работа. Характер записей варьируется в зависимости от их конкретного содержания. Например, характер записей в книге г. Брянска определён установкой: а хто сколко лѣса и тѣсу привез и хто | сколка остагу [так в ркн.] земленого валу і руб|леноі стѣ<ны> здѣлал і хто башни | дѣлал і то всѣ писано в сѣхъ | книгахъ [л. 3 об.]. Приведём наиболее характерную запись из этой книги: Силешъ Меркулев снъ Семичов што за ним | из мелничья из Ондрѣва помѣстья | Тютчева жеребеі села Теминич в жи|вищем полчетверика лѣс і тѣс принят | земленой вал и рубленая стена по их | очереди здѣлана со всем і покрыта [л. 14 об.]. В Серпуховской книге обычны записи, фиксирующие: хто тѣх городов и волостеі по розвытке | на то острожное дѣло лѣсу вывез [л. 2]. Например: с Тимофѣва помѣсть# Григор|ева сна Нарыж|кина с сельца Лопатина с четі без полутрет|ника стѣнного лѣсу вз#то тритцат три | бревна надолбного два бревна [л. 33 об.]. «Статьи» Суздальской книги показывают: что заложено городен і в них сажень [л. 1 об.]. Например: Трвицы Сергиева мнстря з дву вотчин | с села ж Алеџина да с села Татарова | съ НЗ четі дѣлалі десят городен | до обламов в городне по три са|жени [л. 2 об.].

Общими компонентами записей являются наименования лиц с указанием их владений, перечисления окладных дворов или четвертей и описание выполненной работы.

Содержание и структура записей предопределяют их лингвистическую содержательность, прежде всего лексическую и синтаксическую.

Лексическая содержательность книг предопределяется тем, что в них говорится о строительстве оборонительных сооружений и отражаются некоторые социально-экономические отношения.

Представлены наименования сооружений, их частей и деталей: башня, бабки, быки, венцы, окна, ворота, вышка городня (огородня), двери, затворы, звено, зубцы, калитка, катки, клетка, кобылины, крепость, кровати, лестница, маковица, мост, надолбы, обламы, острог, перила, погреб, помост, прируб, прислоны, решетины, ряжи, стропила, связи, стена, тайник, тарасы, чердак, шатёр и др.

Острогом именуется ‘укреплённое поселение’ и ‘укрепление вокруг города’: у Варварского попа Хоритона что в старом острогѣ | Ивашка Сидоров плотникъ [К.І: 12 об.]; на валу стоить старог | острогу Е сажень а не рублень тотъ | острог для пожарног времени [Р.: 30]; велено в Серпихове зделоти | острог новоі оприч ворот и глихих башен в сос|новом и #ловом лесу и около тог острогу надолобы и ров вычисит [С.: 1]; а зделали тог острогу земле|ного валу и рубленой стѣны |... впол і мѣнши [Бр.: 4 об.]; по острогу по мѣре земельного валу | і рубленой стѣны и стоячей триста | шестдесят восемь сажен [Бр.: 3]. Встречается *острожек*: ворота с прирубом перед вороты отводной | острожек [М.І: 23 об.]. В общем значении ‘укрепление’ употребительно слово *крепость*: велено... здѣлат в Касимове город и острогъ со всякими крепостми [Кас.: 1 об.]; хто острогу и встрожных крѣпостех здѣлол [С.: 2], сколько | здѣлано и чего не додѣлано города | і всяких городовых крепостей [М.ІІ: 1]; в Касимове по староі городской осыпи | здѣлан город рубленой в двѣ стены со всякими городскими крепостми [Кас.: 7 об.].

Упомянуты *обламы*: на тѣх же пр#слех обламы | на обѣ стороны по три бревна [С.: 3 об.]; в вышину по обламы тое городовые стел|ны рублена по дватцеті по два венца а обламов | по деветі венцовъ а обламы тесаны | в брус [Кас.: 26-26 об.], ширина стѣнъ поперег две сажени | здѣлана в оддѣлке вверхъ безз [так в ркп.] четверти четырех сажен і с обламами [К.І: 91]. Как видно из примеров, *обламы* – ‘верхняя часть стены или укрепления, выдававшаяся вперёд уступом’. Ср.: *облом* или *облам* ‘полка, выступ на городской, кремлёвской стене’ [Даль II: 593]. В ряду крепостных устройств находим и *кровати*: вывезено на острожное дѣло стѣнного и на глихие || косые городни и на обламы и на | кроваті и на надолобы [С.: 27-27 об.]; триста трицат шесть брисов сожени || на чом коровати мощены в коровати | пошло четыряста девеноста двѣ пло|стины трех сажен [Б.: 7 об.-8]; и на тех же пр#слех вбламы | на обѣ стороны по три бревна и кроваті помещены [С.: 3 об.]; рублена городовая стена в дубовомъ || і в сосновомъ лесу в двѣ ж стены с тарасы | и с обламы и с кравати и с мышкѣтными и с пушечными боі [Кас.: 13 об.-14]; рублено в острожные стѣны и на обламы и на кроваті и на лѣсничные тетивы | сосновог и #ловог лѣсу

[С.: 2 об.]. В аналогичных контекстах *кроватьи* встречаем и в других памятниках XVII в.: у всѣхъ стѣнь кровати середніе і верхніе [Виноградов 1912: 7]; а обламовъ и кроватей и катковъ по тѣмъ обѣмъ острогамъ нѣтъ [Баг.Мат.: 146]. *Кроватями*, видимо, назывались особого рода помосты.

Упоминаются *катки*, известные с конца XVI в. [Срезневский I: 1199]: на | городовые и на острожные прясла і на | кровати і на обламы и на катки лѣс и | тес и гвоздья велено смѣтит в правду [Кас.: 2]; дѣлана та городовая стена | с тарасы и с обламы в и с катки и покрыта | в два теса [Кас.: 26 об.]; *катки* подѣланы на городской стѣнѣ || в дибовых бревнах трехсаженныя | и получетверты сажен [Кас.: 11 об.]; рибили в тоі стѣнѣ ржевские стрелцы... І сажен и покрылі а катков не положили [Р.: 13 об.]. Возводили *тарасы* – ‘подкатный сруб, употреблявшийся для защиты и осады города’ [Срезневский III: 925]: дѣлана та городовая | стена с тарасы и с кровати и с нижними и с середними и с верхними пищечными и мишкѣтными боі [Кас.: 11]; обламов и торасов не додѣлона [Б.: 8].

Ставили *надолбы* [надолобы]. Так назывались ‘опускная колода у ворот; тын, городская ограда’ [Срезн. II: 279]: около тог острогу надолобы и ров вычистит [С.: 1]; надолоб дѣлоно от Коломенской башни по рву | дватцать пят кобылин лесу пошло на | столбы | и на кобылины и на поперечные связи семьдесят бревен а дѣлали тѣ мосты | и надолобы зараженя посадцкие люди [З.: 62 об.]; по розвытки... вы|вести ...на надолобы соснового ж и #волог четырех | и трехсаженного лѣсу [С.: 2 об.-3]. Ср. производное образование *надолобный*: лѣ|су ... на|долобного [С.: 17]; дѣлали надолобнюю подѣлку [З.: 62].

В крепостных стенах и башнях устраивали *бои*: дѣлана | та городовая стена с тарасы і с кра|вати и с перилы и с нижними и з середними и с верхними и с мишкѣтными | и с пищечными боі [Кас.: 18-18 об.]; рубленой і стоячей стѣны двесте дватцат сажен у низу девеносто пят шанцов | под стеною триста боев вверху двѣ|сте пятьдесят боев у стоячих || стѣн сорок боев [Бр.: 2 об.-3]; отводной верхней боі [З.: 50 об.]. Ср. *бой* ‘боевой ярус городских стен и башен’ [СлРЯ XI–XVII вв. I: 275]. Ср. производное образование *боевое*: пушечное боевое# окно [К., I: 92].

Применяли также *щиты*: в щиты пошло к тому отводному || бою двенатцат бревен [З.: 59 об.-60], щиты | обивали старыми желѣзными поласами | пошло на прибоі пятьдесят гвоздеі [З.: 60]. Возводились *мосты*: в варотех і в ба|шнях мостъ велѣт подѣлат чтоб в при|ход воинских людеі из башен мочно было | городовые и острожные стѣны на всѣ | стороны очишат многимъ людемъ | и осаднымъ

людем в тѣх башняхъ | и башенныхъ баевъ никакия тесноты | не было [Кас.: 4], в той же | башне здѣланы три моста нижнеі | середнеі верхнеі [Кас.: 9]; башня наугольная... мость первой намо|шонъ [М.П.: 19 об.].

В описании моста, перекинутого через ров, называются его составные части – *перекладины*, *подпоры*, *перила*: перед... ворота | три моста лѣсу пошло <н>а тѣ три моста | на перекладины и на подпоры и на мосты и на | перилы сто дватцат три бревна [З.: 63]. Встречаем ещё *подставки*: через тот ров здѣлан мость новоі с пери|лы в дубовом лѣсу пошло на тот мость лѣсу на пе|рекладины десят бревен... на подставки | три бревна [З.: 60].

Мостами мостили и улицы города: на Коломенскоі илицы намощено в выбо|ях мости в розных мѣстех лѣсу пошло сорокъ бревен [З.: 62 об.], да в Переславскоі илицы на болшоі дороге намо|щен мость [З.: 62]. *Выбоями* называли ухабы, выбоины [СлРЯ XI–XVII вв. III: 179]. Уличный мост означал ‘мостовую, высланную брёвнами’.

Предусматривалось устройство *тайников*: башня круглая угловая что у таіника [З.: 56], над таіником срублено по три | венъца двенатцеть саженъ [М.П.: 18 об.], а под тѣмъ прясломъ таіникъ от колодезя | в длину до выхода петнатцеть саженъ | а поперех две сажени делали таіникъ | муромцы [М.П.: 18 об.], в таіникъ пошло бревенного лѣсу сосно|вого и дубового четыряста пяде|сят два бревна [М.П.: 54 об.], да около тоіника по | мѣре сто осмьдесят двѣ сажени [К.П.: 99 об.]. Ср. производное образование *тайницкая*: башня таіницкая подрубили потому вся | цела была в крышки [Б.: 11]. *Тайником* называли, по видимому, потайной выход к воде. Ср.: таіникъ былъ выведенъ къ рѣкѣ. Арх.лет. [Даль IV: 386].

Для вестового колокола возводились специальные постройки. В муромских текстах они названы *вышками*: троі ворота про|ежжие с вышками для вестовых колокол [М.П.: 25 об.], а в калужских – *шатрами*: на городовой стенѣ срубленъ шетер || для вестового колокола [К.П.: 3-3 об.]. На башнях помещались *караульни* или *караульны*: на той башни на|верху короульня дошатоя на столбах | покрыта тесом [К.П.: 3], на той же башне здѣлана караульня | с малымъ шатрикомъ по яблоко трех | сажен... на яблоке прапа|рецъ бѣлова ж желѣза [Кас.: 9]; *прапарец*, по-видимому, ‘знак’. Упоминается также короульноі чердакъ [Б.: 8 об.].

Для хранения пороха сооружали *погреба*: против козенного пороховог | погреба [Р.: 15].

Башенный сруб именовался *клеткою*: под ба|шнюю мѣста полчетверты сажы|ни уверхъ осми сажен с клѣткою [Бр.: 6 об.], под башнею мѣста три сажени уверхъ | с клеткою шти сажен [Бр.: 7 об.].

*Прирубом* называли пристройку к различным сооружениям: к той же башне прирублин от Аки реки | прируб для утверженья тое проѣз|жия башні от осыпи и для очищенья | тое городовые стены а тот прируб руб|лен о трех стенах долгая стена с игла|ми двух сажен а двѣ стены по сажени | а вверхъ того прируба взрублена | да обламовъ дватцать два венца | ...здѣлан | тот прируб в дубовомъ і в сасновомъ | лесу [Кас.: 9-9 об.], прируб у Спа|ских ворот да в стѣне полубашене [М.І: 26].

Повсюду употребительно было *прясло* как название части городской стены. Прясло делилось на *городни* [огородни]: в прясле десят городень | с полугороднею [М.І: 4], в прясле польсемы огородни | мѣроу дватцать саженъ с полусаженю [М.І: 14 об.], дѣлалі десят городен | до обламов в городне по три са|жени [СШ.: 2 об.].

*Венец* 'один ярус бревенчатого сруба' [СлРЯ XI–XVII вв. II: 74] служил мерой возводимых деревянных сооружений: башня глухая против Пушкарской вверхъ | да обламов дватцат пять венцов обламов пят вен|цов шестра десет венцов [Б.: 14 об.]. Окна имели *затворы*: к вокнам на затворы шесть до|сок в аршин ширина [З.: 56 об.].

*Стропило* (*тропило*) – бревно, служило основой кровли: стра|пила на той башне по яблака пяти сажен шатер покрытъ в два теса [Кас.: 13-13 об.], башня вверхъ по обламы тритцат дев|ет венцовъ | покрыта в два теса на | страпилах [Кас.: 20 об.], три тропила к башни [К.І: 6 об.], стропила до ма|ковиц шти сажен [М.І: 26], вверхи в стропиле прислоны и решетины сшивали [З.: 55 об.]. Встречаем далее *лежни*: пошло лѣсу на столбы и на лѣсни|цы и на мосты и на лежни на чом столбомъ | стоят [З.: 58].

В Книгах городского дела описывается строительство только городских оборонительных укреплений, постройки иного рода только упоминаются: в Пушкарской илицы живет себѣ двором Мартин|ка [К.І: 28 об.], башня... что | против Івашкина двора колачника [Р.: 31 об.], живут себѣ избою вдовы [К.І: 29], живет себѣ избою Івашка [К.І: 30].

Книги заключают в себе названия разнообразных строительных материалов. Упоминаются: лес, лес надолобный, лес башенный; дор, драница, тес, тесница; бревно (берно); брусье, брус. горбыли; гвоздь, гвоздь большой полуаршинный, гвозди луженые; честик и др. Различаются гвозди *однотес* и *двоетес*: в тѣх кровлях гвоздья однотесу две|натцат тысяч... двоетесу дватцать четыря тыси|чи... и обаго однотесу и двоетесу трит|цат шесть тысяч [М.І: 54-54 об.].

Широко представлены обозначения связанных со строительством трудовых процессов: рубить, подрубить, прирубить; делать, поделывать; крыть, покрыть; положить, обложить; бить, обить, обивать, прибивать, прибить; перечинить, перечинивать, переплави-

вать, сшивать, укрепить; сечь, просечь; тесать, точить и др. Они позволяют наблюдать некоторые явления, связанные с категорией вида. Отметим и отглагольные имена: взвозка, доделка, отделка, поделка, нарубка, подрубка, прибор, оправка (гвоздей), утверженье и др. По ним можно судить о словообразовательной активности отдельных аффиксов.

Причастные образования: мощено, обложено, обрешечено, покрыто, проточено, ставлено и др.

Обычны наименования мер длины: сажень, полусажень, четверть и четвертка сажени, аршин. Указываются размеры сажени: трехаршинною сожен [Б.: 8 об.]. *Сажень* встречается в формах мужского и женского рода: поставили честику полсо|женя [П.: 14 об.], положено делат земельного валу по са|женю с четвертью [Бр.: 2 об.], под наруб|кою вал ширина полтора сажения [Бр.: 3] и др. Форма женского рода более употребительна: двѣ сажени [Бр.: 2 об.], три сажени [Бр.: 5; СШ.: 5 об.], полторы сажени [Р.: 54], полсожени [Б.: 5 об.] и т. п.

В качестве метрологического названия употреблялось слово *ботог*: желѣза пошло в тѣ кровли и в гвоздѣя | сорок два ботога [З.: 50], укреплен тот лист в притовая желѣза | желѣза пошло три ботага [З.: 50 об.].

Определённое отражение находит в книгах социальная дифференциация общества: бобыль, боярин, воевода, вотчинник, гость; дворянин, дворянин городской, дворянин московский; захребетник, мещанин, наемщик, однодворец, подрядчик, помещик и др. Выделяются терминологические обозначения со словом *люди*: жилецкие люди, посадские люди, прожиточные люди, служилые люди, торговые люди, уездные люди и др.

В приходной части городских денег наименованиями лиц по профессии богата книга Калуги: бронникъ [л. 32 об.], бобровникъ [л. 24 об.], бочарникъ [л. 22 об.], ветошникъ [л. 33], воротник [л. 14 об.], воскобоиник [л. 13 об.], гончар [л. 10 об.], извощикъ [л. 15], иконникъ [л. 5 об.], квасникъ [л. 35], колачникъ [л. 33], конской сторож [л. 31], котелникъ [л. 28 об.], крашенилникъ [л. 33], крупеник [л. 19], кузнецъ [л. 33 об.], луковникъ [л. 19 об.], масленик [л. 4 об.], мелникъ [л. 23 об.], ножевникъ [л. 15], орѣшникъ [л. 9 об.], печник [л. 28 об.], пироженникъ [л. 27], плотникъ [л. 23], портной мастер [л. 22 об.], сапожной мастер [л. 23], седелникъ [л. 12 об.], скорнякъ [л. 20], соловолокъ [л. 5], солодовник [л. 13], струговщики [л. 14 об.], сыромятникъ [л. 7 об.], хлѣбникъ [л. 5], чулочникъ [л. 20], шюбникъ [л. 10 об.] и др.

Содержание книг в определённой мере определяет синтаксическую организацию текста. Широко представлены безличные конструкции, сказуемое в которых чаще всего выражается кратким страда-

тельным причастием: и тоє стѣны у него | Івашки не докрыто [Р.: 47], города | не дѣлано потому что на том жереби | в том селце крстьян жилцов нѣт [Бр.: 31], сысподи дибового лѣсу взрулено | венцовъ по шти и боле [Кас.: 11], да в тѣх же пр#слех | верхние и нижние бои просѣчено [С.: 50], обламов по осми венцовъ под крышкы | обрешечано [М.П.: 26], збирано | с Колужского уѣзду сем алтнѣ [К.І.: 64], и нихъ | с тѣх розных помѣстеі глухую башню | ѿ четырехъ стѣнъ здѣлано по обламы [К.П.: 18], и того прясла... что отведено было дѣлат муром|ского протопопа з братею вотчинным ихъ | крстьяном [М.І.: 15], срублено тоі башни дватцетъ восемь венъ|цовъ [М.П.: 18]; надолоб здѣлоно от Коломенскоі башни по рву | дватцатъ пятъ кобылин [З.: 62 об.], на тѣ приемные днги киплено лѣси | и теси и брусомъ и гвоздья [З.: 47 об.], к тому полу|селцу припищено в пашню полпистоши [З.: 37 об.], тѣ | двѣ башни и городовая стена в од|дѣлки покрыто тесомъ [К.П.: 3 об.], на Коломенскоі шлицы намощено в выбо|яхъ мости [З.: 62 об.].

Преобладающим типом связи предложений в рассматриваемых текстах является сочинение, однако и сложноподчиненные конструкции представлены разными типами. Наиболее употребительны определительные с союзом *что*: вотчины Архангела Михаила | что на Масквѣ в кремле | городе [К.І.: 81], с треті | селца что была пустошъ Ковылина [З.: 28], з жеребя | селца что была дрвня Карманова [З.: 29], на науголноі башни что противъ цркви Покрова [Р.: 42 об.], полпистоши | что была дрвня Старая Протекина то ж [З.: 37 об.], мость что над погребом [З.: 56], с погосту Спского что словоет дощатоі [З.: 15], Ларка Иванов снѣ Постухов масленикъ что написан в росписи [К.І.: 9], у варварского попа Хоритона что в старомъ острогѣ [К.І.: 12 об.], с вотчины Спаского мнстря что усть Угры рѣки [К.І.: 40], селца что была дрвня | Гришинская [К.І.: 86], башни что противъ цркви [Р.: 42 об.], новоприбавошноі город что был острогъ [Р.: 30], в помѣсе што | было напередъ того за Яковом Ісуповым [Бр.: 32].

Наличествуют и определительные придаточные предложения с союзным словом *который*: всего колужанъ посадцкихъ | людеі... которые | городовое и башенное дѣло | делали и которые дѣла|ютъ с тысячи с семисотъ з де|вяносто со шти дворовъ [К.П.: 29 об.], дано серпиховичам |... за кото|рыми земел нет [С.: 13].

Употребительны различные типы словосочетаний, выражающих пространственные значения. Наблюдаются беспредложные конструкции с творительным падежом имени, пространственное значение которых ослаблено значением образа действия: у преображенскаго попа Ивана живет себѣ избою Фомка Семенов [К.І.: 25 об.], у посадцкого ж члвка у Евтюшка Ондроно|ва живут себѣ избою вдовы [К.І.:



29], гостя Третьяка Судовшикова на дворѣ | живет себѣ избою Івашка Маланинь [К.І: 30], да на том же дворѣ живеть | себѣ избою брат ево [К.І: 4], на паповаі на Петроваі земли живет себѣ | двором... Івашка [К.І: 28 об.], живут себѣ дворами в Колуге в городе | для осадного времени [К.І: 36], на посадкоі же земле живит себѣ дворами [К.І: 27 об.].

Употребительны причинно-целевые конструкции с предлогом *для*: к той же башне пририблен от Аки реки | пририб для утверженья тое проѣз|жия башні от осыпи для очищенья | тое городовые стены [Кас.: 9-9 об.], лѣс сѣчь в близ#х дл# поспешен# [С.: 1 об.], живут... для осадного времени [К.І: 36], не рублень тотъ | острог для пожарног времени по приговору | всяких чинов людеі [Р.: 30], хто | імяны того городского дѣла не | дѣлать... и для чего | не дѣлалі [К.ІІ: 1-1 об.].

Книги заключают данные, позволяющие изучать разнообразные функции предлогов. Так, при помощи *о* с предложным падежом обозначали признак сооружения: а тот прируб рублен о трех стенах [Кас.: 9 об.], дѣлалі | наугольную башню что от конскоі площад|ки о шти стѣнь [К.ІІ: 3], башню | ѿ четырехъ стѣнь [К.ІІ: 18], наугольную башню о шти | стѣнь что от Ямскоі слободы [К.ІІ: 8]. Ср. употребление предлога *в* с винительным и предложным падежами: рублена та | стена в двѣ стены снизу в дубо|вомъ лесу а вверхъ в сосновомъ [Кас.: 10 об.], взято саснового лѣсу... а дѣлалі онѣ в том лѣсу... башню [К.І: 38 об.]. Предлоги *меж*, *промеж* сочетаются только с родительным множественного числа: *промеж башен* [Кас.: 41 об.], *промеж проѣзжих варот* [Кас.: 41], *меж башен* [М.ІІ: 55], *промеж пр#сель осмьнатцат глихих | косых городен* [С.: 3 об.].

С описанием строительства городов связано употребление различной именной лексики со значением места, материалов, а также некоторых отвлечѣнных понятий. Богатство именных обозначений в этом описании сочетается с выразительным проявлением именного склонения.

Обильны формы родительного и местного падежей на -у. Родительный: саснового лѣсу [К.ІІ: 58], башня от касимов|ского торгу [Кас.: 8 об.], против... погосту [С.: 70], с посаду | и со всего уѣзди [М.ІІ: 44], и приему [М.ІІ: 55], всево поставлена острогу [Б.: 7 об.], стоячего острогу [Бр.: 3 об.], здѣлалі того острогу земле|ного вала і рубленоі стѣны [Бр.: 4 об.], от мосту [Кас.: 43], земленого вала [Бр.: 3], до выходу [М.І: 12 об.], до Зараіского мосту... за провоз дано от того тесу [З.: 48], и острогу... три моста [З.: 63], рибленова мосту [Р.: 58], от... торгу [Кас.: 8 об.], от... посаду [Кас.: 18 об.], с проѣзжева мосту [Р.: 57], с погосту Спского [З.: 15], земленого вала [Бр.: 7], из Розряду [П.: 1], Пронскова уѣзду Каменскова стану [П.: 1], от острогу [Р.: 30], попы | с посаду [М.І: 14 об.], от базару [М.ІІ: 6], бревен і тесу [М.ІІ: 55], Ко-

лужского *ж* уѣзду [К.І: 64], взято сасно|вого лѣсу... тѣсу [К.І: 63], *от* реки Аки *от* водяного подмою [М.І: 26 об.], взято саснового | лѣсу [К.І: 55 об.], живут в Колуге | бес ѣзди [К.І: 15 об.], до середнева мо|сту [Р.: 46], у соленова промысли в Колуге живут без | съѣзди [К.І: 2], для своего торгового промысли [К.І: 2 об.], лѣси и теси не возили [К.ІІ: 90 об.], взято... лѣсу [К.І: 88]. Предложный: во *Брянску* [Бр.: 42], в *Пронску* [П.: 1], в селѣ *Пронску* [П.: 2], *от* верхнева города на во|лу подле княжова | взвозу [Р.: 30], башня... *стоит* на иглу [Кас.: 8 об.], в Богоговском стану [Бр.: 61], на *верху* [З.: 49 об.], в *ветошном* ряду [К.І: 8], в *ыконномъ* реду [К.І: 31 об.], на доли [К.І: 5], на мосту [Бр.: 7], в сапожном ряду [К.І: 32], в своем лесу [С.: 70 об.]. Наблюдается -у и в именах собственных: при *Михайлу* [К.ІІ: 58, 58 об.].

Исследуемые материалы представляют интерес и со стороны отражения в них окончания родительного падежа с *в* в именах прилагательных и местоимениях неженского рода единственного числа. Приведём данные памятников южновеликорусского происхождения: с ково [К.І: 1 об.], с тово жѣ | помѣстья [К.ІІ: 73 об.], после ево [К.ІІ: 87], отца ево | помѣстье [Бр.: 65], старое ево помѣся [Бр.: 66 об.], отца ево | помѣстье [Бр.: 67 об.], старое ево помѣс|тье [Бр.: 68 об.], *отца* ево *вотчина* [Бр.: 37], *против* тово сво|ево дѣла [С.: 65 об.], за *братом* ево [Бр.: 64], *против* своево дѣла [С.: 70 об.], за | снахою ево за вдовою [Бр.: 16 об.], по ево жеребю [Бр.: 23], с полчетверика обоево с осмины... *принето* [З.: 25], киплено бѣлова желѣза [З.: 49 об.], бѣлова желѣза [З.: 50], тово горо|дового и острожного дѣла [З.: 1 об.], ево *Игнатева* приему [З.: 2], бѣлова *ж* желѣза [Кас.: 9, 20 об.], всево поставлена острогу [Б.: 7 об.], за невѣсткою ево [З.: 10], обоево с полутора *четверика* [З.: 3], с помѣся *ж* | ево [З.: 37], *Пронскова* уѣзду *Каменскова* |стану [П.: 1], всево со шти *четвертеі* [П.: 2 об.], тово *ж* села [П.: 4, 15], брата ево [П.: 8 об.], всево [П.: 4 об., 7, 9, 9 об., 10 об.], за *племянником* ево [П.: 11 об.], тово [П.: 19 об.], всево [П.: 19 об.], по ево веленью [П.: 21], тесу... *пошло*... *старова* и *нового* [П.: 14], *против* | *прежнева* своево дѣла [П.: 26 об.], всево с семи *четве|риков* [П.: 17], люди ево у соленова про|мысли [К.І: 2, 15 об.], *двор* де ево на *Петровке* [Кас.: 11], у нево пасынокъ [К.І: 6 об.]. В местном падеже имён существительных женского рода мягкой разновидности сохраняется старое окончание: на *посадцкоі* земли [К.І: 13 об.], на *Петроваі* земли [К.І: 28 об.], на *посадцкоі* земли [К.І: 26], у *Строгоновыхъ* на земли [К.І: 14 об.].

В дательном и творительном падежах множественного числа существовали старые и новые окончания: *плотни|камъ* *колуженом* *посадцким* *людемъ* [К.І: 38 об.], со *всякими* *крепостми* [Кас.: 39], *живут* *себѣ* *дворами* [К.І: 36], *верхъ*... с *абламами* [К.ІІ: 95 об.]. В творительном падеже окончание *-ы* встречается не только в мужском и среднем, но и в женском роде: *торгует* *сикны* и *бобры* и *куницы* и *лисицы* [К.І: 34].

Употребительны глаголы несовершенного вида с суффиксами *-ыва, -ва*: *подѣловолі* [П.: 17], *перечиниволі* [С.: 61].

Деепричастие представлено вполне сформировавшейся категорией: *дѣлалі з дворов* | *примеряс к живушим четвертям* [М.І: 1], *здѣлав покрыли своим же тесом* [С.: 61], *сриб# покрыли своим же тесом* [С.: 59 об.], *здѣлав | тое башню... в два | теса покрыли своим же тесом и гвоздем* [С.: 59], *разобравъ | внов подрбили* [С.: 58 об.].

Редко встречается сравнительная степень прилагательных, что вполне объяснимо ограниченными возможностями применения в книгах сравнительных характеристик. Отдельные случаи: *рубленой город будет имь прочнѣе* [Кас.: 6], *с ысподи дибового лѣсу взрублено | венцовъ по шти и боле* [Кас.: 11], *земленого валу і рубленой стѣны... в пол і мѣнши* [Бр.: 4 об.].

Книги городского дела, приуроченные к разным городам Севера и Юга, представляют интерес в плане отражения в них соответствующих фактов звучащей речи XVII в. Аканье после твёрдых и мягких согласных широко отражено не только в южновеликорусских, но и в некоторых других текстах: *муромцавъ* [М.ІІ: 55 об.], *здѣлоны ворота* [там же: 51 об.], *четыря тысячи* [там же: 52 об.], *тысичъ* [там же], *двѣ тысячи* [там же: 53 об.] и др.

Отмечаются результаты перехода *e* в *o* не только после шипящих и *ц*, но и после других мягких согласных: *исхол* [С.: 27], *ришоточных* [П.: 32], *венцовъ* [Кас.: 39 об.], *селцо* [С.: 40], *веньцов* [М.ІІ: 18], *жилцов* [Бр.: 65], *веровки* [К.І: 42, 42 об.], *Змеова* [К.ІІ: 38 об.].

Широко представлены разнообразные процессы в области согласных: ассимиляция, диссимиляция, упрощение групп согласных, проявления интервокального и протетического *v*: *Левонтьева* [К.І: 1], *Родивона* [Б.: 4 об.], *Лохтивона* [Б.: 2], *Вондрѣяна* [К.І: 11], *Ларивонова* [К.ІІ: 25 об.], *Левонтья* [М.І: 3].

Встречаем указание и на наличие мягких шипящих в XVII в.: *шюбникъ* [К.І: 10], *пишют* [К.І: 14], *селца Кажюхова* [К.ІІ: 68].

Представляется особенно важным введение в научный оборот лексических материалов, образовывавших в прошлом те или иные словарные группы. Книги городского дела включают в себе лексику, связанную со строительным делом, с обозначением сооружений военного назначения, кроме того метрологическую, а также некоторые наименования жителей по их занятиям и специальностям. Именно в этом прежде всего заключается ценность характеризующих книг.

**30. Из истории некоторых диалектных слов // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. – М., 1962. – Т. III. – С. 156-164. (Ин-т рус.яз. АН СССР)**

Территориальное распространение лексических диалектизмов, наряду с распространением фонетических и грамматических, – одно из оснований, на которых успешно строится история языка. Однако показания лексических диалектизмов для истории того или иного диалекта имеют существенное значение лишь при определённых условиях: если данные словарные элементы в диалекте не инородные и не позднего образования и если – в случаях полисемии – из нескольких значений слова принимают во внимание старшее. Располагая данными письменных памятников о диалектном слове, в тех случаях, когда проявления последнего в современном говоре редки, можно с определённым основанием судить об этом лексическом элементе как о пережитке некогда широкого явления. Из памятников письменности можно узнать и о словах, занесённых в известную диалектную зону колонизацией. При наличии сведений о прошлом диалектизма и случайные, казалось бы, его значения предстают в виде закономерных звеньев его семантической эволюции. А это важно для правильной исторической интерпретации изоглосс. Соблюдение указанных условий далеко не всегда возможно, потому что древнерусские тексты, в силу известных обстоятельств, всего богатства народной речи, к сожалению, не отражают; кроме того, многие локальные памятники до нашего времени не дошли. Но в тех немногих случаях, где это осуществимо, привлечение древнерусских материалов и старых записей диалектной речи безусловно необходимо. Не исключаем и обращения к художественным текстам. Иногда заглянуть в историю диалектизма позволяет, помимо всего, сопоставление соответствующих фактов современных говоров. Некоторые диалектные словарные элементы, при верном понимании их как привнесённых в диалект, могут осветить интересные моменты междиалектных отношений и взаимодействия языков. При таком выделении диалектных зон, которое не служит специальным целям исторического исследования языка, соблюдение упомянутых выше условий, понятно, не обязательно.

Рассмотрим отдельные моменты истории некоторых словарных диалектизмов, пользуясь главным образом материалами из южно-великорусской области, и приведём несколько кратких справок о бытовании отдельных диалектизмов в прошлом в этих говорах.

Основанием для справок служат материалы местного происхождения, о чём говорят, с одной стороны, их диалектные свойства, с

другой, в ряде случаев – прямые указания на писцов, уроженцев данного края.

Беговуля. Нам известно, что в районе Брянска *беговулями* называют тех, кто «бегает без дела». В курских говорах *беговулить* имеет значение «лениться» [Материалы курск. 1850, № 44; Пам.кн.курск. 1893 г.]. Ни В. И. Даль, ни авторы «Опыта областного великорусского словаря», ни словарь, составленный II Отделением Академии наук, этих слов не отмечают. Как будто можно думать, что слова *беговуля*, *беговулить* появились в данных говорах не так давно, особенно если иметь в виду их экспрессивный характер: слова с преобладанием в них функции экспрессии в условиях богатой синонимии обыкновенно менее долговечны, нежели слова, не имеющие экспрессивной окраски, или те, в которых она не доминирует. А обилие синонимов для выражения указанных значений в говорах бесспорно. Однако обращение к южновеликорусским текстам позволяет установить, что современное значение рассматриваемых слов является вторичным, а первоначальное уходит в далёкое прошлое. Слово *беговуля* (с выпадением интервокального *в*) находим в рязанских памятниках. А. П. Доброклонский, историк Солотчинского монастыря, пишет о монастырских слугах следующее: «они были на монастыре конюхами, сторожами, пастухами и подпасками ... ездили или ходили рассыльными (*бегаули* и *пешие*) по разным поручениям в сёла и города» [Доброклонский 1888: 11]. «В расходной книге 1624–1625 гг., – сообщает он далее, – не раз упоминается проживавший в Солотчинском монастыре на жалованьи детёныш *бегауля* Афонька» [там же: 34; здесь и далее курсив автора статьи].

Когда отпала необходимость в услугах *беговулей*, соответствующее название приобрело переносное значение и пополнило категорию экспрессивных диалектных образований. Остаточные проявления слова *беговуля* в районе Брянска естественны, если принять во внимание хозяйственно-административную деятельность бывшего там influentialным Свенского монастыря.

Борошно, борошень. Как показывает современное диалектологическое обследование, коренные южновеликорусские говоры не знают слов *борошно* или *борошень*. Чрезвычайно редкие случаи употребления диалектного образования *борошно* в смежных с Украиной и Белоруссией местах легко объяснить заимствованием. В согласии с украинским языком диалектизм *борошно* имеет здесь значение «мука», называют так и зерно. Сообщение В. И. Даля о бытовании *борошна* как названия для ржаной муки в Курской и Воронежской губерниях можно понимать двояко: либо оно имело отношение к украинским говорам этих губерний, либо указывало на русские говоры [Даль I: 119]. Памятникам южновеликорусской письменности известно слово *боро-*

*шень*, причём оно семантически было довольно ёмким. Наиболее раннее свидетельство, в котором, впрочем, можно подозревать и украинское влияние и потому не вполне доказательное, приурочено к Путивлю. В отписке 1589 г. говорилось следующее: «...черкас иных погромили, а иных побили, и *борошен* да и лошади путивльских севрюков у них отгромили... рухлядь их и *борошен* путивльских севрюков и рушницы взяли... громили их, и *борошен* и рушницы путивльских севрюков у них отгромили» [АИ I: 433-434]. Из отписки нельзя уяснить более или менее определённо значение слова *борошень*, она лишь документирует его употребление. Другое свидетельство признаём достаточно надёжным. Значение «вещи, пожитки, имущество» включает *борошень* в елецкой записи 1629 г., черты которой обличают писца-южновеликоруса. Перечисляется поличное: гребен(ь) в избѣ на печи сошники замок на истопке и путо замок яблочком путо ременная а тот де *борошан(ь)* указал мнѣ Мокѣи [Безгл., стлб. 28: 210]. [Извлечения из древних рукописных материалов передаём с некоторыми упрощениями; выносные буквы включаем в строку; из старых букв, чуждых современной орфографии, сохраняем только ѣ; сохраняем всюду ъ. Список сокращений см. в конце статьи]. Отмечаем близость значения слова *борошень* в этом случае с его значением в заметной части северновеликорусских говоров: пожитки, скарб, обиходное имущество и т. п. [Даль I: 119]. В отписке из Белгорода: двѣ пищали завѣсныя зѣ *борошни*... пищаль завѣсная зѣ *борошнемъ*... пищаль вѣстовая зѣ *борошнемъ* [Баг.Мат., 88. 1680 г.]. Не припасы ли к пищалам именуются *борошнемъ*? Можно думать, что имевшее в прошлом более широкое распространение в русском языке существительное *борошень* с течением времени выпало из южновеликорусского обихода, а в северновеликорусском местами задержалось. Подчёркиваем: это всего лишь предположение, потому что для более определённого суждения материалов недостаточно.

Бутор. В середине минувшего столетия существительное *бутор* со значением «всякий домашний скарб или пожитки» помещалось в словаре с пометой «простонародное», хотя словарь располагал и пометой «областное» [Словарь 1847, т. I: 91]. Широкое распространение в народной речи рассматриваемого образования засвидетельствовал и В. И. Даль, при этом с целой гаммой значений: внутренности животного, хлам, скарб, пожитки, всё принадлежащее к дому и хозяйству и т. д. [Даль I: 147]. В наше время слово *бутор* осознаётся как диалектное. На то, что прежде оно выходило за пределы явлений диалектных, указывают случаи его употребления в старой официальной переписке. В 1660 г. ельчанин площадной дьячек Савка Семёнов писал, например:

а з двара молоченава хлѣба всякова рознесли соседи той жа деревни и обапалние осталцы [те, кто остался после набега татар? – С.К.] четвертей со ста животы и статки и посуду всякою и платья из ям и всякой житеиской *бутар* разграбили [Бел.стол, стлб. 412: 445]. В последующий период происходило вытеснение этого слова из официальной переписки, о чём, между прочим, говорят пояснения, которые ему сопутствуют. Ср. с записью Савки выписку из крестьянского «реверса», составленного тоже в Орловском крае в 1758 г., где дважды упоминается «зимней и летний бутор то есть телеги сани и всякая простая упряжь» [Свен., № 868: 3-6].

Гораздо. В связи с тем, что наречие *гораздо*, обозначающее понятие «очень», выделяли в современных говорах как новгородское и псковское [Аванесов 1949: 224], считаем не лишним указать, правда, не соотносительные, однако генетически близкие факты из курской откзной книги XVII в., поскольку омонимы со значением «очень» и «хорошо» в историческом плане обнаруживают несомненное родство: а десетину измѣрел по смидесят сожен длины а поперек по тритцати сажен на десет(ь) чети в три поля *горазда*... писал курченин Фролка Офрѣмов снѣ Драковцов [Пом.пр., № 15685: 335]; изверстал пашню и перелог в три поле горазда [ib.: 170]. Подпись писца-курчанина и диалектные особенности записей говорят о безусловно южновеликорусском происхождении данных фактов. Ещё пример из Ливен: женишку мою из беседы взяли без поличнова по челобит(ь)ю тово Лук(ь)яна Плохова и взяв еѣ заехали ко мнѣ на подвор(ь)ишко а меня холопа твоег[о] в те поры дома не было ездил в Новасил(ь) и приведчи гсдрь женишку мою на подвор(ь)ишко бит(ь) и безчестит(ь) и плат(ь)е на неи ободрали до пояса и мат(ь) моя богом даная теща Орина да своячина девка почали им говорит(ь) про што вы дѣлаете не *гораздо* и бие-те и безчестите доч(ь) мою без вины [Прик.стол, стлб. 15: 708. 1625 г.]. В 1647 г. Устинка Замытцкой писал из Кром, что побранившись с Митькой Ключниковым, говорил Митьке «негораздо», и в том винулся перед государем [Новомбергский 1911: 186].

«Опыт областного великорусского словаря» признаёт наречие *горазно* (фонетическую трансформацию *гораздо*) не только северновеликорусским, но и в качестве орловского, причём в последнем случае со значением «ладно, хорошо при изъявлении согласия». Ср. также орловское образование *горазд* «ловок, умеющий что-либо делать или способный к чему бы то ни было» [Попов 1860: № 3-5].

При собирании материалов для «Атласа русских народных говоров юго-западных областей РСФСР» выявлено бытование образования *гораздо* в значении «очень» примерно в двух десятках селений.

Принимая во внимание старые данные, в этих фактах усматриваем следы давнего местного явления, а не усвоенного извне.

Кулига. П. Я. Черных, по данным двинских грамот XV в., слово *кулига* со значением «пожня, лесная полянка» относит к северновеликорусским диалектизмам [Черных 1956: 105]. В словаре В. И. Даля *кулига* приурочена исключительно к северным местам, если не говорить о Рязани [Даль II: 219]. Между тем в южновеликорусской области со значениями «луг», «болото» и другими слово *кулига* в наше время – явление довольно заметное. Не следует ли думать, что это слово на юге – сравнительно позднее, занесённое в южновеликорусскую область северновеликорусской колонизацией? Материалы древней письменности южновеликорусского происхождения находятся в согласии с современными свидетельствами: курчанин Григорей Волобуевъ... в Курской уездъ в Обметцкой стан за реку за Тускор(ь) против дрвни Уколоваи на луг с перекоп(ь)ю да от той *кулиги* вверх по Тускори по берегу на порозжею землю на пятнатцат(ь) чети ъздил [Пом.пр., № 15685: 174. 1644 г.]; про тое порозжею землю про *кулигу* [там же]; а всада (=усада) той земли в долги *кулиги* под лесом Даншиным [ib.: 335, 1645 г.]; курченинь снъ боярской Михаила Каменев ездил в Курской уездъ в Обьмецкой стан на реку на Тускор(ь) против дрвни Уколоваи на парозжаю землю на *кулигу* с перекоп(ь)ю и тою *кулигою* вверх по реке по Тускори по берегу... про *кулигу* и про луг и про леса сыскивал... против дрвни Уколоваи *кулига* с перекоп(ь)ю [Пом.пр., № 15684: 660-661]. Из примеров ясно: *кулигой* называли определённый луг, расположенный в поречье; ср. «на луг с перекоп(ь)ю» и «на кулигу с перекоп(ь)ю». Что касается выражения «про *кулигу* и про луг и про леса сыскивал», то здесь слово *луг* имеет скорее не конкретное, а общее значение – «определённый вид угодий». О *кулигах* в южновеликорусском крае есть и более раннее свидетельство: в писцовых книгах Орловского у., составленных в 1594–1595 гг., отмечена деревня *Красные Кулиги* [Кн.п.Моск. II: 873]. Упоминание Васьянова о *кулиге* (значение слова «мыс») в статье, опубликованной 120 лет назад [Васьянов 1840], связывает данные современных курских говоров с курскими данными XVII в.

Лазбень. Старые источники отмечали в курских, орловских, воронежских и смоленских говорах диалектизм *лазбень* – название жбана, лукошка, деревянного ящика или кадки; по сведениям из Обо-янского уезда, *лазбень* вместо сундука служил для хранения всякого имущества, у женщин – для хранения белья и всяких уборов [СВАН. – Т. V. – Вып. I: 111–112]. О том же назначении *лазбени* узнаём из распросов, učinённых в Севске в 1701 г.: в то же число жена ево Антош-



кина дала ему Антошке *лазбѣнь* а что де в томъ *лазбѣни* было и то де он Антошка не смотрѣлъ а сказала де жена ево Антошкина что де в томъ *лазбѣни* рубахи да холсты да два рубли денгъ чехов жены де ево Антошкиной... чтоб ему Антошке они Левка и Иѣвка помогли взять вышписанного *лазбѣня* с платьем... стал в томъ *лазбѣни* смотреть что де чего ѣсть и в томъ де *лазбѣни* явилос(ь) десеть холстов ал(ь)ненных и замашных да пять рубахъ муских и женских да сароки и покроми и полотенцы [Прик.стол, стлб. 1748: 2]. Другое упоминание о *лазбене* содержит роспись имущества составленная в Чугуеве в 1699 г. [Прик.стол, стлб. 2250: 129]. Ср. значение этого слова в говорах белорусского языка: кадочка для мѣда, выдолбленная из липы или сделанная из луба [Носович 1870: 264]. Возможно, *лазбень* – слово, общее для белорусских и южновеликорусских говоров и в плане генетическом, а если заимствованное из белорусских, то более или менее старое.

Лонись, лонской. В наше время слово *лонись* (=в прошлом году), *лонской* (=прошлогодний) и другие образования того же корня представлены в северновеликорусских говорах. Вследствие некритического «углубления» современной географии данных слов в древнерусскую эпоху, образования этого рода считают северновеликорусскими и в историческом аспекте. Мнение это, насколько известно, никогда никем не оспаривалось. П. Я. Черных, например, заявляет: «Из области обозначения времени к очень старым новгородским особенностям относится наречие (*олоньсь* – в прошлом году (срв. в современных сев. рус. говорах: *лони*, *лонись*) и производное *лоньщина* – годовалый телёнок (например, в I Новг. летописи: «а за *лоньщину* поль гривнѣ»)» [Черных 1956: 103]. Рукописные источники конца XVI – начала XVIII в., отразившие южновеликорусскую речь, открывают бытование подобных слов и в южновеликорусской области. Приведём наши сведения полностью. В воронежских текстах 1632–1633 гг.: жеребенок *лонскои*; двѣ телицы *лонския*, теленок селѣток; телица *лонская*; бык *лонскои* [Вейнберг 1885: 393, 399-401]. Ельчанин жалуется на обидчика: [он] не дал гдрь мне *лонскои* ржи десятину а ужал гдрь он на тои десятине ржи тринацат(ь) копен [Прик.д. старых лет, № 1: 229]. В источниках, писанных в Курске: явил курской козак...жеребца *лонского* [Ден. кн. 82: 25 об.-26]; жеребца гнѣда *лонского* [ib.: 41 об.]; жеребца совраса *лонского* [ib.: 73], жеребца *лонского* [ib.: 73 об., 74 об.]; явил... крестьянин Федот Левонтѣев сынъ кобылу чалу *лонскую* [ib.: 109 об.-110]. Запись 1706 г. из Тамбовского края: шестера жеребят *лоншаков* да пятера жеребят сосунов [Тамб. XXXI: 93]. Современное диалектологическое обследование в некоторых пунктах юго-западных областей отметило название жеребѣнка *лошак*, в котором можно ви-

деть видоизменение старого образования *лоншак*. В свете приведённых здесь фактов вырисовывается общерусский характер рассматриваемых лексических элементов, а с учётом инославянского материала ещё более ярко выступает общеславянская природа данного лексического гнезда: ср. *лони* (=в прошлом году) в говорах украинского языка, в том же значении болг. *лани* (и *лански* – прошлогодний), серб.-хорв. *ләне, лани* (и *лањски* – прошлогодний), чешск. *loni*, польск. *loni*.

Межедвор, межедворец и др. С пометой «южное» В. И. Даль отмечает глаголы *межедворить* и *межедворничать* – «шататься по дворам, почасту гостить»; в Курской, Воронежской и Тамбовской губерниях регистрирует слово *межидвор* – «бобыль, нетяглый крестьянин без своего хозяйства»; без локальных помет приводит образование *межедворник* – «шатун, бобыль, нищий» [Даль II: 320]. По нашим сведениям, в Орловской обл. для тех, кто ходит без дела по чужим дворам, домам, существуют наименования *межедворец*, *межедворка*. Глагольное образование из этого лексического гнезда нашло отражение в произведении писателя А. И. Левитова, уроженца с. Доброго (на востоке современной Липецкой обл.): «Неизвестный человек неистово заорал в это время под окном. – Што ты, Сашка, все *междворничаеть*? Ай дома делов нету-ти? («Целовальничиха»). Происхождение всех перечисленных слов связано с древним фразеологическим сочетанием, имевшим широкое распространение в деловой письменности, особенно в челобитных. Обыкновенно проситель, рисуя своё бедственное, бездомное состояние, подчёркивал: «скитаюсь меж двор», «волочусь меж двор» и т. д. Со временем этот оборот получил наречное значение, что ясно, в частности, из того, что имя в его составе сохраняло старую падежную форму родительного множественного, тогда как имена существительные подобного типа склонения, в том числе и *двор* в иных ситуациях, уже имели в указанном падеже окончание *-ов*, говорили: *дворов, столбов* и т. д. Фразеологическая устойчивость сочетания *меж двор* явилась необходимой предпосылкой образования новых имён существительных *межедвор, межедворец*, глагола *межедворить* и других слов. То обстоятельство, что они возникли на южновеликорусской почве (в материалах неюжновеликорусских мы их не встречали, хотя и не можем утверждать, что в иных местах их нет), легко объяснить особыми условиями, которые сложились на южной окраине Русского государства. Последствия частых татарских набегов, а также нередкая неустроенность людей, прибывавших в степь отовсюду из других районов России, обуславливали особую живучесть, актуальность названного выражения в речи южновеликорусов

и, как следствие этого, в благоприятных условиях – возможность появления от него производных образований.

Своячина, своячина. «Будто бы определённые диалектизмы, – замечает Л. А. Булаховский, – *сродник* «родственник», *своячина* «свояченица» на самом деле так не воспринимались даже в начале второй половины XIX в. (Ср. Словарь Акад.Росс.)» [Булаховский 1941, т. I: 222]. Ныне эти слова – безусловно диалектные. Остановимся на втором в составе южновеликорусских говоров. Соответствующий актовый материал XVII–XVIII вв. содержит, помимо вариантов *своячина* и *своячина*, варианты *своякина* и *своякия*. Небезынтересно выяснить, нет ли в употреблении вариантов хронологической дифференциации. Заметим кстати: в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского подобных вариантов нет, как нет и слова *свояченица*. Располагаем извлечения из южновеликорусских памятников в хронологической последовательности, с учётом и территориальной приуроченности. Елец: *сваякия* Марья [Прик.стол, стлб. 869: 4, 1659 г.]; *своякину* Саломониду [Бел.стол, стлб. 412: 149, 1660 г.]; *своякина* Лукерья [ib.: 247]; *своячина* Агафья [ib.: 305]; две *своякини* [ib.: 453]; три *своякини* [ib.: 558]; *своячина* Марфутка [ib.: 614]; *своячина* Аксютка [ib.: 615]; *своякия* вдова Анна [ib.: 686]; *своякия* Ульяна [ib.: 779]; двѣ *своякини* [ib.: 792]; *своячина* девка Федосья [Материалы хоз.: 83, 1723 г.]. Ливны: теща Орина да *своячина* девка почали им говорить... и онѣ гдѣрь учили тещу мою вдову и *своячину* девку бранить [Прик.стол, стлб. 15: 708, 1625 г.]. Новосиль: *своякина* дѣвка Федорка [Бел.стол, стлб. 419: 145, 1659 г.]; *своячина* вдова Февронья [Материалы хоз.: 235, 1715 г.]. Порой один и тот же грамотей употребляет два варианта, например, *своякия* и *своячина* [примеры по Ельцу: лл. 558, 614, 615, 686]. В старой литературе отмечаем вариант *своячина*:

Она [рубашку] тонко пряла,  
Частенько вышивала,  
Бело её белила,  
С *своячиною* мыла [Ханыков: 242].

В «Записках степняка» А. И. Эртеля: [Сигней:] «*Своячина*-то его за моим малым будет, за Митрошкой». В написании *своячена* тот же самый вариант представлен у А. И. Левитова в произведении «Целовальничиха». В современных говорах нам довелось зарегистрировать вариант *своячина* (д. Спесивцево Орловского р-на, д. Рудка Поньковского р-на). Судя по всем приведённым данным, можно полагать, что на протяжении трёх веков образования *своякина* и *своякия* в

коренных южновеликорусских говорах вытеснялись вариантами *своячина* и *своячина*, по всей вероятности, в последний период не без влияния литературного слова *свояченица*.

Скит. Исторические источники сохранили сведения о таком диалектном образовании, которого исследователи не отмечают. Говорим о диалектном слове *скит* как названии особого вида изгороди. В словаре В. И. Даля указаний на это слово нет. Экстенсивное изучение южновеликорусских говоров для составления диалектологического атласа не обнаружило этого названия. Обратимся к старым текстам, приуроченным к юго-западной зоне южновеликорусского наречия. В них образование *скит* довольно употребительно, оно уверенно прослеживается в течение длительного времени – в XVII столетии и в первые три десятилетия XVIII в. Поскольку с более поздними текстами мы не ознакомились, не имеем возможности указать временные пределы бытования означенного слова, но, считаясь с интенсивностью его употребления в начале XVIII в., допускаем предположение о его бытовании и в более позднее время – в течение более или менее продолжительного периода. Например, производное «*скитник* (сосновый) для горожи – материал для частокола» П. Н. Тиханов отметил в источнике 1785 г. [Тиханов 1904: 80]. Приведём некоторые данные об интересующем нас образовании, следы которого, может быть, ещё сохранились в говорах. Белгород: около двора городьба *скиту* дубового [ГКЭ, № 34/565: 2. 1686 г.]. Кромы: скотной варок огорожен *скитом*, другой авчарной варок огорожен плетнем [Материалы хоз.: 143, 1718 г.]; сарай оставлен *скитом*, сарай на сохах [Материалы хоз.: 146, 1723 г.]; двор огорожен *скитом* и забором [ib.]; двор огорожен *скитом* и плетнем [ib.]; двор в огороже, огорожен вокруг *скитом* [ib.: 150]; помещиково гумно огорожено *скитом* [ib.: 158, 1724 г.]; двор огорожен *скитом* стоячим [ib.]; двор огорожен *скитом* стоячим, гумно огорожено кольем стоячим [ib.: 161]; помимо отмеченного выше производного слова *скитник*, в XVIII в., как явствует из описи одного кромского поместья, бытовало и другое: два сарая *скитовых* [Материалы хоз.: 147, 1723 г.]. Курск: а двор огородить *скитом* [КОА, № 4]. Эти и прочие известные нам случаи употребления слова *скит* не позволяют сделать определённого заключения о его семантике, однако они свидетельствуют, что *скит* – не плетень и не просто забор и, видимо, не «колье». В украинском и белорусском языках словари Б. Д. Гринченко и И. И. Носовича слова *скит* с подобным значением не отмечают. Ещё одно замечание о локализации этого образования. Если в кромских описях название *скит* обыкновенно, то аналогичные источники того

же самого времени из соседних уездов – Болховского, Брянского и Орловского – не дают сходной картины: слова *скит* в них не находим.

Удеревь, удерево. В словаре В. И. Даля название *удерево* определяется как орловское, а его значение формулируется так: «лес по угорью, по склону и более по реке». Варианта удеревь у В. И. Даля нет. В Малоархангельском районе Орловской области существует д. *Удерева*, в Новосильском районе той же области известно местечко *Удеревка* – на крутом берегу р. Зуши, поросшее лесом и кустарником. В других местах Орловщины, где нет таких топонимов, подобных слов не знают. Да, собственно, и *Удеревка* известна лишь старикам. Что касается старой местной письменности, то в ней образование *удеревь* представлено как давнее. Наиболее раннее упоминание о нём содержится в «данная» Матрёны Заблоцкой, датированная 1570 г., относящаяся к Новосильскому уезду. В «данной» перечисляются: дрвня на Крутом враге на реке на Колпнѣ дрвня Кривая *удеревь* дрвня Казначеева *удеревь* [ГКЭ, № 1/7916]. В сказках ливенских попов 1684 г. неоднократно: Манина *удеревь* за рекой Сосной [Гр.Крут.еп.: 226, 227,257].

\* \* \*

Сравнение современных диалектных данных и соответствующих данных памятников, как можно убедиться, говорит о том, насколько неосторожно, опираясь лишь на первые, заключать о зонах распространения тех или иных лексических диалектизмов в прошлом. Если установление диалектных зон в минувшей жизни языка (имеем ввиду русский) по современным данным фонетики, а также и морфологии, в зависимости от величины хронологического разрыва между прошлым и настоящим, в большей или меньшей степени возможно, то надёжное выделение этих зон с точки зрения лексикологической иногда абсолютно немыслимо без опоры на показания старой письменности местного происхождения.

#### Материалы РГАДА

Безгл. – Безгласный стол.  
Бел.стол – Столбцы Белгородского стола.  
ГКЭ – Грамоты Коллегии экономии.  
Ден. – Книги Денежного стола.  
Пом. – Поместный приказ.  
Прик.стол – Приказный стол.  
Свен. – фонд Свенского монастыря.

### 31. Художественные средства и языковая ситуация // Русская речь. – 1971. – № 2. – 45-50.

Воплощённая автором в литературном произведении определённая система изобразительных средств воспринимается последующими поколениями в иной, обусловленной развитием языка лингвистической ситуации. По этой причине некоторые элементы художественности могут претерпевать известные изменения – становиться более или менее выразительными и даже выступать в несколько иной роли.

В языке получают отражение изменения в образном мышлении людей, в конечном счёте обусловленные разнообразными и сложными переменами в материальной и духовной культуре общества. Обычно эти изменения очень тонкие, незаметные, их трудно связать с определёнными событиями и явлениями в жизни общества. Только в отдельных, редких случаях связи эти в какой-то степени могут быть установлены при определении обстоятельств, вызвавших перемену. Такие обстоятельства многообразны. Одно из них – выпадение языкового элемента из широкого употребления. Отражение подобного случая встречаем в стихотворении И. С. Никитина «На пепелище»:

Упорной работы соха не сносила,  
Ломаясь, и в поле другая ходила,  
Тупилось железо, стирался сошник,  
И только выдерживал пахарь-мужик.

Несмотря на то, что в русском языке глаголом *ходить* обозначается передвижение не только живых существ, но и самых различных предметов, его появление в данном случае, когда говорится о сохе, представляется не совсем обычным, свежим, неожиданным, связанным с художественным изображением пахоты. Иными словами, его употребление в таком контексте воспринимается как новое. Между тем прежде выражение *соха ходила* было обыденным на Руси и в этом значении свободным от художественных функций. Мы его обнаруживаем в составе известной старинной формулы *куда соха* (или *пflug*), *серп*, *коса* и *топор ходили*, определявшей до развития межеванья объём земельных владений. Позднее, когда развилось межеванье, указанная владельческая формула утратила реальное основание, и, выпав с нею из широкого употребления, давнее выражение *соха ходила* отложилось в отдельных крестьянских говорах лишь в конкретном значении 'пахала'.

Вероятно, отголосок представления, воплощённого в этом выражении, отозвался в словах персонажа *пустить следом (соху) – Андреев-*

ну) в произведении другого писателя – уроженца воронежских мест: «[Илья Евдокимыч:] Её [землю] как разодрать плугой, да и пустить следом соху – Андреевну, да расчесать железными зубьями, да выворотить материк, так тут что твоя новь: любое сей!..» (Эртель. «Смена»). Ср. также: «Под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков» (Бунин. «Суходол»). Для поэта Никитина это выражение было своим, вседневным. Применительно к той эпохе и среде, в которой он вращался, видеть в данном выражении потенциально художественный элемент как будто не приходится.

Перед нами – один из примеров того, как утратившее реальную основу и потому превратившееся в историзм старинное выражение оживает в несколько ином значении, осознаётся в качестве свойственного местной крестьянской речи и, введённое в литературное произведение в виде крестьянского обиходного, воспринимается впоследствии как специфически художественное.

Изменение смысловой структуры того или иного языкового элемента могло вызвать изменение внутренней формы его художественности. Пример подобного рода находим в повести И. С. Тургенева «Нечастливая». В ней обрусевший иностранец, проявляя показной патриотизм, упомянув имена малолетних детей, о жене из немков говорит: «И писклятам своим всё такие русские имена понадавала!.. Того и смотри в греческую веру их перекрестит!». В современном 17-томном Словаре русского литературного языка этой цитатой иллюстрировано следующее значение слова *писклянок*: ‘тот, кто много пищит (обычно о птенце, ребёнке)’. Как видим, в современных условиях смысловая структура слова *писклянок*, а тем самым, понятно, и внутренняя форма его художественности, определяются в первую очередь словопроизводственной связью с глаголом *пищать*. Но так ли было во времена Тургенева и в той лингвистической обстановке, в которой протекало его творчество? Прежде чем ответить на это вопрос, обратим внимание на другой пример употребления слова *писклята*. Помимо обрусевшего иностранца, его у Тургенева в аналогичном смысле и явно в экспрессивном плане употребляет и русский помещик, поэтому усматривать в первом случае погрешность против русской речи оснований нет. Приведём этот, второй случай: «Заваленный делами, постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, он [отец Лизы] не скупясь давал деньги на учителей, гувернёров, на одежду и прочие нужды детей; но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами, – да и некогда ему было нянчиться с ними...» («Дворянское гнездо»).

Если ныне в сознании носителей общего русского языка слово *писклёнок* ближайшим образом соотносится с *пищать*, то в XIX столетии в тех языковых условиях, которые могли оказывать влияние на формирование языка Тургенева, соотносённость этих образований была не прямой, а несколько опосредствованной: в обширной южновеликорусской области, а возможно, и за её пределами, слово *писклёнок* в полной мере в нормативно-нейтральной функции заменяло слово *цыплёнок*. Ср. в Словаре В. И. Даля: *писклёнок* ‘птенец’. Употребление слова *писклёнок* на юге в том же самом значении широко отмечалось наблюдателями за последнее столетие. Слово это, хорошо знакомое уроженцу юга Тургеневу, выражает у его персонажей образную характеристику детей не столько по свойственному им «писку», – этот момент в характеристике, возможно, и отсутствовал, – сколько основанную на сравнении их либо вообще с птенцами, либо, конкретно, с цыплятами. Как видим, образное название детей словом *писклята* у Тургенева и в наше время восходит к разным истокам, самая природа художественности в этих случаях разная. Довольно широко распространённое в прошлом в русских народных говорах, образование *писклёнок* в современном языке употребляется как разговорное.

Изменение претерпевают и лексические диалектизмы сравнительно узкого распространения. Пример подобного рода встречаем в одном из бунинских текстов.

Орал квасник:

– Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад! (Бунин. «Деревня»).

Определение *главный* в данном случае настолько неожиданно, необыкновенно, что представляется фактом исключительно индивидуального словоупотребления автора, порождением его творческой фантазии. Однако для южновеликоруса Бунина *главный* в значении ‘хороший, лучший’, хотя и не лишённое известной выразительности (почему и использовано в «Деревне»), не было всё же необыкновенным и специально экспрессивным, поскольку звучало обыденно в его родном орловском говоре. Не попавшее с такой семантикой даже в Словарь Даля, оно и поныне кое-где известно в Орловской области. Нам довелось, например, слышать в орловских местах выражения: *гусь главной* ‘хороший упитанный’, *картошки главные* ‘хорошие, лучшие’. Рождаясь в качестве экспрессивных, словосочетания такого типа с течением времени в диалектах становились менее выразительными, относительно привычными (ср. заурядное употребление в тех же самых говорах структурно аналогичных словосочетаний, вроде *сильные яблоки*, *сильные картошки*, – о большом урожае этих культур). Экспрессивное



употребление прилагательного *сильный* в сходном значении ‘обильный’ – явление давнее: «милостыню силу раздавашеть, странья любя и нищая кормя» (Ипатьевская летопись, 1187 г.). Ср. в сопредельном смысле ‘роскошный, пышный’: «повелѣ Гюрги оустроити обѣдь силенъ и створи чсть великоу имъ и да С<вя>гославоу дары многы» (Ипатьевская летопись, 1147 г.).

Необычайность, экспрессия определения *главный* в примере из бунинской «Деревни» проявляется вследствие того, что оно стоит при таком определяемом, обычные определения которого (*сладкий, холодный* и т. п.) в общем русском языке основаны на ином принципе (на чувственном восприятии). Введённое тонким художником слова в такую лингвистическую ситуацию, где образования подобной структуры необычны, словосочетание *самый главный лимонад*, вполне естественно, оказалось особенно экспрессивным. В наши дни его естественность выступает ещё ярче: у современных носителей общего русского и, тем более, литературного языка в связи с глубокими культурными преобразованиями особенно обострённое восприятие общенародной литературной нормы, а следовательно, и всех явлений контрастного характера. Кстати, о наличии в прилагательном *главный* предпосылки к развитию оттенков качественности свидетельствует литературный словарь начала XIX века. Здесь к значению ‘первый, начальный’ в ряду других иллюстраций встречаем и такую: *Иметь главное смотрение* [Словарь Акад.Рос. I: 1104].

Приведём ещё один пример расхождения между функцией слова, если можно так сказать, заданной ему автором, и функцией того же слова, развившейся впоследствии в иной языковой обстановке, близкой к современной. В наречии *нечувствительно* ещё в минувшем веке выступало ныне почти забытое значение ‘незаметно’. Вот как толковалось это значение в словарях: ‘не делая впечатления на чувства; неприметно для чувств, непостигаемо чувствами’. *Время течет нечувствительно* [Словарь Акад.Рос. 1814 г. т. III: 1383]; ‘без ощущения, неприметно’ *Время летит нечувствительно. К хорошему привыкаем нечувствительно* (Словарь 1847 г. II: 456). Ср. в художественных текстах: «Нечувствительно я стала смотреть её глазами и думать её мыслями» (Пушкин. «Рославлев»); «Нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил» (Гоголь. «Коляска»); «Чем чаще они виделись, тем больше сближались нравственно, тем роль его становилась оживлённее: из наблюдателя он нечувствительно перешёл в роль истолкователя явлений, её руководителя» (Гончаров. «Обломов»). В наше время *нечувствительно* с таким значением в художественном произведении производит впечатление

специально экспрессивного. Объясняется это тем, что с утратой прямой семантической связи между *незаметно* и *нечувствительно* смысловые связи между ними полностью не нарушились; они осуществляются через посредство соответственных прилагательных и являются ассоциациями «в полутонах». Стилистически они различаются: нейтральное выражение значения сосредоточено в *незаметно*, а его экспрессивное выражение – в образовании *нечувствительно*.

При изучении системы изобразительных средств литературного произведения невозможно не принимать во внимание изменения, происходящие под влиянием новой лингвистической обстановки.

**32. О словарных примечаниях к произведениям Н. С. Лескова // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1958. – Т. XVII. – Вып. 3, май-июнь. – С. 290-291.**

Среди примечаний к художественным произведениям не последнее место занимают справки словарного характера – объяснения отдельных мало знакомых или совсем не известных читателям слов. Издания трудов таких писателей, которые особенно широко пользуются средствами местной народной речи, естественно, требует особого внимания к составлению примечаний этого рода. Произведения Н. С. Лескова, пожалуй, более, чем кого-либо другого из выдающихся художников слова, нуждаются в подобных примечаниях: он принадлежит к плеяде «богатейших лексикаторов наших» [Горький 1955: 212].

Рассмотрим с этой стороны издание сочинений Лескова, осуществляемое ныне Гослитиздатом (Н. С. Лесков. Собрание сочинений. – М., 1956. – Т. 1-2; 1957. – Т. 3-5.). Из одиннадцати томов вышло в свет пять. Примечания к первому тому составил Б. М. Эйхенбаум, ко второму – Н. И. Тотубалин, к третьему и четвертому – И. З. Серман, к пятому тому – Л. В. Домановский.

Поражает прежде всего произвольность в выборе слов, которые необходимо сопроводить толкованиями. Возьмём, например, повесть «Житие одной бабы», включённую в первый том. Языку её свойствен яркий локальный колорит. Между тем объяснение, по непонятной причине, получают лишь такие местные слова, как *пасма*, *тальяка*; *колесни*, *схи-менуться* и некоторые другие, а *мирошник*, *невейка*, *обапольность*, *закатник*, *жменя*, *жированье*, *постать* и ещё немало других таких же слов остаются без объяснения. В рассказе «Язвительный» комментировано название *галманы*, а вне поля зрения Эйхенбаума оказываются не менее непонятные для современного читателя слова *виски* (волосы), *посмыкал*, *сердovskye* (в значении «средних лет»), а также *притоманный*.

Произвольность в выборе слов, которые нуждаются в комментировании, нетрудно проследить и в иных произведениях.

Досадны допускаемые без видимых оснований расхождения в толковании одних и тех же слов авторами примечаний к разным томам. Диалектное *коник*, по Серману, – «ларь с подъёмной крышкой», а у Домановского – «лавка для спанья». Закрепление за тем или иным словом в разных диалектах несходных значений, вообще говоря, возможно, и если бы контекст давал основания в указанных случаях название *коник* «переводить» неодинаково, не было бы и повода для замечаний. Однако оснований нет.

Ср. соответствующие места: «... слышу, князь стучит и зовёт, а я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти... думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лёг...» («Очарованный странник»).

«Когда Павлин, дремля поздно вечером в своих креслах, поджидал запаздывающих жильцов парадной лестницы или укладывался без подушки на жёсткий коник за колоннами, он и не подозревал, что в это время его жена отнюдь не скучает с Анной Львовной...» («Павлин»).

Составители примечаний, надо думать, воспользовались различными представленными у Даля значениями слова *коник*, но воспользовались несколько вольно: определение «ларь для спанья, с подъёмной крышкой», а определение «лавка для спанья», относимое Далем к диалектизму *конька*, оказалось прикреплённым к образованию *коник* [Даль II: 153].

Мы не утверждаем, что авторы примечаний допускают здесь существенную ошибку; хотелось бы только указать, что подобные «вольные» толкования нежелательны.

Отмечаем, также не оправданный контекстом, разницей в раскрытии значений диалектных слов *арчак* и *орчак*, *спажинки*, *ухоботье*. Ср. *арчак* – «деревянный остов седла» (т. III) и *орчак* – «кожаный седельный остов» (т. IV); *спажинки* – «пост перед днём Успения (15 августа)» (т. I) и «период окончания жатвы» (т. II); *ухоботье* – «сорное зерно» (т. I) и «отходы при веянии обмолоченного хлеба» (т. II). Авторитетные словарные источники определяют *арчак* как деревянный, а не кожаный остов [Даль I: 26; СВАН I: 74; Срезневский I: 31 Преображенский I: 9]. При определении *ухоботья* в первом случае не главное, вторичное, как можно видеть в Словаре Даля [Даль IV: 541], представляется в качестве главного признака. Характерный пример произвольного выбора значений – истолкование слова *сухменность*. Один из персонажей «Соборян» говорит: «Какая сухменность в этих словах». И. З. Серман комментирует: «*сухменность* – от *сухмень* – *суходол*, бесплодная почва», исходя, по-видимому, из того, что среди толкований слова *сухмень* у Даля есть такое: «*суходол*, сухая глина с супесью, кряж, плохая почва, где всё от зноя выгорает» [Даль IV: 376]. Но у Даля находим и иную интерпретацию: «*сухая* погода, продолжительное бездождие, *засуха*» [там же]. Кстати, прилагательное, от которого образуют *сухменность*, Даль приводит в иллюстрации: «*сухменный* год, лето» [там же]. Ясно, что «*суходол*, бесплодная почва» для раскрытия значения слова *сухменность* – основание более чем сомнительное. Ср. сообщение А. И. Сахарова о закреплении за словом *сухмень* в орловских говорах именно смысла «*засуха*» [Сахаров 1900: 38]. Васьянов

объясняет курское *сужмень* как «сушь – сухая погода» [см. Васьянов 1840].

Авторы примечаний не видят необходимости прибегать в первую очередь к показаниям тех говоров, которые в известной мере определяют локальные оттенки в языке писателя. Так, И. З. Серман уверяет, что *напол* – обязательно «долблённая из пня кадушка». Между тем подобное объяснение приведено Далем в числе других и притом не в качестве первого [Даль II: 465]. Кроме того, слово *напол* к родному Лескову Орловскому краю у Даля не приурочено, а данные близких Лескову говоров о таком значении не упоминают: в курско-орловских говорах *напол* – кадушка, которой берут воду из колодцев, большая кадка, высокая кадушка, просто кадь, кадка [см.: Будде 1904: 128; Материалы курск. 1850: № 44; Халанский 1904: 370; Пам.кн.курск. 1893].

В рассказе «Темняк» действующее лицо, от которого ведётся повествование, в трудной поездке подтрунивает над спутником: «ведь это не то, что в тёплой трапезе за горшком со сметкою сидеть». Л. В. Домановский поясняет: «*снетка* (древнерусск.) – еда». Едва ли так. Ср. фонетические варианты: *сныдка* – весеннее растение, суп из сныдки [Добровольский 1914: 853], *сьнитка* – растение снедок: нарвали сьнитки зыли (для. – С.К.) шей [Халанский 1904: 374]. У Бунина: «Пообедав, внучка с ребятишками ушла в лужок за баранчиками. Все они так жалобно просились пустить их, что дед не смог устоять. Только сказал:

– Не найдёте, ребята, разве снытку только...» («Кастрюк»).

Насколько сомнительны справки, даваемые вне учёта наиболее близких писателю местных диалектов, свидетельствует трактовка образования *стеня*. Одна из героинь хроники «Захудалый род» рассказывает: «Всплакнула я раз-два и вдруг всего через одну короткую минуту времени отнимаю от глаз платочек, и предо мною, смотрю, за кладовыми, за углом, стоит Патрикей Семёныч и меня потихоньку рукою к себе манит. Я как его увидела, так и затрепетала всем телом своим и ноги у меня подкосились, потому что знала, что этого быть не может, так как Патрикей Семёныч с князем находился. Откудова же это он мог сюда прямо с войны взяться? Верно, думаю, его там в сражении убили, он мне здесь как стеня и является, и опять на него взглянула и вижу, что и он на меня смотрит...».

Л. В. Домановский комментирует: «*стеня* (древнерусск.) – боль, скорбь, кручина (от слова стенать)». В древнерусском языке интересующее слово употребляется с иным значением – тень, призрак, видение [Срезневский III: 588-589]. В орловских говорах *стеня* – тень.

Подведём итоги: издание произведений Лескова нуждается в квалифицированном словарном комментировании, основанном на знании тех локальных реалий и явлений, о которых писал Лесков. Подобное комментирование предполагает обращение прежде всего к тем народным говорам, которые в какой-то мере определяют локальные оттенки в языке писателя. При этом желательно, насколько возможно, привлекать показания говоров, относящиеся ко времени написания произведений.

[Эта статья была перепечатана в кн.: Орловские говоры: проблемы изучения / Сборник научных трудов. – Орёл, 2007. – Вып. 3]

### 33. Наедине с минувшим // Русская речь. – 1976. – № 6. – С. 19-21.

В произведениях художественной литературы, отдалённых от нас во времени, можно встретить употребление отдельных слов в значениях, утраченных позднее в литературном языке. Современники воспринимают их не с той семантикой, с которой их употребляли авторы, а с той, которая им ныне свойственна. Вследствие этого трансформируется и образность этих слов. Пример подобного рода находим во второй строфе известного стихотворения Ф. И. Тютчева:

Есть в осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора –  
Весь день стоит как бы хрустальный,  
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,  
Теперь уж пусто всё – простор везде, –  
Лишь паутины тонкий волос  
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,  
Но далеко ещё до первых зимних бурь –  
И льётся чистая и тёплая лазурь  
На отдыхающее поле...

Восхищённый стихотворением Тютчева, Л. Н. Толстой особо выделил строки *Лишь паутины тонкий волос // блестит на праздной борозде*, а в беседе с А. Б. Гольденвейзером 1 сентября 1909 года заметил: «Здесь это слово *праздный* как будто бессмысленно и не в стихах так сказать нельзя, а между тем, этим словом сразу сказано, что работы окончены, всё убрали, и получается полное впечатление. В умении находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев на это был великий мастер» [Гольденвейзер 1959: 315]. Прошло несколько дней и, вспомнив те же строки, Лев Николаевич сказал: «Мне особенно нравится *праздной*. Особенность поэзии в том, что в ней одно слово намекает на многое» [Толстой 1955: 63].

Художественный смысл слова *праздный* в данном конкретном случае получает подлинное раскрытие лишь в свете того семантического наполнения, которым слово обладало в тютчевское время.

В современном русском литературном языке прилагательное *праздный* означает 'свободный от дел, занятий; проводящий время в

праздности, безделье’, ‘не заполненный трудом, деятельностью, протекающий в праздности, безделье’, переносно: ‘бессодержательный, пустой, бесцельный’; значение ‘ничем или ничем не занятый, не заполненный; пустой, порожний’ признаётся устаревшим [ССРЛЯ 1961, т. 11: 50]. А в первой половине XIX века последнее значение выступало едва ли не в качестве основного: *праздный*: ‘ничем или никем не занятый; порожний’, ‘ничем не занимающийся, живущий без дела’, ‘недельный, пустой; суетный’ [Словарь 1847 г. III: 422]. Так, у Пушкина эпитет *праздный* выражал преимущественно значения ‘пустой порожний, ничем не заполненный, свободный от дел, не занятый’ [Словарь языка Пушкина, т. 3: 645]. В общем тогда семантика слова не была настолько негативной, как обнаружилось впоследствии, по мере приближения к нашему времени. В определении *праздный*, помимо иных, выступали и такие значения, как ‘чуждый забот и тревог, погружённый в полный покой’. Вот эта семантическая возможность слова и отозвалась в стихотворении Тютчева. *Праздная борозда* – это не просто ничем и никем не занятая, свободная от злаков и сохи, «порожня» от того и другого, а борозда, оваянная безмятежным покоем. В полной гармонии с этим представлением звучат заключительные строки:

И льётся чистая и тёплая лазурь  
На отдыхающее поле...

Возможность художественного воплощения в выражении *праздная борозда* именно такого состояния поля находит объяснение в исторической судьбе слова *праздный* в русском языке. Старославянское образование *праздный*, как и многие другие слова с неполногласием, принадлежало высокому стилю речи. В памятниках древнерусской эпохи прилагательное *праздный* означало не только ‘не занятый ничем, находящийся без дела’ или ‘пустой, пустующий’, но вместе с тем и ‘праздничный’. *Праздной* в этом смысле слыла, например, пасхальная, так называемая светлая неделя. [Срезневский 1989 г.]. Данное старинное значение отмечалось и во времена Тютчева: *праздная неделя* ‘святая неделя’ [Словарь 1847 г. III: 422]. От подобного значения до значения ‘пребывающий в состоянии отдохновения’, как говорится, рукой подать. В свете этой семантики слова определение борозды как *праздной* ‘находящейся в состоянии безмятежного покоя, в известном смысле праздничного’ является поэтически правомерным. Нелишне отметить: в Словаре В. И. Даля характеризуемое в качестве старинного приводится выражение *праздное поле*. Ср. любопытные параллели из деловой письменности XVIII века: «помѣщикамъ... кре-



стьянь своихъ... сѣменами снабдить, дабы земля праздно не лежала; если же гдѣ сыщутся праздня и впусѣ лежащія земли, то бы оныя отдавать мелкопомѣстнымъ и безъпомѣстнымъ» [Картотека ДРС Института русского языка].

С семантикой 'празднично отдыхающая' *праздная* борозда органически входит в гамму светлых, пронизывающих стихотворение «праздничных» образов. Это и *дивная* пора, и осенний день *как бы хрустальный*, и *лучезарны* вечера, и *чистая и тёплая* лазурь. Иная семантика эпитета *праздная* была бы в этой светлой гамме художественных определений противоречивой.

Итак, вследствие возможных с течением времени семантических изменений отдельные слова, в которых получают воплощение художественные образы, в сознании последующих поколений иногда существенно преобразуются. В этих случаях первоначальный, авторский смысл художественного образа выявляется исключительно в контексте той лингвистической ситуации, в условиях которой творил автор, при ближайшем соприкосновении с ней или, иначе говоря, когда исследователь остаётся наедине с минувшим.

**34. Живая и мёртвая вода в сказках и в действительности //**  
**Русская речь. – 1982. – № 1. – С. 118-123.**

Иногда негладким поворотом в развитии действия народных сказок является такой: загубленные тёмными силами зла герои – поборники добра, обрызганные живой водой, воскресают. При этом останки или раны их сначала обрызгивают мёртвой водой.

Например, в сказке «Иван-царевич и серый волк» говорится:

Лежит Иван-царевич мёртвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с воронёнком.

– Ты лети-ка, ворон, за живой и мёртвой водой, тогда отпущу твоего воронёнка.

Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его воронёнка. Долго ли летал, коротко ли, принёс он живой и мёртвой воды. Серый волк спрыснул мёртвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили; спрыснул его живой водой – Иван-царевич ожил.

Кощей, убив Ивана-царевича, – повествуется в сказке «Марья Моревна», – бросил его в смоленной бочке в синее море. Орёл вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой водой, а ворон за мёртвою. Слетелись все трое, разбились бочку. Ворон брызнул мёртвой водой – тело срослось, соединилось; сокол брызнул живой водой – Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит:

– Ах, как долго я спал!

*Живой росой* отозвалась живая вода народных сказок в поэме Лермонтова «Демон». Узнав о смерти жениха,

...Рыдает бедная Тамара;  
Слеза катится за слезой,  
Грудь высоко и трудно дышит;  
И вот она как будто слышит  
Волшебный голос над собой:  
«Не плачь, дитя! Не плачь напрасно!  
Твоя слеза на труп безгласный  
Живой росой не упадёт:  
Она лишь взор туманит ясный,  
Ланиты девственные жжёт!..»

Чудодейственная живая вода в народных сказках называется и *живящей*, а порой, как в сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», *ключевой*:

Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули её в ключевую воду, одели её в нарядное платье. Алёнушка ожила и стала краше.

\* \* \*

Отождествление сказочной живой воды с реальной ключевой показывает, что фантастическое уходит корнями в действительность. И в самом деле, живой водой в древней Руси называлась та, что была ключом, родниковая, а в более широком смысле – вообще текучая. Напротив, недвижимая, спокойная слыла водою *мёртвой*. Издревле известные восточным славянам, эти определения воды в поэзии сказок преобразовывались, приобретали особые значения: живая, текучая вода становилась животворной, а мёртвая, спокойная – целительной. От мёртвой, по словам сказителей, срастались части изрубленного человека, оживавшего затем от живой воды. Такое переосмысление названий *живая* и *мёртвая* (вода) предопределялось тем особым значением, которое придавалось воде (без неё ведь нет ничего живого!) в верованиях восточных славян, да и многих других народов. Обрызгивание и умывание водой, приобретавшей, как думали тогда, в различных магических процедурах волшебные живительные свойства, относилось к излюбленным приёмам ведовства.

Заглянем в старинные рукописи. Три с половиной века назад одна из московских целительниц в расспросных речах показывала, что «грыжи людем уговаривает а наговаривает на громовую стрелку да на медвежий ноготь да с тое стрелки и с ногтя дает пить воду а приговариваючи говорит как де ей старой жонке детей не раживать так бы де у кого та грыжа и болезни не было» [МДБП: 243]. *Громовой стрелой* или *стрелкой*, а также *чёртовым пальцем* называли каменный слиток, образующийся в песке от удара молнии. *Медвежий ноготь* – по видимому, растение *медвежьи когти*. Другая обвиняемая в ведовстве простодушно признавалась: «у которых людеи в торговле товар заляжет и она тем торговым людем наговаривает на мед а велит им тем медом умыватца а сама приговаривает как де пчелы ярые роядца да слетаютца так бы де к тем торговым людем для их товаров купцы сходились и от того де ее наговору у тех торговых людеи на товары купцы бывают скорые» [там же: 242]. Она же наговаривала на хлеб, соль и мыло: «хлеб с солью велела женам есть как де хлеб да сол(ь) люди любят так бы де муж жену любил а мылом женам же велела умыватца

скол(ь) де скоро мыло к лицу прильнет стол(ь) бы де скоро муж жену полюбил» [там же].

Ведовство властями и церковью преследовалось. В середине XVII века в царском указе отмечалось, что чародеи и волхвы над больными и младенцами «чинят всякое бесовское волхвование», а далее следовало предписание: ворожей мужиков и баб к больным и ко младенцам в дом не призывать. Ведовство осуждалось в одном ряду с такими, отвращавшими народ от церкви, предосудительными действиями, как безмерное пьянство, скоморошество, пение «богомерзких» песен, кулачные бои и сквернословие. В расспросных речах о ведовстве и дошли до нас сведения о древней водной магии. О её проявлениях в народных сказках о живой и мёртвой воде старинная письменность ничего не сообщает. Это объясняется и тем, что сказки в отличие от наговорных формул, которые иногда записывались, бытовали лишь в устном исполнении, и тем, что в их рассказывании прегрешений не усматривали. Тем более существенными представляются косвенные свидетельства о данной магии в виде знакомых той эпохе аналогичных названий реальной воды. Видимо, в народном представлении связи между соответственными разновидностями реальной и волшебной воды были настолько естественными, что не возникало необходимости в каких-то особых, отличных от первых, наименованиях вторых. Эти связи особенно наглядно выражались, в частности, в том, что, согласно церковному уставу, например, XI века место у воды считалось священным: у воды молились.

В Словаре русского языка XI–XVII вв. [вып. 2: 250] живая вода в смысле «колодезная или проточная, годная для питья» отмечена примером из перевода с польского языка на русский «хождения» [Радивила Сиротки] в Святую землю конца XVI века: «Близ Вифлиема... есть кладезь, имея воду свежу и живу». Однако из этого не следует, что в более раннюю эпоху в языке восточного славянства такого названия не было. И, действительно, в известном Успенском сборнике, писанном в XII–XIII веках, находим упоминания *живой воды*: «вода живая жадати не даёт; даждь ми сию воду живую; насыти ся живых вод» [Усп. сб. ]. Кроме того, в Исторической палее XII века, правда, по списку XV века, встречаем в применении к воде определение *животная*, образованное от слова *живот* в древнем значении «жизнь»: «Види же Лот землю содомскую краснейшою паче всея земля, воды имеющи животныи» [Палей ист.]. Употребление подобного определения воды косвенно указывает на использование в том же смысле и определения *живая*.

Есть основания полагать: единичные упоминания *живой воды* в деловой письменности XVII века представляют собой далёкие отголоски более заметного употребления этого названия во времена великорусской и древнерусской народностей.

Такого прозрачного развития значений в направлении от реального к волшебному, как в названии *живая вода* («текучая – свежая – животворная»), в названии *мёртвая вода*, возможно, вследствие утраты каких-то промежуточных звеньев, в общем не прослеживается, но всё же совмещение в нём, как и в сочетании *живая вода*, реального и волшебного значений – явление не случайное.

\* \* \*

Ознакомимся с некоторыми данными XVII века. В 1649 году новосилец Елифан Тишевский ездил отводить землю военнотруженику человеку «в деревню Лаврову... х Каменному лесу х Квошеватой кулиги на десет(ь) чети да под Якшиным лесом по Фоустов рубеж по живую воду на пят(ь) чети». Служившая в качестве рубежа, границы земельного владения живая вода, разумеется, являлась текущим источником. А в 1696 году в воронежских местах выделяли покосы «в урочище от Верхнева колодезя вниз по живой воде по обе стороны речки Полатовой». Здесь с определением воды *живой* на текучесть её указывает и расположение покосов «вниз» по ней. Бывало, овраг, по которому бежала *живая вода*, получал то же название. Такой овраг отмечали, например, по течению реки Плавы на юге Тульской губернии. В отдельных случаях, выделяя уголья, в числе ограничивающих их примет называли уже не *живую воду*, а просто *живые рубежи*, причём в ряду последних попадались и болота: «а промеж тех пусташей живои рубеж болота» [Отказн.кн.южн.: 131] Иногда, отмечая живой рубеж, не писали, какой именно – ручей, или речка, или болото: «от таг(о) дуба через болшой холм по живой рубеж от живог(о) робежа на камен(ь)я» [там же: 211]. Видимо, название *живой рубеж*, в отличие от названия *живая вода*, употреблявшегося в качестве межевой приметы, с течением времени приобретало более широкое значение, знаменуя рубеж, образуемый и течением ручья или речки, и застойной тихой водой. В составе названия *живой рубеж* определение *живой* осознавалось и как «природный» в противоположность значению «не природный, а созданный» (рубеж), т. е. намеченный людьми в виде граней-зарубок на деревьях, а в безлесье на вкопанных столбах, а также в виде выкопанных ям с насыпанным в них древесным углём. *Живыми* называли кое-где и природные межевые приметы не водного характера.

Ср.: *живое урочище* «природный знак для межи, как речка, гребень, овраг» [Даль IV: 509].

Значение «текучий», подобно тому, как это бывает и ныне, с давних пор естественным образом «переливалось» в переносное значение «часто меняющийся, неустойчивый, непостоянный». Ср. в древнерусском языке: *текуи* «проточный» и «непостоянный» [Срезневский III: 956]. Поэтому, например, плавающие мосты, разводимые на время половодья или по другим причинам, словом, временные, непостоянные, слыли тогда *живыми*: «Велели ему на той реке живой мост распустить, чтоб через тое реку воровским казаком от Алатаря к ним пройтить было немочно» [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 5: 101]; «я... дошел до живого(о) мосту да испужался итит(ь) дале чтоб меня на дороге не убили воры» [МДБП: 233. 1645 г.]; «велено мне холопу твоему быт(ь) в об(ь)езде за Москвою рекою з живаго мосту по Пятницкою улицу налево» [там же: 83. 1671 г.]; «в село Преображенское на дело живаго моста, что на реке Яузе в Лебяжьей роще, 200 бревен сосновых» [Арх.бум Петра, I: 345. 1685 г.].

Сооружение, изделие для временного пользования обыкновенно строилось, изготовлялось наспех, бывало недостаточно устойчивым, «живым», и, вследствие этого, слово *живой* в применении к такому сооружению или изделию означало «сделанный кое-как». Значение «временный» в этих случаях нередко несколько затенялось, а то и полностью вытеснялось значением «сделанный кое-как». Выражение *шить на живую нитку* – наглядный тому пример. Первоначально оно значило «стегать наскоро, временно, приметать редкими стежками», а затем приобрело переносный смысл «(делать) кое-как, непрочное». Свойственное народно-разговорной стихии, оно в том или ином варианте звучит и в художественной литературе: «Вода в Чусовой стояла очень низко, и наше, сшитое на живую нитку, судёнышко постоянно задевало за... подводные камни» (Мамин-Сибиряк. «В глуши»); «Вокруг заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянных, на живую нитку состроенных дач» (Чехов. «Кулачье гнездо»). Ср. сходное изменение семантики: *сделать живой рукой* «живо, скоро, спешно» и *делать на живую руку* «кое-как, непрочное». Примеры из художественных произведений: «Вице-директор заявил, что лично примет участие в юбилейном торжестве... Тогда, на живую руку, был составлен краткий церемониал» (Салтыков-Щедрин. «Сон в летнюю ночь»); «Уже кое-где торчали остовы палаток...; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями» (Бунин. «Деревня»).

Семантическая связь выражений *на живую нитку* и *на живую руку* с обозначением *живой* реальной воды представляется более веро-

ятной, нежели связь с наречием *живо*. С последним, возможно, связано выражение (сделать) *живой рукой* «быстро» и т. п. (Сделать) *живой ниткой*, как будто не говорят. Словом, в современном русском языке сохраняются лишь косвенные свидетельства существования в прошлом наименования *живая вода* в реальном значении.

Наименование *мёртвая вода* в смысле «застойная, непроточная» осязательных отзвуков не оставило, хотя в середине прошлого века в литературном языке как *мёртвая* отмечалась «вода в заводском пруде ниже ларевого или вешнячного порога, не действующая на колесо» [Словарь 1847 г. II: 299]. Поясним: *вешнячный* от *вешняк* «в плотинах и запрудах: отверстие с творилом и спуском для стока прибылой воды» [там же]. Это несколько специализированное значение *мёртвой воды* являлось тогда пережиточным. Да и связь между наименованием *мёртвой* реальной, непроточной воды и таким же названием волшебной уже не осознавалась. Наподобие сказочной *живой*, и *мёртвая* сказочная вода представлялась ключевой: «И в той долине два ключа: Один течёт волной *живою*... Тот льётся *мёртвою* водою...» (Пушкин. «Руслан и Людмила»).

\* \* \*

Итак, выпав из обихода в своих реальных значениях, *живая* и *мёртвая* вода в виде волшебных отражений напоминают всё же о себе в русских народных сказках.

**35. Как обходились без слова *пара*? //  
Русская речь, 1982. – № 6. – С. 100-108.**

Появление или утрата слов не обязательно бывают связаны с появлением или утратой называемых ими понятий или предметов. Иногда развитие словарного состава выражается и в смене наименований определённых понятий и предметов. Так случилось в русском языке с обозначением понятия парности. В настоящее время трудно представить, как могли обходиться наши предки без такого, незнакомого им, а ныне совершенно необходимого слова *пара*. О том, насколько оно необходимо, свидетельствует круг его значений в современном литературном языке. *Парой* называются два однородных предмета, употребляемых вместе и составляющих одно целое, комплект (пара сапог, пара белья, колёсная пара); мужской костюм; две лошади, запряжённые в экипаж, повозку; два предмета, две штуки чего-либо (пара яблок, пара тетрадей); несколько, небольшое количество чего-либо (пара слов, пара строк); два находящихся вместе, делающих что-либо вместе существа, двое как нечто целое (супружеская пара, неразлучная пара, пара влюблённых); в качестве сказуемого выступает *пара*, когда говорят о двух подходящих или, чаще, не подходящих друг к другу существах (он ей не пара) и др. Уже во времена Пушкина слово *пара* постоянно выступало в произведениях не только деловой, но и художественной разновидности литературного языка. Ср. в «Евгении Онегине»:

Не в силах Ленский снести удара;  
Проказы женские кляня,  
Выходит, требует коня  
И скачет. Пистолетов пара,  
Две пули – больше ничего –  
Вдруг разрешат судьбу его.

Или:

Её привозят и в Собрание,  
Там теснота, волненье, жар,  
Музыки грохот, свеч блистанье,  
Мельканье, вихорь быстрых пар...

Небезынтересно: в произведениях Пушкина число употреблений слова *пара*, притом едва ли не во всех известных ныне его значениях, доходит до 20.



В живом народном языке *пара* слышится постоянно, бытует в нём и *парочка*. Ещё Даль отмечал шутливые выражения: *Поехал парой, на своих на двоих*, что значило «пешком»; *Парочка: свинья да ярочка!* Органическую свойственность слова *пара* современному русскому языку, кроме уменьшительного *парочка*, подтверждают и другие производные образования, например, *парный* (парное катанье), *парность* и специальные названия, вроде зоологического *парнокопытный* и ботанического *парнолистник*.

Слово *пара* и производные образования в современном русском языке представляются незаменимыми. А между тем до XVII века русские их не знали, и понятие парности у них выражалось тогда иначе. В отличие от современного состояния, наряду с формами единственного и множественного, в старинном русском языке имелись и формы двойственного числа. Русский язык унаследовал их из далёкого дописьменного прошлого. Полагают: происхождение двойственного числа связано прежде всего с обозначением парных предметов. «...Двойственное число первоначально, по своему происхождению употреблялось для обозначения единства двух по природе или исторически объединённых предметов (парные органы тела, парные предметы, наконец, два предмета или явления, постоянно мыслимые в неразрывной связи, в единстве). Для обозначения же двух ничем не объединённых предметов (случайных двух) в индоевропейских языках первоначально должны были употребляться формы множественного числа. Употребление двойственного числа при числительном *два* – явление вторичное, более позднее, хотя и развившееся ещё в дописьменный (доисторический) период» [Иорданский 1960]. Наши предки говорили и писали: *город*, мн. ч. *города*, а затем – *городы*, однако (два) *города*; *поле*, мн. ч. *поля*, однако (два) *поли*; *рука*, мн. ч. *руки*, а затем – *руки*, однако (две) *руце*, а затем – *руке*, и т. д. Формы двойственного числа со временем утрачивались. Обычно утрату их относят к XIII–XV векам, но старая южновеликорусская письменность (таможенные книги и другие источники) убедительно свидетельствует, что обращение к формам двойственного числа наблюдалось и в XVI веке, а в отдельных случаях даже в первой половине XVII столетия.

С утратой форм двойственного числа возможности выражения парности несколько сужались. Хотя на неё могли указывать собирательные числительные *двои*, *трои*, *четверы* (сапоги) и т. д., применение их в этом отношении оказывалось ограниченным, поскольку так же выражалась совокупность и непарных предметов: *двои*, *трои*, *четверы* (платки) и т. п. В этих условиях в языке, в ответ на потребности общения, с течением времени появлялись предметные обозначения парности.

Одним из подобных образований было слово *обувь*, которое в ту пору, помимо общего, имело и иное значение – то же, что ныне «пара обуви». В соответствии с этим, обладая не только формой единственного числа, как в современном языке, но и формой множественного, оно применялось и при счёте. Например, в тихвинской таможенной книге 1637 года записаны 20 «обуей красных» [Картотека ДРС], а в курской десять лет спустя – «полтораста абуей», «сто абуей» (РГАДА, Разрядный приказ. Денежный стол). Обыкновенно, кроме количества обуей, указывали и вид последних. «Семь обуей сапогов мужских сафьянных и барановых», – писали, скажем, в далёком Якутске в 1641 году [Картотека ДРС]. Как видим, подобное выражение парности уже в первой половине XVII века имело широкое распространение – от западных пределов России до её восточной окраины. Хорошо прослеживается его принадлежность обиходной народной речи. Приведём характерный эпизод. В тяжбе конца XVII века, возникшей в местах обувного промысла, огорчённый истец показывал: «Подрядил я ево Авдея делат(ь) сапогов из говьяж(ь)его товару вишневого цветом и делал он Авдей у меня богомол(ь)ца вашего в Орловском уезде в доме моем и ни отделов тех сапогов девятерых обуей поехал от меня домой в город Болхов... я богомолец ваш неотделонные деветеры обуи сапогов для отделки и подшиван(ь)я скоб привез к нему Авдею... и он Авдей тех деветеры обуей сапогов мне богомол(ь)цу вашему доделов не отдавает и по се число а цена государи тем сапогам три рубли шесть алтын четыре ден(ь)ги». А в допросе Авдея говорилось: «Неделонных де сопогов девятерых обуей он ответчик у него исца в доме не метал» (РГАДА, Разрядный приказ. Приказной стол). Как показывают южновеликорусские данные, ещё в начале XVIII века аналогичным образом иногда считали знакомые состоятельной среде башмаки (слово *башмак* – тюркизм, представленный в русской письменности с XVI века) и вошедшие в её обиход туфли (*туфли* – заимствование из немецкого): «трицать обуей башмаков телятинных» (Курская таможенная книга 1720 г.); «десять обуей туфлей барановых муских» (Елецкая таможенная книга 1720 г.). Парный счёт обувями распространялся и на подковки, скобки, подбиваемые под каблуки. Так, например, в расходной книге 1687 года, которую вели в Лукьяновской пустыни, встречаем запись: «куплено... пятеро обуей скоб». Ср. отголосок употребления слова *обувь* во множественном числе в литературном тексте XIX века: «...там попадаются обуви, складки тканей, переливы кудрей, даже вихры шерсти над копытами коней...» (Тургенев. «Пергамские раскопки»).

И счёт лаптей вели *обувями*: «девьяносто обувей лаптей» (Картотека ДРС). В расходной книге Лукьяновской пустыни, составленной в 1687 году, читаем: «шестеры обувей лаптей», «сорок обувей лаптей». А поскольку лапти по двое обыкновенно связывались лыком, родилось и такое оригинальное обозначение парности, как *лыко*: «Явил курской пушкар(ь) Иван Белаус на двух возах сто пятьдесят рагож да сто лык лаптей» (Курская таможенная книга 1624 г.).

Наименование *обувью* парного единства распространялось и на чулки: в московской таможенной книге конца XVII века встречаем запись о продаже 20 «обувей чулок вязаных бумажных красных».

Обозначение парности предметов наименованием того, что их соединяло, наблюдалось и при счёте вёдер, считали их *коромыслами*: «Куплено... двои коромысла ведер», «Куплено четыре коромысла ведер» – записано в расходной книге 1695 года Покровского монастыря в Суздале. А в упомянутой лужьяновской книге читаем: «Купил Фадей в Переславле ведер четыре коромысла».

Наиболее распространённые сохи оснащались двумя сошниками, или лемешами, и по этой причине совокупность последних называли также *сохой*. В памятниках XVII века читаем: «куплено... пятьдесят сох лемешов бес присохов; куплено... лемешей двенадцат(ь) сох»; ср.: «две сохи ралников» [Картотека ДРС].

Описанные предметные обозначения парности имели ограниченное применение – знаменовали парность лишь немногих, хотя и жизненно важных предметов. Более широкое применение получило слово *гнездо*. Развитие в нём значения парности было обусловлено тем, что с гнездом прочно связывалось представление о чете пернатых. Распространение счёта *гнездами* и на другие живые организмы, а затем и на неодушевлённые предметы протекало вместе с преобразованием подобного обозначения парности во всё более общее, более отвлечённое. В результате указанной эволюции слово *гнездо*, применяемое в данном смысле, превратилось в формальное счётное слово. В сравнении со счётными словами *обувь*, *лыко* и *коромысло* (были, по видимому, и другие) *гнездо* в качестве счётного слова являлось более употребительным – применялось при счёте не одного, а нескольких видов предметов. Вероятно, это предопределялось большей, нежели у первых слов, семантической ёмкостью данного слова в то время, когда происходило формирование в нём значения парности. В Словаре русского языка XI–XVII вв. у слова *гнездо* наряду со значением «счётное слово (при счёте однородных предметов по два)», отмечены такие: «гнездо», «род, потомство», «семья», «особый вид месторождения полезных ископаемых», «углубление, в которое что-либо вставляется, вкладывается».

Кстати, укажем ещё, не представленное в Словаре значение, которое получило отражение в Рьльской отказной книге первой половины XVII века, – «часть волости». Истоки его уходят в более старое – «род, потомство». Употребляемое в этом смысле *гнездо*, расщепляясь в своём значении, становилось и наименованием владений рода, позднее – княжеской семьи. С изменением владельческих отношений слово *гнездо*, естественно, могло превратиться в наименование части волости.

На правах вполне литературного слова *гнездо*, облечённое значением «пара», вошло в состав напечатанного в 1704 году Лексикона трёхязычного Ф. Поликарпова.

Исчисляли *гнёздами* гусей, лебедей, уток, свиней, баранов, тайменей (рыба); стрелы, горшки, клещи, крючки, петли оконничные, стёкла, обручи, вёсла, коробы, вареги, завязки, нашивки и т. д. «Велия проведат(ь), – просили вотчинника его оборотистые сыновья, – по чему в деревнях купят гусей гнездо?» [Переп.Безобразова]; «Двадцать два гнезда тетеревей битых», – читаем в Угличской таможенной книге 1721 года. В лукьяновской книге *гнёздами* вели учёт больших горшков, выдаваемых монастырской братии рубах, а также сапожных скоб.

Не означает ли парность слово *гнездо* в таком описании межевой приметы: «стоит кусть четыря гнезда лозы пятоя гнездо осиновае»? [Отказн.кн.южн., 12. 1621 г.].

И всё же предметные обозначения парности, в силу большей или меньшей связанности с наименованиями соответственных конкретных предметов, не могли удовлетворить всё возрастающей с развитием экономики и культуры потребности в обозначении парных единств. Усвоение иноязычного слова *пара* (лат. *par*, нем. *Raar* «два подобных предмета»), абсолютно свободного от связи с наименованием в русском языке чего-либо конкретного и потому представлявшего собой отвлечённое счётное образование, вполне удовлетворяло эту потребность. Слово *пара* оказывалось применимым при счёте любых предметов. Проникало оно в русский язык в процессе торговых сношений с Западом при посредстве польского слова *para*. Начало проникновения обычно усматривают в девяностых годах XVII века, в действительности оно было более ранним – проявлялось с конца XVI века. Во всяком случае, в переписанной русским в 1570 году жалобе литовских послов говорится: «тот детина... взял... белых шубки две, соболей пары тры, вершков собольих осм пар». В описании русского посольства в Персию упоминается «пара самопалов коротких» (1592 г.). Не случайно вначале исчисление *парами* касалось главным образом предметов международной торговли, скажем, русских соболей и западноевропейских пистолетов, или пистолей. Характерно более или

менее раннее означение комплектности этих товаров словом *пара* в вестях-курантах – обзорах военно-политической и экономической жизни зарубежных стран, которые составлялись для царя и его ближайшего окружения. В обзорах 1642–1644 годов: «одна пара пистолетов сыщется», «пришло я две пары пистолей», «послал... пару пист(о)лей»; «чтоб... добрую пару соболей прислал», «о паре соболях»; ср.: «пару плат(ь)я... новому слуге подорят». Гонцу, доставившему добрые вести, в 1677 году, кроме иного жалованья, из государственной казны дали «две пары соболей по десети рублей пара» [Грамотки: 130]. Заимствованное русскими слово *пара* первоначально, по видимому, бытовало в привилегированных слоях и только со временем привилось в широких народных массах. Любопытна попытка его перевода посредством слова *сугубица* [Поликарпов 1704 г.]. Последнее в русском языке означало двойное количество, что-либо удвоенное.

В XVII веке заметного распространения в пределах русского языка заимствование *пара* ещё не имело. Но в первой четверти XVIII века уже наблюдаем его проникновение в общенародный обиход. Например, башмаки, сапоги и чулки исчисляют не только *обувями*, но и по-новому – *парами*. В Курской таможенной книге 1720 года встречаем: «две пары башмаков женских» и «тритцать обуви башмаков телятинных». Вытесняло слово *пара* в русском языке и *гнездо*, употребляемое в том же смысле. В литературном обиходе заимствование *пара* утвердилось в XVIII веке, а в народных говорах – позднее. Впрочем, отдельные следы старых способов выражения парности местами держались довольно долго. Даже академический Словарь церковнославянского и русского языка 1847 года среди значений слова *гнездо* указывал и следующие: «Пара чего-нибудь. *Гнездо бабок. Гнездо голубей.* Два соответствующие с обеих сторон здания в селениях. *Переулки и проезды между гнездом должны быть в шесть сажен шириною*» [Словарь 1847 г. I: 270]. В Словаре Даля это значение иллюстрируют такие примеры: *гнездо рублей, гнездо пильщиков, гнездо изб* «рядом стоящие, вплоть приставленные две избы» [Даль I: 362]. Подобные более поздние факты естественным образом были связаны с остатками старого уклада жизни, элементами его материальной культуры. Сошлёмся на данные из псковских мест. Там в начале текущего века *гнездом* именовались два человека с лошадей, обслуживающие невод при зимнем лове рыбы; *гнездом* называли и пару корзин, которые прежде плели так, что одна корзина входила в другую, а потом, уже и не делая так, корзины по старому обыкновению продавали *гнёздами*, т. е. парами [СРНГ 1970, вып. 6: 237]. А в челябинских говорах в то же

время *гнёзда* означали игру в бабки, которые ставились попарно вдоль по направлению от играющих [там же].

Итак, угасание двойственного числа и невозможность во многих случаях выражения значения парности посредством предметных наименований привели сначала к восприятию русскими, а затем и распространению в их языке заимствованного слова *пара*. Оно оказалось как раз под рукой именно в это время. Замена некоторых старых средств обозначения двух однородных предметов, составляющих одно целое, заимствованием *пара* в масштабе всего русского языка растянулась на два с половиной столетия и сопровождалась развитием в слове, в основном в более позднее время, новых, как семантических, так и стилистических возможностей.

Одним из эпизодов этого развития явилось приобретение словом *пара* значения «несколько, немного, небольшое количество чего-либо», с которым в качестве разговорного, однако в пределах литературного языка, оно употребляется в наше время в случаях вроде *пара слов, на пару слов, на пару минут, через пару минут* и т. п. Сто лет назад стилистическая окраска аналогичного употребления слова *пара* была существенно иной. Тонкий знаток и художник слова В. И. Даль выражал решительное несогласие со словоупотреблением *на пару минут*, приводя при этом в виде правильных употребления слова *пара* в таких случаях, как: *пара сапог, пара перчаток, пара вёсел и супружеская пара* [Бессараб 1968: 239]. Возникшее в слове значение «небольшое количество чего-либо», по мнению Даля, более или менее литературным в то время ещё не было, хотя в Словаре церковнославянского и русского языка 1847 года уже находим одинокое выражение *позвать на пару слов* «пригласить на короткое совещание».

Историю укоренения слова *пара* в общем русском языке нельзя рассматривать односторонне – лишь с точки зрения влияния на русский западноевропейских языков. Заимствование это оказалось возможным не потому, что русский язык лишился средств выражения парности (предположение невероятное!), а потому, что его развитие вызвало потребность в более отвлечённом, более универсальном её выражении. Словом, развитие русского языка сыграло в истории данного заимствования вполне определённую, активную роль.

Распространение нового, в определённых условиях более совершенного, обозначения парности не означало полного забвения старых. Отдельные из них продолжали жить в языке художественной литературы. Возьмём, например, слово *чета*. Хотя в исторических словарях в подобном значении оно не представлено, сомневаться в его существовании в прошлом в данном значении едва ли возможно, по-

скольку исторические словари не охватывают всей древней лексики и многие памятники русской письменности пока ещё не исследованы.

Характерно, что Даль, основываясь на глубоком знании народных говоров, основной лексический состав которых восходит к далёкой старине, уверенно определяет слово *чета* как «двоица, пара, дружка, ровня, или союзный друг другу» и вслед за примером *брачная чета* «муж и жена» подтверждает это значение такими: *чета быков* «супруг или ярмо, упряжка», *чета подсвечников*. Далее приводится *четать* «признавать парой, дружкой; соединять четами, равнять, уподоблять, ставить парюю, за одно». В общем, имеем основания видеть в слове *чета*, наряду с другими, и старинное значение парности. Ср. в «Евгении Онегине»:

Однообразный и безумный,  
Как вихорь жизни молодой,  
Кружится вальса вихорь шумный,  
Чета мелькает за четой.

Или:

Но кушать подали. Четой  
Идут за стол рука с рукой.

В стихотворении Лермонтова «Родина»:

Люблю дымок спалённой жнивы,  
В степи ночующий обоз,  
И на холме средь жёлтой нивы  
Чету белеющих берёз.

Слово *гнездо* в качестве счётного (в смысле «два, две, пара») прозвучало в народном рассказе Л. Толстого «Упустишь огонь, не потушишь»: «Когда отстроилась деревня и дворы разместились шире, Иван с Гаврилой остались опять соседями, в одном гнезде». Такое употребление слова *гнездо* (в значении «две избы, стоящие рядом, отделённые от других дворов проездами»), в отличие от употреблений слова *чета* у Пушкина и Лермонтова, – явно просторечное, предопределённое и содержанием рассказа и его народной тональностью.

### 36. Предки-невидимки // Русская речь, 1983. – № 3. – С. 93-99

Развитие языка характеризуется наряду с другими и фонетическими изменениями. Вследствие этих изменений фонетический облик отдельных слов настолько расходился с первоначальным, обыкновенно передаваемым забвению, что в сознании новых поколений они невольно связывались с другими, случайно созвучными словами, и даже подвергались переосмыслению в соответствии с их значением. В своём первоначальном виде и смысле они выпадали из обихода и становились по отношению к своим фонетически изменённым и переосмысленным потомкам предками-невидимками. Особенно вольными были переосмысления собственных личных имён и фамилий. Объясняется это, видимо, тем, что соотносённость подобных наименований с людьми – носителями этих имён обычно является условной.

Истоки некоторых переосмыслений восходят к упрощениям групп согласных, которые (группы) начинают складываться в древнерусском языке во время прекращения действия закона открытых слогов. По этому закону слог оканчивался только на слоговой, то есть слогаобразующий звук, причём слоговыми, помимо гласных полного образования, являлись ещё ослабленные, так называемые редуцированные гласные, передаваемые буквами *ъ* и *ь*. В начальную пору исторической жизни древнерусского языка в нём получали завершение такие фонетические изменения, которые сводили на нет действие закона открытых слогов. Так, редуцированные гласные в одних положениях развились в гласные полного образования – *ъ* в *о*, *ь* в *е*, в других бесследно исчезли, не оставив фонетических преемников в виде *о* на месте *ъ* и *е* на месте *ь*: сравним древнерусское *сънь* и современное *сон*, древнерусское *дънь* и современное *ден'* (буква *ь* в написании *день* указывает на мягкость *н* в произношении, а гласного звука в данном положении с начала древнерусской эпохи уже не представляет). В результате исчезновения редуцированных открытые слоги превращались в закрытые: сравним древнерусское *сынъ* – из двух открытых слогов и современное *сын* – из одного закрытого; аналогичным образом соотносятся древнерусское *конь* и современное *кон'*. Бесследное исчезновение редуцированных внутри слов приводило к тому, что прежде разделяемые ими согласные оказывались соседними – появлялись стечения, группы согласных, иногда затруднительные для произношения. Со временем в устном употреблении, а порой и в письменном обиходе происходило их упрощение. Упрощались группы согласных и иного происхождения.



Иногда «подправленная» упрощением фонетика слова вызывала представление о такой его смысловой основе, которой в действительности не было. Возьмём фамилию *Постовалов*, или *Пустовалов*. В. А. Никонов объясняет её следующим образом: «Отчество от прозвища *Постовал* и диалектного глагола *постовать* – ‘соблюдать посты, поститься’. Фамилия легко переосмысливалась по звуковому сходству со словом *пусто*, поэтому чаще встречается в форме *Пустовалов*» (Русская речь 1978, № 6). В памятниках русского языка (а только в них и обнаруживаются интересующие нас предки-невидимки) появление названной фамилии рисуется иначе. Не связанная с глаголом *постовать*, она, по данным старой письменности, восходит к прозвищу *Полстовал*. Так нарекали человека, который валял шерстяные полсти. *Полстью* в старину называли толстый и плотный лоскут, тканый, плетёный, стёганный, а чаще всего валеный, сбитый (кошма, войлок), который служил в виде подстилки, покрывала, полога и т. д. В наше время слово *полсть* мало кому знакомо, принадлежит к устарелым и областным. Но ещё полтора столетия назад оно имело широкое распространение, дополнялось производными образованиями: *полстина*, *полстка*, *полстушка*, *полстинка*, *полстища*, *полстишка*; *полстевогой*, *полстяной*, *полстеватый*; *полстить* (шерсть), то есть ‘валять, сбивать в полсть, катать’. Например: «В громадных розвальнях... дремал укрытый тёплым кожухом и полстью старик» (Серафимович. «Месь»).

Памятники русского языка показывают, как постепенно *Полстовал*, с упрощением группы *лст* в *ст*, превращался в *Постовала*, *Постовалова*, а затем и в *Пустовалова*. Приведём несколько иллюстраций. В 1545 году в новгородских местах упоминают крестьянина Андрюшку *Полстовала*, а в 1616 году в Елецкой явочной книге встречаем жильца Карпа *Полстовала*. Через четыре года в воронежской таможене отмечают ельчанина Герасима прозванием *Полстовалова*, а не *Полстовала*. В 1647 году в Белгородской таможенной книге сообщают о Никитке *Постовале*, а в 1664 г. – в тех же южных краях упоминается Сергушка *Постовалов*. Вследствие наблюдаемого в русских говорах в положении после губных согласных, в данном случае *п*, более узкого произношения *о* появилась фамилия *Пустовалов*, а вместе с тем и обманчивая соотнесённость её с *пусто*.

В старом русском языке, наряду с *Полстовалом*, возможны были и *Сукновал*, и *Шаповал* и другие прозвища подобного типа, порождавшие соответственные фамилии. Если первые обладатели этих прозвищ *валяли* полсти, сукна или шапки, то *валявший* коней для холщования, так называемый *конский мастер*, а чаще *коновал*, наделялся прозвищем *Коновал*, откуда идут *Коноваловы*. Первоначальное значе-

ние слова *коновал*, а также и прозвища *Коновал* к нашему времени основательно забыто и словари регистрируют более общее: ‘знахарь, лекарь без специального ветеринарного образования, занимающийся лечением лошадей’, а в переносном смысле так называют вообще невежественного врача. С этим, а не древним значением связывают фамилию *Коновалов* в наши дни.

Фонетические явления, которые обусловили преобразование *Полстовала* в *Постовала*, *Постовалова* в *Пустовалова*, – явления общерусские. В некоторых же случаях необыкновенные изменения личных собственных имён объясняются явлениями диалектной фонетики. Любопытны судьбы отдельных имён и производных от них образований, фонетические «переодевания» которых на протяжении трёх-четырёх веков происходили в южновеликорусской области.

Обратимся к фамилии, под которой известен замечательный исследователь памятников древнерусской письменности К. И. Невоструев. Фамилия представляется неясной, поскольку суффикс принадлежности *-ев* (ср., например: Василий – Васильев) предполагает её образование от личного имени *Невоструй*, а такого имени сейчас нет. Не идёт ли фамилия *Невоструев* от забытого предка-невидимки? Материалы старинной русской письменности отвечают на это утвердительно. Помимо собственных личных имён, которые достались нашим предкам вместе с принятием христианства как заимствования из греческого (Андрей, Елена, Иоанн – в русском звучании Иван, София, Федор и многие другие), на Руси в течение длительного времени, вплоть до середины XVII века, употреблялись и старинные славянские имена, такие, как *Добрыня* (добрый), *Ждан* (жданный, желанный), *Нечай* (нечаянный), *Поздняк* (поздно родившийся), *Ряха* (нарядный, аккуратный), *Третьяк* (родившийся третьим) и прочие. В числе старинных славянских имён бытовало и *Неустрой* (неустроенный). Употребление этого имени, подобно другим славянским, было общерусским, но в южновеликорусских фонетических условиях, в отличие от северновеликорусских, оно подвергалось значительным изменениям. В северных краях *Неустрой* и *Неустроев* обыкновенно сохранялись в традиционном виде, и внутреннее строение данных слов, их внутренняя форма оставались ясными. В области южновеликорусского наречия фонетические условия их существования были несколько иными. Там, в определённых положениях происходила, как и в наши дни, мена *у* и *в* – говорили: *устретить* вместо *встретить* и, напротив, *встроить* вместо *устроить* и т. д. В результате *Неустрой* и *Неустроев* становились *Невстроем* и *Невстроевым*, словом, принимали такой облик, что внутренняя форма их затушёвывалась, образование их становилось

неясным. Затем, а возможно и одновременно, внутри группы согласных *встр* развивался гласный элемент и тогда появились *Невострой* и *Невостроев*. Гласный *о*, на который в древности падало в слове восходящее ударение, в говорах русского языка иногда произносился более закрыто, в виде гласного, склонного к *у*, а порой совпадал в звучании с *у*. Отсюда – *Невоструй* и *Невоструев*.

Моменты такого постепенного преобразования рассматриваемого имени прослеживаем в памятниках южновеликорусского происхождения. Самое раннее упоминание о нём заключает данная грамота Матрёны Заболоцкой, владевшей землёй в Новосильском уезде, в которой она, по завещанию мужа, в 1570 году передавала вотчину монастырю. Среди свидетелей этого акта, как тогда говорили – «послухов», записан и некий *Неустрой* Шеметов сын Шелепина. В 1605 году в список служилых людей в Ельце включают *Неустройку* Клюева, а в 1616 в одной из елецких записей называется *Неустройка* Михайлов. Через год елецкий стрелец Гришка пишется уже *Неуструая*. В 1623 году, заверяя документ на владение поместьем, расписывается воронежец *Неустрой* Тарарыков, а писец выводит – *Неуструй*, с *Неуструям*. В тридцатые годы XVII века начинают писать *Невструй*, *Невструев*. Появление гласного после *в*, в результате чего *Невструевы* превращаются в *Невоструевых*, по-видимому, следует относить к XVIII веку.

Современная фамилия *Волобуев* предполагает прозвище *Волобуй*. Это слово в составе фамилии *Волобуев* невольно сближается в современном сознании с частично созвучным определением *буйный* или старинным словом *буй* в значении ‘дикий, сильный’, а в первой части прозвища и соответственной фамилии, естественно, усматривают указание на вола. Таким путём, на первый взгляд, получается нечто вразумительное: *Волобуй* представляется сложным словом, означающим буйного вола. Однако самое строение слова выглядит искусственным: русская норма в сложных словах, образованных посредством сочетания основы имени прилагательного с основой имени существительного, отводит основе прилагательного непременно первое, а не второе место (*суходол*, *чернозём*, старинные прозвища *Белоус*, *Дубонос*, *Толстоух*, *Худоног*, *Черногуб* и т. п.). Напротив, если на первом месте – основа имени существительного, второе остаётся за глагольной основой: *водовоз*, *дровосек*, *кашевар*, *рыболов*, *скотовод*, *хлебонёк*, *шерстобит* и т. п.

Именная основа в таких словах знаменует объект действия, а глагольная основа – действие. Выходит, образование подобного типа является и прозвище *Волобуй*. Но если *у* в положении под ударением могло развиваться из *о* закрытого (ср. *Неустрой* и *Неуструй*), право-

мерно искать в старинных текстах фамилию *Волобоев*. Образование последней прозрачно – восходит к прозвищу *Волобой*. Так называли человека, который *бил*, колот *волов*, промышлял боем скота, занимался мясной торговлей. Разыскания в старинных текстах выявляют такие факты: в первой половине XVII века в Белгородском, Курском и Орловском уездах отмечаются *Волобоевы*; тогда же в курской округе появляются и *Волобуевы*, а среди орловчан *Волобуевы* обнаруживают себя ещё ранее – со второй половины XVI века [Веселовский, 1974]. На протяжении XVII века в южновеликорусской области *Волобоевы* уступают место *Волобуевым*. То же самое происходит и в других концах России, так как способствующее превращению ударяемого гласного *о* в *у* влияние предшествующего *б* сказывалось повсюду.

Своеобразна фамилия *Хаустов*. Ни с какими иными словами в современном русском языке она не перекликается. Да это и неудивительно: огласовка *ау* – явно не русская, поскольку фонетика русских говоров исключает непосредственную сочетаемость гласных. Неслучайно *ау* в народных говорах обыкновенно расчленялось согласным *в*, почему, например, усвоенное русскими тюркское слово *караул* превращалось в говорах в *каравул*. Да и *х* в фамилии *Хаустов* – не обязательно *х* исконное. Во многих русских говорах, в особенности южных, оно заменяет согласный *ф*, представленный в иноязычных словах. Памятники южновеликорусской письменности убедительно показывают, что именно с этим и связано рождение фамилии *Хаустов*. Она появилась вследствие приспособления имени немецкого происхождения к русской народной традиции образования имён посредством суффикса *-ов*. В 1638 году в Курском уезде отделяли землю сыну боярскому Михайле *Фаустову*. Составлявший соответственный документ дьячок Лучка Булатников сначала правильно вписал в него Михайлу *Фаустова*, затем его же обозначил как Михайлу *Хаустова*, потом назвал и *Фоустовым* и, наконец, снова *Хаустовым*. Перед нами – живой, выразительный пример приспособления несколько непривычного слова к условиям русской народной фонетики. Произношение *Фоустов* вместо *Фаустов* явилось следствием особенно закрытого произношения подударного *а*, а закрытость *а* была обусловлена влиянием соседних «огублённых» звуков – предшествующего *ф* и последующего *у*. С подударным *о* вместо *а* пишет свою фамилию в тридцатые – пятидесятые годы новосилец Володька *Фоустов*. Старательно следуют этой норме новосилец Якушка Автономов и ельчанин Федька Спесивцев. В 1675 году в сказках ельчан отмечаются варианты *Фоустов* и *Хоустов*. Приспособление фамилии к русской фонетике выражалось и в появлении *в*

между гласными звуками *о* и *у*. Например, орлянин Петрушка Сбитый в 1637 году четырёхжды вывел: *Фовустова*.

Остаётся добавить следующее: в основе своей немецкая, в славянской среде оформленная посредством суффикса *-ов*, рассматриваемая фамилия, по всей вероятности, появилась вначале в южновеликорусских говорах. В то время через посредство этих говоров поступало в русское употребление заметное количество заимствований из украинского и польского, а также западноевропейских языков. Характерно: в известных словарях русских личных собственных имён [Тупиков 1903; Веселовский 1974]. *Фаустов* и *Хаустов* не отмечены. Попадая в русский литературный язык в письменной форме *Фаустов*, фамилия могла её сохранять.

В фонетическом преобразовании отдельных фамилий в условиях южновеликорусского аканья сказывалось и влиятельное на Юге соотношение: *а* – в безударном положении, *о* – под ударением. Возможно, именно потому южане, по данным старых текстов, наряду с *вада* и *воды*, говорили: *платить* и *плотишь*, а не *платишь* и т. д. Заглянем в Курскую отказную книгу. В 1639 году один из её писцов Васья Аносов сообщает о поместье *Дериглазова* и тут же дважды называет Федора *Дериглозова*. В прозвище *Дериглаз* и производном образовании *а* находилось под ударением. Этим и было обусловлено вытеснение его ударяемым *о*. А затем, приобретая в произношении всё более и более закрытый характер, это *о* превратилось в *у*, и в 1662 году в другой Курской отказной книге упоминается уже Федор *Дериглузов*. В результате изменения огласовки фамилия лишилась внутренней формы, так как ясная в смысловом отношении её вторая основа *глаз* превратилась в какое-то непонятное *глуз*. Словом, фамилия *Дериглузов* оказалась в полной отрешённости от первоначальной *Дериглазов*.

В не менее существенные фонетические преобразования вовлекались и христианские имена, хотя употребление их в определённой форме постоянно поддерживалось церковной письменностью. Ограничимся лишь одним примером. В ряду многочисленных русских прозвищ *Орех* производит впечатление обычного, поскольку старинной письменности знакомы также *Арбуз*, *Берёза*, *Горох*, *Капуста*, *Огурец*, *Перекати-поле*, *Цветок*, *Чеснок* и некоторые другие прозвища, соотносимые с наименованиями растений. В писцовой книге, составленной в конце XV века, упомянуты крестьяне Орефка *Орех* и Ивашка *Орех*, в середине XVI века – Иван Иванович *Орех* Коверин, в начале XVII века Митька Григорьев сын *Орех*. Вместе с тем слово *Орех* выступает и в качестве личного имени. Называются: крестьянин *Орех* Логинов сын (1535 г.), смоленский подьячий *Орех* Алексеев (1610 г.),

белозерский посадский человек *Орех* Иванов; воронежский сын боярский *Арех* Хованской, елецкий сын боярский *Орех* Филонов, *Арех* Филонов. Применение такого «растительного» прозвища как личного имени вызывает сомнение. И вот почему. Во-первых, эти случаи – более или менее поздние, принадлежат XVI–XVII векам, когда использование нехристианских имён было уже основательно ограничено употреблением христианских. Во-вторых, и прежде присвоение новорождённому тех или иных нехристианских имён имело такие семантические основания, из которых не вытекало наречение новорождённого ни с того, ни с сего *Орехом*. Именовали младенцев обыкновенно по другим, более естественным основаниям: по времени или порядку рождения (Поздняк, Первуша), по тому, с какими чувствами ожидали рождения младенца (Ждан), по его внешним признакам (Некрас, Добрыня) и т. д., в более старшем возрасте – по склонностям характера (Всполох, Докучай, Лихой, Росстегайко и т. д.). А прозвища, которые давали взрослым, не заменяли полученных при рождении имён, приобретали характер фамильных обозначений. Не скрывалось ли за прозвищем *Орех* изменённое обыкновенное личное имя? Не таилось ли за *х* иноязычное *ф*? Если – да, искомое имя – *Ореф*. Отмеченный выше *Орефка Орех* подтверждает существование такого имени. *Ореф* – от *Орефий* (точнее: *Арефий*), так же, как *Игнат* – от *Игнатий*, *Прокоп* – от *Прокопий* (точнее: *Прокофий*) и т. д. *Ореф* в народных говорах звучало как *Орех*, при аканье – *Арех* и обретало облик прозвища.

Возвращаясь к фонетическим изменениям, заметим: в именах и фамилиях с ясной семантикой (*Полстовал* – *Полстовалов*, *Волобой* – *Волобоев*, *Неустрой* – *Неустроев* и т. п.) фонетические изменения сами по себе не вызвали семантических изменений, но, сближая эти имена и фамилии по внешнему виду с другими словами, создавали условия для их переосмысления.

### 37. От линейной меры к качественной // Русская речь. – 1985. – № 5. – С. 138-141.

О близости к какому-либо месту в народе говорят: *рукой подать*. Ср.: «Съездили бы мы с тобой в красноярский скит. Отсель рукой подать, двадцати вёрст не будет» (Мельников-Печерский. В лесах); «Как с последней станции выедешь – всё перед глазами, словно вот рукой до города-то подать» (Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи); «Парню-то и до дому рукой подать, – сказал первый из моих знакомых, – и всего-то версты четыре, из Песошной» (Короленко. Река играет). Напротив, о чём-то отдалённом и, в силу этого, недоступном иногда говорится: *рукой не достать*. Ср.: «Такой-то ли купчина богатый стал, рукой не достанешь» (Левитов. «Степная дорога днём»). В Словаре В. И. Даля в значении «близко» приводится и *рука подать*. Несвойственное в наше время русскому языку, это выражение представляет собой остаток широко употребительной в старинном русском языке конструкции неопределённая форма глагола + именительный падеж на *-а*, которая ныне ещё бытует в некоторых северновеликорусских говорах: *баня топить* вместо *баню топить* и т. п. Таким образом, *рука подать* по смыслу то же, что *рукой подать*.

Народные выражения *рукой подать*, *руку подать* или *рука подать* намекают на то, что рукою мерили длину. Обращение к истории позволяет установить: первоначально эти выражения означали «расстояние в длину руки», а затем постепенно приобрели общее значение «близко». Известно, что линейными мерами, то есть мерами длины, служили и части руки. Вспоминается прежде всего *локоть*. Под *локтем* в этом смысле подразумевали часть руки книзу от локтевого сустава. Длина фаланги указательного пальца явилась основой меры *вершок*. А *четверть* (аршина) или *пядь*, в которую входило четыре вершка, толковалась как «протяженье меж большого и указательного перстов, растянутых по плоскости» [Словарь В. И. Даля]. Так как меры, основу которых составляли рука и её части, являлись особенно употребительными, а рука могла быть большей или меньшей, со словом *рука* постепенно связывалось и общее значение «размер». Вследствие этого в ряду однородных предметы разных размеров получали названия предметов *большой*, *средней* (либо *середней*) или *малой руки*.

В старинной письменности делового содержания подобные общие определения размеров были вполне обычными. Так, в симбирской приходо-расходной книге 1667 года записано 106 ковшов малой руки, 25 ковшиков средней руки, 10 ковшиков большой руки. Любопытно, кстати: ковши здесь названы сосудами *малой руки*, а ковшики –

*средней и большой руки*; видимо, уже тогда уменьшительное по происхождению слово *ковшик* не имело значения уменьшительности. В монастырской приходо-расходной книге, составленной в Суздале в 1697 году, читаем: горшков большей руки и малой полторы сотни; в архангельской таможенной книге начала XVIII века: десять тысяч булавак большой и малой руки, шесть косяков луданов (название ткани – С.К.) малой руки... четыре косяка пестреди красной средней руки; в Материалах для истории Академии наук 1728 года упомянуты календари малой руки. Иногда линейным образом характеризовали не предмет в целом, а его особенно важный признак, скажем, ширину, как в одном из сенатских документов 1713 года: солдатских клинков широкой руки 10 000. Ср. определение товара по толщине: купили полотна толстой руки сто тридцать девять аршин [Кн.прих.-расх. Ивер.м. 1665 год. – Картотека ДРС].

Различия в величине однородных предметов во многих случаях предопределяли их качественные различия, сортность. Например, крупные, спелые плоды превосходили по вкусовым свойствам мелкие, неспелые и потому ценились дороже; в других случаях, напротив, высокое качество и, естественно, большая стоимость товаров связывалась с их миниатюрностью. Всё это неизбежно приводило к тому, что выражения *большой, средней* (либо *средней*) или *малой руки*, а также *широкой, толстой руки* постепенно приобретали в дополнение к первичному – линейному и производному от него объёмному значению вторичное – качественное значение. Со временем указанные выражения настолько специализировались, что иногда в торговом обиходе предпочитались однословным синонимам. Сошлёмся на пример, приведённый выше: купили не просто *толстого* полотна, а полотна *толстой руки*. Товар, удовлетворявший торговому спросу, слыл товаром *торговой руки*: «гречи, что умолочено, – писал в конце XVII века рязанский вотчинник Михалков, – всю делать в крупы чисто гораздо на торговую руку». Сложилось и другое, сходное по смыслу выражение – *на купеческую руку*, которое в прошлом могло означать «отвечающий требованиям купцов», иначе говоря, покупателей, поскольку последних в старину называли также купцами, в отличие, по-видимому, от торговых людей, основным занятием которых являлась торговая деятельность. В определении *купеческий* естественным образом развилось значение «богатый». Ср. отголосок этого значения в тексте художественного произведения: «Мелькали новые постройки на каждом шагу, и все на купеческую руку» (Мамин-Сибиряк. «Золотая ночь»). Богатство проявлялось и в щегольской одежде. Отсюда выражение *на щегольскую руку*.



Приобретая всё более отвлечённое значение, подобные качественные определения стали со временем применяться и по отношению к таким предметам, которые конкретно, наглядно представить невозможно. Приведём несколько примеров. «Посмолкли женихи, годка два перепали; Другие новых свах заслали: Да только женихи средней уж руки» (Крылов. «Разборчивая невеста»); «У её покойного мужа жил в Москве дядя, оригинал большой руки... капризный холостяк, преумный, препраздный и, в самом деле, пренесносный своей своеобычностью» (Герцен. «Кто виноват?»); «Мартышка к старости слаба глазами стала; А у людей она слыхала, Что это зло ещё не так большой руки, Лишь стоит завести Очки (Крылов. «Мартышка и Очки»). Используемые для качественной оценки действий, подобного рода обозначения становились обстоятельными: «Поправление и отделка сия стоила нам не одну тысячу, ибо генерал отделивал покой сии с пышной руки и не жалел ни мало денег» (Записки Болотова); «Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку хлебосольно устроить пир» (Толстой. «Война и мир»); ср. параллельные выражения примерно того же смысла: «Вообще живёт она на широкую ногу: нашла другую дачу – особняк с большим садом и перевезла в неё всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера» (Чехов. «Скучная история»); «Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги» (Тургенев. «Накануне»).

Различаемые по внешнему виду, размеру или качеству товары, ремесленные и промышленные изделия именовались товарами *разных*, а то и *всяких рук*. Так, в описании заводов 1735 года говорится об изготовлении вновь и починке «старых разных рук мехов на все заводы и фабрики». Ср.: «В сем году... собрано было многое число тысяч меди, от которой учинено, чаю, с триста пушек и со сто мортиров всяких рук» (Архив Куракина, 1702 г.). Определение *всяких рук*, притом применяемое к людям, бытовало и в фольклоре: «посылал Владимир князь искать таковых людей всяких рук и собрали весёлых молодцов на княженецкий двор» (Кирша Данилов). Среди умельцев всяких рук наиболее искусные мастера, способные изготовить любое изделие, владевшие рядом умений, звались *мастерами на все руки*. Употребителен этот фразеологизм и в наше время, главным образом в том значении, которое находим и в Словаре В. И. Даля: «Он на все руки, всё умеет». В современном русском языке выражение *мастер на все руки* – едва ли не то же самое, что *швец и жнец, и в дуду игрец*. Употребляемое в обиходной речи, оно звучит и в художественных произведе-

ниях: «...тут был и наш восхитительный барон L, этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер» (Тургенев. «Дым»); «Ольга. Он [Андрей] у нас и учёный, и на скрипке играет, и выпиливает разные штучки – одним словом, мастер на все руки» (Чехов. «Три сестры»).

Проходя через руки перекупщиков, товары всегда дорожали, иногда снижалась их добротность. Поэтому предпочтение отдавали товарам, приобретённым не у перекупщиков, а, как говорили, *из первых рук*: «Из города вздумалось нам махнуть в Москву, так как порешили мы завести вот эту самую лавку... а порешивши это дело, задумали закупать товар в Москве, из первых рук» (Г. Успенский. «Из деревенского дневника»). Приобретаемые из первых рук и потому более дешёвые, порой и более высоко качества, такие товары именовались товарами *первой руки*. В окачествлении этого выражения могло сыграть известную роль сближение с таким, как *первой статьи*, означавшим «первого разряда, сорта», представленным, например, в десятнях XVI–XVII вв. В них военнотружильные люди относились к той или иной статье в зависимости от величины их денежного жалования и поземельного оклада.

По мере окачествления рассматриваемых выражений слово *рука* в их составе настолько теряло свою самостоятельность, свой первоначальный смысл, что становилось синонимичным слову *сорт*. Выразительный пример такой эволюции встречаем в одной из сенатских бумаг 1711 года: «Иноземец Андрей Стельс ставит в Приказ Артиллерии порох трёх рук: пушечный, мушкетной и ручной».

В истории рассматриваемых выражений прослеживается развитие их семантики от линейной и объёмной к качественной. Это – одно из бесчисленных проявлений поступательного движения общественной мысли от конкретного к абстрактному, движения, в конечном счёте определяемого всем развитием общества и в то же время содействующего этому развитию.

**38. Из истории термина *однодворец* // Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сб. статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. – М., 1970. – С. 161-164.**

В населении русской степной окраины выделялась значительная группа, носившая название *однодворцев*. Эта группа образовалась из военнотружителей людей, оберегавших русские земли от нападений степняков. Генетически связанное с местным явлением в сфере социального уклада, слово *однодворец* и в дальнейшем, если говорить о его бытовании, оставалось в сущности локальным. Повседневное и массовое его употребление замыкалось в пределах области, где обитали однотворцы. Только там оно функционировало в условиях живой, непосредственной соотнесённости с объектом номинации. Его спорадическое проникновение в художественную литературу и деловую письменность, а также включение в словари без пометы «областное» ещё не свидетельствует о распространении в общерусском масштабе. Последнее маловероятно хотя бы потому, что обозначаемая как *однотворцы* группа населения в социально-экономическом отношении постепенно ассимилировалась с крестьянством, сохранив лишь незначительные диалектные особенности и некоторые приметы этнографического свойства [Зеленин 1913: 52-73]. О том, что название *однотворец* долго считалось бесспорно локальным, можно судить по данным словарей – впервые оно зарегистрировано в «Словаре Академии Российской» в 1822 году.

Относительно времени появления этого названия и степени его распространения единого мнения нет. В одной из работ последних лет об однотворцах сообщается следующее: «Исторические источники показывают, что термин однотворец получил широкое распространение лишь после переписи 1719 г. По этой переписи в разряд однотворцев попали как потомки служилых людей “по прибору” (стрельцов, затинщиков, пушкарей), получавшие небольшие земельные держания, зачастую с одним только двором (откуда и термин *однотворец*), так и мелкие служилые люди “по отечеству” (потомки бояр и детей боярских)» [Ганцкая, Лебедева, Парникова 1960: 176].

Если иметь в виду положение в южновеликорусской области, пожалуй, можно сомневаться в том, что вплоть до XVIII в. этот термин был не особенно распространённым. Ссылку на “исторические источники” нельзя признать убедительной, так как южновеликорусские из них мало кем исследовались, а относительно публикаций их и говорить не приходится. На том же основании и материалы картотеки Древнерусского словаря (ДРС) в Институте русского языка АН СССР

признаём односторонними. В них упоминания об *однодворцах* принадлежат главным образом XVIII веку и представлены преимущественно в документах центральных властей, а не в локальной письменности. Сведения более ранние и при этом с южной окраины в ДРС очень скудны.

Приведём и наши данные, и учтённые в ДРС: был на Ливнах дозорщик Пётр Есипов с товарищи, писал, государь, у нас, холопей твоих, по 2 двора в четверть крестьянских и бобыльских, а за *однодворцы*, государь, писал та-ж по четверти (Ливны 1630, Акты писцового дела, II, вып. I: 183); бьют челом черняне, детишки боярские, бедные и разоренные, которые *однодворцы*, всем городом... а емлют с нас с *однодворцов* (с) старых с дозорных книг всякие твои государевы подати (Чернь 1636, АМГ II: 32); а без вести их [сотни со сторож] в городе держать не велеть, потому что они бедные *однодворцы*, работают сами для себя (Лебедеянь 1638, АМГ II: 67); им [стрельцам и казакам] твои государево денежная жалованья дают, да они ж пожалованы твоим царским жалованьям, пашнею и лугами, а у нас, холопей твоих, пашни и лугов нет, *однодворцы* (Воронеж 1641, Дон.д.П, 141); двор старостин, да двор крестьянской, да 2 бобыльских, да боярские дети *однодворцы* четыре двора (Чернь 1689, П.А.Соловьёв. Сарайск и Крутицк. епархии, III, 233); в текстах XVII в. упоминались также *однодворцы* переяславль-рязанские (АМГ II, 63), мещерские (там же: 242), рязанские (там же: 245-246), пронские (там же: 662); в смежности та земля з землями того села Покровского *однодворцов*... в смежности ж з землею *однодворцов* же Матвѣя Мальгина Якова Шелимова с товарищы (Орёл 1712, РГАДА, ф. 1283, № 107).

Появление слова *однодворец* в интересующем нас социальном значении имело своей предпосылкой существование в русском языке структурно сходных образований, выступавших с иной семантикой. Ср.: торусской розборной десятне... написан в городских в 400 четьях Петр Григорьев сын Мартынов, вотчины за ним в Торусе 70 четьи пусто, живет он в ней *однодворкою*, и после розбору Петр Мортынов в конную службу не написан (Торуса 1626, АМГ I: 240). Не является ли здесь образование *однодворкою* приложением к подразумеваемому образованию *усадьбою*? Ср. далее замечание Д. К. Зеленина: «Термин *однодворец* встречается уже в актах XVII в. и означает там помещика (т. е. владеющего землёю на поместном праве), у которого не было даже и пустых крестьянских дворов; “живёт *однодворком*” говорят про таких помещиков акты, – и здесь мы имеем ясную и бесспорную этимологию этого слова, созданного отнюдь не искусственно» [Зеленин 1913: 41].

Вернёмся к отмеченной выше ассимиляции однодворцев с крестьянским населением, начало которой было связано с превращением однодворцев при Петре I в низшее податное сословие. Положение их в следующем столетии рисуют, скажем, такие строки: «Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь верёвочная» (Тургенев. «Однодворец Овсянников»); «А Мавра Петровна отличная была женщина. Она была взята из однодворок и пошла в крепость от нужды горькой, потому что у нас в округе иные вольные в ту пору ещё хуже крепостных живали: бедность страшная» (Лесков. «Житие одной бабы»). Следствием указанной ассимиляции явилось преобразование значения соответствующего термина – приобретение им диалектно-этнографического характера. Изменение это между прочим было засвидетельствовано в произведениях писателей-южновеликорусов: «Что [Яков] однодворец, сразу заметно – по говору» (Бунин. «Божье древо»); «...барские не упустили случая посмеяться над однодворцами и передразнить их говор: *каго* и *чаго* вместо *ково* и *чево*, *що* вместо *што* – поглумиться над их манерой одеваться: толсто навёртывать онучи, носить широчайшие, с бесчисленными складками сапоги, кафтан с приподнятыми плечами и высоким воротом, уродливые кички и панёвы у баб. По праздникам барские и однодворцы не ездили друг к другу. Даже в церкви норовили становиться отдельно. Почти не было примеров, чтобы барскую девку отдавали за однодворца или однодворку за барского» (Эртель. Гарденины).

Однодворцев наделяли прозвищами, навеянными, по-видимому, известным своеобразием их диалектной речи: «Дурновка была “барская”, а на мысу обитали “галманы”, “однодворцы”» (Бунин. «Деревня»); по сообщению Даля, *галманами* в воронежских местах обзывали однодворцев (Даль II: 351); в отвлечении от однодворцев слово *галманы* употреблялось в смысле «неслухи» [И. С. Мценские идиотизмы и пословицы // «Москвитянин», 1850, ч. 1]. В «Гардениных» Эртеля: «– Мартин Лукьяныч, – вдруг вскрикнул староста Ивлий, зорко всматриваясь в степь, – ведь это никак галманы шляются?! Беспременно они сурков ловят». В других местах по свойственному однодворцам произношению местоимений, вроде *яго*, *маяго* и под., барские обзывали однодворцев *ягунами*. Так было, например, в Малоархангельском уезде Орловской губернии [Котков 1950: 60–61].

Проявление известной отчуждённости между однодворцами и барскими порождалось определёнными условиями крепостнического строя. Однодворцы со временем вошли в состав государственных, или казённых, крестьян, «...в глазах помещичьих крестьян положение их

соседей и собратий – крестьян государственных – казалось желанным и близким идеалом; несмотря на феодальную зависимость, государственные крестьяне, по крайней мере во внутренних губерниях, чувствовали себя относительно свободными... Соседство казённых деревень, которые жили более свободной жизнью, воздействовало на настроение помещичьих крестьян и поселяло в сознании крепостников ощущение настороженной тревоги» [Дружинин 1946: 120]. Во второй половине XVIII в. и первой трети XIX в. помещики широко практиковали насильственный захват казённых земель, в том числе однодворческих. При таком обострении отношений между помещиками и однодворцами первые, естественно, особенно стремились изолировать своих крестьян от соседей-однодворцев.

В условиях советского строя пережитки старых отношений между потомками крепостных и однодворцев, понятно, скоро исчезли.

**39. Из старых южновеликорусских параллелей к лексике «Слова о полку Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. – М.;Л., 1961. – С. 65-74.**

Наблюдения над лексикой коренных южновеликорусских говоров вскрывают некоторые интересные факты, в которых можно видеть более или менее ясные параллели к лексическим элементам «Слова о полку Игореве». Речь идёт о древнерусском лексическом наследии в южновеликорусских говорах, а не о прямых, непосредственных связях фактов южновеликорусской стихии с теми или иными элементами «Слова». Первые результаты изысканий, проведённых в этом направлении в пределах курско-орловских говоров, изложены нами в специальной статье [Котков 1954]. С незначительными дополнениями, извлечёнными из памятников XVII в. южновеликорусского происхождения и произведений А. И. Левитова, статья опубликована в брошюре, изданной к IV Международному съезду славистов [Котков 1958]. Придавая особое значение свидетельствам древних текстов, приуроченных к той области, с которой особенно тесно связаны события героической поэмы, мы обратились к памятникам XVI–XVII вв., относящимся к Рыльску и Путивлю. Изучение писцовых книг Рыльска и Путивля показало, что и в них заключаются параллели, имеющие несомненный научный интерес. В настоящей работе мы представляем материалы, заимствованные из рукописных источников, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов и в Курском областном архиве. Нам кажется, что эти материалы могут быть приняты во внимание при освещении некоторых тёмных мест в «Слове о полку Игореве», а также в характеристике его лексического состава.

**1. У Плѣсьнска на болони**

В «Объяснении некоторых топографических терминов», предпосланном списку населённых мест Черниговской губернии, сообщалось: «Оболоньем – называются вообще луга при реке. В северных же уездах – часть луга при речке, находящаяся в селении или около него, служащая собственно для выгона домашнего скота» [Списки 1866: LIX]. Определение оболонья как места, отведённого для выгона скота, надо думать, вторичное; значение более раннее – «луга при реке». О том, что это значение далеко уходит в прошлое, судим по данным памятников XVI–XVII вв., имеющих отношение к Новгород-Северской земле.

Перед нами – поздний список жалованной грамоты Ивана Грозного, данной в 1551 г. Новгород-Северскому монастырю на вотчины в Путивльском и Новгород-Северском уездах. Обращаем внимание на следующие места: «...да на Вети речке на малои оболонье по обе стороны... сенные покосы по оболоням... по речке по Ивоте вверх рыбные ловли и перевесья да два еза по оболоня по речку по Селичку и по оболонью Ивоцкому» [РГАДА, ф. 124, № 1: 1-3].

Интересный материал содержит выпись из Рыльской писцовой книги 1628 г. Выпись была дана в 1695 г.

«...владеть города Рылска градским жителем... Семским лесом и лугом и полянки и оболоньи с лозами под городом Рылском вверх по реке по Семи по обе стороны от устья реки Рылы да по другую сторону белгородской дороги от городского бору по дачю села Березников и по речку Избицу... города Рылска градским жителем владеть за рекою Семью против города Рылска градским бором и дубровою и Семьским лугом и лесом и оболоньем по писцовым книгам Петра Мусорского 136-г[о] и 137-г[о] году а Семским же лесом и лугом и полянки и оболони и лозами по обе стороны реки Семи... животинным выпуском около города Рылска подле земляного валу и оболоньем что подле Чортова кургана и леском Колодежным и прогонною землею по обе стороны речак Дублянак... межа градскому лесу и бору и дубровкам и оболонем от озера Уюнища от нижнего конца до ильма маладого» [КОА, колл. Краеведч. музея № 15.– Выпись неудовлетворительно воспроизведена в ст. Ефременко 1928].

В мировой записи, составленной в Карачеве в 1650 г.: «...подад государеву судимую грамоту во владенье монастырьские вотчины реки Ресеты да селища Арханильскаго и лугов и оболонев» [ГКЭ, № 3/5941: 1].

Заклѹчѣнные в старых актах сведения в известной мере разъясняют значение слова «оболонье», или, с утратой начального гласного, «болонье». Варианты его перевода многочисленны: равнина, плоскость, низменное место, болото, луг, поѣмный луг, лес, лесное место, дебрь, подгорье, выгон, всполье, околица, предградье, окраина города, ближайшая окружность города, пространство между валами, свободное пространство перед городскими стенами и др. [см., например: Барсов 1890: 33-35; Орлов 1946: 117; ЛихачѢв 1950а: 427]. Считаясь с различием его значений по древнерусским областям, что вполне вероятно, мы всё же имеем основания, уясняя его значение в «Слове», привлекать прежде всего данные из области Новгород-Северской. В актах «оболонью» противопоставлены названия других элементов ландшафта, и поэтому можно судить, что «оболонье» – это не просто луг, не



выгон и не лес, а также не болото, поскольку далее в Рыльской книге (место не приводим) упоминаются и болота.

Помимо того, что содержание актов не позволяет усматривать в «оболонье» болото или выгон, луг вообще или лес, они дают указание на его территориальную близость к реке. В этой связи укажем, что в более позднем источнике, имеющем отношение к той же области, говорится о селении Оболонье, при котором протекает река Десна [Мельхиседек 1844: 12; ср.: Списки 1866: 90]. Опубликовавший Рыльскую выпись С. Н. Ефременко пишет между прочим: «Чертов курган, который был при впадении реки Рылы в Сейм... давно уже разрушен (смыт) водою – весенними разливами, когда он почти весь покрывался водою. В настоящее время северо-восточная окраина города называется в народе просто “курган”» [Ефременко 1928: 67]. Имеем основание полагать, что «оболонье» в наших источниках служит скорее всего названием заливного, поёмного луга или подгорья.

Н. В. Шарлемань, сообщая о «болонье» под Киевом, говорит, что позже это место называлось «оболоньем» [Шарлемань 1950: 211]. Напротив, первоначальный вид слова – «оболонье» и затем, с отпадением *о*, – «болонье»: утрата начального гласного *о* в древнерусском была нередкой, а прибавление *о* в данном случае едва ли вероятно. И если в «Слове» находим вариант без *о* начального, то это легко объясняется ассимилятивным «поглощением» начального гласного *о* гласным *а* предлога: на оболони → на болони. Преимущественное употребление в древнерусском языке рассматриваемого слова как раз с предлогом *на* видно из коллекции примеров у И. И. Срезневского [Срезневский I: 145-146]. Вариант без *о* начального заключает, например, жалованная грамота 1621 г.: «по озерку... рыбная ловля болонья по обе стороны с урочищи» [Левитский 1905: 136]; «озерко Хотиш с ровцами с верхним и нижним и с болоньем» [там же: 139]. В писцовой книге 1653 г., приуроченной к Путивлю, говорится о сенных покосах возле озера Сапрыкина на Колчьем болонье [Материалы церк. 1913: 42].

Н. В. Шарлемань предполагает, что Плесенск (в «Слове» Пльсьнска. – *С.К.*) был в окрестностях Киева, «там, где в середине XIX в. была “Плоская часть”». Народ называл эти урочища Плоское или Плеске, очевидно, потому, что здесь холмы носили характер плоскогорья: на вершинах их были большие ровные пространства. Кроме того, к холмам примыкала обширная плоская пойма Днепра» [Шарлемань 1950: 211]. Хотя в «Слове о полку Игореве» и отмечена мена *е* и *ѣ*, в нём все же, как справедливо указывает С. П. Обнорский, нет материала для предположения о звуковом совпадении *е* и *ѣ*, мена их объясняется особыми причинами; в то же время, устанавливает С. П. Обнор-

ский, памятник содержит данные о звуковой близости ъ и и. [Обнорский 1946: 144]. В свете этих фактов соответствие ъ в составе «Плѣсньска» гласному о в «Плоском», если бы даже о и восходило к гласному е, не поддаётся объяснению. Да и в «Плѣснеск» от «Плеске», и «Плеске» как результат фонетической эволюции слова «Плѣснеск» не имеют оправдания в звуковых законах, действовавших в истории русского языка. Вместе с тем полагаем излишним указать на один из гидронимов в Путивльской писцовой книге 1594 г., который был отмечен в краю распространения названий «болонье», «оболонье»: «Михайлко Иванов сын Барсуков поместья за ним старого по государеве по ввозной грамоте ужожи бортнои в Городецкой волости на речке на Плесне» [РГАДА, Поместный приказ, кн. 367: 43 об.]. Между прочим, подобный гидроним обнаруживаем и в белёвских книгах 1614 г.: «два жеребья сельца Олтухова, на р. на Плесне... сена по р. Плесне от Афонасьева рубежа Бунина большой луг, и от большого лугу вниз по Плесне по Семенов рубеж... да лесу пашеннаго по обе стороны р. Плесны по кое место плесенские отвершки» [Елагин 1858. Приложение: 3]. Названия старых городов, образованные от названий рек посредством суффикса *-ьск*, как известно, довольно обычны. На южной территории известны: Курск (река Кур), Мценск (река Мецна), Рыльск (река Рыла), Севск (река Севь). Образование «Плесньск» от «Плесны» было бы естественно.

## 2. бѣша дѣбрь Кисаню

К словам «У Плѣсньска на болони» примыкает выражение «бѣша дѣбрь Кисаню». «Есть основание думать, – замечает Н. В. Шарлемань, – что “дѣбрь Кисаня” – это “дѣбрь Киянь”, лес в овраге, прорытом речкой, а впоследствии ручьём Киянью (потом Киянкой)» [Шарлемань 1950: 209]. Развивая предположение о существовании близ Киева речки или ручья Кияни, Н. В. Шарлемань далее пишет: «Что так, а не иначе называлась эта речка, меня убеждают созвучия иных названий наших мест: Болонь, Ирпень, Иордань, Карань. – Корень “киян” вошёл во многие местные фамилии» [там же: 210]. Если принять как верное чтение «дѣбрь киянь», то следует заметить, что не только у Киева, но и в Новгород-Северской земле обнаружим соответственные лексические ассоциации. Так, в Черниговском уезде отмечалось селение Киенка (Киенки, Кианка) [Списки 1866: 11]. Созвучные образования встречаются в предложениях: «а тем знаменем ходит по Ивановскому ужою Киева... а ходит тем знаменем по всей Косожской волости по Василеву ужою Кудинцова, а за полем по Ивановскому ужою Киева» [РГАДА, Поместный приказ, кн. 148: 405 об.].

Приводимые здесь факты, возможно, и не доказывают нахождения дебри в Новгород-Северской земле, но в то же время они колеблют обязательность отнесения этой дебри непременно к зоне Киева.

### **3. Рѣка Стugna худу струю имѣя, пожрѣши чужи ручьи и стругы ростре на кусту**

В этом порицании Игоря Стугне наряду с другими элементами высказывания неодинаково толкуют и слово «стругы». В связи с уяснением его значения мы указывали подобное название в поступной записи Тимофея и Андрея Титовых, данной Молченскому монастырю в 1678 г., и тогда же отмечали единичные упоминания о «стругах» с аналогичной семантикой в текстах XVI в. иной территориальной принадлежности; выдвигаемое некоторыми комментаторами «Слова» значение «струи» решительно отвергалось, принималось значение «поток» [Котков 1958: 34-36].

Дальнейшее исследование путивльских памятников в отношении употребления слова «струга» показывают следующее: в интересующей нас географической области его употребление настолько обычно, что невольно привлекает внимание. Уже само по себе указанное обстоятельство, в противоположность единичным упоминаниям о «стругах» в иных древнерусских текстах, говорит о многом. Обратимся, например, к Путивльской писцовой книге 1625/26 г. [РГАДА, Поместный приказ, кн. 148]. В ней есть такие записи: «от реки от Семи... по Пятницкую стругу» [л. 240 об.]; «от Козих хрептов по Кобылкину стругу» [л. 249 об.]; «около сухой ветки в Барановой струге» [л. 255 об.]; «выша озера Колчева по стругу» [л. 261]; «да в том же ухожю рыбной ловля озера Вскуносов, озера Шеица струги и с протоки и с вешними полои, да струга Вяски, да струга Децкое, озерко Пездрин, озерко Выдрынки, озерко Коровичи, озерко Хвашен, озерко Плюски, озерко Озерцы, озерко Колчая струги и с протоки и с вешним полоем» [л. 261 об.-262]. В путивльской выписи 1629 г. указаны «струга Меженская, да струшка Золотарева, да струшка Уломля, да исток Киселева болонии» [РГАДА, ГКЭ, № 7/9587: 18]. Примеры можно умножить.

В грамоте конца XVI в., касающейся угодий Молченского монастыря, встречаем строки, раскрывающие значение слова «струга»: «да Молчинского ж монастыря у города два озера: озеро Линчее, озеро Кобылка, да струга Пружинка, течет из озера Хотыша в реку Семь» [Палладий 1895: 15]. Проток, соединяющий озера, предполагаем в слове «струга» в следующем случае: «да в Печерской волости ухожен бортной, а знамя в нем куцер с нижним рубежом, да в том же знамени

рыбная ловля речка Плюсква, да струга Орлѣя, а в ней три озерки» [РГАДА, ГКЭ, № 3/9583: 4]. Запись относится к Путивльскому уезду, датирована 1621 г. О забвении старой семантики слова узнаём из путивльской записи 1734 г.: «за разливом вод речек Каменки и речки Струги за потребами священником ходит<ь> бывает невозможно» [Материалы церк. 1913: 82]. Ср. упоминание о ручье Окопная струга в Черниговском уезде [Списки 1866: 15].

Случаи употребления слова «струга» в XVI–XVIII вв. содержат новгородские и псковские источники [Псков.писц.кн.: 97, 263].

В порицании Игоря Стугне говорится о ручьях и стругах. В древних путивльских текстах, в соответствии с этим различием, кроме названия «струга», употребляется и «ручей». Примеры: «от рыльские дороги да по Близводинский ручей» [л. 151]; «а межа той пашни от ручья» [л. 246]; «ручьи» отмечаются и на лл. 74 об., 124 об., 144, 234, 236, 275 [РГАДА, Поместный приказ, кн. 367]. Заметим, что названия «ручей» и «струга» мелькают не только в разных текстах, но и в одном и том же. В Путивльской писцовой книге 1625/26 гг. [РГАДА, Поместный приказ, кн. 148]: «от Затинной слободы по ручей по мостыки и по копоной ров» [л. 249]; «по Кобылкину стругу» [л. 249 об.].

#### 4. Трубы трубятъ городеньскии

«Изяслав, сын Васильков, – замечал Е. В. Барсов, – уделом своим в Полоцком княжестве имел Городно или Городень, а поэтому при смерти его трубили городенские трубы» [Барсов 1890: 163]. «Городно» искали в Пинском уезде, указывались селения и в других местах с названиями «**Городинки**», «Городзилов», «Городечно», «Городково» и т. п. [там же]. Д. С. Лихачёв комментирует: «Летопись упоминает полоцких князей Брячислава Васильковича и их отца Василька Рогволодовича. Всеволод и Изяслав летописью не упомянуты: эта ветвь княжеского рода вообще известна плохо» [Лихачёв 1950а: 449]. Выражение «трубы трубятъ городеньскии» Д. С. Лихачёв с основанием сопровождает осторожным примечанием: «Изяслав Василькович... был, по-видимому, князем городенским (от Городно или Гродно – не ясно)» [там же: 450].

В связи с комментированием слова «городенский», может быть, небесполезно привести соответствующие параллели из Рылской писцовой книги 1625/26 гг. [РГАДА, Поместный приказ, кн. 148]: «в Гораденскои волости ухожеи бортнои, а знамя в том ухожи вески» [л. 393]; «в Гораденскои волости в дву гнездах в верхнем и в среднем знамя ребрища з двема тны» [л. 450 об.]; «дано к Николе ж чудод-

творцу Задублянсково попу Тимофею ужожи бортной новое черленое знамячко в Рыльском уезде в Городенской волости» [л. 407 об.]; «бортной ужожи в Гораденской волости за речкою за Рылюю» [л. 407 об.]. Название «городенский» образовано от «Городенск». Об этом узнаём из документа, датированного 1646 г.: «бой был в Курском уезде на реке на Реуте, а другой, государь, бой был в Рыльском уезде в селе в Городенку (sic!)... а из Городенска, государь, мы, холопи твои, шли за теми воинскими татары степью до Карпова сторожовья» [Воссоед. Укр. с Росс. I: 436-437].

Добавим, что в росписи сторож, составленной в XVI столетии, на Сейме отмечается «городище» Городенское, в общем расположенное также в Рыльской округе [Списки курск. 1868: XIII]. Самое название «городище» из XVI столетия уводит в более глубокую древность.

### **5. Уже бо бѣды его пасеть птицъ подобию**

Многие комментаторы «Слова» предлагают вместо «подобию» читать «по дубию», исходя из вероятного пропуска у в сочетании букв *оу*, которым в древнерусской письменности передавали гласный у. При этом, естественно, усматривают в «дубие», «дубье» образование собирательное. Пример употребления слова «дубье» включает одна путивльская запись 1682 г., однако «дубье» в ней можно толковать и в плане собирательном и несобирательном – в качестве синонима названия «дуб». Вот эта запись: «а от леска Хартукова вверх речкою Вельбою до большого бортного дуба Ивана Меньшого Трифанова, что подле речки Вельбы, на том дубу грань, да от речки Вельбы, а от того большого бортного дубу прямо полем, межою, чрез болотцо, по дуб с громобоиною, на нем две грани, на правой стороне земля и сенные покосы пустынного Печерского Молчинского монастыря строителя Софрония с братьею, а по левую сторону Максима Трифанова с детьми и с племянники, а от того дубу межою прямо по дубовой чаще, что с бортным дубьем Ивана Меньшова Трифанова по конец средняго лесу» [Палладий 1895: 137-138].

### **6. иже истягну умъ крѣпостию своею**

Понимание выражения зависит в основном от выяснения смысла глагола «истягну». Не предлагая определённого чтения этого места, мы, однако, обращаем внимание исследователей на отмеченные в Рыльской писцовой книге 1625/26 гг. и в курско-орловских говорах некоторые редкие образования, структурно и семантически не чуждые

«истягну»). При этом, в согласии с А. С. Орловым, исходим из положения, что после «иже» «не показуется» отделять «и» от «стягну» [Орлов 1946: 91].

На рубеже XX в. в одном из орловских говоров было зарегистрировано образование истяжный со значением 'длинный' (от глагола «тянуться», «истянуться») [Сахаров 1900: 18]. С конечным ударением это прилагательное встречаем в рассказе И. А. Бунина «Древний человек»: «Заложив одну руку за широкий пояс, которым подпоясана его длинная чесучовая рубаха, а другой пощипывая кончики редких белесых усов, учитель горбит свой истяжной стан».

В середине прошлого века [XIX века. – Л.А.] среди населения Суджанского и Рыльского узлов бытовала загадка:

Разляглася,  
Простяглася,  
А как встанет,  
То неба достанет. (Дорога) [Материалы курск. 1853: № 11].

Наконец, в писцовой книге из Новгород-Северской области находим такие строки: «а тот Костин клин на усть осинова леску и речки Шельги по Шельжские лески и верх по лужку что из асинова лесу устегнулся и болшою Кoryжскою и Проходцькою дорогу да на том же Костине клине усадище» [РГАДА, Поместный приказ, кн. 148: 418]. Вероятно, последнее глагольное образование, но с в взамен начального у и пропуском г фрикативного, представлено и в другом месте цитируемого источника: «межа тои церковной земли другои Шельжской лес и логом от верха Шельжскова леска через Пневещкою болшую дарогучто встянулся из болшова логу» [там же: 386].

- 7. а) Дивъ... велить послушати земли незнаемъ;  
б) в поле незнаемъ; в) на поле незнаемъ;  
г) зегзицею незнаемъ рано кычеть**

П. Я. Черных считает, что эпитет «незнаемый» встречается теперь лишь в северновеликорусском фольклоре [Черных 1944: 59]. Однако следы его бытования ясны и в Курско-Орловской области. В селении Рудка Поньровского района мы слышали исходное образование «знаёмый» в значении «знакомый», «известный» и, значит, «незнаёмый» – «незнакомый», «неизвестный». Говор селения Рудки – типичный южновеликорусский (ср. соответственно в украинском языке «знайбмий» и «незнайбмий»).

Прилагательное «незнаемый» в смысле «неизвестный» находим также в летописях, в церковной литературе и древнерусских актах, притом не только в северновеликорусских, но и в южновеликорусских. Так, в 1622 г. строитель Свинского монастыря (Брянск) извещал, что в монастырской вотчине села Супонино по ночам стали появляться «незнаемые люди», крадущие из крестьянских погребов печёный хлеб [Яковлев 1943: 204]. Брянск – окраина древней Новгород-Северской земли. В южновеликорусских памятниках встречаются обороты с наречием «незнаемо»: «та жонька Акалинка у них «незнаемо игде делас» [Старый Оскол, 1697 г. – РГАДА, Приказный стол, № 1950: 4]; «незнаема для какова вымыслу» [Землянск, 1700 г. – там же, № 2346: 1]; «приезжала незнаемо какая разбойническая партия» [Елец, 1751 г. – А.елец, 1893: 13]. Возможно, не одним «Словом» навеян эпитет «незнаемый» в стихотворении И. А. Бунина «На распугье»:

На распугье люди начертали  
Роковую надпись: «Путь прямой  
Много бед готовит, и едва ли  
Ты по нём воротишься домой.  
Путь направо без коня оставит –  
Побредёшь один и сир и наг, –  
А того, кто влево путь направит,  
Встретит смерть в незнакомых полях...».

**8. а) галици стады бѣжать къ Дону великому; б) галици свою рѣчь говоряхуть; в) галици помлъкоша**

Топонимы-названия зверей и птиц в русском языке обычны. С упоминаемыми в «Слове» «галицами», допустим, перекликается путивльский топоним в Писцовой книге 1594 г.: «оброчная пашня у озерка у Белые галицы... а межа тои пашни длина от дубровы от четвертные и от оброчные пашни Ивана Щекина да по озеро по Белую галицу» [РГАДА, Поместный приказ, кн. 367: 260 об.-261]. В Писцовой книге 1625/26 гг.: «а от Светова озера по Белую галицу а от Белои галицы по объездную дорогу... от Мокшевицкова перевозу по Хвощинское озера да от Белои галицы по большую Мокшевицкою дорогу» [там же, кн. 148: 261]. Недоумение вызывает определение «Белая», так как «галице» – галке оно не соответствует. Но если принять во внимание употребление слова «галица» и в общем значении «птица», как будет указано далее, сомнение в сближении «галиц» «Слова» и топонима устраняется, ср.: «за Галичим лугом по Мок-

ровьское поле судерев с Вихторовым да с Некрасовым а от Галича луга по колодез» [там же, кн. 367: 51 об.]; из топонимии Курского уезда в 1644 г.: «меж Галичеи дубровы и Медвенои» [там же, кн. 15685: 154].

В дополнение к сказанному о лексических элементах, специфических для «Слова о полку Игореве», приведём параллели к тем словам, которые в большей или меньшей мере известны древнерусским памятникам, но расширяют лексический комплекс произведения, связанный с речевой стихией Новгород-Северской области.

К выражению «притопа хльми и яругы» путивльская выпись 1629 г. даёт такие параллели: «едучи к высокому холму по правую сторону ручья монастырская земля, а высокои холм на монастырской стороне, да вверх едучи тем же логом выше высоково холму по левой стороне ручья Животока» [РГАДА, ГКЭ, № 7/9587: 10]. Интересен случай употребления слова «холм» как прозвища: «Степанка Софронов сын Холм ходит бортной ухойей» [Палладий 1895: 18]. Этот случай подчёркивает обычность данного слова в местном употреблении (ср. характерное для современных говоров Курско-Орловской области синонимичное название «бугор» и довольно редкое в тех местах в XVII столетии употребление слова «холм»; во всяком случае второй синоним удалось отметить только лишь в курской отказной книге: «усадище к реке Семи под высоким холмом» – [РГАДА, Поместный приказ, № 15684: 276 об.]. Вместе с типичными для Новгород-Северщины болоньями и стругами примечательны для этого края и многочисленные яруги. Ограничимся немногими примерами: «две еруги Изьбная да Валь» [там же, кн. 148: 241 об.]; «по яруге Почаеве, по яруге Плоской, по яруге Задней... по Кучковым яружком и по иным яругом» [л. 255 об.]; «в тех урочищах леса большие и ярушки посельския на них, в правую сторону реки Псла, по Алексину и Комареву колодезям» [Палладий 1895: 105]. Название «яруга» в XVII в. имело известное распространение и в Курско-Орловской области, но компактной зоны его употребления вроде Новгород-Северской в этой области не находим. Создаётся впечатление, что в курско-орловские места оно занесено из Новгород-Северской земли.

В соответствии с различием значений прилагательных «красный» и «червлёный» в тексте «Слова» и древнерусском языке вообще тексты XVI–XVII вв., написанные в Рыльске и Путивле, дают аналогичное различие этих слов: «красный» – красивый, а «червлёный» – красного цвета. Например: «отделено... в его оклад в трицат чети из оброчные пашни у красного дуба... оброчная пашня под красным дубом» [РГАДА, Поместный приказ, кн. 367: 110 об., 269 об.]; «и в того де ухоя места дано в Рыльской и в Косожской волости зная



черленое» [там же, кн. 148: 407 об.]; «а новыя государь черленыя знамена вели пожаловать отдать нам старым бортником и мы государь с тех новочерленых знамен учнем... оброкъ платить» [РГАДА, Разрядный приказ, Севский стол, №. 79: 270]. Слово «лука» – «изгиб», откуда – «лукоморье» («а поганого Кобяка изъ луку моря... яко вихрь выторже») также находим в древних рыльских и путивльских рукописях: «усадище за речкою за Рылою от новгородцкой дороги на низ по речке Рыле в луке пониже мосту» [РГАДА, Поместный приказ, кн. 148: 409]; «в пустой луке на речке на Сверже озерцо Сверж... от путивльского перевозу по реке по Десне по пустой луке» [РГАДА, ф. 124, № 1: 1-2]. Глагол «кликати», который в «Слове» имеет значения «кричать» и «звать», отозвался в путивльской челобитной 1626 г.: «и по твоеи государеве земли серед бортных ухожев литовския люди на многих местех столпы ставляют и на лготныя лета своих люди накликают и бортная деревья на селитбу секут» [РГАДА, Разрядный приказ, Севский стол, №. 79: 24].

Приведём, наконец, перечень слов, бытующих в курско-орловских говорах, в области, примыкающей к интересующей территории, которые нами отмечены ранее также в качестве параллелей к лексике «Слова о полку Игореве»: «галица» (галка, птица вообще), «каять» (укорять, порицать), «комонь» (конь), «лелеять» (везти, нести), «ашалманить» (ошеломить) от «шеломень», «смага» (копоть, жар), «щекотать» (щебетать) [см. Котков 1958]. Употребительное в «Слове» название «лада» проступает в производном образовании «ладушка», которое встречаем в старинной песне, записанной в начале XX в. в бывшей Новгород-Северской земле:

Батюшка, батюшка! Бьёт мне ладушка,  
Он ни плёткаю, а всё тятивкаю,  
А сами хвостов, аб дивяти узлов [Шафранов 1908: 3].

О муже-ладе поётся и в одной из курских песен.

[Вдова] Пра перваю лáду спаминáя:  
Ой ты съвет, мая лáдушка пярвáя!  
За табою я жывáла, ни гарявáла [Халанский 1904: 84].

«Если бы мы были уверены, – заявляет П. Я. Черных, – что “Слово о полку Игореве” было сложено и записано на северской территории (Новгород-Северский, Путивль, Курск), мы могли бы считать “северизмами” XII в. некоторые слова, неизвестные в других памятни-

ках, характерные только для этого памятника. Напр.: болонь (не: болонье) – низменное поречье: “у Плѣсньска на болони”; лада – супруг, возлюбленный: “възлелѣй... свою ладу къ мнѣ” и т. д.; яруга – овраг, ущелье: “волци грозу въсрожать по яругамъ” (в настоящее время – только в южнорусских говорах, по Далю: тул., юж.)» [Черных 1956: 107]. Противопоставление слов «болонь» и «болонье» едва ли является состоятельным, поскольку образование «(на) болони» – при условии вынесения «н» из строки в положении перед йотом, что было довольно характерно для письменности XV–XVI вв. – легко возводится к начальной форме «болонье», а не «болонь». По поводу всего приведённого заявления можно сказать следующее: документально установленные «северизмы» XVI–XVII вв. в краю, не испытавшем в более раннее время смены неродственных этнических групп, правомерно считать и «северизмами» XII–XIII вв.

Подведём некоторые итоги.

В старых текстах, приуроченных к иным русским областям, насколько известно, встречаются отдельные, одинокие параллели к лексике «Слова о полку Игореве», но такого комплекса параллелей, как связанный с Северной землёй, они не заключают. Истоки лексического своеобразия поэмы, за вычетом книжных элементов, восходят к языковой стихии именно этой области. Мнение о данной области как родине «Слова о полку Игореве» получает, с нашей точки зрения, известное обоснование.

#### 40. Лексические элементы «Слова о полку Игореве», связанные с Новгород-Северской землёй // Русская речь. – 1975. – № 5. – С. 13- 24.

Воплотившее в своих бессмертных строках патриотическое самосознание наших предков и строй их художественной речи «Слово о полку Игореве», естественно, прежде всего объясняется русской действительностью того времени, когда оно возникло, и лингвистической культурой восточных славян. Между тем изучение «Слова» в свете данных русского языка ещё не получило полного развития. Обусловлено это известными пробелами в познании истории русского языка и особенно его исторической лексикологии, а отставание последней в значительной мере предопределяется тем, что рукописное наследие минувших эпох в лингвистическом отношении недостаточно исследовано. Если в плане изучения «Слова», например, столкновения «тёмных» мест, языковеды обычно исследуют и современные ему и иные древнерусские тексты, то письменность более поздней поры (XV–XVIII веков), в особенности делового содержания, расценивают с этой точки зрения как малоперспективную, причём значительная часть её, принадлежащая южновеликорусской области, им вовсе неизвестна.

Неосведомлённость в южновеликорусской письменности – следствие недооценки её значения для разработки истории русского языка не только национального периода, но и предшествующих эпох, недооценки, порождаемой главным образом тем, что письменность южновеликорусского края, которая сохранилась до наших дней, – не древнее XVI века. Поскольку старая письменность Юга находилась в полном забвении, история русского языка позднего периода вплоть до последнего времени освещалась односторонне. Её основанием всегда служили показания рукописных источников лишь северно- и средне-великорусского происхождения. Сказалось это обстоятельство и на лексических разысканиях. В общем, южновеликорусские материалы XVI–XVIII веков, в которых могли отложиться элементы словарного состава более ранней эпохи, при анализе языка «Слова» во внимание не принимались. Характерно, между прочим, следующее: не пробуждала интереса к подобным текстам и отнесённость немалой части их к территории былой Новгород-Северской земли, с которой тесным образом связаны бурные, драматические события, получившие яркое отражение в великой восточнославянской поэме. Напомним далее: её исследователи обыкновенно не прибегали к показаниям и южновеликорусских говоров.

В своё время в поисках параллелей к лексике «Слова о полку Игореве» мы обратились к свидетельствам курских и орловских говоров. Это было впоследствии охарактеризовано как «первый в совет-

ском языкознании опыт широкого привлечения диалектных материалов к анализу лексики «Слова», показавший плодотворность и перспективность такого подхода к изучению языка памятника» [Козырев 1973: 4]. Ф. М. Головенченко, признавая наши находки ценными, писал, что они «расширяют круг сравнительного изучения языка памятника с языком той территории, где происходили описываемые события 1185 года, и побуждают искать решение вопроса в первую очередь у себя дома» [Головенченко 1963: 4].

Наблюдения в области диалектной лексики явились для нас необходимой предпосылкой проникновения с той же самой целью в обширный фонд старинной письменности южновеликорусского происхождения, с преимущественным вниманием к собраниям текстов, приуроченных к бывшей Новгород-Северщине и сопредельным с ней местам. Такими оказались рукописные источники XVI–XVIII веков, исключительно делового содержания. Хранятся они в основном в Москве, в Центральном Государственном архиве древних актов (ныне – РГАДА). Хотя и значительно удалённые во времени от рассматриваемого поэтического произведения, они обладают в сравнении с древними, в большинстве своём церковнославянскими, одним существенным преимуществом – в определённой мере доносят до нас отголоски народно-разговорной речи далёких поколений. Здесь мы имеем в виду отложившиеся в этих местных материалах те или иные элементы древнерусского наследия, а не просто южновеликорусские факты, созвучные отдельным элементам «Слова». Полагаем, что элементы упомянутого наследия правомерно искать в разрядах слов, которые по самой своей природе исторически особенно устойчивы, сохраняются на протяжении многих веков. Такими, например, являются нарицательные наименования водных источников и особенностей строения земной поверхности, частью собственные географические названия и некоторые иные. Мы ознакомились с рукописными книгами, а также публикациями, в которых можно было предполагать присутствие названий подобного рода. Книги включают в себе описания различных поместных угодий, в том числе и бортных с их так называемыми знамёнами, нанесёнными на бортных деревьях владельческими знаками. В результате исследования этих материалов установлены некоторые лингвистические связи Новгород-Северской земли с интересующим нас произведением.

Пристальное внимание учёных вызывает в «Слове» *болонье*, определяемое, с одной стороны, как «низменное поречье», с другой, – как «свободное пространство перед городскими стенами, оставляемое обычно без застройки, чтобы оно могло простреливаться с городских

стен». В пределах распространения русского языка кое-где иногда отмечались единичные факты его употребления, а Даль характеризовал его в общем как западное. Было ли оно в новгород-северских местах, в литературе не сообщалось. Наши материалы свидетельствуют: в XVI–XVIII веках *болонье* и более частое *оболонье* бытовало в указанных местах как вполне обыкновенное, общеупотребительное и означало «заливной, поёмный луг или подгорье». [Примеры здесь и далее передаём средствами современной графики, выносные буквы включаем в строку, а восполняемые – в скобки; приводя примеры из материалов РГАДА, хранилище не указываем]. В грамоте 1621 года, имеющей отношение к Путивлю: «по озерку... рыбная ловля *болонья* по обе стороны с урочищи» [см.: Труды XII археологического съезда, III – М., 1905]; «озерко Хотиш с ровцами с верхним и с нижним и с *болоньем*» [там же]. В путивльском документе 1694 года: «от Засяклицкого луга *болоньи* сенные покосы по озеру по Утопленники» [ГКЭ, № 8/9588: 7]. В списке с жалованной грамоты 1551 года, данной Новгород-Северскому монастырю: «на Вети речке на Малои *оболонье* по обе стороны... сенные покосы по *оболон(ь)ям*... по речке по Ивоте вверх рыбные ловли и перевесья да два еза по *оболон(ь)я* по речку по Селичку и по *оболонью* Ивоцкому» [ф. 124, № 1: 1-3]. В выписи из Рыльской писцовой книги 1628 года: «владеть города Рылска градским жителем... Семским лесом и лугом и полянки и *оболоньи* с лозами под городом Рылском вверх по реке по Семи... владеть за рекою Семью против города Рылска градским бором и дубровою и Семским лугом и лесом и *оболоньем*... а Семским же лесом и лугом и полянки и *оболон(ь)и* и лозами по обе стороны реки Семи... *оболоньем* что подле Чортова кургана... межа градскому лесу и бору и дубровкам и *оболон(ь)ем* от озера Уюница от нижнего конца до ильма маладого» [КОА=Государственный архив Курской области, коллекция документов XVII–XIX веков, № 15]. Из мировой записи, составленной в Карачеве в 1650 году: «подал... грамоту во владенье монастырские вотчины реки Ресеты да селища Арханьского и лугов и *оболон(ь)ев*» [ГКЭ, № 3/5941: 1].

Подобные факты вполне согласуются с указанием в памятнике XII века «Хождении игумена Даниила» на *болонье* у реки Сновь, которая берёт начало западнее Новгород-Северского. Учитывая это обстоятельство, мы вправе видеть в фактах XVI–XVIII веков продолжение местной лексической традиции, уходящей в древнюю эпоху, во всяком случае документированной с XII века. С учётом этого обстоятельства приобретает бóльшую достоверность предположение о черниговском происхождении игумена Даниила, поскольку Сновь протекает в пределах бывшей не только Новгород-Северской, но и Черниговской земли.

Принадлежность *болонья* – *оболонья* в древности всем восточным славянам знаменуют ныне его следы, помимо русского языка, в украинском и белорусском. Слова, образованные от того же корня, в значениях «луг» или «выгон для скота» отмечались в болгарском, польском и чешском языках.

В свете приведённых материалов нам представляется несколько спорным одно правило, которому следуют при подборе памятников для изучения словарного состава древней поэмы. В издаваемом ныне Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве» памятники позднее XVI века «цитируются только тогда, когда нет соответствующих примеров из памятников более ранних» [вып. I: 8]. Вот и получается, что *болонье*, по данным XVI века, Словарь-справочник фиксирует лишь в окрестностях Пскова и Рязани, а о Новгород-Северщине не упоминает. Между тем, например, касаясь вопроса о месте написания «Слова» или его неизвестном авторе, вряд ли можно оставлять в стороне означенные новгород-северские факты, тем более, что значение их подкрепляется наличием в той же зоне и иных лексических параллелей к песне о походе Игоря.

Так, не менее распространённым там, нежели *болонье*, *оболонье*, было и особое название одного из видов водных источников. Оно выступает в порицании, обращённом Игорем к реке Стугне, членением в первом издании «Слова» следующим образом: «Стugna худу струю имея, пожръши чужи ручьи, и стругы ростре на кусту». В *стругах* видели ‘струи, волны’ либо ‘струги, лады’, а выражение *ростре на кусту* в соответствии с этим понимали как ‘растерла (струи или струги, лады) по кустам’. При ином членении – *рострена к усту* в эти слова вкладывали смысл ‘растертая, расширенная к устью’. Показания старой письменности, соотносимой с зоной былой Новгород-Северской земли, позволяют усматривать в образовании *стругы* форму винительного множественного не от названия речного судна *струг*, а от имени женского рода *струга*, с которым, однако, связывалось значение не ‘струя, волна’, а ‘поток’.

При единичных упоминаниях о подобных стругах в других источниках того же времени, например, новгородских и псковских, обилие проявлений этого слова в исторической новгород-северской черте представляется примечательным. Приведём некоторые случаи его вседневного употребления. В грамоте конца XVI века, касающейся монастырских угодий в Путивльском уезде, читаем: «*струга* Пружинка, течет из озера Хотыша в реку Семь» [Палладий 1895: 15]. В путивльской записи 1621 года: «рыбная ловля речка Плюсква да *струга* Орлея а в ней три озерки» [ГКЭ, № 3\9583: 4], примеры из путивльской писцовой книги 1625–1626 годов: «от реки от Семи... по Пятницкую

*стругу*» [л. 240 об.]; «от Коз(ь)их Хрептов по Кобылкину *стругу*» [л. 249 об.]; «около Сухой Ветки в Барановой *струге*» [л. 255 об.]; «выша озера Колчева по *стругу*» [л. 261]; «в том же ухож(ь)ю рыбной ловля озера Вскуносоз озера Шенца (с) *струги* и с протоки и с вешними полой да *струга* Вяски да *струга* Децкое озерко Пездрин озерко Выдрынки озерко Коровичи озерко Хвашен озерко Плюски озерко Озерцы озерко Колчая (с) *струги* и с протоки и с вешним пологом» [Пом.пр., кн. 148: 261 об.-262]. В путивльской выписи 1629 года: «*струга* Меженская да *струшка* Золотарева да *струшка* Уломля да исток Киселева болонии» [ГКЭ, № 7/9587: 18]. Рыльская отказная книга семидесятых годов XVII века содержит такие сведения: «на реке на Семи и у *струги* меж Тросного и Окрякова лесу» [л. 373]; «на речку на Ведбу и на усть *струги* Середние что пришла *струга* ис Середнева леска в речку Ведбу» [Пом.пр., оп. 218, кн. 10564: 645 об.]. О *стругах* в Путивльском уезде сообщает и поступная запись 1678 года: «в бортом ухож(ь)и пасечное место понижэ Большого Алтинского колодезя под Меженские *струги* да подле того пасечного места сенные покосы на Полянки Сетной от Липитцкой *струги* по Меженскую *стругу* а Меженскую *стругою* едучи вверх... да по Терновую *стругу*» [ГАКО, Коллекция документов XVII–XIX вв., № 64]. В «Списке с описи окружной межи Суджанского уезда» (1754) находим Кутузовскую *стругу* (Курские губернские ведомости, 1853). Опубликовавший «Список» А. Дмитриюков делает примечание: местное выражение «сенокос за стругою» означает ‘за ручьём’.

О принадлежности слова *струга* к древнему слою славянской лексики напоминают и современные данные: следы его употребления примерно в том же значении отмечают, кроме русского, в украинском и белорусском языках, а также в словенском, чешском и польском; в старославянском языке *струга* – ‘течение’.

Характерным именно для «Слова», в отличие от всех иных древнерусских памятников, является такое название оврага, как *яруга*. Упомянув об опытных воинах-курянях, автор говорит, что пути им ведомы, «яругы имь знаеми» – известны; в других строках произведения читаем: волки «грозу въсрожать (значение глагола неясно – С.К.) по яругамъ»; наконец, узнаём, что Святослав Киевский, наступая на землю половецкую, «притопта хльми и яругы». Так же называли овраг в XVI–XVIII веках в той же самой русской области, где были в широком употреблении образования *болонье*, *оболонье* и *струга*, а помимо того, на сопредельной с ней курской территории. В путивльской писцовой книге 1625–1626 годов: «две *еруги* Изъбная да Валы» [л. 241 об.]; «по *яруге* Почаеве по *яруге* Плоской по *яруге* Задней... по Кучковым *яругж-*

ком и по иным *яругам*» [л. 255 об.]; в рыльской отказной книге того же времени: «рубеш через *ерушку*» [л. 479 об.]; «рубеш тому помес(ь)ю... по *еружку* Глыбокою» [л. 481 об.-482]; «бортної ухоежи по дуброве и по *еругом*» [л. 482]; «рубеш по ложок что за Везавою *яружскою*» [л. 482 об.]; «по Будочкову *еругу* да от (*я*)*руги* по Жорнов лог» (л. 485 об.); «по Будочкову *еругу*» [Пом.пр., оп. 218, кн. 10569: 487]; в поступной записи 1678 года: «Меженскою *стругою* едучи вверх левая сторона по Лихую *еружку*; в тех урочищах леса большие и *ярушки* посельския на низ в правую сторону реки Псла, по Алексину и Комареву колодезям» [Палладий 1895: 105]. О бытовании слова *яруга* в местах восточнее Путивля можно, например, судить по записям первой половины XVII века в белгородской отказной книге: «на гору по речки по Семице... по Сторожевую *еругу*» [л. 337]; «меж Жернового логу и Высокой *еруги*» [л. 468 об.]; «по Олонною да по Круглою *яруги*» [л. 709 об.]; «с Муромскою *яругою*» [л. 818 об.]; «по *яругу* что вышла *яруга* верхом под ливенскую дорогу а от тои *яруги* вниз по лагу к Северскому Донцу» [л. 835 об.-836]; «колодез вышел ис под *яругы* логам и впал в Северской Донец» [л. 836-837]; «на Малою *ярушку*... пад Малою *ярушку*... по Малой *ярушки*» [Пом.пр., оп. 156, кн. 15820: 701 об.]. Распространение слова *яруга*, признаваемого тюркизмом, на южной и юго-западной территориях русского языка и в границах украинского исторически объяснимо: интенсивные контакты восточных славян с тюркоязычной средой происходили именно здесь, на этих обширных пространствах.

Значение всех приведённых фактов для изучения «Слова о полку Игореве» становится особенно очевидным, если примем во внимание, что даже в наиболее полном собрании старинных лексических материалов – картотеке «Словаря русского языка XI–XVII веков» – *болонье* в великорусской черте определённо связывается, как было сказано, только со Псковом и Рязанской землёй, а *оболонье* – исключительно с Рязанью; *струга* в указанном нами значении отмечается всего два раза и, разумеется, вне исследуемой области; слово *яруга* документировано лишь двумя цитатами из публикации о Булавинском восстании, причём в одной зарегистрировано на территории украинского языка.

Возвращаясь к выражению «притопта хльми и яругы», заметим: в краю распространения слова *яруга* в XVI–XVIII веках звучало и слово *холм*. В путивльской выписи 1629 года читаем: «едучи к высокому *холму* по правую сторону ручья монастырская земля а высокои *холмъ* на монастырской стороне да вверх едучи тем же логом выше высоково *холму* по левой стороне ручья Животока» [ГКЭ, № 7/9587: 10]. Записи тридцатых годов XVII века в курской отказной книге:



«трет<ь> пустоши на реке на Семи в Нижнем лесу на узголов(ь)и высокои *холмъ* обапол Балшой лазы» [л. 75 об.]; «в Тускорском стану усадище к реке Семи под высоким *холмомъ*» [Пом.пр., оп. 188, кн. 15684: 276 об.]. Заметим: в упомянутой картотеке о наличии слова *холм* на Юге, если не считать Рязани и Астрахани, сведений не имеется. Как свидетельствуют древнерусские памятники и южновеликорусские источники XVI–XVIII веков, в степи, кроме естественных холмов, встречались и насыпные – *курганы*. В этих условиях слово *шеломя* в восклицании «О, Русская земля, уже за шеломянем еси!» едва ли возможно толковать как ‘холм’ или ‘курган’. По всей вероятности, под *шеломянем* подразумевалась возвышенность более значительная, нежели холм или курган.

Курская отказная книга знакомит нас с образованием *попужы*, которое не представлено ни в указанной картотеке, ни вообще в литературе. Обнаруживаем его в отказе, составленном в 1642 году: «берег реки Усожы со всякими угод(ь)ями рыбная ловля бобровья гоны и (х)мелевья пощипи и тетеревиныя *попужы* и козиныя ходы и стоилы» [л. 638]. Невольно вспоминаются древнерусские *пудити* ‘гнать’, ‘прогонять’ и *роспудити* ‘разогнать, рассеять’. Теперь обратимся к тексту «Слова». Интерпретируя место, где говорится, что телеги половцев, бегущих к Дону непроторенными дорогами, «крычать» полночью порой как «лебеди роспущени», некоторые исследователи предлагают исправленное чтение – не *роспущени*, а *роспужены*. Если это исправление верно, намечается ещё одна, хотя и косвенная, примета лингвистической связи «Слова» с рассматриваемой территорией.

Ингвара, Всеволода и Мстиславичей автор повести о походе Игоря называет не худого гнезда шестокрилцами (смысл последнего слова неясен. – С.К.). В связи с употреблением в данном случае слова *гнездо* – в значении ‘род’ привлекают внимание созвучные факты, зарегистрированные в рыльской округе. Именование *гнездом* княжеского рода естественным образом, думается, распространилось и на владения рода. Употребляемое в этом смысле слово *гнездо* впоследствии, с изменением владельческих отношений, могло приобрести иное значение и превратиться в наименование выделяемой по тем или иным признакам определённой части волости. Такое *гнездо* отозвалось в рыльской отказной книге 1625–1626 годов: «Иванова поместья Денис(ь)ева ужожеи бортной... в Рыльской влсти в Березницком *гнезде*» [л. 173 об.]; «в Рыльской влсти в Язском *гнезде* да в Вогрицкой влсти и в Закрепени бортной ужожеи... со всякими угод(ь)и» [Пом.пр., оп. 218, кн. 10569: 368]; в путивльской писцовой книге тех же лет: «в Гораденской волости в дву *гнездах* в Верхнем да в Среднем знамя ребрища з двема тнь» [Пом.пр., кн. 148: 405 об.]; в рыльской отказной книге се-

мидесятых годов XVII века: «бортної ухожеи что в Нестугском *гнезде*» [л. 464 об.]; «в Рыльской же влсти в Молском и в Копыстицком... *гнезде*» [Пом.пр., оп. 218, кн. 10564: 622]. Оказывается, эта лексическая особенность три-четыре века назад отличала в русском массиве именно данную местность. По крайней мере, известные ныне старинные лексические материалы приводят к такому заключению. Картотека «Словаря русского языка XI–XVII вв.» содержит единственный пример на *гнездо* в рассматриваемом значении, причём заимствованный из отказной книги 1692 года всё того же Рыльского уезда: «в Сницкой влсти в Березницком гнезде на реке на Свапе пашни и дикого поля осмина».

Не связывая прямо, непосредственно рыльские факты и отмеченный в «Слове», мы лишь обращаем внимание на то, что только в данной местности *гнездо* употреблялось в особом значении, восходящем, по-видимому, к значению 'род'.

Из имён собственных, для которых в «Слове» находим соответствия той или иной степени, можно назвать несколько.

На Дунае слышится голос Ярославны. «Полечю, – восклицает она, – зегзицею по Дунаеви... утру князю кровавыя его раны». Одни исследователи полагают, что *Дунай* в указанных случаях – историческая река и, поскольку Ярославна была родом с Дуная, допускают, что она в плаче вспоминает свою родную реку и мысленно летит над ней зегзицею. Другие под *Дунаем* подразумевают *Дон*. Третьи усматривают в *Дунае* название реки вообще. *Дунай* и производные наименования рек отмечались и у восточных славян и в других концах славянского мира. Однако из новгород-северских и сопредельных с ними мест аналогичных исторических данных в литературе не было. Мы располагаем некоторыми такими данными. Под 1630 годом в брянской отказной книге упомянута речка *Дунайка* [Пом.пр., оп. 158, кн. 10236: 196 об.]; о речке *Дунайце* в Курском уезде свидетельствует местный источник 1632 года [Пом.пр., оп. 188, кн. 15684: 21 об.-22]; в том же уезде был зарегистрирован колодезь *Дунаецкий Затон* [там же: 357]. Не о местном ли каком *Дунае*, течение которого вело в ту сторону, где находился Игорь, говорится в плаче Ярославны? Река *Дунаец* (или *Дунайка*) в более раннюю эпоху могла быть более полноводной, а потому и слыть *Дунаем*. Так, например, современный *Орлик*, впадающий в *Оку*, ещё в XVII веке по «Книге Большому Чертежу» значился как *Орел*.

Князь Всеслав, повествует «Слово», великому Хорсу волком путь перебежал. Не имеют ли отношение к *Хорсу* (имя языческого бога солнца) известные прежде в том же краю географические названия с определением *Хорсов*? В отказной книге 1625–1626 годов, приуроченной к Рыльскому уезду: «с верхов(ь)я лесу *Хорсова* пряма через дубро-

ву... по устью *Хорсова* а лесом *Хорсовым* по вешней протоць» [л. 1192 об.]. Выпись из рыльской отказной книги, датированная 1718 годом (хранится в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея), указывает на *Хорсово* болото [ф. 229, № 139: 23]. Болота и овраги в народных верованиях считались убежищами нечистой силы. Может быть, и *Хорсово* болото – название аналогичного происхождения: при переходе от язычества к христианству «добрые» языческие божества (в данном случае бог солнца) приобретали иную характеристику, с ними начинали связывать всё тёмное и злое.

С временами «Слова», возможно, перекликаются названия вроде *Кобяковское* поле, *Кобяковская* дуброва, отмеченные в той же книге, где и *Хорсов* лес, *Хорсово* устье [л. 59-59 об.]. Ср. упоминания о *Кобяке* в этом произведении.

В выражении «трубы трубят городеньский» внимание комментаторов обыкновенно привлекает прилагательное, которое возводят к названиям городов Городно или Городень. Полагаем не лишне привести следующие факты из рыльской отказной книги 1625–1626 годов: «в *Городенскои* вл(с)ти к речке к Кобылице на руской стороне пусташ... к реке к Семи у *Гароденского* городища и к речке к *Городне*» [л. 279 об.-280].

Изучение лексики старинных текстов, относимых к области былой Новгород-Северской земли, даёт всё более и более фактов, которые позволяют предполагать, что родиной «Слова о полку Игореве» явилась именно эта земля. Вместе с тем они убедительно показывают, насколько несостоятельны сомнения скептиков в подлинности древнерусской поэмы.

#### 41. *Потяту* в «Слове о полку Игореве» и созвучные факты XVII века – Русская речь, 1975. – № 4. – С. 114–116.

Мы уже обращали внимание на то примечательное обстоятельство, что известный комплекс лексических элементов, вошедших в «Слово о полку Игореве», ныне либо не встречающихся, либо очень редких, наличествует в рукописях делового содержания XVI–XVIII веков, приуроченных в общем к территории бывлой Новгород-Северской земли; это – необыкновенно употребительные в рукописях названия *струга* и *яруга*, а также *оболонье*, *болонье* (в «Слове» – *болонь*), однажды отмеченное *Хорсово* болото (сравните в «Слове» – *Хорс*) и, кроме того, *незнаемый* и другие (Труды Отдела древнерусской литературы, XVII; Ученые записки Московского областного педагогического института, т. СXXXIX, вып. 9). Ещё сравнительно недавно в той же самой области и сопредельных с ней местах, курских и орловских, отмечались *галицы* и *комонь*, *лада* ‘супруг, возлюбленный’, *смага* ‘копать, жар’, *каять* ‘укорять, порищать’, *делеять* ‘вести, нести’, *щекотать* ‘шебетать’ и некоторые другие (Учёные записки Орловского пед. института, т. IX, вып. 4).

В основном на этих фактах заключении говорилось: в старых текстах, приуроченных к иным русским областям, встречаются отдельные, одинокие параллели к лексике «Слова о полку Игореве», но такого комплекса параллелей, как связанный с Новгород-Северской землёй, они не заключают. Истоки лексического своеобразия поэмы, за вычетом книжных элементов, восходят к языковой стихии именно этой области. Мнение о данной области как родине «Слова о полку Игореве» получает, с нашей точки зрения, известное обоснование.

По мере дальнейшего обследования названного круга старинных рукописей указанный комплекс выступает всё более и более рельефно и несколько расширяется. Например, в Рыльской отказной книге 1639 года (хранится в РГАДА) читаем: лѣсу Хорсова, лѣсом Хорсовым (Поместный приказ, оп. 218, кн. 10569: 1292 об.).

По новым данным, в упомянутый комплекс можно включить образования, созвучные представленному в «Слове» *потяту*: «Луце жь бы потяту быти, неже полонену быти». Страдательное причастие *потяту* – от глагола *пот#ти*, в котором видят значения ‘убить’, ‘зарубить’, ‘срубить’. Следы глагола *пот#ти* регистрировались в древнерусских памятниках: *потнемь* (Повесть временных лет), *потньеть* (Русская Правда), *потятым*, (Задонщина) и других. Всё это такие тексты, лексический состав которых, вследствие раз-

ных причин, не может быть строго приурочен к определённой лингвистической территории. Мы имеем возможность привести из более поздних источников образования того же корня, причём несомненно связанные с Новгород-Северской землёй.

Например, в Севской оброчной книге 1671 года (РГАДА) находим такое описание одного из бортных знаков или, как тогда писали, знамён: «Бортной ухोजеи знамя коник у коника во рте тень да грива перѣт"та» (Разрядный приказ, Денежный стол, кн. 342, л. 1738 об.); в описании этого знамени, в основном представляющего собой схематическое изображение коника, вырезанного или вырубленного на дереве, (грива) *перѣт"та* означает: пересечена резаной или рубленой чертой; с *перѣт"та* здесь перекликается *тень*, а далее читаем: «На корѣни куцыр набокъ в серѣдине тѣнь да поверхъ куцыр" тен же» (сравните примеры из Правды Русской: «Аже дубъ потнетъ знаменьны...», «аже борть потънетъ...»). Вот ещё несколько примеров, рассеянных по другим листам: «Куцыр кверху рогами на правом рогу тен» (л. 1644 об.); «Знамя мотовило на лѣвой стороне два тна» (л. 1728); сравните: «Знамя вилы с откоскомъ да притинокъ на бороде» (л. 1644-1644 об.); «Знамя жеравлиная лапа с притинком» (л. 1727); «Знамя куцыр кверху рогами с правого и с лѣвого боку притинки» (л. 1730). В книгах учёта бортных угодий, которыми Новгород-Северщина славилась издавна (так, в Сказании о Мамаевом побоище упоминаются «медокормци ис Северы»), подобных примеров множество, причём нередко описания знамён сопровождаются их рисунками. Из этих рисунков явствует: *тен* – короткий надрез или надруб, *притинок* – то же самое, но как дополнительная метка при том или ином элементе знамени.

Принадлежность этих лингвистических фактов к новгород-северским местам подтверждают и поздние показания – начала текущего [XX-го – Л.А.] столетия. Автор «Этимологического словаря русского языка» А. Г. Преображенский в словарной статье *тяги* приводит знакомые севским говорам *тнуть*, *тну*, *тнешь* ‘ударить (ножом или каким-либо орудием)’. Следы сходных образований, впрочем, довольно редкостные, не чужды отдельным русским говорам, например, онежским, но в таком лексическом комплексе, как уже обрисованный выше, в иных русских говорах они нигде не выступают. На русской почве эти образования – пережитки общеславянских. Сравните украинское: *тну*, *тяги* ‘резать, рубить, косить, бить, кусать’; белорусское: *цяць*, *тну* ‘рубить, ударять’; словенское *teti*, *tnèm*; древнечешское *tieti*, *tnu*; чешское *titi*, *tnu*; словацкое *ťat'*; польское *ciać*, *tnę*; верхне-лужицкое *śeć*; ниже-лужицкое *šěś*.

Возвращаясь в пределы русского языка, можно сказать следующее: очевидную связь рассматриваемых фактов с Новгород-Северской землёй, видимо, следует принимать во внимание при изучении «Слова о полку Игореве».

Прозвучавшее в «Слове» образование *потяту* обыкновенно толкуют как 'убиту' или 'порублену'. Первое из этих толкований едва ли доказательно, поскольку в древнерусском языке употреблялся глагол *убити*. Полагаем, второе толкование более реально.

42. Ещё одно древнерусское свидетельство о *зегзице* // Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР. – № 10. – 1956. – С. 81-83.

Образование *зегзица* представлено в «Слове о полку Игореве»: Ярославна «зегзицею... кычеть: “полечу, рече, зегзицею по Дунаеви; омочю бобрянь рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ, утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ”».

В современном русском и других славянских языках этого слова в таком фонетическом облике нет, если не иметь в виду сообщения А. Н. Майкова, основанного, впрочем, не на личном наблюдении, а на сведениях Погосского и иных лиц: «...в живом народном языке, – указывает Майков, – слово *зегзица* теперь ещё употребляется, г. Погосский переводит его ‘ласточкой’ и ссылается на то, что слышал в Новгородской губернии это название за ласточкой. Многие из Вологодской губернии удостоверяли меня, что зегзицею там называют чёрных ласточек, стрижей» [Майков 1914: 123].

Есть, однако, несколько слов, созвучных с интересующим, того же корня, отмеченных в славянских языках и диалектах, притом в значении ‘кукушка’.

Приводим здесь их перечень. В русском языке зарегистрированы *зезюля* (псков.), *затуля* (смол.), *загонька* (псков. и новгор.), *загоска* (великолуцк., опочецк. и олон.), *загозочка* (олон.), *зогза* (волог.); ср. *жегожка* (петрозав. и пудож.). В белорусском обнаружены *зязюля* и *затуля*, *зязюлька* и *зязюленька*; в украинском языке – *зозуля* и *зозуленька*.

Помимо различий в суффиксах (*жегожки* не касаемся), расхождения этих слов с *зегзицей* состоят или в различии гласных первого слога, или в отсутствии звука *г*, или в том и другом. По смыслу эти слова и *зегзица* одинаковы – означают ‘кукушка’.

Ср. названия кукушки у западных славян: в польском *gżegżółka*, *gżeczółka*, *grzeczołak*; в чешском – *žežule*, *žežulka*, *žežulice* или *žežhule*, *žežhulka*, *žežhulice*. С аналогичною семантикой в литовском – *giegužė*, в латышском – *džeguže*.

Слову *зегзица* находим соответствия и в древнерусских текстах: *уподоблюся зогзицы*, || *иже едину поеть пѣснь, того ради ненавидима бываеть* (Слово Даниила Заточника, 107. XVII в. по сп. Д. Н. Толстого); *зогзици кокують* (Задонщина), *зогзуля* (Мерило Праведное, XIV в.) – кукушка; *зегула* (Палея, XIV в.) – кукушка; название *жегозулин* (Сильвестра и Антония вопросы, XVI в.) предполагает

бытование слова *жегзюля*. В одном из актов конца XVI в. упоминают остров *Жегжично* [Дювернуа 1894: 49].

Наличие ясных параллелей *зегзице* у западных славян, сведения о созвучных фактах в русских народных говорах, преимущественно западных, склоняли некоторых учёных к мысли, что *зегзица* – заимствование из западнославянских языков. Приведённые свидетельства древних текстов не препятствовали подобному пониманию, по крайней мере в том отношении, что самый характер текстов не благоприятствовал отражению в них явлений местной речи (топонимическое *Жегжично* оставляем в стороне). Новых данных в пользу того, что слово *зегзица* в равной мере и западно- и восточнославянское, пока не приводилось. Во всяком случае, уделивший ему специальное внимание Л. А. Булаховский не так давно писал: «Возможно, что слово первоначально ограничено было областью западнославянских языков и на восток двигалось уже как заимствованное, чем отчасти объясняется неустойчивость его внешней формы» [Булаховский 1948: 108]. Естественно, новые факты, которые имеют к этому слову хотя бы косвенное отношение, заслуживают внимания.

В документах Разрядного приказа попалась нам челобитная, написанная в 1626 г.: *бье(т) челомъ бе(д)ная го(р)кая вдова с Резани Васи(л)е(в)ское женишко Зогзюлина Ири(н)ка Заха(р)ева дочеришко* [РГАДА, Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. № 17: 16. – Выносные буквы заключены в скобки].

В грамоте, посланной “от царя” рязанской администрации, фамилия “вдовы с Резани” несколько исправлена: *била намъ челомъ вдова Орина Васильевская жена Зе(г)зюлина* [там же: 164]. В ответе местных властей читаем: *жена Зе(к)зюлина; б(и)л челомъ о(н) Ивашка Зе(к)зюли(н); побежа(л) де о(т) нево чл(в)къ ево крепосно(и) Ивашко(м) заву(т) Зе(к)зюли(н); таво Ивашка Зе(к)зюлина; бѣглова чл(в)ка Ивашка Зе(к)зюлина* [там же: 166, 168, 169]. В дополнение к последним фактам более раннее написание – *Зекзюлин*, рязанский помещик, 1616 г. [Тупиков 1903: 611].

Интересующая фамилия перекликается с *зегзюлей*, а тем самым, на известном основании, и с *зегзицей*, что, однако, ещё не доказывает бытования этих слов и иных названий кукушки, относимых к тому же корню, в рязанском диалекте XVII в.: носители фамилии могли явиться выходцами или потомками выходцев из западных русских областей.

Доказательно другое: под пером московского писца образование *Зогзюлина* превращается в *Зегзюлина*. Если бы *зегзюля*, а возможно, и *зегзица* были ему неизвестны, такое исправление оказалось бы



немыслимым. В эпоху неустойчивости русской орфографии, особенно правописания безударных гласных, подобная поправка, надо думать, не могла быть продиктована орфографической традицией, тем более если иметь в виду безударное положение. А о том, что это положение было безударным, свидетельствуют, пожалуй, все восточнославянские параллели, отмеченные наблюдателями в живой народной речи. Значит, исправление могло быть обусловлено лишь устойчивой фонеморфологической ассоциацией корня данного слова с аналогичною морфемой в образованиях того же словопроизводственного гнезда. Возникает предположение: в московской речи XVII в. слова *зегзюля* или *зегзица*, а может быть, и оба, и даже, более того, иные слова того же корня, вероятно, бытовали. Мнение о заимствовании слова *зегзица* с запада едва ли основательно.

Совпадение огласовки первого слога в интересующих словах из повести «Задонщина» и рязанской челобитной невольно привлекает внимание: это, хотя и частное, дополнительное указание на то, что автор «Задонщины» был действительно рязанцем.

**43. К толкованию выражения «заря свѣт запала» в «Слове о полку Игореве» // Лексикографический сборник. – М., 1957. – Вып. II. – С. 161 – 164.**

«Дльго ночь мръкнеть. Заря свѣт запала, мъгла поля покрыла; щекоть славий успе, говоръ галичь убудися» [Здесь и далее цитируем по изданию: Орлов 1946]. Так изображает автор «Слова» время перед боем. Неясным в этом описании представляется выражение «заря свѣт запала». Та или иная его интерпретация предопределяет то или иное понимание описания в целом. Чтения данного выражения различны. В издании 1800 г. оно «переложено» следующим образом: «свет зари погасает»; у Д. Дубенского – «заря с светом пропала» [Дубенский 1844: 47]; Ф. И. Буслаев видел в слове «свет» приложение к «заря» [Буслаев 1861: 603]; Н. Тихонравов полагал: «свет» – эпитет «заря», выраженный в форме имени существительного [Тихонравов 1866: 54]; О. Огоновский «свет» переводил прилагательным того же корня, получалось: «светлая заря запала» [Огоновский 1876: 50]; М. А. Максимович усматривал здесь сочетание «заря-свет» и интерпретировал его как «свет светлый» [Максимович 1880: 555]; А. Потевня переводил: «заря предсказала свет» [Потевня 1878: 33]. Из последних переводов: «заря зажгла свет» [Орлов 1946: 79], «заря свет уронила» [Лихачёв 1950: 57].

Нет необходимости приводить все варианты толкования рассматриваемого выражения. Отметим лишь одно: они многочисленны и в большей или меньшей степени варьируют упомянутые. Не случайно в последнее время наметилось несколько скептическое отношение к дальнейшему разъяснению смысла интересующего выражения. Имея в виду, в частности, это выражение, М. В. Щепкина писала, например: «... такова сила привычки комментировать каждое слово поэмы, что исследователи начинают искать сокровенный смысл и в простых понятных местах» [Щепкина 1950: 192]. Отметим, что М. А. Максимович не разделяет слов «заря-свет», автор цитируемого высказывания приходит к заключению: чтение «заря-свет запала (погасла)» является самым правильным. Напротив, Н. В. Шарлемань сетует на то, что переводчики и комментаторы не обратили должного внимания на мнение В. Н. Перетца и вместо правильного «запылала» продолжают переводить «запала» глаголами «уронила», «задержала» или «гаснет» [Шарлемань 1955: 7-8]. Итак, диаметрально противоположные точки зрения обусловлены различным пониманием слова «запала». Одни производят его от украинского «запалати», что значит «запылать» [Гринченко 1908: 75], другие – от «западать», в украинском «западати» [там же:

74: *Западати...* 4) о солнце: заходить, зйти за что-л. *Сонечко вже запало за гору*].

Обратимся к первому толкованию. Предлагаемый перевод «заря-свет запылала» вряд ли убедителен уже вследствие того, что далее говорится «мгла поля покрыла». *Мгла*, по общему мнению комментаторов, – «туман». Но туман на заре или падает росой или подымается облаками. Ср. народные наблюдения: Роса мочит по зарям, дождь по порам. Покуда солнце взойдёт, роса глаза выест [Даль IV: 105]. Украинское «запалати» служит для обозначения особенно бурного действия – пылания; ср. в украинском языке «запáлювати» (сов. в. «запалити») как обозначение обычного проявления этого действия – горения [Гринченко 1908: 75. – В словаре к «запалювати» (сов. в. «запалити») приведён пример: Запалю я куль соломи, не горить – палає]. Когда заря не просто горит, а пылает, сохранение и, тем более, появление мглы, тумана на полях степной равнины едва ли вероятно. Не следует забывать, что в изображении явлений природы автор «Слова» соблюдает их естественную последовательность, а упоминание о заре, которая «запала», предшествует словам о мгле, тумане на полях. Остаётся принять одно из двух: либо это – утренняя заря, но не пылает, либо это – не утренняя, а вечерняя заря. Перевод «запала» как «зажгла» неприемлем потому, что глагол «запалати» относится к числу непереходных.

Рассмотрим второе толкование – трактовку слова «запала» как формы прошедшего времени, соотносимой с «западать». Если глагол «запала» имеет смысл «погасла», речь идёт о последних отблесках зари, поскольку о её угасании говорится вслед за тем, как сказано «дълго ночь мръкнеть». Но в этом случае усиление образа зари приложением-синонимом «свѣт» художественно не оправдано.

Склоняемся к мысли: «свѣт» – не приложение к «заря», а «запала» не имеет никакого отношения ни к глаголу «запылать», ни к глаголу «западать». А что же это такое? Прежде чем ответить на поставленный вопрос, напомним противоположение «вечера» и «свѣта» в картине битвы с половцами: «Съ зараниа до вечера, съ вечера до свѣта летяъ стрѣлы каленяя». Существительное «свѣт» здесь – в значении «рассвет». Ср. в другом месте «Слова»: «соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдають». Параллель «от вечера до свѣта» находим в древнерусском переводе «Жития Савы Освященного» XIII в. [Ж.Сав.Осв.: 155]. Многочисленные примеры употребления слова «свет» как названия рассвета представлены в картотеке Древнерусского словаря Института языкознания АН СССР [Картотека ДРС. – Л.А.]. Вот один из характерных: «того беречи накрепко как с утра придут ловцы на исады

до света или на свету и в час дни с рыбою» (1623 г.). В документах Разрядного приказа нам довелось отметить запись: «в ночи перед свѣтомъ... дворовая еѣ дѣвка Дунка Алексашкина дочь... бѣжала» (1696 г.) [РГАДА, Разрядный приказ. Приказный стол, стб. 1934: 35]. Синонимические выражения «чуть свет» или «чем свет» вполне обыкновенны и в современном просторечии. Широко употребителен и ныне оборот «ни свет ни заря» – ‘чересчур рано’ [СВАН. Т. II. – Вып. 6: 1904], ‘ночью (?)’.

Исходя из сказанного, полагаем, что есть основания видеть в интересующем образовании «свѣт» значение «рассвет» или «утренняя заря». А если так, глагольное образование «запала», согласованное с «заря», должно быть переходным, а «свѣт» может быть лишь названием объекта, на который направлено действие, выражаемое глаголом. Глагольная форма, согласованная в роде, естественно, – форма прошедшего времени. В свете этого предположения должно быть учтено и структурное сходство смежных предложений «заря свѣт запала» и «мѣгла поля покрыла», поскольку явления синтаксического параллелизма характерны для «Слова о полку Игореве» [см., например, Ржига 1950: 190-191]. Соответствующую форму инфинитива к «запала» правомерно усматривать в образовании «запасть». Правда, в русском языке и других восточнославянских как форма транзитивная, насколько нам известно, образование «запасть» пока не регистрировалось. Однако его отсутствие в современную эпоху ещё не говорит об отсутствии в истории языка. Затем, дальнейший учёт диалектных словарных запасов, быть может, и обнаружит его как раритет. Ведь не так давно, к примеру, существительное «смага» в «Слове о полку Игореве» признавалось одной из примет западнославянского происхождения произведения [см. Орлов 1946: 202-203], тогда как это слово бытует в русских говорах, в частности в пределах южновеликорусского наречия [см.: Котков 1954: 20-21].

Если допустить возникновение «Слова» в зоне Северной земли, шире – западной Руси, то позволительно ожидать, что следы его древней лексики, пока не обнаруженные или, утраченные в данной области, могли сохраниться у соседнего славянства, когда-то с нею связанного определёнными отношениями. Возвращаясь к форме «запала», мы можем указать соответственное ей инфинитивное образование со значением переходности в польском языке. Сто сорок с лишним лет назад оно зарегистрировано в словаре С. Б. Линде [Линде 1814], а после – в словаре, составленном Карловичем, Крынским и Недзвецким, эта регистрация была повторена [Карлович 1927. – Т. VIII: 208]. Одно из значений глагола *zapaść* Линде иллюстрировал следующим

примером: «Noc mię zapadła, zamierzchnąłem» [Линде 1814. – Т. VI: 723], у него же к глаголу *zastać* даётся предложение: «Zastał mię deszcz», при этом среди приводимых ниже синонимических выражений находим и «zapadł mię» [там же: 779]. Отметим: во втором из упомянутых словарей образование *zapaść* в значении *zastać* отнесено к категории малоупотребительных.

Польскому *zapadła* на восточнославянской почве соответствует «запала». Таким путём, оборот «заря свѣт запала» есть основание читать «заря свет застала», что в общем согласуется и с реальной ситуацией – соотношением дня и ночи накануне битвы с половцами. В то время продолжительность ночи приближалась к минимальной, отставая от последней всего примерно на час – ночная пора была приблизительно такова, когда, как говорят, в народе, «заря с зарёй сходится». При таком понимании исследуемой фразы смена изображаемых в ней явлений природы приобретает вполне убедительную последовательность: долго ночь темнеет и, вследствие этого, вечерняя заря застаёт рассвет, туман поля покрывает, щёкот соловьиный уснул, говор галок пробудился. Описание этих изменений – одно из проявлений той художественной особенности древнерусской литературы, на которую (особенность) указывает Д. С. Лихачёв.

«Слово о полку Игореве, – пишет он, – и вся древнерусская литература в целом не знает статического пейзажа; пейзаж в произведениях древней русской литературы всегда динамический. Описываются изменения пейзажа: например, движение надвигающейся грозы; описываются действия природы: например, Донец стелет Игорю постель, одевает его туманами, стережёт его чайками, гоголями, чернедями. И в данном случае описывается, очевидно, не какой-либо определённый час утра или вечера, а «движение» ночи – от вечерней зари и до утреннего говора галок» [Лихачёв 1950: 399].

Ещё одно замечание: чтение «застала» допускает не только буквальную трактовку, его возможно понимать и как художественную гиперболу – намёк на кратковременность поры между зарями.

**44. Хорс в «Слове о полку Игореве» и отголоски этого имени в  
Северской гидронимии» // Учёные записки МОПИ им.  
Н. К. Крупской. – Т. СXXXIX . – Вып. 9. Русский язык и литерату-  
ра / Под общей ред. проф. И. В. Устинова. – М., 1963. – С. 71-74.**

Исследование древних рукописей из Новгород-Северской области в связи с изучением словарного состава «Слова о полку Игореве» представляется существенно необходимым: эти рукописи заключают параллели к таким элементам великого произведения, которые в известной степени определяют его лексическое своеобразие. Имеем в виду, например, слова *болонь*, *галицы*, *струги*, *яруги* [см.: Котков 1958; он же 1961]. В гидронимии Новгород-Северской области XVII–XVIII вв. находим и следы упомянутого в «Слове» имени бога Хорса (Всеславь князь людемь судяше грады рядяше а самъ въ ночь влькомь рыскаше изъ Кыева дорискаше до курь Тмутороканя великому *Хръсови* влькомь путь прерыскаше).

В копии выписи из отказных книг Рыльского уезда, которую в 1718 г. дал севский подьячий «порутчику Петру Семенову сну Артакову», встречаем такие строки: в Сницкой волости примерной земли усадища к речке Вабли и к речке Взнички поместья до *Хорсова* болота до речки до Шихаевой с урочищи пашни и дикого поля и дубровы дватцать две четверти в поли а в дву по тому жь [ГИМ, ф. 229, № 139: 23. Копия написана на бумаге с филигранью «1793»].

Путивльская писцовая книга 1628–1629 гг., содержание которой составляет описание бортных ухожьев, среди многих прочих называет следующие приметы угодий: струшка Званое да ровен *Хорсав*... ровен *Хорсов* и позад *Хорсова* малые лески... ровен *Хорсов* да ровен Густорыж... ровен *Хорсавь* и позад *Хорсакова* (так!) с малыми лески лесокъ Долгой. [РГАДА, Поместный приказ, кн. 368: 324 об., 331 об., 334 об., 359]. Хотя и нет определённых сведений о том, что ровень *Хорсов* вытекал из *Хорсова* болота, местоположение того и другого приблизительно одинаково. Поэтому есть основание думать, что название ровня – производное от названия болота. Может быть, связано с *Хорсом* и ещё одно название, отмеченное в рыльской межевой книге 1628 г.: межа дрвни *Хоросеи* Яковлеву помес(ь)ю Подпрятова... межа пустоши на речке *Хоросеи*... межа пустоши что было село Быховка на речке *Хоросее* [РГАДА, Поместный приказ, кн. 427: 30, 32]. В. Н. Топоров и О. Н. Трубочёв предположительно выводят название речки Хоросейка из \*Орос-ей-ка [Топоров, Трубочёв 1962: 212].

Ассоциации с Хорсом в местной гидронимии – хотя и отдалённые, но, тем не менее, достаточно ясные свидетельства культа это-

го языческого бога в ряду других языческих богов в древней Новгород-Северской земле. Ср., к примеру, упоминание о *Перуновом* городище в тех же местах в списке с жалованной грамоты царя Ивана Васильевича, данной Новгород-Северскому Спасо-Преображенскому монастырю в 1551 г. [РГАДА, ф. 124, № 1: 4]. Заметим, что Е. В. Барсов, приводя в доказательство бытования культа бога Хорса в древней Руси названия селений, озёр и урочищ, перечисляет лишь слова, образованные от *Хорош*, за исключением единственного топонима, *Хóросино* (Моск. губ., Серп. уезд) [Барсов 1887: 362-363].

Допуская, что в основе имени *Хорса* лежит иранское, осетинское в частности, слово, С. П. Обнорский ставит два вопроса: при какой исторической обстановке могло произойти соответственное заимствование и каково было значение *Хорса* как мифологического начала. Отвечая на первый вопрос, С. П. Обнорский пишет: «Древняя Русь, и именно южная её полоса, находилась в длительных, ещё с доисторической поры, культурных связях с самыми разнообразными народами востока. Можно в частности вспомнить повествование Летописи об ясах и касогах, с которыми имел дело ещё Святослав (см. под 965 г.), с которыми южная Русь имела, конечно, и более ранние связи. Как известно, ясы являются как раз предками осетин (касоги – народность кавказского племени)» [Обнорский 1929: 252-253]. [В литературе находим указания на такие, скажем, гидронимы иранского происхождения в интересующей нас области, как Свапа, Сейм, Тускорь, Нехтарь, Хоропуть (см.: Топоров, Трубочёв: 230)]. Не отголосок ли этих давних связей – отмеченное в текстах XVII в. название *Касоужской* волости, то есть граничившей с пространствами, где когда-то появлялись *касоги*, или, иначе говоря, обращённой к *касогам*? Так, в рьльской писцовой книге 1625 г.: в *Касоужской* волости на реке на Семи... в Рьльском уезде в *Касоужской* волосте... в *Касоужской* волости [РГАДА, Поместный приказ, кн. 148: 390 об., 405, 410]; ср.: по всей *Касоужской* волости [там же: 405 об.]; в *Касоужской* волости [там же: 394]. Рьльская межевая книга 1628 г. хранит такую запись: межа *Касоужские* волости против городища Словенского за рекою за Сем(ь)ю [РГАДА, Поместный приказ, кн. 427: 29 об.].

Попутно заметим: с временами «Слова», возможно, переключается одно географическое название, записанное в той же книге: межа пустоши на дикомъ поле *Кобякове* верхъ Толпина и речки Крепны... межа за рекою за Семью против кургана рошибенова меж болота Иванского и лесков Всполских х *Кобякову* полю [там же: 18 об., 20 об.], (ср. упоминание о *Кобяке* в «Слове о полку Игореве»). Впрочем,

не исключено, что это наименование непосредственно обязано своим появлением прозвищу местного землевладельца.

Относительно значения *Хорса* как мифологического начала прямых указаний локальная гидронимия не содержит, однако, предположение на этот счёт позволяет высказать. Болота и овраги в народных верованиях с давних пор считались местопребыванием нечистой силы. Отражение подобных представлений обнаруживаем и в старой письменности Новгород-Северской области: село Гребениково у *Сотонина болота* (1585 г. – ГКЭ, № 1/5939: 10); возле болота *Чортова* беремья (1629 г. – ГКЭ, № 7/9587: 10), ср.: озеро *Чортово* беремья [1629 г. – РГАДА, Поместный приказ, № 368: 543]; от нижнего *Бесовского* логу [1694 г. – ГКЭ, № 8/9588: 2]. Есть основание полагать, что *Хорсово* болото – название аналогичного происхождения. *Хорс* – олицетворение тёмной силы. На первый взгляд, такое мнение противоречит наиболее распространённой точке зрения на *Хорса* как бога солнца [Обнорский 1929: 253-254]. Но это противоречие нетрудно устранить, принимая во внимание следующее обстоятельство: при переходе от язычества к христианству «добрые» языческие божества, естественно, приобретали иную характеристику, с ними ассоциировалось всё ложное, враждебное, тёмное и злое. В локальной гидронимии XVII в. отражён именно этот этап семантической эволюции слова *Хорс*. Признавая в основе имени *Хорс* иранское (осет.) *chors*, С. П. Обнорский полагает, что усвоенное Русью в то время, когда в русском <языке> действовал закон полногласия, заимствование получило форму *Хорос* [там же: 254]. Если это справедливо, то в названии *Хоросей* можно было бы усматривать её сохранение. Представленные в древнерусских памятниках варианты вроде *Хорьса*, *Хьрьса*, *Хьроса* и под., по мнению исследователя, могли явиться под пером позднейших переписчиков «в связи с общей осложнившейся с половины XII в. (после истории с редуцированными ъ, ь) системой русской графики» [там же: 256]. Возможно, было и так. Однако, если название *Хоросей* не имеет ничего общего с именем *Хорс*, можно думать и иначе: интересующее нас иранское образование попало в русский в ту эпоху, когда закон полногласия уже утратил своё значение. Независимо от того или иного решения данного вопроса, указания на *Хорса* в новгород-северской гидронимии – ещё одно свидетельство в пользу предположения, что родина «Слова о полку Игореве» – Новгород-Северская земля. Исследование лексики старых текстов, соотносительных с этой областью, даёт всё новые и новые факты в подтверждение подобной точки зрения.



## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Аванесов 1949* – Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии. – М., 1949. – Ч. I.
- Аванесов 1952* – Р. И. Аванесов. О качестве задненёбной фрикативной согласной перед гласными переднего ряда в русском языке // Институт языкознания. Оклады и сообщения. – М., 1952. – [Т.] II.
- Аванесов 1953* – Р. И. Аванесов. К вопросам образования русского национального языка // Вопросы языкознания, 1953. – № 2.
- Аванесов 1955* – Р. И. Аванесов. Проблемы образования языка русской (великорусской) народности // Вопросы языкознания, 1955. – № 5.
- А.елец. 1893* – Акты Елецкой провинциальной и Чернавской воеводской канцелярий... // Труды Орловской учёной архивной комиссии. – Орёл, 1893. – Вып. 2.
- Алексеев 1984* – М. П. Алексеев. Русский язык в мировом культурном обиходе // Вопросы языкознания, 1984. – № 2.
- Алпатов 1959* – А. В. Алпатов. Комментарии к: Алексей Толстой. Собрание сочинений. – М., 1959. – Т. VII.
- Анненков 1957* – Дневник курского помещика И. П. Анненкова – Материалы по истории СССР. – М., 1957. – Т. V.
- Анпилогов 1977* – Г. Н. Анпилогов. Нижегородские документы XVI века (1588–1600 гг.). – М., 1977. – С. 210–404.
- Арсеньев* – В. Арсеньев. Вкладная книга Брянского Свенского монастыря XVI в.
- Арсеньев 1903* – Ю. А. Арсеньев. Ближний боярин князь Н. И. Одоевский и его переписка с Галицкою вотчиною (1650–1684). – М., 1903.
- Арх.бум Петра* – Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. – М., 1872. –Т. I–II.
- Архив Куракина* – Архив князя Ф. А. Куракина [Бумаги кн. Бориса Ивановича Куракина]. – СПб.; Саратов; Астрахань; М., 1890–1902. – Кн. 1–10.
- Арциховский, Борковский 1963* – А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1956–1957 гг.). – М., 1963.
- АСЭИ* – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. – М., 1952. – Т. I; 1958. – Т. II; 1964. – Т. III.
- АЮ* – Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства. Изд. Археографическою комиссиею. – СПб., 1838.

*АЮБ* – Акты, относящиеся до юридического быта древней России. – СПб., 1864. – Т. I–III.

*Баг.Мат. 1880* – Д. И. Багалея. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI–XVIII ст. – Харьков, 1880. – Т. 1.

*Баранцевич 1898* – Е. М. Баранцевич. Ведение пчёл на Руси // Вестник иностранной литературы пчеловодства. – СПб., 1898;

*Баранцевич 1913* – Е. М. Баранцевич. Обзор исторических сведений по ведению пчёл на Руси. – Томск, 1913.

*Барсов 1887, 1890* – Е. В. Барсов. Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси. – М., 1887. – Т. I; М., 1890. – Т. III.

*Бессараб 1968* – Н. Бессараб. Владимир Даль. – М., 1968.

*Биркфельнер 1978* – G. Birkfellner. Slavistische Editionstechnik // Wiener Slavistisches Jahrbuch. – Wien – Köln – Graz, 1978. – Bd. 24.

*Бицилли 1933* – П. Бицилли. Употребление формы именительного падежа женских имён на -а при инфинитиве в русском языке // Сборник в честь на проф. Л. Милетичъ. – София, 1933.

*Бломквист 1956* – Е. Э. Бломквист. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX в. – М., 1956.

*Богородицкий 1902* – В. А. Богородицкий. Диалектологические заметки. IV. Московское наречие двести лет назад // Учёные записки Казанского университета, год LXIX, кн. 2, февраль. – Казань, 1902.

*Борисов 1861* – В. Борисов. Объяснение древнего слова «павороза» с приложением актов // Владимирские губернские ведомости. – 1861. – № 1.

*Борковский 1949* – В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот (простое предложение). – Львов, 1949.

*Будде 1892* – Е. Будде. К диалектологии великорусских наречий. Исследование особенностей рязанского говора // Русский филологический вестник. – Варшава, 1892. – № 2.

*Будде 1904* – Е. Ф. Будде. О говорах Тульской и Орловской губерний. – СПб., 1904.

*Буганов, Зимин 1980* – В. И. Буганов, А. А. Зимин. О некоторых задачах специальных исторических дисциплин в изучении и издании письменных источников по истории русского средневековья // История СССР. – М., 1980. – № 1.

- Булаховский 1941* – Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX в. – Киев., 1941. – Т. I.
- Булаховский 1948* – Л. А. Булаховский. Общеславянские названия птиц // Известия АН СССР, ОЛЯ. – 1948. – Т. VIII. – Вып. 2.
- Булаховский 1950* – Л. А. Булаховский. Исторический комментарий к русскому литературному языку. – Киев, 1950.
- Бунин 1956* – И. А. Бунин. Собрание сочинений. – М., 1956. – Т. IV.
- Бунин 1961* – И. А. Бунин. Повести, рассказы, воспоминания. – М., 1961.
- Буслаев 1861* – Ф. И. Буслаев. Историческая хрестоматия. – М., 1861.
- Васеко 1973* – Е. Ф. Васеко. Фонологическая система московского говора первой половины XVI в. по памятникам деловой письменности. – Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1973.
- Васильев 1905* – Л. Л. Васильев. К истории звука ъ в московском говоре в XIV–XVII веках // Известия ОРЯС, 1905. – Т. X. – Кн. 2.
- Васильев 1910* – Л. Л. Васильев. Несколько данных для определения звукового качества буквы ъ // Известия ОРЯС, 1910. – Т. XV. – Кн. 3.
- Васьянов 1840* – Васьянов. Курское наречие // Очерки России, издаваемые В. Пассеком. – М., 1840. – Кн. IV.
- Вейнберг 1885* – Л. Б. Вейнберг. Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. – Воронеж, 1885. – Вып. VI.
- Веселовский 1974* – С. Б. Веселовский. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. – М., 1974.
- Вести-Куранты 1600–1639 гг.* / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1972.
- Вести-Куранты 1642–1644 гг.* / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1976.
- Вести-Куранты 1645–1646, 1648 гг.* / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1980.
- Вести-Куранты 1648–1650 гг.* / Изд. подгот. В. Г. Демьянов, Р. В. Бахтурина. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1983.
- Виноградов 1912* – Н. Виноградов. Материалы по истории, археологии, этнографии и статистике Костромской губернии. – Кострома, 1912. – Вып. 1.
- Виноградов 1922* – В. В. Виноградов. Алексей Александрович Шахматов. – Пг., 1922.
- Виноградов 1935* – Г. Виноградов. Полвека учёной деятельности П. К. Симони // Язык и мышление. – М.; Л., 1935. – [Т.] III–IV.

*Виноградов 1958* – В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. – М., 1958.

*Виноградов 1964* – В. В. Виноградов. История русского литературного языка в изображении акад. А. А. Шахматова // Филологические прелюдии. – 1964. – Вып. 3-4.

*Виноградов 1978* – В. В. Виноградов. Избранные труды. История русского литературного языка. – М., 1978.

*Виноградов 1982* – В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. – М., 1982. (3-е изд.)

*Виноградова 1965* – Словарь-справочник “Слова о полку Игореве”. – Сост. В. Л. Виноградова. – М.; Л., 1965–1982. – Вып. 1-6.

*Винокур 1959* – Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. – М., 1959.

*Воссоед. Укр. с Росс.* – Воссоединение Украины с Россией / Документы и материалы в трех томах. – М., 1954. – Т. I–III.

*Вотч. записки 1622* – Роспись бортовых вотчинных ухожий Темниковского уезда за 1622 г. // РГАДА, Вотчинные записки, стб. 18773.

*Выг. сб.* – Выголексинский сборник / Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Гольштенко. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1977.

*Высотский 1961* – С. С. Высотский. Развитие русской диалектологии в конце XIX в. и в начале XX в. // История русской диалектологии. – М., 1961.

*ГАКО* – Государственный архив Курской области.

*Ганцкая 1960* – О. А. Ганцкая. Поселения и жилище // Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР. – М., 1960.

*ГИИМ 1961* – Государственный исторический архив Московской области. Путеводитель. – М., 1961.

*ГИИМ* – Государственный Исторический музей.

*ГИИМ ОПИ 1967* – Путеводитель по фондам личного происхождения Отдела письменных источников Государственного Исторического музея. – М., 1967.

*ГКЭ* – Грамоты Коллегии Экономии. – РГАДА, ф. 281.

*Голанов 1929* – И. Г. Голанов. Русская диалектология. – М., 1929.

*Головенченко 1963* – Ф. М. Головенченко. Слово о полку Игореве / Библиографический очерк. Перевод. Пояснения к тексту и переводу. Под ред. проф. А. В. Позднеева. – М., 1963.

*Гольденвейзер 1959* – А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. – М., 1959.

*Горская 1959* – Н. А. Горская. Земледельческие орудия в центральной части Русского государства второй половины XVI – начала XVII в. // *Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР*. – М., 1959. – Сб. III.

*Горский 1960* – А. Д. Горский. Очерки экономического положения крестьян Северо-Восточной Руси XIV–XV вв. – М., 1960.

*Горшкова 1947* – К. В. Горшкова. Из истории московского говора в конце XVII– начале XVIII века. Язык писем и бумаг Петра Великого. – Автореф. дис. ...канд. филол. наук. // *Вестник МГУ*, 1947. – № 10.

*Горшкова 1951* – О. В. Горшкова. Язык московских грамот XIV–XV веков (лексика и фразеология) – Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – М., 1951.

*Горшкова 1959* – К. В. Горшкова. История безударного вокализма в старомосковском просторечии // *Вопросы истории русского языка*. Под ред. П. С. Кузнецова. – М., 1959.

*Горшкова 1972* – К. В. Горшкова. Историческая диалектология русского языка. – М., 1972.

*Горшкова, Хабургаев 1981* – К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка. – М., 1981.

*Горький 1955* – М. Горький. Собрание сочинений. – М., 1955. – Т. 29.

*Готье 1937* – Ю. В. Готье. Замосковский край в XVII веке. – М., 1937.

*Грамотки* – Грамотки XVII – начала XVIII века / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1969.

*Гранстрем 1971* – Е. Э. Гранстрем. Греческие параллели к гимнографическим текстам Минеи Дубровского // *Русский язык. Источники для его изучения*. – М., 1971.

*Греков 1952* – Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси. – М., 1952. – Т. I–2.

*Грехова 1966* – Л. П. Грехова. Исследование генетически южновеликорусского образования в северновеликорусском массиве. – Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – М., 1966.

*Гринкова 1947* – Н. П. Гринкова. Воронежские диалекты. – Л., 1947.

*Гр.Новг. и Псков.* – Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Под ред. С. Н. Валка. – М.;Л., 1949.

*Дерягин 1968* – В. Я. Дерягин. Из истории лексических изоглосс в говорах Архангельской области // *Этимология*, 1966. – М., 1968.

*Дерягин 1973* – В. Я. Дерягин. Изучение истории словарного состава языка по данным деловой письменности // *Славянское языкозна-*

ние: VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1973.

*Дерягин, Комягина 1968* – В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина. Из истории диалектных границ в северной России // Вопросы языкознания. – 1968. – № 6.

*Дерягин, Комягина 1972* – В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина. Из истории и географии финно-угорских заимствований в севернорусских говорах // Вопросы изучения лексики русских народных говоров. – Л., 1972.

*Дмитриев 1958* – Н. К. Дмитриев. О тюркских элементах русского словаря // Лексикографический сборник. – М., 1958. – Вып. III.

*Дмитрюков 1853* – А. Дмитриюков. Список с описи окружной межи Суджанского уезда 1754 г. // Курские губернские ведомости. – Курск, 1853.

*Доброклонский 1888* – А. П. Доброклонский. Солотчинский монастырь, его слуги и крестьяне в XVII в. – М., 1888.

*Добрынкин 1868* – Н. Добрынкин. Вязниковский уезд Владимирской губернии // Труды Владимирского губернского статистического комитета. – Владимир, 1868. – Вып. VII.

*Долгорукая 1913* – [Н. Б. Долгорукая]. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой. – СПб., 1913.

*Дубенский 1844* – Д. Дубенский. Слово о плъку Игореве. – М., 1844.

*Дурново 1915* – Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе. – М., 1915.

*Дух.и дог.гр.* – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв./Подгот. к печати Л. В. Черепнин. – М.;Л., 1950.

*Дювернуа 1894* – А. Л. Дювернуа. Материалы для словаря древнерусского языка. – М., 1894.

*Елагин 1858* – Н. Елагин. Белёвская вивлиофика, издаваемая Николаем Елагиным. – М., 1858. – Т. II. Приложения.

*Ефименко 1874* – П. Ефименко. Юридические знаки. – Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1874. – № 10–12.

*Ефременко 1928* – С. Н. Ефременко. Топография Рыльского уезда 17 века // Известия Курского губернского общества краеведения. – Курск, 1928 (1927). – № 6.

*Жарких 1953* – Т. В. Жарких. Язык воронежских грамот XVII в. – Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Воронеж, 1953.

*Жирмунский 1976* – В. М. Жирмунский. О границах слова // Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. – Л., 1976.

*Ж.Сав.Осв.* – Житие св. Савы Освященного, составленное св. Кириллом Скифопольским в древнерусском переводе / Издал И. Помяловский. – СПб., 1890. (Изд. ОЛДП № 96). XIII в.

*Жуковская 1955* – Л. П. Жуковская. Палеография // Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. – М., 1975.

*Жуковская 1976* – Л. П. Жуковская. Текстология и язык древнейших славянских памятников. – М., 1976.

*Жуковская, Котков 1960* – Л. П. Жуковская, С. И. Котков. О публикации памятников русского языка и письменности // Вопросы языкознания. – 1960. – № 4.

*Забелин 1918* – И. Е. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. – М., 1918. – Ч. 1 (4-е изд.).

*Задонщина* – Задонщина великого князя Димитрия Ивановича и брата его князя Володимера Андреевича, по Кириллобелозерскому списку 1470 г. // П. К. Симони. Памятники старинного русского языка и словесности XV–XVIII столетий. – Пг., 1922. – Вып. III // Сборник ОРЯС. – Т. 100. – № 2.

*Зализняк 1978* – А. А. Зализняк. Противопоставление букв *o* и *w* в древнерусской рукописи XIV века «Мерило праведное» // Советское славяноведение. – 1978. – № 5.

*Зеленин 1908* – Дм. Зеленин. Русская соха, её история и виды. Очерк из истории русской земледельческой культуры. – Вятка, 1908.

*Зеленин 1913* – Д. К. Зеленин. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненёбных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. – СПб., 1913.

*Знам. Орл.* – Ал. С. Знамена бортовых ухажий Орловской г. в 17 ст. // Известия императ. Археологического об-ва. – СПб., 1877. – Т. 8. – Вып. 2.

*Иванов 1959* – В. В. Иванов. Из истории безударного вокализма русского языка (Аканье и сопутствующие ему явления в волоколамских говорах XV–XVIII вв.) // Вопросы истории русского языка. Под ред. П. С. Кузнецова. – М., 1959.

*Изб. 1073 г. (1880)* – Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 г. – СПб, 1880. (Изд. ОЛДП, № 55).

*Изб. 1073 г. (1983)* – Изборник Святослава 1073 г. Факсимильное издание. – М., 1983.

*Изб. 1073 г. Соф. (1991)* – Симеонов сборник [по Светославовия препис от 1073 г.]. / Под общата редакция на акад. Петър Динеков. – София, 1991

*Изб. Св. 1076 г. (1965)* – Изборник 1076 г. / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1965.

*Изб.Св. 1076 г. (2009)* – Изборник 1076 г. / Второе издание, переработ. и доп. / Изд. подгот. М. С. Мушинская, Е. А. Мишина, В. С. Гольщенко. Под ред. А. М. Молдована. – Т. I–II. – М., 2009.

*Иорданский 1960* – А. М. Иорданский. История двойственного числа в русском языке. – Владимир, 1960.

*Источниковедение 1973* – Источниковедение истории СССР. – М., 1973.

*Кандаурова 1957* – Т. Н. Кандаурова. О языке псковского Пролога 1383 г. // Труды Института языкознания. – М., 1957. – Т. VIII.

*Каринский 1909* – Н. М. Каринский. Язык Пскова и его области в XV в. – СПб., 1909.

*Качалкин 1972* – А. Н. Качалкин. Памятники деловой письменности XVII в. как источник исторической лексикологии. – Вопросы языкознания. – 1972. – № 1.

*Князевская 1957* – О. А. Князевская. К истории русского языка в Северо-Восточной Руси в середине XIV в. (Палеографическое и фонетическое описание рукописи Московского евангелия 1358 г.) // Труды Института языкознания. – М., 1957. – Т. VIII.

*Кн.ключей* – Книга ключей и долговая книга Иосифо-Волоколамского монастыря XVI века. Под ред. М. Н. Тихомирова и А. А. Зиминой. – М., Л., 1948.

*КОА, колл. Краеведч. музея* – Курский областной архив. Коллекция документов Курского краеведческого музея, № 15.

*Козма Инд.* – Книга нарицаемая Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В. С. Гольщенко и В. Ф. Дубровина. – М., 1997.

*Козырев 1973* – В. А. Козырев. словарные параллели к лексике «Слова о полку Игореве» в современных брянских и других народных говорах. – Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Л., 1973.

*Костючук 1968* – Л. Я. Костючук. Некоторые наблюдения над трафаретными выражениями в древнерусских деловых документах // УЗ Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена». – Л., 1968. – Т. 293.

*Котков 1952* – С. И. Котков. К изучению орловских говоров // Учёные записки Орловского гос. пед. ин-та. – Орёл, 1952. – Т. VII. – Вып. III.

*Котков 1954* – С. И. Котков. Из курско-орловских параллелей к лексике «Слова о полку Игореве» // УЗ Орловского гос. пед. ин-та. – Т. IX. Кафедра русского языка. – Орёл, 1954. – Вып. IV.

*Котков 1958* – С. И. Котков. Слово о полку Игореве. (Заметки к тексту). – М., 1958.

*Котков 1959* – С. И. Котков. Конструкция типа «земля пахать» в истории южновеликорусских говоров. – Известия АН ОЛЯ. – 1959. – № 1.



*Котков 1961* – С. И. Котков. Из старых южновеликорусских параллелей к лексике «Слова о полку Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы. – Л., 1961. – Т. XVII.

*Котков 1962* – С. И. Котков. Вопросы истории русского языка в свете некоторых данных южновеликорусских памятников // Вопросы образования восточнославянских национальных языков. – М., 1962.

*Котков 1963* – С. И. Котков. Южновеликорусское наречие в XVII столетии. (Фонетика и морфология). – М., 1963.

*Котков 1964* – С. И. Котков. О предмете лингвистического источниковедения // Источниковедение и история русского языка. – М., 1964.

*Котков 1967* – С. И. Котков. Сказки о русском слове. – М., 1967.

*Котков 1968* – С. И. Котков. О развитии лингвистического источниковедения // Вопросы языкознания. – 1968. – № 2.

*Котков 1969* – С. И. Котков. Отказные книги // Вопросы языкознания. – 1969. – № 1.

*Котков 1970* – С. И. Котков. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII веков. – М., 1970.

*Котков 1971* – С. И. Котков. Об исследовании источников по истории говора Москвы // Русский язык. Источники для его изучения. – М., 1971.

*Котков 1972* – Таможенные книги Камер-коллегии – источник по истории русского языка // Русское и славянское языкознание / К 70-летию чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. – М., 1972.

*Котков 1974* – С. И. Котков. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. – М., 1974.

*Котков 1977* – С. И. Котков. О лингвистическом источниковедении // Вопросы языкознания. – 1977. – № 6.

*Котков 1980* – С. И. Котков. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. – М., 1980.

*Котков 1991* – С. И. Котков. Источниковедческие исследования и научное издание памятников в области русского языка // Источники по истории русского языка XI–XVII вв. – М., 1991.

*Котков, Савченко 1969* – С. И. Котков, Н. Ф. Савченко. Монастырские фонды рукописей во Владимирском областном архиве (XVII –нач. XVIII в.) // Изучение русского языка и источниковедение. – М., 1969.

*Коткова 1963* – Н. С. Коткова. Названия русских бортовых знамен – историко-лингвистический источник // Исследования по лингвистическому источниковедению. – М., 1963.

*Коткова 1964* – Н. С. Коткова. Книги Денежного стола // Источниковедение и история русского языка. – М., 1964.

*Коткова 1971* – Н. С. Коткова. Историко-лингвистические свидетельства древней владельческой формулы // Русский язык. Источники для его изучения. – М., 1971.

*Кочин 1965* – Г. Е. Кочин. Сельское хозяйство на Руси в период образования русского централизованного государства. Конец XIII – нач. XVI в. – М.;Л., 1965.

*Кузнецов 1958* – П. С. Кузнецов. У истоков русской грамматической мысли. – М., 1958.

*Куранты* см. *Вести-Куранты*

*Лавр.лет.* – Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – Л., 1926. – Т. I. – Вып. 1-3.

*Ларин 1961* – Б. А. Ларин. Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. – Л., 1961.

*Лебедев 1902* – А. С. Лебедев. Сведения о некоторых архивах духовного ведомства в губерниях Курской и Харьковской. – Харьков, 1902.

*Лебедева 1956* – Н. И. Лебедева. Прядение и ткачество восточных славян // Восточнославянский этнографический сборник. – М., 1956.

*Левитский 1905* – И. Левитский. Город Путивль // Труды XII Археологического съезда. – М., 1905. – Т. III.

*Ленин* – В. И. Ленин. О праве наций на самоопределение // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. – М., 1969. – Т. 25.

*Лесков 1954* – А. Лесков. Жизнь Николая Лескова. – М., 1954.

*Лесков 1956* – Н. С. Лесков. Собрание сочинений. – М., 1956. – Т. 1-2; 1957. – Т. 3-5.

*Лесков 1958* – Н. С. Лесков. Собрание сочинений. – М., 1958. – Т. VIII.

*Лихачёв 1950* – Д. С. Лихачёв. Слово о походе Игоря... (Ритмический перевод) // Слово о полку Игореве. Сборник исследований и статей – М.;Л., 1950.

*Лихачёв 1950a* – Д. С. Лихачёв. Комментарий исторический и географический // Слово о полку Игореве. Изд. АН СССР (серия «Литературные памятники»). – М., 1950.

*Лихачёв 1954* – Д. С. Лихачёв. Повести русских послов как памятники литературы // Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки. – М.;Л., 1954.

*Лихачев 1962* – Д. С. Лихачев. Текстология. На материале русской литературы X–XVII вв. – М.;Л., 1962.

*Лихтман 1953* – Р. И. Лихтман. Их истории московского просторечия в середине XVIII в. (На материале «Записок Натальи Долгорукой»). – Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Омутнинск, 1953.

*Лихтман 1960* – Р. И. Лихтман. К вопросу о вокализме московского просторечия в XVIII веке // Учёные записки Дагестанского государственного университета. – Махачкала 1960.

*Лудольф 1937* – Генрих Вильгельм Лудольф. Русская грамматика. Оксфорд, 1696. – Переиздание, перевод, вступительная статья и примечания Б. А. Ларина. – Л., 1937.

*Майков 1914* – А. Н. Майков. Полное собрание сочинений. – СПб., 1914. – Т. IV.

*Максимович 1880* – М. А. Максимович. Собрание сочинений. – Киев, 1880. – Т. III.

*Марков 1961* – В. М. Марков. Язык «Расходной книги» Волоколамского монастыря. (Материалы к истории московского говора в XVI веке) // Памяти В. А. Богородицкого. – Казань, 1961.

*Материалы курск. 1850* – Материалы для описания Курской губернии // Курские губернские ведомости. – 1850. – № 4.

*Материалы хоз. 1951* – Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой четверти XVIII в. Подгот. к печати К. В. Сивков. – М., 1951.

*Материалы церк. 1913* – Материалы для истории церквей Курской, Харьковской, Орловской, Черниговской и Воронежской губерний, городов и станиц Донской области. – М., 1913.

*МДБП* – Московская деловая и бытовая письменность XVII века / Изд. подгот. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. – М., 1968.

*Мельников 1955* – П. И. Мельников (Андрей Печерский). В лесах. – Кн. I. – М., 1955.

*Мельников 1956* – П. И. Мельников (Андрей Печерский). На горах. – Кн. I. – М., 1956.

*Мельхиседек 1844* – Архим. Мельхиседек. Краткое историческое описание Рыхловской пустыни. – М., 1844.

*Момина 1976* – М. А. Момина. Песнопения древних славяно-русских рукописей // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. – М., 1976. – Вып. 2. – Ч. II.

*Монгайт 1961* – А. Л. Монгайт. Рязанская земля. – М., 1961.

*Москвитянин 1862* – Москвитянин, 1862, октябрь. – № 10. – Кн. 1.

*Мст.ев.* – Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. – М., 1983.

*Мурьянов 1982* – М. Ф. Мурьянов. Ещё раз о Минее Дубровского // Вопросы языкознания. – 1982. – № 5.

*Назиратель* – Назиратель / Изд. подгот. В. С. Голышенко, Р. В. Бахтурина, И. С. Филиппова. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1973.

*Найдич 1967* – Д. В. Найдич. Пахотные и разрыхляющие орудия // Русские. Историко-этнографический атлас. – М., 1967.

*Нидерле 1956* – Л. Нидерле. Славянские древности. – М., 1956.

*Никифоров 1947* – С. Д. Никифоров. Из наблюдений над языком Домостроя по Коншинскому списку // УЗ Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. – 1947. – Т. XLII.

*Никольская 1968* – Т. Н. Никольская. Кузнецы железу, меди и серебру от вятич // Славяне и Русь. – М., 1968.

*Новомбергский 1911* – Н. Новомбергский. Слово и дело государевы, т. I // Записки Московского археологического ин-та. – 1911. – Т. XIV.

*Обнорский 1927* – С. П. Обнорский. Именное склонение в современном русском языке. – Л., 1927. – Вып. 1; Л., 1931. – Вып. 2.

*Обнорский 1929* – С. П. Обнорский. Прилагательное *хороший* и его производные // Язык и литература. – Л., 1929. – Т. III.

*Обнорский 1931* – С. П. Обнорский. Именное склонение в современном русском языке. – Л., 1931. – Вып. 2.

*Обнорский 1946* – С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. – М.;Л., 1946.

*Обнорский 1980* – С. П. Обнорский. Избранные работы по русскому языку. – М., 1980.

*Огоновский 1876* – О. Огоновский. Слово о плъку Игореве. – Львів, 1876.

*ОИДР* – Общество истории и древностей российских при Московском университете.

*ОЛДП* – Общество любителей древней письменности.

*ОЛЯ* – Отделение литературы и языка АН СССР

*Описание 1896* – Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – М., 1896. – Кн. X. – С. 42–119.

*Орлов 1946* – А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. – М.;Л., 1946. (2-е изд.).

*ОРЯС* – Отделение русского языка и словесности Академии наук.

*Отказн.кн.южн.* – Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги / Изд. подгот. С. И. Котков, Н. С. Коткова. – М., 1977.

*Павлов-Сильванский 1963* – В. Б. Павлов-Сильванский. Источники и состав отказных книг Поместного приказа (30–40 годы XVII века) (по материалам Вяземского уезда) // Археографический ежегодник за 1962 год. – М., 1963.

*Палея ист.* – А. Попов. Книга бытия небеси и земли (Палея историческая) с приложением сокращенной Палеи русской редакции // Чтения ОИДР, 1881. – Кн. 1.

*Палладий 1895* – Игумен Палладий. Историко-статистическое описание Молчанской рождество-богородицкой печерской мужской общежительной Софрониевой пустыни. – М., 1895.

*Пам.Влад.* – Памятники деловой письменности XVII в. Владимирский край / Изд. подгот. С. И. Котков, Л. Ю. Астахина, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1984.

*Пам.кн.курск. 1893* – Памятная книжка Курской губернии за 1893 г.

*Пам.Моск.* – Памятники московской деловой письменности XVIII века / Изд. подгот. А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1981.

*Пам.Ряз.* – Памятники русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край / Изд. подгот. С. И. Котков, И. С. Филиппова. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1978.

*Пам.южн.* – Памятники южновеликорусского наречия. Конец XVI – начало XVII в. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1990.

*Патерик Син.* – Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Гольшенко, В. Ф. Дубровина. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1967.

*Переп.Безобразова* – Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из фонда А. И. Безобразова). – Изд. подгот. С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. – М., 1965.

*Переп.частн.лиц* – С. И. Котков, Н. П. Панкратова. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII – начала XVIII века. – М., 1964.

*Попов 1860* – В. И. Попов. О народном говоре Орловской губернии // Орловские губернские ведомости. – 1860. – № 3–5.

*Попов 1913* – В. П. Попов. Летопись русского пчеловодства (с 912–1912 г.). – Пенза, 1913.

*Поступная запись* – Поступная запись из Путивльского уезда 1678 г. // ГАКО. Коллекция документов XVII–XIX вв. – № 64.

*Потебня 1878* – А. Потебня. Слово о полку Игореве. – Воронеж, 1878.

*Потебня 1888* – А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. – Харьков, 1888. – Ч. II.

*Правила 1961* – Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности. – М., 1961.

*Предв.список 1966* – Предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв., хранящихся в СССР (для «Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, до конца XIV в., включительно») // Археографический ежегодник за 1965 год. – М., 1966.

*Псков.писц.кн.* – Писцовая книга по Пскову и его пригородам XVI в. – Сборник Моск. архива Министерства юстиции. – М., 1913. – Т. V.

- Путивльская грамота* – Путивльская грамота 1621 г. // Труды XII Археологического съезда. – М., 1905. – Т. III.
- Пушкин 1957* – А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. – М., 1957. – Т. VI. – Примечания. (2-е изд.)
- Радивил Сиротка* – Похождение в Святую землю князя Радивила Сиротки. 1582–1584 гг. // Пригот. к печати и объяснил П. А. Гильтебрандт / Приложение к т. XV Известий РГО. – СПб., 1879.
- Рашин 1956* – А. Г. Рашин. Население России за 100 лет. – М., 1956.
- РГАДА* – Российский государственный архив древних актов.
- РГБ* – Российская государственная библиотека им. В. И. Ленина.
- РГО* – Русское Географическое общество.
- Ржига 1950* – В. Ф. Ржига. Из текстологических наблюдений над «Словом о полку Игореве»: что такое «въ стазби»? // Слово о полку Игореве. Сборник исследований и статей. – М.:Л., 1950.
- Рогов 1973* – А. И. Рогов. Минеи [справка] // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. – М., 1973. – Вып. 1.
- Рожков 1899* – Н. А. Рожков. Сельское хозяйство Московской Руси XVI–XVII вв. – М., 1899.
- РНБ* – Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге
- Рус. диалектология 1964* – Русская диалектология. Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. – М., 1964.
- Рус. диалектология 1965* – Русская диалектология. – М., 1965.
- Рус. старина 1895* – Русская старина, 1875, май.
- Рус. старина 1896* – Русская старина, 1896, март.
- Рус. старина 1896а* – Русская старина, 1896, апрель.
- Рыльская писцовая книга* – Рыльская писцовая книга 1628 г. // ГАКО. Коллекция документов XVII–XIX веков, № 15
- Сахаров 1900* – А. И. Сахаров. Язык крестьян Ильинской волости Болховского уезда Орловской губернии // Сборник ОРЯС. – СПб., 1900. – Т. LXVIII. – № 5.
- Сборник XII в.* – Сборник XII века Московского Успенского собора, вып. I издан под наблюдением А. А. Шахматова, П. А. Лаврова // Чтения ОИДР, 1899. – Кн.2.
- Селищев 1968* – А. М. Селищев. Избранные труды. – М., 1968.
- Сидоров 1969* – В. Н. Сидоров. Из русской исторической фонетики. – М., 1969.
- Симони 1906* – П. Симони. К истории обихода книгописца, переплётчика и иконного писца при книжном и иконном строении / Материалы для истории техники книжного дела и иконописи, извлечённые из русских и сербских рукописей и других источников XV–XVIII сто-

летий. – СПб., 1906. [Памятники древней письменности и искусства № CLXI].

*Сказ.о Мам.побоище* – Сказание о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. – М., 1953.

*Слово Даниила Заточника* – Слово Даниила Заточника, по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам / Пригот. к печати Н. Н. Зарубин. – Л., 1932 [по сп. XVII в. Д. Н. Толстого «Слово» издано в кн.: Памятники древнерусской литературы. – Вып. 3].

*Смол.гр.* – Смоленские грамоты XIII–XIV веков / Подгот. к печати Т. А. Сумникова, В. В. Лопатин. Под ред. Р. И. Аванесова. – М., 1963.

*Соколова 1952* – М. А. Соколова. Очерки по языку деловых памятников XVI в. – Автореф. дис. ...докт. филол. наук. – Л., 1952.

*Соловьёв 1885* – Е. Т. Соловьёв. Знаки собственности в России. – Казань, 1885.

*Сорокин 1949* – Ю. С. Сорокин. Разговорная и народная речь в «Словаре Академии Российской» (1789–1794 гг.) // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. – М.;Л., 1949. – Вып. I.

*Состояние 1958* – Состояние разработки и дальнейшего изучения вопроса о диалектной основе русского общенародного языка // Вопросы языкознания, 1958. – № 5.

*Списки 1866* – Списки населённых мест Российской империи. Черниговская губерния. – СПб., 1866. – Т. XLVIII.

*Списки курск. 1868* – Списки населённых мест Российской империи. Курская губерния. – СПб., 1868. – Т. XX.

*Спринчак 1939* – Я. А. Спринчак. Синтаксические конструкции Судебника Ивана Грозного // УЗ Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. – 1939. – Т. XX.

СССР – Союз советских социалистических республик (1922–1991).

*Стат.свед. 1836* – Статистические сведения о Москве за 1835 г. // Журнал Министерства внутренних дел. – СПб., 1836. – Ч. XIX.

*Стрелков 1927* – П. Г. Стрелков. О языке семи древнейших грамот московских великих князей XIV века // Сборник Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете. – Пермь, 1927. – Вып. II.

*Ст.сп.рус.послов* – Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки. – М.;Л., 1954.

*Там.кн.южн.* – Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги / Изд. подгот. С. И. Котков, Н. С. Коткова. – М., 1982.

*Терлецкий* – А. Терлецкий. Пчеловодство в России в старину. – Отд. оттиск, б. г.

*Тиханов 1904* – П. Тиханов. Брянский говор. – Сборник ОРЯС. – СПб., 1904. – Т. LXXXVI. – № 4.

*Тихомиров 1956* – М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. Изд. 2, доп. и перераб. – М., 1956.

*Тихомиров 1962* – М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР. – М., 1962. – Вып. 1.

*Тихонравов 1866* – Н. Тихонравов. Слово о полку Игореве. – М., 1866.

*Толкачёв 1960* – А. И. Толкачёв. Об изменении *-ого > -ово* в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода членных прилагательных и местоимений русского языка // Материалы и исследования по истории русского языка. – М., 1960.

*Толстой 1955* – Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1955. – Т. II.

*Толстой 1959* – Алексей Толстой. Собрание сочинений. – М., 1959. – Т. VII.

*Топоров, Трубачёв 1962* – В. Н. Топоров, О. Н. Трубачёв. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. – М., 1962.

*Трей 1958* – Е. Х. Трей. Реставрация Остромирова евангелия // Труды Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Л., 1958. – Т. V(8).

*Тронский 1953* – И. М. Тронский. Очерки из истории латинского языка. – М.; Л., 1953.

*Труды Орл. 1893* – Труды Орловской ученой архивной комиссии. – Орел, 1893. – Вып. 3-5.

*Тургенев 1954* – И. С. Тургенев. Собрание сочинений. – М., 1954. – Т. V.

*Тури.* – Описание Турецкой империи в XVII в. // Православный палестинский сборник. – СПб., 1890. – Т. 10. – Вып. 3.

УЗ – Ученые звписки

*Унбегаун 1968* – Б. О. Унбегаун. Язык русской литературы и проблемы его развития // VI Congres International des Slavistes. – Prague, 7-13 août 1968. Communications de la délégation française et de la délégation suisse. – Paris, 1968.

*Унбегаун 1971* – Б. Унбегаун. Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения // Поэтика и стилистика русской литературы / Памяти академика В. В. Виноградова. – Л., 1971.

*Унбегаун 1971a* – Б. О. Унбегаун. Редкое выражение русской разговорной речи XVII века // Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. – М., 1971.



*Успенский 1975* – Б. А. Успенский. Первая русская грамматика на русском языке. – М., 1975.

*Усп.сб.* – Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1971.

*Устюгов 1955* – В. Н. Устюгов. Просвещение и школа // Очерки истории СССР XVII в. – М., 1955.

*Филатов 1898* – К. Филатов. Очерк народных говоров Воронежской губернии. – Варшава, 1898.

*Филин 1947* – Ф. П. Филин. Об употреблении формы именительного падежа имён женского рода на *-а* в значении аккумулятива // Бюллетень диалектологического сектора... – М.;Л., 1947. – Вып. 1.

*Филин 1949* – Ф. П. Филин. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей) // УЗ Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. – Л., 1949. – Т. 80.

*Филин 1954* – Ф. П. Филин. Происхождение и развитие русского языка. – Л., 1954.

*Филин 1962* – Ф. П. Филин. Образование языка восточных славян. – М.;Л., 1962.

*Филин 1972* – Ф. П. Филин. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. – Л., 1972.

*Хабургаев 1956* – Г. А. Хабургаев. Формы склонения имён существительных в курских памятниках деловой письменности первой половины XVII века. – Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – М., 1956.

*Хабургаев 1971* – Г. А. Хабургаев. О принципах построения программы курса «Историческая грамматика русского языка» для педагогических институтов // Русский язык в школе. – 1971. – № 3.

*Халанский 1881* – М. Г. Халанский. Особенности языка Актов Оскольского края // Русский филологический вестник. – Варшава, 1881. – Т. V.

*Халанский 1904* – М. Г. Халанский. Народные говоры Курской губернии. – СПб., 1904.

*Ханыков 1847* – Д. Ханыков. Свадебные обряды Орловской губернии // Москвитянин. – 1847. – № 9.

*Холмогоров 1900* – В. Н. Холмогоров. Об «Отказных книгах» // Древности. Труды Археографической комиссии Московского археологического общества. – М., 1900. – Т. 2. – Вып. 1.

*ЦГАДА* см. РГАДА

*ЦГАДА, 1947* – Центральный государственный архив древних актов. Путеводитель. – М., 1947. – Ч. II.

*ЦГАДА, 1949* – Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов СССР по истории г. Москвы с древнейших времён до XIX в. – М., 1949.

*Черных 1944* – П. Я. Черных. О выражении «за шеломянем» в «Слове о полку Игореве» // УЗ Ярославского гос. пед. ин-та. Вып. 1. Гуманитарные науки. – Ярославль, 1944.

*Черных 1953* – П. Я. Черных. Язык Уложения 1649 года. – М., 1953.

*Черных 1954* – П. Я. Черных. Историческая грамматика русского языка. – М., 1954.

*Черных 1956* – П. Я. Черных. Очерк русской исторической лексикологии. – М., 1956.

*Черных 1958* – П. Я. Черных. О начале и характере формирования русского национального языка // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. – 1958. – № 3.

*Чернышев 1912* – В. И. Чернышев. В защиту живого слова. – СПб., 1912.

*Шарлемань 1955* – Н. В. Шарлемань. Заметки к «Слову о полку Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы. – М.;Л., 1955. – Т. XI.

*Шафранов 1908* – В. Шафранов. Материалы для изучения местного говора в с. Расторге Дмитровского уезда Курской губернии 1908 г. – Рукопись под этим названием за № 119 хранится в Словарном секторе Института русского языка АН СССР в Ленинграде (СПб.).

*Шахматов 1895* – А. А. Шахматов. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV веков // Исследования по русскому языку. – СПб., 1895. – Т. I.

*Шахматов 1911–1912* – А. А. Шахматов. Курс истории русского языка. – СПб., 1911–1912. – Ч. II.

*Шахматов 1915* – А. А. Шахматов. Отзыв о сочинении Д. К. Зеленина «Великорусские говоры...» // Известия ОРЯС, 1915. – Т. XX. – Кн. 3.

*Щепкин 1918* – В. Н. Щепкин. Учебник русской палеографии. – М., 1918.

*Щепкина 1950* – М. В. Щепкина. К вопросу о неясных местах «Слова о полку Игореве» // Слово о полку Игореве. Сборник исследований и статей. – М.;Л., 1950.

*Шукин 1897* – Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Шукина. – М., 1897. – Ч. II, III. – М., 1898. – Ч. IV.

*Эртель 1954* – А. И. Эртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. – М., 1954.

*Южн.* – Памятники южновеликорусского наречия. Конец XVI – начало XVII в. Изд. подгот. С. И. Котков, Н. С. Коткова. Под ред. С. И. Коткова. – М., 1990.

*Южн. чел.* – Памятники южновеликорусского наречия. Челобитные и расспросные речи / Изд. подгот. С. И. Котков, Н. С. Коткова, Т. Ф. Ващенко, В. Г. Демьянов. Отв. ред. В. П. Вомперский. – М., 1993.

*Юрасова 1973* – В. В. Юрасова. Фонетические свидетельства десятиен // Вопросы грамматики и лексики русского языка. – М., 1973 (Сборник трудов кафедры общего языкознания Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина).

*Яковлев 1943* – А. Яковлев. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. – М.; Л., 1943. – Ч. I.

## СЛОВАРИ

*Гринченко 1908* – Б. Д. Гринченко Б. Словарь украинского языка. – Київ, 1908. – Т. 1–4.

*Даль.* – В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. – СПб.; М., 1880–1882. – Т. I–IV.

*Карлович, Крынский, Недзвецкий 1927* – J. Karłowicz, A. Kryński, Wł. Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego. – Warszawa, 1927. – Т. I–VIII.

*Картотека ДРС* – Картотека Словаря русского языка XI–XVII вв., хранящаяся в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук.

*Линде 1814* – S. B. Linde. Słownik języka polskiego. – Warszawa, 1814. Т. I–VI.

*Носович* – И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. – СПб., 1870.

*Поликарпов 1704* – Ф. Поликарпов. Лексикон треязычный. – М., 1704.

*Преображенский* – А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. – М., 1910–1914. – Т. I–II.

*СВАН* – Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук. – СПб., 1891–1930. (т. 9. – Вып. 1. – 1929).

*Словарь Акад. Росс.* – Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – СПб., 1806–1822. – Т. I–VI.

*Словарь 1847 г.* – Словарь русского и церковнославянского языка, составленный Вторым отделением Академии наук. – СПб., 1847. – Т. I–IV. – 2-е изд. СПб., 1867. – Т. I–IV.

*Словарь Ожегова* – С. И. Ожегов. Словарь русского языка. – М., 1956.

*Словарь Ушакова* – Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. – М., 1935–1940. – Т. I–IV.

*Словарь языка Пушкина* в 4-х томах. – М., 1959. – Т. III.

*СлРЯ XI–XVII вв.* – Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1975–2019. – Вып. 1–31.

*Срезневский* – И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. – СПб., 1893–1912. – Т. I–III; М., 1958. – Т. I–III; переизд. – М., 1989. – Т. I–III.

*СРНГ* – Словарь русских народных говоров. – Л.; СПб., 1965–2018. – Вып. 1–49.

*ССРЛЯ 1961* – Словарь современного русского литературного языка. – М., 1948–1963. – Т. 1–17. (Т. XI. – 1961).

*Тупиков 1903* – Н. М. Тупиков Словарь древнерусских личных собственных имён // Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. – СПб., 1903. – Т. VI.

*Укр.-рус. словарь* – Украинско-русский словарь. – Киев, 1961. – Т. I–X.

## ПРИЛОЖЕНИЕ



Надежда Сергеевна Коткова (06.04.1939–04.01.1987)

Надежда Сергеевна Коткова окончила Государственный педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности учитель русского языка, литературы и истории в 1961 г. В студенческие годы неоднократно ездила в составе комсомольских отрядов на целину. После окончания Института работала в начальной школе, в Центральном архиве древних актов. В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Очерки по истории лексики русского полеводства». В 1967 г. работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела, затем в 1970 г. перешла на должность научно-технического сотрудника в Институт русского языка АН СССР. Была младшим научным, а с 1986 г. – научным сотрудником.

В Секторе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка занималась изданием рукописей XVI–XVII вв.: копировала от руки скорописные архивные материалы, перепечатывала их на машинке, составляла словоуказатели и готовила к публикации. Ею изданы отказные книги (1977), таможенные книги (1982), памятники южновеликорусского наречия XVI – начала XVII в. (1991) и южновеликорусские челобитные (1993). Она постоянно принимала участие в подготовке к изданию сборников статей Сектора, была неизменным помощником отца. В конце 1986 г. успела сдать в издательство «Наука» сборник статей Сектора, подготовленную ею книгу южновеликорусских рукописей (XVI – нач. XVII в.), оформить пенсию матери и установить памятник на могиле отца. Ниже помещаем три статьи, на которые ссылался в своих работах С. И. Котков.

**Названия русских бортовых знамен – историко-лингвистический источник // Исследования по лингвистическому источниковедению.– М., «Наука», 1963. – С. 120-133.**

Круг источников, которыми располагает история русского языка, постепенно расширяется. Однако такие специфические источники, как названия русских бортовых знамен, ещё не привлекали внимания исследователей. Больше того, бортовые знамена и их названия не подвергались специальному изучению не только в лингвистическом плане, но даже не исследовались специально и историками. В работах, посвящённых истории пчеловодства, бортовые знамена упоминаются лишь попутно, постольку, поскольку они были знаками собственности. Подобные упоминания встречаем в работах А. Терлецкого, Е. М. Баранцевича, В. П. Попова [см. Список сокращений]. Более обстоятельное рассмотрение бортовых знамен как знаков собственности находим у П. Ефименко <sup>2</sup>. [Ефименко 1874, № 10-12] Он рассматривает последнее не изолированно, а в качестве одной из составных частей большой группы помет, названных им «юридическими знаками». Материалы, приведённые Ефименко, были использованы Е. Т. Соловьёвым [см. Соловьёв 1885]. Таким образом, бортовые знамена вообще мало изучены. Между тем их названия и начертания представляют значительный интерес и в историко-этнографическом, и в лингвистическом отношении.

Бортничество составляло одну из важнейших статей древнерусского хозяйства. Помимо удовлетворения внутреннего спроса, мёд и воск вывозились в большом количестве в другие страны, это были важнейшие предметы экспорта в Византию, Западную Европу и в Азию. Слова «борть» и «бортник» упоминаются в ранних летописных известиях. Русская Правда узаконила право владельцев на борти, положив штраф в 12 гривен на того, кто «раззнаменает борть», иными словами, уничтожит знаки законного владельца и наложит свои. Среди русских земель, где было развито бортничество, выделялась Северская. Так, в «Сказании о Мамаевом побоище» князь Дмитрий рязанский говорил Андрею полоцкому: «но ныне, брате, слышал, яко придоша ко мне медокормци из Северы, а кажут: князь великий на Дону тудо хочет ждати поганого Момая» [Сказ. о Мам.побоище: 93].

Бортовые знамена служили для обозначения принадлежности бортовых деревьев определённым владельцам. Знамена представляли собой вырубленные или вырезанные на дереве пометы. В литературе не находим общего мнения относительно того, наносились ли знамена на все деревья бортового угодья, или только на те, которые ограничива-

ли последнее. Каждый бортник, отыскав новое бортное дерево, закреплял его за собой, накладывая на него свои знаки. Владельцы бортей, замечает Ефименко, не только добывали из них мёд, но и пользовались также правом на рубку дров и строевого леса и ловлю зверей в тех лесных участках, где находились бортные уголья [Ефименко 1874, № 10: 80]. Ефименко предполагает, что вслед за правом входа в лес владельцы приобретали право собственности на этот лес и первоначальный бортный знак превращался в знак ухажья, т. е. «знамя». Этому процессу, по его мнению, способствовало и то обстоятельство, что знамёна вырезывались на границах лесных участков. Напротив, Терлецкий полагает, что «каждый хозяин лесных бортных ухажьев полагал на каждой своей борти особые приметы, особые бортевые знаки, по которым он отличал свои борти от чужих; причём вдобавок бортные ухажья каждый хозяин ограждал или отделял от чужих особыми межами или гранями, на которых стояли особые столбы» [Терлецкий: 56]. Независимо от того, как налагались пометы – на все деревья уголья или только на пограничные, бортные знамёна являлись знаками собственности и обозначали часть бортного леса как особое владение [АСЭИ, т. I: 746]. В бортных знамёнах можно видеть одну из разновидностей межевых знаков. Не случайно в их составе обнаруживаем и такие знаки, которыми пользовались для ограничения и других земельных угодий. Таковы, например, *грань* или *граница* **ЭТО ЗНАК** × и *рубеж* **ЭТО ЗНАК** –. Ср.: «Грань... крестообразная зарубка на дереве как межевой знак» [Преображенский: 155]. Знамёна *грань*, *граница*, а также и *рубеж* (от *рубити*), по-видимому, древнейшие. Остальные рассматриваемые бортные знамёна можно считать специфически бортными, хотя едва ли исключалось их применение и в иных случаях.

Значение представленных в древнерусских текстах бортных знамён как исторического источника заключается прежде всего в том, что нередко названия знамён дополнялись схематическими изображениями тех предметов материальной культуры, которые послужили основой для возникновения этих знамён. Вследствие этого они дают интересные сведения о труде, быте и языке русского народа в прошлом.

Материалом для статьи явились следующие источники: во-первых, путивльская писцовая книга «письма и меры Петра Мусоргского да подьячего Гаврилы Федорова» 1628–1629 гг. [РГАДА, Поместный приказ, кн. 368] и список с писцовых путивльских книг того же времени, составленный теми же лицами [там же, кн. 10553]; во-вторых, их же список с писцовых рыльских книг 1628–1629 гг. [там же, кн. 10554 и 10555]; в-третьих, грамоты Коллегии экономии по



г. Брянску за 1595 г. [РГАДА, ГКЭ, № 3/446]; наконец, роспись бортовых вотчинных ухожий Темниковского уезда за 1622 г. [РГАДА, Вотчинные записки, стб. 18773]. Используются и некоторые данные, опубликованные в таких сборниках, как «Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства» [АЮ], «Акты, относящиеся до юридического быта древней России» [АЮБ], а также в статье Ал. С. «Знамена бортовых ухожий Орловской г. в 17 ст.» [Знам.Орл].

Все перечисленные источники, и рукописные, и печатные, представляют собой описания бортовых ухожий с указанием их владельцев, местоположения, границ, знамён, наконец, дополнительных доходных статей и количества медвенного оброка. Например: «За посадецкими людьми за Михалком да за Гришкою Василевыми детми Скрыплицына бортноу ухожеи что был за отцом их за Василемъ в Желватскоу волости на рекѣ на Псле да на рѣчке на Удове и по рѣчке по Рыбнице по обе стороны снизу и до верху по ровням и по бояраком и по колодезям с рыбною ловлею и з бобровыми гоны со вспуды и с перевеси и со всякими угоди что к тому ухожю изстари тягла а знамя в том ухожю голова с протесом **ЭТО КЛИШЕ** | судерев тот ухожеи с Михаилом Щетининым да с Микитою Рудаковым да с Мартыном Беззубцовым да з Жаденом Климовым з Гришею Угримовым с Митею с Лехеревым дѣлново деревя со пчелами пят дерев да дѣлново ж деревя безо пчел тритцат деревъ а холосцов которые впред в дѣл пригодятца тѣх несчетно оброку с того ухожя бортново старово четыре пуды дватцат пят гривенокъ меду» [кн. 368: 24 об.–25 об.].

Или ещё: «За Григорем же Дашковым прописнои ухожеи бортнои что был за стрелцом за Тимошкою Долгово в Городетцкои волости на рекѣ на Псле по обе стороны да по рѣчке по Высторону да по Барожбе да над озером Рѣлкою с рыбною и звериною ловлею и з бобровыми гоны и со всякими угоди а знамя в том ухожю ворота **ЭТО ЗНАК** ± [там же: 99 об.]. **ВСЕГО четыре ЗНАКА**

В XVII в. на Руси функционировали относительно устойчивые комплексы названий и начертаний бортовых знамён (см. таблицу «Образцы бортовых знамён»), но круг названий, по-видимому, продолжал ещё пополняться за счёт элементов местных говоров. Начертания, или рисунки, бортовых знамён представляют собой, как было сказано, схематические изображения тех предметов, по которым они получали названия. Таким образом, записи бортовых знамён не только регистрируют бытование того или иного слова в минувшую эпоху, но и наглядно раскрывают его лексическое содержание.

Основную группу названий знамён образуют слова, обозначающие реалии быта и труда, орудия труда, сооружения: *бугор* (= ба-

гор), *вески, вёдра, ведёрки, ветвина, взвилъе, вилки, вилы, воробы, ворота, грабли, гребёнка, дуга, дужка, заступа, калита, киец, клетка, клецы, клеци, ключ, ключик, колодка, колесо, кольцо, копыл, копылец, коробка, коробья, коромысл, коса, кочерга, крюк, крючья, лестница, лопата, лопатка, мотовило, ночвища, ночвы, оглобли, онучки, орик, острова, островка, острожки, палица, палка, полоз санной, пояс, пробои, пудца, сапожок, сапожки, светыч, скобель, сошка, соха, столбы, стремя, тебеньки, топор, топорок, топорки, тренога, тяглище, хомут, хомутец, цевье, чеботок, чеботы, чеботки, шеньдалец и др.*

Значительную группу названий составляют слова, связанные с миром животных и растений: *белка, векиша, вербища, ель, змейка, коза, козка, конь, крылья лунёвые, лапа курья, лапа сорочья, лапка, прут, рог олений, рог лосиный, рожки козы, росомаха, собака, совка, сосенка, уши заячьи, хвост орлиный, хвост тетеревиный, хвосты, хмелинки.*

Встречаем также названия, имеющие отношение к человеку, к частям его тела, внешнему облику и т. д.: *борода, бороды, бородка, бородки, бровки, голова, коленце, коса, косица, косицы, ладони, локотки, ножки, ребра.*

Специфическую группу названий образуют элементы военной терминологии: *вои, лук, стрела, тетива, шеломец.* Сюда же с известным основанием можно отнести и *топор* и *топорок*, представленные в первой группе.

В особую группу выделяем слова, обозначающие предметы церковного обихода: *венец, крест, крест косой, престол, свечи.* Характерно, что названия подобного рода встречаем в описаниях монастырских ухожий и бортных владений духовенства.

Монастырские бортники и духовенство употребляли в качестве знамён и начертания букв. Остальные бортники пользовались буквенными знамёнами сравнительно редко. В этом факте нашла выражение более высокая степень грамотности обитателей монастырей и духовенства. Отмечены такие названия буквенных знамён: *аз, буки, буков, быков, веди, глаголь, добро, живете, мыслете, от (^), покой, червь, я.*

Помимо буквенных знамён рисунки и некоторых других знамён нельзя связать с очертаниями тех или иных предметов материальной культуры. Таковы знамёна, за которыми были закреплены названия: *большое, великое, косое, кривень, кривоного, кривоножки, кривуля, лежая, лежайка, розног.*

Наконец, укажем такие названия, которые вследствие разных причин нельзя включить в перечисленные группы: *городец, кобылка,*

*кобылки, колея, коник, куцер, лысец, лыч, медведки, месяцы, моторса и муторса, осока и осука, чересло, черта* и т. д.

Как можно видеть, начертания и названия бортных знамён раскрывают определённые стороны повседневной жизни и быта древнерусского человека. Поэтому неоспоримо их значение для этнографических исследований в историческом аспекте, особенно, если принимать во внимание, что подобных исторических материалов очень мало. Существенно именно то, что здесь мы имеем не только названия, но и изображения соответствующих предметов, хотя бы и крайне схематизированные. Свидетельства бортных знамён в сопоставлении с современными этнографическими данными позволяют проследить бытование тех или иных предметов в течение длительного времени и в определённых местах. Обратимся к примеру. В XVII в. на территории Путивльского и Рильского уездов в бортных угодьях применялись такие знамёна, как *острова, островка*. В словаре И. И. Срезневского названий *острова, островка* нет. У Даля отмечены формально близкие к ним образования, причём предмету, обозначаемому этими словами, вполне соответствуют изображения данных путивльских знамён: «*Острóвье* ср. *óстровь* ж. *островiна*, собр. *островник*, мн. *острóвья, óстрови*, пск. твр. нвг. птрб. прм. срубленные, нетолстые деревья, лесины, с подсеченными сучьями с остряками; *óстровь* служит лестницею, и ими же обставляют стожар (срединный шест в стогу), чтобы сырое сено не слеживалось; по *островью* кроют крышу соломой, а нередко и сверху притыкают её; это *островная* крыша; из них ставят целую городьбу, с прогоном для просушки снопов перед укладкой и перед молотью (сыромолотный хлеб), выстраивая сушило, сушиню» [Даль II: 730]. Аналогичные указания имеются и в работах, посвящённых хозяйственному быту восточных славян, в частности в работе Е. Э. Бломквист. Бломквист, пользуясь материалами XX в., сообщает, что *острови* – средней высоты ёлки с сучьями, обрубленными сантиметров на десять, что они являются частью одного из приспособлений для хранения и сушки снопового хлеба, сена, гороха, льна и т. д. на Севере и у белорусов [Бломквист 1956: 316]. Таким образом, упоминание о знамёнах *острова* и *островка* в путивльской писцовой книге документирует распространение соответствующей реалии на территории, другими источниками не отмеченной, и является более ранним свидетельством, нежели все остальные. Ещё один пример, в бортных угодьях Темниковского уезда в начале XVII в. нередко употреблялись знамёна, называемые *воробами*. В словаре Срезневского такого слова нет, а есть только

*воробъ*, да и то с неясным значением [Срезневский I: 302]. Картотека Древнерусского словаря Института русского языка АН СССР примеров такого слова из памятников не содержит. У Даля – «*воробъ* мн. *воробье* ср. тмб. *воробка* ж. вор. снаряд для размота пряжи; деревянный крест с колочками на концах, обращаящийся лежа на стойке; делают его и стойком, колесом» [Даль I: 246]. Более детальное описание этого прибора имеется в работе Н. И. Лебедевой «Прядение и ткачество восточных славян» [Лебедева 1956: 493]. Итак, единственно лишь бортное знамя является свидетельством давнего бытования слова *воробы* и предмета, названием которого оно служит. То же самое можно сказать относительно образований *лыч*, *моторса* или *муторса*. Значение этих фактов для истории языка трудно переоценить.

Не менее любопытны в этом плане и другие случаи. Обратим внимание на запись: «знамя взвиле к верху рогами в рогах кося палица а под ысподом палица *ж* с тесы а в волости то знамя зовут хомутцом» [кн. 10555: 1234 об.]. Как видим, усложнённому названию знамени местное население пыталось дать краткую характеристику по сходству рисунка этого знамени с хомутцом. Из этой записи становится известно об употреблении в то время слова *хомутец*, кстати, незнакомого словарям русского языка, в которых отмечается *хомутик*, *хомуток*.

Интересны примеры вытеснения живыми образованиями отмиравших. В путивльских бортных угодьях имело распространение знамя *вески*. Изображение этого знамени напоминает коромысловые весы. Надо думать, что слово *вески*, и тем более *весы*, от которого оно образовано, употреблялись там и в других местах и в более раннее время (XV–XVI вв.), хотя это обстоятельство и не нашло отражения в материалах и исследованиях по истории языка. Так, у Срезневского отмечены только слова *вес*, *весец*, *весчий*, причём *вес* определён как тяжесть товара при взвешивании или гирия, но не прибор для взвешивания [Срезневский I: 495–496]. Ср. замечание П. Я. Черных: «с XVI до XVIII в. становятся известны в письменных памятниках такие бытовые слова, как: *квашня*, *огурец*, *чеснок*, *петух*, *подкова*, *рукомойник*, *утиральник*, *армяк*, *сафьян*, *карты*, *бумага*, *рубин*, *весить* (на весах; вм. *тянуть*) и др.» [Черных 1956: 210]. В связи с указанием на сравнительно позднее вытеснение глагола *тянуть* глаголом *весить* небезынтересно отметить, что в Рыльском уезде в начале XVII в. ещё употреблялось знамя *тяглище*, рисунок которого идентичен рисунку знамени *вески*. Поэтому можно предположить, что *тяглище* – не что иное, как более раннее название весов, в течение XVII в. вышедшее из употреб-

ления. В этом случае бортные знамёна, во-первых, фиксируют более раннее употребление слов *весы*, *весить*, нежели отмечено в литературе; во-вторых, пополняют наши сведения о древнерусской лексике образованием *тяглище*.

Пример иного рода: в то время как части современных говоров знакомо слово *ночвы* (неглубокое корыто, лоток), среди названий бортных знамён находим *ночвы* и *ночвища*.

Изучение знамён помогает определению исторической географии некоторых слов и соответствующих реалий. Так, в бортных ухажьях Путивльского уезда в качестве названия бортного знамени зарегистрировано слово *росомаха*. В «Материалах для словаря древнерусского языка» Срезневского этого слова нет, и только недавние раскопки в Новгороде подтвердили бытование данного слова в XIV–XV вв. [Черных 1956: 39].

Обращение к бортным знамёнам позволяет в некоторых случаях уточнить или пересмотреть традиционные представления о генетической принадлежности тех или иных слов южновеликорусскому или северновеликорусскому наречию или в целом русскому языку. Обычно полагают, например, что слово *векша* – северновеликорусское [Состояние 1958: 8]. Между тем в путивльской писцовой книге наряду со знаменем *белка* отмечено и *векша*, причём рисунки знамён одинаковы [кн. 368: 52 об.]. Добавим, что название *векша* выступает в составе такого текста, которому свойствен определённый южновеликорусский колорит: *узвилье* вместо *взвилье* и другие не менее выразительные южновеликорусские черты. Слово *орати*, по установившемуся мнению, характеризует северновеликорусские говоры. С югом соответственно связывают слово *пахать*. Однако исторически югу не чуждо было употребление образований, родственных слову *орати*. В Путивльском уезде, например, применялось знамя *орик*, напоминающее по рисунку земледельческое орудие для пахоты. Сопоставление этого рисунка с рисунком знамени *соха* не оставляет сомнения в их графической близости. Слово *орик* можно рассматривать как уменьшительную форму от *орь*. Знамя с таким названием встречаем в Рыльском уезде: «а знамя... орь з двумя рубежи хвостъ пересечень» [кн. 10554: 79, 89 об.]. Рисунок этого знамени без рубежей и пересечения определённо ассоциируется с орудием для пахоты, впрочем, по всей вероятности, более древним, нежели применявшееся в XVII столетии. Последнее носило название *сохи*. Видимо, слово *орь* и производное *орик* в северских местах в XVII в. сохранялись исключительно в силу вековой традиции знаменованья и не были свойственны живой речи. А то, что в других древнерусских текстах слово

*орь* не встречается, позволяет считать эту традицию местной. Забвение реальной основы знамени, его известная формализация благоприятствовали осложнению первоначального рисунка такими дополнениями, которые не имеют ничего общего с реальной основой знамени. Ср.: «знамя орикъ о дву хвостах, орикъ шестеркой с поясомъ, орикъ шестеркой без пояса, орикъ з двема хвосты» и т. п. [кн. 368: 115, 139 об., 155 об., 238]. Учитывая то обстоятельство, что в названиях бортовых знамён могли сохраниться следы явлений более древних, чем XVII в., исследование этих названий необходимо и в интересах познания истории языка более ранних эпох.

Некоторые бортовые знамёна представляют собой не отдельные изображения и соответствующие названия, а комбинации из нескольких изображений и соответствующих названий. Сочетание в составе этих, условно говоря, комбинированных знамён нескольких изображений и соответствующих названий позволяет исследователю с большей уверенностью дифференцировать первые и вторые – одни по начертанию, другие по семантике.

Бортовые знамёна иногда фиксируют употребление слова в таком значении, которое ныне ему не свойственно, т. е. свидетельствуют об изменении смыслового объёма данного слова за три столетия. Применялось, скажем, знамя *вилы на обе руки* [Вотч.записки: стб. 18773: 150]. Здесь *рука* имела значение «сторона». Ср. у Даля: «Бок, сторона, говоря только о двух сторонах: правой и левой; уклонение от прямой черты вправо или влево. *Иди по одну руку речки, я пойду по другую. Он мою руку держит*, он на моей стороне, за меня» [Даль IV: 110].

Вследствие того, что бортовые знамёна переходили из поколения в поколение по традиции, применявшиеся в качестве этих знамён схематические изображения тех или иных предметов с течением времени становились всё более условными. Вероятно, поэтому в наше время неясна смысловая сторона названий таких знамён, как *городец*, *вербица*, *квакишина*, *лыч*, *моторса* или *муторса*, *осока* или *осука*.

Исследование названий бортовых знамён может пополнить наши сведения о словообразовании в древнерусском языке, например, образовании уменьшительных форм. Если говорить об именах нарицательных, письменные источники иных категорий небогаты подобными сведениями. Материалы знамён подтверждают, в частности, продуктивность уменьшительных форм с суффиксом *-к-*: *змейка*, *клетка*, *кобылка*, *козка*, *колейка*, *колодка*, *коробка*, *лапка*, *лежайка*, *островка*, *совка*, *сошка*; *бровки*, *ведёрки*, *вески*, *вилки*, *локотки*, *медведки*, *ножки*, *онучки*, *острожки*, *рожки*, *сапожки*,

*чеботки, черпки, хмелинки* и т. д. В то время суффикс *-ица-* в названиях орудий действия уступал место *-к-*: вместо *виллица, лъжица* появлялись *вилка, ложка* и т. д. [Черных 1954: 320]. Уменьшительные образования на *-ец* были ещё довольно употребительными: *городец, киец, копылец, лысец, хомутец, шеломец*.

В названиях бортовых знамён документированы и характерные для той эпохи морфологические явления. Ср., например, указание на двойственное число: *луневые крыле* [кн. 368: 295].

Не лишены интереса извлекаемые из начертаний и названий знамён сведения, касающиеся древнерусского письма. Любопытно, к примеру, то обстоятельство, что в начале XVII в. буква # в народной среде носила название *я*, а не *юс малый*: «знамя... покои а в середине я» (далее начертание буквы П, а в ней – буква #) [кн. 10555: 1218 об.]. В качестве буквенных бортовых знамён использовались преимущественно первые буквы алфавита: *аз, буки, веди, глаголь, добро, живет*. Употреблялись с этой целью также буквы *мыслете, покой, червь* и *я*. Можно думать, что использование других элементов алфавита в функции бортовых знамён было затруднено либо тем, что округлые очертания этих букв не поддавались достаточно правильному воспроизведению топором или ножом, либо буквы вообще оказывались сложными для воспроизведения на дереве, либо начертания букв совпадали с начертаниями небуквенных знамён, например начертанием *границы*. Наиболее часто в бортовых ухожьях встречается знамя *буки*, причём изображение этого знамени в разных местах неодинаково, к тому же иногда перевернуто или обращено в противоположную сторону. В ухожьях Путивльского и Рыльского уездов редко встречаются отклонения от уставного *буки*. Напротив, в брянских местах рисунок этой буквы как бортового знамени существенно отличается от рисунка уставного, в нём с трудом угадывается скорописный вариант, притом скорее XVI, а не XVII в. Угловатость начертания знаменного *буки* объясняется способом его нанесения. Характерно и название скорописного варианта – *буков* или *быков*, а не *буки*. В образовании *буков* усматриваем результат проникновения в именительный падеж единственного числа формы винительного падежа единственного числа, а написание *быков*, возможно, явилось на почве смещения начертания букв *у* и *в* (ижица) в условиях наличия в районе Брянска в прошлом звука среднего между *и* и *ы*.

Предварительное сравнение бортовых знамён старой Северной земли с нижегородскими и темниковскими даёт основание предпола-

гать известные различия в их составе, но выяснение этого вопроса – предмет специального исследования.

Вместе с показаниями современных говоров показания старинных бортных знамён помогают определять в историческом плане географию некоторых лексических фактов и обогащают наши сведения о древнерусском словаре. Свидетельства бортных знамён, не подкрепляемые диалектными данными и данными иных категорий памятников XVII в., проливают свет на лексические явления более раннего времени.

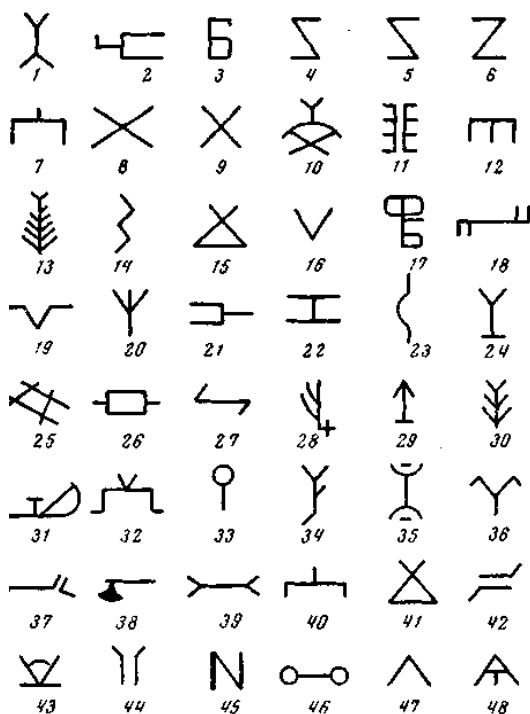
Поскольку в записях бортных знамён название их реальной основы иногда сопровождается её схематическим изображением, источник приобретает, помимо лингвистического значения, и иное – для истории материальной культуры.

Как всякий источник, и бортные знамёна нуждаются в критической оценке. Необходимость критического подхода обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, в названиях бортных знамён встречаются и такие, значение которых неясно; во-вторых, рисунки бортных знамён не всегда вполне выразительны, и в случае полисемии названий трудно бывает установить соотносительность того или иного рисунка с определённым значением; в-третьих, в названиях бортных знамён отложились разновременные языковые факты.

С учётом этих обстоятельств изучение бортных знамён, безусловно, необходимо для истории русского языка.



Образцы бортовых знамен (Переданы схематически)



- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1 – белка, векша                                | 17 – ключ амбарный                            | 32 – престол        |
| 2 – бугор (багор)                               | 18 – крылья луневые                           | 33 – пробой         |
| 3 – буки  | 19 – ладони                                   | 34 – рог олений     |
| 4 – буки (скорописный вариант)                  | 20 – лапа сорочья'                            | 35 – росомеха       |
| 6 – буков                                       | 21 – лопата                                   | 36 – соха с откоски |
| 6 – быков                                       | 22 – лыч                                      | 37 – соха           |
| 7 – вески                                       | 23 – лук                                      | 38 – топор          |
| 8 – вилы на обе руки                            | 24 – мотовило                                 | 39 – тренога        |
| 9 – воробы                                      | 25 – моторса–мургорса                         | 40 – тяглище        |
| 10 – городец                                    | 26 – ночвы                                    | 41 – хвост орлиный  |
| 11 – грабли по четыре клеца<br>колодками вместе | 27 – орик                                     | 42 – хмелинки       |
| 12 – гребенка                                   | 28 – оръ с двумя рубежи,<br>хвост пересечен   | 43 – хомутец        |
| 13 – ель  | 29 – осока–осука                              | 44 – чеботки        |
| 14 – змейка                                     | 30 – островка                                 | 45 – черсло         |
| 15 – калита                                     | 31 – полоз санный с ко-<br>пылом и с ветвиною | 46 – черпки         |
| 16 – квакшина                                   |   | 47 – шеломец        |
|   |   | 48 – Я              |

**Книги Денежного стола // Источниковедение и история русского языка. – М., «Наука», 1964. – С. 190-202.**

В большом фонде документов Разрядного приказа, который хранится в Центральном государственном архиве древних актов, содержатся документальные материалы, отложившиеся в результате делопроизводства Денежного стола. Эти материалы мало известны исследователям русского языка, его истории. К сожалению, и характеристика этих текстов в печатном описании, предназначенная для историков, а не лингвистов, не даёт возможности судить об их лингвистическом значении [см. Описание 1896: 42-119]. Между тем они являются ценным источником для изучения фонетики, морфологии, лексики и, в меньшей мере, синтаксиса русского языка XVII в., в частности южно-великорусского наречия.

Материалы делопроизводства Денежного стола охватывают период с 1612 по 1770 г. и довольно разнообразны по содержанию. Среди них имеются: 1) списки расходов, доимок и остаточных сумм по городам; 2) сметные росписи предполагаемых доходов; 3) приходо-расходные книги городов и столов Разрядного приказа (севские, белгородские), которые доставлялись в Денежный стол для учёта; 4) оброчные книги денег, собиравшихся с разных оброчных статей; 5) приходо-расходные книги таможенных голов, целовальников и откупщиков разных оброчных статей; 6) «записные книги» Денежного стола «денежным и всяким доходам»; 7) «книги пошлинных денег с судебных дел»; 8) приходо-расходные книги «разрядным, денежным, окладным и неокладным расходам и доходам»; 9) раздаточные книги денежного и хлебного жалованья служилым людям; 10) приходо-расходные книги Сибирского приказа; 11) приходо-расходные книги канцелярии Правительствующего Сената [там же: 32].

Из этих источников наибольший интерес для исследователя истории русского языка представляют приходо-расходные книги денежной казны на таможенных и кружечных дворах и книги сбора оброчных, окладных, доимочных денег с оброчных статей южнорусских городов, подведомственных Разрядному приказу, поскольку Разряд ведал организацией обороны страны, и основная линия этой обороны охватывала юг, юго-восток и юго-запад степного края.

Приходо-расходные книги таможенных голов и целовальников составлялись на таможенных дворах. В них вносили так называемые «явки», т. е. сведения о том, кто, сколько и откуда привёз товару, какого именно товару, или явил денег на покупку, сведений о сборах пошлинных денег, например: апрѣля в 3 де калуженинь Аѳонасеі Черни-

цынь явил на четырёх возах *педьсят* белух сто *петнатцать* северюх *десет* касековъ мыла плахова *шесдесят* сапог муских болших и малых взято с него па ценѣ пошлинь со ста з *дватцати* са *шти* рублеі три рубля пять алтынъ с рубля па пети денег свалу с воза па четыре денги *явки* хѣрнаго и записки алтынъ и всего взято пошлинь свалу и *явки* хѣрнаго и записки три рубля *восмь алтын* четыре денги [Ден.стол, кн. 188: 39-39 об.]; *ноებря ж* АІ *де* явил на Лебедяни Николаы Зараіского города посацькоі члвкъ Ѳедор Коростин *десять* рублевъ а сказал *купит* ему на Лебедяни и в уѣзде на тѣ денги коров боранов и козловъ [Ден.стол, кн. 104: 504].

В зависимости от характера товаров их количественная характеристика иногда дополнялась необходимой качественной. Так, например, в записях о купле-продаже и обмене лошадей встречаем подробные перечисления их примет: Доброва горадища *сержантъ* Гарасимъ Печенин *зоменил* мерина гнѣда в карѣ лѣты сросла грива направа с *отметом* лѣвоя уха отрѣзана лысина до глас моленкя не дошла во лбу звѣздочолина [там же: 885 об.].

В книгах таможенных и кружечных дворов нашли отражение и записи расходов, связанных с деятельностью этих дворов: покупки дров, бумаги, свечей, оплата труда за ремонт помещений, приобретение материала для ремонта и т. д. В книгах сбора денег с оброчных статей указывалось местонахождение этих статей (угодий), социальное положение оброчников, их имена, отчества, прозвища и количество взимаемых денег: с рѣчки Гнилушки из за Клевенских і Свѣдожских и с Хмелевых липешковъ Семилутцкие *ж* пустыни на черныцѣ на Кириле да на Василе Струкове оброку взято рубль [там же: 69].

Развитие русского государственного аппарата в XVII столетии настоятельно требовало постоянного прилива в сферу его деятельности грамотных людей. Процентное соотношение грамотных ко всему остальному населению России в значительной мере возрастало за счёт посадских людей [Устюгов 1955: 557]. Основной контингент составителей всякого рода записей делового характера набирался из этих слоёв населения. Они вносили в тексты записей элементы лексики и произношения живой, разговорной речи. Влияние местной речевой стихии в деловой локальной письменности при колебаниях в правописании было настолько существенно, что в 1675 г. подобное положение было узаконено. По указу предписывалось не ставить вину тем, «кто в чლობитье своём напишет в чѣём имени или прозвище, не зная правописания, вместо она аз... или вместо еря ер, или вместо ятя есть... и иные в письмах наречия, подобные тем, по природе тех городов, где кто родился и по обыкностям своим говорить и писать извыкъ» [там же: 560].

Книги Денежного стола, особенно книги кабацких и таможенных сборов и расходов, изобилуют подобными «извычными» написаниями. Преимущества книг Денежного стола в ряду других источников по истории русского языка состоят в относительной свободе их записей от определённых правописных норм, а также в конкретности и детальности заключённых в них сведений. В этом отношении особенно интересны записи о явках товаров на таможенных дворах и расходах на кружечных дворах. Приведём в качестве иллюстрации записи расходов на орловском кружечном дворе за 1653–1655 гг.: *сентября в АІ де куплень хлевишка на дрова дано s алтынъ... вктября въ КА де куплень авинь нової получетьверта саженья в деревни поставили на винокурни дано за овин В рубля І алтынъ от перевозки дано от овина М алтынъ от станавки дано полтора рубли лубя куплено на крышку на овинь дано К алтынъ дору куплено в овинь на рошетины на чом солод сушить дано ГІ алтын* [Ден.стол, кн. 104: 628, 637].

Наличие в описываемых книгах ярких диалектных особенностей с несомненностью свидетельствуют, что записи в них велись носителями диалекта и в крайнем случае людьми если не местного происхождения, то давно обосновавшимися на данной территории, усвоившими местную речь. К сожалению, в книгах почти не встречаем непосредственных данных о лицах, которые их писали, поэтому особое значение приобретают отдельные редкие заметки о прямом отношении к этим книгам безусловно местных жителей, вроде, скажем, следующей: *олшанские томоженные выборные вѣрные целовальники Петрушко Кирилов снѣ Колачник да Степанько Костентинов снѣ Ожерелев збиралі в Олшанску гсдрву томоженную пошлину денежную козну на ннешней на РѣВ год против гсдрва крстного целовая вправду безо всякие хитрости со всяких товаровъ а записывали в книги помѣсечно в Олшанскомѣ в приказнаі избѣ перед воіводои перед Семеном Семеновичем Писаревым да перед Александром Григорывичем Волоховым для тово что выборнаі томоженноі дьячокъ Демко Москвитинов поцѣловав крсть из Олшанска збежал и записыват было томоженных пошлिनъ порознь с какихъ что товаровъ взято нѣкому* [там же: 860-860 об.].

Наряду с элементами приказного языка в книгах Денежного стола получают отражение, как было сказано, и особенности живого разговорного языка, а также южновеликорусских говоров XVII в. Записи в этих книгах, производившиеся разными лицами, содержат многочисленные и прямые, и косвенные указания на аканье: *саломою* [кн. 356: 99]; *арленинь* [там же: 124]; *семьсот... саамов* [там же: 133 об.]; *трицать асетров* [кн. 188: 1]; *сѣмя агуречного* [там же: 2]; *дрогун* [кн.

356: 124]; *семьсот... созанов* [там же: 134] и т. д. К сожалению, установить характер аканья (диссимилятивное, недиссимилятивное) по данным источникам невозможно, поскольку в обычном русском письме нет соответствующего знака для обозначения редуцированного гласного, в котором при диссимилятивном аканье реализуются *o* и *a* перед слогом с гласным *a*. Тем не менее исследование по книгам Дежнего стола этой одной из основных черт южновеликорусского наречия может существенным образом помочь выяснению истории безударного вокализма в южновеликорусской области, определению некоторых её границ в XVII столетии. Перспективнее в этом отношении исследование яканья, следов которого немало: на хряще [кн. 104: 1106]; *Мядвѣдев* [там же: 1106 об.]; *прамянил* [там же: 1113 об.]; с *васмі мяхов солі* [там же: 1122 об.], ср. с *мѣха* [там же]; с *салѣноі продажи* [там же: 1126 об.]; *десят мяхов соли* [кн. 356: 122]; *сто два мяха соли* [там же: 194]; с *премои... цены* [там же: 122]; *Митроановъ снѣ Ребоі* [там же: 124]; *взела шесть рублей* [там же: 149 об.], и т. д. Примечательно то обстоятельство, что не встречаем случаев реализации гласных неверхнего подъёма в *и*. Впрочем, следует принять во внимание такую особенность русской скорописи XVII в., как нередкие совпадения в начертании *e* и *и*, когда с уверенностью нельзя утверждать, что эта буква – *и*, а не *e*.

В записях представлены также протетические *и*, *a* в начале слов перед согласными: *здѣлан постав у придѣле ігдѣ сидѣт* за поставом целовалнику [кн. 356: 224 об.]; *восмь абратѣнеі* [кн. 104: 107], ср. *куплено братинеі* [кн. 356: 682 об.]; *арженоі продажи* [кн. 104: 737 об.]; *ареpei* [там же: 1069 об.]; *партокъ алленых* [кн. 188: 14]; *халстины альленои* [там же: 40 об.]; *орженья муки* [кн. 104: 527] и т. д. Из мелочей отметим утрату начального гласного в слове *окорок*. Ср.: на лѣвом *окорокѣ* [кн. 104: 754]; на правоі *окорокѣ* [там же: 754 об.]; но – на лѣвомъ *кароку* [кн. 188: 88]; на заднемъ *кароку* [там же: 88 об.]; на лѣвом *кароку* [там же: 89].

Прослеживается преимущественное сохранение звука, обозначавшегося прежде буквой ѣ, в ударяемых положениях: *шеснатцат алтнѣ сѣ мѣха* [кн. 104: 1122 об.]; *хмѣлю* [там же: 679]; на задѣ на хряще на ладонѣ *ла* [там же: 1106]; на лѣвом *окорокѣ* [там же: 754 об.]; на лѣвоі *лопатки* [кн. 188: 32 об.]; *мѣсечного корму* [там же: 219 об.] и т. д. Напротив, в безударных положениях ѣ нередко уступает место *e*: *восмь мешков* [кн. 84: 208 об.]; с *Хмелевых липешковѣ* [кн. 104: 69]; *мерин беланог* [кн. 84: 27 об.]; на *холки беленка* [там же: 144]; *купленѣ хлевишка* [кн. 104: 628] и т. д.

В связи с наблюдениями над безударным вокализмом представляется возможным в ряде случаев выявить старинное место ударения, вероятно, свойственное и тогда главным образом южновеликорусским говорам: (копыто) роскалота [кн. 104: 936]; прадал (мерина) [там же: 1069 об.]. Ср. в современном литературном языке: раскóлото, прóдал. Иногда свидетельствуется и перенос ударения на предлог: на тритцети на шести алтынъ по две денги [кн. 188: 5 об.].

В записях книг Денежного стола получили отражение почти все консонантные особенности соответствующих русских говоров. Это представляет особый интерес, поскольку собраны достаточно полные современные данные об упомянутых говорах и, таким образом, появилась возможность составить сравнительную характеристику части современных говоров и сопоставимых с ними старых диалектных образований не только по вокализму, но и консонантизму.

Среди консонантных особенностей выделяются свойственные южновеликорусским говорам *х*, *хв* и *п* на месте *ф* в составе иноязычных слов: *двацьцат юхтеі* [кн. 104: 117]; *Сахвонъ* [кн. 188: 12]; *сохянов* [там же: 14]; *Өилипъ Ехрѣмов* [там же: 88 об.]; *десет кохтанов* [там же: 113 об.]; *Григореі Остахевъ* [кн. 356: 146]; в *хевроли* [там же: 742 об.]; *Хилимон* [там же: 1132 об.]; *Трихвонъ* [там же: 193 об.]; *Сапрон* [кн. 104: 874 об.] и т. д. Некоторые данные подкрепляют появившиеся в литературе последних лет новое представление о *ф* на месте *хв* как явлении в равной мере и северно- и южновеликорусском, а не только принадлежащем Северу, как утверждалось ранее. Примеры: *изошло өарасту* [кн. 104: 442 об.]; *меринъ черноөость* [кн. 183: 91 об.]; *окола өаста бело* [кн. 84: 6] и т. п.

К числу фонетических явлений южновеликорусского характера, следы которых рельефны в книгах Денежного стола, отмечаем и *у* на месте *в* в определённых положениях, что указывает на губно-губное свойство *в*: *воды узвестъ* [кн. 104: 567]; *Совелеі Ушивоя шуба* [кн. 84: 36 об.]; *собрано у вине и в меду припоіных денегъ* [там же: 93]; *прибыли в ведре у вине* [там же: 47 об.]; *умѣсто* [кн. 356: 776 об.]; *у баню* [там же: 874]; *у выходе* [там же: 851 об.]; *у двенатцать мсцевъ* [кн. 188: 141]; *паставит у яму* [там же: 146 об.], и т. д.

Обычное в южновеликорусских говорах произношение долгого *ш*, к сожалению, по книгам не прослеживается, так как буквы *ш* и *щ* нередко совпадают в начертании или употребляются одна вместо другой: *пишева чатыря денги* [кн. 188: 317, 319]; *гуляшеі члвкъ* [там же: 323]; *у емшика* [там же: 303], и т. д.

Несмотря на известную стандартность записей, в аннотируемых источниках наглядно выступают следы морфологических измене-

ний. В книгах содержатся ценные сведения об утрате категории среднего рода, что особенно важно, если иметь в виду, что до последнего десятилетия подобными сведениями наука почти не располагала. Об интенсивности указанного процесса выразительно свидетельствуют случаи оформления существительных из категории среднего рода окончаниями женского рода и аналогичные явления в согласуемых с такими существительными прилагательных: ме<рин> рыж... грива направа с *отметои* под пузаю зжено [кн. 84: 42]; на правой бедръ [кн. 104: 755]; на левоi стегнѣ [там же: 755 об.]. Немало фактов оформления имён существительных среднего рода с безударным окончанием по нормам женского рода: лѣвоя уха отрѣзана [кн. 104: 885 об.]; передняя копыта [кн. 84: 99]; лѣвоя уха розкраѣна [там же: 113 об.]; задняя правая копыта [там же: 147] и т. п. В рассматриваемых источниках встречаем также образование отдельных имён существительных как имён женского рода, тогда как в современном русском они выступают в качестве имён мужского рода: продал... мерин... на лѣвоi на передне ногѣ признака копыто роскалота [кн. 104: 936], ср. в украинском разговорное *признáка* в смысле «признак, примета» [Укр.-рус. словарь, т. IV: 355] и в современном русском – *при́знак*; на правоi окорокѣ [кн. 104: 754 об.]; ср. на лѣвом окорокѣ [там же: 754]. Ср. обычные в деловой письменности XVII в. образования *налога* (вместо *налог*) и *пожога* (вместо *пожог*), ср. в украинском *пожога* – «пожар», квалифицируемое как областное [Укр.-рус. словарь, т. IV: 24].

В ряду других характерных черт южновеликорусского наречия в литературе отмечаются формы предложного падежа ед. числа на -у от существительных мужского рода, восходящих к старым основам на *о*. В книгах Денежного стола: поѣхол Доном в струшку [кн. 104: 517 об.]; збиралі в Олшанску [там же: 860]; в меху соли [там же: 953 об.]; лѣвом окараку [там же: 1069 об.]; на лѣвом окараку [кн. 356: 173] и т. д. – в основном под ударением. О необычайной распространённости предложного на -у от одушевлённых имён существительных мужского рода свидетельствуют, между прочим, записи в книгах Чернского таможенного двора. Всего находим там свыше 140 случаев употребления предложного падежа ед. числа от подобных существительных, причём более сотни случаев – с окончанием -у, в остальных – окончание -е. Несмотря на значительное преобладание падежных форм на -у, достаточно чёткой дифференциации в употреблении этих форм и соответствующих форм на -е не наблюдалось, о чём говорит наличие колебаний в образовании предложного падежа от одних и тех же существительных: на белѣвском крѣстьянинѣ на Петрушке [кн. 356: 737]; на крѣстьянину на Васке [там же]; на чернском пушкарю на

Дементью [там же]; на чернском пушкаре на Григорию [там же: 738] и т. д. Продуктивность формы предложного на -у в южновеликорусских говорах XVII в. сказывалась и в её заметном распространении на притяжательные прилагательные – фамильные наименования лиц: на туленину посатцком члку на Никите Красноглазову [кн. 356: 730 об.]; на чернском пушкарю на Григорию Стрекозову [там же: 733 об.]; на белевском козаку Иванъ Осаткову [там же: 738 об.] и т. д.

В мягком варианте склонения имён существительных мужского рода сохранились следы старого оформления предложного падежа ед. числа: в октебри [кн. 356: 742 об.]; в ноебри [там же]; в декобри [там же: 743]; в генвори [там же]; в хевроли [там же: 743 об.]. Ср.: в сентебръ, во октебръ [там же: 748 об.]; в ноебръ, в декобръ [там же: 749]; в генворъ, в хевролъ [там же: 749 об.]. Вторые случаи знаменуют вытеснение в данной падежной форме окончания мягкого варианта окончанием твёрдого.

Содержанием приходо-расходных книг было обусловлено обильное употребление в них количественных обозначений обыкновенно с родительным падежом мн. числа имён существительных, вроде *сто ковшей, сорок рублей, семнадцать кулей* и т. д. Наряду с вариантами окончаний, аналогичными современным литературным, представлены и такие, которые ныне осознаются как диалектные. Примеры: *четырнатцать рублеі* [кн. 104: 447 об.]; *купит сухореі* [там же: 525 об.]; *сто кирпичеі* [кн. 356: 104]; *тысечю пятсотъ лаптьеі* [там же: 146]; ср.: *тритцать рублей* [кн. 104: 498 об.–499]; *одиннатцат кулев* [кн. 84: 99] и т. д. Не исключено, что форма *рублей* в литературный язык проникла с юга, так как, по нашим наблюдениям, не только в московской приказной письменности, но и в северновеликорусских текстах в широком употреблении было *рублев*. Определяя границы распространения форм на *-ев* (типа *рублев*) в народном языке, С. П. Обнорский отмечает, что они характерны для северновеликорусских говоров, а «...скудные свидетельства об этих формах, которые принадлежат черте южновеликорусских говоров, следует, очевидно, признать показаниями не исконного происхождения для южновеликорусской почвы, а вторичного, наносного» [Обнорский 1931: 232]. Старые южновеликорусские данные не противоречат предположению о возникновении форм на *-ев* и на южновеликорусской почве параллельно соответствующим северновеликорусским.

В сфере женского рода: *двѣ свиных тушеі* [кн. 104: 889 об.]; ср.: с туш [кн. 188: 302, 306]. Наблюдалось также колебание форм *свечей* и *свеч*. В форме *свеч*, бытовавшей в литературе вплоть до XIX в., С. П. Обнорский видел архаизм, сохранившийся в языке благодаря



книжной традиции [Обнорский 1931: 207]. Материал аннотируемых источников не даёт оснований считать форму *свеч* лишь элементом книжной традиции: не только достаточно опытные, но и мало знакомые с культурой письма писцы южновеликорусского края употребляли её довольно свободно. А в общем формы родительного мн. числа на *-ей* от имён женского рода в южновеликорусских говорах, естественно, господствовали: *двацьцат юхтеі* [кн. 104: 117]; *двесте жердеі* [там же: 171]; *пят пищалеі* [кн. 84: 83 об.]; *полтораста абувеі* [кн. 188: 128]; *сто абувеі* [там же: 137] и т. д. Влиянием форм подобного типа и было вызвано появление форм на *-ей* от имён существительных женского рода на *-а* наподобие указанной выше *тушеи*, а также – с *кожеі* [кн. 356: 738].

Книги Денежного стола содержат интересные сведения об изменениях в категории одушевлённости на южновеликорусской почве. В кругу имён существительных мужского рода оформление этой категории завершилось. Старые формы винительного ед. числа от подобных одушевлённых имён существительных сохранились лишь в качестве пережиточных. Ср. в таможенных книгах, где записывались лошадиные явки: *продал жеребец гнед*, *продол мерін гнед* [кн. 84: 7 об.] и т. д. Возможно, контаминацией старого и нового оформления винительного падежа объясняются такие факты: *явил... жеребца ворон* [кн. 84: 27]; *явил... жеребца кар* [там же: 41]. Материал рассматриваемых книг позволяет в общем установить не только относительную, но и абсолютную хронологию данного процесса в пределах южновеликорусской области.

Привлекают внимание следы сохранения двойственного числа: *двѣ корове* [кн. 104: 874 об.]; *две мѣре*, *двѣ трупки* [там же: 1038 об.]; *две кипе*, *две... грівне* [кн. 84: 5 об., 7] и т. д.

Отметим необыкновенную продуктивность образования числительных на *-еро*, *-еры*: *четвера сапоги* [кн. 188: 17 об.]; *пятера поголовья коров* [кн. 104: 732]; *двенатцатеры сумки* [кн. 188: 128]; *четырнацатеры руковиц* [там же: 14]; *шеснатцатеры сумки* [там же: 138]. Этой норме следует образование и числительных третьего десятка: *двацать осмеры чулки* [кн. 188: 129]. Для изучения собирательных числительных книги Денежного стола имеют особое значение.

Среди характерных черт южновеликорусского наречия, отпечаток которых носят книги Денежного стола, упомянем образование инфинитива на *-ть* в тех случаях, когда в иных говорах и литературном языке употребляют формы на *-ти*: *воды узвесть* [кн. 104: 567]; *порох весть* [кн. 188: 293]; *сырец свесть* и *воскъ взвесть* [кн. 104: 444].

В книгах находим сведения и по истории диалектной лексики. Так, южновеликорусскими считаются слова *корец*, *вязенки*, *бирюк*,

*писклёнок, скородить*, соответствующие литературным *кови, варезки, волк, цыплёнок, бороновать*. Ср.: куплена на винокурню *корец* болшой да *корец* рукаятнай [кн. 84: 213 об.]. Если *корец* большой мог быть и хлебной мерой [Даль II: 165], то *корец* «рукаятнай» – несомненно, синоним слова *кови*. Упоминание о вязенках: (явлено на продажу) сто дватцать *галиц*... сто девеноста *везенок*... два *десятка* *чулков* [кн. 188: 138]. Указание на бытование таких диалектизмов, как *бирюк, писклёнок* и *скородить*, заключают фамильные названия, прозвища: Бирюк [кн. 104: 897 об.]; Писклов [кн. 188: 116]; Нескородев [кн. 88: 34] и т. д. Как известно, прозвищные наименования лиц служат дополнительным источником для русской исторической лексикологии. Поскольку фамильные названия и прозвища возникали в живой народной речи, лексические данные бытового свойства, непосредственно не отразившиеся в деловой письменности, можно извлечь из ономастики, которой книги Денежного стола исключительно богаты.

Книги Денежного стола интересны и в плане изучения определённых сторон и элементов общерусского языка эпохи его национального становления, и в частности влияния приказного языка на местную деловую письменность. Влияние выражалось прежде всего в стандартизации формы записей, в строгом порядке фиксации определённых моментов и фактов. В таможенных книгах, как правило, вначале указывалась дата сделки, регистрировался совершивший её, указывалось его имя и прозвище, затем – наименование и количество товара, а также суммы пошлинных сборов. Пример подобной записи: августа въ КА *де* взято съ сѣвского стѣрелецкого сна съ Ивана Семенова сна Воскабоінікава са всякого розног москатильного мелкого товару съ продажи со ста зъ двух *рублев* *пошлинь* два *рубля* *восмьнатцат* алтнь две денгѣ с *рубля* по пятѣ денегъ да явки писщего херного алтнь і всего съ него взято два *рубля* *девятнатцат* алтнь две денгѣ [кн. 104: 1139]. Ср. запись в воронежской книге: марта в ЕІ *де* курченинь Савелеі Клепонос явил конь каур гриве напрова белокопыт лѣтми сросль на лѣвой лопатки пѣга а продал брянченину Ивану Михайлову взял *восмь* *рублеі* взято з *денег* *пошлинь* шесть *алтынъ* четыре *денги* с *рубля* по пети *денег* и с *продовца* с *шерсти* и записки два *алтына* и всего взято *пошлинь* *восмь* *алтынъ* четыре *денги* [кн. 188: 32 об.].

Поскольку наша статья носит характер аннотации, мы не ставим перед собой задачи исследования лексических явлений в книгах Денежного стола, а попытаемся лишь показать, какие возможности для исследования русской исторической лексикологии заключают эти источники. Отметим прежде всего обилие в них названий лиц по профессии или характерным для них занятиям, нередко выступающих в каче-

стве прозвищных наименований: Бочар [кн. 104: 769]; Гончар [там же: 879]; Токарь [кн. 84: 88]; Калачник [кн. 104: 860]; Барышник [кн. 84: 6 об.]; Ситник [там же: 22 об.]; Плотник [там же: 90 об.]; Пирожник [там же: 148]; Мясник [там же: 191]; Квасник [кн. 188: 90 об.]; Рудамет [кн. 84: 25 об.]; Водовоз [кн. 188: 60 об.]; Просолуп [там же: 319]; Свинолуп [кн. 104: 757] и т. д. Названия, характеризующие внешний вид, физические недостатки: Глухой [кн. 104: 886 об.]; Долгой [там же: 1036 об.]; Зубатыи [кн. 188: 89]; Картавыи [там же: 58 об.]; Косои [там же: 105]; Кривобрюхов [там же: 74]; кроме того, – Горбун [кн. 104: 751 об.]; Кривоперст [кн. 188: 60 об.] и т. д. Прозвища и фамильные названия, заимствованные из словаря животного и растительного мира, и производные от них: Бирюк [кн. 104: 897 об.]; Заяц [кн. 84: 22 об.]; Медведь [кн. 104: 1106 об.]; Коровкин [кн. 84: 125]; Селезнев [кн. 78: 20 об.]; Честнок [там же: 16]. Появление прозвища Спасибов [кн. 356: 731 об.] знаменует преобразование словосочетания «спаси бог» в одно слово. О бытовании слов *опара* и *гуща*, не отмеченных в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, свидетельствуют такие факты: Семен Опара [кн. 104: 764 об.]; Костентин Дмитрев снь Гуща [там же: 913].

Исторически сложилось так, что на юге страны в XVII в. было много военнотружениого населения, поэтому в книгах Денежного стола заметно отразились некоторые элементы военной терминологии, например: продал моюровой роты сержанту Христофорову [кн. 188: 59 об.]; кожи отослоны в полк на пороховые мешечки в чом на бои салда-там порох насыть [кн. 104: 447 об.]. Отметим употребление слова *самопал* [кн. 78: 31 об.].

Названия разнообразных товаров, названия денежных единиц, мер ёмкости и веса, таможенных сборов, различных хозяйственных строений, оборудования винокуренного и мельничного дела – все эти и многие другие элементы древнерусского словаря встречаем в книгах Денежного стола.

Исследование этих источников для науки о русском языке не только в историческом плане, но и в плане освещения современных его явлений имеет существенное значение.

**Историко-лингвистические свидетельства древней владельческой формулы // Русский язык. Источники для его изучения. – М.: «Наука», 1971. – С. 189–209.**

При исследовании языка по памятникам письменности всегда приходится учитывать, какие из этих источников или какие компоненты их представляют язык (не письменный) с большей степенью достоверности, или напротив, менее достоверно. Известно, что сложившиеся в русских княжеских канцеляриях, а в более поздние времена – в московских приказных учреждениях многочисленные обороты-трафареты официально-делового языка обычно при исследованиях в указанном плане намеренно исключаются. Поскольку специфику обширного круга письменных источников определяет особая их насыщенность подобными трафаретами, эти источники либо полностью, т. е. во всём своём составе, либо за вычетом отдельных строк остаются вне исследования. Недоверчивое отношение к ним историков языка естественно, и всё же, как увидим далее, порой необоснованно. Возможные в этих трафаретных оборотах иногда и минимальные разночтения могут пролить определённый свет на явления не только письменного, но также и устного языка в его историческом развитии. Полагаем, некоторые трафаретные тексты и отдельные обороты при соблюдении строго критического подхода с успехом могут быть использованы при исследовании истории русского языка в его живой разновидности, тем более, что тексты подобного рода довольно многочисленны, во многих случаях датированы и обыкновенно приурочены к определённым территориям. Речь идёт о таких лексических различиях в составе трафаретных оборотов, которые имеют своё основание в конкретных явлениях реальной действительности, но вследствие длительного повторения в одних и тех же ситуациях, в составе стандартных, традиционных формул, на первый взгляд, представляются исследователю исключительно формальными и потому лишёнными значения для исторической лексикологии. Попытаемся показать значение упомянутых лексических фактов на примере известной в древней Руси трафаретной владельческой формулы, закреплявшей когда-то право собственности на самые разнообразны уголья и прежде всего основные из них – пригодные для земледелия.

Земледелие у восточных славян, насколько можно судить об этом по данным археологии, памятникам письменности и показаниям фольклорной старины, с давних пор являлось основной отраслью хозяйства. Естественно, что лексика, связанная с этой сферой труда, принадлежала к особенно актуальной. Большой удельный вес катего-

рии слов, отражающих сельскохозяйственную деятельность, в массе других, характеризующих вообще экономику восточных славян, отмечает Ф. П. Филин: «По частоте употребления в древнерусских памятниках и по количеству среди слов, обозначающих хозяйственную жизнь, на первом месте безусловно стоят термины земледелия» [Филин 1949: 131].

Основными сельскохозяйственными орудиями были орудия пахотные, в употреблении были также серп, коса, и топор. В древнейших славянских источниках встречаем термин *рало*, означающий орудие для разрыхления почвы. Изготавливали это рало «из простого деревянного крюка путём прибавления к нему определённых деталей, так что уже в X веке мы находим на остром конце орудия железный заострённый наконечник *наральник* или *лемех*» [Нидерле 1956: 310]. У восточных славян, помимо рала, известен был и плуг. Плуг отличался от рала тем, что имел спереди небольшие колёса, а перед лемехом – резак, который подрезал землю; лемех прикреплялся таким образом, что не только взрывал землю, но и отваливал подрезанные куски почвы посредством присоединённой пластины – отвала [там же]. Плуг упоминается в самых древних русских памятниках. В Лаврентьевской летописи читаем: «(Владимир) вѣтчи побѣди и възложи на нь дань от плуга "ко же и ѿць его имаше» [(931): Лавр.лет.: 82. 1377 г.].

Позднее, по свидетельствам памятников XIV–XV вв., в восточнославянской области в качестве орудия пахоты появляется соха. «Видимо, к этому времени, – полагает П. Я. Черных, – однозубое примитивное рало стало повсеместно вытесняться двузубою сохою как орудием более эффективного и более быстрого взрыхления земли под посев» [Черных 1956: 57].

Уборка урожая производилась серпами или косой. Косили траву в лугах.

Кроме этих специфически полевых орудий, в сельском хозяйстве пользовались также топором и секирой, что было связано прежде всего с такой особенностью древнего земледелия, как необходимость расчищать под пашню лес, или сечь его, откуда и название «подсечное земледелие». Последнее было характерно для лесных районов России.

Из старины велось так, что границы принадлежавших тем или иным владельцам разнообразных земельных угодий – полевых, сенокосных и лесных, а в частности и бортных, определялись обыкновенно по тому, куда с подобными орудиями труда проникали эти владельцы, что и получило выражение в такой привычной формуле «куда соха, плуг, коса и топор ходили», приблизительным образом определяющей фактические пределы владений при отсутствии более или менее стро-

гого межеванья. Наблюдения над этой формулой, представленной в памятниках письменности в нескольких вариациях, не лишены историко-лингвистического интереса. Время от времени она привлекала внимание историков.

Н. А. Рожков по некоторым текстам, заключающим эту формулу, заметил известные различия в распространении плуга и сохи в XVI столетии. «Преобладающим земледельческим орудием в XVI веке, – писал исследователь, – была соха. Просматривая довольно многочисленные уцелевшие до нашего времени акты этого века, можно убедиться, что в целом ряде уездов совсем не употреблялся плуг, ни один, ни вместе с сохой: таковы уезды Волоколамский, Зубцовский, Деревская пятина, Сольвычегодский, Устюжский, Каргопольский и Рязанский. В других местах, наряду с сохой, упоминается деревянный плуг, по обыкновению он употреблялся вместе с сохой и сравнительно редко без неё. Такой перевес сохи над плугом можно заметить на большей части территории Московского государства в XVI веке, в уездах Московском, Звенигородском, Рузском, Коломенском, Боровском, Клинском, Тверском, Старицком, Дмитровском, Углицком, Ростовском, Владимирском, Переяславль-Залесском, Пошехонском, Бежецком, Белозерском. В Оболенском, Серпейском, Кашинском, Муромском и Суздальском уездах преобладает совместное употребление сохи и плуга, обоими орудиями население, очевидно, пользовалось здесь в одинаковой мере. Были, наконец, уезды, где плуг употреблялся чаще сохи: таковы Костромской и Юрьев-Польский» [Рожков 1899: 116].

Признание Рожковым текстов формул как источников сведений о распространении в XV–XVI вв. различных видов земледельческих орудий вызвало критические замечания Д. К. Зеленина. Не проверив полностью данные Рожкова, Зеленин тем не менее отнёсся к ним с большим недоверием и, следуя привычным представлениям, категорически утверждал: «... отмеченные выше выражения суть технические выражения, окаменелые формулы тогдашнего приказного языка, употреблявшиеся при определении границ с значением “где пахано”. Думать, что писцы в данном случае всегда сообразовались с тем, какие орудия действительно употреблялись в данном случае, или, по крайней мере, в данной местности, – оснований нет. В подобных формулах слово *плуг* легко могло сохраняться и в тех случаях, когда соответствующее орудие исчезало из хозяйственного обихода» [Зеленин 1908: 126].

Нетрудно заметить, что расценивая формулы как чисто технические выражения, исследователь неправомерно суживает их семантику, сводит её исключительно к значению «где пахано», хотя во вла-

дельческих формулах почти всегда говорится и о сенокосных, и о лесных и о прочих угодьях.

Справедливо указывая, что во многих случаях формулы функционируют «в окаменелом виде, а выражаемые ими понятия меняются» [там же], Зеленин рассматривает владельческую формулу в одном ряду с такими, как «руку приложил» и «разузнать всю подноготную», которые, в отличие от владельческой, лишены прямого, конкретного содержания. Ещё важнее то обстоятельство, что интересующая нас владельческая формула имела вполне конкретное юридическое значение: её компоненты *плуг, соха* и т. п. закрепляли право на владение определёнными видами угодий. Напротив, выражения «руку приложил» или «разузнать всю подноготную» никаких указаний на отношение лица к конкретной реалии в себе не заключали.

Не имеющей реального содержания считает данную формулу и А. Д. Горский, основываясь на некоторой, как он полагает, непоследовательности её употребления. «В одном судебном списке 1503 г., – замечает он, – приводятся две купчие на две соседние деревни, а межи их обозначены для одной деревни “куды плуг... коса... топор... ходил”, для другой – “куды топор и соха ходила” (АСЭИ II: 307). В меновой грамоте 1447–1455 гг. о промене двух деревень на сельцо сначала сказано “куды соха и коса и топор ходил”, а затем лишь о косе и топоре (АСЭИ II: 207). В двух белозерских же актах, выданных одним и тем же князем одному и тому же монастырю в один и тот же день, упоминается: в одном – соха, коса и топор, в другом – лишь коса и топор (АСЭИ II: 221, 222)» [Горский 1960: 40].

Критические замечания Горского представляются нам спорными. В первом случае речь идёт о двух пустошах, купленных по соседству, но у разных владельцев. Возможно, последние располагали один плугом, другой сохой, а пустоши состояли из неоднородных угодий. Между прочим, во многих актах встречаются указания на принадлежность тех или иных орудий определённым, конкретным лицам. Вот один из примеров: а отвод той земле, куда ходила моя Ондреева соха, коса, топор (АСЭИ I: 622). Нередко также устанавливалось, по каким именно угодьям ходили сельскохозяйственные орудия: село... с нивами и пожнями что к тому селу из старины потягло, поколе Васьков серп и коса ходила (АСЭИ III: 365); а завод той пожне по старой завод, куды коса их ходила (АСЭИ I: 161). Иными словами, в данных случаях наблюдается полное соответствие между упоминаемыми орудиями труда и теми видами угодий, где они применяются. Кстати, по нашим наблюдениям, в районах менее удобных для развития земледелия (Белозерский уезд, земли по Двине, Холмогоры и т. п.) гораздо

употребительнее формула, в составе которой обнаруживаются только два компонента – *коса* и *топор*. Наоборот, в областях, расположенных южнее, устанавливается подавляющее преобладание формулы, в которой вместе с другими компонентами непременно наличествует *соха* или *плуг*. Не можем согласиться с мнением Горского ещё и потому, что оно опирается на рассмотрение всего лишь нескольких случаев из многих применений данной формулы.

Г. Е. Кочин, отмечая «трафаретность» формулы типа «куда моя соха, плуг, топор и коса ходила», обращает особое внимание на выражение «иногo содержания» [см.: Кочин 1965: 139]. Исследователь приводит два документа с «необычной формулой, несомненно указывающей на подсечное земледелие» [там же]. Один из этих документов относится к Белозерью, другой – к Ваге. В белозерском написано: Се купил есми деревеньку... Сильвестровскую роздель, и что к ней потягло, или куда секира ходила, или куда коса ходила [там же]. В документе с Ваги читаем: се аз... дал есми... три деревеньки... с всеми угоды, куды ходила коса и секира [там же: 139–140]. Констатируя отсутствие в этих случаях указаний на соху или плуг, Кочин справедливо замечает, что это ни в коей мере не говорит об отсутствии самого земледелия [там же: 140]. Добавим: в самом наименовании угоды «Сильвестровская роздель» содержится указание на земельный участок, разделанный под пашню. Подтвердим это соотносительными фактами из других древнерусских источников: «вси гради ваши... дѣлають нивы своя и землѣ своя», – говорит княгиня Ольга древлянам (Пов.врем.лет, 6454 г.); в белозерском тексте 1397–1427 гг.: даль есмь... поженку и свою землицу оу езовища, что моя чища... а даль есмь и докладницу, по чему есмь ту поженку и тоу землицу розделаль (АСЭИ II: 8); в новгородской грамоте 1459–1469 гг.: земля имь дѣлати, и пожнѣ косити [Гр.Новг. и Псков.: 152].

Сопоставление указанных данных с Ваги и Белозерья с материалами более поздними, приуроченными к той же территории, привело Кочина к выводу о существовании в XV–XVI вв. «посекирного земледелия», «посекирной пашни», которая отождествляется с подсекой [там же]. «Из ряда тяжёбных дел XVII в. о «посекирных землях», – пишет он, – мы узнаём, что крестьяне Олонецкого края и смежных районов регулярно к своей небольшой и малоурожайной полевой пашне занимались подсечным земледелием» [там же]. Опираясь па данные рассматриваемой формулы, исследователь, видимо, признаёт возможность её частичного использования при определении видов земледелия. В данном случае, мы думаем, не столь существенным является наличие в составе формулы названия *секира* вместо *топор*,



сколько вообще употребление в этих районах Севера двухкомпонентной формулы – с названиями *коса* и *топор*.

И. И. Срезневский видел в исследуемой формуле отражение реальных фактов, толкуя, например, выражение «куда плуг ходил» так: «где пахано – обычное выражение при определении пахотных угодий» [Срезневский II: 971]; о выражении «куда ходила коса и секира» он писал: «выражение грамот для обозначения угодий в лугах и лесах» (там же III: 892), а «куда топор ходил» толковал таким образом: «выражение для определения пространства лесных угодий» [там же III: 981].

Связи в составе формулы соответствующих названий с определёнными видами угодий касается Л. Я. Костючук [Костючук 1968: 166 и др.].

Сомнения в реальности показаний формулы вызывались, видимо, тем, что вполне конкретных сведений о плуге XV–XVI вв. мы не имеем. «Где ручательство того, – спрашивает Зеленин, – что «плугом» и акты XVI века называют действительный плуг, а положим, не рало (однозубую черкушу)... не другое какое-либо одноральное орудие, в отличие от двуральной сохи?» [Зеленин 1908: 127]. Каким образом, спрашивается далее, можно было действительным плугом пахать лесные подсеки, которых много было на Руси и на которых иной раз невозможно пользоваться и лёгкой сохой, так что почву на этих подсеках нередко взрывают ручными орудиями?

Рассмотрим эти возражения Зеленина и попытаемся ответить на его вопрос. Обратимся к Северо-Восточной Руси. Возьмём уезды Владимирский, Ростовский, Ярославский, Юрьевский, Переяславский, Угличский, Суздальский, Костромской, Московский, Дмитровский, Тверской и Кашинский. Известно, что условия для земледелия на этих пространствах были неоднородны. Наряду с лесными массивами там с давних пор существовали лесостепные и степные зоны, или так называемые ополья – Суздальское, Переяславское, Юрьев-Польское, Угличское, Ростовское и др. «Историки давно уже отметили, что древнейшие города Залесской земли были построены в так называемых опольях, т. е. своеобразных полях с получернозёмной почвой, находившихся среди громадных лесных просторов. Такие ополья окружали Суздаль, Ростов, Переяславль. От них получили свои дополнительные прозвища города Юрьев-Польский и Углич-Поле» [Тихомиров 1956: 394]. Почвенные условия этого края, разумеется, требовали применения не только лёгких, пружинящих орудий с высоким прикреплением тяговой силы – сохи или косули, необходимых в лесных районах, но и других пахотных орудий. «На равнинах (в степях и лесостепи) для поднятия целины, залежи и перелога требовались орудия, плотно си-

дящие в земле, ровно шедшие вперёд и разрезавшие, вернее разрывавшие дернину. Такие орудия имели низкое прикрепление тяговой силы, что заставляло их плотно сидеть в земле и прижиматься к ней. Такими орудиями были рало и плуг» [Найдич 1967: 33].

Не следует также забывать, что плуг в Северо-Восточной Руси мог появиться и вследствие той исторической преемственности, которая связывала эту Русь с древней Русью Киевской, где, судя по данным памятников, пахотным орудием являлся именно плуг. В Лаврентьевской летописи под 931 г. читаем, например: «(Владимир в#тичи победы и възложи на нь дань от плуга, "ко же и ѿць его имаше» [Лавр.лет., 82. 1377 г.]. В связи с упоминанием в Русской Правде плуга, сам Зеленин пишет: «Когда мы читаем в древнейшем русском законодательном памятнике... такие слова: «дал ему господин плуг и борону, от него же копу смлеть», то более чем возможно понимать здесь под «плугом» уже не рало, а улучшенное орудие, плуг в собственном смысле этого слова: рало – орудие столь доступное всем и всякому (его может легко сделать всякий крестьянин, особенно рало без железного наконечника), что брать за него «копу» господам вряд ли приходилось; к тому же борона при рале почти что не нужна, а если и нужна, так опять-таки самодельная, деревянная; при плуге же необходима железная борона, о которой, вероятно, здесь и идёт речь» [Зеленин 1908: 120].

Словом, если допускается, что плуг, упоминаемый в Русской Правде является собственно плугом, почему мы должны сомневаться в существовании подобного орудия в XV–XVI вв.? Ведь «не может быть никаких сомнений в том, что Северо-Восточная Русь – это родная дочь той самой славянской Руси, которую мы видим и в Новгороде и в Киеве» [Греков 1952: 499]. Между прочим, сопоставление ханских грамот: одной, адресованной киевскому митрополиту (70-е годы XIII в.), а другой, адресованной владимирскому митрополиту (начало XIV в.), – показывает, что в той и другой грамоте основной повинностью населения названа «поплужная» [там же: 506–507].

О применении плуга в Северо-Восточной Руси свидетельствуют и археологические данные. Детали плугов обнаружены при раскопках в ряде мест. Широколопастный плужный лемех и отрез найдены в культурных слоях XI–XIII вв. городища Пальное Рязанской области; обломок стального лезвия лемеха – на селище близ Золоторучья Ярославской области; плужные отрезки – в районе Суздаля [Кочин 1965: 34]. Плужные лемехи и чересла XII–XIII вв. извлечены при раскопках вятических городищ Слободка и Серенское [Никольская 1968: 124] Вышегородского селища Рязанской области [Монгайт 1961: 259]. Н. А. Горская указывает на применение плуга в XVI–XVII вв. в мона-

стырских хозяйствах Белозерского, Вологодского, Костромского, Ярославского и Суздальского уездов, в Бежецком Верхе и по Верхнему Днепру и Угре [Горская 1959: 143, 147, 151, 152, 160].

Обратимся к источникам, где употребляется интересующая нас владельческая формула. Не ставя перед собой непосильной задачи – рассмотрения всех подобных источников, привлекаем обширные материалы, заключённые в следующих изданиях: «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси» (М., т. I, 1952; т. II, 1958; т. III, 1963); «Акты феодального землевладения и хозяйства» (М., т. I, 1951; т. II, 1956; т. III, 1961). При цитировании этих источников пользуемся сокращениями – АСЭИ и АФЗХ. Привлекаем также данные из работы Н. А. Рожкова «Сельское хозяйство Московской Руси XVI–XVII вв.» (М., 1899). Приводя соответствующие материалы, указываем номера актов.

Интересующее нас выражение встречается в данных, купчих, меновных и следует за перечислением вида угодий, например: Список з данные слово в слово. По приказу мужа своего Федорову Ондреевича, се яз Анна Федорова жена Андреевича, дала еси Пречистой в Кириллов монастырь игумену з братьею свое село Куралгинское, з деревнями и с луги, и с лесы, и с пожнями, и с мельницею, и з болотом и со всем с тем угодьем, что к тем землям потягло изстарини, и куды по тем землям саха и коса и топор ходил, да и с серебром и с животиною, и что в том селе и в деревнях серебра и животины ни есть, да и с семяны. А дала еси по душе своего мужа и по своей душе и по детей своих душам (ок. 1450–1454 гг., АСЭИ II, № 153а).

За редким исключением, в каждом акте формула употребляется только однажды. Не более чем в нескольких десятках случаев из общего количества 700 встречаем её повторное употребление. Если компоненты её при повторении не менялись, её употребление в тексте не учитываем, если же во втором случае название одного орудия заменяется другим, этот факт, естественно, принимаем во внимание. Имея в виду отмеченное соответствие употреблений формулы числу самих актов, мы сочли возможным включить в подсчёты акты с употреблением данной формулы, отмечаемые Н. А. Рожковым.

Далее в хронологическом порядке по трём рубрикам «соха», «соха, плуг» и «плуг» приводим номера актов из публикаций и хранилищ отдельно по каждому уезду. Даётся сокращённое обозначение источника, затем номер или номера актов, и далее в скобках – дата. Материалы Рожкова приводятся отдельно и при этом со старыми сокращениями, шифровкой и датировкой по старому летосчислению. Документы, использованные Рожковым и дублируемые в АСЭИ и

АФЗХ, приводятся один раз и отмечаются звездочкой. Уезды, которые в исследовании Рожкова представлены совершенно недостаточными данными, в сводку не включаются. Не включаются и устюжские материалы, поскольку они представляют территорию, находящуюся за пределами интересующей нас области. В Устюжском уезде, по этим сведениям, применялась только соха.

### **Бежецк**

- Соха АСЭИ, I, 146 (1430–40), 163 (перед 1440), 234 (ок. 1440–50), 210 (1447–55), 258 (1455–57), 302 (1461–66), 438 (1474–78); АСЭИ, II, 420 (1498–99); АСЭИ, III, 468 (ок. 1500–05)
- Соха, плуг АСЭИ, I, 270 (1455–66), 371 (1467–74)
- Плуг АСЭИ, I, 372 (1467–74), 442 (ок. 1474–78)

### **Белозерск**

- Соха АСЭИ, II, 17, 34 (1397–1427), 50 (1428–32), 52, 57, 58 (1428–34), 75 (1435–47), 92 (1439–40), 333 (перед 1443–44), 114, 124, 146 (1448–70), 225 (ок. 1470), 210, 214 (1471–75); 224 (1471–86), 221 (1473), 233 (1476), 238 (1476–82), 328 (перед 1483–82), 329 (1483–84), 288 (ок. 1492), 324
- Соха, плуг (1499–1500), 304 (ок. 1500–10); АСЭИ, III, 463 (1443–44)  
АСЭИ, II, 330 (1484), 303 (1500–01)

### **Владимир**

- Соха АСЭИ, I, 96 (1431–45); АСЭИ, III, 104 (1497–95), 105 (1498–99); АФЗХ, I, 76 (1499); АСЭИ, II, 423, 423а\* (1500–01)
- Соха, плуг АФЗХ, I, 149 (1464–73); АСЭИ, I, 484 (ок. 1470–90); АФЗХ, I, 195 (1514)
- Плуг АСЭИ, III, 103(1480–94), 105(1498–99); АФЗХ, I, 178 (1495–1511), 177\* (1508–09), 179\* (1515), 196\* (1521); АФЗХ, III, 1\* (1521), 3 (1545), 15\* (1571–72), 17\* (1576–77), 97 (1596), 33 (1597)

### **Волоколамск**

Соха АФЗХ, II, 7 (1479–94), 29 (нач. XVI в. – 1510), 36 (1507), 44\* (1509), 53 (1511–12), 57\* (1512–13), 58\* (1513–14), 59\* (1514–15), 74\* (1516–17), 75 (1516–22), 81\* (1517–18), 85 (1520–21), 88\* (1522–23), 98 (1-я четв. XVI в. – 1530–31), 99\*, 100\* (1526–27), 104\*, 105\* (1527–28), ИЭ\* (1529–30), 116\*, 118, 119\* (1530–31), 123\* (1532–33), 126\* (1533–34), 140, 141 (1534–35), 150\* (1539–40), 152\* (1540), 155\*, 158\* (1540–41), 164\*, 165\*, 166 (1541–42), 186, 187, 188 (1545–46), 197\* (1546–47), 201\*, 203\* (1547–48), 210, 211\*, 214\*, 215\*, 216\* (1549–50), 220 (1550), 224\* (1550–51), 234, 238 (1551–52), 241\*, 242\* (1552–53), 244 (1553–54), 254\* (1554–55), 256, 259\* (1555–56), 263\* (1556–57), 280 (1559–60), 305\* (1563–64), 313\*, 314 (1565–66), 319 (1566–67), 324\*, 327\*, 329\* (1567–68), 333\*, 336, 337\*, 340\*, 343\* (1568–69), 354 (1571–72), 357\* (1572–73), 366\* (1577–78), 381\* (1586–87), 382\* (1587–88), 386\* (1589–90), 393 (1593)

Соха, плуг АФЗХ, II, 205\* (1548–49)

### **Дмитров**

Соха АСЭИ, I, 62 (1428–32); АСЭИ, II, 93 (ок. 1430–40); АСЭИ, I, 84, 85, 86, 87, 89 (1432–45), 111 (1433–43), 347 (ок. 1440–44), 348 (1445–53), 190 (перед 1447); АФЗХ, I, 79 (1448–61); АСЭИ, I, 238 (ок. 1450), 153а (ок. 1450–54), 283 (ок. 1450–70), 285 (ок. 1450–80), 273, 274, 275, 276 (1455–66), 389 (ок. 1460), 334, 335, 378, 379 (ок. 1463), 437 (ок. 1468–78); АФЗХ, I, 82 (1473); АСЭИ, I, 546 (ок. 1480–1500), 625 (1499–1500); АФЗХ, II, 54\* (1512); АФЗХ, I, 73 (1512–13), 74 (1518), АФЗХ, II, 94\* (1524–25); АФЗХ, I, 75 (1526); АФЗХ, II, 120 (1530–31), 156\* (1540–41), 162\* (1541–42), 239\* (1552–53), 265 (1556–67), 275 (1558–59), 278\* (1559), 287\* (1561–62), 298\* (1562–63), 344\* (1568–69), 362\* (1575–76)

Соха, плуг АФЗХ, II, 47 (1510), 110 (1529)

### **Звенигород**

Соха АФЗХ, I, 95 (ок. 1448); АСЭИ, III, 58а (ок. 1470–72), 59а (ок. 1475–77); АФЗХ, I, 108\* (1524)

### **Кашин**

- Соха АСЭИ, II, 121 (1444–57), 133 (1458–59), 144 (ок. 1450–60); 150 (1461–76), 155 (1472–73), 160 (1484–55), 169 (1499–1505), 174 (ок. 1505–10)
- Соха, плуг АСЭИ, III, 134 (ок. 1459), 151, 153 (ок. 1461–82), 155 (1472–73), 188\* (1505–06)
- Плуг АСЭИ, III, 131 (1444–83), 134, 135 (ок. 1459), 149 (ок. 1460–70)

### **Коломна**

- Соха АСЭИ, I, 528 (1486)
- Соха, плуг АСЭИ, I, 449 (ок. 1477–96)
- Плуг АСЭИ, I, 448 (ок. 1474–96)

### **Кострома**

- Соха АСЭИ, I, 266 (ок. 1455–62), 485 (ок. 1470–90)
- Соха, плуг АСЭИ, III, 228 (ок. 1410–20); АСЭИ, I, 271 (1455–66); АСЭИ, III, 230 (ок. 1463–64); АФЗХ, I, 152 (1467); АСЭИ, III, 235 (ок. 1530–40)
- Плуг АСЭИ, I, 137, 138 (не'позже 1438–40), 287 (ок. 1460–66), 374 (1467–74); АСЭИ, III, 231 (ок. 1485–86), 234 (ок. 1518–19)

### **Москва**

- Соха АСЭИ, I, 8 (1392–1427); АФЗХ, I, 41 (1410–25); АСЭИ, I, 73 (1430–45), 75 (1432–33), 167 (ок. 1440–45), 235 (ок. 1440–70), 181 (1446–47), 205 (1447–55), 252 (ок. 1454–60), 293 (1461–62); АФЗХ, I, 43 (1464–73); АСЭИ, I, 380 (ок. 1463 или ок. 1474), 381 (ок. 1468–72); 386 (1468–78), 566 (1491–92), 524 (1499); АФЗХ, I, 46 (1506–07), 58\*, 68 (1510–II), 59 (1515–16), 60 (1516), 108\* (1524), 62, 65\* (1525–26), 61, 64\*, 66 (1526), 63\* (1527); АФЗХ, II, 181 (1544–45), 223 (1551), 326 (1567–68), 334 (1568–69), 55 (1582); АФЗХ, II, 393 (1593–94)
- Соха, плуг АСЭИ, II, 340 (ок. 1380–82); АСЭИ, III, 47\* (1504–1505); АФЗХ, II, 123 (1532); АФЗХ, I, 45\* (1557–58)

Плуг АСЭИ, I, 20 (1410–27); 134 (не позже 1438); 290 (1461), 415 (ок. 1472–88)

### **Муром**

Соха АСЭИ, I, 489 (ок. 1480)

Соха, плуг АСЭИ, I, 547 (ок. 1480–1520)

### **Переяславль-Залесский**

Соха АСЭИ, I, 51 (1425–49), 227 (1440), 206 (1447–55), 288 (ок. 1460–73), 427 (ок. 1474–75); АФЗХ, I, 129 (1495–99); АФЗХ, II, 277 (1558–59)

Соха, плуг АСЭИ, I, 10 (1392–1427), 18 (1410–27), 56 (1428–32), 81 (1432–45), 269 (1455–66), 536 (1488–89); АФЗХ, I, 122 (1526–27)

Плуг АСЭИ, I, 20 (1410–27), 60 (1428–32), 81 (1432–45); АФЗХ, I, 128 (ок. 1450); АСЭИ, II, 354 (1453–60); АСЭИ, I, 259, 430 (ок. 1455–60); АФЗХ, I, 115 (1456), 126 (1458); АСЭИ, I, 347 (ок. 1467), 340 (1467–74), 395 (ок. 1470), 406 (1471–82), 426 (ок. 1474–75), 562 (1491–92)

### **Пошехонье**

Соха АСЭИ, II, 282 (ок. 1490–99); АФЗХ, I, 307 (1453)

Соха, плуг АСЭИ, I, 509 (1484–88)

### **Ростов**

Соха АСЭИ, I, 185 (1446–47)

Соха, плуг АСЭИ, I, 387 (ок. 1468–78), 444 (1474–84)

Плуг АСЭИ, I, 616 (ок. 1497–1510), 648 (1503–04); АФЗХ, I, 11 (1464–73)

## Руза

- Соха АСЭИ, II, 346 (1445–53), 377 (ок. 1463); АСЭИ, I, 382, 383, 384 (ок. 1468–72); 478 (ок. 1470); АФЗХ, II, 6 (1479–1494), 9, 10, 12 (1479–1504), 16 (1482–1508), 19 (1494–1515), 24 (конец XV – нач. XVI в.), 27 (нач. XVI–1510), 30, 31 (нач. XVI–1515), 41 (1508–15), 49 (ок. 1511), 60, 61 (1514–15), 64\* (1515), 67, 68 (1515–22), 72 (1516), 83\* (1520), 84\* (1520–21), 106\* (1527–28), 117\* (1530–31), 124\* (1533), 125 (ок. 1533), 142\* (1534–35), 144 (1535–36), 163\* (1541–42), 167\* (1541–42), 177 (1543–44), 192\*, 193, 196\* (1546–47), 209\* (1548–49), 213 (1549–50), 218\*, 433 (1549–50), 222, 227 (1550–51), 245\*, 246\*, 247 (1553–54), 251\*, 252 (1554–55), 258\* (1555–56), 264\* (1556–57), 270\* (1557–58), 284 (1560–61), 286, 289, 290\*, 291, 292\* (1561–62), 297\* (1562–63), 304\*, 308\* (1563–64), 310\* (1564–65), 318\*, 320 (1566–67), 334\*, 335, 338\*. 339, 342, 346 (1568–69), 355 (1571–72), 365\* (1577–78)
- Соха, плуг АФЗХ, II, 46\* (1510), 64\* (1515), 77\* (1517), 95 (1527), 110\* (1529), 424 (1608–1609)
- Плуг АФЗХ, II, 37 (1507)

## Старница

- Соха АСЭИ, I, 233 (ок. 1440–50), 301 (1461–76), 392 (ок. 1460–80), 404 (1471–72), 481 (ок. 1470–80); АФЗХ, II, 32 (нач. XVI–до 1524), 92, 93 (1524), 121 (1530–31), 202\* (1547–48), 253 (1554–55), 253 (1554–55), 281\* (1560–61), 374 (1683–84)

## Суздаль

- Соха АСЭИ, I, 240 (1450–55), АСЭИ, II, 451 (ок. 1440–70), 483а (ок. 1480), 492 (ок. 1497–98)
- Соха, плуг АСЭИ, II, 444 (1444), 462 (ок. 1463–70), АФЗХ, I, 164 (1519–20), 161\* (1526)
- Плуг АСЭИ, II, 434 (ок. 1417), 440 (ок. 1440), 441 (ок. 1440–44); АСЭИ, I, 211 (1447–55); АСЭИ, II, 474 (перед 1476)



### **Тверь**

Соха АФЗХ, И, 1 (1479–1515); 65 (1515–16), 154 (1540–41), 200 (1547–48), 269 (1557–58), 301 (ок. 1562–63), 325 (1565–66), 328 (1567–68), 345 (1568–69), 348, 349, 350 (1569–70), 426 (1609)

### **Углич**

Соха АСЭИ, I, 27 (1410–27), 155 (ок. 1430–40), 550 (1490–91),  
Соха, плуг АСЭИ, I, 299 (ок. 1461–66); АСЭИ, III, 80 (ок. 1470–80); АСЭИ, I, 526 (1485–1507)  
Плуг АСЭИ, I, 26 (1410–27), 216 (ок. 1447–55); АСЭИ, III, 465 (ок. 1447–55); 80 (ок. 1470–80); АСЭИ, I, 569 (1492–93)

### **Юрьев-Польский**

Соха, плуг АФЗХ, I, 149 (1464–1473); 152 (1467); АСЭИ, I, 441 (1474–78)

### ***Материалы, использованные П. А. Рожковым***

#### **Бежецк**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 1147, 1148(7029), 1150, 1151, 1153, 1156, 1158, 1164(7033–38), 1169, 1170, 1171, 1177, 1178, 1181, 1182, 1185, 1189, 1192, 1194, 1196, 1199 (7041–49), 1205, 1206, 1209, 1210, 1213, 1216, 1217, 1218, 1224 (7052–58), 1228, 1230, 1242, 1243, 1246 (7061–66), 1250, 1255, 1259, 1262, 1265, 1271, 1272, 1274, 1275, 1277, 1280, 1281, 1285, 1286 (7071–79), 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1295, 1303, 1305, 1311, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322, 1325, 1327 (7080–87), 1335, 1338, 1339, 1341 (7093–7101); Сб. Тр. Л., № 532, л. 135–135 об. (7086)  
Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 1160 (7036), 1172 (7041), 1195 (7048), 1212, 1219, 1223 (7054–58), 1239 (7064), 1249, 1253, 1258, 1261, 1269, 1270, 1278, 1279 (7071–78), 1290, 1296, 1297, 1304, 1306, 1308, 1312, 1320 (7080–85), 1337 (7094); Сб. Тр. Л., № 532 л. 68–68 об. (7082)  
Плуг МАМЮ, ГКЭ, 1145 (7028), 1161 (7036), 1167 (7040), 1200 (7049), 1204 (7052), 1330 (7088)

### **Белозерск**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 785, 792, 793, 794, 803 (7050–59), 810, 811 (7069), 808, 813, 828, 840 (7076–77), 858, л. 18 об. (ок. 7090)
- Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 765(7031), 774 (7047), 783(7050), 806 (7065), 809 (7067), 826, 827, 838, 844 (7076–79)
- Плуг МАМЮ, ГКЭ, 824, 829, 830, 831, 832, 834, 837 (7076–77), А.Ю., 124 (1553)

### **Владимир**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 1811, 1812 (7067), 1818(7074), 1824 (7078), 1828 (7080), 1832 (7081), 1835 (7082), 1843 (7085), 1850, 1851 (7086), 1863 (7092), " 1867 (7096), 1869 (7098), 1871 (7099); Рум. муз. Ак. Беяева, № 166 (7089); Рум. муз. Сб. Беяева, № 1620, л. 213 об. (7008)
- Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 1785 (7019), 1799 (7053), 1819 (7074), 1825 (7078), 1827 (7079), 1833 (7081), 1836 (7082), 1840 (7084), 1848, 1853 (7086), 1856, 1857 (7089), 1858 (7091), 1860 (7093), 1864 (7094), 1866 (7095); Рум. муз. Сб. Беяева, № 1620, л. 241 об. (7022)
- Плуг МАМЮ, ГКЭ, 1846 (7086); Рум. муз. Сб. Беяева, № 1620, л. 216 об. (7023), 243 (7029)

### **Волоколамск**

- Соха Ак. Дьяконова, 5 (7059), МАМЮ, ГКЭ, 2448 (7061), 2454 (7072)

### **Дмитров**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 3737 (7024), 3750 (7038), 3752 (7039), 3777 (7054), 3781 (7055), 3785 (7056), 3786 (7057), 3787, 3788(7058), 3789(7059), 3807(7070), 3811 (7071), 3813 (7073), 3833 (7078), 3834 (7079), 3836 (7079), 3838, 3845, 3839, 3843 (7080), 3847 (7081), 3848, 3850 (7082), 3853, 3855 (7084), 3859 (7085), 3861, 3862, 3863 (7086), 3869 (7088), 3872 (7097); Рум. муз. Сб. Беяева, № 1620, л. 67 (7020), 85 (7026), 86 (7034)

Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 3731 (7019), 3735 (7022), 3739 (7027), 3751 (7039), 3776 (7053), 3784 (7056), 3799 (7066), 3802, 3801, 3804 (7067), 3756, 3812 (7071), 3814 (7073), 3822, 3823 (7074), 3825, 3826 (7076), 3832 (7078), 3837 (7079), 3846 (7081), 3860 (7085), 3868 (7088), 3878 (7105); Сб. Тр. Л., № 532, л. 431–431 об. (7076); А.Ю. № 104 (1527)

Плуг МАМЮ, ГКЭ, 3753 (7040), 3770 (7049), 3857 (7085), 3866 (7087)

### **Звенигород**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 4687 (7048), 4692 (7056), 4700 (7066), 4702 (7075), 4703 (7076), 4705 (7076), 4706 (7091), 4709 (7101); Рум. муз. Сб. Беляева, № 1620, л. 123 (7033)

Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 4679 (7026), 4680 (7032); Сб. Муханова, № 127 (7038); А. Ю., № 80 (1539)

### **Зубцов**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 4821 (7033), 4823 (7034), 4824 (7040), 4826 (7043), 4827 (7047), 4829 (7048), 4832 (7066), 4833(7070), 4834(7076), 4835(7087); Ак., отн. до юр. б., т. I, № 63, XIX (7074)

### **Кашин**

Соха Рум. муз., Ак. Беляева, № 161 (7087); МАМЮ, ГКЭ, 6711 (7033), 6713 (7035), 6734 (7052), 6750 (7068), 6753 (7069), 6761 (7074), 6763 (7075), 6774 (7079); А. Ю., № 103 (1540); Ак., изд. Юшковым в «Чт. Общ. ист. и др.» за 1898 г., кн. III, № 202 (7094)

Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 6705 (7026), 6706 (7027), 6709 (7031), 6722 (7043), 6727 (7048), 6732, 6735 (7052), 6737 (7053), 6739 (7055), 6740 (7058), 6742 (7059), 6744, 6745 (7062), 6749, 6751 (7068), 6754, 6755 (7070), ' 6756 (7071), 6759 (7073), 6765 (7075), 6769 (7078), 6772, 6773 (7079), 6775 (7080), 6777 (7096); Ак., отн. до юр. б., II, № 147, XXII (7068), XXV (7098), № 156, XII (7026)

Плуг МАМЮ, ГКЭ, 6702 (7023), 6703 (7024), 6707 (7028), 6719, 6720 (7040), 6721 (7041), 6738 (7053), 6776 (7081), 6781 (7102)

### **Клин**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 5632 (7025), 5639 л. 13 (7068), л. 14 (7075), л. 16 (7097), л. 17 об. (7099), л. 18 (7106), 5644 (7059), 5645 (7060), 5648 (7071), 5650 (7085)

Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 5639, л. И (7056)

Плуг МАМЮ, ГКЭ, 5639, л. 9 об. (7054)

### **Коломна**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 6322 (7080), 6323 (7080), 6326 (7086), 6328 (7099), Рум. муз. Ак. Беляева, № 118 (7069), 128 (7072)

Соха, плуг Рум. муз. Сб. Беляева, № 1620, л. 138 об. (7035); Рум. муз. Ак. Беляева, № 147 (7078)

Плуг МАМЮ, ГКЭ, 6325 (год не указан); Сб. Беляева, № 1620, л. 148 (7017)

### **Кострома**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 5077, 5082, 5083, 5095, 5096, 5099, 5109 (7078—7086)

Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 5006, 5018, 5020 (7053—59), 5022, 5023, 5025, 5028, 5034, 5048 (7060—68), 5054, 5060 5064, 5068, 5072, 5076 (7072—78), 5089 (7080), 5994 (7082)

Плуг «Чт. в Общ. ист. и др.» за 1897 г., Кн. грам. Годуновых, стр. 5 (1572); МАМЮ, ГКЭ, 4993 (7018), 5000 (7031), 5008, 5012, 5016, 5019 (7053—59), 5021, 5024, 5040 (7060—69), 5052, 5053 (7071), 5087, 5088, 5091, 5098, 5115 (7080—88), 5063, 5067, 5069, 5071, 5085 (7073—79)

### **Москва**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 7153 (7035), 7159 (7060), 7165 (7078), 7169 (7085); Сб. Тр. Л., № 530, л. 6–6 об. (7026), 90 об.–91 (7042), 80 об.–81 (7049), 48 об. (7054), 55–55 об., 105–105 об. (7055), 68–68 об. (7060), 107 (7063), 127 (7072), 54–54 об. (7077), 17 об., 90 об.–91, 69, 47 (7078), 97–97 об. (7079), 100–100 об. (7080), 60 об.–61, 24 об.–25 (7081), 128–128 об. (7085), 58 (7089), 15 об. (7094); Рум. муз. Сб. Беляева, № 1620, л. 56 об. (7015), 70 (7024), 71—72, 73–73 об., 74 об., 75 об. (7034), 55 (7066); Рум. муз. Ак. Беляева, № 179 (7095)
- Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 7150 (7028), 7151, 7152 (7033); Сб. Тр. Л., № 530, л. 38 об.–39 (7034), 74–74 об. (7049), 18 об. (7069), 24 (7076), 208–209 об. (7078), 24 об.–25 (7081)
- Плуг Сб. Тр. Л., № 530, л. 104 об., 105 (7053), 55 об.–56 (7056), 14 об. (7067), 16 (7069), 93 об.–94 (7071)

### **Муром**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 7758 (7038), 7744 (7061), 7756, 7757 (7081), 7760, 7761, 7762, 7767, 7768 (7084), 7779, 7782 (7086), 7788 (7092), 7789 (7093); Сб. Тр. Л., № 530, л. 941 об.–942 об. (7086), 949–949 об. (7081)
- Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 7743 (7058), 7764, 7765 (7084), 7770, 7772, 7774, 7776 (7085), 7785 (7088); Сб. Тр. Л., № 530, л. 928 об.–931 (7015), 920 об.–921 (7083), 948–948 об. (7086)

### **Переяславль-Залесский**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 8795, 8796, 8798 (7034), 8800 (7035), 8804 (7037), 8854 (7052), 8862 (7054), 8871 (7057), 8910 (7067), 8912 (7968), 8935 (7071), 8938, 8944 (7072), 8958 (7076), 8963 (7078), 8978, 8980 (7082), 8984 (7084), 8987 (7085), 8989, 8990, 8991 (7086), 8996, 8998 (7088), 9015 (7096), 9021 (7099), 9024 (7102); Сб. Тр. Л., № 530, л. 527–527 об. (7081)

- Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 8789 (7033), 8793 (7034), 8803 (7035), 8813 (7040), 8822 (7044), 8827 (7046), 8832 (7047), 8838, 8840 (7049), 8854 (7052), 8842 (7054), 8866, 8867 (7055), 8870 (7056), 8872 (7057), 8873 (7058), 8879, 8880 (7059), 8884 (7060), 8887 (7061), 8900, 8901 (7065), 8903, 8906 (7066), 8915 (7068), 8921 (7069), 8923 (7070), 8933 (7071), 8942 (7072), 8947 (7073), 8952 (7074), 8956 (7075), 8968, 8969, 8970, 8972 (7079), 8974, 8981, 8982, 8983, 8992, 8995 (7080—88), 9006 (7090), 9028 (7104)
- Плуг МАМЮ, ГКЭ, 8772 (7018), 8773 (7026), 8806, 8809, 8810 (7037—38), 8847 (7051), 8851 (7052), 8888, 8890, 8891, 8907, 8911 (7062—68), 8954 (7075), 8966 (7078), 8965, 8979, 8993, 9000, 9002 (7082—83), 9007 (7091), 9029 (7104)

### **Пошехонье**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 9688 (7067); А.Ю., 241 (7068), 242 (7070)
- Соха, плуг А. Ю., 78 (7035); МАМЮ, ГКЭ, 9692 (7069), 9695 (7072)
- Плуг МАМЮ, ГКЭ, 9685 (7065), 9689 (7067); А. Ю. 107 (7091)

### **Ростов**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 10547 (7041), 10565 (7071), 10566 (7076); 10568 (7084)
- Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 10551 (7042), 10554 (7046), 10556 (7047)

### **Руза**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 10251 (7037), 10262 (7043), 10277 (7057), 10286 (7059), 10304 (7068), 10308 (7069), 10333(7078), 10338(7097) А. Ю., 115 (1563), 125 (1567)
- Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 10280 (7058)
- Плуг МАМЮ, ГКЭ, 10298, л. 6—6 об. (7068), 10300 (7065)

### **Старица**

- Соха МАМЮ, ГКЭ, 11650 (7051), 11659 (7067), 11666, 11667 (7082), 11668 (7083), 11669 (7088), 11671, 11672 (7093)
- Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 11649 (7051)

Плуг МАМЮ, ГКЭ, 11653 (7054)

### **Суздаль**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 11808 (7060), 11816 (7068), **11817** (7069), 11838 (7078), 11840 (7079), 11843 (7080)

Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 11813 (7066), 11825 (7072), 11827 (7073), 11833 (7075), 11836, 11837 (7078), 11842, 11846, 11847 (7080), 11849 (7081), 11852, 11853 (7082), 11854(7083), 11857(7085), 11856, 11858(7086); Рум. муз. Сб. Беляева, № 1620, л. 189 об., 190, 191 (7028); Сб. Муханова, 82 (7070), 281 (7077)

Плуг МАМЮ, ГКЭ, 11839 (7079)

### **Тверь**

Соха Шумаков, Тверские ак., VIII, IX, XII–XIV, XVI, XVII, XXI–XXIII, XXV, XXVII, XXIX–XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI–XLII, XLIV, XLVI–L, LXIX, LXXI, LXXII, LXXV

Соха, плуг Шумаков, Тверские ак., XX (1559), XXXV (1572–73), LIII (1595), LIV (1596–97), LV (1599–1600)

Плуг Шумаков, Тверские ак., XXIV (1570)

### **Углич**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 12855 (7059), 12864 (7078)

Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 12857 (7062), 12868 (7084), 12870 (7094)

### **Юрьев–Польский**

Соха МАМЮ, ГКЭ, 14558 (7040), 14574 (7080), 14577 (7081), 14589 (7091)

Соха, плуг МАМЮ, ГКЭ, 14556 (7038), 14561 (7073), 14562 (7074), 14564 (7075), 14565 (7076), 14567 (7077), 14570, 14571, 14572 (7079), 14578 (7081), 14582 (7084); Сб. Тр. Л., № 530, л. 992–993 (7081)

Плуг МАМЮ, ГКЭ, 14555 (7031), 14573 (7079), 14576 (7081), 14583, 14584 (7085), 14588 (7091), 14590 (7092)

Нанесём эти данные на карту отдельно по каждому уезду. В каждом акте обыкновенно представлено одно употребление формулы, исключения редки. Повторение формулы в том же виде не принимаем во внимание, а формулы с упоминанием разных пахотных орудий, хотя бы в составе одного акта, относим к разным рубрикам. По каждому уезду подсчитываем сначала число случаев с упоминанием сохи, затем – случаев с упоминанием плуга. Подсчеты по каждому уезду даются в виде прямоугольника, причём его тёмная часть представляет количество случаев с упоминанием плуга, а светлая – количество упоминаний сохи.

Карта наглядно показывает: в то время в Северо-Восточной Руси при совпадении в одних и тех же местах употребления названий *соха* и *плуг* намечалось и некоторое различие между востоком и западом, на востоке в общем преобладает *плуг*, на западе – *соха*. Наблюдение это могло бы иметь исключительное историческое значение (неодинаковые условия земледелия обусловили в одних районах преобладающее применение плуга, а в других районах – сохи), если бы не сравнение старых данных с современными диалектологическими. Сравнение с последними приводит к выводу: тенденция в территориальном распределении названий *соха* и *плуг* имеет и лингвистическое значение – совпадает с общим разграничением исследуемой исторической области на восток и запад по данным диалектологии, в общем виде знаменует постепенный переход от восточных средневеликорусских окающих говоров к западным тоже средневеликорусским акающим говорам [Рус. диалектология: 1964: 284].

Древнее различие в локализации названий *соха* и *плуг* совпадает и с пучком местоименных изоглосс [там же: 243]. В итоге приближительное совпадение средневековых и современных данных подтверждает достаточно глубокое в историческом отношении происхождение этих диалектных различий. Установление фактов подобного рода представляет безусловный интерес не только в плане историческом и собственно лингвистическом, но и кроме того с точки зрения лингвистического источниковедения: не все разделы источника, которые обычно считают «формальными», лишёнными живой лингвистической содержательности, являются в действительности такими. Последовательное «отсечение» подобных разделов при исследовании памятников языка, которое стало уже традиционным, нельзя считать оправданным.



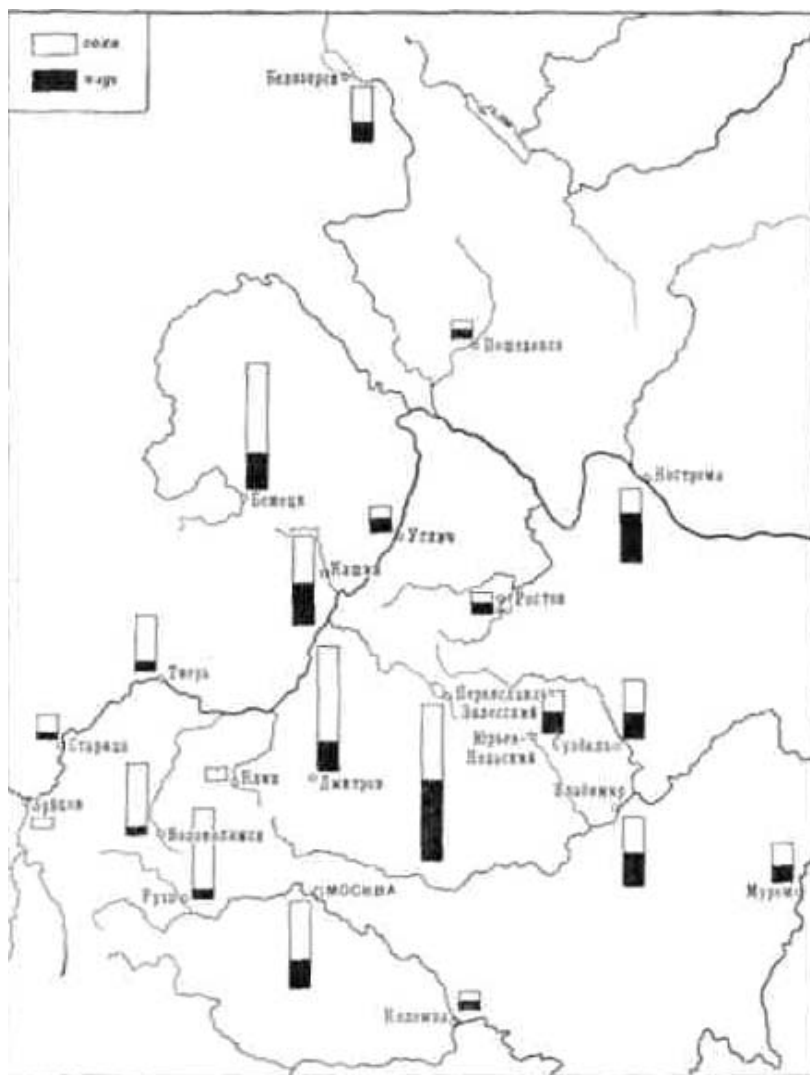


Рис. 2. Карта-схема распространения названий *плуг* и *соха*.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . .	4
1. О предмете лингвистического источниковедения . . . . .	13
2. О развитии лингвистического источниковедения . . . . .	22
3. О лингвистических источниках с заданной информацией и некоторых других . . . . .	29
4. Об источниковедческом аспекте в исследованиях по истории русского языка. . . . .	33
5. О лингвистическом источниковедении. . . . .	41
6. Источниковедческие вопросы истории русского языка . . . . .	51
7. Об источниковедческом аспекте в преподавании истории русского языка. . . . .	65
8. Об образовании восточнославянских национальных литературных языков . . . . .	73
9. Вопросы истории русского языка в свете некоторых данных южновеликорусских памятников . . . . .	77
10. Конструкция типа «земля пахать» в истории южновеликорусских говоров . . . . .	102
11. Современные русские художественные тексты и история языка . . . . .	114
12. Сомнительная концепция истории русского языка . . . . .	130
13. Несколько замечаний о Русской грамматике Лудольфа . . . . .	139
14. Деловая письменность и литературный язык. . . . .	143
15. Памятники русской письменности и историческая диалектография . . . . .	151
16. О публикации памятников русского языка и письменности . . . . .	163
17. О совместном издании древнерусских скорописных памятников лингвистами и историками . . . . .	178
18. Исследование и издание скорописных памятников русского языка. . . . .	193
19. Об одном «освещении» изданий памятников древнерусского языка. . . . .	207
20. Источниковедческие исследования и научное издание памятников в области русского языка. . . . .	216
21. Русская частная переписка XVII–XVIII вв. как лингвистический источник. . . . .	228
22. Отказные книги . . . . .	242
23. Монастырские фонды рукописей во Владимирском областном архиве (XVII – нач. XVIII в.) . . . . .	252
24. Об исследовании источников по истории говора Москвы . . . . .	261
25. О памятниках народно-разговорного языка . . . . .	275

26. Таможенные книги Камер-коллегии – источники по истории русского языка. . . . .	286
27. Об изучении русской фонетики по памятникам письменности . .	295
28. П.К. Симони об изучении надписей на памятниках древнерусской станковой живописи . . . . .	301
29. Книги городского дела XVII в. . . . .	309
30. Из истории некоторых диалектных слов . . . . .	320
31. Художественные средства и языковая ситуация . . . . .	330
32. О словарных примечаниях к произведениям Н.С. Лескова . . . . .	335
33. Наедине с минувшим . . . . .	339
34. <i>Живая и мёртвая вода</i> в сказках и в действительности . . . . .	342
35. Как обходились без слова <i>пара</i> ? . . . . .	348
36. Предки-невидимки . . . . .	356
37. От линейной меры к качественной . . . . .	363
38. Из истории термина <i>однодворец</i> . . . . .	367
39. Из старых южновеликорусских параллелей к лексике «Слова о полку Игореве» . . . . .	371
40. Лексические элементы «Слова о полку Игореве», связанные с Новгород-Северской землёй. . . . .	383
41. <i>Потяту</i> в «Слове о полку Игореве» и созвучные факты XVII века . . . . .	392
42. Ещё одно древнерусское свидетельство о <i>зегзице</i> . . . . .	395
43. К толкованию выражения «зря свѣт запала» в «Слове о полку Игореве». . . . .	398
44. Хорс в «Слове о полку Игореве» и отголоски этого имени в Новгородсеверской гидронимии. . . . .	402
Список сокращений . . . . .	405
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ . . . . .</b>	<b>425</b>
Коткова Н.С. Названия русских бортовых знамён – историко-лингвистический источник. . . . .	427
Коткова Н.С. Книги Денежного стола . . . . .	438
Коткова Н.С. Историко-лингвистические свидетельства древней владельческой формулы . . . . .	448

*Научное издание*

Сергей Иванович Котков

**Избранные статьи по лингвистическому источниковедению  
и истории русского языка**

Составитель – Л. Ю. Астахина

АНО «НАУКА-ЮНИПРЕСС»  
394024, г. Воронеж, ул. Ленина, 86Б, 2  
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.  
Усл. п.л. 29,5. Тираж 300 экз.  
Отпечатано в типографии издательства  
394024, г. Воронеж, ул. Ленина, 86Б, 2